

ЛЕДОВАЯ
КНИГА

ЮХАН СМУУЛ



ЮХАН СМУУЛ

ЛЕДОВАЯ
КНИГА





ЮХАН СМУУЛ

ЛЕДОВАЯ КНИГА

Авторизованный
перевод
с эстонского
ЛЕОНА ТООМА

Смуул Ю. Ю.

C52 Ледовая книга. Японское море, декабрь. Йынь с острова Кинху — Дикий капитан. Полуденный паром. — Л.: Лениздат, 1982. — 576 с.

В одноименном лауреата Ленинской премии Юхана Смуула вошли широко известные произведения разных жанров, посвященные труженикам моря: дневник «Ледовая книга», очерки «Японское море, декабрь», пьеса «Йынь с острова Кинху — Дикий капитан» и киносценарий «Полуденный паром». Завершает книгу послесловие критика Юрия Суровцева.

C $\frac{4702010200-051}{M171(03)-82}$ 205—82

84.3(2)7

© Лениздат, 1982,
состав, статья, оформление



ЛЕДОВАЯ КНИГА

АНТАРКТИЧЕСКИЙ
ПУТЕВОЙ
ДНЕВНИК

30 ОКТЯБРЯ 1957 ГОДА

Калининград. Дизель-электроход «Кооперация»

Сегодня перебрался на «Кооперацию».

Час назад уехала моя жена.

Перед тем как расстаться, мы сидели в каюте, забитой до отказа багажом, принадлежащим мне и моему спутнику, синоптику Васюкову,— передвигаться и даже сидеть здесь было не так-то просто. Поскольку жена провожала меня целых полтора месяца (по первоначальным данным, «Кооперации» полагалось отбыть 17 сентября), мы уже обо всем переговорили. Я отдал ей все деньги, которые не успел истратить, а она выдала мне из них пять рублей на последнюю кружку пива.

Какие слова говорятся при расставании? Большинство их стерлось, будто монеты, долго ходившие по рукам, но тем не менее они еще служат службу и выполняют свою роль в границах так называемого хорошего воспитания.

Но иногда говорится и нечто новое. Так, Лембит Реммельгас напутствовал меня примерно такой, чисто реммельгасовской речью:

— Каково это, посылать друга на пуп земли? Куда я только не посылал тебя: и к черту, и к дьяволу (он назвал еще несколько адресов, которых я тут приводить не стану), но на пуп— да, до этого еще не доходило!

А Дебора сказала:

— Жаль, что в бога не верю. Прямо и не знаю, чьей заботе тебя поручить.

Я не стал ей напоминать, что мы оба коммунисты и атеисты, что тут же в каюте лежит на столике половина первого действия моей новой антирелигиозной пьесы под названием «Леа» и что писать ее во время плавания под божьим попечением было бы затруднительно и невежливо. По правде говоря, ее слова меня тронули, я хорошо понял, каков их скрытый смысл, но произнес только:

— Ну-ну!..

Сейчас она едет назад рижским поездом.

Вспоминаются последние недели. С начала сентября готовлюсь к рейсу в Антарктику. А если вы спросите,

как я готовился, то придется признаться, что готовиться было нечего. Ждешь, минует один окончательный срок за другим; снова ждешь, снова минует очередной срок—в таких случаях в моей жизни всегда образуется какая-то бесплодная пустота. Не можешь ни на чем сосредоточиться, люди, события, дела—все проходит мимо, не задевая по-настоящему. Вчерашний день позади, сегодняшний—лишь порог завтрашнего, а «завтра», в котором сконцентрировалось все,—это «завтра» уклончиво и полно неопределенности. Писать не можешь, думать не хочешь, и путь наименьшего сопротивления оказывается вдруг наиболее привлекательным. За последние недели я только и сделал хорошего, что прочел все оказавшееся доступным о полюсах—и о Северном, и о Южном—и влюбился в Нансена.

Последние восемь дней мы прожили с женой в калининградской гостинице «Москва». Город разрушен. Кажется, что война была вчера,—она глядит тут на тебя с каждой улицы.

От гостиницы же, целиком занятой участниками третьей комплексной антарктической экспедиции—моими теперешними спутниками,—осталось весьма сильное впечатление.

Каждая гостиница, каждый ее номер, в котором дружелюбный или суровый администратор поселяет вместе людей различных профессий, характеров, мыслей и взглядов,—в своем роде сборник живых новелл.

«Москва»—превосходная гостиница. Приличные, хорошо отапливаемые номера, холодная и горячая вода, исключительная чистота, в каждой комнате телефон и радиотрансляция. Все наверняка выглядело бы еще безупречней, если бы не один осложняющий компонент—жильцы гостиницы. В каких только гостиницах я не жил после войны, но нигде я не чувствовал себя в такой степени лишним, как здесь.

Ложимся после обеда спать. Стучат. Мы продолжаем спать. Снова стучат. Раздается требовательный голос:

— Откройте!

Открываем. Жена стоит в халате у окна, я натягиваю одеяло до подбородка. В номер является комиссия из пяти человек. Полная солидная дама в черном и в очках, не удостоив нас ни единым взглядом, усаживается за стол. Слева от нее останавливается другая дама—худая, в очках и в красном платье. За спиной

у них замирают три девушки, являющие собой в дальнейшем нечто вроде греческого хора. На стол кладутся огромные листы со всевозможными параграфами, номерами и наименованиями.

Начинается инвентаризация.

— Кроватей? — спрашивает полная дама в черном.

— Две,— сообщает дама в красном.— Деревянных. С пружинными матрацами.

— С пружинными матрацами...— эхом вторят три девушки.

— Письменных столов? — спрашивает полная дама.

— Один. Дубовый,— сообщает дама в красном платье.

— Дубовый...—вторят три девушки.

Так оно и идет.

— Подушек?

— Четыре,— говорит дама в красном несколько неуверенно, потому что все четыре подушки у меня под головой, а на второй кровати подушек нет.

— Запишем четыре? — вопрошающе произносит полная дама.

— Запишем четыре,— отвечает дама в красном и бросает на меня подозрительный взгляд: все ли четыре подушки у меня под головой, не съел ли я одну из них.

— Дорожек?

Одна из девушек достает рулетку и приступает к тщательному обмеру. Процедура продолжается довольно долго, пока наконец девушка не сообщает:

— Восемь метров сорок два сантиметра.

— Вы говорите, восемь сорок два? — и полная дама вопросительно поднимает брови.— Значит, запишем восемь сорок два.

— Да, запишем восемь сорок два,— соглашается дама в красном.

Затем идет арматура, стулья, графины, стаканы и т. д. и т. п.

— Предметы искусства есть? — спрашивает дама в черном.

— Есть,— отвечает дама в красном, указывая на стол, где стоит скульптура, изображающая усатого Чапаева верхом на коне.— Один предмет. Чапаев.

— Не важно, что Чапаев. Важно, что один.

Так продолжается около часа. Жена моя, бледная от гнева, сидит у окна и мерзнет. И даже не замечает, что

заинвентаризовали красную тарелку из бакелита, которую она купила сегодня утром.

Затем комиссия направляется дальше. Жена долгое время не может выговорить ни слова. Но я совершенно счастлив. Можно взять в Литфонде две тысячи рублей командировочных, жить на них в каком-нибудь доме отдыха и ничего не видеть. А тут такое подлинное, такое цельное, такое неповторимое переживание, какого ни в жизнь не выдумаешь.

Спали мы в последнюю ночь плохо. Стены в гостинице очень тонкие. В соседнем с нами номере поселилась супружеская пара, которая не имела никакого отношения к Антарктике, но шумела больше, чем весь многочисленный состав экспедиции. Особенно отличалась супруга. Это был один из последних женских голосов, которые я слышал на суше, и он наверняка будет звучать у меня в ушах до самого экватора. Столь выдающегося по противности голоса я давно уже не слышал. Голос был высокий, острый, как бритва, какой-то жестяной и до предела агрессивный. Сперва было ничего. Большое общество, которое собралось в гостях у пары, выпивало, пело, даже пытались танцевать и до поры до времени заглушало голос этой женщины. Я заснул. Проснулся я в три часа ночи после того, как веселье утихло и голос женщины начал звучать сильно. Звучал он так отчетливо, словно женщина сидела тут же рядом с моей кроватью. Нам казалось, что нас колют шилом. За два с половиной часа мы стали необычайно образованными и узнали, какое хорошее белье за границей и какое плохое у нас, как вежливы люди за границей и как невежливы у нас. Узнали несколько рижских адресов, по которым можно раздобыть трикотаж, легкий, словно пух. Узнали о племянниках и племянницах, хоть узнали всего-навсего то, что все на свете пойдет прахом, если их не обеспечат гнездышком, легким, словно пух. Вся эта ночная лекция, прочитанная без единой передышки, оставила удручающее и оскорбительное впечатление. Когда она в конце концов кончилась, моя жена сказала:

— Моржиха!

Дебора более сухопутный человек, чем я, и поэтому видела мало моржей, не то она не стала бы сравнивать такое симпатичное и умное животное с этим ржавым граммофоном.

Я и сам понимаю, как неуместны предыдущие впечатления, но пока я вижу вокруг мертвую маслянистую

воду гавани, пока судно стоит на месте, словно дом на земле, они все еще почему-то властны надо мною. От долгого ожидания у меня промерзли мозги, как у кельнера из новеллы Моравиа. Но я знаю, что они начнут работать одновременно с винтом «Кооперации».

Сегодня мы выходим в море.

31 ОКТЯБРЯ 1957

Калининград. «Кооперация»

Вчера мы так и не отплыли, сегодня — тоже. Выяснилось, что на «Кооперацию» ставят новый радиолокатор. Его как будто привезли ночью из Риги.

Вечером рядом с «Кооперацией» еще стоял плавучий кран с двумя «Пингвинами», но к утру они уже были погружены на палубу. Интересно, как передвигаются эти вездеходы (или трактора?) в условиях Антарктики? Несмотря на свои металлические кабины с высоко расположенными дверями и окнами, похожими на маленькие иллюминаторы, они кажутся легкими. Гусеницы широкие.

Все четыре грузовых люка уже задраены. Пройти с носа на корму или с кормы на нос — это, по-видимому, рискованное предприятие. На палубных люках стоят «Пингины», перелезть через тросы и брусья, которыми они принайтовлены, не так-то просто. А на третьем люке, рядом с двумя «Пингвинами», стоит ящик с четырьмя елками. Они хорошо завернуты, чтоб не повредились ветки, а в ящик насыпан песок. Мы возем в Мирный и новогодние елки.

Осматривал и пытался как-то разместить свой багаж. Плохо, когда человек беден. Но еще хуже, когда в одной тесной каюте оказываются два богатых человека. И у меня, и у Константина Васюкова добра хватает.

Одна лишь погрузка моих вещей на корабль была своего рода цирковым номером. Сначала я притащил два чемодана. Затем настала очередь зеленого брезентового мешка, в который, кроме выданного мне полярного снаряжения, я запихнул еще десяток железных коробок с узкой киноплёнкой. Весил мешок не меньше доброй меры солода. Но хуже всего было то, что я со своим мешком застрял на узком трапе между канатами. Ни один осел не чувствовал себя так глупо, как чувствовал себя я на трапе «Кооперации». Сверху на меня

смотрят матросы и участники экспедиции, снизу, с причала,— портовые рабочие. В иные моменты отнюдь не лестно быть центром внимания. И когда я, задыхающийся, красный и разъяренный, втащил мешок в свою каюту, то поневоле повторил слова Феликса Ормуссона, героя книги нашего писателя Фридеберта Тугласа:

— Тяни лямку, эстет!

Наконец я притащил и свое техническое снаряжение. Когда я маршировал с ним по калининградской гавани, весь увешанный аппаратами, словно новогодняя елка игрушками, одна красивая девушка сказала подруге:

— Ему на «Кооперацию». Небось доктор технических наук.

Откуда ей было знать, что я испытываю меньший страх перед Бискайским заливом, чем перед техникой, ибо любой аппарат, попадающий ко мне, проявляет то скверное свойство, что либо мигом портится, либо вообще не работает.

Вот.

А теперь сделаем обзор снаряжения.

Мне выдали, на тех же правах, что и участникам экспедиции, следующие вещи:

1. Ватник с капюшоном.
2. Ватные штаны.
3. Сапоги.
4. Теплый свитер.
5. Куртку.
6. Теплые перчатки.
7. Снегозащитные очки.
8. Зеленый брезентовый мешок, в который все это было сложено.

У меня было с собой:

1. Два костюма — темный и светлый.
2. Дюжина сорочек.
3. Белье.
4. Носовые платки.
5. Фуфайка.
6. Куртка из ветронепроницаемой ткани.
7. Десять пар носков.
8. Две пары полосатых шерстяных носков, связанных моей матерью.
9. Бритва.
10. Сто бритвенных лезвий.
11. Сто пачек «Казбека».

12. Сто коробок спичек.
13. Пять бутылок коньяку.
14. Три бутылки вина.

Техническое снаряжение:

1. Фотоаппарат «Зоркий».
2. Узкоплечный киноаппарат «Киев» (принадлежащий таллинской киностудии).
3. Фотоэкспонометр «Ленинград».
4. Полевой бинокль «Бинокляр М 36×30» (сособственность Пауля Руммо-младшего).
5. Пять катушек пленки для фотоаппарата.
6. Две тысячи пятьсот метров узкой кинопленки.
7. Три вечные ручки.
8. Шесть блокнотов.
9. Бутылка чернил.
10. Две пары очков.
11. Перочинный нож.
12. Пилка для ногтей.
13. Аварийная шкатулка с иголками, нитками, пуговицами и порошками от головной боли.

Книги:

1. Стендаль. «Красное и черное».
2. Джозеф Конрад. «Лорд Джим».
3. Хемингуэй. «Старик и море».
4. Юджин О'Нил. «Луна Карибских островов».
5. Ф. Нансен. «На лыжах через Гренландию».
6. Р. Е. Берд. «Полет на Южный полюс».
7. Э. Шеклтон. «Путешествие на Южный полюс».
8. Первый выпуск собрания «Страны и народы мира» — «Полюсы».
9. Русско-эстонский словарь.

Кроме этого, я еще прихватил с собой поэму «Сын бури», которую намереваюсь сокращать и перерабатывать во время плавания, и начало пьесы «Леа», которую я во что бы то ни стало *должен* закончить на корабле. Хорошо бы справиться с этим до прибытия в Мирный.

1 НОЯБРЯ 1957

Сегодня в 16.00 «Кооперация» наконец отплыла.

Проверка документов прошла очень быстро. На причале десятка два провожающих, у некоторых мокрые глаза. В какой-то каюте играет гармонь. Провожающие, которые поднимались на палубу и должны были покинуть корабль, уже его покинули. С трапа убран огради-

тельный трос, но сам трап еще не поднят — по нему должен сойти на пристань Алексей Михайлович Фишкин, превосходный человек, работник Главсевморпути, которого все любят и который много сделал для подготовки этой экспедиции. Его седая бородка, умные добрые глаза за сверкающими стеклами очков, полная фигура и улыбка, освещающая лицо как бы изнутри, всем нам запомнятся.

Наконец сходит и Алексей Михайлович.

У носа пыхтит один буксир, у кормы — другой.

Очень медленно, кормой вперед, «Кооперация» отчаливает от пристани. Голосят звонкие гудки буксиров, слыт могучий бас «Кооперации». Ее белый корпус, загроможденная палуба и даже мачты на время скрываются в обволакивающем дыму буксиров. Погода пасмурная, мгlistая, вытянутый канал калининградской гавани со своими плавучими кранами, судами и бакенами плохо различим и выглядит неприветливо.

Стоящие в гавани суда гудят нам на прощанье. Такого концерта я еще не слышал. На верхнем мостике, где собралось несколько десятков человек, от густого грозного гудка «Кооперации» закладывает уши. И у труб кораблей, оставшихся в гавани, взлетают белые облачка пара. Сирены, которые, как и голоса людей, бывают разными — и звонкими, и глухими, образуют своеобразный хор. В нем чудится и рев моря, и его гул, то спокойный, то грозный, и черт знает что еще. В солнечную погоду все это наверняка производило бы куда более веселое впечатление.

Выходим в море. Смеркается. Мелькают огни маяков — загораются и гаснут, загораются и гаснут. Вода черно-серая и становится все черней. Ветер — шесть баллов.

После Балтийска наш лоцман перебрался на «Академика Крылова», который ждал в море разрешения на вход в Калининград. Катер лоцмана возник откуда-то из темноты — маленький, славный, верткий. Не знаю, какой у него был мотор, но он хрюкал совершенно попоросячьи. Наверно, потому, что глушитель временами оказывался под водой. Затем катер лоцмана отплыл, и мы долго следили за веселым прыгающим отражением его мачтовых огней на черной воде.

Нас провожают три портовые чайки. Они почти не шевелят крыльями и все же уверенно держатся рядом с «Кооперацией». Мы видим их, когда на них падает

свет наших огней, в котором они белеют словно первый снег.

«Кооперацию» слегка покачивает.

Отдается команда закрыть иллюминаторы третьего класса. К тем, кто оказался в море впервые, начинается подбираться морская болезнь.

3 НОЯБРЯ 1957

В море. На «Кооперации»

Как хорошо принимать хорошие решения. «Завтра начинаю новую жизнь»; «серьезно возьмусь за работу, потешу свою лень последний нынешний денек, и все» и т. д. и т. п. Трудно лишь выполнять такие решения.

Хоть в море я более трудолюбив, чем на суше, все же и тут обещания, данные самому себе, часто остаются лишь благими намерениями. Может быть, потому, что в начале рейса всегда много новых впечатлений, лиц, встреч, разговоров, с людьми еще не свыкся и пока что не чувствуешь себя как дома. Больно дает себя знать самый большой мой писательский изъян — недостаточное умение сосредоточиться, недисциплинированность мышления, цыганская беспутность мыслей.

В подобном плавании следует вести дневник, вести его систематически, изо дня в день, занося все существенное и все, что может понадобиться в будущей работе. Но вчерашний день, второй день в море, уже пропал. Сейчас ночь. Идет дождь. Огни отражаются в слегка мерцающей воде. На севере видна темная туча — растрепанная, как старый веник. Синоптики что-то говорили о циклоне и о «холодном фронте» и определили по этой рваной туче, что завтра, в Северном море, мы попадем в шторм. Посмотрим, догадливей ли они таллинского бюро погоды.

Вчера утром было собрание экспедиционной партгруппы. Выбрали временный (до Мирного) партком, обсудили предстоящие задачи, поговорили о том, как отпраздновать Октябрьскую годовщину. Решили организовать стенгазету, радиогазету и фотогазету. Кое-кто поглядывал на меня — не напишу ли я для стенгазеты. «Ну нет, писать стихи по-русски — до этого я еще не дошел!» — сказал я себе и спокойно отправился бродить по «Кооперации».

Корабль слегка качался. По-прежнему дул ветер в

пять-шесть баллов, на воде уже забелели барашки. Похоже, что «Кооперация», построенная и как пассажирское и как торговое судно, все же мала для нашей экспедиции. Большая часть нашего коллектива из ста шестидесяти человек живет в весьма неприхотливых условиях: кровати стоят и в помещении для прогулок, и в курительном салоне, и в коридорах. А в кинозале люди даже спят прямо на полу — кроватей тут нет. Но народ здесь бывалый, выносливый, легко приспособляющийся к трудным условиям. Те, с кем я уже познакомился, очень хорошие товарищи и, к счастью, не такие замкнутые люди, какими кажутся.

Пошел в каюту работать.

Беда подкрадывается незаметно. Без крика. Разве что тихонько постучит в дверь.

В дверь каюты постучали. После моего «да» вошел только что выбранный член парткома, чей мозг и руки участвовали в создании шести «Пингинов», стоящих на нашей палубе, — вошел Григорий Федорович Бурханов. Мы поговорили о том о сем, о море и о суше, гость прочел несколько моих стихотворений. И вдруг безо всякого вступления, безо всякого перехода выложил:

— Вы, товарищ Смуул, будете редактором стенгазеты.

— Какой стенгазеты?

— Экспедиционной.

— Не пройдет, товарищ Бурханов!

— Пройдет.

— Я не знаю русского языка. Более того, я на этом корабле единственный человек, который не знает как следует русского языка. Я вам такую кашу заварю!..

При известной степени знания языка вы можете произвести впечатление человека, владеющего языком. Словарь ваш будет состоять из любезностей, извинений, картежных терминов, слов признательности и одобрения (у меня к ним добавляется еще множество нецензурных слов, которые я выучил в Атлантике), из нескольких ходовых литературных фраз и терминов да из названий самых общеупотребительных предметов. С таким запасом слов можно выманить человека из воды на берег, но с берега в воду — не заманишь! Сейчас, в начале плавания, мой язык именно таков.

Б у р х а н о в. Язык вы знаете. Разве что не всегда ловко выходит и акцент сильный. Твердое «л» у вас не получается и шипящие тоже. И грамматика хромает.

Иногда. Конечно, и запас слов мог бы быть побольше. Словом, справитесь. Вы ведь авторизуете переводы своих вещей, просматриваете их.

Я. Черта лысого я авторизую!

Бурханов. Лысого или кудрявого — не в этом суть. (*Берет мой поэтический сборник на русском языке.*) Вот видите, написано: «Авторизованный перевод».

Короче, — что я ни говорил, сколько ни просил, все разбивалось о хорошее настроение Григория Федоровича, его твердую веру в мои организаторские способности и в мой русский язык. Так я стал редактором стенгазеты. И четверть часа спустя я уже расхаживал между рядами доминошников и картежников, останавливал на палубе участников экспедиции и дрожащим голосом умолял:

— Не умеете ли вы рисовать карикатуры? Не пишете ли стихи?

А Бурханов тем временем поднимался и спускался по лестницам, заглядывал в каюты, в салоны и составлял список членов редколлегии. Первый номер газеты должен выйти к Октябрьским праздникам. Ночью я спал плохо.

Сегодня утром, 3 ноября, мне вручили список членов редколлегии. Я решил созвать собрание, но из этого ничего не вышло. Два события взволновали всех. Первое — это запуск нового спутника. Обсуждают, спорят, переживают. Общее собрание экспедиции послало поздравительную телеграмму в Москву. Много говорят о собаке — первом живом существе, попавшем на такую высоту, о самом спутнике, о его орбите, о радиусе орбиты. Одному шахматисту, который никак не хотел признавать себя побежденным, сказали: «Ты — вроде спутника: все крутишься да крутишься и никак не сгоришь». Тоже угол зрения!

Во-вторых, мы приближаемся к Кильскому каналу. Мимо непрерывно проходят корабли. Верхняя палуба полна народу. Все фотографируют. На бинокли большой спрос. На мой тоже. Этот прибор я взял никак не напрасно.

Киль. На капитанском мостике — немецкий лоцман, у штурвала — немец. С обеих сторон тянется ровная, спокойная низменность. Корабли и спереди, и сзади — канал живет. Немцы, которых на берегах так много по случаю воскресенья, машут платками и руками. Темнеет. Глаза устают смотреть.

4 НОЯБРЯ 1957

Северное море

И сегодня утром из собрания редколлегии стенгазеты ничего не получилось. Поднялся большой, настоящий североморский шторм, вернее, ураган. Время от времени качающаяся «Кооперация» так вздрагивает, словно ее киль под водой цепляется за остов затонувшего корабля. Кажется, что волны из-за силы ветра уже не могут вздыматься выше — буря придавливает их гребни, утюжит их. Я и прежде видывал штормы, но не такие. Вода взлетает, весь воздух пропитан холодом и соленостью моря. Горизонта — я имею в виду постоянный горизонт — больше нет. Есть только взлетающая вода. Взлетающая вода и непрерывный надсадный вой — разъяренный крик шторма. Самочувствие у меня хорошее. Известное выражение «сердце радуется» наиболее его определяет. Готов верить, что у меня выработался стойкий иммунитет к морской болезни.

«Кооперация» плывет сквозь непроглядную водяную метель. Над носом корабля — и не только над ним — белое водяное облако. Буря срывает с разрезаемых нами волн гребни и, раздробив их, подбрасывает выше корабельных труб. Скорость ветра тридцать пять метров в секунду, то есть сто двадцать шесть километров в час.

Я взял свой узкоплечный киноаппарат и взобрался на верхний мостик. Вода обдавала меня и здесь. Физик, которого зовут Борей, милый и отзывчивый молодой человек, был со своим «Киевом» уже здесь. Ему, как видно, удалось снять несколько метров одичавшего моря. Я попросил у него помощи. Мы не разговаривали: мы кричали. Он, как более опытный оператор, взял аппарат, а я должен был его удерживать. Удерживаю, но заедает кассета. Вставляем новую — снова заедает. Третья, и последняя, кассета начинает крутиться исправно. Вцепившись в поручни мостика, перебираемся вперед, чтобы снять нос корабля. Но если сзади мы были закрыты от ветра по грудь, то тут нас защищали только железные поручни. И вместо того чтобы держать Бору во время съемки, я кубарем полетел через мостик прямо на радиолокационную антенну. Следом за мной кинулась водяная машина. Она каким-то чудом замерла, вздыбленная, с удивлением наблюдая за моей утренней зарядкой.

Мы поспешили скрыться от ветра и принялись сообщать поносить кассеты «Киева». Они в самом деле неудачные и подводят даже профессионалов. У меня они украли сорок пять метров настоящего шторма. Я еще, наверно, хлебну горя со своими двумя с половиной тысячами метров, и особенно в Мирном. К тому же у меня только три кассеты, а двум из них нельзя доверять.

Раза два выглянуло солнце. Над волнами тотчас показывались маленькие радуги. Облака мчатся низко, над самыми качающимися мачтами. Пространство между морем и небом кажется совсем крошечным.

Мы удрали с мостика. Прямо перед нами мотался разорванный брезент, покрывавший шлюпку. Ванты натянулись, словно скрипичные струны, вымпел нещадно трепало ветром.

Отчаянная личность это Северное море!..

Долго на палубе не пробудешь — вымокнешь насквозь. Время от времени прячусь в каюту и читаю Стендаля. Шторм продолжается. «Кооперация» теряет сегодня не меньше ста миль.

Не видно ни одного корабля. В портах наверняка предупредили о шторме.

Очень многие страдают от морской болезни.

5 НОЯБРЯ

Северное море

Погода по-прежнему штормовая. Сильная встречная волна. Сообщили по радио свои координаты — мы все еще в Северном море. Из-за встречного ветра «Кооперация» проходит всего-навсего от четырех до пяти миль в час. Вчера потеряли около ста миль, сегодня потеряем еще больше. Капитан сказал, что из-за плохого винта «Кооперация» теряет каждый час одну-две мили. Хотя проектная скорость судна двенадцать миль, мы пройдем при нормальных условиях лишь десять — десять с половиной. Если в прошлом году корабль покрыл расстояние до Мирного за сорок пять дней, то на этот раз мы, по самым оптимистическим расчетам, доберемся туда за пятьдесят — пятьдесят пять.

Наконец-то мы провели собрание редколлегии. Дела обстоят не так безнадежно, как казалось вначале, и к утру 7 ноября газета будет готова. В редколлегию вошли чудесные люди — наверно, ни одна эстонская газета не может похвастаться столь квалифицированными

редакторами. Как и я, все заинтересованы в том, чтоб из нашего предприятия вышел толк. Даже стихи будут. Только вот беда с художниками. Никак их не разыщем, хоть они и есть. На дверях чьей-то каюты наклеена отличная и очень похожая карикатура на одного из руководителей экспедиции. Она немало всех позабавила. Но кто автор? Никто не знает. Пропадают в неизвестности такие таланты!..

Палубу по-прежнему заливают водой. Лишь на подветренном борту можно избежать омывения. На ванты и тросы кормы, где громоздятся всевозможные ящики и мешки, садятся мокрые и усталые, оглушенные бурей скворцы. Мы пытаемся по форме клюва определить их родину. Откуда они? Наверно, из Норвегии. Люди смотрят на скворцов с сочувствием. Птицам совсем не легко попасть на корабль. Предварительно приходится делать над ним несколько кругов — шторм сносит птиц в сторону. Они устали и от усталости осмелели. Много пернатых погибло вчера и сегодня в Северном море.

Мой товарищ по каюте Константин Васюков проводит весь день на палубе. От качки он чувствует себя неважно. Это первое плавание Васюкова, и началось оно достаточно серьезно. Но, насколько я понимаю в этом деле, к концу плавания он станет моряком. У Васюкова есть некое «что-то», столь необходимое для сопротивления морской болезни. Дело в том, что при морской болезни человека охватывают невероятная апатия и скепсис: и мир, и жизнь, и прошлое, и будущее — все кажется черным и противным. Думаю, что некоторые критики, в глаза не видавшие моря, страдают от самого рождения до смерти морской болезнью. Ничем иным не объяснишь их желчности и злобности. Но Васюков сделан из другого теста: он успешно сражается с той самой апатией, от которой слабодушные сваливаются на койку и не встают с нее до тех пор, пока погода не становится хорошей, море не успокаивается и не появляется аппетит.

У Васюкова, старшего научного сотрудника метеорологической группы, направляющейся с партией зимовщиков в Мирный, лицо крестьянина. Я уже несколько дней ищу и не нахожу того слова, которое бы точно его охарактеризовало. Про него можно сказать: «Светлая личность». У эстонцев редко встретишь столько сердечности, теплоты и отзывчивости, сколько их у Васюкова. Они есть и у нас, но мы как бы стыдимся их даже тогда, когда их проявляют по отношению к нам другие, и пона-

чалу испытываем скрытое стеснение. Так же было между мной и Васюковым. Его характер — это открытая книга, в его жизни, в его судьбе нет ничего такого, что следовало бы утаивать, его доброта — это доброта большого ребенка. Но при этом он отличный, уже известный метеоролог.

Сейчас он ведет длительный и покамест неравный бой с волнующимся морем. Над его кроватью целая картинная галерея. Семейная фотография — его жена Мария, его тесть, сам Васюков и его сын Гриша. Затем маленькая карточка жены. Затем большая фотография Гришеньки. О Грише я уже знаю столько, сколько вообще можно знать о шестилетнем мальчике, о его характере, о его вопросах и ответах, о его неожиданных поступках, о его остротах, озадачивающих старших.

В первый вечер на «Кооперации» Васюков, прежде чем лечь спать, достал из чемодана карточку Гриши и долго смотрел на нее. Его глаза блестили. Затем он повесил Гришеньку над своей койкой и сказал:

— Ну, Гриша, карауль папин сон.

Мы еще долго говорили о Грише, о том, что он выглядывает на карточке необычайно серьезным (снят он в шубке и с лопаткой), что у него лицо и осанка военачальника. В конце концов мы пришли к выводу, что он несколько похож на одного маршала. И маршал, ставший Гришей, или Гриша, ставший маршалом, охранял сон отца. Правду сказать, ночью Гриша упал со стены, и проснувшийся Васюков нашел его у себя под боком довольно помятым. Но все же Гриша — это Гриша, хороший сын хорошего отца, и он охраняет по ночам отцовские сны.

Счастливы те жены, чьи мужья похожи на Васюкова!..

В отношении сожителя мне просто повезло. А когда он вчера вечером долго смотрел на свою Марию, я подумал о том, как будет не хватать этому славному человеку во время долгой тяжелой зимовки своей жены и своего сына. И разве только ему?

6 НОЯБРЯ

Ла-Манш

Погода хорошая, волна слабая. С правого борта Англия.

Плывем вблизи берега. В 14.00 минуем Дувр. Невысокие скалистые берега, местами белеет мел. Очень мно-

го судов, по преимуществу нефтеналивных танкеров. Не очень-то приятно смотреть, как многие нас обходят, — у них бóльшая скорость. Но и мы сегодня делаем десять миль в час. Суда, суда, суда... Мой бинокль все время исчезает и с невероятной скоростью перелетает из конца в конец корабля, с борта на борт. У нас много молодежи, плавающей впервые, и на нее Ла-Манш производит мощное впечатление. Это в самом деле одна из главнейших торговых артерий. Понятно, что корабли могут пробудить интерес и даже вызвать известное воодушевление у самого апатичного человека. Только не смотрите на них ночью, во тьме. Нет ничего печальней того чувства, которое пробуждают корабельные огни, исчезающие вдали. Мне это слишком знакомо.

Несмотря на свою незавидную скорость, «Кооперация», белая, словно лебедь, выглядит на фоне других кораблей красавицей.

О «КООПЕРАЦИИ» И О КОРАБЛЯХ ВООБЩЕ

Чтобы описывать корабль, надо быть либо профессиональным моряком, либо полным профаном, не отличающим носа от кормы. Профессиональный моряк дал бы точные сведения о судне, перечислил бы все детали, назвал бы все машины, привел бы все цифры, обозначающие площадь и объем всех помещений, число лошадиных сил, оборотов винта, вес и т. д. Профан смотрит на корабль в гавани сквозь флер поэтичности, а во время морской болезни — сквозь призму ненависти, судно для него — то красавица, то ведьма. Все зависит об обстоятельств и, в значительной степени, от характера воспоминаний.

Каждый раз, как мне приходится спускаться по железному трапу в холодную полутьму трюма, у меня по спине пробегают мурашки. Перед глазами возникают шесть человек, которые играют в очко, я вижу засаленные карты в дрожащих от азарта руках, кучу смятых бумажек в банке — четыре тысячи рублей, слышу стук пуль по металлической палубе, крики людей и разрывы бомб. Это было в августе 1941 года в Финском заливе, в грузовом трюме большого торгового парохода из Латвии, на котором мы, мобилизованные островитяне,плыли из Таллина в Ленинград. Немцы атаковали нас с воздуха. Самолеты проносились над мачтами. А мы — несколько сот человек — сидели на чугунных канализа-

ционных трубах, которыми был загружен корабль, и понимали, что любое прямое попадание фугаски большого веса отправит нас прямо на дно. Трюм был мышеловкой,— ведь если бы у нас и имелись спасательные пояса (их не было), мы все равно не выбрались бы наверх по узкому железному трапу, а затоптали бы друг друга. Мы не знали, что происходит наверху, не знали, что в первые же минуты налета с командного мостика было сметено все. Большинство из нас и не сознавало всей величины опасности. Не признавал и я. И поскольку политрук запретил нам азартные игры, то я в течение всего налета стоял у трапа, чтобы картежники могли доиграть кон. За это мне с каждого банка платили по пятнадцати рублей, а тогда это были для меня довольно большие деньги. К чести игроков следует сказать, что они не прекратили игру даже после того, как перед самым носом корабля упала бомба и со стен трюма посыпалась ржавчина. Может быть, азарт являлся для них своего рода шорами от страха. Лишь когда мы снова вышли на палубу после конца налета и увидели разбитую в щепы шлюпку, изрешеченные пулями стены временной уборной и пожар на одном пароходе из нашего каравана, то наконец поняли, что тут происходило. И если бы немцы повторили налет, то нас, пожалуй, только пулеметами удалось бы снова загнать в трюм. Мы стали его бояться.

Корабли производят самое разное впечатление и пробуждают самые разные мысли. При всей своей уютности и механизированности, сельдяной траулер часто казался мне похожим на сааремскую лошадку с прогнутой спиной — маленькую, крепкую и сильную духом. «Арктика», одна из наших крупнейших сельдяных плавбаз, которую я долго разглядывал в клайпедском порту, походила в своей огромности на большой рыбозавод, втиснутый в стальной тупоносый корпус. Крошечные, словно букашки, люди на нем выглядели будто рабочие какой-то фабрики или плавучего дока, как бы отрешенные от всего, что существует за бортом.

Однажды июньской ночью 1955 года мы проплыли в Скагерраке мимо английской авиаматки, стоявшей на якоре. Длинная — больше трехсот метров — стартовозлетная палуба делала корабль сверху широким, словно пирог. Командная вышка, расположенная в дальнем от нас конце этого плавучего аэродрома, придавала асимметрию не только стальному прямоугольному полю,

но и всему кораблю. Узкая стрела корпуса, прятая под широким пирогом, врезалась в воду, как нож. Корабль весь был обвешан моторками. Серый и темный, без единого огонька, он вглядывался во тьму и ощупывал нас своими спрятанными окулярами. В ночном спокойном море эта многотонная громадина казалась ненужной, враждебной и опасной. Нацеленная носом на восток, она снова напоминала о том, что война, окончившаяся в 1945 году, была не сном, а явью и что на Западе кое-кто мечтает о ее повторении. Любой корабль в открытом море вызывает у людей оживление, пробуждает в них мысли о далеких берегах или об оставленном доме, но, проплывая в Скагерраке мимо этого авианосца, мы ощутили дыхание мертвецкой.

«Кооперацию» я знаю покамест плохо и не могу предвидеть, какие воспоминания о ней останутся у меня после плавания. Наверно, самые разные — и грустные и веселые, и бурные и спокойные. То, что происходит во мне, передается кораблю, а то, что происходит на корабле, передается мне. Сейчас длинные коридоры наполнены тишиной, спокойным светом расположенных рядами ламп, — там тянется строй дверей и покачиваются в такт портьеры. Все дышит спокойствием и домашностью. Спокойствие может исчезнуть, но чувство домашности останется.

Прежде чем послать «Кооперацию» в Антарктику, в Главсевморпути и в Академии наук долго спорили, достаточно ли пригоден и достаточно ли мощен этот корабль для такого плавания. Многие встали на отрицательную точку зрения. Но затем «Кооперация» совершила удачный рейс в сложных и трудных условиях Северного Ледовитого океана, и споры прекратились — выбор пал на нее.

«Кооперация» — небольшой корабль. При полном грузе ее водоизмещение равно 5560 тоннам. Длина судна 103 метра, ширина 14 метров. У нее имеются два дизеля марки «МА» в 1400 лошадиных сил каждый. Максимальная скорость судна (которой мы пока не достигали и, наверно, и не достигнем) — 11,6 мили в час.

Кроме помещения для команды, на «Кооперации» есть тридцать семь пассажирских кают общим числом на сто двадцать мест.

Имеются четыре трюма. Рефрижераторные трюмы могут вместить больше тысячи тонн скоропортящихся продуктов. Рулевое управление и якорная лебедка при-

водятся в движение электричеством. На корабле имеется солидная радиоаппаратура, приемная и передаточная, гирокомпасы, радиолокатор. У него, что очень важно, крепкий корпус, выдерживающий давление льда. Конечно, две тысячи восьмьсот лошадиных сил — это для Южного Ледовитого океана маловато. И «Кооперация» отнюдь не современное молодое судно, она скорее — средних лет или даже пожилая.

Корабль построен в 1929 году на ленинградских судостроительных заводах — тогда он был одним из самых современных по конструкции. С 1929 по 1937 год он регулярно курсировал по линии Ленинград — Гавр — Лондон, перевоза пассажиров и грузы. Затем следует наиболее красочная и славная часть его биографии: в 1937 году «Кооперация» доставляла грузы республиканской Испании.

Впоследствии незримые нити прочно связывают ее с Севером и льдами. После перелета Валерия Чкалова через Северный полюс «Кооперация» привозит из Франции в Советский Союз самолет Чкалова. Когда через Северный полюс перелетал Владимир Коккинаки, «Кооперация» работала радиомаяком. Во время Великой Отечественной войны «Кооперация» входила в состав Северного военного флота и служила базой для торпедных катеров. В 1947—1948 годах судно возвращается к спокойной будничной жизни перевозчика пассажиров и грузов по линии Ленинград — Щецин.

В 1949—1952 годах усталый и потрепанный корабль стоял в Висмаре на капитальном ремонте. После ремонта «Кооперация» курсировала до 1954 года между портами Балтийского моря и Западной Европы. С 1954 года она работает в Арктике. По окончании Московского фестиваля молодежи она доставила на родину делегацию Исландии. А в 1956 году «Кооперация» отвозила в Мирный вторую комплексную антарктическую экспедицию. Сейчас она совершает второе плавание к шестому континенту. Не так уж много кораблей, которым бы столько доверялось.

Конечно, «Кооперация» могла бы быть побольше, просторней, помощнее, могла бы иметь дизели поновее, а скорость повыше. Словом, она могла бы быть моложе. Но опыт ее команды в шестьдесят человек, опыт ее капитана Анатолия Савельевича Янцелевича, ее испытанный во льдах корпус, неторопливое и спокойное вращение ее шеститонного винта — все это тоже чего-то стоит! Рядом с молодым и крепким человеком, который вечно

торопится, вечно спешит, хорошо шагать лишь до тех пор, пока дорога легкая и приятная. Но лишь встретятся трудности и помехи, как он мрачнеет и падает духом. А наш корабль — многоопытный ходок, неторопливый, упорный и спокойный. На него можно положиться.

Сегодня сделали стенгазету. И ничего получилось. Народ здесь очень сговорчивый. Отыскались даже художники. Особенно помогли радист Борис Чернов, долго проработавший на Севере и хорошо рисующий (к тому же хорошо пишущий на машинке, как все радисты), опытный полярный летчик Всеволод Иванович Фурдецкий, аэрологи Олег Торжуткин и Владимир Белов и будущий начальник складов Мирного Сергеев.

На корабле царит предпраздничное, приподнятое настроение. Пылают утюги, стрекочут электрические бритвы. Завтра состоится торжественное собрание, праздничный обед и концерт самодеятельности.

Вечером я созвал актив стенгазеты — провели время весело и тихо. Так на корабле бывает почти всегда, если приходится выпивать одну или две бутылки коньяка втихомолку. Переборки кают тоненькие, и, хотя соседи тут не мелочные и не придирчивые, шум им все-таки мешает, особенно в позднее время. Я вспомнил Иванову ночь 1955 года в Северной Атлантике. Тогда мы сидели вдвоем с капитаном в его маленькой каюте и пели разные красивые песни, но так тихо, что едва слышали самих себя. Здесь так же — тихие голоса, глухое бульканье коньяка, наливаемого в стакан, шуршание яблок, перекаत्याющихся при ударе волны по бумаге на столе. Ла-Манш спокоен, ветер попутный, плеск моря за открытым окном слабый-слабый...

Мир, в который я сегодня вечером попал впервые, мир полярных исследователей и путешественников, подавляющий своим одиночеством, снежными бурями и своей, как говорят, редко встречающейся где-либо тишиной, воздействующей на людей прямо-таки физически, этот мир теперь возник перед моими глазами уже не благодаря книгам Нансена, Берда, Шеклтона и Амундсена, а благодаря тихим рассказам живых людей.

Фурдецкий рассказал о своих полетах над Северным Ледовитым океаном, о том, как снабжались исследовательские станции «Северные полюсы». Вспомнил он и о нашем эстонском летчике Энделе Пуусеппе, которого

знают и помнят все полярные летчики. У Фурдецкого лицо ученого, и обороты речи у него научные, но он умеет так живо описывать самолеты, воздушный океан, штормы, аварии, хорошие и плохие аэродромы, что видишь их. Может быть, мне удастся полетать с ним в Антарктике. Второй летчик, Афонин, который, как и Фурдецкий, едет на Южный полюс впервые, уже с 1935 года полярник. Он был с вертолетом на «Северном полюсе 4». Как-то, когда мы играли с ним в домино, он показал на стол.

— Лыдина, на которой разместили «Северный полюс 4», была с этот стол. А когда мы с нее ушли, она была меньше этой кости.

У Афонина едкая усмешка, лицо изборождено морщинами, он приземистый и крепкий, ни грамма лишнего жира. Он напоминает мне капитана, чья судьба навела меня на мысль написать поэму «Сын бури». В нашей сравнительно молодой компании он кажется спокойным, как Будда. Лишь когда он заговаривает о своих приключениях, его взгляд становится удивленным. Об исчезновении одной посадочной площадки в Северном Ледовитом океане Афонин рассказывал так:

— Отыскали хорошую лыдину, устроили хорошую посадочную площадку. А на другой день нет площадки — уплыла. Полетел я на вертолете искать ее и нахожу в шести километрах. На третий день она (несколько крепких слов о площадке) уже в двенадцати километрах. Последний раз нашел ее в сорока пяти километрах. И больше уже не находил. Черт ее знает, куда она делась?..

И это «черт ее знает, куда она делась» опять его озадачило — на лице его выразилось удивление.

Гости ушли. Полночь уже позади, судовые часы показывают 1.00, таллинское время — четыре часа утра. Значит, праздники уже начались. Я разбудил Васюкова, который в продолжение нашего долгого сидения спал, словно у Христа за пазухой, под караулом своего Гриши. Он протер глаза, оглядел каюту, имевшую весьма разгромленный вид, и спросил:

— Что тут было? Полтавский бой?

Мы поздравили друг друга с праздником, вспомнили о своей родине, от которой мы уходим все дальше, и о своих близких.

«Корабли революции должны быть чистыми!» — говорит боцман из «Гибели эскадры». И я принимаюсь убирать каюту.

7 НОЯБРЯ

Ла-Манш

Сегодня на корабле очень торжественно. Пожимаем друг другу руки, желаем хороших праздников. Общество, собравшееся к завтраку в салоне, одето не хуже, чем публика на иной премьере. Все время поступают радиogramмы. Их раздает комендант экспедиции Голубенков. Его всегда окружает кольцо нетерпеливых людей. Хотя я знаю, что мне, вероятно, ничего сегодня не пришлют, однако держусь поблизости от Голубенкова. Тут понимаешь, что значат хотя бы два словечка из дому.

Торжественное собрание экспедиции. Говорит первый помощник капитана Рябинин. Зачитываются радиogramмы с «Оби» — она впереди нас примерно на восемь тысяч миль, — из Мирного, из Главсевморпути, от академика Бардина и т. д.

В два часа — праздничный обед. На четыре человека выдается по бутылке водки и по бутылке грузинского вина. Пьем за нашу родину, за успех экспедиции, за здоровье «Кооперации» и ее капитана. Начальник рейса Александр Павлович Кибалин поднимает бокал за здоровье тех, кого мы любим, — за наших жен и невест. Аплодисменты, переходящие в овации. Все встают. После обеда настроение у всех приподнятое.

Хотя, по инструкциям, хранение у себя спиртных напитков запрещено и об этом радиоузел корабля неоднократно сообщал, все же появляются спрятанные запасы, добытые откуда-то со дна чемоданов, из темных углов под койками, из сумок и из стальных шкафов. Большинство тут — молодые, на сто процентов здоровые люди, а отнюдь не «морковососы», как выразился Аугуст Алле. Но все это не выходит из рамок праздничного веселья. Народ здесь дисциплинированный.

В пять часов в музыкальном салоне начался концерт экспедиционной самодеятельности. Правда, молодой коллектив, созданный лишь несколько дней назад, не смог пока приготовить очень уж обширной программы. Но все номера исполнялись хорошо и еще лучше встречались.

У меня есть свои любимые песни. На рыбацьем судне в Атлантике по десять раз в день играли «Рябину»:

Ой, рябина кудрявая,
Белые цветы...

И я всегда слушал ее с удовольствием. И здесь — та же «Рябина». Эта песня словно специально создана для кораблей, долгой разлуки и скрываемой тоски по дому. Она грустная, красивая и задевает у всех нас почти одни и те же струны.

После концерта в салоне начались танцы. Среди шестидесяти членов экипажа всего семь или восемь женщин — поварихи, стюардессы, уборщицы. По случаю праздника они свободны. Все они в зеленых платьях форменного покроя. Их наперебой приглашают танцевать, окружают вниманием. Корабль покачивается, палуба временами накреняется градусов на десять, но это никого не смущает.

Вечером кино,

В долгом плавании замечаешь, что молодежь или люди, впервые оказавшиеся вдали от берегов, начинают представлять себе землю, родину несколько иначе, чем на суше. Лицо земли как бы видится им отчетливее, его характерные черты становятся более резкими, над ним золотой дымкой парит возрастающая со временем и расстоянием нежность, с которой мы относимся к своему краю. Вот эта-то самая нежность, эта любовь суровых тружеников и определяет сегодня все наше настроение. Кроме того, выделяется и еще одна черта, обусловленная составом нашей экспедиции, где чуть ли не каждый — ученый или техник: гордость за свою отечественную науку. Тут отнюдь нет хвастливого пренебрежения к Западу, нет никакого «шапкозакидательства». Но есть твердое убеждение в том, что советской науке не придется конфузиться ни перед кем в мире!

Мои мысли бродят по эстонским городам, дорогам, деревням и проливам. В уме складывается мозаика, составленная из разноцветных осколков: из людей, из их труда, их забот, их радостей и песен, из холмистых озерноглазых пейзажей Южной Эстонии, из каменистых равнин Северной Эстонии, из холодных серо-стальных проливов, из пылающих красок осеннего леса

на островах и островках. Возможно, я видел бы все это еще отчетливей, если бы карта, формирующаяся в моем сознании, не была покрыта броней стертого поэтического словаря, в котором часто не найдешь ненависти к тому, что следует ненавидеть, и любви к тому, что следует любить, в котором нередко отсутствует чувство неплатного долга перед своей родиной, своей страной и своим временем.

А из центра возникшей в сознании карты на меня смотрит продолговатый синий глаз Вьртс-озера. И я вспоминаю Уитмена:

Земля! Ты чего-то ждешь от меня?
Скажи, старина, чего же ты хочешь?

А старина отвечает:

Жду, чтоб мои сыновья изменили меня!

8 НОЯБРЯ 1957

Бискайский залив

Бискайский залив спокоен. Где-то впереди шторм, и позади шторм: А «Кооперация» плывет в зоне затишья. Конечно, мы идем не по середине залива, а по краю, который обрезается на западе Атлантическим океаном. Тихий, задумчивый день. Сегодня не работают. Все сидят по каютам маленькими группками, состоящими в большинстве случаев из людей одной специальности. У многих из этих групп состав уже стал устойчивым.

Днем светит солнце, на серой спине Бискайского залива появляются большие травянисто-зеленые пятна. Сегодня впервые встретили дельфинов. Их было шесть. Они около часа играли у носа, в волнах форштевня, ныряли, выскакивали и всячески забавляли нас. До чего ж они похожи на поросят!

Попадают не то чтобы несчастные, но серьезные лица. У тех людей, которые еще не получали радиogramм, появление коменданта Голубенкова вызывает известное оживление, но если он не подходит к ним и не протягивает радиogramмы, наступает реакция: забытые мужья нервно курят, выходят из курительного салона на веранду, снова возвращаются с веранды в салон, потом отправляются ненадолго на пассажирскую палубу, оттуда поднимаются на шлюпочную и, наконец, взбираются на верхний мостик. Их руки совершенно им не под-

чиняются, словно у молодых актеров, впервые играющих неудачников. По-видимому, и я выгляжу не лучше — мне тоже нет радиограммы. К Голубенкову я не подхожу и ничего не спрашиваю, — он знает меня и сам пришел бы ко мне в каюту. Плакаться никому не хочется. Один из несчастных уже пробовал жаловаться на свою жену. Его утешили следующим образом:

— А ты чего думаешь? По случаю праздника жена не иначе как загуляла где-нибудь, плясала до утра, теперь у нее на уме только кавалеры. Один раз вспомнит о тебе, а двенадцать раз забудет. Чего же ты нервничаешь?

Чехов где-то говорит, что если уж человек шуток не понимает, то пиши пропало. Данный товарищ не понял. Да и, по правде говоря, утешали его несколько сурово. Через полчаса я вышел на палубу. Бедняга стоял, облокотившись на поручни, смотрел на Бискайский залив и, наверно, ничего не видел.

В море надо уметь и посмеяться над самим собой, уметь хотя бы временами расправляться со своими заботами и черными мыслями. Без этого очень тяжело.

Васюкову, как раз когда у нас в каюте собралось несколько моих и его друзей, принесли радиограмму. Под нею была подпись: «Сыновья» (второму, младшему, шесть месяцев). Васюков принялся отплясывать на койке какой-то невероятный танец, выражавший наивысшую степень радости. Держа в левой руке радиограмму и показывая ее всем, он одновременно писал правой ответ. У него связь с землей железная.

Ветер к вечеру крепнет. «Кооперация» уже отвешивает глубокие поклоны Бискайскому заливу. Возвращаясь в очередной раз с палубы в каюту, увидел, как ветер, ворвавшийся в открытое окно, читает книгу Хансена «На лыжах через Гренландию». Ветер перелистывал страницы быстро-быстро, ни одной не пропуская и задерживаясь на секунду лишь на вклейках из меловой бумаги.

Вечера и ночи уже очень темные. Луны сегодня нет, всюду грозовые тучи. Гремит гром. Вспышки над Бискайским заливом хотя и далекие, но ослепительно яркие. Освещаемые волны кажутся черными, как антрацит. Лишь кое-где светлеют белые гривы пенистых гребней.

Видели своеобразное явление природы — ночную радугу. Она появилась с правого борта — на западе. Не

такая четкая, как дневная, она, однако, была хорошо видна на фоне черных облаков.

Вечером несколько человек собралось у капитана. Он устроил небольшой прием в честь праздника. Каюта капитана расположена выше остальных кают, качается она сильнее. Несколько тарелок разбилось. Разговор вертелся вокруг «Пингвинов». Бурханов большой спец по этой части. Выяснилось, что на испытаниях в море «Пингины» выдерживали волнение в пять баллов. Капитан рассказывал много интересного о «Кооперации», о ее рейсах, а особенно много о ее винте. Сейчас на судне поставлен стальной винт. Согласно теории, лишь стальной винт способен уцелеть в условиях Арктики и Антарктики. Многие, однако, сомневаются в этом. Преведный винт «Кооперации», бронзовый, плывет с нами в трюме. С ним мы делали бы на две мили в час больше.

Оказывается, винтам посвящена целая область специальной науки.

9 НОЯБРЯ

Атлантический океан

Где-то слева от нас Португалия.

Все пишут письма родным или друзьям. Завтра или послезавтра нам должна встретиться плавбаза «Казань». Если волна позволит передать на нее письма, она через несколько дней доставит почту в Одессу. Я тоже пишу.

Днем была лекция профессора Маркова об Антарктике. Состоялась она в музыкальном салоне, куда собралась чуть ли не вся экспедиция. Несколько данных об Антарктике:

Общая площадь — 14 100 тысяч квадратных километров материковой земли, куда следует отнести и 930 тысяч квадратных километров ледников. Средняя высота — 2200 метров (на других материках она равна 850 метрам). Эта необычайно большая высота обусловлена льдом, ледяной шапкой. До сих пор ученым еще не удалось как следует заглянуть под эту шапку, и что под ней находится — знают плохо¹. Огромная толщина льда создает давление громадного веса на каждый квадратный километр антарктического материка. Лед

¹ Третья экспедиция во время похода к Полюсу относительной недоступности провела сейсмозондирование толщины льда и установила основные особенности в структуре подледного ложа.

скрывает его от нас. Изю всех ледяных масс, ледяных ресурсов мира 86 процентов, а может быть и больше, приходится на Антарктику. Поистине шестой материк можно сравнить с женщиной в кринолине. Лед делает его более широким и высоким. Высота Южного полюса две тысячи восемьсот метров.

Карты Антарктики, даже новейшие, все еще неполны, неточны, и в них много ошибок.

По кораблю ходит из рук в руки книга Маркова «Путешествие в Антарктиду». Ее надо обязательно прочесть.

11 НОЯБРЯ

Атлантический океан

Сегодня на траверзе Гибралтара с нами встретилась «Казань». Погода была дивная, вода синяя-синяя и ослепительно сверкала на солнце. «Кооперация» и «Казань» приветствовали друг друга продолжительными гудками. Между нами всего лишь какой-нибудь кабельтов. На бортах обоих судов полно народа — лицо к лицу, плечо к плечу. Думаю, что на «Кооперации» по меньшей мере двести фотоаппаратов. Они щелкали без передышки. «Казань» — неплохой корабль. Не такой, конечно, как «Кооперация», — плавбаза все-таки.

С «Кооперации» спустили шлюпку. На веслах — четверо матросов, за рулем — старпом, или, по нашей терминологии, первый штурман, — он должен передать письма. С высоты мостика шлюпка казалась маленьким белым жуком. А писем, в основном без марок, было около пятисот. Почте доход.

Вчера я думал о том, как поэтично и красиво можно описать встречу двух кораблей в океане. Сегодня уже не думаю. Все красиво, все замечательно — не только это. Стоит, например, вообразить, как письмо поплывет через теплое Средиземное море, мимо Золотого Рога и через Черное море, как оно попадет в Одессу, пройдет через множество рук, и утром таллинский почтальон нажмет звонок на двери моей квартиры, а после того, как ему откроют, потребует с моей жены рубль доплаты. И как моя жена даст ему рубль, а потом на радостях еще пять, как, наконец, она возьмет письмо в свои белые руки, вскрыет его, прочтет, заплачет, рассмеется и крикнет: «Ура-а-а!» Но все это останется ненаписанным,

потому что я решил серьезно отнестись к своим кинооператорским задачам и, зарядив «Киев» новой кассетой, вышел на палубу.

Все кассеты — я пробовал и две свои и две чужие — заедали.

В какой-то книге мне попало выражение «пенистая злоба». Оно наилучшим образом характеризует мое состояние. Сочувственные взгляды, готовность всех прийти на помощь и дружеские советы приносили мне лишь минутное облегчение. Жаль, что эта техника не моя собственность! Глубина океана тут две тысячи метров...

Шлюпка вернулась, и ее подняли.

«Кооперация» пошла дальше своим курсом на юг, а «Казань» повернула прямо на восток, по направлению к Гибралтарскому проливу. Доброго пути!

Днем корабельный радиоузел сообщил, что сегодня вечером состоится торжественное открытие кинотеатра «Волна» — событие в своем роде историческое. Всех попросили принять в нем участие. Сегодня и впредь будут показываться лишь те фильмы, где много любви и мало крови.

Кинотеатр этот действительно своеобразен. Проекционный аппарат поставлен на шлюпочную палубу, а экран прикреплен к кормовой мачте. Зрители всюду — на спардеке, на трапах и у поручней, но главные счастливицы сидят на «Пингвинах». Это привилегированная публика, то есть водители «Пингвинов» и механики, те, кто не забывает этих машин и днем. Правда, их места расположены слишком близко от экрана, но зато они могут растянуться на брезенте и в скучных местах спать. А надо всем этим мягкая субтропическая ночь, по-негри-тянски черная. Когда «Кооперацию» качает, на небе качаются большие и очень яркие звезды. Показывали египетский фильм «Любовь и слезы». В наиболее трогательных местах с «Пингвинов» доносились тихие вздохи.

12 НОЯБРЯ

Атлантический океан

Океан прямо-таки неправдоподобно, невероятно синий, интенсивно-синий. Не могу подыскать точного слова, чтоб определить эту синеву. При солнце на океан нельзя смотреть без защитных очков. Он слишком ярок.

Становится все теплей. Приближаемся к тропическому поясу.

Меня все время мучает, что я еще не пишу пьесу, мучает ощущение того, что я ничего не делаю, а если и делаю, так слишком мало. Глупое, угнетающее чувство. Дни уходят так быстро!.. До Кейптауна пока что не меньше двадцати дней. За это время надо хотя бы закончить второе действие, чему экваториальная жара, вгоняющая в пот, конечно, будет мало способствовать. Решаю приступить к работе 14 ноября. Я не такой дурак, чтобы приниматься за что-либо серьезное в среду, да еще тринадцатого.

13 НОЯБРЯ

Атлантический океан

Весь день плыли между Канарских островов. Слева, правда, очень далеко, виднеется их гористый, высокий рельеф. Острова и вершины гор окутаны мягкой туманной дымкой. Даже самые сильные бинокли не помогают. Хотя я и вправе сказать, что видел Канарские острова, но виднелись они так же неразлично и смутно, как во сне. Скорость у нас жалкая, у «Кооперации» работает лишь один дизель. Делаем каких-то шесть миль в час. Если так пойдет и дальше, то сомнительно, чтобы мы к Новому году добрались до Мирного.

Дивная теплая погода. Каждый раз, как выхожу на палубу, меня поражает темная синева океана. Она такая ровная и чистая, словно выдумана поэтами.

Для нас, детей серого моря, это живая сказка. Я могу смотреть на нее все те двадцать дней, в течение которых мы будем плыть по тропическому поясу. Хочу запомнить эту синеву навсегда. Ведь неизвестно, когда опять попадешь сюда.

Индийский океан, через который «Кооперация» поплывет обратно, наверно, представляет собой нечто другое.

Видели летающих рыб. В сумерках нас долго провожало миганье какого-то мощного маяка.

Самочувствие скверное. Каюта кажется клеткой, нет покоя и на палубе. Тяжело смотреть в глаза товарищам.

За последние годы я научился довольно легко переносить критику, но все еще по-прежнему донимает грызущее чувство вины из-за какой-нибудь незначительной с виду ошибки — по-прежнему падаю духом из-за недоброжелательного слова или хотя бы только интона-

ции. Донимает меня чувство вины и сегодня. Я легкомысленно и бездумно подписал открытое письмо, адресованное в радиогазету. Подобные вещи со мной случались и прежде. В письме говорилось о воде — о воде для мытья.

Уже начиная с Бискайского залива у нас течет из кранов соленая вода. От нее сохнет и дубеет кожа, щиплет глаза, а волосы становятся похожими на разлохматившийся смоленый канат. Мыло, которое мы взяли в Киле, не годится для мытья соленой водой. В Киле произошла какая-то путаница, и нам дали мыло, которое используют для дезинфицирования. Оно не мылится и противно пахнет. Это вызвало протест у некоторых членов экспедиции, в связи с чем и было в конце концов составлено упомянутое письмо. Авторов я не знаю, но письмо подписал. И сразу понял, что это глупость. На корме резервуар с пресной водой — налей себе ведро, отнеси в каюту и мойся. Никто этого не запрещает — вода не лимитирована. Мне следовало бы знать, каков водяной режим на кораблях дальнего плавания. И, наконец, я лишь временный участник экспедиции, мне не предстоит зимовать в Мирном или перебираться на «Обь» к морской экспедиции. У меня нет оснований высказывать те претензии, какие могут себе позволить члены экспедиции. Ко мне обратились явно потому, что я числюсь по списку корреспондентом «Правды».

А за всем этим кроется желание побывать в Дакаре.

14 НОЯБРЯ

Атлантический океан

Сегодня общее собрание экспедиции. Первым обсуждался вопрос о воде. Заход в Дакар, в котором мы не взяли бы на борт ничего, кроме воды (все остальное уже заказано в Кейптауне), обошелся бы в четыре тысячи золотых рублей. Много было разговору о письме. Из ста шестидесяти шести членов экспедиции его подписало лишь тридцать семь человек. Главным перлом была попавшая в письмо при редактировании фраза, которую громко прочел вслух Георгий Иванович Голышев, избранный на срок плавания до Мирного секретарем оргбюро партгруппы. Она звучала примерно так:

«Тем самым командование корабля и руководство экспедиции берет на себя тяжелую ответственность за

жизнь двухсот человек». Про такие фразы говорят, что их идейный вес чрезмерно велик.

Все разрешилось мирно. В Дакар мы не пошли. Но этого «послания тридцати семи» я не забуду до смерти.

Вторым вопросом было вино. На плавание в тропиках предусмотрено по триста граммов сухого вина в день на каждого. По-видимому, всем было ясно, как быть: вычитать ли стоимость вина из денег, полагающихся на питание (в тропиках это шестнадцать рублей в день, от которых осталось бы только девять рублей), или покупать вино за свой счет. Расход в восемьдесят — сто рублей посилен каждому. Но обсуждение затянулось. Нашелся человек, который стал доказывать, что девяти рублей ему хватит и что все остальные сто шестьдесят пять участников экспедиции — обжоры. Исходя из этого (он выразился именно так), он желает, чтоб над его рационом был установлен специальный контроль и чтоб ему выдавали вино бесплатно. Всех развеселило это предложение, и его единодушно провалили, сопроводив громогласными и обстоятельными комментариями. Где бы мы ни находились, куда бы ни плыли, всюду человек возит с собой основные свойства своего характера, а порой жадность и мелочность. Но если бы на «Кооперации» плыли ангелы и боги, мне бы не было никакого смысла торчать здесь, несмотря на такое синее море и такое теплое солнце.

На носовых люках, на больших тракторных санях соорудили плавательный бассейн. Работа шла споро, с азартом, и бассейн, маленький, но глубокий, получился удачным. Выяснилось, что очень многие орудуют топором и пилой не хуже плотников. Особенные мастера на все руки — радисты. Лишь мои послания на эстонском языке они порой приносят из радиорубки назад — несмотря на все мое старание писать поразборчивей, почерк мой плох и отдельные буквы непонятны.

Работает два кружка английского языка — для начинающих и для более опытных. К пьесе я еще не приступил. Слишком жарко. А главное — все не выходит из головы эта дурацкая подпись.

15 НОЯБРЯ

Атлантический океан

Сегодня в 5.40 под 17° западной долготы пересекли тропик Рака. Погода по-прежнему отличная. Бассейн

долон народу, все кричат, толкаются, поднимают фонтаны брызг. Корабль начинает все больше походить на плавучий санаторий или дом отдыха. Расхаживаем по палубе в купальных трусах. У меня небольшой жар — слишком долго пробыл на солнце. Оно здесь коварное. Температура воды в бассейне 25—26 градусов, и купанье освежает лишь на минуту. Как только кожа обсохнет на солнце, она оказывается сплошь покрытой солью. Мне пришла в голову забавная мысль: с каким удовольствием всех этих людей на баке, которые разгуливают после купанья на солнце, лизали бы телята! Они ведь так любят соль.

Видели несколько дельфинов. Но нас больше интересуют летающие рыбы. Они в самом деле летают, как птицы, и своими распростертыми плавниками напоминают ласточек. И в их полете есть что-то от полета ласточек. Очень грациозны эти рыбки и красивы — на солнце переливаются их белые животы и темные спинки. Некоторые выпрыгивают из воды на два метра и пролетают, если судить на глаз, не меньше ста метров.

Работа не клеится. В каюте 30 градусов и ужасно душно. Открыв дверь и включив вентилятор, мы снизили температуру до 28, но чуть погода она поднялась до 32 градусов. На палубе, конечно, еще жарче.

Море спокойное, волны нет. Голова немного кружится. С этим солнцем надо быть осторожным, а не то попадешь в руки к врачам, и тогда — прощай бассейн, прощай дельфины! Уж они, врачи, умеют устанавливать жесткий режим, все уши просверлят своими разговорами о разумном, по их мнению, питании, о вреде курения и об опасности солнца. Несколько дней назад корабельный врач заявил мне:

— Я сделаю вам прививки от холеры, оспы и чумы. Это очень полезно.

Стараюсь держаться от него на почтительном расстоянии.

16 НОЯБРЯ

Атлантический океан

Не верится, что сегодня 16 ноября. Самое настоящее, устойчивое и, как кажется, вечное лето. Волны нет — поезд и то больше качает, чем наш корабль. Порой совершенно пропадает чувство времени и пространства,—

кажется, что ты где-то в Эстонии, в самый жаркий июльский день. Нежный ветерок, над головой безоблачное небо.

Я настолько освоился с каютой, словно она всегда была моим кабинетом. Конечно, я еще постигну то чувство, которое преследовало Джозефа Конрада и которое он называл «каютобоязнь», но пока что до этого еще тысяча миль. Лишь когда задумаюсь, понимаю вдруг, что я в океане, что мы приближаемся к экватору и что по ночам на нас уже смотрят чужие звезды. «Кооперация» идет с приличной скоростью, покрываем за день больше двухсот сорока миль. Работают оба судовых дизеля, это две тысячи восемьсот лошадиных сил, и наша скорость равна одиннадцати милям в час. Приятно чувствовать под ногами могучее биение моторов.

Очень много летающих рыб. Дважды попадались дельфины стаи. В каждой по несколько десятков дельфинов. Они носятся перед самым кораблем, в волнах форштевня, выскакивают из воды, ныряют, поворачиваются на бок. Палуба полна зрителей, наиболее удачные прыжки пытаемся фотографировать. Всех нас поражает то, что дельфины, плывя перед нами с двадцатикилометровой скоростью, двигаются так, словно кто-то их тянет за невидимую нитку. Словно где-то раньше им дали толчок, и они мчатся только по инерции. Чудесные создания! Сколько от них веселья!

Самое оживленное место на корабле — бассейн. Здесь круглый день бесплатный цирк. В соленой воде, доходящей до груди, идет война всех против всех. Здесь борются, применяя самые классические обманы, топят друг друга, щекочут пятки. И если иной блаженный зритель, загорающий на краю бассейна и хохочущий во всю глотку, зазевается, то от чьего-нибудь неожиданного толчка он может слететь в воду вниз головой. Лишь ранним утром здесь не так людно.

Днем состоялась лекция кандидата наук Голышева: «Исследование верхних слоев атмосферы с помощью ракет». Интересная лекция. После нее на лектора градом посыпались вопросы.

Просидел несколько часов над пьесой, переписал начало первого действия. В тропиках все же тяжело работать. Занялся подготовкой нового номера стенгазеты. Достать материал очень трудно. Начинаешь агитировать человека серьезно и деловито, а он у тебя из-под носа — юрк в бассейн! А потом и спрашивает:

— Ведь так оно лучше, Юхан Юрьевич? Что за дурак станет писать в такую жару? Пошли дельфинов смотреть.

Следующий номер должен выйти ко «дню Нептуна», то есть к тому дню, когда мы пересечем экватор.

13 НОЯБРЯ

Атлантический океан

Сегодня нам сообщили о прибытии «Оби» в Мирный. Жара. Я уже десять раз побывал в бассейне и чувствую себя похожим на кильку в рассоле. Весь день во рту жгуче-соленый вкус морской воды. Как ни странно, это спасает от жажды. Влажность воздуха очень велика. Чемоданы, туфли и даже перчатки в кармане ватника покрыты белым налетом.

Опять пытался взяться за пьесу. Не выходит. На бумаге образуется какая-то смесь из пота и чернил. Так же было и вчера. И еще насморк — он всегда появляется у меня в самое жаркое время года, а не в ту пору, когда чихают все порядочные люди. Папиросы сырые, вернее, мокрые. Приходится при курении сосать их изо всех сил, от чего щеки западают, как у дистрофика.

Хорошо помогает сухое вино, смешанное с водой. Повсюду — на палубе, на баке, у шлюпок и в бассейне — раздается новомодное словечко «тонус». Когда говорят: «Пойдем поднимем тонус», — это значит, что тебя приглашают в каюту выпить вина. Многие не любят сухого вина из-за того, что оно слабое и кислое. Поэтому у тех, кто его любит, имеются дополнительные ресурсы. Все время из иллюминаторов летят в воду пустые бутылки. Начиная с того места, где скрещиваются тропик Рака и 17-й западный меридиан, путь «Кооперации» отмечают плавающие по океану бутылки, которые содержали в себе когда-то грузинское вино № 23.

Сегодня в 12.00 под 10°04' северной широты и 17°09' западной долготы «Кооперация» по-прежнему покрывает в час десять с половиной — одиннадцать миль. Это неплохо. Приближение экватора ощущается в воздухе. Церемония морского крещения обещает быть интересной. В коридоре рядом со мной промелькнул некий современный король Лир — красная мантия, длинная борода из мочалки, корона, ключ от экватора

и серебряный щит. Не знаю, откуда он появился и куда исчез. Лишь немногие посвящены в тайны предстоящей церемонии.

По радио все время передаются какие-то сообщения. Или, точнее говоря, распоряжения и запрещения. Не было еще ни одного сообщения, которое что-нибудь разрешало бы. Нельзя курить на всех палубах, кроме шлюпочной, специально для этого отведенной; нельзя курить на койке; нельзя бросать окурки за борт — ветром их может принести назад, а пожар на корабле, особенно если у него такой груз, как у «Кооперации», самая опасная вещь; нельзя ходить по служебным помещениям без рубашки; нельзя появляться на баке раздетым; нельзя выносить на палубу постельное белье — преступивших эту заповедь грозят оставить до Мирного без простынь. Но наиболее суровая борьба ведется с неудержимым стремлением ходить нагишом. Ведь на корабле есть женщины.

Получил для стенгазеты серию карикатур, изображающих эволюцию в одежде участников экспедиции.

Первая. После отплытия из Калининграда на палубе сидит в соломенном кресле печальная личность. На ней ватник, капюшон натянут на нос, на ногах унты, руки в меховых рукавицах. Даже по спине человека видно, что он страдает морской болезнью.

Вторая. Ла-Манш. Та же фигура с фотоаппаратом на шее, в легком, даже щегольском наряде.

Третья. Субтропики. Тут уж мужские телесные красоты более на виду — человек в одних трусиках.

Четвертая. Тропики. Голый человек вешает на ванты сушиться купальные трусы. Это все та же фигура, что и на предыдущих рисунках, но ее сложение изменилось. Ноги вдруг оказались очень кривыми и тощими, живот — словно тыква. Если не считать этого неожиданного искривления ног, вся серия очень точно подметила одну из черт тропических будней «Кооперации». С некоторыми людьми действительно произошла подобная эволюция.

Научная работа, которая велась в умеренном климате весьма энергично и которая после тропиков снова оживет, несколько замерла. На палубе можно сыграть в домино и в карты с кандидатами наук. И в то и в другое играют с большим азартом, принимают всерьез и победу и поражение. Это касается и меня — выигрыш поднимает настроение.

Вечером была гроза, потом шел дождь. Во время киносеанса вддали непрерывно сверкали ослепительные молнии. Звезд не было. Лишь с правого борта, на западе, мерцала большая звезда. Она такая яркая, что больно смотреть. Это Венера.

19 НОЯБРЯ

Атлантический океан

В 12.00 координатами «Кооперации» были $7^{\circ}11'$ северной широты и $15^{\circ}12'$ западной долготы. Мы все с такой же хорошей скоростью приближаемся к экватору и в то же время сильно отклоняемся на восток.

Где-то за сверкающей водой — Либерия. Но до Кейптауна мы так и не увидим африканского материка, тех берегов, которые видел во сне хемингуэвский старик, берегов с резвящимися львами и сверкающими песками.

Радисты приняли ночью радиограмму от моей жены. По этому поводу меня пригласили в радиорубку. Все сообщение, включая и адрес, было написано по-эстонски. Оно прошло через руки двух или даже трех радистов, не знающих эстонского (Таллин — Москва — «Кооперация»), и в тексте кое-что изменилось, но я все понял. В конце концов, любви мало дела до правописания.

Радисты образуют, вероятно, самый железный коллектив на «Кооперации». Почти все они работали на Севере за Полярным кругом. Все они знают друг друга, у них особая профессиональная дружба. Борис Чернов, проработавший на Севере одиннадцать лет, впервые за долгое время видит здесь теплое лето. Другие тоже. Мир был обращен к ним той своей стороной, о которой у многих из нас чрезмерно романтическое представление. На самом деле она не так привлекательна. Радисты хорошо знают летчиков, со всеми ними они держали когда-то радиосвязь.

Пишу эти строки в музыкальном салоне. Делается новая стенгазета, Мои хорошие друзья Чернов и Фурдецкий склонились над большим листом ватмана и пишут заголовки. У другого листа трудятся аэрологи Торжуткин и Белов. Тут же сидит и магнитолог Гончаров, один из наших лучших и активнейших помощников. У него уже отличные отношения с командой, и он добывает нам карикатуры.

Затем в салоне состоялась генеральная репетиция нептуновских торжеств. Нептун сидит в кресле, словно король на троне, а рядом с ним его свита — морские черти (эти пока без костюмов — к празднику их, очевидно, облачат в синие набедренные повязки). Решено, что чертей будет пятнадцать. Желающих больше. Но в черти больше не берут. Кроме того, какой-то находчивый человек распространил слух, что чертей, как некрещеных, лишат их нормы вина. Это значительно ослабило натиск добровольцев.

Здесь же и доктор Шлейфер, стоматолог, и Борис Галкин, написавший сценарий торжеств — сплошь в стихах, — а также разные наблюдатели вроде меня. Я немного страшусь 21-го числа: в этот день мне предстоит оказаться лицом к лицу с его величеством Нептуном, сопровождаемым морскими чертями и ассистентами.

20 НОЯБРЯ

Атлантический океан

Прохладный день. Сильный встречный ветер. Днем шел дождь. Не тропический, не проливной, а теплый, мелкий и мгlistый. Горизонт вокруг «Кооперации» сузился. Стояли на палубе в купальных трусах и мыслили дождевой водой. К сожалению, дождь кончился так же неожиданно, как и начался, и теперь у меня все волосы в мыле.

В двенадцать дня нашими координатами были $3^{\circ}47'$ северной широты и $12^{\circ}50'$ западной долготы. Берег Африки отодвигается все дальше, между ним и нами — дуга Гвинейского залива.

Весь день на корабле проводятся закрытые собрания, на которых обсуждается церемониал нептуновских торжеств. Мы по-прежнему занимаемся стенгазетой. Я уважаю первого помощника капитана Рябинина, но именно из-за него у нас возникают в редакционной работе трудности. Стенгазета — орган команды корабля и экспедиции. Благодаря первому помощнику дружеская критика разрешена только по адресу участников экспедиции. О корабле нельзя проронить ни словечка. Между Рябининым и редколлегией произошел долгий спор. Подпись под одной из наших карикатур гласит: «Женский час на дизель-электроходе „Кооперация”». Речь идет о послеобеденном времени с двух до трех часов.

когда бассейн предоставляется женщинам. Все остальные должны покинуть его к этому сроку. И покидают, но в последнюю минуту. Карикатура изображает, как на баке в купальных костюмах появляются женщины, а мужчины сломя голову убираются из бассейна.

Рябинин. Это оскорбление женщин.

Фурдецкий. Не вижу никакого оскорбления.

Рябинин. Сочините другую подпись, которая сделала бы содержание карикатуры абсолютно ясным.

Белов. Подпишем: «Восьмое марта в миниатюре».

Рябинин. Не годится. Политически неверно.

Чернов (*после обстоятельного изучения карикатуры, мне, вполголоса*). Юхан Юрьевич, на карикатуре десять задниц.

Фурдецкий. (*украдкой взглянув на карикатуру*). По-моему, девять.

На карикатуре и в самом деле выскакивают из бассейна десять человек.

Я (*тихо, за спиной Рябинина*). Но они же не могут оставаться в бассейне.

Один из членов редколлегии. Товарищ Рябинин, в газете десяток...

Второй из членов редколлегии. Тссс!

Рябинин. Что в стенгазете?

Один из членов редколлегии. Хорошая, говорю, стенгазета: ее десятки прочтут.

Постепенно мы достигаем соглашения с Рябининым и меняем только одно слово. Он по сути хороший, сердечный человек, но ему, как и всем нам, очень дорога честь корабля. Потому он и стоит всеми силами на защите морали.

Очень трудно быть ответственным работником, особенно в тропиках.

21 НОЯБРЯ

После пересечения экватора

Сегодня в 16.28 пересекли экватор под 10°04' западной долготы. И сейчас, чернильно-черной тропической ночью, уже в нескольких десятках миль к югу от экватора, в моей голове гудят все колокола таллинских церквей и бьют мощные трубы органов. Меня окрестили, наградили дипломом и на двадцать тысяч морских миль обручили с соленым океаном, пока что теплым, а в будущем ледяным. Эти двадцать тысяч миль мы про-

плывем самое малое за три или за три с половиной месяца.

Вопрос о том, будут ли они моими последними милями или нет, остается открытым. Я знаю, что на обратном пути в Таллин моя страсть к путешествиям может превратиться в пепел и клочья. Я знаю, что глаза к тому времени уже устанут смотреть на бесконечный водный простор, синий или серый, что я буду сыт монотонностью моря по горло, что мои чувства уже не смогут воспринимать эти порядком однообразные впечатления и захотят чего-то иного. К счастью, у меня нет иллюзий относительно моря.

В самом деле, в океане начинаешь порой принимать всерьез мрачное утверждение Анахарсиса, жившего за шестьсот лет до нашей эры: «Люди бывают трех родов: те, кто живы, те, кто мертвы, и те, кто плавают в море». Нигде — разве что кроме тюрьмы — человека не преследуют так неотступно чуждые ему тени, свои бывлые ошибки и людская неверность, подлинная или мнимая.

Надо иметь много силы, чтобы в тяжелые дни взгляд, обращенный внутрь, не цеплялся с болезненной страстью за все мрачное и не выуживал бы его на поверхность, пытаясь утопить все остальное под серыми, тяжелыми волнами. Те двери в нашей душе, что ведут в ночь, изрядно расшатываются в море. Есть такие двери и во мне. Я знаю, что любой ураган не так страшен, как тот, что бушует в нас самих, и отчего нередко начинают шататься даже те святыни, в которые мы несокрушимо верим на берегу. Мария Ундер пишет:

Платком я взмахну и — в дорогу.
Надежда — как водопад:
Вода сорвалась с порога,
И нет уж пути назад.

У скольких из нас в печальный, ненастный день вера и надежда уподобляются этой сорвавшейся с порога воде! И, глядя на море, мы словно прислушиваемся к водопаду, и взгляд у нас как у старых ожесточившихся людей. Такие дни бывали и будут еще. Что делать? Если бы не было *работы, задания, обязанности*, если бы не было веселья, юмора, иронии над самим собой и хороших людей, если бы не было *стремления к знанию*, то для человека с таким слабым характером, как у меня, все это могло бы стать опасным. Нансен превосходно сказал: «Человек стремится к знанию, и, как только в

нем угасает жажда знания, он перестает быть человеком». Очевидно, главным образом от того, сколько мы платим или готовы заплатить за счастье или чувство удовлетворения, и зависит, насколько они велики. Но жадность к счастью у людей неодинакова. Одни платят за чувство удовлетворения очень дешево, другие очень дорого.

Полярные исследователи, все без исключения, платят дорого. Вся история изучения Арктики и Антарктики — это история достижений, оплаченных огромными усилиями, страданиями и порой гибелью людей. Борис Чернов, работавший радистом на острове Диксон, так характеризовал условия работы в Заполярье и свое самое последнее положение: «Одиннадцать лет я никакой жизни не видел».

И вот теперь, на двенадцатом году, он плывет в Мирный. И все эти люди подчиняются не только приказу, но и чему-то иному, более важному, более существенному.

Я совершил три неудачные попытки попасть в антарктические воды. В 1950 году я пытался получить командировку на китобойную флотилию «Слава». В 1953 году добивался того же. И наконец теперь, в 1957 году, плыву к Южному полюсу. За предоставление такой возможности я крайне обязан главному редактору «Правды» Сатюкову.

Но зарождение этого желания относится к гораздо более раннему времени — к 1948 году, когда я впервые прочел книгу Берда «Полет на Южный полюс». Как тогда, так и теперь меня интересует прежде всего море и жизнь корабля, сам корабль. С ними тесно связана моя будущая работа — таковы у меня, во всяком случае, планы. Рейс, который мы совершаем, даст достаточно хорошее представление о морях и океанах, он достаточно продолжителен, чтобы в воспоминаниях и впечатлениях случайное успело свестись к минимуму. Мы увидели и увидим Северную и Южную Атлантику, субтропики, тропики, «ревущие сороковые» широты (по данным метеорологов, там уже с неделю неистовствуют сильные штормы), Антарктический Ледовитый океан.. На обратном пути мы увидим Индийский океан, Красное, Средиземное и Черное моря. Длина нашего морского пути будет почти равна длине пути вокруг земного шара. Если не считать Средиземного моря, мы сделаем петлю вокруг Африки. У меня концы этой петли сомкнутся в Таллине.

Не думаю, что после рейса я опять затоскую по морю. Но пройдет полгода, год, может быть, полтора, и я снова взберусь по трапу со своими чемоданами и предъявлю свои бумаги. А потом где-нибудь у Нордкапа или Курильских островов буду обвинять себя, как прокурор: «Какой дьявол погнал тебя сюда? Неужто не смог выдумать ничего получше? Вертится, как уж на сковородке!» И будут принесены новые клятвы: отныне я всеми десятию ногтями вцеплюсь в землю, отныне я обеими руками ухвачусь за свою любимую!

А если я нарушу эти клятвы, так только потому, что в море выпадают дни вроде сегодняшнего, праздничные, чудесные, никогда не забывающиеся.

Ну и ночь! Теплая и такая темная — лишь несколько одиноких звезд. Не могу подыскать для нее другого слова, как «всепоглощающая». За бортами «Кооперации» плещет вода. Васюков спит сном праведника. А из коридора доносится веселый, пьяноватый бас Нептуна, уже скинувшего свои одеяния:

— Дети мои!

Еще до крестин, в три часа, по радио сообщили, что всем впервые пересекающим экватор следует в 16.00 явиться на бак. Очки и часы оставить в каюте. Фотоаппараты взять с собой. Надеть все летнее и нарядное.

Погода на диво хороша: слегка прохладный, самый приятный ветерок и солнце. Перед бассейном выстроена эстрада, на которой должны расположиться руководители церемонии, «главные шишки». Через бассейн проложен качающийся дощатый мостик. На другом краю бассейна стоит большая бочка, покрытая марлей, — в бочке вино, предназначенное для крестников. Разглядеть остальные подробности трудно — фотоболельщики заняли самые лучшие места. Они даже висят на передней мачте и на вантах. Я попытался было наладить «Киев»... Но не будем больше о нем говорить.

В четыре часа на палубе появились удивительные рожки — все они пробирались к баку. Оркестранты, — то есть гидролог Извеков, метеоролог Лободин, радист Сулин и аэролог Маевский, — все размалеванные и в масках, заиграли церемониальный марш. Впереди всех шагал главный черт — геофизик Губанов, весь разукрашенный всяческими греховными фигурами. На голове у него рога, на лице — сатанинское выражение.

А следом за ним шествовал Нептун в своей красной царской мантии, усеянной звездами, в короне и с бородой до пояса — словом, очень импозантная личность. Это один из наших старейших, а может быть, и старейший полярник Иван Монсеевич Кузнецов. В первой антарктической экспедиции он был каюром, сейчас едет механиком. Семья Кузнецовых хорошо известна среди полярников, — как Иван, так и его братья Федор и Григорий. Они потомственные поморы и уже десятки лет живут за Полярным кругом. По всему видно, что Иван Кузнецов силач. У него округлая рыжая борода, большое обветренное лицо, синие глаза, могучий нос, уже лысеющая голова и плечи вдвое шире моих. Для Нептуна он подходит отлично.

За Нептуном следует протоколист с огромными фанерками под мышкой, затем лекарь — доктор Шлейфер, а позади всех — черти попроще и прочие деятели. Это было впечатляющее зрелище, когда все начальство расположилось на эстраде, а черти с размалеванными мордами и телами влезли на край бассейна и принялись кровожадно пялиться на всех нас, стоявших на баке. Их мускулистые руки не сулили нам никакой пощады.

Затем Нептун произнес:

Что привело вас на экватор?
Вы из каких идете стран?
И где здесь главный ресторатор
И этот самый... капитан?

Оркестр начал играть песенку о капитане из «Детей капитана Гранта». И под ее звуки в сопровождении помощников и в полной парадной форме появился капитан «Кооперации» Янцелевич, который обратился с приветственной речью к царю морей, защитнику судов, повелителю бурь и самодержцу крабов, раков, русалок и прочей морской живности. Капитан сказал, что мы рады встрече, что мы плывем в Антарктику и везем туда всевозможное снаряжение. Пропустите, мол, через экватор — будет его величеству Нептуну от ресторатора водка, а от остальных почет и уважение. Тут Нептуну подали большой бокал, который он и осушил. О качестве водки он не сказал ничего худого, но протоколист прошипел с крайне недовольной миной, что руководство экспедиции слишком все экономит и даже везет с собой в Антарктику бухгалтера. Тем не менее Нептун, произнеся соответствующие слова, передал капитану золотой ключ

от экватора длиной больше метра, а капитан предъявил Нептуну судовые документы. Все это время черти вертели головами и выскивали среди нас свою первую жертву.

Вдруг все — и капитан, и Нептун, и черти — отступили на второй план. Под грустную мелодию появилась Морская дева, которую изображал радист Яковлев. Она была в сделанных из тельняшки узких полосатых штанах, доходящих до икр, в развевающемся платье из марли, с длинными золотыми волосами, с ватной грудью и пышными бедрами. Держалась она грациозно, в движениях рук была мольба и ласка. Дева пыталась показать себя в наилучшем свете. Но лицо ее недвусмысленно говорило о том, какие безнравственные вещи творятся за спиной у Нептуна. Щеки Морской девы были нарумянены, под глазами темнела синева от ночных кутежей. И Нептун, к которому она сразу же полезла целоваться, отпрянул назад. Печать любви украсила щеку Огорокова, четвертого помощника капитана. Затем Морская дева произнесла тонким голосом речь, идея которой заключалась в том, что матросы и участники экспедиции, уставшие от долгого плавания, могут провести два-три дня у ее сестер, а потом, если захочется, вернуться на корабль. Речь сопровождалась красноречивой и вполне недвусмысленной игрой глаз. Оркестр заиграл танец из фильма «Господин 420». И Морская дева начала танцевать под эту музыку, сперва среди чертей, потом на мостике, перекинутом через бассейн. Танец был столь же выразительным, как и лицо девы, как ее развевающееся платье и полосатые штаны, как движения ее рук и покачивание бедрами. Много таинственного еще скрывается в водах океанов.

Появились ученые мужи. Они пожаловались на то, что «Кооперация» порой тащится слишком медленно, что, не избрав из ученой среды ни одного черта, их дискредитировали, из-за чего они слишком подпали под власть бесов, что они мечтают о ледовом материке, но, поскольку тот далек, их мысли устремились на валюту. Представители науки сообщили, что ими на борту «Кооперации» написана диссертация и что они просят разрешения преподнести оную его величеству Нептуну. Нептун почтительно принял диссертацию, раскрыл ее и обнаружил под обложкой бутылку, завернутую в паклю. Попробовал — вода, и за борт! Тогда придворный врач Нептуна, доктор Айболит, принялся осматривать

представителей науки. Пока длился медосмотр, исполнялся похоронный марш. Доктор нашел, что у мужей науки все не в порядке, и прописал им купание в бассейне. Под звуки «Калинки» наука полетела в бассейн — головой вниз, ногами вверх. Черти отнеслись к своей задаче с полной серьезностью: крестины так крестины!

Оркестр заиграл «Трех танкистов». Появились представители транспорта. Они рассказали о «Пингвинах» и преподнесли Нептуну в подарок бутылку смазочного масла. Один из чертей, личный дегустатор Нептуна, попробовал его и скривил страшную рожу. Бутылку — за борт, службу транспорта — в бассейн.

Оркестр заиграл «Мы, друзья, перелетные птицы». Появились Фурдецкий и Афонин — в черной нарядной форме, в белых сорочках со строгими черными галстуками, в начищенных туфлях. Они представились Нептуну, рассказали ему о летчиках, а потом попытались дать взятку, в виде бутылки, разумеется. Нептун оскорбился, и проворные черти тут же отправили летчиков в воду, во всем их параде. Долговязый Фурдецкий, ростом больше шести футов, прежде чем плюхнуться в воду, сделал в воздухе полуторное сальто. Над бассейном мелькнули его желтые сандалии. А маленького по сравнению с ним Афонина черти швырнули так энергично, что тот завертелся над водой кубарем.

Снова зазвучала «Калинка». Все черти пустились под нее в пляс — их набедренные повязки развевались, их ботинки выделяли невероятные кренделя. А потом началось поголовное крещение. Черти врывались в толпу зрителей, хватали их за руки и за ноги, и люди летели в бассейн — кто головой, кто брюхом, кто спиной вперед. Только с женщинами обходились деликатно. Я угодил в руки довольно свирепых чертей и благодарил судьбу за то, что бассейн у нас глубокий. Взлететь вверх и с высоты в два метра шлепнуться в воду — уж тут потом пофыркаешь.

Мы выползли на другую сторону бассейна, а там стояла на диво прекрасная Морская дева, которая подносила каждому крещеному большую поварешку вина из бочки.

Палуба выглядела презабавно. С десятков людей, вполне или почти вполне одетых, текла вода, а они отдувались. Черти с «Кооперации» делали свое дело на совесть. Когда народу стало мало, они пошли искать

укрывающихся. Судьба последних была плачевной. Я видел, как шестеро чертей волокли какого-то дезертира — по отсутствию туфли на одной ноге и по другим признакам можно было догадаться, что с чертями шутки плохи.

Вечером был торжественный ужин. С вином. Затем капитан выдал дипломы.

Конец — делу венец. А венцом сегодняшнего дня был праздник Нептуна и его чертей в музыкальном салоне. В жизни не видел ничего столь дикого, столь безумно веселого, столь безудержного и столь дьявольского, в самом серьезном смысле этого слова. Чертям и некоторым гостям главный черт поднес теплой прозрачной жидкости и по куску хлеба с огурцом и грибами. Напиток оказался разведенным спиртом, причем гримасы гостей и слезы на глазах показывали, что разводился он скорей для приличия. Произносились тосты, отличавшиеся своей краткостью, сочностью и ясностью мысли. Черти пели. Черти отплясывали русские пляски, гармонисты играли все в более быстром и быстром темпе, руки плясунов мотались, а за ногами уже нельзя было уследить. Салон был полон веселых молодых парней, ни одному из которых не стоялось на месте. И весь этот шум перекрывал отеческий голос Нептуна:
— Дети мои!

Винт «Кооперации» делает сто тридцать оборотов в минуту, сто тридцать раз в минуту корабль пронизывается слабым толчком, но во время праздника чертей корабль сотрясало куда сильнее и чаще.

22 НОЯБРЯ

Атлантический океан

Встретились с «Товарищем», учебным кораблем Одесского мореходного училища. Чтобы не разминуться с ним, «Кооперация» уклонилась на несколько миль к западу от той кривой, которой обозначен наш путь от Ла-Манша до Кейптауна. «Товарищ» совершает дальнейшее плавание. Он побывал в индийских портах, в Джакарте и в Кейптауне. Последняя стоянка до встречи с нами у него была на острове Святой Елены. В родной порт он прибудет в феврале. Писем с ним мы не отправили: обычным путем из Кейптауна они дойдут скорее.

У «Товарища» на передней и центральной мачте прямые паруса, а на задней — гафельные. В том, как беле-

ли вдали на синем фоне океана эти паруса, освещенные солнцем, как он, казавшийся очень высоким, шел к нам, было столько напоминавшего мне о несбывшихся мечтах моего детства! Между прочим, это первый парусник, который мы встретили за все плавание. Мало их осталось. И когда встретишь какой-нибудь настоящий, то это впечатляет так же, как если бы в наш музыкальный салон вошел лорд Байрон.

Мы обменялись кинофильмами. Суда стояли рядом, и к небу как с «Товарища», так и с «Кооперации» взлетали мощные «ура». Но тут ветер и волны подогнули к нам «Товарища» слишком близко, и курсанты ретировались с бугшприта, который уже покачивался над «Пингвинами». С угрожающей медлительностью бугшприт мотался от люка к люку, скребя сверху по борту «Кооперации», — корпуса кораблей составляли огромное «Т». Затем бугшприт добрался до самого высокого места кормовой палубы — и полетели щепки. «Товарищ» учинил у нас на корме изрядный беспорядок, одна из наших спасательных шлюпок нуждается в серьезном ремонте. Выражение «столкнуться нос к носу» в применении к кораблям перестает быть шутивным. Для них это дело серьезное.

Встреча с «Товарищем» вновь пробудила во мне одну мысль, которую я подспудно вынашиваю уже давно. А именно: мысль написать пьесу об одном из самых своеобразных и колоритных людей в истории эстонских мореплаваний, о Михкеле Ууэтоа, об этом «диком капитане», известном нашим отцам под именем Йыня с острова Кихну. Независимо от того, кто эту пьесу напишет, она, по-моему, должна быть песенным зрелищем. Но прежде чем приступить к ней, надо хоть немного поплавать на паруснике. Лучше всего для этого подходит «Вега», учебный корабль таллинской мореходной школы. Следует взять с собой в плавание режиссера Пансо и декоратора.

Расставшись с «Товарищем», мы взяли курс на юг. Вечером была лекция Бурханова о роли наземного транспорта в работах третьей экспедиции. Проблема эта крайне сложная. Одним из наиболее трудноразрешимых вопросов был для конструкторов вопрос о том, как избежать падения мощности моторов на высоте в четыре тысячи метров и более, да еще при семидесяти — восьмидесятиградусном морозе. Тот же вопрос стоит и перед летчиками, особенно в отношении старта. У нас есть

большой опыт двух предыдущих экспедиций, но «Пингвины» — это новые машины, и они едут в Антарктику впервые. Они вышли из заводского цеха незадолго до отплытия «Кооперации», и их истинные, практические достоинства будут определены только в Антарктике. «Пингвин» является детищем двух заводов — ленинградского имени Кирова и сталинградского тракторного, и, по всем данным, машина получилась очень удачной. У нее закрытая кабина, отличная теплоизоляция, в ней даже при самых низких температурах, возможных в природных условиях, могут жить и работать пять человек. «Пингвин» располагает компасом и радиопередатчиком. Мощность мотора 240 лошадиных сил, то есть на тонну веса приходится по 15 сил, так как «Пингвин» весит 16 тонн. По-видимому, предстоит еще испытать в условиях Антарктики его пригодность в качестве амфибии, но на больших высотах и при очень низких температурах он должен показать себя с наилучшей стороны.

После лекции мы разбились на группы, и водители «Пингвинов» познакомили нас со своими машинами.

Написал полстраницы пьесы. Смешно, но времени не хватает. После того как кончаю вечером писать дневник, «раздирает рот зевота шире Мексиканского залива». И я засыпаю. Тем самым еще раз подтверждается тот факт, что эстонские писатели умеют спать на любой широте.

23 НОЯБРЯ

Атлантический океан

Сегодня был на траверзе устья Конго. Погода туманная, свежо, ветер пять баллов. По-прежнему читаю книгу Маркова. Вечером показывали «Карнавальную ночь». Это на самом деле хорошая кинокомедия. А в море люди особенно любят веселое.

Уже несколько вечеров выискиваю для себя удобное место на время сеанса. Сегодня нашел. Это — спасательная шлюпка № 5 на корме. Здесь гуляет ветер, здесь над головой ночное небо, здесь у тебя такое чувство, будто ты один. Со шлюпки видишь глянцево-черный океан.

Не могу заснуть. Кто-то на палубе с отчаяньем и фальшью распевает цыганские романсы, песни Ива Монтана и «Шумел камыш». Певец раздобыл в музы-

кальном салоне гитару, благодаря чему его выступление превратилось в настоящую пытку.

В соседней каюте тоже не спят, хотя уже за полночь, а на корабле встают в семь утра. Но никто из нас не вмешивается. У товарища день рождения. Пусть хотя бы попой! И грустен не только голос певца. Грустны и мои мысли.

26 НОЯБРЯ

Атлантический океан

В 12.00 нашими координатами были 12°44' южной широты и 2°40' западной долготы. Быстро приближаемся к нулевому меридиану. На востоке, в сотнях миль от нас,— Ангола, португальская колония на западном побережье Африки.

После встречи с «Товарищем», как и за несколько дней до того, совсем не встречалось кораблей. Это объясняется огромностью океана, тем, что мы уклонились от обычного морского пути, и тем, что Суэц функционирует исправно. Мало судов огибает мыс Доброй Надежды.

Встретили большую стаю дельфинов. Погода прекрасная. Интересно, что на той же северной широте очень жарко, а здесь уже прохладно. Подлинный экватор, то есть полоса наибольшей жары, пересекающая Атлантику, проходит значительно севернее географического экватора. До Кейптауна остается семь-восемь дней. На юге, в сороковых широтах, по-прежнему бушуют одиннадцатибалльные штормы. Посмотрим, как встретит нас море там.

Сегодня счастливый день. Во-первых, получил радиogramму от жены. Во-вторых, посидел над пьесой, и работа начала двигаться. (Думаю, что между радиogramмой и хорошим рабочим настроением существует весьма тесная связь.) Те две страницы, что я написал, кажутся мне довольно сносными. Может быть, это объясняется тем, что я всегда, когда пишу, гоню от себя всякие сомнения, подстегиваю свою веру в себя и в непогрешимость своего решения. Без этого невозможно. Сомнения, душевные муки, потеря веры в свои способности, такое чувство, будто бы кого-то убил,— все это начинается после окончания работы. А пока что весь этот инквизиторский набор висит в шкафу, туго перетянутый брючным ремнем.

По совести говоря, я немного сомневаюсь в сценичности своей пьесы. И жаль, что такие опасения появляются всегда в тот момент, когда берешься за работу. Тут кончается самый лучший, самый богатый фантазией, самый волнующий период, в течение которого вещь, еще не обремененная грузом усилий и обязательств, существует только в воображении. Она все разрастается, постепенно приобретая все более устойчивую форму. Вырисовываются главные черты отдельных характеров. Отрывочные реплики, отрывочные диалоги уже обозначают, словно пунктир на карте, их пути, их метания. Но пока что мы видим свое неродившееся произведение, как видит осенний лес близорукий человек, различающий лишь большие сливающиеся пятна различного цвета.

Мучение для меня начинается лишь тогда, когда душу стихотворения, рассказа или пьесы приходится загонять в какое-то тело — в форму. Задуманное часто оказывается на бумаге бескрылым и бесцветным, скучным, словно чернила, втиснутым либо в слишком узкие, либо в слишком широкие рамки. Оно или не помещается в них, или не заполняет их.

Приступая к новой работе, я переживаю то же чувство, что переживаю иногда и по утрам — после сна о том, как я пишу стихотворение, превосходное стихотворение, которое пишется само собой.

Рифмы сталкиваются со звоном,
И слова сверкают, как щиты...

Но если и выхватишь из сна какую-нибудь строку, то видишь, что рифмы никуда не годятся, что мысль лишена логики, что во сне существуют иные законы и ограничения, чем наяву. Говорят, что поэтам, больным язвой желудка, снятся совершенно готовые и безупречные стихотворения, которые остается лишь записать утром на бумаге. Завидую стилю, дисциплине и эрудиции этих сновидцев, но, к несчастью, желудок у меня вполне здоровый и на сны мне надеяться не приходится. Да и вряд ли можно сочинить во сне что-нибудь объемистое.

До сих пор я чуть ли не ежедневно только тем и занимался, что бился над композицией, заботы о которой часто угнетали меня и во время отдыха. Учитывая это, следовало бы, наверно, на первых порах вообще отказаться от драматического жанра. Но я редко оставлял на полпути начатое.

Несчастье в том, что я очень плохо знаю сцену, ее законы, ее приемы. В этой пьесе, описывающей весьма мрачную сектантскую среду, нельзя идти и по линии высмеивания верующих, хотя бы эта линия и приводила к успеху. Не веря в бога, я верю в божественное в человеке. И сегодня, прежде чем приступить к пьесе, я перечитал написанную мной в Таллине в начале сентября характеристику сектантки Леа Вийрес, главной героини пьесы.

«*Леа Вийрес*. Светлая, милая, человеческая. Она хочет, но никак не может замкнуться в тесной сектантской скорлупе. Поначалу она принимает и признает сектантскую *антисоциальную и человеконенавистническую философию*, но не может подчинить ей свое «я», смелое, ищущее, страстное и привязанное ко всему земному. Главная проблема: *прорыв человечности, любви и воли к жизни сквозь учение безволия, равнодушия, фатальности, невмешательства в жизнь и т. д. и т. д.*».

Сютисте пишет:

Судьба, повсюду за тобой послушно
Я следовал до нынешнего дня.
Благослови ж теперь великодушно
Мое перо — не забудь меня.

Я не знаю, чем готов пожертвовать, лишь бы моя главная героиня удалась. Если не удастся она, не удастся все. Я все-таки очень ее люблю. Я еще в ранней юности полюбил человека, у которого для образа Леа Вийрес будет взято больше, чем у кого-либо другого. Тяжело и больно подступаться к проблемам, которые для этого человека являются вопросами жизни и смерти и которые я должен разрешить абсолютно неприемлемым для него образом. Ведь человек этот до сих пор не пришел и никогда, наверно, не придет к тому, к чему я приведу свою Леа в конце пьесы. Но писать о живых людях — это значит задевать их и порой несправедливо обижать.

Вечером показывали фильм «Когда поют соловьи». Уже не каждый вечер досиживаешь до конца картины — мы пресыщены кино. Не досмотрел до конца и сегодня. Светила луна, от нее ложилась на воду широкая серебристо-синяя дорожка, у самого корабля сужающаяся. Никогда не видел такой опрокинутой луны. Она была похожа на большую и плоскую золотую чашу, повешенную вверх дном над скатертью океана.

27 НОЯБРЯ

Атлантический океан

Сегодня в 12.00 наши координаты — 15°25′ южной широты и 00°52′ восточной долготы. Порой выглядывает солнце, хоть вообще-то небо над южным полушарием гораздо пасмурнее, чем над северным. Уже несколько дней подряд сила и характер волн совершенно одинаковы. На доске, висящей в курительном салоне, сила волн уже четвертый день определяется в три балла. Океан бывает красивым, привлекательным, волнующим, даже очень волнующим и в шторм, и в полное безветрие, и на закатах. Но он бывает и таким монотонным, что самая безлюдная пустыня показалась бы в сравнении с ним чудом разнообразия. Чтобы понять это, мало одного дня и даже одной недели. Завтра кончается четвертая неделя, как мы в плавании, и потому у нас есть основания быть несколько менее восторженными. «Кооперация» почти не качается, волна в три балла для нее пустяк.

Писал пьесу. Дело идет. Думаю, что завтра закончу первое действие. А главное, начинает вырабатываться совершенно твердый рабочий ритм, которого мне так вопиюще недостает в Таллине. Вернее, у меня слишком мало характера и слишком много административного тщеславия, чтобы выработать его там и закрепить. Но у океана есть свой ритм, и он его тебе навязывает. Даже у волны в три балла столько последовательности, упорства и вечного стремления вперед, что после того, как поглядишь с час на эти бугры без гребешков, отправляешься в каюту и говоришь себе: «Потащим воз дальше!»

Вечером опять кино. За то время, что мы в море, я видел самое малое фильмов двадцать. После них бывает то же ощущение, что и после напряженного рабочего дня: выкурено слишком много папирос, в голове у тебя пусто, и ты со страхом уклоняешься от всякой серьезной мысли, требующей каких-то усилий. Все фильмы сливаются в какую-то сплошную серую массу.

По определению Стендаля, существуют: сердечная любовь, рассудочная любовь, любовь-страсть, любовь-влечение и любовь-привязанность. В кино существуют: любовь-влечение (?), любовь, кончающаяся свадьбой, любовь, еще не кончающаяся на экране свадьбой, и заботливая привязанность героев второй категории к геро-

ям первой категории, привязанность, отказывающаяся себе во всем: в хлебе, в любви и в фантазии.

Часто в конце сеанса Васюков рычит, как полярный медведь.

28 НОЯБРЯ

Атлантический океан

В полдень наши координаты $18^{\circ}15'$ южной широты и $2^{\circ}08'$ восточной долготы. Приближаемся к берегу Африки. Океан по-прежнему пустынен. Видели первого альбатроса. Летящих рыб давно больше нет, но отдельные дельфины еще попадаются.

В общем хороший день. Кончил первое действие. Завтра перепису его начисто. Конец действия получился очень мрачным. Удался он или нет, не знаю. У меня есть склонность к мрачным вещам, хоть они мне обычно не удаются. Но в данном случае я *должен был* довести свою Леа до краха, до грани самоубийства, поскольку без этого «пробуждение» столь жизнерадостной девушки было бы совершенно необоснованным и нелогичным.

Весь день в голове вертятся мотивы из «Хвалы агнца» и «Победных песнопений». Выходит, что я немало их помню и сведуш в духовной письменности. Для создания соответствующего настроения распеваю с утра эти песни. Хорошо, что мои друзья не знают эстонского. Репертуар такого рода произвел бы на них весьма странное впечатление. Во время обеда у меня был длинный спор с Бурхановым об отношении к вере и о том, что, собственно, следует понимать под словом «верующий». Подход Бурханова к этому вопросу необычайно интересный и гуманный. Он не раз ставил меня в трудное положение и заставлял ломать голову.

Сегодня перечитал свои заметки, выписки из Библии, из сектантских молитвенников (при чтении последних у меня всегда поднимается уважение к Мартину Лютеру) и из «Паломничества христианина». Удивительно, что за рай создан человеческой фантазией! И какими мрачными красками расписывает она грешную землю! Мир—это долина слез, иссохший колодец, брэнность, греховность, хворости, преддверие ада, грядущий мрак, обманчивая пустота, засуха, хлад. Тут по преимуществу живут нищие, изнуренные, измученные, падшие души, грешные, убогие, пропащие. А надо всем этим черный свод униже-

ния, униженности и унижительность. Но какими бы черными красками ни изображался мир, он все же выглядит реальнее рая. Все описания рая внушают мне те же мысли, к каким пришел и Гек Финн в разговоре с тетей Полли (это блистательнейшие страницы Твена). Чинность, парадность, ходишь весь в белом с лютней в руках и поешь. Сплошная нивелировка — у льва будет овечье сердце. Улицы из золота, море из стекла (?), стены из яшмы, ручки, пальмы... Критики нет, да ее и не нужно, ибо всякая нужда в силе, ведущей вперед, отсутствует. Из словаря исчезнет слово «заблуждение». У магометан хоть есть в раю женщины, а тут... Христианский рай в известном отношении напоминает антарктический материк. Ведь когда Берд после зимовки на барьере Росса спросил одного из спутников, чего ему наиболее остро не хватало, тот ответил:

— Искушений!

Как рай, так и ад — плоды коллективного творчества. То, что ад вышел удачнее, ничуть не удивительно. В древнем мире, в средние века, в новые и новейшие времена ада на земле было сколько угодно. А рай приходилось выдумывать. Может быть, поэтому все мы знаем «Ад» Данте, «Рай» же читали очень немногие. А ведь это Данте!

На странные мысли может навести ночной океан и волна в три балла.

Сегодня был красивый закат. Пурпурный сверкающий океан выглядел при всем своем ленивом спокойствии могучим и гигантским. Этаким спящий лев. Солнце заходит здесь очень быстро. И после того, как океан проглотил верхнюю половинку солнца, над тем местом, где оно исчезло, еще сверкала несколько секунд корона из зеленых лучей. Редкостное, незабываемое зрелище.

29 НОЯБРЯ

Атлантический океан

Все время до обеда и после сидел над пьесой, переписывал ее.

Местоположение в полдень — $21^{\circ}22'$ и $4^{\circ}23'$. Погода по-прежнему превосходная. Волна слабая. Если посмотреть на карту, то мы недалеко от берегов Африки, но это только на карте. В пределах видимости ни одного корабля и никаких признаков близости земли. Уже

больше недели держится все одна и та же температура и с одной и той же силой дует ветер.

Приближаемся к Кейптауну. Должны туда прибыть 4 декабря. В связи с этим на «Кооперации» царят возбуждение и суета. С каждым часом повышаются акции тех, кто говорит по-английски. В первый день мы поедем на мыс Доброй Надежды. Второй день потратим на горюд. Корабль стал похож на какую-то биржу, то и дело слышишь слово «валюта». Тех, кто во второй раз попадает в Кейптаун, то есть участников первой антарктической экспедиции, спрашивают о ценах. Я тоже произвел небесную разведку, чтобы осведомиться о ценах. Говорят, хорошее виски стоит полтора фунта стерлингов. Гм-гм! Васюков выразился по этому поводу кратко:

— Акулы империализма!

Вечером показывали фильм «Если парни всего мира...» Этот сеанс запомнится мне как нечто промежуточное между реальным и нереальным. Где-то выше я уже говорил, что экран прикреплен к задней мачте. Вообразите себе, что на этом белом прямоугольнике качается рыболовный тральщик со своей командой в двенадцать человек и с угрозой смерти на борту. Их координаты — 68° северной широты. Но волнующееся на экране море почти полностью сливается с океаном за нашей кормой и бортами, отчего объем экрана становится бесконечным. Как будто эти двенадцать парней оказались на «Кооперации». На экране говорят по радиотелефону, и в этот разговор врывается морзянка нашего передатчика. Это чувство полного слияния с героями, чувство близости охватило не меня одного — мы все очень сильно переживали то, что происходило на экране. Картина хорошая.

Вблизи кормовая мачта «Кооперации» кажется очень высокой и мощной, особенно ночью. Она перерезает освещенные луной облака, выписывает на них зигзаги и петли, медленно скользит поверх звезд. Верхушка мачты словно торчит сама по себе — на нее и на антенну падает свет мачтового сигнального огня. Если основание мачты вросло в палубу, как дерево в землю, то ее верхушка сродни облакам, мелькающим между вантами, черно-синему небу и ярким звездам. Сегодня вечером впервые это заметил.

В восемь часов по гринвичскому времени мы пересекли под 7° восточной долготы тропик Козерога. Вышли из тропического пояса. Но после экватора жара не очень-то чувствовалась. Погода в меру прохладная, такая же, как на Балтийском море в середине или в конце июня.

В полдень заметил, что океан залит необычайно ярким светом. В последние дни это случалось редко. Выйдя на палубу, я не сразу обнаружил солнце. Оно было в самом зените, прямо над головой. Казалось, что мачты, поручни, «Пингвины», кресла и шлюпки утратили присущее твердым телам свойство отбрасывать тень.

Видели несколько альбатросов, у одного размах крыльев был не меньше полутора метров. Они скользят рядом с кораблем и совсем не шевелят крыльями. При таком расходе энергии можно покрывать немалые расстояния. Могучие птицы.

Привел в порядок записи последних дней. Тоже работа. После отплытия из Кейптауна снова примусь за пьесу. Может быть, удастся закончить второе действие до штормов на сороковых параллелях... Их нам никак не миновать. Последнее действие отложу на обратный путь, на Индийский океан. Южный Ледовитый океан и Мирный — это такие места, где надо будет смотреть, смотреть и смотреть.

Было еще одно большое событие — стрижка. В последнее время у нас это ремесло необычайно процветает. Приближается Кейптаун. Моим парикмахером был мастер парашютного спорта Медведев. У него на счету уже полторы тысячи прыжков. Он один из немногих, кто прыгал в районе Северного полюса.

Стрижка сопровождалась обменом мнений, демонстрирующих наши обширные познания в данной области. Бокс, полубокс, стрижка «под горшок», «под стильягу», «Бульба» (у одного из участников нашей экспедиции вся голова острижена наголо, лишь на темени оставлен чуб, — это и есть «Бульба»), à la Жерар Филип, à la голая репа и т. д. и т. д. Один из собеседников считал, что такой вытянутый затылок, как у меня, уже вышел из моды и что парикмахеру следует его замаскировать. Было предложено несколько соответствующих способов, заставивших меня содрогнуться от страха за свою жизнь и за сохранность содержимого своей голо-

вы. Васюков тоже отпустил несколько критических замечаний по адресу моего черепа. Это было отнюдь не умно. Его собственный затылок вытянут назад еще больше, чем у меня, и он носит шапку шестьдесят второго размера. У него, несомненно, самая большая голова на всей «Кооперации» и даже на всем тропике Козерога. Пословица о бревне в своем глазу и о щепке в чужом еще не утратила своего значения. Но сейчас мы оба с Васюковым обкорнаны и у нас торчат уши.

Видели сегодня хороший фильм «Разные судьбы». Наполненная, художественная, правдивая картина. После того, как по радио пожелали спокойной ночи и на спардеке погасили свет, группы спорщиков перебрались в коридоры. У каждого свое отношение к «Разным судьбам», но у всех оно положительное. Одна из групп стоит у двери нашей каюты, тут собрались радисты Якунин, Яковлев, Чернов, Сушанский и начальник складов Сергеев. Поскольку фильм отличается правдой жизни, то его психологическая разработка споров не вызывает. Но уж и квартиры же в нем! Композитор занимает огромные апартаменты, родители Татьяны тоже живут не хуже Рокфеллера. И это повод для дискуссии. Квартирный вопрос, как и все прочие жизненные вопросы, занимает умы и здесь. Другая группа состоит из конструкторов, транспортников и Бурханова с Васюковым. Васюков уже дошел до анализа драматургии Островского, но слушающий его Бурханов с сомнением шурится. В курительном салоне собрались летчики, метеорологи и некоторые участники предстоящей морской экспедиции на «Оби». Разные судьбы сходятся в группы и опять расходятся, бродят по коридорам и совсем не думают спать. Чудесный народ!

2 ДЕКАБРЯ

Атлантика

До Кейптауна осталось меньше четырехсот миль. При нормальной скорости мы добрались бы туда уже четвертого в начале дня. Но, очевидно, прибудем после обеда. Сильный ветер в семь, а временами и в восемь баллов, волна встречная, в шесть баллов. Это сбивает скорость.

Океан сегодня красив. Крепкий ветер уже вздымает воду, ходят волны, наш бак обдает густыми брызгами.

Океан кажется на глаз серо-синим, а сквозь бинокль — блекло-серебристым.

«Кооперацию» провожает множество альбатросов. Красивые птицы! Не шевеля крыльями, скользят они с волны на волну, скрываются в провалах меж волн, взлетают на гребень, а порой воздушный ток подбрасывает их вверх. У них очень длинные мечевидные крылья, но сколько я ни смотрел на альбатросов, еще ни разу не видел, чтобы они взмахивали крыльями дважды подряд. Они планируют, летя против ветра. Сегодня день альбатросов — для экспедиции они все еще новые знакомые.

3 ДЕКАБРЯ

Координаты в полдень: 30°08' южной широты и 15°20' восточной долготы. Ветер сильный — в восемь баллов, волна — в шесть-семь баллов. При шести баллах у форштевня начинает взлетать вода, при семи ветер еще яростней налетает на корабль, а при восьми баллах уже предчувствуется шторм. Днем снимал на баке альбатросов. Ветер пригнал их к самому объективу «Зоркого». Потом через борт начала бить волна, и я вернулся в каюту промокший, а объектив аппарата покрылся солью.

Редко удается слышать такой ровный гул океана, как сегодня. Гул этот громкий, он проникает в каюты, во все помещения, и на второй день кажется, что ты слышал его всегда и будешь слышать всю жизнь. «Кооперацию» сильно качает. Сегодня волна отличается особым свойством: те, кто не держатся за что-нибудь, ходят фокстротным шагом, независимо от того, умеют они танцевать или нет. Да, это настоящий океан.

Мы уже тридцать три дня в море. В жизни бывает так, что в самые заурядные, серые, посконные будни врывается вдруг праздничное чувство. Его порождают приятная встреча или доброе слово, успешная работа или ее окончание, счастливая идея или пресыщение серьезностью, взглянувшие на тебя красивые глаза или какой-либо другой неожиданный случай. Это чувство может вызвать и баня. Нынешнее мое чудесное настроение, видно, объясняется тем, что погода свирепая, что сегодня банный день и что завтра мы ступим на твердую землю Южной Африки.

Баный день называется на корабле «санитарным авралом». Длится этот аврал двенадцать часов — с восьми утра до восьми вечера. За это время следует вынести на воздух и выбить матрацы, одеяла, подушки и ковры, хорошенько убрать каюту, вымыть пол, убрать на столе (по моей вине самое неряшливое место в нашей каюте — стол), принять ванну, выстирать самое необходимое из белья и т. д. и т. д. При ветре в восемь баллов санитарный аврал становится особенно сложным предприятием. У второго люка волна бьет через борт, и все промокает, подветренная прогулочная палуба забита матрацами, и пристроить свою постель очень трудно. А только отыщешь свободное местечко, как оказывается, что тут надо мыть палубу, и ты носишься со своим матрацем, словно грешница с незаконным дитятей.

Утром у нас не было тряпки, а без тряпки пол не вымоешь. Я попытался найти боцмана, но не нашел. И Васюков тоже. Но потом Васюков отыскал на палубе повешенный кем-то мешок (очевидно, из-под угля), сунул его под полу и притащил в каюту. Мы почувствовали себя богачами. Васюков сказал мне:

— Какое счастье, Юхан! Гляди — мешок, целый мешок!

И я ответил серьезно:

— Действительно счастье.

Все на свете относительно.

Четверть часа спустя каюта была залита водой, все наше добро было нагромождено на койки, а мы оба метались как на пожаре. Боялись, что придут за мешком. Сейчас все сверкает. Мешок мы спрятали. Несмотря на советское воспитание, в нас еще сохранились пережитки собственничества.

Чудесно сидеть в ванне, в которой ходят в такт качанию корабля волны теплой и *пресной* воды. Мыло мылится, волосы на голове становятся пушистыми, а мысли в голове — воздушными. И, вымывшись, ты приступаешь к стирке.

Я выстирал три сорочки, легкую куртку и две пары носков. Сколько мыла истратил! Но хуже всего то, что, когда я повесил сушить свою куртку на палубе, она показалась мне более грязной, чем была до стирки. Будем надеяться, что это объясняется освещением.

Интересно, прибудем ли мы в Кейптаун до полуночи? В ночь на сегодня волнение перешло в шторм, «Кооперацию» подбрасывало и сотрясало, — когда она ныряла в провалы меж волн, казалось, что ее многотонное тело спускается по лестнице и на каждой ступеньке спотыкается. Шторм был встречным, сегодняшний шестибалльный ветер — тоже встречный, корабль теряет скорость, и поэтому мы опаздываем.

После обеда впервые увидели берег Африки. Песок, не очень высокие скалы с выделяющимися пятнами белого камня, куполовидные горы, маяк, два-три дома. Видишь простым глазом, как взбивается пена у подножья скал. Но все пасмурное и неотчетливое. Кто-то уверяет, что видит женщин, загорающих на пляже, но окуляры бинокля убеждают нас: это мираж. Но вот береговой выступ исчезает за кормой, а с правого борта к нам долетают приветствия какого-то маяка.

Альбатросов больше не видно. Они птицы открытых морей и не летают так близко от берега. Но зато за нами следует целое стадо привычных чаек. Рядом с кораблем проносятся одинокие дельфины, почти у самого борта высовывается наружу круглая, как набалдашник, голова тюленя. Здесь на тюленей не охотятся, и они держатся смело. Но настоящее их царство еще впереди, оно гораздо южнее.

После захода солнца началась ужасная толчея и суматоха — все устремились на левый борт. Кто-то крикнул: «Спутник!» — и всем захотелось занять наблюдательный пункт получше. Но ничего не обнаружилось — ни спутника, ни того, кто его видел.

23.00. Перед нами Кейптаун. Зарево его пестрых, сверкающих огней переливается над ночным океаном и отбрасывает на воду яркую рябь. Странно видеть в такой близости от себя чужие огни и светлые квадраты окон в жилищах незнакомых людей. Гудки машин, световые рекламы и стрелы прожекторных лучей над морем. Ветер доносит с земли запах хлеба.

Горы, высящиеся над Кейптауном, сначала привели нас в замешательство. Мы приняли их за штормовые тучи, темные и тяжелые. Но когда мы подплыли к городу, горы как бы отделились от неба. Они высились тем-

ным горбистым массивом, похожим на спящего верблюда. А вокруг этого гигантского животного белели, словно ромашки, огни Кейптауна.

Бак черен от людей. «Кооперация» бросает якоря. Ночь мы проведем на рейде.

5 ДЕКАБРЯ

Кейптаун

Утром на борт поднялся лоцман. «Кооперация» причалила к молу. Мы стали рядом с большим американским судном «Сити аф Йорк». Кейптаунская гавань все-таки представлялась мне более крупной и оживленной. А она не такая большая. Даже краны кажутся слабенькими. Корабли приплывают и отплывают редко. Летом на таллинском рейде больше движения.

Первое, что мы заметили в порту и что увидели потом еще более отчетливо, — это резкая грань между миром цветных и белых. Как видно, рубеж между ними — это рубеж между богатством и бедностью. Негры таскают мешки, шестеро негров гянут какую-то большую повозку, нагруженную обрывками канатов. Вообще вся грязная работа предоставляется цветным. Но русский эмигрант с бычьей шеей втолковывает у трапа участникам экспедиции, что в Южно-Африканском Союзе имеются и негры-буржуи. Слово «буржуй» он произносит так благоговейно, словно оно способно отмыть добела и негра, возвысив его до лика святых европейцев.

Солнце светит, небо сияет, ветер теплый. С горы, выглядевшей днем иначе, чем ночью (она теперь напоминает огромный каменный стол), широким водопадом ниспадает ослепительно белый туман. А под ним дома со сверкающими на солнце окнами и с красными крышами, городские кварталы с весьма узкими улочками. Глубокая и спокойная синева океана обнимает город. Под самым боком у корабля жарит на солнце свою черную голову купающийся в портовом бассейне негр.

Нам выдают деньги — фунты стерлингов. На пристани уже стоят три автобуса, которые должны отвезти нас на мыс Доброй Надежды. Кладу в карман свои фунты, вешаю на шею «Зоркий» и «Киев». Поехали!

Поездка на мыс Доброй Надежды надолго запомнится. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне хотелось

бы, чтоб у меня была небольшая, хоть в несколько дней, дистанция для более или менее упорядоченной расстановки и систематизации мыслей, впечатлений, цветов и светотеней. Мне понадобился бы не один день, чтобы передать красочность этих двух братьев, Индийского и Атлантического океанов, описать, как они с двух сторон ласкают своими теплыми руками классически стройную шею Африки, как эти руки встречаются на ее скалистом лбу, обращенном к югу.

Я всегда терпеть не мог экскурсий, домов отдыха и тому подобных вещей, от которых зачастую остается лишь чувство большой усталости и поверхностные впечатления, забывающиеся после первой чашки кофе. Я думаю, что многие экскурсии столь же поверхностны и легковесны, как знания тех писателей, которые допрашивают своих будущих и заведомо неудачных героев совершенно по-прокурорски, а то и по-сыщицки, полагая, что раскрыть природу человека так же легко, как кухонный шкаф. Конечно, и такой метод что-то дает, но почти всегда это «что-то» хуже, чем ничего.

Поездка на мыс Доброй Надежды была экскурсией другого рода. Во-первых, ее участники были не чужими друг другу, недели плавания нас сблизили. Во-вторых, после более чем месячного непрерывного плеска океана, после вибрации и качки земля кажется милее. Чувствуешь себя удивительно уверенно, ступая по гравию, камню или песку. Но самое главное — величие и красота самой природы. Горы, дорога, лучезарно белый песок. Горы эти не особенно высоки, и местами их светлые камни покрывает трава. И все же они необычайно впечатляют. Все время чудится, что вот-вот из щели между какой-нибудь озаренной вершиной и низким облаком выглянут пламенные и грустные глаза Демона Черного материка. Более того, я был уверен, что у Демона окажется лицо нашего кинооператора Эдуарда Эзова, славного Эзова, чьи золотые руки наконец заставили работать (только надолго ли?) мой «Киев».

Горы слева. У их подножья вьется змеей асфальтовое шоссе. Оно узкое, как все горные дороги. А справа следует за нами, не отставая от нас даже сегодня, Атлантический океан, серый и спокойный. Из скалистых бухт смотрят на меня его умные и суровые, как у старых эстонских островитян, глаза. Я знаю тебя, мой друг, и хотел бы рассказать тебе историю о том, как в стародавние времена два рыбака с острова Кихну возвраща-

лись домой с заработков на рижской каменоломне, как они остановились на ночь в Пярну, как попали в гости к веселым девушкам и как один из них пришел утром к выводу, что хорошего не должно быть слишком много. Ведь и у тебя такой нрав, что если ты спокоен, так чересчур, а если принимаешься колотить нас своими серыми кулаками, так тоже не знаешь удержу. Нет у тебя ни размеренности, ни систематичности, ни дисциплинированности, отличающих участников экспедиции, которые через определенные промежутки останавливают автобус у придорожных баров и проверяют, не фальшивые ли у них деньги. Нет, не фальшивые! За них можно получить виски, ром, коньяк, содовую, сигареты и почти даровое пиво. Нельзя сказать, чтобы на «Кооперации» властвовал сухой закон, но многие из нас считают, что какую бы слабость мы ни испытывали к горячительным напиткам на суше, с морем они сочетаются плохо. Но сегодня — другое дело. В барах совершенно вавилонское смешение языков, слышатся одновременно обрывки английских, немецких и русских фраз. Один из барменов так похож лицом на знакомого мне таллинского историка, что я пытаюсь заговорить с ним по-эстонски. Но он вовсе не эстонец, а голландец, и мы переходим на язык, понятный каждому. Поднимаю палец и говорю: «Bier!» Потом поднимаю второй палец и снова говорю: «Bier!» Чтобы укрепить дружбу, поднимаю затем два пальца сразу и говорю: ром! Если бы наши эстонские историки так же хорошо понимали друг друга и достигали бы столь же результативных итогов!

На воздухе так ослепительно светло, что ощущаешь в глазах резь. Больно смотреть на песок, который сверкает на солнце так же ярко, как февральский снег. А в барах прохлада и сумрак. Те, которые мы посетили, были предназначены только для белых. Бармены в них тоже белые. И здесь негры делают лишь черную работу — моют стаканы, подметают полы, подстригают кусты перед баром. Держатся они робко и как-то незаметно. непонятно, в связи с чем в ушах у меня зазвучали строки из шахтерской песни:

Шестнадцать тонн угля — дневной урок таков,
Состаришься ты рано от шахты и долгов.
И не уйти, покуда господь не призвет:
Ты — собственность компании, ее рабочий скот.

Становятся понятными негритянские песни с их детскими и конкретными представлениями о небе, о ведущей туда бесплатной железной дороге, о заранее положенных на край облака ботинках, пиджаках и банджо; о белых, которым оплачивают там за все их несправедливые дела на земле.

Едем дальше. Горы становятся ниже. И вдруг, совершенно неожиданно, появляется слева Индийский океан. Пожалуй, с Атлантического океана можно добросить до него камнем. Но не то странно, что два океана оказались здесь так близко друг от друга, а то, что целый континент, Черный материк, становится здесь таким узеньким. Вблизи от берега Индийский океан синее Атлантического. А вдалеке он такой же холодный, как и его англосаксонский брат: у обоих сливающаяся с небом кромка серо-стального цвета. Ну ладно, на Индийский океан мы еще насмотримся вдоволь. Я и без того сегодня много словен.

Мыс Доброй Надежды отделен от Черного материка высокой оградой. Тут заповедник. На шоссе — ворота. А в этих воротах сидит одетый в хаки ветеран с соломенно-желтыми усами. Он совершенно сливается с каменным бесплодным пейзажем, кажется его неотъемлемой частью. В его тусклых выцветших глазах видишь и сверкание песков, о котором я уже говорил, и древнюю старость гор, и полное равнодушие. Может быть, он сидит здесь со времен бурской войны.

На шоссе выходят три зебры. Мы вылезаем из автобусов, аппараты начинают щелкать, и мой «Киев» тоже запечатлевает на пленке три мотающихся хвоста. Зебры не удостоивают нас ни малейшим вниманием. Они толсты и спокойны — ни дать ни взять, полные дамы с пляжа в Пярну, которые думают лишь о том, как бы похудеть, и тем не менее очень мало двигаются. Сходство увеличивается еще благодаря природным пижамам зебр — их полосатым шкурам.

Мыс Доброй Надежды производит сильное впечатление. Мы долезли до маяка. Слева Индийский океан, справа — Атлантический, а впереди та воображаемая полоса, где воды двух океанов смешиваются. Ни высота, ни крутизна скал не поражают так наши чувства, как огромность, бесконечность и спокойствие океана. Даже посреди океана не ощущаешь их так остро, как здесь.

Подобный пейзаж — объятия океана с материком, суровость скал, клочья взлетающей пены — наверно, по-

могает воспитывать поэтов. Те, кто растут среди можжевельников, орешников и валунов, рано или поздно переходят на прозу.

Отправляемся дальше.

5 ДЕКАБРЯ 1957

Кейптаун

Вечером к нам на корабль пришли в гости представители японской антарктической экспедиции. Гости заполнили музыкальный салон. В совершенно одинаковых синих костюмах, они казались очень молодыми и похожими друг на друга. В действительности они не так молоды. От нас их принимали Голышев и профессор Бугаев, из летчиков — Фурдецкий, из радистов — Чернов, из транспортников — Бурханов. Переводчиком был Олег Воскресенский, штурман дальнего плавания и навигатор антарктической материковой экспедиции. Я был, так сказать, представителем прессы. Все тотчас разбились на группы по профессиям. Фурдецкому, которого окружили японские летчики, не удалось получить переводчика — большинство наших «англичан» уехало в город. В записных книжках тотчас появились рисунки самолетов, схемы расположения моторов, цифры, обозначающие число лошадиных сил и высоты полетов, наброски ледовых аэродромов. Люди, имеющие дело с техникой, хорошо понимали друг друга. Бурханов познакомил японцев с «Пингвинами». Машины — ничего не скажешь — хорошие. Нет даже нужды в японской вежливости, чтобы признать это.

Не знаю, что напишет в свою газету об этой встрече мистер Хикида, корреспондент «Асахи». Среди встретившихся тут коллег мы наверняка хуже всех понимали друг друга. Мистер Хикида говорил по-английски, я по-русски, так что и тут приходилось прибегать к пальцам. Отдельные слова мы понимали, но, поскольку речь шла о литературе, этого было недостаточно.

— Достоевский, — говорил мистер Хикида, — very good!¹ — поклон, улыбка. Я тоже отвечаю поклоном, улыбкой и «very good'ом».

— Толстой! Very, very good! — Поклон, улыбка.

— Эрэнбург! — Та же церемония.

¹ Очень хорошо! (англ.)

Мы посидели в моей каюте, мистер Хикида закурил «Казбек» (сперва вставив его в рот обратным концом), а я попробовал японскую сигарету. Со стороны наша сердечная встреча могла показаться беседой немых. Я подарил Хикиде свою юмористическую повесть «Удивительные приключения мухумцев», содержание которой несколько позже изложил по-английски Воскресенский, весьма вольно толкуя иллюстрации. Хикида вручил мне свою визитную карточку и открытку с японским пейзажем, на обороте которой значилось: «With Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year»¹.

Я подчеркнул слово «Christmas».

Мистер Хикида воскликнул:

— No! — И начал что-то говорить о теологии, наверняка не о европейской.

Мы обменялись с гостями научной литературой.

Они пробыли на «Кооперации» до поздней ночи. Капитан организовал угощение. Это еще вопрос, в самом ли деле гости так плохо знали русский язык, как могло показаться. «Бродягу» и «Стеньку Разина» поняли потом довольно многие, равно как и некоторые русские слова, которые обычно не печатают. Правда, сомнительно, чтобы они знали их точное значение. Во всяком случае, одно из них прозвучало в их своеобразном произношении как ласкательное.

6 ДЕКАБРЯ 1957

Сегодня большую часть дня провел с Олегом Воскресенским в городе. Фунты стерлингов жгли карманы, надо было от них отделаться. И вот они просто-напросто растаяли на глазах. Вспомнилось, как мой отец уже в старости как-то жаловался: его, мол, беда в том, что, сколько он ни покупал бумажников, сколько ни менял их, ни разу не попадалось такого, чтобы деньги в нем удерживались. И у меня самого уже перебивало пять бумажников, но все они отличались тем же свойством. Это тем более странно, что я больше всего в жизни ненавижу хождение по магазинам. Если днем мне предстоит что-то покупать, то я уже с утра не в духе. Я весь киплю и клокочу от недовольства, хоть и сам понимаю,

¹ «Желаем веселого Рождества и счастливого Нового года!» (англ.)

что это бессмысленное недовольство беспомощного человека.

Но Воскресенский настолько симпатичен, что на этот раз я не перенес никакой нервной лихорадки. Благодаря его хорошему английскому языку переговоры с продавцами оказались простым делом. В тех лавках, агенты которых совали нам в руки проспекты еще на корабле, мы покупали мало. Кейптаун, увиденный нами, — это Кейптаун торговый. Стоит лето, а на витринах рождественские рекламы. Продавцы необычайно услужливы. С нами увязался собственник одной лавчонки, русский, и мне кажется, что он сознательно выбирал не самые лучшие магазины. Он без конца говорил о *своем магазине*, о том, сколько фунтов стерлингов оставили в нем китобои со «Славы», и т. д. Продолжалось это до тех пор, пока один из его конкурентов не спросил:

— А вы что, спутник этих господ?

И тут наш разговор перешел на спутник.

Наш провожатый даже забыл на полчаса о своей лавке со всеми ее достоинствами и выразил самый неподдельный восторг. Дело понятное. Спутник вертится вокруг Земли, а вокруг спутника вертятся мысли людей с самыми разными взглядами, их восторги и злопыхательства, их политические страсти и представления о завтрашнем дне. Мы, участники экспедиции, знаем о втором спутнике довольно мало. Лишь вчера до нас дошла «Правда» от 13 ноября, и сегодня мы уже несколько просвещенней по части спутника. Потрясающее достижение! Мы и впрямь испытываем гордость, хоть и не умеем выражать ее так на диво темпераментно, как кейптаунцы.

Одного дня мало, чтобы составить себе представление о городе с более чем полумиллионным населением. У меня остались в памяти пестрота кейптаунских улиц, цвет негритянских лиц — от светло-коричневого до черного, яркие, порой даже непривычные для глаза, кричащие краски нарядов, прохлада магазинов, некий пресыщенный господин в баре, задравший на стол свои ноги в больших желтых туфлях, фокусническое проворство официантов, хорошее шотландское виски. И, конечно, «кока-кола». Реклама этого напитка и трехпенсовые бутылочки неотступно преследуют тебя, в самом серьезном смысле этого слова. Запомнились двухэтажные автобусы, в которых на первом этаже ездят белые, а на втором — негры и прочие цветные. Специальные бары для

негров, которые выглядят (во всяком случае, снаружи) бедно и грязно.

Но я ещё не познал душу города, все его разнообразные лики, его жизненный ритм. Чужим приехал, чужим уеду.

Часть наших, в основном москвичи, получили тут письма из дому. Ленинградцы не получили. И Таллин, видно, слишком далеко отсюда. Я втайне надеялся, что мне что-то придет. Но не пришло. И мы подняли рюмки с ромом, полученным нами через флотских снабженцев, за здоровье тех, кто не получил писем. Грустный тост.

Сейчас мы уже в океане. Впереди Южный Ледовитый океан, холодный и пустынный. Едва ли мы встретим до Мирного хоть один корабль.

8 ДЕКАБРЯ 1957

Пересекли сороковую южную параллель. Все наши опасения или надежды относительно погоды оказались напрасными. Океан очень спокойный, очень серый, очень монотонный. Нам везет. «Оби» здесь досталось так, что только держись да приноси обеты. Скорость у нас хорошая.

Вчера вечером долго сидели большой компанией, и каждый расхваливал свой родной город. Таллину перепало много лавров. Обменивались мнениями об увиденном в Кейптауне. Пели.

9 ДЕКАБРЯ 1957

Наши координаты — $42^{\circ}50'$ южной широты и $25^{\circ}20'$ восточной долготы. Океан спокоен, скорость ветра четыре метра в секунду. Уже становится прохладнее, температура воздуха сегодня плюс 9,2 градуса, воды — плюс 10,7 градуса. Мы держим курс не прямо на Мирный, а на острова Принс-Эдуард. Торопимся миновать сороковые параллели, чтобы скорее попасть в спокойные воды.

10 ДЕКАБРЯ 1957

Координаты в полдень — $43^{\circ}53'$ южной широты и $28^{\circ}16'$ восточной долготы. Уже довольно свежо. Это, разумеется, особенно ощутимо после тропиков, субтро-

пиков и Кейптауна. Температура воздуха плюс 6 градусов, воды — плюс 7,2 градуса. Сегодня под вечер миновали острова Принс-Эдуард. Мы их не видели, они остались слишком далеко на восток.

Северный, тягостный день. Читал О'Нила, и на меня сильное, но угнетающее впечатление произвели его «Китовый жир» и «В опасной зоне». В «Китовом жире» особенно мастерски и с большой психологической достоверностью передана борьба между хрупким человеческим характером и монотонностью моря. Если характер слаб, то эта монотонность, хватка которой железна, неизбежно побеждает.

В «Красном и черном» Стендаля уже попавший в тюрьму Жюльен Сорель, оценивая свой запас внутренних сил, приходит к выводу: «Ну, вот я и опустился уже на двадцать градусов ниже уровня смерти...» Мне об «уровне смерти» говорить не приходится, тем не менее в длительном плавании у человека должен быть свой внутренний уровень, ниже которого опускаться не следует. А у меня сегодня минус два градуса.

Идет дождь пополам со снегом. Видимость — и в море и в душе — плохая.

11 ДЕКАБРЯ 1957

Координаты в полдень — $48^{\circ}53'$ и $31^{\circ}41'$. Уже намного холодней, чем вчера, — температура воды плюс 4,9 градуса, воздуха — плюс 2,8 градуса. Если прежде пунктом всеобщего средоточия была шлюпочная палуба, то теперь там немногочисленно даже во время киносеансов, не говоря уж о середине дня. Ватники входят в почет. Я с недоумением гляжу на свою серую шляпу, висящую на стене, — не то швырнуть ее за борт, не то подарить в Мирном какому-нибудь пингвину. По Анатолю Франсу, пингвины так же кокетливы, как и люди, особенно представительницы женского пола. А жалеть мне свой колпак нечего — не редкость. Во всяком случае, теперь он самая бессмысленная вещь в нашей каюте.

Наиболее людно теперь в курительном салоне. Сейчас, в полдвенадцатого ночи, я у себя слышу, как стучат по столу костями игроки в домино. В карты играют многие, а в домино все. Я старый, довольно азартный картежник и могу понять эту слабость, но столь серьезное отношение к домино вижу впервые. Когда я сегодня по-

сле обеда был побит такими «профессорами» домино, как Голубенков и летчик Рыжков, то не на шутку рассердился на своего партнера: зачем он забивал все мон-тройки, которыми мы могли бы допечь своих прогивников. Самое худшее то, что проигравших тотчас выгоняют из-за стола: желающих поиграть слишком много. Вспоминается рассказ Нансена о том, как во время его плавания на «Язоне» в Гренландию тюленеловы играли с утра до полуночи в карты. На «Кооперации» некоторые пары тоже принимаются стучать с утра. Проигравшие снова занимают очередь, и так у них тянется до позднего вечера.

12 ДЕКАБРЯ 1957

Скорость у нас приличная. Вчера прошли двести тридцать пять миль. Сегодня тоже делаем по десять миль в час. Если так пойдет и дальше, 23—24 декабря прибудем в Мирный. Это было бы чудесно!

Сегодня ночью пересекли пятидесятую параллель. Теперь начнут выдавать усиленную норму питания, полярную норму. Но и до этого на «Кооперации» кормили очень хорошо.

В полдень нашими координатами были: 51°54′ южной широты и 35°33′ восточной долготы. Температура воздуха плюс 3,5 градуса, воды — плюс 3,2 градуса. Безветрие.

Встретили первый айсберг — привет из Антарктики. Он появился с правого борта и постепенно все вырастал и вырастал. «Кооперация» прошла от него в пяти-шести километрах. Мощное зрелище! Ярко-белый с синими тенями айсберг напоминал плавучий скалистый остров с двумя церквами. Как только мы смещались по отношению к нему, изменялся и его вид. То он был похож на свежeweымытого белого барана, бодливо склонившего рогатую голову, то на гигантский самолет, стартующий в противоположную от нас сторону.

Видели много китов.

«Киев» опять не работает.

13 ДЕКАБРЯ 1957

Прекрасная погода. Хорошая скорость. Любо смотреть на карту, от самого Кейптауна расстояния между

красными точками, отмечающими пройденный за день отрезок, остаются одинаковыми: по двести сорок миль или чуть меньше. Возможно, что мы в самом деле покроем за пятьдесят дней одиннадцать тысяч морских миль, то есть двадцать тысяч километров, которые отделяют Калининград от Мирного. Местоположение в полдень: $54^{\circ}16'$ южной широты и $39^{\circ}58'$ восточной долготы. Температура воздуха плюс 3,3 градуса, воды — плюс 1,9 градуса.

Днем проплыли сквозь огромную стаю косаток, китов-хищников. Стадо примерно голов (или китов считают по хвостам?) в сто пятьдесят — двести. Менять ради «Кооперации» свой курс они не стали. Это жуткие хищники — гроза тюленей, пингвинов и даже больших китов.

Косатки не особенно велики. С первого взгляда их можно принять за мичуринских дельфинов. Темные спины с высокими плавниками то исчезают, то опять появляются — киты эти одинаково хорошо плавают и по воде и под водой. Разглядывая их с борта, не находишь в них ничего страшного. Но наши биологи говорят, что в брюхе одной такой рыбешки нашли двенадцать тюленей, а тюлень весит столько же, сколько я.

Плывущий с нами в Мирный, где он переберется на «Обь», к морской экспедиции, зоолог Зенькович, большой знаток китов, пишет, что эти жадные хищники окружают и уничтожают целые стада моржей, что они нападают на других китов и вырывают у них из пасти языки...

Совсем на закате «Кооперация» прошла довольно близко от большого айсберга. Он высился над океаном, словно громадная сахарная голова, которую хозяйка начала раскалывать, да так и оставила. Голова уцелела, но от нее все же отбили два небольших куска, которые лежат рядом на синем столе. Правда, семь десятых этой глубины под водой, но и того, что видно, тоже хватает. Ее окраска удивительно чиста — белая с синеватым отливом, в затененных местах — совсем синяя. Надводная часть айсберга на несколько метров снизу невероятно тщательно отполирована волнами. Лед сверкает, словно самый дорогой мрамор. Все это простое и величественное, без архитектурных излишеств. Одна из сестричек этой махины, этого белого утеса, напомнила мне старинный сужающийся книзу лакированный комод с резным

верхом. Вряд ли хоть один король созерцал когда-либо такой большой и такой белый комод.

Айсберг со всех сторон разный. Когда ледяная гора уже осталась за кормой «Кооперации», когда на фоне ее белой стены уже заалел наш вымпел, она оказалась похожей на замок с башнями, фортами, службами и с необъятным крепостным рвом вокруг — океаном. Все эти постройки покоятся на большом подводном плацдарме, через который, взметая брызги, перекатываются волны.

Вечернее освещение. Заходящее солнце. Серо-стальная вода. И сверкание удаляющегося айсберга, краски которого так чисты и прозрачны, что сердце начинает биться быстрее.

15 ДЕКАБРЯ 1957

Разговаривал вчера с капитаном. Возможно, что «Кооперация» прибудет в Мирный еще 21 декабря. Ее сразу начнут разгружать. «Кооперации» было дано твердое распоряжение: вывезти вторую антарктическую экспедицию двумя партиями; доставить первую партию в Александрию, вернуться оттуда в Мирный и забрать остальных участников экспедиции, которых надо отвезти в Калининград или в Ригу. При этом варианте судно пробыло бы в Мирном дней десять. Если же вторую экспедицию удастся забрать всю сразу, то мы простои́м в Мирном сорок — пятьдесят дней. Пока что наиболее вероятен первый вариант — с двумя заездами.

Моим первоначальным намерением было тотчас вернуться с «Кооперацией» в Александрию. Но вчера, а также нынешней ночью и утром меня одолевали тяжелые сомнения. Как мне поступить? Проплыть одиннадцать тысяч миль и прожить в море пятьдесят дней с тем, чтобы пробыть в Мирном, в который я наверняка больше никогда не попаду, лишь несколько дней, — это не решение. А если и решение, так легковесное, туристское. Руководство экспедиции согласно, чтобы я задержался в Мирном до возвращения «Кооперации» из Александрии. Отплыв с первым рейсом, я вернулся бы в Эстонию в феврале, отплыв со вторым, попал бы туда в начале мая. Во мне уже созрело убеждение, что мне ничего больше не остается, как задержаться в Мирном. Пишу эти строки с весьма тяжелым сердцем и смешанными

чувствами. Я уже очень стосковался по Эстонии, по островам, по домашнему теплу, по своей комнате, в которой достаточно места, чтобы во время раздумья расхаживать из угла в угол, и которая не качается и не трясется без конца. Очень хочу видеть жену. Пока что во мне еще идет изнурительное сражение между рассудком и сердцем. Все зависит от того, на какую чашу весов лягут слова «я должен». Речь идет о трех месяцах жизни в мертвых льдах Антарктики.

Что говорит против этого?

1. На кой черт тебе тратить три месяца жизни на антарктический лед, до которого тебе никогда не было и через год-другой опять не будет никакого дела?

2. Ты не научный работник и не очень-то разбираешься в тех задачах, которые стоят перед нашими исследователями.

3. И после этих трех месяцев Антарктика останется для тебя такой же *terra incognita*¹, какой и была.

4. Ты выехал прежде всего за тем, чтобы пожить на большом корабле и повидать моря да океаны. Ты видал их и видишь, причем посматриваешь порой на них тем же взглядом, каким арестант смотрит на надзирателя. Антарктика — тот же океан, океан вечных льдов, тот же тюремный надзиратель.

5. В Эстонии тебя ждут дорогие тебе люди. Там, используя выражение Минни Нурме, твои «земные корни». Не оборвутся ли они, не померзнут ли? Там твое рабочее место. Там кафе «Москва» со своей музыкой, с хорошим коньяком и разговорами, что вертятся вокруг вопросов культуры, личной жизни твоих знакомых (для писателя это бесконечно важная область знаний) и прочего.

6. Не боишься ли ты, что твоя задержка в Антарктике будет истолкована кое-кем как бегство от жгучих жизненных проблем и как увливание от общественной работы?

7. Тот, кто добровольно едет в Антарктику, не вынуждаемый к этому ни профессией, ни образованием, тот человек слегка рехнувшийся (будь маршрут в десять раз короче, и то многие наши писатели пришли бы к такому же выводу), а тот, кто добровольно там остается, хоть у него есть возможность уехать, просто набитый дурак.

¹ Неведомая земля (лат.)

8. Еще сто с лишним самых убедительных аргументов.

Что говорит за то, чтоб задержаться в Антарктике?

1. Надо повидать, что же там такое делается, и понять это.

2. В Александрию не обязательно ехать через Мирный, есть более короткие и простые пути.

3. У меня девяносто шансов из ста, что мне удастся полетать на самолете над антарктическим материком (в том случае, если я там останусь), и десять шансов из ста, что меня возьмут на тракторный поезд, который направляется *в глубь антарктического материка*.

4. Что бы там ни произошло, это не обойдется без участия тех людей, с которыми я нахожусь вместе уже полтора месяца, но которых еще не видел в деле.

5. Десятки более достойных и хороших людей, чем я, пускались в более тяжелые маршруты, не раздумывая перед этим по нескольку часов над тем, легко это или трудно. *Надо остаться*.

Все. Это дело решенное.

Уже который день пытаюсь начать второе действие пьесы. И все никак не удается. В голову лезут другие идеи, связанные с кораблями и с морем, мысли меняют направление и окраску. Сегодня ценой отчаянного напряжения удалось написать одну сцену.

Над океаном низкий молочный туман. В нескольких десятках метров уже никакой видимости. Долго следил на капитанском мостике за экраном радиолокатора: океан впереди чистый — ни одного айсберга. Падают мелкий снег.

В полдень сирена «Кооперации» вдруг начала подавать короткие гудки. Учебная пожарная тревога. Через палубу, затянутую туманом, побежали на корму, к месту «пожара», члены команды в пробковых поясах. Настроение же было подлинно тревожным — наверно, из-за тумана.

16 ДЕКАБРЯ 1957

Пытался писать пьесу. Ничего не выходит. За полдня — две реплики, и те не удовлетворяют. Вечером спрячу рукопись на самое дно чемодана. Может быть, как-нибудь в Антарктике, когда забушует пурга, я снова

ее достану, а может быть, и нет. Жаль, что не сумел кончить второго действия еще в океане. Но еще не факт, что в Таллине я смог бы кончить за это время пьесу. У меня остается два действия на обратный путь, на океан. Надеюсь, что к тому времени я освобожусь от этого внутреннего возбуждения, вызванного сейчас океаном, близостью льдов и антарктического материка, вызванного холодным дыханием, обдающим нас с юга, с правого борта. И наконец, насколько мне известно, никто еще не писал пьес между 60-м и 70-м градусами южной широты.

Сегодня в полдень нашими координатами были 61°36' южной широты и 57°33' восточной долготы. День у нас начинается на час раньше, чем в Москве. Ночи уже очень светлые, но какие-то не такие, как в Северной Атлантике. Температура воздуха около нуля, воды 0,6 градуса выше нуля.

В книге Берда впервые встретил выражение «приплод барьера». Сегодня в океане уже много льда.

Горизонт покрыт зубчатыми конусами, кубами и полушариями маленьких айсбергов. Эти холмы всевозможной формы, мимо которых мы все время проплываем и которые делают линию курса «Кооперации» ломаной, кажутся детьми больших айсбергов, а большие айсберги — детьми ледников и ледяных барьеров. «Приплод» — в самом деле верное и точное слово. С каждым часом все больше и больше льда, не обычного льда, а одиноких айсбергов или их осколков. Многие из них низкие — всего в метр-другой высоты, они доживают последние дни. Вода на несколько метров вокруг них прозрачно-синяя и на вид теплая. Видели небольшой, диаметром в три-четыре метра, ледяной островок, источенный снизу водой. Он был похож на рыжик, выросший в синей траве.

Возможно, что «Обь» выйдет к нам навстречу, если «Кооперация» не сможет своими силами пробиться сквозь лед вблизи от Мирного, в море Дейвиса. Волнующие дни — вокруг нас уже мир льдов, а впереди материк льдов.

Должен написать несколько писем в Эстонию. «Кооперация» отвезет их вместо меня в Александрию, а оттуда их доставят в Советский Союз участники второй экспедиции.

Но больше всего меня сейчас интересует лед, лед любой формы и размера.

Сегодня в полдень нашими координатами были $62^{\circ}10'$ южной широты и $65^{\circ}31'$ восточной долготы. Свежо, облачно.

Утром обменивались с Васюковым соображениями о том, что мы скажем своим женам, когда вернемся домой, то есть что мы скажем такого, чтобы представить себя великими героями, мореплавателями и завоевателями Антарктики. Мы выдумывали всевозможные опасности, поединки с китами-косатками и жуткие штормы, во время которых вели себя героически. Мы вспомнили, на сколько градусов накренилась порой «Кооперация» при качке, и увеличили эту цифру в полтора раза.

В тесной каюте человек кажется очень большим и могучим. Отсюда возникает ощущение силы. Наверно, от этого ощущения и оттого, что здоровье у меня сейчас лучше, чем было когда-либо после войны, возникает желание подраться. Каждое утро у нас с Васюковым происходит боксерский матч. Их зачинщик — Васюков. Когда мне никак не удастся его одолеть, я хватаю нож, выставляю серо-стальное лезвие и кричу:

— Я человек с финским характером!

Это всегда помогает. А сегодня, в самый разгар наших разговоров, наших необыкновенных историй, нашего полета фантазии и всех тех чудес, о которых мы намереваемся петь дома нашим женам, произошла небольшая размолвка: мы оба начали хвастаться своей силой.

В а с ю к о в. Тут я ей (то есть жене) расскажу, как вместо зарядки лупцевал по утрам председателя эстонского Союза писателей. До тех пор лупцевал, покамест тот не залезал под койку — одни пятки торчали.

Я. И не стыдно тебе так врать, Костя!

В а с ю к о в. Подумаешь! Чуть прибавить — оно красивей получится. Маша (то есть его жена) всему поверит. Да и кто ты в самом деле есть — таллинская килька. У меня силы больше.

Я. Ладно, Костя, ладно! Я ничего не спущу, за все с тобой рассчитаюсь. Уж я расскажу своей жене, как ты трясся в углу от страха, когда я кулак заносил.

В а с ю к о в. Наивный человек! Думаешь, она поверит?

Я. Поверит! К тому же это правда. Если хочешь знать, я даже напишу об этом в книге и ее напечатают.

Пусть твои сыновья прочтут, как их отцу доставалось в Южном Ледовитом океане от таллинской кильки. Даже кричал, бедный.

Переходя ко все более страшным угрозам, мы провели в том же духе еще немало времени. Окончательный итог был таков: все в каюте перевернуто вверх дном, а Васюков отдувается на своей койке.

В а с ю к о в. Мирное сосуществование! Человек должен быть солидным!

Я. Солидным! Посмотри, как ты выглядишь!

В а с ю к о в. А что, в Эстонии так принято: носить галстук на спине?

Я (*поправляя галстук*). Завтра в пять утра получишь взбучку.

Самое худшее во всем этом оказалось то, что опрокинулись чернила. Залит весь стол. Чернила просочились под стекло. Мы целый час оттирали это стекло и стол, а потом свои руки и носы. Эта чернильная работа скрашивалась хвастливыми речами об Антарктике, о той Антарктике, которой никто еще из нас не видел и которую мы оба выдумывали для своих жен.

Сегодня двадцатипятилетний юбилей Главсевморпути. К обеду выдали по стакану разведенного спирта. Настроение хорошее. В подходящем месте отмечаем мы эту дату — среди айсбергов.

Представление, будто южная, ледовитая часть Индийского океана безжизненна, ошибочно. Тут жизни и разнообразия даже больше, чем в тропиках, и зрелищ тоже больше.

Льда сегодня очень много. «Кооперация» в поисках свободной воды лавирует между льдин. Линия ее пути совсем кривая. Много бугристых айсбергов высотой метров в десять и больше, а в ширину и в длину в несколько сот метров — настоящие плавающие острова. В более старых из них вода выгрызла пещеры. Они вроде ворот крепости из восточной сказки, вроде дверей к ледяному сердцу. Большие айсберги вызывают противоречивые чувства: понимаешь мощь и красоту природы, широту и ледяную глубину океана, свою крохотность и свою мощь, испытываешь ощущение одиночества и невозможность выразить в словах то, что видишь. Когда смотришь на этих зубчатых гигантов, которые сливаются вдаль в гористый морской пейзаж, то чудится, что вот-

вот где-то за ними возникает видение белого города с огнями, улицами, людьми.

Много тюленей, и нередко крупных. Они лежат на льдинах и лишь после того, как мы поднимаем крик, поворачивают к судну свои круглые головы. Разевают пасти, смотрят вверх, но не находят в нас ничего нового и занимательного. И когда корабль проплывает, продолжают спокойно спать.

Попадают косатки. Много птиц. Льды и океан.

19 ДЕКАБРЯ 1957

Сегодня, как и вчера, океан ровен и холоден. Мы плывем на восток между 61-й и 62-й широтой, разрезая носом меридианы, как масло ножом. За сутки, со вчерашнего полдня до сегодняшнего, прошли расстояние от $72^{\circ}42'$ до $80^{\circ}19'$ восточной долготы. Льда меньше, попадают лишь одинокие айсберги.

Сильный ветер в шесть-семь баллов, волна в четыре балла. Температура воздуха все время держится около нуля, температура воды 0,4—0,6 градуса выше нуля. На палубе не очень-то весело. На горизонте мгла, грань между небом и морем исчезла, холодный ветер забирается в рукава и за ворот. Вдали видны одинокие белые айсберги, кажущиеся во мгле призрачными. Подползая к иным поближе, видим, что об них разбиваются волны. Высоко взлетает белая пена, айсберг слегка качается и напоминает безмачтовое судно с огромным корпусом. Вдали же айсберги похожи на невест в белой развевающейся фате, очень красивых и очень холодных невест очень старых женихов. Долго рассматривал один айсберг. Он был метров сто в длину, с крутыми боками и сверху гладкий, как стол. Видно, не так давно оторвался от какого-то ледяного барьера — волны еще не выгрызли в нем пещер. От разбивающихся волн взлетала вверх белая пена, которая окутывала его ледяными кружевами и скрадывала его резкие и величественные очертания. Вспомнилось название сборника стихов Вальмара Адамса «Поцелуй в снег» — белая пустота обложки с красным ртом посередине, — и мне стало холодно. Тот, кто так рвется целовать снег, пусть приезжает сюда. Всем хватит. Даже двум с половиной миллиардам человек не растопить поцелуями айсберга средней величины. И вообще... Есть красивая старинная песня:

Дай мне губы — развей мои муки,
Подобнее, волшебница, будь!
Положи свои белые руки
Вот сюда, где болит моя грудь.

Ну да к дьяволу!.. Получил радиogramму от жены. Вечером было открытое партсобрание. Обсуждали вопрос о разгрузке. «Кооперация» будет разгружаться в форсированном порядке — изо всех четырех люков сразу. Кроме трактористов, экипажей «Пингвинов», отдельных научных работников и некоторых членов экспедиции, в разгрузке примут участие все. Может быть, управимся за четыре дня. Чем раньше «Кооперация» отбудет в Александрию, тем лучше, — тем она скорее вернется за остающимися.

Меня прикрепили к бригаде метеорологов. Бригадиром у нас Виктор Антонович Бугаев. Мы будем разгружать трюм из первого носового люка. Там бензин и прочее жидкое топливо. Поэтому наше разгрузочное место самое ответственное. Спички и папиросы придется оставлять в каюте. Будем работать в две смены, по двенадцать часов в день.

21 ДЕКАБРЯ 1957

Координаты в полдень $63^{\circ}17'$ южной широты и $90^{\circ}43'$ восточной долготы. До Мирного осталось меньше четырехсот километров. За последние шесть часов прошли всего-навсего девятнадцать миль. Впереди, сзади и с боков плавают большие ледяные острова, изборожденные водомоинами и разводьями. «Кооперация» работает как ледокол, и работает хорошо. Любо смотреть на сражение корабля со льдом. Он не налетает на льдины или ледяные острова с разгону, а подходит к ним осторожно и, навалившись носом на кромку, вламывается в лед. Ледяной остров подается вперед, медленно кружится, вслед за ним начинают кружиться льдины поменьше, а сам он отодвигается в сторону или раскалывается пополам. Порой мы едва ползем. Форштевень, разрезая льдины, оставляет на их краях следы краски. В этой борьбе со льдом то преимущество, что он старый и крепкий, а преимущество корабля в его силе да еще в терпении, хитрости, осторожности, решительности и сметке его капитана. Анатолий Савельевич Янцелевич не в первый раз попадает в эти воды, не в первый раз проходит сквозь льды. Он знает, что может и чего не

может «Кооперация». Порой мы тащимся самым медленным ходом, а порой судно, дрожа всем корпусом, дает полный вперед,— чувствуешь, как оно всей грудью теснит льдину и та поддается. Каждый раз, как начинается такая схватка, все мои мускулы напрягаются, словно этим можно помочь кораблю.

А когда судно задевает боком большую льдину, то его так встряхивает, словно невидимые ледяные лапы какой-то антарктической твари вцепились в его борта и киль.

Вчера получили по радио сообщение из Мирного о том, что «Обь» не выйдет нам навстречу. Считают, что «Кооперация» сумеет пройти и сама. «Обь» находится сейчас в пяти с половиной километрах от Мирного, но если добираться к ней по льду на тракторах, то надо проехать семнадцать километров, а это слишком далекий путь. «Обь» пробивается к Мирному и делает по километру в день. А чем ближе подойдет к Мирному «Кооперация», тем скорей мы ее разгрузим. По фарватеру «Оби» мы, несомненно, сможем подойти к берегу довольно близко.

Сегодня впервые встретились с советским послом антарктического материка — с самолетом Москаленко, вылетевшим на ледовую разведку для «Кооперации». Во второй вылет самолет сбросил нам ледовую карту. Она упала на ванты задней мачты. Вот сноровка!

Появились первые, пока еще маленькие пингвины. Они стоят на льдинах, словно мальчики в черных пиджаках с белыми жилетками, и смотрят на корабль. Попался и один большой пингвин-император, но он был слишком далеко.

Изредка видим тюленей. Одна пара спала как раз на нашем пути, и пришлось потревожить ее сон. Они заворожались на льду под нашим бортом, рассерженные не меньше людей, которым не дают поспать. Это были тюлени-крабоеды, у которых шкура бывает желто-серой или желто-сере-белой.

Провел на палубе полчаса без защитных очков. Свет очень яркий. Болят глаза.

22 ДЕКАБРЯ 1957

Сегодня впервые после Кейптауна вновь удалось ступить на твердую землю. Вернее, на лед, но на такой, который уже составляет одно целое с шестым континен-

том. Среди сияющего ледяного поля высятся плоские айсберги, одинаковые и невыразительные. В их облике нет беспокойства и переменчивости, характерных для уже оторвавшихся, плавучих гигантов. А позади них вздымается синеватый, переливающийся на свету, волнующий антарктический материк, погребенный подо льдом.

Так это и есть тот материк, о котором я столько думал последние годы, к которому меня влекла какая-то непонятная, настойчивая и необъяснимая, с точки зрения логики, сила, сила, питавшая и поддерживавшая мое воображение, мои книги и, вероятно, мое желание быть смелее и лучше, чем я есть? Но тот ли он самый, совпадет ли он с тем смутным представлением о нем, которое я составил из обрывочных сведений? Конечно же тот самый, но и не совсем тот самый.

Джозеф Конрад пишет:

«У каждой травинки на земле есть свой источник жизненной силы, источник стойкости; так же и человек держится своими корнями за ту почву, которой он обязан верой и вместе с тем жизнью». Разве я приехал сюда в поисках земли, что вернула бы мне утраченную веру в людей и в жизнь? Нет. Я ведь никогда не терял этой веры. Возможно, меня привело сюда то грызущее беспокойство, свойственное нам, парням приморских деревень, с самого детства и заставляющее нас блуждать по белу свету, не столько, правда, в поисках счастья, сколько в поисках хлеба. И, однако, у каждого из нас, как у той травинки, есть свое место на земле, своя тихая гавань, в которую мы всегда возвращаемся и заветное наименование которой высечено у нас на затылке, как у корабля на корме. Надпись эта порой заволакивается, но потом проступает снова, четкая и зовущая. Как это ни странно, но лишённые такой гавани люди, казалось бы свободные и ничем не связанные, судорожно пристают к какому-нибудь местечку поспокойнее, бросают свои жалкие якоря, и киль их судна быстро покрывается ракушками и слизью.

Чувство своего места, своей гавани развито у меня сильно. Не будь его, у меня, наверно, никогда не достало бы смелости закрыть за собой дверь своего дома с наружной стороны и оставить за воротами скулящего пса.

Есть еще одна глубоко личная причина этого регулярно одолевающего меня беспокойства. Неспособность привыкнуть к городу. Я живу в Таллине уже тринадцать лет, но еще не сумел стать порядочным горожани-

ном и почувствовать, что именно здесь мое место. Хуже того, я хорошо вижу, как обрастаю в городе какой-то ржавчиной, погрязая в благодушии, в лености мысли, в потребности оправдывать свои слабости и все то легковесное, что под соусом красивых слов может сойти за сносное и съедобное блюдо. Эта легковесность, перебродивши в поэзию, может выглядеть очень привлекательно. Она ведь будет говорить о сложности вашей души, о глубоком самоанализе, о том, насколько смехотворна в своей ничтожности политика по сравнению с величием вашего собственного «я». На литературных вечерах девушки с красивыми тоскующими глазами одарят вас за эту поэзию красными цветами. Такова база целого в своем роде направления в современной эстонской поэзии, и не только на мою голову обрушивались туманы от поборников этого направления. Отнюдь не так уж безопасно стучаться в дверь, на которой намалеваны цветики и нежные слова: «Не тронь меня!»

Конечно, глупо обвинять город! Обвинять надо само себя. Только уж теперь эта кадриль чувств, доводов, доказательств и предположений не увлечет меня, не заставит плясать под свою дудку.

Ночью лед остался позади. Ширина ледяного пояса, пройденного нами, равна двумстам милям. Затем — вблизи от побережья Антарктиды, в море Дейвиса — вода была чистой, и «Кооперация» плыла с хорошей скоростью. Днем прошли мимо острова Дригальского. Он целиком погребен под снегом и льдом, его плоский силуэт настолько сливается с айсбергами позади и низкими тучами, что неопытный глаз может принять его либо за причудливую ледяную гору, либо за расширяющееся книзу скопление тумана.

— С правого борта берег Антарктиды! — раздалось после обеда по радио. Но поначалу мы только и увидели вдаль, что широкие, плоские и низкие айсберги, которые теснились и закрывали друг друга, высясь над сверкающим ледяным полем, над тем самым полем, что уже порядочное время тянулось вдоль нашего правого борта. Лишь позже мы увидели антарктический материк, возникший не из серого моря, а из белых льдов. А над ними торчала вдаль голая скала, сперва принятая нами за «Обь». Справа, в нескольких десятках метров от нас, тянулась кромка припая. На нем темнели уходящие вдаль следы гусениц — тут была первая разгрузка «Оби» (очень сложная и трудная). По кромке важно

разгуливали императорские пингвины, полные и очень солидные. Кое-где виднелись тюлени.

Сейчас мы стоим там, откуда «Обь» начала пробиваться сквозь лед к Мирному, до которого, стало быть, десять — двенадцать километров. Путь «Оби» отмечен широким и бугристым, уже замерзшим каналом, пройти сквозь который «Кооперации» не под силу. Корабль замер. Вокруг ослепительно белые льды, на которых кое-где чернеют пингвины и высятся далекие айсберги, а впереди — Мирный, едва-едва видимый отсюда.

Вечером на лед опускается моноплан «Як» с начальником экспедиции Евгением Ивановичем Толстиком (он приехал сюда раньше, с «Обью») и капитаном «Оби» Маном. Состоялась первая встреча с нашим руководителем. Толстиков, который представлялся мне на основании того, что я читал о нем и слышал от спутников, седым человеком почтенного возраста и с могучим басом, оказался молодым мужчиной атлетического сложения, говорившим довольно тихим, душевным голосом и умеющим бросить вскользь теплую шутку. После этой встречи стало ясно, что разгрузка не начнется ни сегодня, ни завтра, так как «Обь», с трудом пробиваясь вперед, все еще прокладывает нам дорогу, а везти в Мирный тысячу восемьсот тонн нашего груза на тракторах — дело нештучное.

Через несколько дней должен направиться в глубь антарктического материка, к уже созданной станции Восток и только еще создаваемой станции Советская, санно-тракторный поезд. Вероятно, «Пингвины» не войдут в этот поезд, так как он уже составлен. «Пингвины» все еще стоят на «Кооперации» и краснеют от стыда.

Толстиков рассказал о внутриконтинентальных антарктических станциях. На Пионерской и Оазисе условия жизни оказались более легкими, но на Востоке, на Комсомольской и на только еще создаваемой Советской они очень трудны и сложны, особенно антарктической зимой. Температура падает до 70 градусов ниже нуля и больше, но главная беда — недостаток кислорода. Станция Восток находится в районе геомагнитного полюса, на высоте в три тысячи четыреста двадцать метров выше уровня моря, а Советская — на высоте в три тысячи пятьсот семьдесят метров. Давление воздуха там 450—460 миллиметров. Но пока что говорить об этом рано, следует самому подышать этим воздухом.

Завтра на «Кооперации» станет тихо. На вертолетах отправят в Мирный тех, кому предстоит выехать с тракторным поездом, тех, кого пошлют на внутриконтинентальные станции, некоторых ученых, кое-кого из участников морской экспедиции, летный отряд.

Необыкновенный вечер — условный вечер длинного полярного дня. Солнце низко висит над ослепительно белым льдом, оно не заходит, а лишь изредка заволакивается облаками. Небо на севере такое, какого я никогда в жизни не видел. Нагромождение всех цветов, кроме черного. Краски, среди которых преобладают золотисто-желтая, оранжевая, красная и сине-зеленая, сливаются друг с другом, образуют промежуточные тона и словно поют в этой тиши.

Ветра нет, одно белое безмолвие, не нарушаемое больше ни вибрацией винта, ни шумом моторов. По льду шествуют к материке тихие, чинные и торжественные процессии пингинов. Впереди, на бугристом льду фарватера «Оби», спит одинокий тюлень. На западе небо покрыто неподвижными сине-черными облаками. Очень длинные тени.

Безмолвие здесь такое, что ощущаешь его всей кожей, всеми порами. Непривычное и грозное безмолвие, словно прячущее в своих ледяных объятиях долгие ночи и снежные бури.

23 ДЕКАБРЯ 1957

Когда «Кооперация» шла вдоль кромки припая, Фурдецкий сказал, указывая на одного императорского пингвина, который, склонив голову набок, следил за проходящим мимо кораблем:

— Пародия на человека!

Лицо мое словно горит в огне, оно стало таким красным (особенно нос), будто я выпил целый литр спирта. Это от здешнего солнца, от сильного ультрафиолетового облучения и оттого, что я вместе со всеми три часа подряд наблюдал на льду пингинов — пародию на человека и, стало быть, на меня самого. Они кишат вокруг корабля маленькими, в несколько голов, стайками. Это славные птицы, смелые, дружелюбные и, если надо, весьма воинственные. Они расхаживают по гладкому льду, словно люди, неуклюже переваливаясь с ноги на ногу. По снегу же, изрытому следами сапог, они предпочитают ползти на брюхе, помогая себе концами крыль-

ев. К этому способу они особенно охотно прибегают тогда, когда их старший брат — человек — становится назойливым и надо поскорее от него убраться. Когда пингвин ползет так по льду, отталкиваясь рудиментами крыльев и подняв голову, он совсем утрачивает свое сходство и с человеком и с птицей. Вспоминается сказка Мамина-Сибиряка, в которой ворона говорит про канарейку: «Нет, это не птица!» Ползущий пингвин несколько напоминает тюленя, а еще больше черепаху. Лишь поднятая голова, единственная птичья часть тела, мешает принять его за млекопитающее или земноводное. В воде же, когда пингины сообща ловят рыбу, они движутся с большой скоростью и выскакивают порой наверх, словно дельфины. Это очень дружные птицы, очень семейственные, хотя на глаз невозможно определить степень родства между тем или иным пингином. И, разумеется, самая приметная из их черт — солидность. Перед объективами фотоаппаратов они, лишь изредка пошевеливая своими крылышками, стоят в такой важной позе, будто ждут от нас, пришельцев с севера, предъявления посольских верительных грамот. Важность свойственна и пингинам Адели и императорам, но, поскольку первые более мелки, важности в них вмещается меньше, и потому они более откровенно проявляют свое любопытство.

Императорские пингины вдвое, а то и более чем вдвое, выше своих меньших братьев и в несколько раз тяжелее. Они аристократичны, хорошо воспитанны и не суются так близко, как маленькие пингины. В остальном же те и другие схожи.

По сверкающему бесконечному ледяному полю движется свадебная процессия в черном. Впереди шагают четыре здоровенных императора. Самый первый — это, очевидно, музыкант — время от времени поглядывает назад — не отстал ли народ. А в конце процессии семнадцать пингинов Адели — ни дать ни взять детишки, прихваченные взрослыми на свадьбу и послушно плетущиеся сзади. Потом, через какое-то время, четверо старших начинают ползти — видно, пиво в голову ударило. А восемь малышей знай скачут следом.

(При виде этой картины мне вспомнились забавные рассказы о мухумских свадьбах. Те, кого отяжелевшая голова и сила земного притяжения заставляли растянуться на брюхе, добирались домой ползком, вспахивая носом землю и отталкиваясь сзади подкованными сапо-

гами, и хоть без компаса, а домой человек добирался. Рубцы и царапины на мухумских камнях, принимаемые учеными мужами за следы ледникового периода, наверняка появлялись во время свадеб, длившихся по две недели.)

Весь лед, даже вдали от воды, усеян черно-белыми группами пингвинов. О безжизненности и говорить не приходится. Правда, пингвины тихий народ, и к тому же голос у них такой, что было бы умнее с их стороны не подавать его вовсе.

Шеклтон пишет:

«Императорские пингвины всегда величественны. К незнакомцу они приближаются несколько небрежной походкой. Кем бы ни был встречный, собакой или человеком, они останавливаются на почтительном расстоянии от него, а затем их вожак выступает вперед и отвешивает церемонный поклон, столь глубокий, что клюв пингвина почти касается грудных перьев. В такой позиции вожак произносит длинную речь, пересыпаемую отрывистыми, мычащими восклицаниями,— столь же непонятные речи любят произносить в свои бороды и ученые профессора. Закончив свой глубокомысленный монолог, пингвин из вежливости стоит еще несколько секунд со склоненной головой, а потом размашисто скидывает ее, высоко задирая клюв, насколько то позволяют шейные позвонки, и пристально вглядывается в лицо чужака: все ли тот понял. Коль нет, то вся процедура начинается сначала, и если зритель по добродушию терпеливо все это сносит, вперед выходит какой-нибудь другой шутник и, отпихнув оратора в сторону, совершает еще раз ту же торжественную церемонию в том же самом порядке. Пингвины явно считают людей своими родственниками, побегам того же ствола, немного, правда, некрасивыми и слишком крупными».

В этой истории справедливо все, кроме одного: речи императоры не произносят. Может быть, перед первой экспедицией они и выступали, но перед третьей не считают нужным этого делать, да и период собраний у них, по-видимому, миновал. (В Таллине тоже так: все длинные речи произносятся зимой, а летом либо ломают голову над тем, с чем бы выступить осенью, либо стараются понять, зачем зимой столько ораторствовали. А тут сейчас разгар лета.)

Таково было наше первое знакомство с пингвинами.

Весь день вертолет то поднимается в воздух, то приземляется рядом с «Кооперацией». У нас тесная связь с Мирным. Многие перебираются туда.

«Кооперацию» соединяет с морем узкий канал. По нему вчера и сегодня ночью приплывали киты. Сперва двое, потом пятеро. Прямо у самой кормы появлялись из воды их черные громадные спины. Они фыркают (в описаниях говорят «отдуваются») почти как лошади. Интересно, что они тут ищут, что находят?

Удивительно все же это чувство, когда видишь этих гигантов под косыми лучами полуночного солнца.

24 ДЕКАБРЯ 1957

Стоим на месте. «Обь» с большим трудом прокладывает нам дорогу, медленно продвигаясь вперед. Мы начнем выгружаться лишь у приличной, прочной кромки, не то разгрузка нам дорого обойдется.

Привожу в порядок последние записи. Кажется, что корабль вымер, стал безжизненным и неудобным. Даже в каюты просачивается белое безмолвие, которое, конечно, может внезапно смениться свистом в вантах и бушеваньем пурги. Но сейчас мертвая тишина. Каюты пусты, ресторан пуст, лишь изредка слышатся шаги на палубе. Большая часть людей в Мирном.

Вечером встретился у капитана с начальником второй экспедиции Трешниковым и со своим коллегой, корреспондентом «Правды» Введенским. Трешников, вернувшийся два дня назад с Востока и вчера летавший с Голышевым и Толстиком на Полюс относительной недоступности,— человек молодой и крепкий, весящий больше ста кило, с лица красный, как индеец. Полярное солнце, на куполе Антарктиды, очевидно, еще более интенсивное, чем здесь, обработало и его.

Введенский зимовал в Мирном и поплывет с «Кооперацией» в Александрию.

25 ДЕКАБРЯ 1957

Сегодня утром рядом с «Кооперацией» опустился большой самолет. С ним полетел в Мирный. Из-под крыльев самолета убежал назад лед, кое-где изрезанный длинными трещинами. Сравнительно недалеко от Мир-

ного чернел корпус «Оби». Интересно, когда же мы, наконец, начнем разгружаться?

Первое знакомство с Мирным. Аэродром хороший, расположен у самого поселка, и самолетов у нас много. Мирный ютится между выглядывающих из снега скал, напоминающих своей бурой окраской наш эстонский сланец. Дома с плоскими крышами и высоко расположенными окнами разбросаны там и сям, словно раскиданные ребенком кубики. Очень много снега, по-летнему мягкого, изборожденного вдоль и поперек следами тракторных гусениц. Наверно, ни на какой широте, ни на какой долготе не найдется второго поселка с таким количеством техники, как этот. Поначалу даже трудно понять, чего тут нет.

Разговаривал с Толстикovým. Он ничего не имеет против того, чтобы я здесь задержался. По-видимому, я поселюсь в доме № 2, в котором сейчас живут Введенский и кинооператор. Надеюсь, что полетать удастся вдоволь, — мой небольшой вес не обременит ни одного самолета.

Дома в Мирном могут показаться со стороны какими угодно, только не красивыми. Плоские коробочки, зимой совершенно исчезающие под снегом. Но внутри они очень уютные и к тому же замечательно теплые. На полу и на стенах — ковры. И довольно-таки чудно видеть в комнате, находящейся на антарктическом материке, самый обычный платяной шкаф, диван, никелированную кровать и книжную полку-секретер. Настолько это противоречит всему, что мы читали о первых экспедициях на Южный полюс, во время которых вес и объем вещей являлись одной из сложнейших проблем!

Введенский принял меня, как Ротшильд. Пакет, присланный ему с «Кооперацией» из Ленинграда, содержал и благие дары цивилизации и бок о бок с ними — пагубные, иными словами, жидкие. Коньяк был подобен летнему небу Антарктики — без единой звездочки, то есть «Ереван». К нему имелся великолепный соленый шпиг — снежно-белый, ледяной, с блестящими крупинками соли. Но это еще не самое важное. Гораздо важнее то, что он местный: свинью в ранней юности доставили на корабле в Мирный, она выросла на шестом континенте, и жизнь ее оборвалась тут, под безжалостным ножом полярников, но все-таки за свой недолгий век она прошла такой путь, какой не снился ни одному поросенку. Когда человек уминает столь необыкновенный

шник, в нем волей-неволей пробуждается поэт. И после того как я ушел от Введенского, снег мне показался еще более белым, тропка — более узкой, а расположение домов — еще более беспорядочным. У зеленых самолетов было вдвое больше пропеллеров, чем утром, на их фюзеляжах лежал какой-то золотистый отблеск. Я тихо занел:

Я помчался бы с северным ветром
В край метелей и вечного льда...

И на мои глаза навернулись слезы умиления.

Пока что отложу описание Мирного, поскольку сегодня он у меня получился бы прямо-таки райским местом. За нынешний день с «Кооперации» вывезли на самолетах тридцать тонн груза. Понемногу продвигаемся по фарватеру «Оби» к Мирному и уже окружены льдом со всех сторон.

26 ДЕКАБРЯ 1957

Сегодня утром санно-тракторный поезд направился из Мирного в глубь антарктического материка, на Комсомольскую, на Восток и на только еще создаваемую Советскую.

Сажу на корабле. На душе такое паршивое чувство, будто я повис в какой-то пустоте. Мы вроде в Антарктиде, а вроде и нет. «Обь» все еще прокладывает нам дорогу, и такие люди, как я, не связанные прочно с определенным научным отрядом, не имеющие определенного задания, чувствуют себя лишними. В Мирном у всех дел по горло, и не хочется болтаться у людей под ногами. Старики, то есть участники второй экспедиции, передают новеньким, то есть участникам третьей экспедиции, вещи и снаряжение, сообщают научные данные. Все это новое, непривычное, имеющее отношение не столько к Мирному, сколько к условиям жизни и климату на внутриконтинентальных антарктических станциях. Слышать одни разговоры — это могло бы удовлетворить меня в Таллине, но не здесь, вблизи полярных станций, которые хотелось бы повидать самому. Так что требуется терпение, умение ждать, но этих качеств я взял с собой из Таллина слишком мало.

На «Кооперации» тихо. Дважды в день эту тишину нарушает приземляющийся вертолет, отбрасывающий на стены каюты тени огромных вращающихся лопастей

подъемного винта. Сейчас тишина — мой самый ненавистный враг. Она, вроде злыдня в шапке-невидимке, просовывает свои холодные руки в окно каюты и сжимает мое горло. Это слышимая тишина, белая река времени, и дно у этой реки скользкое. Интересно, что ощущают другие?

Здесьнее солнце сделало свое дело. Кожа на лице облезает, губы распухли.

27 ДЕКАБРЯ 1957

«Обь» сегодня подошла к нам по тому самому каналу, который так долго пробивала для себя и для «Кооперации». «Обь» накренилась на правый борт. Она ломает лед совсем иначе, чем наше судно. «Обь» как бы наваливается всей тяжестью своего корпуса на лед впереди, и тот слегка вздымается под ее черными бортами. Она оставляет за собой довольно узкую дорогу, по которой спокойно плывут следом осколки. Ну и сила! У «Оби» не такой, как у нас, форштевень, он нависает надо льдом, словно карниз.

Когда «Обь» добралась до «Кооперации», началась пурга. После тихой и солнечной погоды, стоявшей с 22-го числа, мы увидели совсем другое лицо Антарктики, отнюдь не праздничное, а будничное. Уже вчера вечером, а особенно сегодня утром, можно было наблюдать, как пингвины покидают кромку припая и длинными шеренгами направляются на материк. Небо затянулось тучами, контуры айсбергов стали расплывчатыми, видимость ухудшилась, свет перестал резать глаза до боли.

Сейчас бушует метель в восемь-девять баллов. «Обь» стоит за нашей кормой, ее толстая труба и короткие мачты, видимые сквозь ванты, кажутся пристройками «Кооперации». По палубам проносятся вихри. Метель обладает свойством делать корабль каким-то маленьким, а мачты низкими, — их вершины при особенно сильных порывах совсем исчезают в небе, которое стало близким-близким, которого попросту нет. Белый корпус «Кооперации» совсем сливается с пургой, с ее белыми волнами, — они порой чуть ли не целиком захлестывают черный силуэт «Оби», оставляя на виду лишь трубу или желтые мачты, ступенчатый нос или круглую тяжелую корму. Небо сливается с ледяным полем, видимость не

больше десяти — двенадцати метров, и кажется, будто уровень льда у бортов «Кооперации» все поднимается рывками и поднимается.

Скверная получилась бы история, если бы лед начал двигаться, закрыл бы канал и «Оби» пришлось бы вновь прокладывать нам дорогу. Все мы не дождемся того момента, когда можно будет разгрузить «Кооперацию» и отправить ее в Александрию.

Хорошо, если в такую пургу есть крыша над головой, если сквозь залеplенный снегом иллюминатор пробивается свет, если ты можешь спать на койке и если рядом с тобой друг, который убежденно обзывает тебя ослом, поскольку в связи с внезапной пургой ты осмелился сказать несколько слов о метеорологии, этой науке наук, и внес предложение: после того как лед тронется и закроет нам дорогу, поручить пробивать его заново не «Оби», а метеорологическому персоналу экспедиции.

29 ДЕКАБРЯ 1957

Мы словно в крынке с молоком. Никакой видимости. Не у Первомайского ли начинается так одно стихотворение: «Снег летит и летит...»? Снег летит, покрывает прогулочную палубу, «Пингвинов», шлюпки, накидывает свою белую гардину на «Обь», сливается со льдом и с небом, и мир становится маленьким, стиснутым, укутанным в спокойную и плотную белизну. Это может продлиться еще несколько дней. Я достал пьесу. Не пошло. Она требует большего простора и другой погоды, более злой.

Но от белой стены отделилось сегодня одно выражение, уже давно занимающее мои мысли. Это выражение ходило за мной по пятам на корме, на баке, на ходовом мостике, на заснеженной палубе и притащилось за мной в каюту. Я его уже забыл, но теперь оно вспомнилось, теперь оно пришло ко мне, и пришло не как друг. Это выражение — «*болевой порог*», медицинский термин.

Осень 1956 года была для нас с женой крайне трудной. Двое очень близких нам юношей, кончающих школу, заболели детским параличом в настолько тяжелой форме, что мы в течение нескольких недель каждый стук в дверь принимали за стук костлявой руки смерти и при каждом телефонном звонке все в нас сжималось. В это время я часто сталкивался с врачами.

Однажды мы сидели с доктором Мойссаром в кафе «Москва» и говорили о состоянии больных. Один из них очень страдал. Спокойный, участливый и в то же время обстоятельный, как юрист, доктор Мойссар сказал после недолгого раздумья:

— Да, у него низкий болевой порог.

Может быть, это было эгоистично и жестоко, может быть, это было нечутко по отношению к тому, чью жизнь в таллинской инфекционной больнице поддерживали кислородными подушками, но я вздрогнул и, забыв обо всем, ощутил вдруг зависть к этой словесной находке — «болевой порог». Не менее сильную, чем ревность к женщине. Во мне проснулось то собственническое чувство писателя, который, напав на новое, емкое выражение, охватывающее целую проблему, а то и ряд проблем, пытается сохранить его для себя одного до тех пор, пока не сможет вернуть его читателю, бросить его, как лот, в темный колодезь человеческих ощущений и судеб, расширив и прояснив его значение. Тогда оно обростет хрупкими лесами событий, конфликтов, душевных крахов, счастья и несчастья, тогда оно будет связано даже с самыми второстепенными линиями сюжета. И все эти леса только благодаря ему и смогут держаться.

В нашей литературе мне выражение «болевой порог» не попадалось. И, однако, все, что писалось о человеке с незапамятных времен, непосредственно связано с этим понятием. Болевой порог каждого из нас, может быть, вообще является одной из главнейших проблем в жизни и в литературе. Ведь в значительной степени от него зависит наше отношение к окружающему, активное или пассивное.

«Болевой порог», это выражение весом в сто тонн пригодно для словаря любого писателя, каков бы ни был его стиль и какой бы цветовой гаммой ни располагал его язык. Это выражение вполне применимо не только в медицине, но и в общественной жизни, оно один из главнейших советчиков и руководителей общественных и государственных деятелей. Порог этот есть у всех нас, но высота его бывает различной — у эгоистов и бездушных карьеристов она достигает крайнего предела.

Я считаю, что у писателя может быть тысяча всевозможных недостатков и это еще не помешает ему быть писателем. Но если ему недостает таланта и если у него

высокий болевой порог, то дела его безнадежны. Приходилось, конечно, слышать, как отсутствие таланта и ожирение мозга порой очень ловко и убедительно объяснялись тем, что социалистический реализм вставляет несчастному писателю палки в колеса. Эта знакомая песня сопровождается примерно следующей аргументацией: Стендаль называл роман зеркалом, которое тащат по большой дороге. То оно отражает синеву неба, то грязные лужи. (А Стендаль в самом деле это говорил.) И далее: зачем вы, лакировщики, профаны, подхалимы, слепые щенки и т. д. и т. д., требуете, чтобы мои глаза, зеркало души моей, отражали бы и синеву неба, если я, непонятый и преследуемый, люблю только грязные лужи? Затем следуют рассуждения о свободе творчества, о страхе перед критикой недостатков нашего общества, раздаются, словно орудийные залпы, великие имена Гоголя и Щедрина, бьют противника по голове «Баней» Маяковского. Но стоит очнуться, как сразу поймешь, что мир вокруг все тот же, люди те же, что свой насущный хлеб приходится по-прежнему зарабатывать трудом, что над твоей головой все та же небесная синева, а на дороге еще хватает грязных луж. Понимаешь и то, что спорил с человеком, который зарабатывает свой насущный хлеб процеживаньем грязи, что, если бы случилось чудо и всемогущим декретом были бы ликвидированы однажды все грязные задворки в жизни и в людских душах, этот несчастный остался бы без хлеба и без гонимых, ибо творческая почва под его ногами превратилась бы в прах. И как бы ловко подобный товарищ ни прятался за бородой Маркса, все ж таки видишь, что он смотрит на наши недостатки как на средство существования и что его болевой порог стал угрожающе высоким.

У нас, писателей, болевой порог должен быть невысок по отношению ко всему вокруг, что болит и вызывает боль. Хорошо, если людские горести мучают нас, прорываются к нам беспрепятственно, становятся частью нас самих, скребут по нашим сердцам. Тогда мы, правда, скорее изнашиваемся, раньше седем, тогда в нашей жизни нет подлинного покоя, но жить иначе нет смысла. В конце концов, та ноша, которую взваливают на себя люди с низким болевым порогом, которая и наш крест и наше богатство, эта ноша в силу своей серьезности, жизненности, сложности, а порой и неразрешимости никогда не позволяет опускаться до приторной

жалостливости, до слезливого сочувствия, вызывающего подозрение, что писатель рассчитывает получить лавры (и порой не напрасно) не за то, что он разобрался в причинах явления, а за то, что он пережевывал его следствия, высосав из них все сентиментальные соки и поднеся их в переработанном виде читателю.

Самая плохая литература — жалостливая.

Некрасов пишет:

...Друг любезный,
Не сочувствуй ты горю людей,
Не читай ты гуманных книжонок,
Но не ставь за каретой гвоздей,
Чтоб, вскочив, накололся ребенок.

Вышина нашего болевого порога зависит не от усердия, с каким мы *упиваемся* видом горестей вокруг, она зависит от другого. Утыкано ли в интересах душевного покоя наше писательское «я» гвоздями или нет — вот что главное.

Следовало бы написать новеллу под заглавием «Болевой порог».

30 ДЕКАБРЯ 1957

Прекрасный день. «Обь» стоит рядом, и на ее борт переправляют «Пингвинов» с палубы «Кооперации». Может быть, завтра начнем разгружаться. Я уже сыт бездельем по горло.

31 ДЕКАБРЯ 1957

Сегодня с «Оби» запустили две метеорологические ракеты, которые взлетели вверх на восемьдесят километров. Это было мощное зрелище: грохот взрыва, а затем довольно медленно отделившаяся от носа корабля ракета, ладная, стройная, с хвостом рыжего пламени. Быстро набирая скорость, она устремилась к облакам и скрылась за ними. Наверно, очень немногие отмечали Новый год столь необычным фейерверком.

На «Кооперации» царит предпраздничное настроение, совершенно такое же, каким оно бывает перед праздниками на суше, знакомое и домашнее. Бродим, курим, обмениваемся мыслями о том, что сейчас делается на Большой земле, и оттенок у этих мыслей неуловимо грустный. Среди нас много участников второй экспеди-

ции, которые уже больше года не были дома. Новогодняя елка, хоть она уже осыпалась и лишилась многих ветвей, все еще напоминает о лесе, об эстонском лесе, со мхом, со стройными стволами, с белыми березками, с молоденьким подростом. Здесь, где в нескольких метрах от «Кооперации» торчат изо льда голые бурые скалы острова Хасуэлл, оживляемые лишь пингвинами, мелкими птицами и ворочающимися тюленями, скалы, над которыми ни разу не пролетала пестрая бабочка, на которых не росло ни одной травинки, здесь, где у тебя на виду спит в своем ледяном тулупе антарктический материк, эта осыпавшаяся елочка имеет совсем иное, символическое значение.

1 ЯНВАРЯ 1958

Новый год наступил здесь на четыре часа раньше, чем в Таллине, в остальном же он не отличался от любого другого Нового года. Мы сидели до утра вместе и пели. В музыкальном салоне играла гармонь — там танцевали. Люди с «Оби» приходили к нам, мы ходили на «Обь».

Чудесный, солнечный день.

Посмотрим, что мне принесет 1958 год. Жду от него большего, чем дал мне прошедший год, порядком-таки пустой. Лишь конец года, два последних месяца на «Кооперации», были прожиты более напряженно и творчески. Надеюсь, что эти два месяца оставят след в моей будущей работе. 1958 год должен быть лучше хотя бы потому, что его заполнит Антарктика, а затем — воспоминания о ней. По прошествии известного времени впечатления оживут с новой силой, нахлынут из меня властно и неотступно.

2 ЯНВАРЯ 1958

Сегодня приступили к разгрузке. Чертовски приятно после долгого перерыва опять заняться физическим трудом. К борту «Кооперации» подъезжают трактора с саями, работают судовые лебедки, а наша метеорологическая бригада под руководством своего замечательного начальника, профессора Бугаева, перекачивает бочки в первом трюме.

Но после обеда все вдруг неожиданно оборвалось. От «Оби» к «Кооперации» поползла по льду длинная трещина. Она все приближалась и приближалась, и от четвертого люка умчался прочь трактор с санями. Затем от большой трещины ответвилась маленькая, расколовшая лед почти до самого носа «Кооперации». Трактора уехали. Сегодня больше работать нельзя.

Получил приглашение на вечер, который устраивают участники тракторной экспедиции. Их тракторный поезд проделал тяжелый и опасный путь длиной в четыре тысячи километров — от Мирного до станции Восток и обратно.

3 ЯНВАРЯ 1958

Вчерашний вечер, душевный и запоминающийся, прошел с подъемом. Участники тракторной экспедиции, эти скромные и тихие люди в меховых кожанках, совершили подлинный коллективный подвиг. По правде сказать, я еще не могу оценить всей трудности и всего значения их рейда,— способен буду сделать это после того, как сам проделаю их путь хотя бы на самолете.

Познакомился со своим земляком Зиновием Михайловичем Теплинским. Он, бывший танкист, сейчас тракторист-механик, принимал участие в этой экспедиции. Теплинский прожил пять лет на Сааремаа. Долго беседовал с ним об островах, о тамошних дорогах, о рыбе, о природе, о сааремском пиве, и я совсем забыл, как далеко отсюда до моего дома. Лишь время от времени мы выражали взаимное удивление: «Ишь ты, где встретились!»

Снова начинается разгрузка. Лед как будто стал крепче,— посмотрим, долго ли он выдержит. Работаю по-прежнему в трюме. Если б тракторов и саней было больше, а путь короче! Напрямую до Мирного четыре-пять километров, а тракторам приходится преодолевать по льду почти двадцать километров. Один конец они проходят за пять-шесть часов.

5 ЯНВАРЯ 1958

Мирный

В историческое четвертое января на антарктический материк высадился представитель эстонского народа и

эстонской литературы. Впервые в этом районе появляется эстонец и вторично — островитянин. (Первым из островитян был тут барон Беллинсгаузен из имения Пильгусе.) Двадцать километров по льду, отделяющие «Кооперацию» от Мирного, он преодолел на металлических тракторных санях. Он сидел на мотке кабеля, за его спиной лежал желтый портфель с незаконченными произведениями, в ногах покоился зеленый брезентовый мешок с ватными штанами, книгами, кинопленкой и прочими драгоценностями, а справа стоял элегантный черный чемодан с чистым бельем. Губы его потрескались, кожа на лице облезла, замерзший нос покраснел. В его груди теснились храбрость, решимость, несокрушимое намерение покорить шестой континент и другие сильные чувства. Каждый раз, как из-под гусениц трактора, тянувшего сани, струей била зеленая вода, сердце его содрогалось. Он опасался, и не без оснований, что море Дейвиса поглотит трактор, тракториста, сани и персонально его самого. Затем он прибыл в Мирный и притащил свои вещи в каюту прессы, расположенную в доме № 2 по улице Ленина, где и обнаружил, что на предназначенной ему койке спать невозможно, так как она временно отдана другому лицу. Поскольку он продрог, это обстоятельство слегка его опечалило. Тут его направили в ночную смену — разгружать прибывшие с «Кооперации» тракторные сани.

Если бы я попросил Васюкова описать мой переезд с «Кооперации» в Мирный, то это было бы сделано именно в таком тоне, довольно верно передающем обстановку.

До утра мы сгружали с саней бензин и соляровое масло. В четыре часа начало местнн, поднялся сильный пронизывающий ветер. Брезентовые рукавицы промокли. Мои товарищи, перекатывавшие бочки, выглядели во время пурги довольно причудливо. В ватниках и в капюшонах, надвинутых на глаза, они были похожи на капуцинов, разговаривающих на русском языке, пересыпаемом к тому же множеством таких неожиданных словечек, за которые римский папа никак их не похвалил бы,— более того, чтобы искупить свой грех, им пришлось бы изрядно потратиться на индульгенции. Бочки были тяжелые, и, когда мы их ставили на попа, я, чтобы поддержать свои слабые силы, отпускал крепкое словцо. Говорите мне что хотите, но это все-таки помогает!

Под одним из тракторов проломился лед. Его гусеница торчала наружу под странным углом. Пять других тракторов его вытащили. С трактористом ничего не случилось.

Утром мне негде было лечь спать. Начальник складов Мирного Сергеев пригласил меня в свою комнату. Впервые в жизни я залез в спальный мешок. Прекрасное, практичное изобретение! Затянув «молнию» до самого подбородка, я почувствовал себя медвежонком. Может быть, я даже рычал во сне. Спалось мне, во всяком случае, хорошо! Я проспал обед и проснулся только в четыре часа дня.

Опять пойду работать в ночную смену.

6 ЯНВАРЯ 1958

С девяти вечера до девяти утра был на разгрузке. Половина нашей бригады работала за поселком, там выгружали на снег бочки с горючим. Другая половина работала в Мирном. Сначала мы перетащили на склад несколько сот ящиков лука, чеснока, яблок и апельсинов. Потом пошли ящики с медикаментами, с аппаратурой для геофизиков и исследовательских станций и с фотобумагой, которая является тут очень дефицитным и ценным товаром. Сгружать ящики — это совсем другое дело, чем перекачивать бочки. Все они разного объема и разной тяжести — попадаются и громадины в несколько сот килограммов и коробки килограммов в десять. На большинстве из них предостерегающая надпись: «Стекло! Не кантовать!» Сгружать такие ящики с саней — кляузное дело. В короткие перерывы мы ходили в столовую: для ночной смены стол всегда держат накрытым.

В последнее утро нам досталась самая сложная работа, требующая громадного терпения. Пришлось сгружать с тракторных саней длинный ящик, весом больше двух тонн. Для грузчиков, имеющих тали, этот вес не представляет ничего особенного. Но в ящике была упакована предназначенная для Востока автоматическая станция, кажется, для измерения космического излучения. Эту тонкую и сложную аппаратуру не разрешается наклонять больше чем на 15 градусов. За тем, чтобы этого не произошло, следил Коломиец, один из самых молодых участников экспедиции и самых молодых ученых, которому предстоит опекать эту станцию и на Вос-

токе. Коломиец бегал вокруг нас и вокруг ящика — меховой тулуп у него был на груди распахнут, а голые руки покраснели от мороза — и жалобно умолял:

— Потише, товарищи! Больше не наклонять, дорогие товарищи! Теперь чуточку подвиньте. Вот-вот, стронулся, сдвинулся, молодцы, ребята, черт бы вас побрал!.. Тише, дорогие товарищи, тише!.. Еще тише!.. Стоп!

Он разговаривал с нами тем же ласково-просительным тоном, каким разговаривают с детьми, несущими хрустальную вазу и способными в любой момент уронить ее, если их не удержит серьезное предостерегающее слово взрослого. И хотя среди нас были люди, которые по возрасту годились Коломийцу в отцы, все же его «молодцы, ребята» и «дорогие товарищи» льстили нам и оказывали необычайно дисциплинирующее воздействие. Длинный ящик ни разу не накренился больше чем на 10 градусов. И когда он наконец оказался на снегу, Коломиец крепко пожал всем руки, что вообще-то не принято в Антарктике, но в данном случае было вполне уместно. Такое рукопожатие долго помнишь, оно долго будет согревать твою душу. Да и стоило посмотреть на счастливое лицо Коломийца: по-детски круглое, без единой морщинки, с блестящими карими глазами. Все в нем говорило: «Я очень молодой, очень хороший и несу очень большую ответственность!» Таким он и расхаживал вокруг своей станции — с распахнутой грудью, с большими и красными, словно рачьи клешни, руками.

Как эту махину погрузят на самолет и доставят на Восток, ни разу не накренив ее больше чем на 15 градусов, остается для меня совершенно непонятным. Ну да уж Коломиец позаботится.

«Молодцы, ребята! Дорогие товарищи!»

Вот как!

Утром нашей бригаде выдали спирт — граммов по сто на каждого. В полярных зонах, как на Севере, так и на Юге, принято разводить спирт соответственно номеру параллели. Наша широта $66^{\circ}30'$ — значит, следует пить 66—67-градусный спирт. Следует сказать, что после двенадцати часов работы на весьма свежем воздухе он действует хорошо, пробирает до самых пяток, до ногтей, закручивается спиралью вокруг пупа (а если бросить взгляд на карту Антарктиды, на исследовательские станции, щедро разбросанные по ледовитому матерку,

то увидишь, что спираль закручивается и вокруг пупа земли — Южного полюса), и в голове начинает слегка шуметь, — короче, напиток этот вступает в весьма интимные отношения с человеческим организмом.

Койки еще нет. В каюте прессы спит народ с Комсомольской, тут же работает начальник наземного транспорта второй экспедиции и стрекочут пишущие машинки. Нашел себе временное пристанище у своих старых друзей — у радистов Якунина и Яковлева. Из их комнаты открывается вид на море, на скалистый рейд Мирного, на остров Хасуэлл. Похоже, что в самом деле наступает лето: темная полоса чистой воды с каждым днем подступает все ближе. Может быть, через несколько дней море Дейвиса очистится ото льда. Если бы не эти голые скалы, не ползающие по льду трактора, не полоса почти черной морской воды вдаль, не бугристые айсберги, белые и громадные, вид из окна комнаты радистов был бы совсем таким же, как тот, который открывается из моего окна на весенний Таллинский залив.

После войны я довольно долго бродяжил. Отчасти потому, что работа у меня в Таллине не ладится. Из написанного мною в последние годы на Таллин приходится не больше одной пятой. Я не очень связан привычкой к постоянному рабочему месту, к постоянному столу, к знакомым обоям, к уютному световому кругу настольной лампы и к тишине, необходимой для работы. И у радистов меня в первые же минуты схватило ощущение, что я дома. Оно, безусловно, порождено видом на море и тем, что радисты — отличные товарищи.

Пока мне придется быть в Мирном, буду пользоваться гостеприимством Якунина и Яковлева самым беззастенчивым образом.

7 ЯНВАРЯ 1958

Первый, четвертый и, наверно, третий трюм «Кооперации» уже пусты. Во втором трюме еще сто сорок тонн груза. Надеялись покончить с ними сегодня, но разгрузку прервали. Скорость ветра на море — четырнадцать метров в секунду, кромка льда тонка и ненадежна, граница чистой воды все приближается. Стало больше трещин. Если будем разгружать дальше, может утонуть трактор. Вероятно, кончим разгрузку завтра, если пого-

да улучшится и ледовая разведка установит надежность трассы.

Из полетов пока ничего не выходит. В Оазисе держится плохая погода, и часть новой партии зимовщиков еще здесь. Тракторная колонна в Пионерской, за спиной у нее четыреста самых трудных километров. В Пионерской тоже нелегкая погода. Два самолета улетело на Восток, но я намереваюсь побывать сначала на более близкой станции — в Оазисе или в Пионерской. Попасть из Мирного сразу на Восток — это для меня слишком резкий переход.

Мирный становится для меня уже более своим. Издали его дома кажутся маленькими и низкими: разбросанные среди сугробов такой же высоты, они как бы образуют одну плоскость со снегом. Высоко расположены лишь построенные на скале радиостанция, дом радистов, электростанция, ремонтная мастерская и радиомачты.

В дверях электростанции стоит рыжебородый Нептун — Кузнецов, чье «Дети мои!» осталось в Мирном таким же громогласным и сердечным, — здесь его тоже зовут отцом. Он показал мне свое хозяйство. Электростанция сильная, в ней работают на дизельном топливе три агрегата общей мощностью семьсот киловатт. Для Мирного — это вполне солидная мощность, и недостачи в электроэнергии мы не испытываем. Станция стоит на камне, под ногами чувствуешь дрожание металлического пола, слышишь громкий и размеренный гул генераторов, который не так-то просто перекричать, и понимаешь, что советский человек пришел сюда не на один день.

В доме же, где разместилась метеорологическая служба, управляемая Виктором Антоновичем Бугаевым, где работает самым важным синоптиком Костя Васюков, где трудятся под руководством Белова аэрологи, где живут и работают местные американцы — мистер Картрайт и мистер Рубин, где, наконец, ни в один из последних дней не сумели скомбинировать приличной летной погоды, — в этом доме нет ни железного пола, ни гула генераторов, а есть лишь маленькие хитроумные аппараты, синоптические карты с нанесенными на них центрами циклонов и путями их движения. И тут раздаются весьма странные вопросы.

Бугаев спрашивает у Васюкова:

— Куда вы погоните этот циклон?

И Васюков, смерив по карте продвижение циклона, отвечает абсолютно деловито и таким тоном, будто циклон — это ездовая собака:

— На материк.

В споре о движении циклона я услышал необычную фразу. Начальник метеорологической группы предыдущей экспедиции, известный советский синоптик Кричак, сказал:

— Нельзя быть хорошим синоптиком без фантазии.

Черт его знает, может быть, в этой науке и впрямь есть поэзия!

Дом метеорологов стоит чуть в стороне от других домов, и его легко найти. На его крыше прикреплена большая фанерная доска, на которой изображены две обнаженные кинозвезды. Одна из них, с длинными черными косами, символизирует западный ветер, а другая, со светлыми кудряшками, — восточный. Обе они пышные красотки с округлыми красивыми бюстами и т. д. Каждый метеоролог, отправляющийся производить наблюдения, устремляет взор прежде всего на них. В какой степени они влияют на климатические условия Мирного, я не знаю.

Разве человек ведает, под какой звездой он родился? Ни Васюков, чьим воспитанием я так усердно занимался на «Кооперации», ни Бугаев, серьезный ученый и серьезный человек, и не подозревали, что им когда-нибудь придется жить под обнаженными кинозвездами.

9 ЯНВАРЯ 1958

«Кооперация» наконец пуста.

Она стоит рядом с «Обью» во льдах, на рейде Мирного, и кажется после разгрузки выросшей. Все те участники второй экспедиции, которые возвращаются на родину с первым рейсом, все сто тридцать человек уже на борту. Мирный опустел, притих и сегодня впервые оправдывает свое наименование. Все реже попадают на глаза незнакомые лица — теперь тут преобладают мои спутники с «Кооперации».

В ночь на сегодня совершил первую небольшую поездку по материковому льду Антарктиды. Мы выехали на трех «Пингвинах» — два из них тянули сани с грузом мяса. Мы должны были добраться до первого склада, расположенного в двадцати километрах к югу от Мирного, по пути к Комсомольской, Пионерской и Востоку.

Кроме водителей и радистов, с нами отправились Трешников, главный инженер экспедиции Парфенов и начальник наземного транспорта Бурханов. Я сидел в третьей машине, в «Пингвине» № 1, водителем которой был Станислав Ромакин, а радистом Илья Журенко.

Мы направляемся на юго-запад, справа еще видно море Дейвиса, с его белой ледяной спиной, обращенной к матерку, и темной водой вдаль. Затем дорога поворачивает на юг. Лед все выше вздымается над уровнем моря, размеренно и неторопливо взбегая вверх чуть приметными волнами. Тут он гладкий и целый, без разводов. Видишь один лишь белый снег, широкие синеватые следы головных саней и самые сани с горой мяса на них. И синее небо, залитое мирным светом солнца, прячущегося за куполом Антарктиды. Единственное живое существо — это похожий на нашу ласточку маленький снежный буревестник, который кружит перед самым «Пингвином». Радисты говорят, что эти птички попадают на материке в пятидесяти километрах от берега. Любопытно, что их туда манит, — там ведь нет ни комаров, ни жуков, словом, ничего, кроме свежего морозного воздуха, льда и неба. Если в Мирном температура минус один градус, то в десяти километрах от него она уже падает до 15 градусов. Ветер стал крепче и холоднее, по льду стального цвета пробегают низкие параллельные волны метели.

«Пингвины» вместительны. В носовой части расположены щиток приборов со всевозможными измерителями, невысокое сиденье для водителя, радиопередатчик и приемник. В кузове пол более высокий, тут стоят стол и стулья, обитые зеленой клеенкой. В задней части расположен внизу мотор. Над ним ниша, в которой можно спать или хранить весьма объемистый груз.

Видимость из «Пингвина» плохая, хуже, чем из любой другой машины, передвигающейся по льду. Лишь прямоугольное окно перед водителем сравнительно большое и необмерзающее. Из высоких же иллюминаторов по обеим сторонам не обмерзают только правые. Иллюминаторы в боковых дверях тоже обмерзают. Водитель не видит, что делается с буксируемыми санями, — задний иллюминатор находится слишком далеко от него и высоко и тоже, как правило, обмерзает. Это один из недостатков «Пингвина».

При здешнем снеге и бездорожье двести сорок лошадиных сил не ахти какая мощь. Нам было видно, что

«Пингвинам», идущим впереди, нелегко тащить свои сани. Разумеется, без саней и на более или менее приличном льду «Пингвин» без особого труда проходит по двадцать километров в час и больше. Это неплохо. Пока машины только испытываются, и главные экзамены по преодолению материковых льдов у них еще впереди.

Два передних «Пингвина» благополучно доставили свою кладь на 20-й километр. Мы туда не добрались. Примерно в двенадцати километрах от Мирного отказал мотор. Наш радист связался с Мирным, а потом с двумя другими «Пингвинами», чтобы посоветоваться с их водителями. Затем мотор заработал снова, мы проехали еще с километр, но после этого антифриз закипел, ниша над мотором наполнилась паром, и на этот раз мы встали окончательно. Ромакин принялся чинить машину, а мы с радистом легли на стулья поспать. Последнее, что я видел перед тем, как заснуть, это синее небо сквозь открытый круглый люк в потолке и радиста, который сдирал с головы звукоизолирующие наушники.

Мы пересели на «Пингвин», возвратившийся с 20-го километра. У Мирного, на бугристой дороге, изъезженной тракторами, он несся с максимальной скоростью. Трясло так, что о сне и думать было нечего.

10 ЯНВАРЯ 1958

Сегодня в полдень «Обь» и «Кооперация» покинули рейд Мирного. Более мощная «Обь» пошла по прежнему каналу впереди, а «Кооперация» — следом. Их прощальные гудки были едва слышны в Мирном. Белый корпус «Кооперации» закрывал идущую впереди «Обь», а потом оба корабля слились в одно расплывчатое пятно и вскоре пропали из виду.

Я думал, что пробуду в Мирном два месяца, но сегодня выяснилось, что у меня останется на Антарктику гораздо меньше времени, — всего лишь около месяца. «Кооперация» повезет участников второй экспедиции не в Александрию, а в Порт-Луи, на острове Маврикий. При нормальной скорости она доберется туда за две недели с небольшим и сумеет вернуться обратно к 20 февраля. Сколь ни приятно мне вернуться домой на месяц, а то и на полтора раньше, это обстоятельство все же меня заботит. Сроки вдруг оказались сжатыми, и теперь будет зависеть в основном от погоды, удастся ли мне побывать в сердце Антарктики, удастся ли вдоволь

полетать над ней. Прихоти климата могут сделать этот месяц весьма коротким, хоть в январе и феврале тут бывает обычно наилучшая легная погода. На этих днях можно было полетать, но я не торопился, поскольку считал, что еще пробуду здесь до середины марта. Есть и другая причина — у меня пока что нет соответствующей одежды. На Востоке же пока 40 градусов ниже нуля, а на Пионерской от 30 до 40. Наверно, сегодня получу теплые вещи.

Смотрел, как запускают радиозонд и следят за его полетом с помощью локатора. Очень простая и очень мудреная штука. Недостаток знаний, отсутствие подготовки по разным отраслям науки чувствительно дают себя знать на каждом шагу. Если принимать участие в следующей экспедиции, то надо хотя бы бегло ознакомиться с научными вопросами, предусмотренными ее программой.

В Мирном лишь в двух местах наука отступает на второй план. Первое из них — столовая, или кают-компания, именуемая еще рестораном «Пингвин». Здесь через день показывают кино, здесь изредка проводят общие собрания и производственные совещания отдельных исследовательских отрядов. А самое главное — здесь нас обильно и хорошо кормят. Порций нет — ешь, что хочешь и сколько хочешь. Никогда бы не поверил, что я, при своем весе в шестьдесят пять кило, смогу истреблять столько пищи — по крайней мере втрое больше, чем дома. Так как тут много двигаешься на морозе, на очень чистом воздухе, и нередко по колени в снегу, пробуждается такой зверский аппетит, что перед обедом всегда кажется, будто способен целиком съесть на второе жареного барана. Начинаешь понимать обжору из романа финского писателя Алексиса Киви, который перед свадебным пиром выкопал в земле ямку для брюха, чтобы потом удобнее было отлеживаться.

Как-то в детстве я с почтительным страхом наблюдал за одним едоком на свадьбе. После того как он объелся, из его живота извлекли в куресаарской клинике чуть ли не пуд салаки и немало всякой другой рыбы. Мне это количество показалось фантастическим. Но в своих здешних предобеденных мечтах я пожирал куда больше — к счастью, только в мечтах.

Вначале я робко озирался по сторонам, не сочтут ли меня обжорой. Но достаточно мне было оказаться за столом рядом с одним механиком и одним трактористом

семи футов росту и ста килограммов весу да с двумя парнями из строительного отряда — все четверо в самом расцвете сил и некурящие, — чтобы я понял: здешняя работа и здешние условия вынуждают человека есть хорошо и помногу. Впрочем, на глубинных континентальных станциях, где поварами работают врачи, люди к концу полярной зимы страдают отсутствием аппетита. То же, конечно, происходит и в Мирном, когда бесконечная ночь и дикая погода запирают людей в четырех стенах и почти лишают их возможности двигаться.

Кормят хорошо и разнообразно. У нас достаточно и мяса, и масла, и молока в порошке, и сахара, и фруктов. И несмотря на то что мы сидим за столами, покрытыми потертой клеенкой, и едим и первое и второе из одной тарелки, несмотря на то что посуда у нас по-армейски простая и прочная, к чести поваров Мирного следует сказать: эти люди знают и любят свое дело. И даю голову на отсечение, что любой повар антарктической или арктической экспедиции всегда сможет спасти положенные какого-нибудь прогорающего ресторана на Большой земле. Лишь в диетической столовой они будут не у дел: в государстве крепких зубов и здоровых желудков им не приходилось ломать голову над лечебным меню.

Интересней всего в столовой по вечерам. Большинство людей уже покончило с дневной работой, первая смена радистов передала наушники второй, никто никуда не спешит. В темной, засыпанной снегом передней громоздятся на вешалке тулупы и шапки, которыми, разумеется, мы часто обмениваемся по ошибке. Я ношу уже, наверно, четвертую шапку. Но никто не обращает внимания на такие вещи.

Тут за длинными столами сидят вместе метеорология, аэрология, гляциология, авиация, ребята из строительного отряда, служба транспорта и служба радиосвязи. Когдаходишь сюда, то первое, что видишь еще из дверей, это десятки молодых, по-солдатски остриженных голов — темных, светлых и русых, — лишь немногие тронуты сединой или совсем седые. различи, кто здесь профессор, кто кандидат наук, чьи былые кудри обрамлял ореол докторского титула или славы хорошего плотника.

Темы разговоров обыденные и общечеловеческие, особенно ценится здесь веселое и сочное слово. Повсюду гул, жизнь, движение, игроки в домино стучат костями,

и очередь у их стола требует проигравших поскорей освобождать места. Запоздав, появляется Васюков в своей потертой оленьей ушанке, которая прослужила ему пять лет в Якутии и служит до сих пор, потому что для его большой головы еще не сделали новой шапки. Он садится и, как это уже часто бывало, начинает, адресуясь ко мне, поносить гуманитарные науки и превозносить метеорологию и высшую математику.

На полу сливаются круги желтого света, отбрасываемого с потолка лампами, прохладный зал с темным потолком кажется огромным и таинственным. Полутьму вечерней кают-компани разрезает пополам, как ножом, вырывающийся из дверей кухни снол яркого света, порой проецирующей на стены черные негритянские головы. Все в этом шумном, уютном и дружеском доме кажется уже знакомым и когда-то виденным. Но где? Наверно, на репродукциях с картин Рембрандта.

— Вот ты, Юрьевич,— говорит Васюков,— не любишь высшую математику. И в плохую погоду поносишь метеорологию. А ведь только в науке и есть настоящая поэзия. Знаешь, кто величайший поэт двадцатого века?

— Так сразу не скажешь.

— Альберт Эйнштейн,— говорит Васюков, и он прав.

Второе место, где науку держат на цепи в довольно будничном, привычном, рычащем, лающем и мохнатом виде,— это псарня на берегу моря. В Мирном сейчас сорок собак, то есть четыре упряжки сибирских лаек. Часть псов родилась тут, часть зимует уже давно — со времени первой экспедиции. Я успел несколько раз побывать на псарне вместе с каюром Виктором Ведешным.

Между прочим, на псарне живут только суки со щенками да молодняк, а взрослые собаки сидят снаружи на цепи. Цепи их прибиты к сваям, вмёрзшим в лед.

Ведешин, который отпраздновал тут свое двадцатилетие, родом из-под Тулы. Собаками он начал заниматься в армии. Эти умные четвероногие его любят. Как только на их горизонте показывается коренастая фигура Ведешина, собаки нетерпеливо визжат, натягивают до отказа цепи и встают на задние лапы, доверчиво глядя на хозяина.

Наверно, оттого, что я прихожу с Ведешным, они относятся дружелюбно и ко мне. Как-то не хочется склонять голову перед эстонской пословицей — «Собаке с собакой недолго снюхаться».

Славные, крепкие и интеллигентные звери. И с индивидуальностями. Взять хотя пса Веселого, ездовую лайку с отличным экстерьером и с такой мордой, какой я не видел ни у одной собаки. На ней написаны и задор, и нахальство, и хитрость, и добродушие, и грустная ирония. Уши торчком, острую мордочку окружают бакенбарды с окладистой бородкой — все это делает пса похожим на старого шкипера, вышедшего навеселе из кабачка и подыскивающего приятную компанию.

И Сокол хороший пес, только этот держится серьезно, апатично и высокомерно.

А больше всего мне нравится молодая девятимесячная лайка Айсберг. Спина у нее черная, а грудь и передние лапы — белые. У нее совсем еще нет солидности и основательности старых ездовых собак — она молода до кончика хвоста.

У каждой из этих сорока собак свое лицо, свой характер, свой взгляд на окружающий мир и на братьев с сестрами, сидящих рядом на цепи.

Лишь в одном случае все они становятся похожи друг на друга и начинают вести себя одинаково, а в глазах у них загорается одна и та же тоска.

...На морском льду прямо под ними бредет вперевалку независимый и беззаботный пингвин Адели. Все собаки умолкают и настораживаются, один момент — и вот они уже доползли до края барьера, настолько близко к нему, насколько отпустила каждую из них цепь. И замерли: лишь кончик хвоста шевелится да глаза влюбленно следят за смелой птицей. Пингвин замечает их и останавливается, начинает с любопытством разглядывать собак, затем подходит к ним на несколько шагов, и тогда из груди каждой лайки, охваченной дрожью ожидания и волнения, вырывается негромкий высокий звук, похожий на зудение овода: «Ну, подойди поближе!» Во взгляде любой из них можно прочесть стих Якоба Лийва:

Твое место, милый, в этом брюхе..

Но инстинкт пингвина, предупреждающий его об опасности, берет все-таки верх над любопытством. И он спокойно удаляется. Собаки вздыхают и возвращаются на свои места.

Эта сцена разыгрывается по несколько раз на день. Собаки не теряют надежды. И дабы поддержать ее,

некоторые смелые пингвины даже пожертвовали своей жизнью.

У собак тут мало работы. В деле изучения Антарктики собачья упряжка — это вчерашний день. Я слышал, что большую часть собак придется, вероятно, умертвить до наступления полярной ночи. Само собой ясно, что неэкономно везти за 20 тысяч километров корм для безработных собак. Едят они, к тому же, немало.

Если и вправду так будет, выпрошу себе Айсберга и отвезу его в Таллин.

11 ЯНВАРЯ 1958

Сегодня пролетел тысячу триста километров над Антарктидой, над материком, что мертвее мертвого, из Мирного до промежуточной станции Восток-1 и обратно.

Вчера вечером надеялся, что мне удастся долететь до Востока, где самолет сбросит на парашюте груз и, не приземляясь, повернет обратно. В связи с этим отправился к Николаю Петровичу Сергееву, начальнику складов, и мое обмундирование частично заменили, а частично пополнили. Прежде всего пришлось обменять ватные штаны. В те, что я взял без примерки с калининградского склада, влезло бы, кроме меня, еще пол-Антарктиды. Штаны поменяли. Получил еще и унты — сапоги из собачьей шкуры, очень теплые, легкие и удобные. Получил шапку из пестрого собачьего меха, подбитую белой овчиной, и барашковые рукавицы, обшитые ветронепроницаемой тканью.

Будь мой характер таким же мощным, как это снаряжение, из меня, глядишь, тоже вышел бы землепроходец.

Вылетели из Мирного в 9.10 на «ЛИ-2». Командир корабля — мой старый знакомый по «Кооперации», полярный летчик Николай Алексеевич Школьников, самый молодой, наверно, человек из летных командиров экспедиции. Он юный и сильный, в нем есть что-то от безмолвия того сурового мира, в котором мы сейчас находимся. Редко встречал людей с таким душевным, не назойливым чувством такта.

Самолет делает круг над морем Дейвиса. Под нами остров Хасуэлл — груда бурых шершавых скал среди льда. В центре его виднеется синее озеро растаявшего

снега. Морской лед начинает взламываться, полоса чистой воды уже подступает к берегу, а на прибрежном льду появились большие трещины. Отломившиеся от крутого барьера айсберги, все в трещинах и складках, еще стоят посреди хрупкого уже льда смиренно, но по бороздам на барьере можно догадаться, что скоро к ним прибудет подкрепление с материка.

Отчетливо выделяется путь, которым «Обь» и «Кооперация» подошли к Мирному.

Летим над антарктическим материком. Ровно и с могучим спокойствием его рельеф все повышается. Не осталось больше ничего, кроме ясного-ясного холодно-синего неба над самолетом, волокнистых золотых облаков на низком горизонте и ослепительно белого — без единого пятнышка — бесконечного, холодного и безжизненного антарктического материка под нами. Сплошной лед оживлен лишь снежными застругами, отбрасывающими короткие тени. Скорость самолета — сто восемьдесят — сто девяносто километров в час. Никаких воздушных ям. Мы не перестаем подниматься, но земля все приближается к нам, мчится все быстрее и видна нам все лучше. Альтиметр показывает высоту в две тысячи восемьсот метров, но каково расстояние до льда под нами? Освещение тут обманчивое, глазомер в Антарктике подводит, но мне кажется, что до льда меньше пятисот метров.

На газовой плите греется чайник со снегом — скоро получим чай.

10.45. Мы летим на высоте трех километров над уровнем моря, температура воздуха минус 28 градусов. Лед внизу все приближается к нам, мы в трехстах метрах от этого белого тулупа земли.

11.45. Высота три тысячи двести метров, и лед еще ближе — в пятидесяти — ста метрах. Направляясь сюда, мы оставили слева от себя Землю Вильгельма Второго, а справа — Землю королевы Мэри, теперь же мы летим над безымянной землей. Горизонт становится пасмурным, снег уже не слепит, как прежде. Мы ползем над самым льдом, кажется, будто самолет не в силах избавиться от этого неприятного соседства. Невольно задумываешься над тем, насколько глубоко погребена под этим льдом земля, чем она покрыта — камнем, скалами или гранитом, что таится в ее недрах и долго ли уже длится ее ледяная спячка. В конце концов, остается лишь одно определенное ощущение — ощущение огром-

ной тяжести, с которой ледяная масса давит на каждый квадратный дюйм этой почвы.

12.00. Самолет низко проносится над плоской возвышенностью, близость которой вызывает иллюзию, будто у нас непозволительно высокая скорость. Внизу по-прежнему слегка волнистый снег, которого здесь, на плоскогорье, как будто не очень много. Высота три тысячи двести шестьдесят метров.

Снова поднимаемся. Теперь наша высота три тысячи триста пятьдесят метров, но материк догоняет нас и опять виднеется под самыми крыльями.

12.15. Пролетаем над тракторным поездом. Он остается справа от нас. Восемь мощных гусеничных тракторов, каждый с двумя саями на буксире, двигались в сторону Востока-1. С самолета из-за разницы скоростей казалось, что поезд стоит на месте. На бесконечной снеговой скатерти он выглядел совсем крохотным и был ничуть не похож на поезд. Тракторы едут не следом друг за другом, а либо рядом, либо на большом расстоянии один от другого. Они будто бы разбросаны по снегу. Там внизу действительно совершается что-то великое, требующее смелости, мужества, выдержки и железной дисциплины, там взаимопомощь диктуется не вежливостью, а законом жизни. Холод, мороз, кислородное голодание, затрудняющее каждое физическое усилие, бесконечная дорога в глубь материка, к создаваемой станции Советской,— все это героический ледовый гимн, творимый нашими людьми.

Я с горечью думаю о том, что хулиганов, опрокидывающих в бараках столы и бьющих по лицу девушек на танцульках, изображают на картинках в газете, фельетонисты переводят на них немало иронии. И какой-нибудь пьяный болван до смерти радуется тому, что попал в газету.

О большинстве же из тех, кто сейчас справа от нас пробирается по белой странице Антарктиды, по неведомой мертвой земле, горы которой еще не названы, о ветрах которой, температурах, геологическом и гляциологическом строении и т. д. и т. п. нет точных данных, которая остается на карте Антарктики белым пятном,— о большинстве этих людей никто не пишет. Здесь и мой долг, который я должен оплатить в ближайшем же будущем.

12.30. Мы приземлились на полярной станции Восток-1. Ее координаты $72^{\circ}08'$ южной широты и $96^{\circ}35'$

восточной долготы, высота над уровнем моря три тысячи сто пятьдесят метров. Летчики выгружают кладь — бочки с горючим для направляющегося сюда тракторного поезда.

Лишь недавно тут была континентальная станция, созданная на пути движения тракторного поезда к существующей ныне станции Восток. Тракторный поезд прибыл сюда 18 марта 1957 года, до наступления полярной ночи. 30 марта метеорологи приступили к наблюдениям по сокращенной программе, которую же 11 апреля расширили до ее полного объема. Восток-1 проработал до 30 ноября 1957 года, а потом перебазировался на станцию Восток, расположенную в районе геомагнитного полюса.

На Востоке-1 нет ни одного человека. Теперь он служит промежуточной станцией, вернее, складом на пути из Мирного к югу — к Комсомольской, к Востоку и к создаваемой Советской. Здесь аэродром и бочки с горючим. Нельзя сказать, чтоб от Востока-1 оставалось веселое впечатление. Двадцать пять градусов мороза, пурга и пронзительный ветер дают себя знать, даже несмотря на ватную одежду. Снег под ногами плотный и скрипучий, как песок. Пытаюсь заснять кое-что «Киевом», но этот очаровательный аппарат работает на морозе до 30 градусов лишь в инструкции.

Тотчас поднимаемся снова, пока не успели остыть моторы. Хорошо видны следы гусениц и саней — их извивы протянулись на десятки километров. Очевидно, свежего снега тут немного, раз их так не скоро заносит.

Под нами Понерская — маленькая станция во льдах и в снегу. Высокая радиомачта. И большой ярко-красный флаг, туго надутый и развернутый ветром во всю свою ширь.

Не могу себе представить, чтобы среди льда и снега какой-нибудь другой флаг мог выглядеть более красиво и радостно.

За двести километров до Мирного обедаем в самолете. Мне никогда не удавались описания трапез, характеристики блюд, дифирамбы сервировке. На маленьком столике, над которым подрагивают на щитке стрелки указателей скорости, высоты и угла подъема, стоит сковорода средней величины. Мы сидим вчетвером вокруг сковороды — кто на ящике, кто на чемодане, и у каждого своя вилка и свой аппетит. На сковородке шипит кар-

тошка с подрумяненным салом, нарезанным так же крупно, как его нарезают в эстонской деревне. Ничего лучшего не существует.

От Мирного до Востока-1 и обратно — тысяча триста километров. Рейс длился семь часов.

Впервые я увидел облик центральной Антарктики. Она большая, холодная, беспощадная, безжизненная, однообразная и хоть жуткая, но красивая.

12 ЯНВАРЯ 1958

Комсомольская

В 9.00 утра снова сел на «ЛИ-2», чтобы лететь в Комсомольскую. Нас ожидает около девятисот километров тяжелой воздушной дороги.

Экипаж самолета мне знаком еще по «Кооперации». Командир Виктор Григорьев, второй пилот Иванов, радист Чернов (но не Борис), штурман Григорий Байдала (белорус), боргомеханик Алексеев. Еще летит с нами от летной группы инженер по эксплуатации Константин Генюк. На самолет погружены всевозможные аппараты и продукты для тракторного поезда, который через несколько дней должен добраться до Комсомольской. Стартуем без задержек. Чувствуешь себя в кабине уютно и по-домашнему. Хвостовая часть самолета, в которой находится груз, завешена брезентом, и мы, сидящие над крыльями, словно находимся в маленькой комнате. Газовая плита уже зажжена. И Генюк — человек с продолговатым, веселым и ироничным лицом, уже обросшим бородой (он с утра до поздней ночи не покидает аэродрома), — держит в одной руке нож длиной в двенадцать дюймов, а в другой — мороженую курицу. Он сейчас похож на разбойника с большой дороги, хотя его мысли заняты только тем, чтобы получше сварить куриный бульон.

Летим по той же самой великой воздушной трассе Антарктики, два отрезка которой — от Мирного до Пионерской и от Пионерской до Востока-1 — мы преодолели вчера. От Востока-1 трасса направляется к Комсомольской и оттуда, чуть уклоняясь на ост, до Востока. Внизу все тот же однообразный и неуклонно поднимающийся материковый лед, все тот же снег: ни единого выделяющегося пятнышка, на котором мог бы отдохнуть глаз. Самолет снова всползает по отлогому склону антарктического материка, медленно поднимается стрелка альти-

метра: «1000, 1500, 2000, 2300, 2500, 3000, 3400». Вспоминается от кого-то услышанная меткая фраза: «А потом «Фоккер» вонзил когти в склон и с ревом пополз в гору». Лед в самом деле настолько близок, что кажется, будто самолет преодолевает некрутой, но неуклонный подъем с помощью невидимых когтей.

В 11.15 мы снова были над Пионерской. Наш штурман Байдала терпеливо объяснил мне устройство солнечного компаса. Этот простой и практичный прибор уже долгое время успешно служит полярным летчикам. Однако придется в Мирном заняться им еще раз: после высоты в три тысячи метров мой русский язык становится совсем плох, запас слов сильно уменьшается и во всем, что относится к технике, я разбираюсь уже едва-едва.

Тракторный поезд добрался до Востока-1. Машины с санями сгрудились там, где мы вчера выгружали бочки и заправлялись горючим. Если не считать того, что высота все время медленно повышалась, продолжение полета ничем не отличалось от начала. Лед, лед, лед, по которому проносится тень нашего самолета и вихри поземки. На высоте трех тысяч метров становится трудно разговаривать, на высоте трех тысяч шестисот метров чувствуешь, что трудно дышать. Приближаемся к Комсомольской.

Приземляемся в 13.20.

Главное — поскорее разгрузить самолет. Нас приехали встречать на гусеничном тракторе начальник станции Фокин, метеоролог Иванов и тракторист-механик Морозов. Пока мы вытаскиваем ящики, экипаж самолета подкатывает под крылья бочки — на своем запасе горючего «ЛИ-2» не добрался бы отсюда назад.

При разгрузке высота дает чувствительно о себе знать — кажется, будто две трети своей силы оставил в Мирном. Снимешь ящик и потом сидишь на снегу, отдуваешься. Кислородные баллоны весом в восемьдесят килограммов, которые на «Кооперации» мы легко переносили вдвоем, тут словно втрое тяжелее. Поэтому очень важно экономить движения, разумно тратить свои силы. Воздух на Комсомольской холодный, у него нет ни запаха, ни вкуса, как у дистиллированной воды. Отдыхаешь, стараешься дышать поглубже, но все равно чувствуешь, что воздуха не хватает.

Останусь до утра здесь — самолет улетел обратно. Грузим ящики на трактор, садимся сами и едем на стан-

цию Комсомольская. На станции есть два гусеничных трактора,— на них сооружены дома-коробки. В каждой коробке может поселиться человек пять. Сама станция помещается в разборном доме средней величины. В нем четыре помещения. Просторная передняя служит складом и кинозалом. Тут висят на стенах ватники и меховые рукавицы, на полках лежат продукты, одежда, постельное белье, книги и т. д. и т. п. Дверь слева ведет в камбуз и в кают-компанию. Тут газовая и электрическая плиты, большой чан для снега, медные котлы, кастрюли, ящики с картошкой, большой обеденный стол, трое нар. Вторая дверь из передней ведет в машинное отделение, где находятся два дизель-мотора. Один из них работает — он дает ток для радиостанции и камбуза, для освещения и зарядки аккумуляторов. Второй в резерве. Но сердце Комсомольской, ее главное помещение — там, где расположена приемная и передаточная радиостанция, где стоит всевозможная аппаратура, необходимая для метеорологических наблюдений. Тут, всего-навсего повернув регулятор, можно узнать скорость и направление ветра, температуру воздуха и т. д. В этом же помещении живут и все четверо зимовщиков Комсомольской.

По давнишней, еще, наверно, журналистской, привычке расспрашиваю их всех: кто откуда родом, какого возраста, какой профессии, впервые ли в Антарктике, давно ли стал полярником. И это весь круг вопросов. Людям в унтах и в меховых куртках явно неловко, а мне так и вовсе не по себе. Не стоило плыть в Мирный, не стоило лететь за тысячу километров в глубь Антарктики, чтобы получить сведения, которые я с тем же успехом и в том же объеме мог получить в Москве, в Главсевморпути. Но мы, разумеется, стойко переносим эту тягостную церемонию, неизбежную в журналистском деле,— ни мне, ни им, видно, не привыкать к ней.

Итак, познакомимся.

Начальник станции Михаил Алексеевич Фокин, родом из Калуги, год рождения забыл спросить, но на вид ему лет тридцать — тридцать пять, по специальности радиотехник, работает полярником с 1947 года. Позже, за обедом, мы узнали, что у него есть жена, которая справляет сегодня свое тридцатилетие. У Фокина дружелюбное лицо, светлые глаза, он среднего роста. Как и все здесь, он подстрижен под нулевой номер.

Метеоролог Игорь Алексеевич Иванов родился в 1931 году, окончил Ленинградский арктический техникум. Четыре года проработал на полярной станции на мысе Стерлингова, последние два года работал на мысе Челюскин. По образованию он и метеоролог и радист. Худой юноша с черными усиками и темными глазами.

Радист Павел Васильевич Сорокин проработал в Арктике, как на кораблях, так и на станции, одиннадцать лет. (Вообще многие из радистов третьей экспедиции имеют десяти-одиннадцатилетний стаж работы в Арктике.) Сорокин невысокий и плотный, у него круглое лицо и веселые хитрые глаза. Отвечает он заковыристо, не формально. Вместо того чтоб рассказывать биографию, он достал фотографию сына.

— Каков?

— Замечательный!

— Погляди еще!

Я гляжу. На снимке хнычущий младенец.

— Классный экземпляр, а? — И Сорокин ударяет себя по широкой груди. — Понимаешь?

— Понимаю, Павел Васильевич.

На Комсомольской нет ни кока, ни врача. Не знаю, кто здесь исполняет обязанности врача, но за повара тут Сорокин. И готовит он весьма неплохо. Хоть и я и приехавший со мной тракторист, которому предстоит выехать из Комсомольской с тракторным поездом вместо одного своего заболевшего товарища, оба уже страдаем от недостатка кислорода, оба уже испытываем головную боль и сухость во рту, Сорокин все заставляет нас есть. У него на это свой способ. С полной убежденностью он объясняет нам, что тот, кто мало ест, плохой, несерьезный человек, не уважающий труд повара, и его выразительные глаза при этом становятся грустными. Он умеет делать рекламу своему столу, хоть и без рекламы ясно, что тут кормят сытно и вкусно.

Четвертый зимовщик — это моторист, тракторист-механик Александр Иванович Морозов. Полный человек с круглым, легко краснеющим лицом и тихим детским голосом.

Вот пока и все, что я знаю о людях, которые первыми из экспедиции будут зимовать на Комсомольской.

Сорокин разговаривает по радиотелефону:

— Восток! Восток! Я — Комсомольская! Я — Комсомольская! Как вы меня слышите? Перехожу на прием.

«Я — Комсомольская». Координаты этого весьма

неведомого «я» $34^{\circ}05'$ южной широты и $92^{\circ}29'$ восточной долготы. Высота Комсомольской над уровнем моря три тысячи четыреста двадцать метров. Сейчас, антарктическим летом, температура колеблется от 20 до 40 градусов ниже нуля. Сегодня в полдень было 29 градусов мороза. Давление воздуха держится в пределах 470 миллиметров. Прошедшей зимой тут не было ни одного человека. Самая низкая температура, которую показывал оставленный здесь термометр, равнялась $74,5$ градусов.

На других станциях, особенно на Пионерской, дуют необычайно сильные ветры. На Комсомольской же, несмотря на ее высокое расположение, сравнительно тихо. Максимальной скоростью ветра можно считать двадцать метров в секунду. Неизвестно, на какой глубине здесь находится почва¹.

Голова болит. В ушах гудит. Во рту пересохло. Дышу прерывисто, как рыба на песке. Не хватает кислорода.

13 ЯНВАРЯ 1958

Комсомольская

Уже начиная с Калининграда, на «Косперации» велось много разговоров об антарктических континентальных станциях. И если речь шла не о Мирном или Оазисе, то всегда вспоминали о кислороде. Вспоминали как о вещи не менее насущной, чем хлеб и сон, да к тому же еще и дефицитной и потому все время напоминающей о своем существовании.

Сегодняшняя ночь была и в физическом и в психическом отношении самой тяжелой ночью в моей жизни.

Вчера два самолета сбросили сюда бочки с бензином. Мы свезли их на тракторах в одно место. При этом все время давали себя знать недостаток кислорода и большая высота. Поставишь стоймя одну бочку и уже задыхаешься. Сердце колотится быстро-быстро, каждое напряжение утомляет. А после я собрал все остатки своей воли и писал два часа дневник.

¹ Во время саино-гусеничного похода к Полюсу относительной недоступности методами сейсмозондирования было установлено, что толщина льда на Комсомольской равна 3370 м.

Вместе с трактористом я отправился спать в вездеходе. Нам выдали спальные мешки из оленьей шкуры, мы забрались в них и туго завязали их у горла. Я погрузился в какой-то бредовый изнурительный полусон. И проснулся после того, как моего товарища начало тошнить. Ел он вчера мало, но выворачивало его долго.

Самочувствие у меня было такое же, как во время высокого мучительного жара. В пересохшем рту горчило. Отчаянно бился пульс. Временами казалось, что плохо с сердцем. И головная боль была такой, какой я никогда не испытывал,—сильная, острая, пронзительная, она обхватила всю голову — ото лба до затылка. Время от времени в виски словно топором ударяло. В мозгу кружились обрывки всяких мрачных мыслей, болезненных воспоминаний, и порой из их вороха выглядывало, словно крыса, извительное недоумение:

«Какого черта, какого рожна тебе здесь надо?»

Мой товарищ, спавший в своем мешке в метре от меня, тихо стонал и повторял какое-то женское имя. Я попытался снова заснуть, но бодрствование было куда легче этого сна, вернее, этого желто-серого подобия сна, утомительного, ни на минуту не прекращающего работы мозга, наваливающегося на грудь, словно вата. Хочешь вздохнуть поглубже и даже вздыхаешь, но это все равно что пить из пустой кружки — жажда не проходит. Ворочаешься, пытаешься куда-то побежать, но спальный мешок сковывает тебя по рукам и ногам. Погружаешься в мутную заводь сна, а там полно глумливых физиономий и кривых рож, тут и строки из «Цветов зла» и утопленники с затонувших кораблей, к тебе тянутся на выручку чьи-то руки, но они не достают до тебя. Эта мутная заводь держит цепко, не дает вырваться, подняться на поверхность, хоть ты все время и сознаешь отчетливо, что проснуться было бы спасением.

Три тысячи четыреста двадцать метров!

Так прошла первая ночь здесь, ночь длиною с год, в течение которой все время ярко светило высокое солнце.

Утром, когда я брился, на меня смотрело из зеркала чье-то чужое лицо. На нем сквозь сильный загар проступала нездоровая серость, морщины были резкими и глубокими, глаза измученными, белки желтыми. Это был я. Долго я себя разглядывал, а в голову лезла фраза из какой-то книги, совсем к данному случаю не подходящая:

«Я старый человек и иду домой, иду домой...»

Я громко произнес ее. И тотчас понял, что сюда, на сорокаградусный мороз, за мной следом притащился мой старый враг — сентиментальность. Враг этот стоял за моей спиной и требовал, чтобы я не противился головной боли, все еще очень сильной, а залез бы в спальный мешок, закрыл лицо оленьей полостью и завыл. Вместо этого я начал бриться.

Надо поскорей тут освоиться, акклиматизироваться. Недостаток кислорода — вещь серьезная.

Должен был отправиться сегодня обратно, но на Комсомольской не приземлилось ни одного самолета.

Пишу эти строки в том помещении, где живут зимовщики и стоят аппараты. По времени Мирного сейчас четыре часа утра, по московскому времени — двенадцать ночи. Тут живут по московскому времени, хотя мы на одной долготе с Мирным. Сперва кажется непривычным, когда тебя в три часа ночи зовут пить чай.

Удивительно, как быстро можно освоиться! Конечно, приходится заставлять себя вести записи, но самочувствие уже хорошее, вполне человеческое. Осталась лишь легкая головная боль, но и она либо пройдет, либо к ней привыкнешь. Но двигаться следует в меру, нельзя расходовать силы понапрасну, надо быть *разумным*.

Сегодня прилетало два «ИЛ-12». Приземляться не стали, лишь сбросили бочки с горючим. Занятное это зрелище. Низко, метрах в десяти от земли, проносится большой серебристый самолет, который сбрасывает зеленые бочки. Бочки взметают искристое снежное облако, раза два отскакивают ото льда, а потом остаются лежать. Удар, конечно, очень сильный, возможность разбить бочку довольно велика, но пилоты Перов и Рыжков, которые доставляют сюда горючее, в своем роде мастера. Из четырнадцати бочек — кладь одного самолета — зачастую все остаются целыми, лишь иногда разобьется одна, редко — две бочки.

Опять свозили бочки в одно место. Мы обвязывали их тросом, прикрепленным к трактору, и они, вздымая вихри, волочились по снегу. Трактор может забрать в один прием семь — девять бочек. Мы в перерывах сидим молча, потому что ходьба, разговоры и каждое движение утомляют. Иная бочка при падении зарывается в снег, и, чтобы накинуть на нее петлю, приходится ее

сперва перекатывать или ставить стоймя. От этой работы начинаешь задыхаться.

Недостаток кислорода уже, однако, меньше дает себя чувствовать. Вчера я не хотел курить, а сегодня выкурил десять папирос. По-настоящему надо бы бросить курить — противная привычка. На такой высоте особенно противная.

14 ЯНВАРЯ 1958

Комсомольская

«Здесь я стою и не могу иначе!»

Эти исторические слова Мартина Лютера, сказанные им на имперском сейме в Вормсе, я повторил сегодня на крыльце «Дома правительства» в Комсомольской после того, как Фокин сообщил мне, что самолеты сегодня сбросят нам горючее, но ни один из них не приземлится. Что поделаешь? «Здесь я стою...» И место это неплохое.

Спал отлично, спал беспробудно. Предыдущая ночь была просто злым кошмаром. Мой товарищ страдает по-прежнему, у него сильная головная боль, он ничего не ест. Но как будто и ему чуть-чуть полегче.

Снова сбрасывали бочки с горючим, и мы снова свозили их в одно место. В ближайшие дни должен прибыть тракторный поезд, он сейчас где-то между Востоком-1 и Комсомольской.

Уже начинаю чувствовать себя по-домашнему. Коллектив тут молодой, веселый, все хорошие товарищи. Надолго запомнятся часы, проведенные в кают-компании Комсомольской.

Мы сидим вокруг большого стола: Фокин, Морозов, Иванов, тракторист и я. Едим и разговариваем. В конце стола стоит в белом кителе Павлик Сорокин с кухонным ножом в руке. Говорит он, как секретарь мирового съезда из рассказа Чехова «Сирена». Стряпает он здорово, а реклама его стряпни не уступает ее вкусу.

— Поест человек и станет сильнее.— Сорокин поднимает большой палец левой руки.— Попьет человек и станет смелее.— Сорокин поднимает большой палец правой руки.

Он без усталости рекламирует напиток, именуемый «Комсомольской кока-колой». В голове Сорокина непрерывно рождаются реальные и нереальные планы отно-

сительно того, как сделать зимовку на Комсомольской уютной и требующей минимального расхода энергии. Остальные при этом играют в основном роль слушателей. Сорокин читает нам лекцию о том, как надо жить в этом мире. Мне достается за мою худобу, другим еще за что-нибудь. Сорокин пробирает нас и воспитывает. В камбузе тепло, тут чувствуешь себя как дома. Я слушаю увлекательнейшие рассказы о зимовках на Севере — Сорокин, разумеется, приправляет эти истории своим соусом. Тут идут споры о технике, о литературе, о важнейших жизненных проблемах, и в памяти вновь оживают далекие лица, черты которых уже виделись неотчетливо, — давнее становится близким. Забываешь, что за стеной снежная, холодная, вьюжная пустыня, что вокруг на сотни километров ни души, что полярной ночью в ста метрах от этого камбуза метель может погубить человека, что снаружи прикосновение к железу обжигает руку. Забываешь и о том, что этим людям предстоит пережить здесь трудную полярную ночь, видишь в них лишь молодых, здоровых парней, любящих юмор и соленое слово, людей с интересом к жизни и относящихся к антарктической пустыне так, словно это обычное рабочее место.

— На Большой земле места нам не хватило, — шутят они.

И ночью, когда ты лежишь в спальном мешке и читаешь при холодном свете полуночного солнца «Шерлока Холмса», когда в головах у тебя пыхтит маленькая железная печка, которую топят углем и бензином, когда за стеной воеет пронзительный ветер, на душе вдруг становится светло и весело, и ты с благодарностью думаешь:

«Пройдет год-два. И однажды наступит тот грустный день, когда не будет ладиться работа, когда на душе станет пасмурно и тоскливо. И тогда вдруг перед твоими глазами возникнет камбуз Комсомольской со своими нарами, медными кастрюлями, дымящимся кофейником, спокойным освещением и этими четыремя парнями вокруг стола. Ты увидишь задумчивую улыбку Фокина, увидишь Морозова, этого гиганта с детским голосом и замасленными руками, для которого этот дом кажется слишком маленьким, увидишь юное лицо Иванова и, наконец, увидишь Сорокина, который, встав у стола, размахивает ножом и спрашивает, правда ли, что у него фигура Ива Монтана. И удовлетворение на его лице по-

сле того, как ему ответят, что он скорее коротенький и толстый, как Наполеон».

Я знаю, что увижу их не такими, как сейчас, и все-таки это будут все те же сильные люди среди белых снегов, которые прикажут мне по тому же праву, по какому распоряжаются писателем его *внутренние резервы*.

— Не пиццать! Долг есть долг!

15 ЯНВАРЯ 1958

Комсомольская

Сегодня приземлился самолет Григорьева. Была возможность улететь в Мирный, но решил задержаться здесь дня на два. Самочувствие уже вполне нормальное. Привычка к высоте и недостатку кислорода мне еще пригодится, поскольку на Востоке такие же условия, как здесь. Но главное то, что завтра-послезавтра сюда прибудет тракторный поезд, и это я должен обязательно увидеть.

И летный инженер Генюк на этот раз остался здесь, чтобы подсчитать запасы горючего. Кроме того, придется, очевидно, заново разбивать аэродром с таким расчетом, чтобы тут могли приземляться не только «ЛИ-2», но и «ИЛ-12». Тогда бы Комсомольская стала промежуточной станцией между Мирным и создаваемой Советской. Отсюда стартовали бы самолеты с грузами для тракторных колонн, направляющихся от Комсомольской к Советской. Между прочим, иностранная пресса пишет, что создание Советской, находящейся почти у Полюса относительной недоступности, заранее обречено на неудачу, так как тракторный поезд не в состоянии преодолеть последнего тяжелого этапа пути, и что в данном случае мы имеем дело с очередной советской утопией.

В каждом труде есть своя поэзия, свое удовлетворение, свои минуты покоя. Фокин, Генюк, Иванов и Морозов отправились собирать бочки, а я остался в камбузе помогать Сорокину. Мы чистили про запас картошку, — ведь скоро может прибыть тракторный поезд и прилететь начальство из Мирного.

Какая чудесная работа! Южноафриканская картошка — продолговатая, гладкая и с нежной кожицей, нож — острый. Иная картофелина выходит из-под ножа такой чистой, красивой и отшлифованной, что потом

долго любуешься ею, как удавшейся строфой. Тепло, светло, никакого физического напряжения, никакого кислородного голода. Разговаривая о мировых проблемах, мы начистили целый котел.

Сорокин меня спросил:

— Хотите о нас книгу писать?

Я. Хочу.

Сорокин (*оживившись*). Юхан Юрьевич, а верно ведь — о том, что подальше, легче писать? Вот если бы вы об эстонских делах писали, так получили бы по башке, верно?

Я. Не понимаю...

Сорокин. Ну, когда вы пишете об ошибках и о том, что неладно, дают ведь по башке?

Я. Иногда дают. На то и башка.

Сорокин. Правильно. Напишите об Антарктике. Спокойная тема. И никакого риска. Напишите о том, как мы живем. (*Большой палец на правой руке поднимается.*) Снег, мороз, недостаток кислорода. Полярная ночь без конца, без краю, температура падает до восьмидесяти градусов. Тогда уж не так легко дышится, как теперь, — легкие отмерзают. Хорошая тема (*поднимается большой палец на левой руке*), спокойная, веселая! Разве не так?

Я посмотрел на Сорокина, державшего в одной руке наполовину очищенную картофелину, а в другой нож. Его глаза сверкали. Он был глубоко убежден в том, что антарктическая тема — хорошая и веселая тема, и это его все больше воодушевляло. Я вспомнил его прибаутки, его разносторонний юмор, его умение в каждом тяжелом деле увидеть комическую сторону и подумал: «А что, если бы и в самом деле написать новеллу «Бравый солдат Швейк в Антарктике», придав Швейку черты Сорокина, его теплоту, его добродушную хитрецу, его внутреннюю силу. Черт подери! Хорошая тема, веселая тема!»

16 ЯНВАРЯ 1958

Комсомольская

Сегодня тихий день. Слегка метет. Готовимся к встрече тракторного поезда. Он может прибыть на Комсомольскую завтра в первой половине дня. Поезд движется медленно, ехать по снегу тяжело.

Во время ужина Сорокин сказал:

— Юхан Юрьевич, посмотрим еще раз «Аннушку»?

— Какую «Аннушку»?

— Вчерашнюю.

Тут я понял. Речь идет об итальянском фильме «Утраченные грезы». Значит, после ужина мы увидим, как Анна Заккео, эта красавица, становится игрушкой судьбы и негодая. За пять дней эту картину смотрят уже в третий раз.

В Комсомольской есть киноаппаратура, и тут хороший зал, если принять во внимание, что зрителей всего четверо. Имеется три картины: «Весна на Заречной улице», «Утраченные грезы» и еще какая-то, которую никто не смотрит, и я даже не знаю ее названия.

Ну что ж, посмотрим «Аннушку». Морозов или Фокин будет кинемехаником, а Генюк, Сорокин и я — зрителями. Чтоб в зале не было светло, завесим окна мешками. В такт неторопливому дыханию над головой каждого появляются облачка белого пара — выдыхаемый воздух стынет. Мы в унтах, в тулупах и в меховых шапках. И тут на экране появляется Анна Заккео с открытыми полными плечами, на нас смотрят ее прекрасные глаза. Она знакомит нас со своей семьей, потом идет на рынок и встречается с Андреа. Немного погодя мы ее видим чуть ли не в первозданном виде. На 74-й параллели, на вечном льду толщиной в три с половиной километра, в сорокаградусный мороз вид знойного итальянского берега производит несколько странное впечатление: не верится, что он существует, и в то же время становится как бы теплей. Надо сказать, что у нас в зале никогда не услышишь того двусмысленного лошадиного ржания, которое частенько прорезает тишину таллинских кинозалов во время сцен известного характера. Нам всем ужасно жаль Анну Заккео, эту очаровательную и славную девушку, жаль, что судьба обходится с ней так по-свински, что Андреа ударяет ее по лицу, что до конца фильма она все еще не находит своего долгожданного счастья.

Время от времени хлопает входная дверь: это Иванов выходит к своим приборам. И передняя наполняется вдруг ярким, ослепительным светом, несчастное плачущее лицо Анны исчезает с экрана, мы не видим ее грустных глаз, они стертые сверканием снега и солнца, словно бы жалеющего девушку, — лишь голос ее все еще слышен.

После конца картины мы молча сидим и курим.

— Да-а...— говорит Генюк.

— Да-а...— говорит Фокин.

— Да-а...— говорю я.

— Подлец он, этот рекламный агент, ох и подлец же! — говорит Сорокин.

— А этот, ну, Андреа, вернется к ней? — спрашивает гигант Морозов своим детским голосом.

— Куда же он денется — вернется! — утешаем мы его.

Да простят нас наши жены, но все мы, кажется, чуть-чуть влюблены в Анну Заккео.

17 ЯНВАРЯ 1958

Комсомольская

Сегодня прибыл тракторный поезд. Мы проехали несколько километров к нему навстречу. Сперва он виделся на белой простыне снега лишь темной точкой, но потом точка выросла, распалась на несколько пятен, и, наконец, глаз начал различать флагманский трактор с красным знаменем и высокой радиомачтой.

Колонна порядочно растянулась — километра на два, на три. В первой группе, возглавляемой флагманским трактором, было пять машин. Отсалютовав десятью ракетами, мы подошли к ним поближе и остановились. Из красных тракторных кабин, из домиков, сооруженных на санях, посыпался народ. Среди них было много незнакомых мне людей, приплывших на «Оби». А кое-кто из них уже зимовал тут со второй экспедицией. Но увидел я и своих, то есть людей с «Кооперации». Мы целуемся, закуриваем. На чистом морозном воздухе звучно раздаются приветствия, сопровождаемые порой крепким словом, не менее уместным, чем хвост у черта. Настроение торжественное, но в то же время и деловое.

— Мы ждали Комсомольской, словно праздника! — говорят прибывшие.

— Тяжелый был снег.

— Тросы обрывались.

— Некоторые сани чертовски перегружены!

В таком духе проходит вся эта встреча.

Рассаживаемся вокруг кабины на тракторе, который тянет за собой две пары саней — на первых бочки с го-

рючим, на вторых жилье. Груз очень тяжелый, и потому наш трактор соединен тросами с санями предыдущего трактора, кладь которого легче. В трудных местах он нам помогает сдвинуться. Едем медленно, на первой скорости. Взмахая снег, нас обгоняет трактор с Комсомольской — у него нет груза. А мы едва тащимся. Ехать по глубокому снегу трудно, и моторы движущихся параллельно тракторов работают на полную мощность. Вдруг флагман, чуть ли не встающий от натуги на дыбы, оставнавливается. Оборвался трос. Все тормозят, и водители спешат на помощь к товарищу. Чуть погодя мы снова трогаемся в путь.

Один радист рассказал мне следующую историю. Принимая участие в какой-то геологической экспедиции, он со своим передатчиком однажды остался один-одинешенек в сибирской тайге, в четырехстах километрах от ближнего селения. В передатчике что-то портится, и он перестает работать. Радист кладет в рюкзак еду, надевает лыжи и отправляется за четыреста километров чинить отказавшую деталь. Он прошел по снегу через тайгу, отморозил себе пальцы и нос, провалился по дороге в реку и был на волосок от того, чтоб утонуть или замерзнуть. Наконец он прибыл на место и отдал деталь в починку.

— И, знаешь, там у ребят был спирт... И горячая печка... Уж и доволен же я был!

— Отдохнул как следует?

— Отдохнул, как же! Там оказался один корреспондент из областной газеты. Ну, и взялся же он за меня! Кто я, да что я, да откуда. И очень крепко его занимало, что я чувствовал, когда под лед провалился. Говорю: «Холодно было». А он мне: «Нет, я не о том!» Я и говорю: «Зверски было холодно». А уж после, как я прочел его статью, так сразу понял, чего он от меня хотел. Таким героем меня расписал, что только держись. А про то, как под лед провалился, так у него красиво вышло — хоть плачь. А меня тогда больше всего зло взяло, что табак намок.

— А дальше?

— Дальше? Смотрел на меня этот газетчик, словно на икону. Самолета не было, вот он и застрял. Всю музыку мне испортил. Сам понимаешь, спирт есть, печка топится, ребята свои. А тут пей ночью втихую, прячься от этого журналиста. Днем спишь на печке и трясешь-

ся — а вдруг он назад вернется. Всю музыку мне испортил.

— А дальше?

— Дальше? Ну, починили мне деталь, и пошел я обратно.

Когда у нас был на Комсомольской маленький банкет в передней (лишь тут мог поместиться достаточно большой стол), мне подробно вспомнилась эта история. Люди, сидевшие рядом со мной, преодолели тысячу километров отчаянно трудного пути! У них красные от солнца и ветра лица — у кого заросшие, а у кого чисто выбритые. В руках они держат большие стаканы разбавленного спирта. Эти люди боролись с жуткими метелями, с пронизывающим ветром, с морозом. Снег был глубокий и скверный, случались аварии. И то, что их ждет впереди, ничуть не легче. До Востока отсюда пятьсот пятьдесят километров, хотя, правда, наши трактора один раз уже проделали этот путь. Но тем, кто направляется в Советскую, предстоит преодолеть шестьсот километров неизвестного пути по ледяному плато высотой в три тысячи шестьсот — три тысячи семьсот метров. Каждые сто метров подъема могут здесь привести к сюрпризу, и, разумеется, неприятному. И любой из присутствующих знает это. Знает это начальник создаваемой станции Советская Бабарыкин, гигантского роста молодой человек в зеленом комбинезоне. Знает это Николаев, начальник тракторной колонны, знает это любой тракторист, радист, механик и каждый участник зимовки на создаваемой станции.

Но разговоры за столом вертятся вокруг других тем. В нашу речь, конечно, врываются и метели, упоминаются аварии и прочие дорожные передраги, но все это приобретает веселый оттенок. Весьма по-мужски ругают одного руководящего товарища, на чьем попечении лежит снабжение тракторного поезда с воздуха. Хорошо, что он не слышит тех красочных и точных эпитетов, которые обрушиваются за этим столом на его остриженную наголо голову. На парашютах сбросили мороженые яйца. (По этому поводу с другого конца стола отпускается несколько замечаний.) Самолет сбросил поезду прогорклую рыбу, замерзшие апельсины и т. д. и т. п. Впрочем, всем, видно, уже надоело ругать упомянутого товарища, и разговор становится все более и более веселым: рассказываются анекдоты, сообщается о забавных происшествиях по дороге, о том, как кто-то попал впросак,

как кого-то разыграли. Павлик Сорокин с графином спирта в одной руке и кофейником в другой носится вокруг стола, рекламирует свои блюда, расхваливает свою Комсомольскую, а заодно и другие станции, чтоб не показаться невоспитанным человеком. Тосты кратки и ясны. Как говорится в Евангелии: «Да будет словом твоим да-да или нет-нет!» Кстати, на том краю стола, за которым сижу я, ни дать ни взять «тайная вечеря». В молодых лицах, обрамленных пышными бородами, есть что-то апостольское. Но Иисус Христос вряд ли сошел бы на землю, если бы его последователи оказались такими мирянами — без малейшего намека на святость.

После обеда Николаев отправляется к радисту и вступает в долгие переговоры с Мирным. Людям надо отдохнуть. Требуется профилактический ремонт техники. Надо организовать склады как по дороге к Мирному, так и по дороге к Востоку. Так что, может быть, придется задержаться дней на пять в Комсомольской. Разрешить проблему горючего. И прочие будничные дела позада.

Завтра сюда прилетает Евгений Иванович Толстик. Тогда все эти вопросы будут согласованы более тщательно.

Весь тракторный поезд проводит вечер на станции. Сначала показывают «Весну на Заречной улице», потом — «Аннушку».

18 ЯНВАРЯ 1958

Мирный

Сегодня в Комсомольскую прилетели Толстик и главный инженер экспедиции Парфенов. У них тотчас началось совещание с Бабарыкиным, Николаевым и Фокиным. Обсуждался маршрут колонны, проблемы снабжения, ремонта и складов. Может быть, в Советскую направят больше тракторов, чем предполагалось. Тогда они будут легче нагружены, а в пути, которого никто толком не знает, это большой плюс.

Разговор идет достаточно резкий. Дипломатическими любезностями тут не обмениваются. Бабарыкин высказал весьма тяжелые упреки по поводу снабжения и по поводу того, что на Комсомольской оказалось меньше горючего, чем было предусмотрено. Некоторых товарищей он охарактеризовал весьма язвительно. Толстик

ков и Парфенов часть упреков приняли, а часть сочли чрезмерной претензией Бабарыкина. Некоторые недостатки уже ликвидированы. В тот миг, когда я покидал совещание, шел спор о тонне картофеля, которую требовал Бабарыкин и которую Толстикова отказывался давать, потому что до создания станции Бабарыкину негде ее держать. Конкретность спорных вопросов, достаточно глубокая заинтересованность обеих сторон, не тратящих времени на всякую ерунду вроде гардин с цветочками, в том, чтобы создание Советской прошло благополучно, — все это порождало уверенность, что если не через месяц, то через месяц с четвертью станция будет открыта. Уходя из комнаты, в которой стояла вся аппаратура и жили все зимовщики Комсомольской, я взглянул напоследок на пятерых мужчин, сидевших в синем табачном дыму и споривших о картошке.

Я распрощался с Фокиным, Сорокиным и Ивановым. Может быть, мне и придется еще пролетать над Комсомольской, но приземляться — вряд ли.

Эта маленькая станция на холодной макушке Антарктики стала для меня благодаря людям такой своей, такой близкой, такой родной, такой попросту милой, что мне захотелось как можно теплее поблагодарить хозяев, но что-то сжало мне горло, и мне не хватило русских слов. Я обнялся с друзьями в холодной передней. От нашего дыхания образовалось над головами белое облако. Мы стояли и хлопали друг друга по спине руками в огромных рукавицах. Потом я побежал к самолету, моторы которого уже ревели. Там стоял у своего трактора Саня Морозов. Ручища у него и вправду как у кузнеца, — мое плечо от его удара опустилось на полметра. Мы сказали друг другу на прощание несколько слов, и я влез в самолет. Моторы заработали во всю мощь, металлическую лестницу втянули внутрь. Громадные лыжи помчались по заснеженной стартовой дорожке. Самолет грузно и с трудом оторвался от нее. Сквозь замерзшее окно я увидел домик станции, трактора, сани с жилыми кабинами — весь поезд, обвивший кольцом склад горючего, радиомачту, красное знамя на высоком шесте и человека, обдуваемого низкой, до колен, поземной. Наверно, это был Иванов.

В Мирный я возвращался на самолете Перова. Сначала видимость была плохой, погода облачной, и мы

летели словно в молоке. Но ближе к берегу видимость стала прекрасной. Снежный покров под нами уже не такой монотонный — и сам он, и узоры на нем все время меняются. Одно место было похоже на полянку, усеянную белыми грибами-боровиками. Ветер-фокусник намел аккуратные холмики снега — они отбрасывали тень и были абсолютно похожи на боровики.

На высоте двух тысяч метров перед нами открылась огромная ширь могучей и своеобразной панорамы Антарктики. До моря еще было девяносто километров, но казалось, что оно совсем рядом. Мы видели открытую воду, белые айсберги и даже трещины на льду. Отсюда я впервые увидел шельфовый ледник Шеклтона — ледяной массив, который на восток от Мирного врзается выступом в море Дейвиса и круто обрывается над водой снежно-белым барьером. Ясно был виден остров Дригальского, похожий на большое пирожное с пышным верхом или на щедро обсыпанную пудрой булку, лежащую на воде, словно на черном противне. Мы различали, как материковый лед у берега прорезает глубокие трещины. Их рисунок определял формы и размеры будущих айсбергов. Море Дейвиса уже стало свободней ото льда, а лед на рейде Мирного хоть и сильнее изборужден разводьями и уже не так плотен, как неделю назад, но все-таки еще держится.

Примерно в тридцати километрах от Мирного мы пролетели над двумя «Пингвинами». Они шли с довольно хорошей скоростью по направлению к Пионерской. Каждый волок сани, но с небольшим грузом. Тракторы, которые мы видели в Комсомольской, выглядят гораздо более мощными.

Мирный встретил нас бархатно-мягким, теплым, ароматным воздухом, которого тут сколько угодно. Хотя снег здесь глубокий и рыхлый (он уже тает), ходить тут в сравнении с Комсомольской совсем не утомительно. Чувствуешь себя как дома.

Да, как дома. Я не был здесь целую неделю.

Один из моих сожителей — безусловно вежливый, хорошо воспитанный, интеллигентный человек, который во время плавания страдал при мало-мальском волнении не только от морской болезни, но и от стыда за нее перед другими, — отказался от участия в морской экспедиции на «Оби» явно из страха перед морем и в Мирном только тем и занимается, что со слезами на глазах измеряет по карте расстояние до Порт-Луи, куда напра-

вилась «Кооперация», и обратно да подробно высчитывает, сколько он получит суточных за свое сидение в Мирном. На меня он смотрит как на болвана, поскольку я приехал сюда за свой счет и по своей воле. А душа у него настолько нежная, что он того и гляди начнет по утрам целовать руку своему товарищу. Этот милый сожитель распорядился так, что у меня нет уголка на столе, чтоб работать, и стула, чтоб сидеть. Слава богу, что хоть кровать есть.

Он любит поговорить о киноактерах и писателях — в Москве у него, безусловно, необычайно изысканные знакомства. Когда же я, не желая ни в коем случае мешать ему, пытаюсь тихо выскользнуть за дверь со своим блокнотом, он прерывает разговор о какой-то актрисе, вся подноготная которой ему доподлинно известна, и с приторной улыбкой напоминает мне о том, что завтра моя очередь убирать комнату.

В поисках свободного стола направляюсь к радистам. И по пути на радиостанцию испытываю приступ тоски по Комсомольской, по ее людям, по камбузу, по тамошним вечерам, по чистке картошки, по той свободной, непринужденной, трудовой и подлинно товарищеской атмосфере, в которой мало кислорода, но много человечности.

А один из моих сожителей, эта угасающая свеча, этот юноша с кротким женским голосом, который жалуется на то, что чай здесь пахнет пингвинами, который сейчас, наверно, подсчитывает свои суточные и удивляется тому, что он в силу жестокости жизни должен был ехать за ними в Мирный, хотя почтальон мог бы принести ему те же несколько тысяч прямо в постель,— этот мой сожитель остается для меня самой неразрешимой загадкой Антарктики.

20 ЯНВАРЯ 1958

Вчера весь день спал. Видно, Комсомольская меня утомила.

Сегодня по Мирному трудно ходить. Пурга. Весь поселок погребен под волнами вьюги, нахлынувшими с материка. В трех шагах почти ничего не видно. Двигаться можно только боком или чуть ли не на четвереньках. Двери заносит. За стенами не смолкает унылое и грозное пение пурги. Самолеты не летают. А ведь это всего-

навсего летний бурячок. Что же тут творится холодной полярной ночью, когда скорость ветра достигает пятидесяти метров в секунду?

Но надо увидеть хотя бы такую метель, чтобы полностью понять последние страницы дневника Скотта, написанные во время пурги километрах в двадцати от склада запасов. Перед ними была снежная буря и смерть, а за спиной у них лежал самый, вероятно, трагический поход в истории антарктических открытий. Листаю дневник Скотта:

«Вторник, 16 января, 1912. Сбылись наши худшие или почти худшие опасения. Утром пошли бодро и прошли семь с половиной миль. Полуденное наблюдение показало $89^{\circ}42'$ южной широты. После завтрака мы собрались в дальнейший путь в самом радостном настроении от сознания, что завтра будет достигнута цель. Прошли еще около двух часов, как вдруг Боуэрс своими зоркими глазами разглядел какой-то предмет, который он сначала принял за гурий. Он встревожился, но рассудил, что это, должно быть, заструга. Полчаса спустя мы разглядели черную точку впереди и вскоре убедились, что это не могло быть естественной чертой снежного ландшафта. Когда мы подошли ближе, точка эта оказалась черным флагом, привязанным к полозу от саней. Тут же поблизости были видны остатки лагеря, следы саней и лыж, идущие в обоих направлениях, ясные отпечатки собачьих лап, причем многих собак. Вся история как на ладони: норвежцы нас опередили. Они первыми достигли полюса. Ужасное разочарование! Мне больно за моих верных товарищей.

Конец всем нашим мечтам. Печальное будет возвращение...

...Великий боже! Что это за ужасное место и каково нам понимать, что за все труды мы не вознаграждены даже сознанием того, что пришли сюда первыми! Конечно, много значит и то, что мы вообще сюда дошли.

Среда, 21 марта. Лагерь 60 от полюса. В понедельник к вечеру доплелись до 11-й мили от склада. Вчера весь день пролежали из-за свирепой пурги. Последняя надежда: Уилсон и Боуэрс сегодня пойдут в склад за топливом,

Четверг, 22, и пятница, 23 марта. Метель не унимается. Уилсон и Боуэрс не могли идти. Завтра остается последняя возможность. Топлива нет, пищи осталось на раз или на два. Должно быть, конец близок. Решили дождаться естественного конца. Пойдем до склада с вещами или без них и умрем в дороге.

Четверг, 29 марта. С 21-го числа свирепствовал непрерывный шторм с WSW и SW. 20-го у нас было топлива на две чашки чая на каждого и на два дня сухой пищи. Каждый день мы были готовы идти — до склада всего одиннадцать миль, — но нет возможности выйти из палатки, так несет и крутит снег. Не думаю, чтобы мы теперь могли еще на что-либо надеяться. Выдержим до конца. Мы, понятно, все слабеем, и конец не может быть далек.

Жаль, но не думаю, чтобы я был в состоянии еще писать.

Р. Скотт»

Последняя запись: «Ради бога, не оставьте наших близких!»

Все это уже читанное, знакомое. Но одно дело читать книгу Скотта в Таллине, в тихой, спокойной комнате, и другое дело — здесь, после того, как на улице, где бушует пурга, едва-едва нашел свою дверь. И снежный шторм бушует здесь не за строчками, а за стенами.

21 ЯНВАРЯ 1958

«Кооперация» идет хорошим ходом. День назад она выбралась из полосы сильного, одиннадцатибалльного шторма. Она покрывает ежедневно двести сорок — двести пятьдесят миль и даже прошла в один из дней двести шестьдесят семь миль. Вполне реально, что она вернется в Мирный 12—13 февраля.

Мне все никак не удается попасть на Восток. Самолеты не летают. Толстиков тоже все еще в Комсомольской, а без его разрешения полететь не удастся.

22 ЯНВАРЯ 1958

Сегодня Мирный печален. Ночью из Комсомольской привезли тело Николая Алексеевича Чугунова, молодого инженера-аэролога. Он четвертый из советских по-

лярников, погибших в Антарктике. Во время первой экспедиции погиб тракторист Хмара, провалившийся с трактором под морской лед. Во время второй экспедиции обломившийся барьер погубил двух курсантов с «Лены». Чугунов — четвертый.

Он отравился на Комсомольской газом, когда варил обед для участников тракторной колонны. Спасти его не сумели.

Я не знаю Чугунова, так как он приплыл сюда на «Оби», но уверен, что на Комсомольской мы встречались, даже, вероятно, болтали, а может быть, сидели рядом в кино. Его спутники говорят, что он был хорошим товарищем, чудесным человеком.

Утром, еще до того, как узнал о смерти Чугунова, читал новеллу Колдуэлла «Полевые цветы». Возможно, так мне теперь только кажется, но мне чудилось, что где-то рядом ходит смерть. В самом деле, можно написать книгу и употребить при этом миллион слов, из которых каждое будет правдой, но не в человеческих возможностях написать в прошедшем времени: «Я умер». Кто-то другой пишет: «Он умер». Чугунов умер. Наверно, завтра на Комсомольскую вылетит вместо него другой инженер-аэролог. Жизнь не останавливается, она идет вперед, тронется дальше и тракторный поезд, но уже без Чугунова. Он был молодой человек, перед самой поездкой в Антарктику женился. Дня через два мы его похороним в Мирном, на берегу моря Дейвиса.

И все-таки след его останется на белой странице Антарктиды.

24 ЯНВАРЯ 1958

Очень сильный ветер, вернее, шторм. На юге — на Пионерской, на Комсомольской, на Востоке — хорошая погода. В Оазисе тоже хорошая погода, но над Мирным воеет и свистит буря. Есть в этом что-то родное, хотя из-за нее и откладывается моя поездка в Оазис. Завтра-послезавтра туда улетят три последних самолета, и потом связь с Оазисом прервется надолго — до тех пор, пока оттуда не возвратится вертолет. Сгорбившись от ветра, я по десять раз на день хожу к летчикам и спрашиваю, не устанавливается ли погода и не полетим ли мы. Но погода не устанавливается.

Да, в сегодняшней буре есть что-то родное. Придя к нам с юго-востока, она сумела наконец привести в

движение лед на море Дейвиса, точнее, на рейде Мирного. Там, где вчера была только узкая, видная лишь с самолета трещина, уже чернеет между кромками белого льда расширяющаяся полоса чистой воды. Сколько раз я уже видел ледоход на море, нагромождение льдин на берегу, но тут все иначе, движение здешних льдов исполнено медлительности и великого спокойствия, тяжелые, словно бы чугунные айсберги упрямы, и на глаз кажется, что они не перемещаются. И все-таки лед тронулся — значит, лето пришло, хотя вода, выглядывающая порой из-под пляшущей завесы шторма, на вид совсем ледяная, такая же, какой она бывает в мелких эстонских проливах с середины ноября до конца декабря.

У-хуу! У-хууу! У-хууу! — плачет над Мирным буря. На спине вертолета дрожат лопасти подъемного винта, на метеорологической площадке гудят натянутые провода, порывы бури расшвыривают птиц, пустые ящики переворачиваются с боку на бок. Но все тут, сотрясаемое сейчас бурей, уже пропитано духом человеческого селения. Если бы еще пустить по ветру несколько осенних листьев да обломков камыша и посадить на крышу каркающую ворону с распростертыми крыльями, то была бы полная картина октябрьской непогоды в эстонской деревне. Только море в Мирном другое, более свирепое и холодное, — оно выглядит необычайно могуче со своими белыми ледяными обрывами, со своими плоскими айсбергами на черной воде.

Сегодня в девять часов вечера были похороны Чугунова.

Мы собрались у метеорологической площадки. Люди в ватниках с опущенными на шапки капюшонами шли сгорбясь, против ветра. Шли так, словно несли на своих плечах весь лед Антарктиды и всю тяжесть смерти. Гроб, обитый кумачом, поставили на тракторные сани. В почетном карауле стояли товарищи Чугунова — метеорологи и аэрологи. Буря рвала на них ватники и капюшоны.

Выступали Бугаев, Толстик и Трешников. Это мужественные люди, знающие, что такое риск и во имя чего стоит рисковать. Если бы я записал их речи слово в слово, они показались бы холодными. Но смерть всегда угнетает, она всегда тяжела, а в нашем небольшом

коллективе она втрое тяжелей. И особенно тяжела для тех, на кого возложена большая ответственность.

Гроб с телом Чугунова отнесли на морену неподалеку от Мирного. Мы погребли его здесь до той поры, когда лед на море Дейвиса снова окрепнет. Тогда гроб перенесут на один из островов на рейде Мирного, где уже спят двое товарищей покойного, погибших под обломками барьера.

Салют из охотничьих ружей. Из-за воя ветра он слышен слабо.

Вспоминаю название книги Зегерс «Мертвые остаются молодыми». И потом уже, в комнате Якунина и Яковлева, долго еще думаю о смерти. Я надеюсь, что она пока что очень далека от меня. А может быть, она и поблизости — в расстоянии двух-трех дней. И если я в самом деле принес какому-нибудь человеку несколько дней или часов счастья, если я протянул ему руку в тяжелую минуту, то пусть в награду за это на душе у меня в последний час будет светлее, чем сегодня.

Буря плачет над Мирным.

25 ЯНВАРЯ 1958

В Антарктиде надо быть терпеливым. Этот большой материк требует большого терпения. Полетишь куда-нибудь на денек, а погода испортится — вот и просидишь там неделю или даже месяц, если не повезет, и сколько ни мечись, сколько ни нервничай — толку не будет. Здешние расстояния, длиной в сотни километров, пешком не отмахнешь, а от ругани ни теплей, ни холодней не станет.

Самолет «ЛИ-2» еще утром был загружен и подготовлен к отлету в Оазис, но сильный ветер все не унимается. Приходит время завтрака, часы тянутся и тянутся, словно нить из клубка шерсти, и вот наступает время обеда.

В 14.15 самолет все-таки стартует. Пилоты — Рыжков и Григорьев. Пассажиров трое: начальник гляциологического отряда Закиев, врач Мирного Лифляндский, направляющийся в Оазис к больному радисту, и я. Прямая нашего курса пролегает почти прямо на ост, к 100-й восточной долготе.

Все еще очень сильный южный ветер начинает трепать самолет уже над Мирным. Справа от нас простира-

ется Земля королевы Мэри, слева и прямо под нами — море Дейвиса. Оно полно айсбергов и белеющих льдин, оторвавшихся от берега. Между ними темнеют большие участки чистой воды. Видимость хорошая, отчетливо различаешь резко очерченную кривую материкового льда, то сплошную, то рваную.

Летим над ледником Елены. Он находится чуть восточнее Мирного. Корявые, складчатые, потрескавшиеся айсберги — где сгрудившиеся в одно место, а где разбросанные как попало — образуют внизу чудовищный, невообразимый хаос. Что за силища, что за тяжесть! А место рождения всех этих айсбергов, отчетливо видных с самолета и похожих на гигантские белые паромы, плавающие по летнему морю, — ледник Елены, залитый сверху донизу ослепительно ярким солнцем. Почему таким диким местам, таким красивым в своей дикости и мощи местам даются женские имена?

Елена остается позади. Теперь под нами спокойный и белый морской лед: слева океан со своими айсбергами и темной холодной синевой, а справа крутой барьер материкового льда и пологий купол Антарктиды, на котором лежат облака. Внизу по кромке льда ползают тюлени, которых здесь много. В одном стаде я насчитал двадцать два тюленя.

Ледник Роско. Он выглядит более спокойным, чем ледник Елены, хотя на карте он кажется более пространным и диким. Ледник Елены, очевидно, потому произвел на меня впечатление такой мощи и, можно сказать, активности, что курс наш пролегал над его выступающим в море мысом.

Справа по-прежнему материк — Земля королевы Мэри, но с глаз уже скрылась чистая вода на севере, и под нами простирается огромное и однообразное белое ледяное поле. Внизу шельфовый, то есть плавающий, ледник Шеклтона, один из крупнейших ледников во всей Антарктике. Я представлял его совсем иным, более беспокойным, хаотичным и живым, сильнее изборожденным трещинами. Оказывается, ничего подобного. Даже остров Массон, находящийся посередине этого ледника, в ста пятидесяти километрах от Мирного, и тот не может оживить белой пустыни. Он, правда, большой и, вздымаясь, образует огромный горб, но и его земля совершенно погребена подо льдом и снегом. Кажется, что это вовсе и не остров, а сугроб гигантских размеров. Мы не

видим его затененной стороны, и это еще более увеличивает сходство острова с сугробом.

15.30. Кое-где справа виднеются выступающие из материкового льда темные обнаженные скалы. В мертвом царстве, где единственными проявлениями жизни являются перемещения льдов, игра ветра со снегом и сверкание солнца, эти круглоголовые, словно тюлени, темные скалы кажутся какими-то живыми и дружелюбными.

Летим над ледниками Денманна и Скотта. А затем перед нами Оазис Бангера. Где-то там, посередине, расположена наша станция Оазис, но мы ее не видим. Оазис Бангера окружен ледниками. Между ними вздымаются, словно на фантастическом или лунном ландшафте, бурые конусы приземистых скал. Сверху этот ландшафт выглядит диким, бездушным, угрюмым и унылым — оазис оазисом, но жизни здесь не больше, чем на ледниках.

Но через несколько минут Оазис Бангера уже скрылся из виду. Мы не смогли приземлиться. Там бушевал шторм — двадцать пять метров в секунду. Нас болтало так, что весь Оазис слился в одно сплошное бурое пятно.

Пришлось повернуть назад. Завтра полетим снова. Сегодня «Кооперация» прибыла в Порт-Луи.

26 ЯНВАРЯ 1958

Утром снова отправились на аэродром, чтоб лететь в Оазис. Ветер был сильный, стоявший самолет содрогался от его порывов. Сидели, курили, ждали. Но так ничего и не дождались. Как нам сообщили по радио, вертолет, вылетевший из Оазиса на аэродром, расположенный в двадцати пяти километрах от Оазиса, вернулся обратно, так как над складами слишком сильно болтало. Но попасть в Оазис с аэродрома близ него можно только на вертолете, если же его не пришлют за нами, лететь бессмысленно. Дорога там трудная и опасная, вся в трещинах. Еще позже нам сообщили, что у вертолета при посадке сломалась одна из лопастей подъемно-го винта.

В Мирном уже несколько дней находится Павлик Сорокин из Комсомольской. Я не раз встречал его в кают-компаниях и сегодня встретил опять. Павел поху-

дел и побледнел, веселости у него поубавилось, глаза стали серьезнее.

Мы разговорились. Я спросил, что с ним. Сперва он помрачнел, но потом рассмеялся, весело и от души, и рассказал мне свою грустную историю. Лицо его при этом выражало крайнее удивление.

Сорокин прилетел в Мирный главным образом за медикаментами, и его поселили у наших врачей Лифляндского и Шлейфера. А это отчаянные зубоскалы. С самым невинным, отзывчивым и сочувственным видом они тебя так обведут вокруг пальца, что над тобой будет потешаться потом вся экспедиция.

Шлейфер — круглый и крепкий тяжеловес с намечающимся брюшком, с солидным и спокойным, словно у спящего Йеговы, выражением лица. Взгляд его карих глаз, прикрытых большими тяжелыми веками, кажется исполненным равнодушия и апатии. По национальности он еврей, по образованию — зубной врач, по специальности — медик полярных экспедиций. Последнее означает, что его знания должны намного превышать (а они и превышают) узкие рамки стоматологии.

Лифляндский моложе Шлейфера. Это хирург, восемь лет проработавший на Дальнем Севере, полный человек с глазами мечтателя и простодушной внешностью. Но внешность обманчива. В здешней больнице и в здешней «латинской кухне» вынашиваются ядовитейшие каверзы и розыгрыши.

Вот вам пример.

К Шлейферу и Лифляндскому является молодой, только что окончивший университет специалист, впервые попавший в полярные условия. Ему предстоит лететь на какую-то дальнюю станцию. Он безо всяких к тому оснований беспокоится за свое здоровье. Дав несколько деловых советов, врачи рекомендуют ему взять с собой утеплитель, которым пользуются во время морозов для одной весьма нежной части тела. Не знаю, кто из врачей добавил, что существуют утеплители двух типов: одни, шерстяные и попроще, — для рядовых участников экспедиции, а другие, посложнее, — для руководства. Главными деталями последних являются собачий мех и электрическая грелка. Врачи настойчиво рекомендовали требовать утеплитель для руководства, поскольку перед смертью, законом, поваром и морозом все равны. Думаю, что при этом были еще сказаны громкие слова о равноправии и демократии.

Разумеется, ни шерстяных, ни меховых утеплителей не существует. Но юноша клюнул на удочку и написал длинное заявление, на котором заместитель начальника экспедиции по хозяйственной части написал лаконично резолюцию: «Отказать!» Однако Толстиков, не сразу понявший суть дела, сказал:

— Если и вправду есть такие чудеса техники, почему же их не выдают?

История эта продолжает передаваться от человека к человеку, с каждым днем совершенствуясь и пополняясь новыми деталями,— она уже стала достоянием изустной хроники Мирного.

Но вернемся к Сорокину. Врачи провели его следующим образом. В их квартире живет медик второй экспедиции Тихомиров — парень с виду холодный и угрюмый. Сорокина поселили с ним в одной комнате.

По уговору с Лифляндским и Шлейфером, Тихомиров разыгрывал помешанного — не буйного, а тихого. Он втянул Сорокина, уже предупрежденного обоими друзьями о возможных неприятностях, в заговор против врачей: на глазах у Павла он выбрасывал в окно какие-то таблетки, заклиная его молчать об этом. Он показывал Павлу на большой картонный ящик под кроватью и, имея в виду его содержимое, говорил:

— «Кооперация» — бу-бух!

Это означало, что корабль взлетит на воздух.

Сорокин поверил в то, что он сумасшедший. «Тихий помешанный» Тихомиров полностью убедил его в этом своей манерой к украшениям. По вечерам, когда поблизости не было ни Шлейфера, ни Лифляндского, он повязывал свою голову полотенцем на манер корсиканского разбойника, вешал на шею апельсин на веревочке и прикалывал к груди английской булавкой шестерку червей. И в таком виде, наряженный и мрачный, он бродил по темной пустой больнице, вселяя в душу Сорокина темный страх. А утром, не отрывая от Павла взгляда, говорил:

— Ночью все думал, откусить тебе ухо или нет. Решил не откусывать, ты мне пока нравишься. Поживем — увидим.

Испуганный Сорокин побежал жаловаться на беду к своему другу, начальнику строительного отряда Кунину. Тот ничем не сумел помочь Павлу, лишь дал ему для самозащиты большой рашпиль. Павел страдал еще две ночи и на всякий случай спал с рашпилем в руках.

А сейчас он сам удивляется.

— Как они меня провели! Ну, полотенце — ладно. Порошки в окно выбрасывал — ладно. Хотел ухо откусить — тоже не штука: один великий художник сам себе ухо отрезал, чтобы интересней выглядеть. Но апельсин и шестерка червей — какой сумасшедший до этого додумается? Ведь никакой логики, а я поверил, Юрьевич, ей-богу, поверил!

И он с сожалением добавляет:

— Обидно, что улетать надо. Я уже придумал для этих докторов один номерок. Гениальный номерок!

Но как бы то ни было, такие розыгрыши делают здешнюю жизнь более легкой и веселой, особенно, если сам не являешься их объектом и твоим ушам не грозит никакая опасность.

На Восток уже прибыло то звено тракторного поезда, которое должно было отвезти туда припасы. Расстояние от Комсомольской до Востока оно преодолело сравнительно быстро. Тракторов было больше, чем обычно, и каждый шел с меньшим грузом. Сам поезд стоит в Комсомольской и ждет возвращения тракторов с Востока. Потом начнется трудный рейд к Советской.

27 ЯНВАРЯ 1958

Чудесный, теплый, метельный день. Никакие самолеты не летают. Непрерывный вой ветра. Заглядываю во все двери — тут их не запирают — и в каждом доме нахожу знакомых. В моем таллинском доме девять небольших квартир, но я знаком лишь с владельцем одной из них, о тех же, кто живет рядом со мной или этажом ниже, совсем ничего не знаю. А здесь знаешь довольно многих людей, с которыми жил вместе, хоть и недолго, на корабле и в Мирном, которые поселились недавно в соседних квартирах: в Оазисе — на 100-й восточной долготе, в Пионерской — на 69-й южной широте, и в Комсомольской — на 74-й южной широте, на Востоке — на 78-й южной широте. Знаешь даже тех, чья зимняя квартира в Советской еще не готова. Море связывает людей — хотят они того или нет — в десять раз крепче, чем земля, а полярная жизнь, особенно на маленьких станциях, связывает их еще крепче, чем море.

Но все эти лица, все эти характеры, все эти разные люди с разным отношением к жизни и с более сходным, но все-таки неодинаковым отношением к труду, люди, у каждого из которых своя осанка, каждый из которых идет сквозь года своей поступью,— всех их я либс еще не разглядел как следует, либо они покамест слишком близки мне, чтобы описывать их, изображать и анализировать более тщательно. Антарктида, континент больших расстояний, как бы требует того, чтобы я изобразил здешний народ, отойдя на дистанцию времени, по прошествии которого забудется то, что сперва мне показалось существенным, что маячило где-то на первом плане, но потом исчезло, а осталось лишь то, что является для человека самым значительным, что безусловно свойственно только ему, что выделяет его среди большого коллектива и в то же время связывает с ним.

Порой трогательно слышать, как говорят о тебе на выступлениях: родился в рыбацкой деревне, после окончания начальной школы не смог продолжать учения из-за отсутствия средств, ловил рыбу, пахал землю. Поистине трогательно! Но то, что я не мог ходить в школу, что я учился так мало и безо всякой системы, что у меня нет политехнического образования и, в силу этого, понимания современной исследовательской техники,— это совсем не трогательно, а просто плохо. Сегодня я побывал в доме геофизиков, где Гончаров и Сафронов старались терпеливо и как можно проще и понятнее объяснить мне устройство приборов, предназначенных для исследования космического излучения, определения земного магнетизма, сейсмических измерений и т. д. Ушел от них с ощущением, что я темный человек, который еще может разобрать цифры на шкале, но смысла этих цифр постичь не в силах. После этого полчаса просидел у собак. Ибо сколь ни поэтична твоя душа, в каких бы высоких слоях атмосферы ни парили твои чувства, но без технического образования и без подлинного понимания техники в Антарктике ты будешь годен только на то, чтоб таскать сани.

Техника, техника, техника — от самой сложной до самой простой. Приборы в тиши помещений. Регистрирующие и передающие дальше сведения приборы на снегу. Дни и ночи гудит электростанция, грохочут гусеничные трактора, «Пингвины» и бульдозеры. Дни и ночи сидят у аппаратов радисты с наушниками на голове и держат связь со всем миром. Сегодня ночью радист

Владимир Сушанский переговаривался с каким-то таллинским радиолюбителем. Далекое перестает быть далеким.

Но тут же, пригнувшись и тихо притаившись за складами, расположилось здание, где техника самая что ни на есть деревенская. Это свинарник. В отличие от всех свинарников в истории, в его сених живут четыре пингвина. А внутри аккуратные загончики, и в них — упитанные розовые свиньи разного возраста. Из-за спины одной матки выглядывает шестерка полугодовалых черно-пестрых поросят.

28 ЯНВАРЯ 1958

Сильный ветер, все бушует и бушует буря. Летом в Мирном не обойтись без ватника, шерстяных носков и теплого белья. Самолет, правда, вылетел сегодня в Оазис и даже приземлился там, но не было смысла отправляться с ним. От аэродрома, на котором он выгрузил свой груз, до станции пешком не добраться. И на Восток, где я мечтаю побывать, тоже давно не летают самолеты, — даже те, которые закреплены за тамошней станцией, еще стоят в Мирном. Антарктика требует терпения. Я налетал здесь четыре тысячи километров, и возможно, что этим дело и ограничится. «Кооперация» выходит в обратный рейс, а с каждым полетом связан риск застрять где-нибудь и тем самым остаться тут на зимовку.

Как различны люди! Сегодня утром один временный участник третьей экспедиции, с которым я приплыл сюда и поплыву обратно, долго спорил с начальником складов Шакировым. Он уже дня два как вынашивает план остаться тут на зимовку и даже подыскивает себе мысленно место. Где устроиться? У метеорологов, у гляциологов, у геофизиков или в каком-нибудь другом отряде? По своей профессии он может пристроиться к кому угодно: ни один отряд на этом ничего не проиграет и не выиграет. Желание зимовать объясняется проще простого: суточными. И сегодня утром он был настолько неосторожен, что начал рассуждать о том, как их зарабатывать. Оказывается, вот как. Он себе интеллигентно посиживает в комнате. Более того, он начинает переводить с английского языка — ведь ему, как участнику экспедиции, будет легче, чем другим, опубликовать свои

переводы в Москве. И даже еще лучше: имеется один сенсационный французский романчик, бестселлер, вполне, как я понял, порнографический. Для перевода ему требуется месяц. Он перевел бы его не для издательства, а просто-напросто для себя и для своих друзей. Для этого ему требуется месяц, в течение которого ему платили бы антарктические суточные.

Шакиров слушал его, все более ощетиниваясь.

— Тысячи!..— сказал он наконец.

— Какие тысячи? — раздраженно спросил мечтатель, округляя свои большие, по-женски красивые глаза.

— Тысячи придется платить государству за перевод этого борделя для личного пользования, — ответил Шакиров.

Мечтатель, шокированный грубым выражением, начал что-то говорить о политической нейтральности литературы, о том, что культурный человек даже в Антарктике не должен терять своих культурных, сугубо французских интересов, и о том, что раз уж он попал в Антарктику, то пусть ему и платят как полярному исследователю.

Шакиров вспыхнул словно трут. Прибегая порой к выражениям не совсем литературным, он объяснил, что миллион складывается из рублей, что государство отпускает средства на экспедиции не для того, чтобы в их состав включали охотников за длинным рублем. Он сказал о том, как надо работать в Антарктике, о том, какая каша может завариться здесь, в самом Мирном, из-за пурги, скорость которой иногда доходит до тридцати пяти — пятидесяти метров в секунду, а потом с той же последовательностью и яростью обрушился на тех, кто рассчитывает жить среди льдов в шелковых перчатках. Как хозяйственник, хорошо знакомый с калькуляцией, он перевел мелочность и безответственность подобных людей в рубли, которые придется уплатить государству, а рубли в свою очередь перевел в квартиры, в которых могли бы поселиться рабочие. И все вновь и вновь возвращался к переводу французского романа, к переводу «этого борделя». Атакуемый, все более сникая, лишь повторял голосом умирающего:

— Я имею право получать деньги.

Шакиров камня на камне не оставил от этого «права». По правде говоря, мне редко приходилось слышать столь пылкие, столь безукоризненно аргументирован-

ные, столь государственные и столь патриотичные, в самом серьезном смысле этого слова, выступления, как это откровенное выступление Шакирова в каюте прессы. Между прочим, Шакирова характеризуют здесь как очень вспыльчивого, но и как очень трудолюбивого человека. Тех, кто с ним не согласен, он считает своими противниками, то есть противниками его взглядов на человеческие обязанности, на чувство долга перед своей страной и своим народом. Таким лучше держаться от него подальше.

Существует выражение, до предела насыщенное мещанским содержанием — черствостью, равнодушием, низостью, стремлением пробивать себе дорогу локтями: «патриотизм персонального оклада». Шакирову явно неизвестно это выражение, тем не менее он целый день объяснял своему противнику, что тому свойствен именно такой патриотизм.

Вскоре «апостол уютной Антарктики» заявил, что он все же вряд ли останется на зимовку. Здесь, мол, попадают грубые люди, от которых можно услышать неприятные вещи, зима же и вправду может оказаться трудной, так что его, возможно, заставят работать не по специальности, и т. д.

После обеда начальник метеорологического отряда второй экспедиции Кричак сделал доклад о климате Антарктики, опирающийся на данные, собранные второй экспедицией. Роль Антарктики, этого огромного холодильника, в воздействии на климат южного полушария очень велика. Ее ледяные рога выступают далеко на север, ее дыхание достигает далеких районов океана. Вокруг нее вертятся циклоны и антициклоны, лишь изредка врывающиеся с океанов на материк. Антарктида как бы окружена гигантской и беспорядочной линией фронта, на которой происходят схватки масс теплого и холодного воздуха.

Но климатическая карта Антарктики еще неполна, континентальные станции расположены далеко одна от другой, о громадных пространствах не имеется еще ни метеорологической, ни аэрологической информации. Это оставляет большой простор для споров, гипотез и научных фантазий. В Антарктике пока что много неоткрытого и неразгаданного.

Говорят, что через день-два в Мирный должен прибыть американский ледокол.

30 ЯНВАРЯ 1958

Вчера утром в Мирный прибыл ледокол американского военного флота «Бартон Айленд». Часов в семь утра нас пробудил от сна рокот чужих моторов над домами, совсем не похожий на рокот наших самолетов и вертолетов. Два маленьких американских геликоптера, взлетевших с кормовой палубы «Бартона Айленда», покружили над Мирным и приземлились на нашем аэродроме. Вместо колес у них — цилиндрические понтоны, позволяющие машине опускаться и на воду, и на лед.

Полчаса спустя Мирный был полон американцев — стрекотали их кинокамеры, щелкали фотоаппараты и завязывались новые знакомства.

На свободном ото льда рейде Мирного, у кромки уже ненадежного припая стоял «Бартон Айленд». Серый корпус этого военного ледокола невелик. У корабля очень сильный двигатель. Кроме того, он может преодолевать довольно тяжелый лед, развивать большую скорость. Наши данные о позавчерашнем местонахождении «Бартона Айленда» и его вчерашнее прибытие — все это говорит о том, что ледокол за небольшое время покрыл большое расстояние.

Американская антарктическая экспедиция, ее основной контингент зимовщиков на континентальных станциях состоит из военнослужащих. Расходы по экспедиции несет военное министерство. Надо думать, что в связи с этим и программа их исследований имеет военный уклон, в отличие от научных программ австралийской, английской, французской и нашей экспедицией. На «Бартоне Айленде» тоже чуть ли не одни военные.

В Мирном первыми сошли на землю мистер Гералд Кэтчэм, состоящий в звании капитана и занимающий должность заместителя начальника 43-й оперативной группы военно-морского флота (ее база находится в Антарктике), затем капитан «Бартона Айленда» Бреннингем, помощник капитана, первый офицер экипажа Рейнольдс, лейтенант Бейби, офицер службы информации «Бартона Айленда» и, наконец, научные работники: научный руководитель антарктической исследовательской

станции «Адер» с 1956 по 1957 год Джеймс А. Шир, гравиметрист американской антарктической экспедиции Джеймс Спаркмен, сотрудник Гидрологического управления Соединенных Штатов океанограф Стар, сотрудник станции «Литл Америка» Ричард Л. Чепелл, врачи — мистер Эллиот и мистер Морвайн и, разумеется, корреспонденты — от Ассошиэйтед Пресс мистер Тэйлор и от «Нью-Йорк Таймс» мистер Бекер. Кроме того, младшие офицеры, матросы и участники американской антарктической экспедиции.

Американцы чувствовали себя в Мирном как дома. Их научные работники проявляли большой интерес к работе советских исследователей, к научной аппаратуре, к Мирному и к нашим континентальным станциям. Гляциолог устремился к гляциологу, метеоролог — к метеорологу. Остальные тоже завязывали дружеские беседы и вполне нормальные экономические отношения. Уже через полчаса пришлось бежать в свою комнату за «Казбеком», на него был большой спрос. В обращение было пущено множество американских сигарет всех сортов. Но особый интерес вызвали у американцев наши шапки — кое-кому из нас и поныне нечего надеть на голову.

Надо сказать, что американцы необычайно подвижные люди. Казалось, что в Мирный прибыло человек двести, а не двадцать. Они всюду — на каждом сугробе, на каждой скале, у каждого дома. Они заходят во все двери, и если им удастся набрести на какого-нибудь участника экспедиции, знающего английский язык, то возникает разговор с переводчиком, а если такого человека нет, обходятся и без него. Мистер Тэйлор, уже пожилой, усталый человек с апатичным взглядом, весьма проворно вскарабкивается на бурые скалы. Его фотоаппарат непрерывно щелкает, а в записной книжке одна страница за другой заполняется записями. Седеющий, но бодрый и вечно улыбающийся мистер Бекер из «Нью-Йорк Таймс» успел уже поговорить со всеми и обо всем, исключая политики.

Мы зашли с гостями и к метеорологам. Американцы прежде всего воззрились на кинозвезд на крыше, сфотографировали их и дали высокую оценку творению неизвестного художника.

Какой-то американец рядом со мной, неожиданно издав протяжное и удивленное «о-о-о!», плюхнулся задом

в снег, торопливо навел на крышу объектив киноаппарата и принялся снимать.

«О-о-о!» Все мы, сопровождавшие американцев, тоже на миг онемели. На крыше рядом с обнаженными кинозвездами вдруг появился самый настоящий Пан, совершенно такой, каким мы его представляем себе по мифам. Он был низкорослый и плотный, остриженный наголо и загоревший дочерна. Облаченный в одни трусики, он с недоумением и страхом пялил свои синие, добродушные глаза на многочисленные объективы. А коленапреклоненные фанерные красавицы рядом с ним стыдливо потупили свои нарисованные головы. И позади вместо фона — холодное и пасмурное свинцовое небо, льдистое море Дейвиса, айсберги, голые скалы и белые снега.

Паном оказался старший научный сотрудник метеорологического отряда Семен Гайгеров. Дело объяснялось просто. На крыше метеорологической станции сооружено из двух фанерных щитов укрытие для теодолита. Старый спартанец Гайгеров решил, что, спрятавшись за этими щитами от ветра, можно и в Антарктике принимать солнечные ванны. Его курортная процедура окончилась как раз в тот момент, когда появились американцы. Это необычайное стечение обстоятельств вызвало небольшую сенсацию и привело наших гостей в отличное настроение.

Американцам показали запуск радиозонда, и они долго следили за его полетом. Затем Бугаев угостил их шампанским. Всем было весело, и еще двое человек лишилось шапок: сувенир!

«Бартон Айленд» стоял всего в нескольких метрах от берега, и нас повезли к нему в какой-то забавной шлюпке. По форме она напоминала легкое, но очень грузоподъемное стальное корыто. Корма и форштевень были у нее тупые, словно обрубленные. При плавании среди льдов такая шлюпка очень практична.

На «Бартоне Айленде» нам показали американский широкоэкранный фильм. Очень чистые краски. Бесчисленные номера ревию. Но содержание...

Ледокол отчалил поздно вечером. Я покинул его с последней шлюпкой. И по пути домой со мной приключилась глупая история — на твердом с виду снегу я по грудь провалился сквозь лед. Вода была очень холодная, она тотчас протекла в сапоги и насквозь пропитала одежду.

Пишу эти строки, встав у кровати на колени. Ломит спину, и при каждом неосторожном движении меня будто ножом режут.

Радикулит.

Его-то мне и не хватало!

31 ЯНВАРЯ 1958

Кажется, наш филолог Видеман первым перевел слово интеллигент на народный язык. В его переводе это звучало как «работающий задом». Точно и верно. Хорошо, если у тебя есть голова, но если твою спину и зад пронизывает острая, иногда прямо невыносимая боль, то начинаешь особенно ошутимо понимать взаимосвязь всех вещей и ту истину, что состояние твоего зада порой весьма чувствительным образом влияет на мыслительный процесс, а то и вовсе его прекращает!

3 ФЕВРАЛЯ 1958

Вечером 31 января на рейд Мирного прибыл корабль австралийской антарктической экспедиции «Тала Дан». Он появился на севере совершенно неожиданно — мы ждали его только к утру 1 февраля. Но вот он неторопливо плывет по темной вечерней воде, обводы его красного корпуса отчетливо виднеются на фоне далеких айсбергов, а его кормовой мостик, выкрашенный в желтое с белым, вздымается над ними и скользит как нечто самостоятельное поверх тяжелых темных облаков северного небосклона. «Тала Дан», арендованная Австралией у датчан, была спущена на воду лишь полгода назад и еще плавает и под датским и под австралийским флагами. Красивый корабль; его красно-белый корпус, красный самолет на борту, выпела на мачтах — все это производит радостное впечатление, судно выглядит молодым и кажется издали маленьким и легким.

Разглядывая «Талу Дан» в бинскуль, я впервые обращаю внимание на сумерки, которые становятся с каждым днем все более и более плотными. В полночь у нас в Мирном уже смеркается на час, на два, и сквозь маленькие окошки заглядывает в дома темная беспокойная синева. Долгая полярная ночь неторопливо подкрадывается к нам по белой простыне Антарктиды, напо-

минает нам о своем существовании, о своем приближении. Небо на севере затянуто осенними тучами. Одна из них, грубо навалившаяся грудью на айсберги, напоминает своими очертаниями иллюстрацию Доре, которая изображает Самсона, уносящего городские ворота Газы: черная синева тучи, нависшей над айсбергами, похожа на землю, книзу, словно кубок, и сильно вытянутый к западу, — точное изображение Самсона; огромное же туманное скопление наверху, темно-серого цвета и почти квадратной формы, напоминает городские ворота, уносимые Самсоном.

Уже сто дней, как я уехал из дому. Я покинул его осенью. И лишь теперь осень догнала меня.

«Тала Дан» причалила носом к береговому льду и спустила трап. На этот же лед были сброшены и якоря. С корабля спустились австралийцы и датчане. (Экспедиция состоит из австралийцев, а экипаж судна из датчан.) Встретили их сердечно. «Бартон Айленд» ограничился одним лишь сообщением о том, что он направляется в Мирный, австралийская же экспедиция прислала необычайно вежливую радиogramму с просьбой разрешить ей посещение советской антарктической обсерватории. О дружелюбном и деловом взаимопонимании между австралийскими учеными и нашими говорит то обстоятельство, что руководитель австралийской экспедиции Филипп Лоу, худой, бледный человек с голландской бородкой, посещает Мирный уже второй раз. Он прилетал сюда впервые во время пребывания здесь нашей первой экспедиции. Он тесно связан с советскими исследователями общностью научных интересов. Мистер Лоу — один из видных австралийских исследователей Антарктики.

Первое знакомство. Австралийцы и датчане спускаются по трапу вниз, смеются, сверкая зубами, жмут нам руки. В Мирном опять многолюдно и суматошно. Радисты из числа гостей уже сидят на радиостанции Мирного, поражаются ее мощности. В общую комнату радистов, в которой разбросаны на столе мои рукописи, заглядывают австралиец и датчанин. У датчанина огненно-рыжие щетинистые усы, ярко-синие глаза и веснушчатое лицо, каких много к северу от 50-й параллели. Он выше шести футов росту. И мечтает обменяться со мной шапками. Австралиец невысок, круглолиц и с брюшком. Оба гостя — веселые люди и хотят поболтать.

— Говорите по-английски? — спрашивают они меня.

— Нет.

— Но?

— Харосо! — говорит датчанин и достает из своих вместительных карманов две пачки сигарет и четыре консервные банки. Банки содержат очень вкусное датское пиво. Сидим, болтаем, работаем и языком и пальцами — и, как ни странно, отлично понимаем друг друга.

— Аэровиски? — спрашиваю я и щелкаю себя указательным пальцем по горлу — жест этот на всех языках означает одно и то же.

Гости не возражают. Небольшой запас Виктора Якунина пускается в расход. Комната наполняется новыми людьми — среди них и наши и гости. Разговор становится всеобщим. Мирный нравится прибывшим: радиостанция хороша, дома хороши, радисты им — коллеги и друзья, тут никакая не военная база, на «Пингвинах» пулеметов нет, и ни одной советской субмарины они здесь не увидели. Чуть погода все устремляется к метеорологам, затем в аэрофотолабораторию. Гости залезают в кабины машин, разглядывают наш самолет «ИЛ-12». Деловой контакт налажен.

Хорошо проходит и совместный обед. Выступают мистер Лоу и Трешников. Оба говорят о том, как необходим ученым контакт в деле исследования Антарктики, и взаимно желают каждой из экспедиций наилучших успехов. За столом сидит и капитан «Талы Дан» — Кай Хинберг. У него мужественное лицо старого моряка, глаза его весело щурятся. Форма сидит на нем безукоризненно. Ему здесь нравится.

Тут же с нами и ученые.

Мы поем вместе, обмениваемся адресами, обсуждаем научные вопросы, говорим о сотрудничестве между полярными исследователями.

Вечером в кают-компани много гостей с «Талы Дан». Отличные ребята! С их радистами у нас особенно хорошие отношения. Потом они допоздна сидели на приемной станции с наушниками на головах и слушали передачи Москвы и «Литл Америки».

«Тала Дан» отплыла вчера после обеда.

Сегодня был вместе с сейсмологами в нескольких километрах от Мирного. Испытывались приборы, измеряющие глубину льда. Сейчас, при небольшом морозе, укреплять всевозможные провода еще не так трудно, но

при 30 градусах ниже нуля и сильном ветре это, наверно, весьма мучительное занятие.

Сегодня тракторный поезд вышел из Комсомольской по направлению к Советской.

«Кооперация» находилась вечером на 38°27' южной широты.

4 ФЕВРАЛЯ 1958

Тракторный поезд уже в ста километрах от Комсомольской. Все идет как надо.

6 ФЕВРАЛЯ 1958

Мои теперешние ощущения можно охарактеризовать одним словом: ожидание. «Кооперация» с хорошей скоростью идет к Мирному, участники второй экспедиции упаковывают свои вещи и сдают снаряжение, а я, поляририк явно неопытный и никудышный, сто раз на дню вспоминаю о своей милой. Что бы там ни говорилось, но женщины — темная сила, которая, вероятно, и сама не сознает того, как она влияет на нас, как мешает нам устремляться мыслью к Аллаху, то есть к своей работе.

Я вижу ежедневно новых людей, вижу их в труде и начинаю лучше осознавать значение слов «комплексная антарктическая экспедиция». Синоптики склонились над своими картами, сейсмологи и гляциологи исследуют характер и толщину льда, аэрофотографы работают в своих темных лабораториях и кабинах самолетов. Чуть в стороне от поселка, на покрытой снегом скале Радио, трудятся авиамеханики. Эти люди, которых мы часто не замечаем, проходя рядом с ними, чьи имена затмеваются славой летчиков, делают трудное и ответственное дело, требующее золотых рук и большого опыта. Без их труда ни один самолет не сможет взлететь со льда Антарктики, да и с любого другого поля. Чтобы более или менее основательно изучить каждого из здешних людей, мне вообще-то следовало бы остаться здесь на зимовку. Но на это у меня нет ни возможности, ни решимости. Я благодарен и за то, что Антарктика уже дала мне, — теперь мне и так будет над чем подумать,

Море очень и очень красивое. Спокойное, темное, с ослепительными жемчужинами айсбергов.

Сегодня утром тракторный поезд был уже в ста пятидесяти километрах от Комсомольской.

8 ФЕВРАЛЯ 1958

После завтрака вдруг раздался сигнал пожарной тревоги. Глухие удары набата раздавались над снегами Мирного, словно крики о помощи.

Не то от окурка, не то от неосмотрительно брошенной спички, не то от искры из трубы загорелись пустые ящики около электростанции, доски, обтирочные концы и бревна. Пламя вспыхнуло особенно сильно, добравшись до остатков горючего, и, когда мы прибежали, огонь уже лизал бревенчатый фундамент станции, а ее обитые жестью стены начали дымиться. Пошли в ход все шланги, все огнетушители и ведра, какие только нашлись в Мирном. Люди не щадили себя, и через полчаса с огнем было покончено. Но встревожились мы не на шутку. Каково тут было бы, если бы сгорела электростанция,— особенно полярной ночью, когда лед отрезает Мирный от всякой связи с родиной? Тут, разумеется, достаточно топлива, достаточно горючего, но все же... От дыхания беды, пршедшей так близко от нас, у людей еще и сейчас подирает мороз по коже.

10 ФЕВРАЛЯ 1958

«Кооперация» должна прибыть завтра. Расстояние от Порт-Луи до Антарктики она прошла с хорошей для такого старого корабля скоростью. Лето южного полушария основательно смягчило суровый лик здешнего моря, ветры утратили ту леденящую дикость, которая через месяц-другой возродится вновь со всей своей силой.

Но зима, то есть антарктическая осень, уже приближается. Ночи стали темными, и большой месяц, похожий на голову мурены (из-за сияния снега луна здесь кажется желтой и основательно закопченной, а контуры ее кратеров — черными), освещает пологий хребет Антарктиды как-то тускло и призрачно. Сорок собак Мир-

ного принимаются время от времени выть на луну, задрать морды.

Желчная светит луна
Над снеговыми полями...

Только вот нет дерева рядом с воротами, бросающего тень на дорогу...

Сияние, отбрасываемое месяцем на море Дейвиса, разбивается невысокими волнами на осколки, и чудится, что вода сплошь усеяна увядшими листьями. Остров Хасуэлл и бурные нагие скалы на рейде Мирного кажутся по ночам грозными зубчатыми фортами.

Вещи уложены. С грустью думаю: вот бы и в мозгу было что-нибудь вроде чемодана или походного мешка, где все лежало бы отдельно — здесь чистое белье, а тут грязное, здесь морские карты, здесь негативы, здесь книги, а тут фотографии. В моих воспоминаниях, впечатлениях, в оценках людей, в определении их положения в коллективе, во всем, что я увидел и услышал или о чем, как мне кажется, догадался за пятьдесят дней, прожитых на антарктическом материке, царит изрядный беспорядок, изрядная сумятица. Будто бы я разбросал все эти незримые богатства по огромной комнате. Лишь отдельные людские группы успели обрести в этом хаосе твердое или более или менее устойчивое место.

Я сознаю, в каком я долгу перед метеорологами Васюковым и Бугаевым, перед людьми, в которых счастливо уживаются русская сердечность и чувство такта, перед людьми, которые делают свое дело с большой любовью. Сплоченно и особняком стоят радисты. У меня мало столь близких людей, как Борис Чернов, Слава Яковлев, Виктор Якунин, Владимир Сушанский. Мы сто дней жили бок о бок, но ни разу за это время не обменялись комплиментами, а наоборот — нередко говорили друг другу в лицо резкости. Но если мне еще придется побывать на Крайнем Севере или в далеком плаваньи, то хотелось бы, чтоб рядом со мной оказались они или люди такой же породы.

А в центре, отдельно от всех, стоит станция Комсомольская со своими четырьмя зимовщиками, к которым я очень привязался. Крохотная точка на льду, место, где я пережил самые трудные и самые содержательные дни своей жизни. Убежден, что такие дни могут изменить внутренний мир человека, очистив его от всякого мусора и наделив чистотой снегов, — вот только достанет ли человеческой силы, чтоб сохранить ее.

12 ФЕВРАЛЯ 1958

«Кооперация»

Вчера, 11 февраля, «Кооперация» прибыла в Мирный и бросила свои ледовые якоря в том самом месте, где стояла «Тала Дан». Она пристала носом к ледяному барьеру. Мы поднимались на корабль и спускались вниз по обычному, вполне нормальному трапу, — ни дать ни взять как в настоящей гавани.

Мы следили за приближением «Кооперации», за тем, как она подплывала все ближе по темной воде моря Дейвиса, как сливался с айсбергами ее белый корпус, словно бы становясь их частью, и каким маленьким казался корабль среди этих сверкающих гигантов. Мы стояли на большой бурой скале, на Комсомольской сопке, той самой, на которой расположены приемная радиостанция, электростанция и мастерская. И почти не разговаривали. Потому что мы полюбили клочок этой обледенелой земли, перепаханной гусеницами тракторов, полюбили каждый на свой лад: одни привязались к нему, как к рабочему месту, другие — как к форпосту в борьбе за открытие тайн Антарктики. Не сумею объяснить, как я полюбил этот клочок. Не как женщину, не как родственника и даже не как «свой остров», свое место под солнцем, а примерно так же, как я люблю иные местечки на Муху — самые дикие, самые запущенные, самые каменистые.

Еще до прибытия «Кооперации» я распрошался со всеми своими товарищами, остающимися в Мирном. Побывал у метеорологов, зашел к аэрофотографам, а потом к радистам. Удалось добыть каким-то чудом пару бутылок вина, было у нас и немножко спирту. Я растрогался не на шутку, и порой у меня даже подкатывали к горлу слезы. Пусть это была растроганность слегка захмелевшего человека, у нее все же имелось реальное, истинное и устойчивое основание — глубокая благодарность к своим товарищам.

На Комсомольской сопке, перед радиостанцией, состоялся прощальный митинг. Поднявшись на выступ, произнес прощальную речь Толстиков. В простых и теплых словах он выразил признательность сотрудникам второй экспедиции за ту большую работу по исследованию Антарктики, которую они проделали и без которой третьей экспедиции было бы трудно добиться успехов.

Он пожелал нам счастливого плавания и благополучного возвращения домой.

Я отнес свои вещи на «Кооперацию». Тем временем радисты рассортировали письма, прибывшие с родины. Я знал, что получу письмо, и скорее побежал назад к радистам. Всем были письма, а мне — нет. Я раз десять спрашивал про письмо, перебрал сам все конверты с фамилиями адресатов на букву «С», потом на букву «Ш», но письма не нашел. Я стоял в унтах на ветру, на Комсомольской скале, а в душе моей были холодная пустота, острая боль и обида — ненавистные спутники всех забытых. Не то криком кричи, не то махни на всех рукой!

Ко мне вышел Якунин.

— Нету? — спросил он.

— Нету.

— Я еще раз посмотрю.

— Ладно.

Письма не было. Мне казалось, что меня придавило этой бурой, потрескавшейся и холодной скалой.

...«Кооперация» стояла у барьера. Уезжающие, то есть в основном участники второй экспедиции, уже поднялись на берег. Трап убрали. Третья экспедиция стояла на барьере, и над прибрежной водой сталкивались в воздухе мощные «ура», раздававшиеся как с берега, так и с корабля. Вот белый материк остался за кормой медленно развернувшейся «Кооперации», люди на барьере слились в одну темную зубчатую полосу, и корабль, медленно лавируя среди айсбергов, направился на север. Время от времени борта задевали льдины, корпус судна слегка вздрагивал, а мне казалось, что лед, скребя по железу, скребет и по моему сознанию.

Море Дейвиса стало другим — по-летнему чистым.

Письмо жены мне вручили только сегодня — на шестнадцать часов позднее, чем всем. Еще на корабле один товарищ забрал его в свои руки, чтобы передать его мне «торжественно», как писателю, как молодому, но преуспевающему общественному деятелю. Если б не уважение к судовой дисциплине и к сединам этого человека, если б я не знал, что он никогда не страдал от избытка интеллигентности и такта, что он действовал по-своему добросердечно, я бы, наверно, его побил. За те часы, которые я пережил по его милости, можно было дойти до ненависти и к самому лучшему человеку.

13 ФЕВРАЛЯ 1958

Плывем по меридиану Мирного прямо на север. Курс — 360. Ледовитый океан — южная часть Индийского — спокоен. Перед нами сияя улица. Сходство с улицей вызвано тем, что айсберги все тянутся и тянутся вдоль обонх бортов, будто их выстроил кто-то в ряд от юга к северу. Айсберги любой формы и любой величины — тут и плоскости и возвышенности, тут и башни, и горы, и купола. Может быть, кое-какие из них родом с того самого ледника Елены, над которым я однажды пролетал. Весь день я разглядываю их, как разглядывают добрых знакомых, прежде чем расстаться с ними навсегда. Хочу навек запомнить их яркую холодную чистоту, их мощь, их белоснежные головы, чтобы с годами все это превратилось в строки и строфы. Волны неустанно отшлифовывают айсберги, выдалбливают в них пещеры и постепенно уничтожают их, как время — человеческую жизнь.

Тому, кто не видел океана, он не может даже и признать таким красивым, каким я вижу его сейчас.

Скорость у «Кооперации» низкая. Плывем все время лишь на одном дизеле и делаем по шесть, по семь узлов. На карте нашего продвижения и не разглядишь. Мы примерно на 60-й—на 61-й параллели.

14 ФЕВРАЛЯ 1958

«Кооперация» идет по-прежнему прямым курсом на север. Я еще не знаю, куда мы направляемся — в Австралию ли, за грузом в Мельбурн, или, обогнув мыс Доброй Надежды, поплывем прямо домой. Меня, разумеется, больше привлекает австралийский вариант. Но иных участников экспедиции это не особенно воодушевляет. Они уже год с четвертью не были на родине, и все их мысли прикованы к дому. А заезд в Австралию удлинит плавание на целый месяц. Надо сказать, что и мне порой жутко смотреть на карту — какое огромное расстояние до дому! Больше, чем полпути вокруг земного шара. Но будет, конечно, чудесно поплыть назад через Суэцкий канал и Средиземное море, если отдадут предпочтение австралийскому варианту.

Океан по-прежнему спокоен, «Кооперацию» лишь слегка покачивает,

Спутников я еще плохо знаю. В Мирном я мало соприкасался со второй экспедицией, и мне пока неизвестно, кто тот или иной человек, откуда он, кем работает. Но меня крайне интересуют их воспоминания, их опыт, их суждения, так как все они зимовали в Антарктике. Надеюсь, что за долгую дорогу мы познакомимся друг с другом.

Сожителем у меня Владимир Михайлович Кунин, возвращающийся уже из третьего рейса на ледовый материк. Мы познакомились в Мирном, где Кунин жил в доме радистов. Он инженер, глубоко образованный, деликатный, веселый и подвижной человек, прекрасный товарищ. Мы наверняка с ним подружимся.

В десять-одиннадцать часов вечера по судовому времени на небе появилось полярное сияние. В Антарктике я не видел его ни разу, так как тогда не было настоящих ночей. Яркие змеи медленно извивались на южном небосклоне, изменяли свою форму и свое положение, а тучи перед ними казались темными горами. Прямо над кораблем извивается огромная светлая спираль, холодное сияние которой рассеяло ночную тьму и поглотило мерцание звезд.

А с правого борта на светлом фоне полярного сияния отчетливо проступило одно облако. По контурам оно напоминало лохматый мухумский можжевельник, позади которого пылает ночной костер. И вот здесь, под Южным Крестом, между 58-й и 57-й южными параллелями, на шаткой «Кооперации», под ее вантами, сквозь которые я видел, как нарождаются и умирают лунные месяцы, под теми самыми незабываемыми вантами, под которыми я изучал звездную карту южного полушария, под вантами, резкие линии которых трепещут сейчас в свете сполохов, я снова вспомнил о том, как мы с женой ездили каждое лето на Сааремаа, о наших кострах на острове Муху, в моей родной деревне. Помню, чуть ли не каждый вечер сидели мы у горящих пней иногда со своими друзьями, иногда с рыбаками, а больше — одни. Нам так это полюбилось, что мы отправлялись разводить костер даже в дождливые вечера. И силуэты можжевельников были видны так же отчетливо, как видна сейчас эта темная ночная туча на фоне сполохов.

Мне хотелось бы сушеной салаки, сваренной в одном котле с картошкой и потом поджаренной на сале. Хотелось бы разжечь между можжевельниками костер на

твердой каменистой земле, под теплым сине-серым небом.

И хотелось бы, конечно, чтобы мы сидели у этого костра вдвоем.

Для одного вечера желаний более чем достаточно.

15 ФЕВРАЛЯ 1958

Плывем по прежнему курсу — 360. Все еще не выяснилось, идем ли мы в Австралию или нет. Неизвестна ни наша первая гавань, ни, стало быть, маршрут, и это заставляет нервничать.

К вечеру океан стал угрюмым. Ветер окреп, волны что ни час вздымались все выше. На небе низкие облака, горизонт затянут мглой. Дождь.

16 ФЕВРАЛЯ 1958

Утром на карту нанесли новый курс — 60. Направляемся на северо-восток, то есть к Австралии. Отлично! Первая гавань еще неизвестна, но, вероятно, это Мельбурн.

Наконец вновь достал со дна чемодана пьесу. Да не оставит судьба тех, кто в такую погоду должен писать книги! Еще не окрепший шторм в семь-восемь баллов. «Кооперация» временами так сильно накрывается, что со стола все слетает на пол — папиросы, рукописи, книги. Стул куда-то уползает, а сам ты ложишься грудью на край стола. Из писания ничего не выходит, хоть самочувствие отличное, а желание работать большое.

Скорость «Кооперации» — десять-одиннадцать узлов. Нам помогает течение и отчасти ветер. Работают оба дизеля.

19 ФЕВРАЛЯ 1958

Наши координаты в полдень — 47°50' южной широты и 108°39' восточной долготы. Приближаемся к Австралии, покрывая ежедневно по двести тридцать — двести сорок миль. Скорость — десять узлов. Но первая гавань все еще неизвестна. Океан сегодня спокоен. Даже не верится, что это тот самый пояс бурь, пояс соро-

ковых широт, о которых мы столько слышали. Лев спит, спрятал свои когти.

Вчера мне исполнилось тридцать шесть лет. И океан сделал все возможное, чтобы я в этот день мог спокойно подумать. Уже ночью он стал бурным, а утром корабль начала трепать сильная боковая волна. Пошел дождь, горизонт заволокло, темный водяной круг, усеянный барашками, сузился. Волны, шедшие с туманного севера, были большими, грозными и холодными. Палубу все время захлестывало водой. Наибольший крен корабля равен 28 градусам. Несколько раз все слетало со стола на пол. При такой волне не попишешь: судорожно держаться за стол и еще думать при этом — выше физических возможностей. Лежишь на койке, читаешь, размышляешь, а снаружи стоит свист и вой. А мысли — и грустные, и радостные, и мечтательные, и деловые — знай приходят и приходят.

Утром Кунин поздравил меня с днем рождения и сказал:

— Говорят, что через каждые семь лет характер человека меняется. Значит, и у вас должен измениться. Интересно, в какую сторону?

Да, интересно. Чего мне наиболее остро не хватает? Какая из слабостей моего характера больше всего путается у меня в ногах?

У нас стало хорошим тоном по возможности меньше говорить о том, как мы пишем, что мы при этом чувствуем, каковы у нас запасы наблюдений, какова наша творческая кухня. Хоть и знаю, что погрешу против хорошего тона, но все же приоткрою дверь в свою творческую кухню, в свои кладовые, где сложены мои внутренние резервы. Что там имеется?

Очень яркие воспоминания детства, настолько яркие, что они не потускнели от времени. Несколько раз я пытался описать то, как ясным и сверкающим апрельским утром с тихим звоном падают капли с нежных и прозрачных, словно стекло, сосулков, появившихся ночью, как спит ветер, как чуток и молод ближний лесок, как звонко распевает таким утром хор петухов в деревне. Но ничего не выходит. Я отчетливо ощущаю и слышу все, но передать это, столь лучистое и хрустально ясное, столь дорогое детскому сердцу, выше моих сил. Я хорошо помню несколько благостное настроение, чувство беспокойства и скуки, ощущение, будто время остановилось, — словом все то, что испытывали мы, дети, во вре-

мя домашних молебнов по воскресным утрам, хоть нам и нравилось церковное пение, хоть бог моего отца был прежде всего добр, умен и милосерден.

Таким же был и сам отец. Сколько я его помню, он всегда был седым, обычно его длинные волосы слегка выбивались на лоб из-под кожаной шапки. Он был шести футов роста, худой и слегка сутулый. У него была округлая шкиперская борода, орлиный нос, пронизательные глаза цвета серой морской воды, высокий, далеко слышный голос и доброе сердце. Нас, детей, было много, мы так и кишели на каменном полу нашей избы, но никого из нас никогда не били. Наказывали словом. Отца мы звали «папой», мать «мамой», но никакой такой бутафории, как лобызания да «миленький», «золотко», «папочка», «мамочка», мы не знали. «Хороший мальчик», «хорошая девочка» — это была у нас самая большая похвала, и поскольку слышали мы ее редко, то радости она нам приносила на целый день. Мы боялись и уважали отца. И если порой слишком уж озорничали, то отцу было достаточно сказать лишь: «Вот получите под штаны можжевельника!» — как порядок тотчас восстанавливался. Между прочим, однажды он наказал таким способом сынишку моей сводной сестры. Помню, как тот стоял у печки и у него из штанов торчала веточка можжевельника, — провинившийся глотал слезы и боялся пошевелиться. Это была гуманная кара: и не больно, и приходится все-таки стоять на месте. Вообще же отец давал нам очень большую свободу, он считал естественным, что дети шумят, горланят, тузят порой друг друга и треплют много одежды.

Мне было пять лет, когда одним февральским днем отец отправился в Лейзи на ярмарку. Еще как-то раньше он обещал взять меня с собой, и, вспомнив об этом, я начал требовать выполнения обещанного. Но была метель, и когда выяснилось, что меня не возьмут, я принялся реветь. Я прицепился к отцу и орал что хватало сил. Только вот слезы не текли, и я до сих пор помню, как мне это было обидно и досадно. А отец утешал:

— Покричи, сынок, сегодня еще можно. А то привезу тебе с ярмарки машину, чтоб редела, тогда уж она будет кричать нам на радость.

Весь день я просидел у окна, смотрел на метель во дворе и ждал, когда вернется отец с машиной «чтоб редела». И все старался себе представить, какая она:

небось медная, с колесами да с трубой, откуда голос слышно. Отец вернулся поздним вечером. Пока мать сметала снег с его тулупа, я юлил вокруг него и старался разглядеть, где же эта голосистая машина. Она была спрятана на груди у отца: жестяной цилиндр, длиной в фут. Отец неторопливо снял тулуп, и лишь после этого я получил свою «машину». Она оказалась весьма обычной для того времени жестяной коробкой, в которой гроыхало примерно с полкило леденцов. Но я до сих пор помню, до чего был счастлив в тот вечер. Какая картинка на крышке! А сама коробка! И не беда, что она не ревет,— ведь обходился же я до сих пор своим собственным голосом.

У отца был один исключительный дар: он умел прививать нам любовь к труду. В десять лет я мог починить упряжь, в тринадцать — сеял, в четырнадцать — пахал, как взрослый, и всегда работа казалась мне интересной. Любовь к воспитанию, сохранение интереса к труду — эти качества я и ныне считаю редкими и необычайно ценными талантами.

Началось все с малого: отец подарил мне полкило дюймовых гвоздей и разрешил все их забить в стену. Потом он брал меня в кузню качать мехи. Я и сам не заметил, что железо стало для меня живой и занятной вещью. Благодаря отцу я счел любопытным и такое простое занятие, как смоление канатов. Вся эта воспитательная наука может показаться нехитрой, но она требует терпения. Хорошо пахать не так-то легко, и, когда хочешь этому научиться, поневоле увлекаешься. Даже своей любовью к книгам я в известной степени обязан отцу, чтение книг он считал вредным и лишним, поскольку хотел вырастить меня рыбаком и крестьянином, но ведь именно запретное так маняще и сладостно.

Помню зрелище ледохода в проливе — священный день для рыбацких сел. Помню всех своих крестных отцов, наделивших меня неплохим, как мне кажется, знанием эстонского языка и своеобразной сословной гордостью рыбаков. Вообще крестные отцы, их самобытные характеры, их рассказы о белом свете и о морях, их выражения — все это занимает целую полку в моей творческой кухне. Жаль, что мои крестные стареют и один за другим уходят от нас. Для меня смерть каждого из них — это смерть учителя.

Интересно, надолго ли запоминаются обиды, пережитые в юности, и в частности те, о которых мы уже

давно думаем с веселой усмешкой. В восемнадцать лет я еще был очень невысок ростом, но тем не менее так же, как мои ровесники, уже хотел танцевать с деревенскими девушками. Но, крепкие и высокие, они смотрели на меня сверху вниз, и им ничуть не хотелось плясать с таким маленьким кавалером. (О росте этих девушек может дать представление следующий факт. Один мой друг, моряк, рассказывал мне, что он как-то плясал на Сааремаа с такой длинной девушкой, что во время вальса обнимал ее не за талию, а за колени!) На танцах иная девушка понежнее и подобрее еще поглядывала на меня, но большинство задирало нос и вскидывало голову, и я мог хорошо разглядеть снизу форму их подбородков. У некоторых он был мягкий и круглый. Из этих, наверно, вышли хорошие жены. У других же он выступал вперед, как дубовый киль. Эти становились властолюбивыми и сварливыми супругами, бьющими тарелки,—такие впоследствии переходят в категорию самых опасных и злобных инквизиторш—в категорию злых тещ. Высокомерие и спесь таких будущих тещ были очень обидными.

Детство, ранняя юность, мягкие летние вечера, зимние морозы, дивные виды островной природы, лов рыбы, сев, жатва, молотба, кузница с ее грохотом и звоном молотов и молотков, первая любовь и связанные с нею душевные терзания—все это составляет весьма существенную часть моих внутренних запасов, но мне покамест не по силам сплести из этих разных нитей единую и цельную ткань.

Многие из нас, и я в том числе, в возрасте, который считается самым счастливым, то есть с девятнадцати до двадцати трех лет, носили серую шинель. Война отхватила от нашей жизни большой кусок радости, большой кусок молодости, вырвала у нас чуть ли не полторы тысячи суток, в течение которых человек совершает обычно тысячу невинных глупостей, бывает счастлив и несчастлив и в то же время формируется. Но взамен этого война дала нам нелегкую выучку, одарила нас суровыми воспоминаниями, за что, правда, нам пришлось слишком дорого заплатить. За эти годы мы увидели душу человека, увидели его «я» более обнаженным, чем когда-либо прежде или после.

Надо сказать, что наше поколение многое повидало, многое пережило за сравнительно немногие годы,—

больше, чем успевает пережить в среднем каждый швед за всю свою спокойную жизнь.

Однако вернемся к началу моих рассуждений, к «перемене характера». Весь этот материал, все эти впечатления и воспоминания лежат в моей творческой кухне вперемешку. Честно говоря, мне мешает окончательно отобрать из них все самое существенное, самое красочное и самое характерное только одно обстоятельство — недостаток дисциплины, отсутствие силы воли. Ведь писать очень трудно, и я просто-напросто уклоняюсь, как обычно, от трудной работы, выискивая поводы, чтоб отложить ее, если не насовсем, то хоть на время. В городе таких поводов более чем достаточно, но в море, к счастью, они отпадают, и здесь остаешься с глазу на глаз со своей ленью. Любопытно, что за три с половиной месяца в Антарктике и в океане я успел сделать и задумать больше, чем успеваю в городе за год. И несмотря на это, меня не перестает преследовать чувство, что я пишу мало и порой не стою даже того, чтобы меня кормили в кают-компании.

Бальзак, самый, может быть, трудоспособный и самый честолюбивый из всех гениев, пишет в «Провинциальной музе»:

«Правда, мозг повинуется только одним своим собственным законам; он не признает ни требований жизни, ни велений чести; прекрасное произведение не создается потому, что умирает жена, что надо заплатить позорные долги или накормить детей; тем не менее не существует больших талантов без большой воли. Эти две силы-близнецы необходимы для сооружения громадного здания славы. Люди избранные всегда поддерживают свой мозг в деятельном состоянии, как рыцари былых времен держали наготове свое оружие. Они укрощают лень, отказываются от волнующих наслаждений; если же уступают потребности в них, то только в меру своих сил. Таковы были все люди, развлекающие, поучающие или ведущие за собой свою эпоху. Воля может и должна быть предметом гордости гораздо больше, нежели талант. Если талант — это развитая природная склонность, то твердая воля — это ежеминутно одерживаемая победа над инстинктами, над влечениями, которые воля обуздывает и подавляет, над прихотями и преградами, которые она осиливает, над всяческими трудностями, которые она героически преодолевает».

Я не сумасшедший, считающий себя гением, и не воображаю, что бог знает как преуспел в том, чтобы «развлекать, поучать и вести за собой свою эпоху». Себя, как и многих своих коллег, я считаю дорожным рабочим, прокладывающим путь большим талантам, которые придут после нас. Это тоже почетная работа, и, в конце концов, должен же ее кто-то сделать. Но и этот труд требует немалой дисциплины, немалой силы воли, и если впрямь произойдет чудо и мой характер сегодня изменится, то мне хотелось бы, чтоб эти две его составные части намного выросли.

Примите к сведению, друзья мои, эту застольную речь «новорожденного», произнесенную им в южных широтах Индийского океана, на отчаянно встряхиваемом электроходе «Кооперация»!

Вчера в Одессу прибыла «Россия», доставившая из Александрии на родину часть сотрудников второй экспедиции.

21 ФЕВРАЛЯ 1958

Наконец нам стала известна первая гавань — Аделаида. При теперешней скорости, равной двумстам сорока милям в сутки и больше, мы должны туда прибыть 25 февраля вечером или 26 утром. Интересно, как выглядит эта «terra incognita Australia» Джемса Кука, которая является сейчас самостоятельной частью света и первыми белыми поселенцами которой являлись уголовные преступники, высланные из Англии.

Океан снова спокоен и пасмурен. Какой-то гигантский кусок предельного однообразия! У меня такое ощущение, будто сороковые широты обманули нас, скрыв свое истинное лицо: «Кооперация» вторично перепорхнула через них, словно бабочка над лицом уснувшего душегуба. Океан, этот большой ушат со стенками из тумана и облаков, слегка волнуется, словно на него дует сквозь ноздри захмелевший бык. Почему-то вспоминаются строки Багрицкого из «Контрабандистов»:

Ой, греческий парус,
Ой, Черное море!
Ой, Черное море,
Вор на воре!

Но тут ни греческих парусов, ни контрабандистов! С самого Мирного не встречали ни одного корабля. Это

постоянное безмолвие, эта безжизненность океана (даже альбатросов и тех мало) действуют угнетающе. И все же я сознаю, что это брюзжание несправедливо. Океан нас балует. От воя и бушевания здешних штормов радости мало.

Сегодня получили радиограмму от Толстикова: «16 февраля над Советской поднят флаг СССР. Точные координаты станции — 78°24' южной широты и 87°35' восточной долготы».

22 ФЕВРАЛЯ 1958

У «Кооперации» прежняя скорость в десять с половиной узлов. Океан спокоен.

23 ФЕВРАЛЯ 1958

Торжественное воскресное настроение. Чем ближе к вечеру, тем оно праздничней. Сегодня сорокалетие Советской Армии. И расстояние до земли все меньше.

Впрочем, в полдень это воскресное настроение на время улетучилось. Пришлось гладить выстиранное вчера белье. Работа невообразимо гнусная и вгоняющая в злобу. Сперва, правда, знай машешь электрическим утюгом — только пар идет. Но потом добираешься до верхних сорочек — для вечернего концерта и для Австралии. Корабль, конечно, качает. Постилаешь на один из столиков в ресторане свое одеяло, берешь раскаленный утюг и приступаешь. Спина сорочки, которую можно бы и вовсе не гладить, поскольку ее все равно под пиджаком не видно, получается очень гладкой и красивой. Но затем идут рукава, грудь, манжеты, воротничок — словом, все то, что выдумали те люди, кому ни дома, ни в море не приходилось гладить самим свое белье. И тут начинается что-то непонятное: чем дольше гладишь, тем больше обнаруживается на рубашке, казавшейся с виду довольно чистой, плохо выстиранных мест. Одну полу разглаживаешь, а на другой в это время появляются морщины. Но хуже всего с воротничком и грудью. Скверно. Пахнет горелой тряпкой и паром, словно в прачечной. Те же, кто дожидается в очереди утюга, нервничают, дают советы и приводят тебя в злобную растерянность. Где же справедливость, думаешь?

У нашего поэта Пауля Руммо, жившего летом с женой на даче в Лауласмаа, корова съела сорочку, которую он наверняка не стирал сам и не гладил. Так что он не только отделался от рубашки, но еще и получил тему для стихотворения. Но в Антарктике нет никаких коров и никаких других тварей, поедающих сорочки. Так что помощи ждать неоткуда. Кончилось все это тем, что снова выстирал только что выглаженные рубашки. Сейчас они висят в каюте, и каждый раз, как я выхожу из нее или вхожу, меня шлепает по носу мокрый рукав.

Днем проплыли сквозь большую стаю дельфинов. Они выскакивали из воды и слева и справа, их, наверно, были сотни. Но перед самым кораблем они своих игр не затевали.

День закончился замечательно. В музыкальном салоне выступил с концертом организованный в Мирном художественно-самодеятельный ансамбль второй экспедиции, именуемый «Сосулькой». Руководитель ансамбля — Оскар Кричак¹, человек талантливый и разносторонний. (Между прочим, его можно ежедневно видеть на палубе в обществе двух пингвинов, которых он надеется переправить живыми через экватор и доставить в московский зоопарк.)

Но возвратимся к концерту. Сначала ансамбль выступил с композицией из песен Советской Армии времен гражданской и Великой Отечественной войн. Знакомые напевы, ставшие нам такими близкими и родными в годы войны, напевы, которые проживут еще долго. Они напоминают о многом и воскрешают в душе неповторимые настроения военных лет. В них и гарь разрушенных городов, и вой пикирующих бомбардировщиков, и отчаянная усталость бойца, и снежинки на шинели товарища, марширующего впереди, и многое другое.

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» Они здесь.

Композиция окончилась. Перед микрофоном появляются два конферансье — Семен Гайгеров и Сергей Лопатин. Оба они полные люди, Гайгеров — в большей степени, Лопатин, как человек помоложе, — в меньшей. Гайгеров известный аэролог, Лопатин сейсмолог. Их языки, отнюдь не соловьиные, а скорее колабрюньоновские, острые, как шило, начинают проворно работать.

¹ Оскар Григорьевич Кричак — видный метеоролог, начальник материкового метеорологического отряда во второй и в пятой антарктических экспедициях. Погиб в Мирном в августе 1960 года.

Выражение лиц у них серьезное, научное, а речь совершенно такая же, как в «Королях и капусте» О'Генри: словно бы между прочим и мимоходом даются характеристики некоторым товарищам, кажущиеся поначалу медовыми, но оказывающиеся уксусными. Конферансье подсмеиваются над самими собой, и это дает им право покусывать и остальных. Удивительная пара! Какое счастье, думается мне, иметь рядом таких людей долгой и монотонной полярной ночью, когда сочная, веселая и беззлобная насмешка ценится на вес золота!

Главный повар второй экспедиции Загорский, юноша с солидной фигурой и хорошим голосом, исполняет «Антарктический вальс» — музыка Кричака, слова Анатолия Введенского. Это песня о снеге, кружащемся над скалами Мирного, о морозах, о тоске по дому, о дружбе, о белых айсбергах и о горящих в полярной ночи огнях на берегу Правды. «Антарктический вальс» и «Белый айсберг» Кричака — талантливые вещи, и во время выступления Загорского в музыкальном салоне царит уважительная тишина. Те, кто зимовали в Антарктике или хотя бы пробыли там столь же недолго, как я, увезут с собой оттуда, кроме знаний, опыта и воспоминаний, еще и песни Оскара Григорьевича Кричака. И если им случится встретиться в Таллине, Ленинграде или Москве, то в первую очередь они, вероятно, вспомнят не гипотезу Кричака о движении циклонов в Антарктике, а его «Антарктический вальс».

24 ФЕВРАЛЯ 1958

Быстро приближаемся к Южной Австралии.

Твои глаза я вижу — невозможно
И выдумать столь синие глаза...

Сегодняшний океан напомнил мне этот рефрен из стихотворения Сильвы Капутикян. Дивное, темно-синее, чистое, изборожденное легкими складками море, которое спит под солнечными лучами, падающими с севера. Тихо, тепло... Хотелось бы писать стихи.

Но я
себя
смирял,
становясь
На горло
собственной песне.

Может быть, через какое-то время сегодняшний день превратится в стихотворение. Альбатросы скользят над водой низко-низко, а под ними мчится следом белоснежное, трепетное отражение. В нескольких милях от нас наперерез нашему курсу движется корабль — первый за все время пути из Антарктики. Это большой и серый танкер. Он, очевидно, идет из Мельбурна.

А вечером, после того как стемнело, по темному небу над австралийским материком поплыл узкий лунный серп, желтый, бесстыдно желтый, словно кусок пустыни, сыра или сливочного масла. Такой месяц возможен и допустим лишь в южном полушарии. Как он будоражит душу! Забываешь, что полжизни уже прожито, и чувствуешь себя двадцатилетним юнцом, исходя из чего думаешь: «Работать — это для пожилых, а для нас...»

25 ФЕВРАЛЯ 1958

— Земля!

Этим торжественным возгласом Кунин разбудил меня сегодня в шесть утра.

Небо перед носом корабля пламенело веселым пожаром занимающегося солнца, предрассветное море было неопишным, а с правого борта, всего, может быть, в километре от нас, вздымается из синей воды остров Кенгуру — ровная и одноцветная смесь голых песков с бурными травами. Остров Кенгуру, достигающий в длину восьмидесяти миль и в ширину — двадцати пяти, весь день, то удаляясь, то приближаясь, виднелся справа от нас. Глаз не примечал на нем ничего живого, ничего радостного. Лишь песок, выгоревшая трава и песок, да круто обрывающиеся берега, чье отражение окрашивает в желтый цвет и прибрежные воды. В свете высоко поднявшегося солнца остров казался щитом спящей черепахи. На нем можно разглядеть лишь одну постройку — радиомаяк. Чуть дальше от берега, на расстоянии нескольких миль друг от друга, пылают пожары. Над опаленной землей высоко вздымаются темно-синие столбы густого дыма, внизу они шириной в добрую милю. Что там горит — лес или трава? Наверное, трава. И все же как хорошо снова видеть землю, на которую можешь смотреть хоть часами! Ведь траву и голые пески я

в последний раз видел в Южной Африке, восемьдесят дней назад.

Вечером входим в Инвестигаторский пролив. Попадаете все больше встречных кораблей. Впереди появляется из моря и медленно вырастает Австралия, желтая, с зубцами гор вдали. Опускается теплый вечер.

«Кооперация» бросает якоря в заливе Святого Винсента. Ночь мы проведем здесь.

26 ФЕВРАЛЯ 1958

Катер лоцмана прибыл ранним утром. На борт поднялись лоцман, таможенники и портовые врачи. Лоцман отправился на ходовой мостик. А врачи занялись нами. Мы маршировали перед ними с вытянутыми руками, переводчик выкрикивал наши фамилии, после чего следовала улыбка и «very good».

Аделаидская гавань расположена в устье реки. «Кооперация» шла малым ходом между причалами. Справа, на южном берегу реки, тянулись над самой водой мангровые заросли. Попадались рыболовные баркасы, немногочисленные корабли и — в укромных бухтах — множество маленьких яхт и моторных лодок, хоть парусный спорт тут считается развлечением, доступным лишь богачам.

Аделаида — большая гавань. У бетонированной набережной, застроенной низкими пакгаузами, стоят большие океанские пароходы с примерным водоизмещением в семь тысяч, в десять тысяч и в двенадцать тысяч тонн. Вымпела и фирменные эмблемы Австралии, Англии, Америки, Японии, Федеративной Республики Германии, Дании, Швеции и так далее. Над чужим осенним материком полное безветрие, жара и знойная дымка.

Буксиры проводят «Кооперацию» в самое сердце гавани. У одного пирса с нами стоит большое английское судно «Девон» и японское судно (какое-то «Мару»), водоизмещением в десять тысяч тонн.

Появление советского корабля, да еще с антарктической экспедицией на борту, заставило высыпать на все палубы множество зрителей. На пристани показались портовые рабочие, таможенники в своей строгой черной форме и несколько полицейских. На берегу сразу бросилась в глаза знакомая реклама «кока-кола» на красном кузове автомобиля. Тянутся длинные склады,

на рельсах узкоколейки сверкает солнце. После двух недель жизни на чистом соленом воздухе океана мы вновь вдыхаем запахи пыли и зерна.

На пристани собирается народ. Советские корабли редко заходят в австралийские порты, и потому прибытие каждого судна под красным флагом — здесь событие. Как только спустили трап, на корабль первым поднялся профессор Глесснер с супругой. Глесснер — выдающийся ученый-нефтяник, перед второй мировой войной он по приглашению Советского правительства приехал к нам в страну работать. Он неплохо изучил русский язык и женился на молодой московской балерине. У него хорошие отношения с нашими полярниками, из которых он знает многих, так как «Обь» и «Лена» еще в 1956 году заходили в Аделаиду. И когда журналисты окружают начальника второй экспедиции Трешникова, Глесснер им говорит:

— Смотрите, чтоб не очень-то клеветать! (Впрочем, здесь тон прессы по отношению к нам корректный.)

А тем временем на пристани совершается любопытное, в психологическом отношении даже захватывающее и не лишенное трагизма движение. В тени складов стоят целые семьи — и с детьми и без детей, — а от группы к группе переходят одинокие фигуры. Подавляющая часть этих людей говорит вполголоса по-русски. Из-за склада одна за другой выезжают машины — новые «холдены» (марка австралийского автомобиля), подержанные «холдены», совсем старые «холдены» и уже совершенные развалины, выпущенные, наверно, сразу после первой мировой войны, каких не увидишь больше не то что ни в одном портовом городе, но даже и на автомобильном кладбище. Некоторые тут же останавливаются, большинство же проезжает мимо «Кооперации» как можно медленней. Из окон жадно глядят на наш корабль серьезные лица взрослых и заинтересованные рожицы ребят. Вскоре после того как «Кооперация» пришвартовалась, не приспособленная для езды набережная превращается в проезжую дорогу. Машины объезжают вокруг склада и минуты три-четыре спустя появляются снова. Они тихо-тихо проезжают мимо, глаза седоков уже смелее разглядывают иллюминаторы корабля и украдкой косятся на тех из нас, кто стоит на палубе. После двухминутной разведки машины останавливаются, люди выходят из машин и, заняв пост у стены склада, долго и нерешительно смотрят на трап

«Кооперации», подняться по которому им не хватает духу.

Это русские эмигранты. Их колония в Аделаиде насчитывает около двадцати тысяч человек.

Алексей Толстой называет одну часть русских эмигрантов, осевших после революции в Париже, «извиняющимися». Наблюдая то, что происходит на пристани у трапа «Кооперации», тотчас вспоминаешь это определение. Эмигранты, в большинстве случаев семьями — муж и жена или муж, жена и дети, — подходят к трапу, недолго стоят в неуверенности и в замешательстве, наконец медленно поднимаются (ребята крепко при этом держатся за канат), добираются до палубы, и тут отец семейства обычно спрашивает:

— Извините, нельзя ли посмотреть корабль?

За всю свою антарктическую поездку я не слышал, чтобы столько раз произносили слово «извините», сколько его произносили здесь, на трапе и в коридорах «Кооперации». И чего только не содержало это «извините», какие различные оттенки оно приобретало в устах разных людей. Всего лишь одна фраза: «Извините, нельзя ли посмотреть корабль?»

Любопытство? И это тоже. Но не только это. Было тут еще и другое «Извините, нам столько лет вдали, что мы хотим знать, корабль ли это в самом деле или просто пропаганда»; «Извините, но в ваших глазах мы, наверно, не иначе как предатели родины»; «Извините, но мы хотим что-нибудь услышать о своей прежней родине от вас, а не от газетчиков-эмигрантов»; «Извините, но мы тоскуем по своей России». Извините, извините, извините... Тут и тоска, и вопрос, и желание видеть людей, недавно покинувших ту страну и возвращающихся в ту страну, которая возродилась вновь после того, как они, эмигранты, добровольно или вынужденно ее покинули, чей огромный, с каждым днем возрастающий авторитет, чье могущество и чьи успехи не смеют отрицать даже буржуазные газеты Австралии, страну, с которой у австралийского правительства прервались дипломатические отношения после бесстыдной, даже с точки зрения капиталистического мира, плохо сфабрикованной и сейчас уже до конца разоблаченной аферы Петрова.

Вечером по «Кооперации» нельзя пройти. Везде толпы людей — и австралийцев и русских эмигрантов, — они запрудили коридоры, палубы и музыкальный салон, они во всех каютах, они пьют чай и ужинают в нашем

ресторане, разглядывают картины, играют на рояле, танцуют — словом, чувствуют себя как дома. Более поздние пришельцы уже не извиняются без конца. Дети — полугодовалые, годовалые и двухлетние — хотят спать и хнычут, иные уже уложены на койках в каютах, на стульях в музыкальном салоне, а некоторые спят на руках у матерей.

Вечер странных противоречий.

Глядишь на трап, по которому все время поднимаются на корабль незнакомые люди, и думаешь, как много диссонансного в этих прилично одетых паломниках, на чьих русских лицах написано волнение, как много в них достоевщины и близкой к краху неустойчивости. И понимаешь, почему столь большой процент обитателей австралийских сумасшедших домов составляют эмигранты. Понимаешь и то, что приобретать в рассрочку дома и машины — не такое уж счастье.

На палубе показывают фильм об Антарктике, о первой советской экспедиции. Народу невероятно много, на третьей палубе людей столько, что яблоку негде упасть, шлюпочная и прогулочная палубы забиты до отказа, а часть зрителей смотрит фильм из темных окон ресторана. Тишина гробовая. Добрых две сотни людей стоит на пристани — на корабле больше нет места.

Свет судовых и портовых огней падает на трап, тускло поблескивает крытое лаком дерево, ярко сверкает медь, дрожат во тьме серебристо-серые швартовы. А по трапу медленно поднимается старик в мятом костюме. Его шляпа неопределенного цвета вся в пятнах, его палка с гнутой ручкой со стуком волочится по ступенькам. Поравнявшись с вахтенным матросом, он глядит на него, словно надеясь увидеть знакомые черты, и говорит:

— Я русский.

— Тут много русских, — отвечает вахтенный.

— Извините, нельзя ли посмотреть корабль? Извините, я не помешаю?

Из эстонских эмигрантских поэтов младшего поколения я считаю самым талантливым, самым своеобразным и в то же время самым враждебным всему советскому Калью Лепика. У него есть свой почерк, свое лицо и своя ненависть. Бездарный поэт никогда бы не придумал того заглавия, какое он дал своему сборнику, вышедшему в Швеции: «Побирушки на лестницах»,

Мой товарищ по каюте, Кунин, ничем не напоминает земной шар. Он среднего роста или, может быть, чуть пониже, у него седая лысеющая голова, говорит он тихим голосом и никогда не ругается, а если и ругается, то на редкость складно и выразительно. Он известный инженер, автор нескольких объемистых книг, пользуется авторитетом среди строителей и по совместительству служит вторым боцманом «Кооперации». Когда корабль готовили в океане к приему груза зерна, он целыми днями пропадал со своим строительным отрядом в трюмах. Судно он знает как свои пять пальцев, морей и океанов видел больше, чем иной моряк. Кунину больше пятидесяти, и он, вероятно, самый подвижной человек на «Кооперации». Он покидает каюту утром, в обед его седая голова промелькнет на миг в ресторане, а возвращается он в каюту часов около одиннадцати, в Австралии же — и вовсе после полуночи. У него золотые руки, он умеет делать множество и простых и сложных вещей из дерева или из железа, он не может жить без работы. Он хорошо рисует, умеет играть на мандолине и на рояле, хорошо знаком с искусством и свободно говорит по-английски.

И хотя, повторяю, он не похож на земной шар, все же утром, когда мы спускались по трапу на причал, какой-то насмешник, облокотившийся на поручни, кинул нам:

— А вот и Кунин со своим спутником.

Спутник — это я. Я вполне доволен своей должностью. Кунин уже побывал в Аделаиде, в 1956 году на «Лене», он знаком с городом и знает, что надо смотреть. Более того, среди австралийцев у него есть немало хороших знакомых. Хорошо кружиться спутником вокруг Владимира Михайловича.

Едем в город. Он, собственно, состоит из двух городов — Аделаиды и Порт-Аделаиды, из которых последний является чисто портовым городом со своим муниципалитетом и мэром. Тут расположено одно из крупнейших отделений автозавода «Холден». От Порт-Аделаиды до Аделаиды около пятнадцати миль. Мимо автобуса, который движется тут по левой стороне, проплывают огромные склады и стоянки автомашин, проезжая часть разделена пополам хорошо ухоженной зеленой зоной.

Тут растут пальмы и кедры, незнакомые мне австралийские деревья, цветы и густая трава, плотная, как ковер. Уже по дороге видишь, что значительную часть Аделаиды, как и любого другого города Австралии, занимают индивидуальные дома. Строительный материал различен — это или красный кирпич, или белый камень, или бледно-желтые блоки. Впрочем, сами дома весьма одинаковы: большие окна, закрытые жалюзи, и у каждого дома балкон с далеко выступающей шатровой крышей. Солнце здесь обильное и яркое, поэтому тень очень ценится.

Центр Аделаиды похож на все центры западных городов. Многоэтажные большие дома с магазинами внизу, банки, конторы, правительственные здания, бесконечные рекламы, отели, бары и множество машин. Соответственно местной политике «Белой Австралии», препятствующей иммиграции негров, японцев, индийцев, малайцев (исключение делается лишь для студентов, обучающихся в австралийских университетах и имеющих право практиковать здесь после получения диплома, с особого, разумеется, разрешения), Аделаида является «белым» городом: европейские лица, европейские моды. От знакомых мне западных городов ее отличают, пожалуй, лишь две вещи: обилие автомашин старых марок и великое множество веснушек. Я еще никогда не видел такого веснушчатого города. Веснушки делают забавными и родными лица пронзительно кричащих мальчишек-газетчиков, они выглядывают из глубокого декольте дамы с тонкой талией, они, как веселое и рыжеватое звездное небо, пестрят на запястье изящной руки, затянутой в белую перчатку. А девчонки в белых платьицах, мчащиеся по улице, похожи на рябенькие скворцовые яйца. Много, очень много веснушек. А в остальном город как город.

Аделаида является промышленным и административным центром штата Южная Австралия. В ней четыреста восемьдесят тысяч жителей. Между прочим, тут нет ни одного постоянного театра, нет своего симфонического оркестра. Художественные вкусы среднего аделаидца, его потребности в духовной пище должно удовлетворять, и, по-видимому, удовлетворяет кино. Если же из Мельбурна или из Сиднея сюда приезжает какая-нибудь труппа либо какой-нибудь певец, то билеты всегда не по карману ни рядовому зрителю, ни рядовому слушателю. При бюджете, рассчитанном до последнего

пенса, очень трудно выложить пятьдесят шиллингов, то есть два с половиной австралийских фунта.

Большую часть сегодняшнего дня мы с Куиным провели в Национальной художественной галерее Южной Австралии. В этом довольно обширном музее австралийским художникам отведен лишь один зал. Правда, некоторые их работы висят рядом с картинами англичан, французов и голландцев. Судя по первому впечатлению, доминируют здесь англичане. Очень интересны работы Альберта Наметжиры, известного австралийского пейзажиста. Низкие горы, запыленные деревья с высохшей листвой, пустыня, полупустыня. Долго смотрим на картину англичанки Лауры Найт. Не знаю, был ли это австралийский пейзаж или нет, но для английского он мне показался слишком солнечным. На переднем плане две лошади, чуть подалеже — влюбленная пара и два осла. Позади горы. И чудится, будто с картины непрерывно струится в зал, на зрителей и на другие полотна золотое солнечное сияние, спокойное и радостное. Как это делается?

В первых залах — реалистические пейзажи и портреты. У королей и королев здесь такие же важные, как и всюду, знакомые застывшие физиономии, выглядывающие из гофрированных воротников. Но вот мы достигаем царства современного искусства. Треугольники, ромбы, кубы, сплетения линий. Я не знаток изобразительного искусства, но если не считать полотен, в которых при всем желании никто ничего не поймет, то и здесь найдешь на что посмотреть и над чем подумать. Круги, кубы и прямоугольники Алана Рейнольдса, несмотря на кажущуюся антиматематичность, сливаются в красивую, спокойную и, смею сказать, художественную картину. Мягкие сине-серые и серебристые тона, ничего кричащего, и, при всей беспорядочности, известная внутренняя симметрия. Смотришь и думаешь: в ту комнату у себя, где обычно сидят гости, в том числе и такие, которые всем без разбору художественным направлениям и методам, возникающим на Западе, дают лишь одну оценку: «Хлам, безыдейность, бессмыслица!» — в ту комнату такого не повесишь, но в более укромное место — отчего бы и нет?

Со странными и противоречивыми чувствами отошел я от картины Руа де Местра. При первом беглом знакомстве не обнаруживаешь ничего, кроме адского хаоса. Те же самые кубы и скрещивающиеся под всевозмож-

ными углами разноцветные прямые, а в центре полотна — нечто напоминающее гриф скрипки. И под этим смещением красок название: «Оступившийся Христос с крестом». Тебя берет оторопь. Судя по имени, де Местр может быть католическим художником, сюжет он выбрал евангельский, но трактовка этого сюжета становится ребусом из-за скрипичного грифа. Приглядываешься снова, пытливо, изучающе, и чувствуешь себя ребенком, который, складывая отдельные буквы, впервые пытается прочесть слово. Четко выделяется тяжелый крест, затем обнаруживаешь под ним оступившегося Христа. Лица не видно — при падении Христос обратил его к грешной земле, но видишь усталую, согнувшуюся под тяжестью креста спину, видишь широкое покрывало в складках и видишь босые ступни с чуть согнутыми, как и должно быть в момент падения, пальцами. Все смотришь и смотришь на этот крест, на согнутую спину и на ноги, которым очень далеко до ног блудного сына Рембрандта, но которые все же чем-то напоминают эти гениально найденные потрескавшиеся ступни. Я потом все снова и снова возвращался к этой картине и каждый раз находил в ней что-то новое.

Я далек от того, чтоб объединиться с теми враждебными социалистическому реализму людьми, которые все советское изобразительное искусство подводят под один знаменатель «фотореализма». Но нельзя отрицать, что за последние годы мы видели на выставках очень много картин, похожих друг на друга, исчерпывающих друг друга и являющихся в лучшем случае бледной фиксацией какого-нибудь застывшего момента нашей стремительной жизни. В этих произведениях нет ни вчерашнего, ни завтрашнего. Они до того описательны, что полностью освобождают нас от всякой необходимости думать. Но, по-моему, истинно художественное воздействие хорошей живописи, как и хорошей литературы, начинается тогда, когда мы отходим от полотна или откладываем книгу и задумываемся над тем, что они нам сказали. Отсутствие вопроса, неспособность произведения породить его — признак бедности. Кто он, Григорий Мелехов, бандит, убийца или несчастный трагический герой? Была ли Аксинья лишь испорченной женщиной или любящей душой масштаба Клеопатры? Об этом ежедневно спорят и думают тысячи людей. Но о многих картинах мы не думаем и не спорим: манная каша — это манная каша, вещь питательная и скучная.

В Национальной художественной галерее есть полотно Джека Смита «Белая рубашка и шахматная доска». Доска с красными клетками, спинки двух простых стульев, а над ними висит на веревке выстиранная белая сорочка. И больше ничего. Краски чистые и веселые, а спинки стульев словно нарисованы ребенком. И все же посмотришь на эту картину, а потом, уже на улице, думаешь: интересно, что за человек живет в этой комнате и как он живет, кто он, какие у него мысли? Стирала эту рубашку его жена, его возлюбленная или он сам? Наверно, он сам. И снова видишь перед глазами дешевую доску, спинки простых стульев, простую рубашку и даже видишь их владельца. Если он австралиец, то где работает? У «Холдена»? Нет, у «Холдена» зарабатывают прилично, и тогда бы он купил стулья получше. Может быть, он самый простой портовый или дорожный рабочий и зарабатывает четырнадцать фунтов в неделю. Он молод и любит по вечерам, переодевшись в чистое, водить любимую девушку в кино, короче говоря, этот человек только начинает налаживать свою жизнь. И сразу шахматная доска, стулья и рубашка отступают в тень, а вперед выходит он сам, человек.

Полотна, полотна, полотна... Один женский портрет похож по манере письма на работу эстонского художника Николая Трийка. Запомнилось «Ночное отражение» Дж. Гаррингтона-Смита, вещь с настроением. Открытое окно, луна и сумеречные скрещивающиеся тени на коричневато-сером фоне. Кажется, будто заглянул в ночную тьму, за которой где-то под Южным Крестом спит остывающая пустыня. А когда заглянул — во сне или наяву, — неизвестно.

В одном из задних залов висит такая картина: на берегу моря между двумя серыми камнями стоит юноша с резкими скандинавскими чертами детского лица. Он в сером свитере, в коротких серо-синих штанах. На заднем плане — огромное море. Это полотно Молли Стефенс отчасти напоминает Пикассо «голубого периода». И все же сколько в нем родственного нам! Сколько я видел если не таких же, то примерно таких же будущих моряков или рыбаков на фоне серых камней и серого моря! Но в Австралии это вызывает совсем другое отношение — так и подмывает сказать по-эстонски этому пареньку из масляных красок:

— Привет, братец!

Но мимо большей части полотен, выставленных в залах современной живописи, проходишь с недоумением и не можешь понять, что у них общего с искусством. У многих произведений нет названия, да, впрочем, к ним с равным успехом подошло бы или не подошло любое название. Хаос, мешанина цветовых пятен, линий и черточек, кричащие краски, пачкотня. А то, что можно понять, немногим лучше: лунный свет и на фоне унылых скал голые тела с нарушенными пропорциями, либо красные, либо зеленые. Такова «Композиция» Джастина О'Брайена. Или ослабившийся череп доисторической твари на фоне сумеречных развалин. Смерть, смерть, смерть, культ смерти. Такова картина Сиднея Нолэна — «Близ Бэрдсвилла». Словом, если из этого хаоса цветов и выудишь какую-нибудь мысль, то это всегда лишь связано с мотивом смерти либо оказывается торжествующим «все напрасно», «все бессмысленно».

Искусству аборигенов Австралии отведен в аделаидской галерее лишь один небольшой зал. При политике «Белой Австралии» это, разумеется, вполне обоснованно. Более того: как все порядочные завоеватели, австралийские европейцы тоже прежде всего начали с истребления местных жителей. Их сейчас осталось семьдесят четыре тысячи, и ни одного из них в городах не увидишь. Они живут в резервациях и работают пастухами у белых фермеров. Но даже и по этому небольшому залу видишь, что это был народ с весьма развитыми художественными наклонностями. Свои картины они рисовали на коре. Изображалось преимущественно то, что являлось главным в их обществе с укладом каменного века: животные, еда, охота. Тут и морские раки, и птицы, и кенгуру, и черепахи, и рыбы, и картины охоты, и сидящие люди. И все это в таком ракурсе, словно художник смотрит на свои объекты сверху.

Мы вышли из Национальной художественной галереи и увидели, что нас ожидает старый знакомый Кунина — доктор Позен. Это видный медик, работающий в аделаидском университете. Кунин познакомился с ним в 1956 году, во время пребывания здесь «Лены». Позже, в 1957 году, жена Позена, тоже врач, невропатолог, приезжала в Москву на всемирный фестиваль молодежи и бывала там в семье Кунина.

Доктор Позен молодой, очень живой, кареглазый человек и худой, как большинство австралийцев. На нем простая белая рубашка и галстук без узора,— австралийцы вообще одеваются просто. Говорит он быстро, а слушая собеседника, внимательно смотрит на него, слегка склонив голову набок.

Наши переговоры относительно дальнейшей программы дня были краткими. Нам хочется посмотреть город, и минуту спустя мы уже сидим в «холдене» доктора Позена. О центре города я уже говорил. Мы прежде всего едем на окраину, в район особняков, туда, где живут сливки аделаидского общества. Да, вот это дома! Красивые, удобные, просторные, и видно, что тут за каждым садом ухаживают руки опытных садовников. Эти особняки стоят от десяти до пятнадцати тысяч фунтов и относятся к тем немногим домам в Аделаиде, которые покупались не в рассрочку и не в течение многих лет. Тут мало людей, машин и магазинов. Население на здешней территории небольшое, потому и движение тут маленькое.

Здесь очень отчетлива разделяющая людей граница, определяемая их недельным жалованьем, тем, сколько они стоят в глазах общественного мнения, их ценой в фунтах. Дом среднего ранга не затешется среди особняков высшего. Разница между более высоким недельным жалованьем и более низким выражается не столько в одежде людей, сколько в марках их машин, в качестве их домов и в районе расположения последних. Дома среднего слоя, ценой примерно в пять тысяч фунтов, меньше размером, из-за высокой стоимости участков сады возле них попроще и поскромнее, хотя, впрочем, и здесь мы видим те же затененные балконы, те же жалюзи и бесчисленные, замечательно красивые цветы. Средний слой состоит из чиновников с приличным жалованьем, владельцев небольших магазинов, врачей и т. д.

Жилища рабочих расположены на более тесных и более пыльных улицах. Одно из них мы посетили.

Говорят, что во второй мировой войне приняло непосредственное или косвенное участие около десяти миллионов Смитов. В доме, где мы побывали, тоже живет Смит. Он портовый рабочий, зарабатывает восемнадцать фунтов в неделю, у него есть жена и трое маленьких ребятшек (семьи в Австралии многодетные, по крайней мере у рабочих). Дом Смита стоит три тысячи

пятьсот фунтов. Большая часть этих денег уже выплачена, но все же хозяину придется еще в течение десяти лет отдавать четверть своего заработка. На покупку дома выдается ссуда в две тысячи фунтов, но возвращать ее приходится с довольно высокой надбавкой — в 5,25 процента годовых. Зато дом удобен, кухня в нем просторная, есть спальня, гостиная, детская и еще одна комната. Много света. Вообще строят в Австралии хорошо. К тому же здесь, где о самом незначительном снегопаде газеты пишут как о событии, проблема отопления фактически отпадает.

У Смитов есть холодильник, стиральная машина, электрическая швейная машина и газовая плита. Холодильник и швейная машина куплены в рассрочку. При доме имеется садик — несколько квадратных метров желтого песка с двумя деревьями, покрытыми блестящей листвой, и с курятником в углу. Хозяйка нам показывает все. Это дородная женщина с добрыми синими глазами, вокруг которой беспрестанно вьются ребятишки, как им и полагается. Самая веселая комната в доме — детская. Ох и доставалось же этим куклам, этим плюшевым медведям и машинам! У этой куклы нет головы, у той — ног, а самый маленький карапуз кладет мне на колени смятую машину без колес. Второй, постарше, приносит медведя, у которого осталась только одна передняя лапа, а плюшевая шкура совсем вытерлась. Малыши о чем-то щебечут над своими куклами, медведями и машинами, но из их мягкой и мелодичной английской речи я улавливаю лишь то, что все куклы в этой комнате — хорошие, все медведи — хорошие и все машины — тоже хорошие. Чудесная семья! Гостеприимная и простая, интересующаяся и нашим рейсом и Антарктикой. Потом мы сидим в гостиной за рюмкой черри.

Ясно, что в чаяниях людей, особенно в чаяниях рабочих, при всей разнице их взглядов и вероисповеданий так много общего, совпадающего, здорового и жизненного, что если объединить их стремления, то они станут и уже становятся огромной, согласно действующей силой, которую мы называем голосом народов. Выражение это, переведенное на повседневный язык, означает весьма однородные интересы и заботы: служба, насущный хлеб, квартирный вопрос, безработица, обеспечение работой, воспитание детей, интерес к другим странам и боязнь войны.

Мы покидаем Смитов. Переезжаем через мост. На его бетонном парапете написано метровыми буквами:

ЗАПРЕТИТЬ АТОМНУЮ БОМБУ!

Доктор Позен комментирует:

— За такие лозунги в Австралии присуждают к штрафу в двадцать фунтов.— И добавляет: — А на Филиппинах сажают в тюрьму.

Двадцать фунтов — это двадцать фунтов. Деньги не маленькие. Но вряд ли подобная система штрафов может помешать думать и действовать десяти миллионам Смитов, принимавших прямое или косвенное участие во второй мировой войне.

Ужинаем мы у Позенов. У них чувствуешь себя уютно и по-домашнему. Позднее пришел мистер Гордон Картрайт, американский метеоролог, зимовавший в Мирном и приплывший вместе с нами в Австралию. Отсюда он полетит в Америку. Его, кажется, одолевает такая же тоска по дому, как и нас. Какие-то формальности на таможне задержат его в Аделаиде еще на несколько дней. Он хорошо говорит по-русски, и у него прекрасные отношения с участниками нашей экспедиции. Его ценят и уважают, как человека, который, будучи «мистером», оставался во время зимовки и плавания хорошим коллегой.

На вопрос корреспондентов австралийских газет, является ли советская исследовательская станция в Мирном стартовой площадкой для ракетного оружия и базой для подводных лодок, мистер Картрайт ответил категорическим «нет». Вероятно, Даллесу будет нелегко переварить такое антидаллесовское высказывание американского полковника Картрайта.

В гости к Позенам пришли и двое супругов-эстонцев. Жена — молодой врач, работающий в одной клинике с доктором Позеном. Муж — инженер-электрик.

— Вы говорите по-эстонски? — спрашивает меня инженер.

— Говорю.

— А в Эстонии разрешают говорить?

— То есть? — удивленно спрашиваю я.

— Разрешают говорить по-эстонски? — уточняет инженер.

Я пожимаю плечами.

— Значит, напрасно нам... — начинает инженер, но не кончает фразы.

— Теперь, мистер Смуул, вы можете говорить на своем родном языке! — с удовлетворением говорит доктор Позен.

На корабль мы возвращаемся незадолго до полуночи. Судовой радиоузел, наверно, уже не в первый раз желает дорогим гостям и по-русски и по-английски доброй ночи. Но на «Кооперации» полно народу. А в музыкальном салоне танцы.

На моей койке сложены в ряд четверо спящих ребятишек, возрастом от полугода до двух лет. И еще один ребенок спит на койке Кунина. Их родители танцуют.

— Когда это вы успели, Юхан Юрьевич? — спрашивает Кунин (австралийцы называют его мистером Куниным) и показывает на *моих* беби.

— А вы сами? — И, показав на *его* ребенка, я добавляю: — Ах да, вы ведь уже были в Австралии два года назад!

В дверях появляется дама. Она видит, что дети спят, извиняется перед нами и уходит. Детей уводят лишь через полчаса.

28 ФЕВРАЛЯ 1958

Неподалеку от большого зоосада Аделаиды расположен другой зоосад, поменьше, — «Коала-фарм». Здесь для зоопарков всего мира выращивают маленьких сумчатых медведей коала, беспомощных и забавных аборигенов Австралии. Большую часть своей жизни коала проводят в спячке на деревьях, ухватившись лапами либо за какого-нибудь сородича, либо за ствол. Это очень милые существа с круглыми, пуговичными глазками игрушечных мишек и неуклюжими тельцами. Поначалу мы заметили только тех немногих, которые сидели в клетках. А потом увидели, что множество зверьков спят, словно окаменевшие, на колоссальных эвкалиптах, чуть ли не на самых их верхушках. Коала питаются эвкалиптовыми листьями.

Есть тут еще молодые кенгуру и кенгурята, несколько попугаев, змея полутораметровой длины, большая зеленая лягушка, верблюд и морской лев. Морской лев обучен прыжкам в воду. Он взбирается по специально выстроенной для него лестнице на вышку и, когда кто-нибудь из посетителей бросает в бассейн рыбу, прыгает за угощением вниз с довольно большой высоты. Рыбы

у нас не было, и потому все то время, что мы провели на ферме, морской лев кричал злым и пронзительным голосом.

Днем был прием в аделаидском университете. Этот сравнительно небольшой университет владеет превосходной геологической коллекцией, особо ценную часть которой составляет собрание камней сэра Дугласа Моусона, крупнейшего полярного исследователя. Геологический факультет аделаидского университета носит его имя.

А вечером снова гости, гости, гости... Корабль переполнен ими, пройти куда-нибудь почти невозможно. У меня тоже гости: эстонская семья, состоящая из мужа, жены и шестилетнего сына. В Австралии они с 1950 года. (За последние десять лет в Австралию иммигрировало, вернее, было ввезено, около миллиона эмигрантов. Теперь в этой стране иммигрантов эмигрантом является каждый восьмой человек.) Как они живут? Как-то живут. Муж работает у «Холдена», зарабатывает восемнадцать фунтов в неделю. Люди они простые, и говорим мы о простых вещах: о том, что сперва здесь нельзя было достать черного хлеба, но теперь его стали выпекать для эстонской колонии. (В Аделаиде около шестисот эстонских эмигрантов). Они говорят, что в Австралии все-таки лучше, чем в Западной Германии, где они были перед этим; что жизнь рабочего — это жизнь рабочего и что даром нигде не кормят. У эстонских, так же как и у русских, эмигрантов все больше крепнет желание вернуться на родину, хотя препятствий к этому очень много.

Мои гости интересуются тем, как живет в Эстонии, что там строится, как там едят, сколько зарабатывают и как одеваются. Правда ли, что сто тысяч эстонских юношей и девушек увезли на целинные земли? Нет, неправда. Правда ли, что в эстонских школах разрешают говорить по-эстонски? Конечно! И другие подобные вопросы. Вся их информация почерпнута из выходящих в Швеции и в Америке эмигрантских газеток, к которым, надо сказать, относятся что ни год все с большим скепсисом и недоверием. Вспоминается, что не то в «Вэлис-Ээсти», не то в «Театая» Рея¹ мне в свое время

¹ «Вэлис-Ээсти» («Зарубежная Эстония»), «Театая» («Вестник») — эмигрантские эстонские газеты. Рей — политический деятель буржуазной Эстонии, бежавший за границу.

попалась такая рубрика: «Что плохого сообщают с родины». Этого плохого там преподносится столько, с таким отсутствием логики, с такими противоречиями собственным сообщениям, с такой истерической злобой, что каждый человек со здравым рассудком считает все эти сведения лишь тем, чем они в действительности и являются: враньем безродных, бессовестных, продажных писаков, лишенных корней. Преимущественно так относятся к этому и мои гости, хотя в их душе и оставил какой-то осадок этот мутный и мелкий поток лжи, изливавшейся на них годами. Любят ли они коммунистов? Нет. По душе ли им социалистический строй, колхозы, национализация предприятий и рудников? Не думаю, хотя в буржуазное время они и были рабочими, не имевшими ни фабрик, ни шахт, ни доходных домов. Но наверняка у них была мечта о своем доме, может быть, о своем хуторе, о своем счете в банке. Имея весьма смутное представление о советском строе, они и поныне видят в нем строй, который лишил их того, чего они не имели.

Расставание у нас немного грустное. Они рассказывают мне о стиральной машине, купленной в рассрочку, о холодильнике, купленном в рассрочку, и о машине, которую они пока лишь собираются купить в многолетнюю рассрочку. Но они, кажется, и сами не убеждены в том, что эта столь характеризующая здешних эмигрантов «святая троица», которой тут весьма часто козыряют с какой-то наивной убежденностью и отчасти с похвальбой, способна заменить эстонский снег. Я спросил мужа:

— Значит, у вас все есть? Чего же вам не хватает?

— Таллина. И стопки водки.

Родина — непереводимое слово. Содержание его слишком велико. Мой гость выразил его с помощью двух понятий. И, дружески расставшись с ним, я подумал, что Таллин и стопка водки — не такое уж неудачное определение.

Несколько минут спустя появился другой эстонец — «полный матрос», как он сам себя назвал, со шведского парохода «Варравонга», стоящего рядом с «Кооперацией». Он покинул Эстонию в 1936 году, все время плавал на шведских и на английских кораблях, дожил до сорока лет с лишним, дослужился до «полного матроса», и выговор у него такой же, как у крестьян с побе-

режья в районе Кунды и Локсы. Благодаря тому, что в каюте сидят и австралийцы, пришедшие к Кунину, выясняется, что английский язык этого старого янки весьма бедный и ученический. Проводив же его немного погодя на «Варравонгу», я убедился, что так же обстоит дело и со шведским. Мой гость оказался одним из тех типов, которые уже не часто попадаются среди моряков. Он объездил полсвета, побывал в разных гаванях, в больших и богатых городах, видел береговые рельефы всех материков, но ничего не знает. В старые и дикие времена парусников таких типов называли «морскими полоумными», а «полоумные» с парусников были дикарями. Городов и стран они не видели по той причине, что никогда не выбирались дальше первого портового кабака. Но этот ничуть не дикарь. У него приличный костюм, лаковые туфли, тысяча шведских крон месячного заработка и каюта на двоих. Об Эстонии он помнит столько же, сколько о Швеции или Англии, в которых жил, или о Сиднее, где временно сейчас пребывает. Странная фигура. Полный матрос, уже двадцать два года как полный матрос.

А вечером — опять гость, третье посещение. Вчера он пытался разыскать меня дважды, а сегодня несколько раз проходил мимо корабля, но подняться по трапу не решился. Встретились мы только потому, что вахтенный вызвал меня на палубу.

— Вот он. Не пойму, что говорит.

Эта встреча тяжела нам обоим, хотя мы видимся в первый раз и наверняка в последний. Мой гость — пожилой человек, у него весьма правильный, литературный язык, лишь иногда в речи проскальзывает южно-эстонское диалектное словечко. Из его путаных и бессвязных объяснений я понимаю только то, что ему пятьдесят девять лет (выглядит он на все семьдесят), что он вместе с детьми бежал в 1944 году из Эстонии (муж его дочери служил в фашистском «Эстонском легионе»), попал в Западную Германию и в 1950 году был привезен на американском корабле сюда. У него нет никаких претензий к советской власти, никакой злобы на нее. Его не особенно интересует, найдется ли для него на родине работа, обеспечат ли его квартирой. «Примут ли?» — вот что его волнует. Он, оказывается, не ладит с детьми, не ладит «из-за эстонских дел». Он хочет в Эстонию. Он говорит, что слишком стар, чтоб учить язык, немецкий или английский, что он устал жить «сре-

ди чужих» и что «католики» да «мормонские миссионеры» (?) хотят его, честного лютеранина, свести с ума.

И вдруг:

— А тут ни приличного кладбища, ни черта!

Я не согласен. Кладбища в Австралии, по крайней мере в Аделаиде, неплохие.

— Ни деревца на них, ни тени!

Мы разговариваем еще долго и все об одном и том же. Он старый человек и хочет домой, хотя бы никто из близких и не ждал его там. Он чувствует себя в Австралии, как в тюрьме, здесь жара и песок, вся зелень сгорает, и у него тут нет друзей. И совсем уже чудно слышать жалобу на то, что тут «никакой общественной жизни». Что он имеет в виду: народный дом, молочный кооператив, земледельческое товарищество? Не знаю. По моим сведениям, и в Аделаиде имеется так называемый «Дом эстонца».

Буря вырвала с корнями дерево, росшее на берегу, и швырнула его в море. Волны пригнали дерево к другому берегу. Там было такое же солнце, такие же звезды на небе, там была земля, была почва и дули ветры. Корни вырванного дерева пили влагу из прибрежной земли. Какая-то ветка на стволе снова зазеленела, но мертвое дерево все-таки не ожило.

Проводил своего гостя на пристань. Мне не верилось, что ему достанет силы преодолеть все те препятствия, которые нагромождают на пути людей, желающих вернуться на родину. Минуту спустя его сутулая стариковская спина исчезла за углом пакгауза.

Через месяц, может быть, через полтора я снова буду на родине. А он опять будет ходить по раскаленным, пахнущим асфальтом улицам Порт-Аделаиды и думать о том, что тут нет «общественной жизни», возвращаться к своей бедной стариковской мечте о кладбище, на котором была бы тень.

На «Кооперации» столпотворение. Такую толчею и толкотню, где люди все время теряют и ищут друг друга, и перекликаются через головы, и здороваются, и прощаются, можно наблюдать лишь на каком-нибудь большом празднике. Местная молодежь показывает в музыкальном салоне, как танцуется рок-н-ролл. Ничего себе! Если до сих пор кое-какие предрассудки «золотого Запада» препятствовали девушкам откровенно убеж-

дать зрителей в том, что ноги их прямы снизу доверху и что их зады обязаны своей пышностью не одному портновскому искусству, то рок-н-ролл наконец смел эти препятствия.

На корабле и шагу не ступишь без того, чтобы перед тобой не возникла во всей своей остроте, сложности и противоречивости проблема эмигрантства, проблема людей, оторванных от родины, их психология, их чаяния, их мечты, их сомнения.

Я делю эмигрантов на три группы.

Первая. Люди, которые считают Советский Союз своей единственной родиной (даже несмотря на то, что у них уже другое гражданство). Среди них есть и старики, и люди среднего возраста, и молодежь, у них разные профессии, и они стали эмигрантами по разным причинам. Их тоска по родине вовсе не притворство, не наигрыш и не слезы. Для них «Кооперация» — это несколько сот метров отечественной территории, и нет ничего удивительного, что они приходят сюда с бабушками и грудными детьми. Среди наших гостей эта группа наиболее многочисленная.

Вторая. Люди колеблющиеся. Эти не особенно любят говорить о том, как и почему они оставили свою страну, — в их речах всегда проскальзывает какое-то стремление оправдать себя. А мы ведь ни в чем их не обвиняем и не очень жаждем выслушивать их исповедь. Об известном промежутке с 1941 по 1944 год многие из них рассказывают туманно и поскорее переходят к описанию уже знакомого нам угнетающего существования в западногерманском лагере для беженцев. Они не заявляют, что хотят вернуться на родину, но у них большой интерес к Советскому Союзу.

Это люди на распутье.

Третья. Эти всегда сидят в удобных шезлонгах на веранде «Кооперации». Их легко обнаружить, так как они на корабле самые обособленные. При их появлении кое-кто из участников экспедиции поднимается скорее из вежливости, чем из любопытства, и при первой возможности старается ретироваться. Это именно они ежедневно «забывают» на корабле большие кипы самых реакционных газет и журналов. Это кричаще одетые денди, вместе с ними поднимаются на корабль сверхпестрые носки — новейшая мода. Брюки у этих людей подвернуты как можно выше, и все мы видим их носки. Ввиду отсутствия всякого контакта с членами команды

или с участниками экспедиции, ввиду того, что остальные эмигранты почтительно обходят их стороной, разговаривают они только друг с другом. Их русская речь обильно пересыпается английскими словами. Говорят они о марках автомашин, о столкновениях с полицией («бобби содрал с меня двадцать фунтов»), — словом, о широкой жизни. Как я понимаю, их призвание и назначение состоит в том, чтобы растолковать нам, коммунистам из команды и экспедиции, какой нас ожидает рай, если мы сбежим с «Кооперации». Впрочем, они с каждым днем становятся все тише и тише, и в глазах их появляется какое-то озадаченное и просительное выражение. Но они все-таки по-прежнему забывают на судне свои газеты.

На палубе показывают «Карнавальную ночь». И на корабле, и на палубе народу столько, что не пробиться. У картины огромный успех. Появление на экране Ильинского в роли Огурцова неизменно встречается гулом голосов и хохотом. Все покрывает радостный смех ребят, звонкий и залихватский. Чудно и непривычно слышать поздним вечером этот птичий хор в темной гавани, среди притихших кораблей.

1 МАРТА 1958

Сегодня после обеда — прием в аделаидском отделении Общества австрало-советской дружбы. Местные члены общества приехали за нами на машинах. Мы с Куниным оказались в машине нашего общего друга Джона Джемса Митчелла, не раз бывавшего у нас. Митчелл — деятель профсоюза портовых рабочих Порт-Аделаиды и сам портовый рабочий, член Компартии Австралии. Тем из нас, кто знает англичан лишь по литературе, его внешность кажется типично английской. Средний рост, сухое, слегка веснушчатое лицо с правильными чертами и грустные ярко-синие глаза. Говорит он тихим голосом, и в нем нет ничего такого, что часто бывает свойственно профсоюзным боссам на Западе и что порой проглядывает на лицах иных наших советских работников, не в меру довольных собой. Митчелл, как и те из его товарищей-коммунистов, которых мы видели в Австралии, много занимается вопросами теории, много читает. Условия работы здесь трудные и сложные, всегда существует опасность репрессии, и люди, видящие в коммунистах своих смертельных врагов,

то есть врагов капитализма, идут на все, чтобы скомпрометировать их. Но в этом непрерывном бескровном сражении коммунисты держатся превосходно. Митчелл подарил мне сборник стихов австралийского классика Генри Лоусона. Как выяснилось в нашем дальнейшем разговоре (в конце которого меня упрекнули за то, что я не читаю и не говорю по-английски), Митчелл хорошо знаком с мировой литературой, в первую очередь, разумеется, с английской классикой, хотя и русскую он знает неплохо.

Митчелл пришел за нами со всей семьей — с женой и четырьмя детьми. Никто из его ребят еще не ходит в школу. В машине Митчелла нам было тесно и весело. Прежде всего мы отвезли домой его семью. Дом у них примерно такой же, как у Смитов, и тоже куплен в рассрочку. Хозяину предстоит еще в течение двадцати двух лет ежемесячно выплачивать банку по четырнадцать фунтов, что составляет четверть его заработка. Машина у них старая — стоит всего пятьдесят фунтов. Обстановка в доме очень простая. Средства у них более ограниченные, чем у привилегированных рабочих. Но семья Митчелла счастливая и дружная. И когда мы уезжаем, двое малышей плачут около какого-то цветочного куста — почему их не взяли! Да и самый старший довольно сердито сверкнул глазами, пробормотав нам свое «гуд бай».

Прием в Обществе дружбы прошел сердечно. Мы пили кофе в маленьком песчаном саду, ели виноград и беседовали как с помощью переводчиков, так и без нее. На приеме были врачи, адвокаты, рабочие.

Президент аделаидского отделения — уже старый человек, с решительным подбородком и массивным носом, с низким хриплым голосом. Морщины избороздили вдоль и поперек его лоб и щеки, спускаются к шее. Но совсем особая статья — его руки, запястья которых обхватывают белоснежные манжеты. Это большие, загорелые, морщинистые, веснушчатые, загорелые и, как мне кажется, очень талантливые руки, хорошо знакомые с тяжелой работой. Такие же я видел у хороших рыбаков, плотников, судовых механиков. Может быть, такие же были и у Микеланджело.

Президент приветствует нас, гостей издалека, прибывших на этот раз не с Севера, а с ледяного Юга, и выражает уверенность, что люди в Советском Союзе, так же как и австралийцы, стремятся не к войне, а к содру-

жеству всех народов нашей общей планеты. Он говорит о достижениях советской науки, и русское слово «спутник» звучит уже как совершенно привычное в его английской речи. Под конец он желает нам поскорее добраться домой, к своим семьям, желает, чтобы длительное плавание, предстоящее нам, прошло счастливо и чтобы океан был спокоен.

От нас выступает с таким же сердечным словом Трешников. Он заодно выражает свою радость по поводу того, что находится в родном городе национального героя Австралии сэра Дугласа Моусона, и в конце речи представляет собравшимся участников нашей экспедиции.

Прислонившись к дереву, стоит мужчина лет пятидесяти в простом синем свитере. У него мускулистое и очень загорелое лицо со спокойными и серыми, как ненастное море, глазами. Он внимательно слушает выступающих и курит сигарету за сигаретой. Я уже давно слежу за ним. Он чем-то напоминает мне парня на берегу с картины Молли Стефенс в аделаидской художественной галерее. Через некоторое время Кунин знакомит нас. Это австралийский писатель Юджин Ламберс.

После приема любезные хозяева везут нас смотреть город. Кунин, Кричак и я едем на машине Ламберса. Внутри она очень любопытна. Все тут говорит о хорошем пловце и страстном рыболове. Здесь и резиновые ласты, и подводная маска, и трубка для дыхания под водой, нехитрая и удобная. Подводная охота — наверняка весьма интересный вид спорта, который очень распространен в Австралии. В семье Ламберса увлекаются им, кроме него самого, оба его сына.

Узкая извилистая дорога выводит нас из города. С холма нам открывается очень, вероятно, типичный для осенней Австралии пейзаж. Плоские голые горы, одинокие купы деревьев и сожженная блеклая трава. Как видно, полупустыня Австралии лежит здесь около самого города, в великой тишине и в спокойном мерцании воздуха. И тем не менее окрестности Аделаиды не считаются пустыней. Сам город покоится у наших ног в теплом и мягком свете. Это в самом деле красивый, белый, зеленый и солнечный город — он похож на девушку перед первым причастием. И тут же море — спокойное, большое, синее, с белыми треугольниками парусов на яхтах, со светлыми стремительными корпусами пассажирских кораблей. Сколько мятежности даже в ти-

хом море, когда смотришь на него с берега, и какое оно мирное и монотонное даже в бурю, когда смотришь на него с борта корабля! Тут, вероятно, сказывается действие своеобразного закона, гласящего, что «издали все милее». Закона очень полезного для лириков и очень опасного для прозаиков.

Возвращаемся в город и останавливаемся выпить пива в открытом кафе, где даже в воскресенье не очень много посетителей. Потертый господин за соседним столиком, лицо которого кажется еще более серым, чем на самом деле, из-за контраста с ослепительно белой манишкой, охмуряет молоденькую девушку. Вдруг из угла словно раздается пулеметная очередь — это передают репортаж с ипподрома. Голос у диктора громкий, механический и бездушный. Не повышая и не понижая голоса, он сыплет словами — именами лошадей, их номерами, суммой выигрышей, — словно стучит по жестяной стойке аукционным молотком. Многие в кафе настораживаются. Скачки — одна из слабостей австралийцев, тут ставят на лошадей большие деньги.

Мистер Ламберс привозит нас к себе. Дом у него уютный и солнечный. Много книг, среди них и русских в переводе на английский: Чехов, Толстой, Достоевский. Ламберс знакомит нас со своей семьей — с женой, с дочерью, кончающей университет, с менее взрослым, чем она, сыном, очень похожим на мать, и, наконец, с самым младшим сыном. Этот врывается в дверь запыленный, воинственный и веснушчатый. У него «солнцем полна голова», а на нее нахлобучен старый тропический шлем. Ни дать ни взять оживший Том Сойер. Он тотчас прилипает к Кричаку с его казацкими усами и с его рассказами (на медленном, но понятном английском языке) об антарктической зиме и о двух поставленных под его начало до водворения в московский зоопарк пингвинах, Ромео и Джульетте, которые живут на «Кооперации» под трапом.

Идет разговор об Антарктике, о тамошних условиях жизни, о людях, зимующих на шестом континенте. Я делюсь своими впечатлениями о Комсомольской. Ламберс ненадолго задумывается, а потом советует мне:

— Мистер Смуул, из этого выйдет превосходная книга. Вы поэт? А теперь напишите книгу о том, как четверо людей остаются одни среди вечных льдов, как им приходится зимовать, как постепенно в их душе зарождается тяжелая злоба и взаимная ненависть, как

они превращают собственную жизнь в ад. Французы, между прочим, много чего написали именно в таком духе.

Не знаю, вполне или не вполне серьезно дал мне Ламберс такой совет, но шуткой это не было. На Западе тема взаимной ненависти очень в ходу и трактуется она зачастую весьма мастерски и впечатляюще.

Французы французами, но я как-то не могу себе представить, чтобы на станции Комсомольская, даже при самых жутких условиях зимовки или при неудаче, могло произойти что-нибудь подобное. Мысль о том, что большой Морозов примется грызть маленького Сорокина, а Фокин — Иванова, вызывает только усмешку. Но, разумеется, такие вещи возможны. И тут, в уютной домашней обстановке австралийской гостиной, мне вспомнилась книга, оставленная мною на столике нашей каюты, книга о плавании Колумба, с письмами Колумба королю Фердинанду и королеве Изабелле, книга, приведшая меня в растерянность. Вспомнилась судьба тех тридцати девяти людей, которых Колумб, этот гигант и в то же время пигмей, в год своего первого плавания оставил после гибели «Санта Марии» на острове Эспаньола в качестве форпоста христианства, предварительно внушив им свои идеи работорговли и алчной погони за золотом. Во время второго плавания он нашел там одни трупы, и Лас Казас в своем «Описании второго плавания Колумба» сообщает нам, что успели натворить во имя святого креста эти добрые католики и добрые подданные короля Кастилии, пока их не настигла заслуженная гибель. Ясно, что они ненавидели друг друга, — погоня за золотом свела их с ума. Ясно и то, что если бы случай забросил на лед четыре кулацкие души вместе с незначительным количеством одежды и продовольствия, то через несколько месяцев они перегрызли бы друг другу глотки.

Думаю, что вряд ли бы и сам Ламберс развил предложенную им ситуацию в том направлении, какое он посоветовал мне избрать. Хотя кто знает — может, и развил бы.

Во время нашей долгой беседы, продолжавшейся сначала за обеденным, потом за кофейным столом, выясняется, что интересы у нашего хозяина довольно широкие и тесно связанные с жизнью. Кем станут дети, живущие в среде, где фильмы и первые книги говорят только об убийствах, грабеже и садизме, где порногра-

фия и полупорнография вламываются в окна и в двери в виде дешевых комиксов?

Какие душевные травмы, какие искривления, какой культ грубой силы несет эта буржуазная «свобода печати» молодому поколению! Оградить же детей от комиксов невозможно: запретишь — будут читать тайком, а прочтенное тайком действует еще глубже. Все это забывает Ламберса и как гражданина, и как отца, и как мыслящего человека.

Важный вопрос и религия. Ламберс по происхождению ирландец, в нем чувствуется нрав сынов этого мятежного острова, смелость мысли, честность, упрямство, стремление идти своим путем. Он не католик, но в Австралии, и особенно в Аделаиде, католическая церковь очень могущественна, здесь это фактически вторая власть. В Сиднее спрашивают, есть ли у тебя деньги, в Мельбурне — какой ты национальности, а в Аделаиде — католик ли ты. Одевание патера делает здесь человека таким же неприкосновенным, как полицейская форма, духовные лица вмешиваются в личную жизнь своей паствы столь же непринужденно, как разгуливают по своему саду. Похоже, что отношения между Ламберсом и католической церковью не самые наилучшие. А церковь — могучий и богатый враг, враг с ореолом святости, с издавна выработанными приемами по части формирования умонастроений и общественного мнения.

Он не коммунист, и у него нет никаких связей с австралийскими коммунистами. Мне кажется, что он один из тех типичных для западной интеллигенции людей, которые смотрели на Октябрьскую революцию и на советскую власть в ее первые годы как на эксперимент огромного размаха, а на Ленина — как на поэта и с интересом ждали, чем все это кончится и к чему приведет. Он один из тех, кто с удивлением следил за нашими предвоенными пятилетками, не понимая, как это Россия совершает нечто подобное, вместо того чтобы рухнуть. Он один из тех, кто не спешил сменить в срочном порядке свои уважение и симпатию к Советскому Союзу, возникшие у него во время Великой Отечественной войны, на «антикоммунистическую» истерию. Ламберс способен оценить размеры преодоленных нами трудностей, и он не стыдится выражать уважение сильным людям. Он знает о Советском Союзе больше, чем средний австралиец, знает, что у нас есть хорошего, и не говорит о

наших недостатках с извиняющейся улыбкой. Короче говоря, он желает нам удачи.

Вечером отправляемся с Позенами в кино смотреть американский фильм «Война и мир». Я шел с известным предубеждением: смогли ли американцы постичь и передать общечеловеческий и в то же время столь русский дух романа Толстого? Но после окончания фильма мне стало ясно, что «Война и мир» хороший фильм, поставленный мастерски и всерьез, что это произведение искусства. Есть, разумеется, и в нем те же недостатки, какие бывают в экранизации каждого большого романа, неспособной вместить все сюжетные линии и всех действующих лиц книги. Главными персонажами фильма «Война и мир» являются Пьер Безухов (Генри Фонда) и Наташа Ростова (Одри Хепбёрн). Это не совсем те же Пьер и Наташа, что у Толстого, они несколько американистые, но ткань их характеров в основном та же. Видимо, постановщик фильма Кинг Видор — хороший знаток и толкователь Толстого, он не позволяет себе уклонений, о которых стоило бы говорить, ни от текста, ни от действия, ни от расстановки акцентов книги.

Наташа мне надолго запомнится. Она очень молода и обаятельна, в ней есть что-то скрывающее. Хорошая американская актриса сумела тут слиться со своей ролью. Мы видим Наташу дома, веселую, жадную к жизни, любящую всех людей, — ту самую Наташу, которая мечтает ночью на балконе (превосходная сцена!) и которую впервые слышит и впервые понимает князь Андрей. Затем мы видим Наташу на ее первом балу, где на ее долю — до того, как князь Андрей приглашает ее танцевать, — выпадает столько детских и все же горьких переживаний. Видим Андрея очень близкого к Андрею Толстого. Затем Наташа наносит вместе с отцом визит старому князю Болконскому, который выходит к ним в ночном халате и держится с ними холодно и высокомерно. Мы видим, как между ними возникает отчуждение, как княжна Марья пытается отвлечь внимание от этого, как разочаровывается Наташа. Затем в игру вступает Анатолий Курагин. Сцена, где Наташа ждет саней Курагина, где она понимает, что ее тайна обнаружена и что дверь закрыта, где она ходит одна по комнате — молодая, красивая, отчаявшаяся, сокрушенная, — эта сцена потрясающая. Она — достояние великого искусства. Затем мы видим, как Наташа по-хозяйски хлопочет при отъезде Ростовых из Москвы, как она находит раненого

князя Андрея, как тяжело она переживает его смерть и как наконец находит свое счастье с Пьером. Прекрасная, замечательная актриса!

Пьер в очках, он неуклюжий (но худой!), беспомощный, задумчивый и добрый. Впрочем, одна сцена с Пьером решена сугубо по-американски, а именно та, где Пьер и Долохов бражничают с офицерами. Вся пирушка показана обстоятельно и пространно. Затем заключаются пари, и Долохов, сидя на подоконнике, выпивает бутылку коньяку. Все здесь до последней детали — игра на нервах. И откинутое назад тело Долохова, и его ноги на подоконнике, и до мучения медленно убывающее содержимое бутылки, и зияющая пустота внизу. Высота метров сто. Затем на подоконник взбирается Пьер. Он очень пьян, он качается, и кажется, что его тяжелое тело вот-вот рухнет на мостовую. Пока его втащивают обратно в комнату, успеваешь проглотить изрядную дозу жути. Мы видим Пьера в Москве, из которой все бегут, видим его в Бородинском сражении и во французском плену вместе с Каратаевым.

На Западе, вероятно, еще и до сих пор «русская душа» понимается и толкуется как нечто типично каратаевское, при этом каратаевщина почти полностью отождествляется с мудрым, взвешенным самообладанием Кутузова. Образ Платона Каратаева сделан в фильме интересно и с большой любовью. Его фатализм, его спокойствие, его равнодушие к смерти, его непротивление злу насилем, его забота о Пьере, его огромная доброта — все это словно повисает синей и теплой вечерней дымкой над гибелью наполеоновской великой армии.

Так же и в раскрытии образов Наполеона и Кутузова режиссер близок к Толстому. Кутузов стар, мудр и осторожен. И, в противоположность ему, Наполеон капризен и эгоистичен. В большом разоренном зале он ждет прибытия послов от побежденной Москвы, принимает позы, готовится к блистательной речи и приходит в ярость, когда ему сообщают, что москвичи покинули свой город.

Почти все массовые сцены «Войны и мира» грандиозны и захватывающи: и Бородинский бой, и уход из Москвы русских, и появление в ней французов. Редко приходилось видеть на экране что-либо подобное отступлению наполеоновской великой армии. Это потрясает, тут есть неизбежность и возмездие. При каждом своем новом появлении на Смоленской дороге великая ар-

мия оказывается все более маленькой, все более потрепанной и усохшей.

Вот одна сцена. Тихо падает снег. Чистое, без всяких следов, холмистое поле. Вдруг раздается сигнал будильника. И снежные холмы оживают, из-под снега поднимаются остатки великой армии. И ковыляют дальше на запад. Не осталось больше ни оружия, ни порядка, ни веры. Это марш смерти.

Можно ли требовать еще большего, чем дали американцы в «Войне и мире»? Конечно, можно. И все же это удавшееся, на редкость удавшееся художественное произведение.

Возвращаемся на корабль после полуночи. Необыкновенная тишина, мягкий полусвет огней. По пристани прогуливаются туда и обратно двое таможенников. Спящий порт, запах пыли и зерна.

В 1949 году я прожил несколько месяцев в провинциальном эстонском городке Выру, в гостинице «Александрия». Тихая гостиница, а город похож на большую деревню. Я писал книгу и мечтал о Шанхае, о большой гавани. Если будет возможность, обязательно туда поеду и поживу месяц-другой в гавани, именно в гавани. В гаванях, даже в спящих, слышится свой особый ритм, своя песня, отсюда тянутся лучи вдаль, сюда сбегаются лучи издалека.

2 МАРТА 1958

Воскресенье

Все закрыто — магазины, кино, бары. В начале дня, в часы богослужения, машин на дорогах немного. А городской транспорт — автобусы и троллейбусы — ходят из Порт-Аделаиды в Аделаиду редко. Большая часть горожан еще вчера выехала за город, хотя трудно себе представить, чтобы в ближайших окрестностях Аделаиды можно было найти что-либо похожее на то, что мы называем зеленью и природой. Погрузка прекращена, тяжелые ворота складов заперты, и даже гости появляются сегодня позже, чем обычно. В город как бы спустилось с гор безмолвие пустыни, не нарушаемое ни шумом уличного движения, ни гудками буксиров. И в этой тиши австралийцы молятся своим богам, дерущим-

ся между собой, словно буржуазные партии: методисты своему богу, баптисты — своему, адвентисты — своему, лютеране — своему, мормоны — своему. Молятся и самому могучему богу, у которого вместо сына аккредитован на земле папа римский.

Тихо с утра и на корабле. После обеда я отправляюсь в гости к одной эстонской супружеской паре. Они приезжают на своем «холдене», оставляют его на набережной и приходят за мной на корабль. На людей, которых привезли сюда из Западной Германии в грузовом трюме американского военного транспортника, «Кооперация» производит, разумеется, впечатление роскошного судна.

Проезжаем через тихую Аделанду. Мало людей, мало движения. Минуем новую церковь мормонов, в которой совершается богослужение. Снаружи эта церковь ничуть не похожа на храм. Построена она предельно практично — это одновременно и церковь и клуб. Во время богослужения задергивается занавес на эстраде, а во время танцев той же процедуре подвергается алтарь, поскольку на эстраде играет джаз.

Люди, принимающие меня, молоды. Когда они в конце войны покинули Эстонию, им было по пятнадцать лет. Оба получили в Австралии высшее образование: муж окончил аделандский строительный институт, а жена — медицинский факультет аделандского университета. У них австралийское гражданство, да и не только гражданство. Они считают себя австралийцами, все их планы на будущее связаны с этим материком, они освоились со здешним образом жизни и с природой. Жена, по внешности типичная эстонка, говорит по-эстонски еще очень хорошо и чисто, но мужу довольно часто приходится прибегать к английским словам, да и по мелодии его речь напоминает английскую.

Нравится ли им Австралия? Нравится. Уже теперь, в молодости, они довольно обеспеченные люди. Годовой заработок только мужа равен тысяче австралийских фунтов и намного превышает заработок среднего рабочего. К тому же Австралия такая страна, которую безработица задевала, по крайней мере до сих пор, лишь самым краешком. Разговор наш вертится вокруг бытовых вопросов — вокруг квартирной платы, заработка, цен, строительства и т. д., а потом он сам собой перескакивает на отношения между эмигрантами и «настоящими австралийцами». С этим не всё в порядке.

Скрытое недовольство, которое, как я уже не раз замечал на корабле, проглядывает в отношении австралийцев к эмигрантам, должно быть, не совсем беспричинно. Австралийские девушки редко выходят замуж за молодых эмигрантов. Последних редко принимают в потомственных австралийских семьях. И хотя молодых эмигрантов можно назвать кем угодно, только не «безъязыкими чужаками», все же эти невидимые рубежи и перегородки очень устойчивы. Пытаюсь выведать у юноши причину.

— Мы трудолюбивее, — решает он.

— Трудолюбивее? Дело только в этом?

— Нет, не только в этом. Пришлые, чтобы встать на ноги, соглашаются порой на более низкую плату.

Так вот где зарыта собака! Рабочие боятся и, по видимому, не напрасно, что из-за эмигрантов может упасть уровень заработков, а работодатели видят в них более дешевую рабочую силу, то есть боевые резервы для борьбы с профсоюзами. Не очень завидная роль.

Мои хозяева — приятные и тактичные люди. Они с самого начала подчеркнули то обстоятельство, что политика — это не их сфера и что у них нет никаких связей и никакого контакта с главными деятелями эстонской эмиграции, в основном бывшими эсэсовцами. Тем не менее нам почему-то не удалось обойти молчанием один вопрос, а именно: вопрос о все возрастающих противоречиях между старшим и младшим поколением эмиграции, о взаимном отчуждении между ними. По-видимому, отчуждение это вполне закономерно. Младшее поколение эмигрантов, большая часть которого получила образование в школах Западной Германии или Австралии, лучше ассимилировалось, у него меньше связей с родиной, меньше воспоминаний, оно пустило более цепкие корни и более безродно. По моим шведским и здешним наблюдениям, ему так же чужды «столпы общества» буржуазного времени, разбросанные по Швеции и Америке и грызущиеся из-за каждого выклянченного доллара, как и те эмигранты из старшего поколения, которые *не могут* приспособиться к чужой стране и к чужой природе, усвоить чужой язык и чужие обычаи, которым трудно получить работу и которых с каждым годом все сильнее и сильнее тянет на родные острова.

В австралийском образе жизни можно выделить три черты.

Во-первых, австралиец, коренной или свежее испеченный, существо до предела домашнее, замкнутое и мало-общественное. Закон «мой дом — моя крепость» тут имеет полную силу. Круг знакомств — маленький и ограниченный, его составляют осторожно, и он, как видно, устойчив. Незнакомым неохотно открывают дверь, дом здесь играет в жизни людей довольно почетную роль.

Второй и весьма симпатичной чертой является чуткость здешних мужей. Они помогают женам во всех их домашних хлопотах, ходят вместо них за покупками, трудятся вместе с ними на кухне и накрывают на стол. Этому и кое-кому из нас не грех поучиться. У нас, в Советском Союзе, где очень большой процент женщин ходит на работу, мужчины зачастую тратят столько энергии на то, чтоб говорить о женском равноправии и восхищаться им, что по вечерам они уже в полном изнеможении валяются на диван и орут:

— Дай поесть, черт побери!

Третья черта, несколько меня смущающая, — это фетишизм вещей. Похоже, что вещи имеют здесь какую-то таинственную власть над людьми и занимают в их мыслях и в их жизни слишком большое место. Здесь, правда, очень красивая мебель (в этом мы отстаем), хорошие радиоприемники (наши не хуже), очень практичная кухонная обстановка и т. д. Но все эти предметы не столько служат человеку, сколько властвуют над ним. Думаю, что в этом случае мы имеем дело с влиянием уже упоминавшейся системы рассрочек. Стул или приемник, купленный тобой и принесенный в свою квартиру, немедленно становится твоим и не напоминает так назойливо о своем существовании, как вещь, за которую ты ежемесячно должен выплачивать известную сумму и которая пялится на тебя, словно заимодавец.

Возвращаемся на корабль. Я от души благодарен хозяевам за интересно проведенный день и за их откровенность. Благодаря ей кое-что в жизни этого материка стало для меня более ясным.

Совсем уже поздно вечером меня вызывают в музыкальный салон. Вхожу туда и не знаю, к кому обращаться, кто меня ищет. Вокруг разговаривают по-русски и по-английски. Лишь за одним угловым столиком сидят четверо немцев. Именно из-за этого стола подни-

мается длинная-длинная и очень тоненькая, похожая на удочку дама, которая подходит ко мне.

— Сударь, вы эстонец?

— Да.

— Господи! Из Тарту?

— Нет, из Таллина.

— Господи!

Мы садимся. Дама знакомит меня со своим мужем, немцем, и с другими двумя людьми, тоже немцами. Дама очень темпераментна. Разговариваем мы по-эстонски. Начинает она приподнято и поэтично:

— Помните песню, сударь: «Мужество Эстонии...»?

— Помню.

— Ох! — вздыхает дама.

И только тут я успеваю спросить, откуда она родом. Оказывается, из Тарту. Ее интересует, существует ли еще магазин, принадлежавший ее отцу, и «кто его теперь держит». Я плохо знаю Тарту и не могу ответить. Но ее отца, живущего в Австралии, это очень заботит, и он хотел бы съездить взглянуть на магазин.

— Вы, сударыня, давно не были в Эстонии? — спрашиваю я.

— Да, с тех пор, как Гитлер позвал нас в Германию.

Лишь эту фразу она произносит без сильного акцента. Видно, часто ее повторяла.

— Ваши родители — немцы?

— Мама — немка.

— А ваш отец?

— Отец — русский.

— А вы сами?

— Боже мой, эстонка!

Муж дамы пылливо сверлит меня своими бледными и холодными глазами. Жена переводит ему наш разговор и потом сообщает мне его вопрос:

— Вы воевали против нас?

— Воевал.

Мы вежливы, мы беседуем о том о сем, но беседа не клеится. И чтобы как-то с этим покончить, дама просит подарить ей на память пустую коробку от «Казбека». Я приношу из каюты полную и вручаю ее даме.

— Боже мой, это мне!

— Это вашему папе и вашему мужу, чтоб они не забыли вкус русского табака,

4 МАРТА 1958

Погрузка подходит к концу. Аккуратные ряды мешков ячменя высятся в трюме уже до самых люков. Австралийские портовые рабочие трудятся спокойно, не торопясь. Ни на причале, ни в трюме грузчики не делают ни одного лишнего движения, лебедки очень послушны их опытным рукам. Работают в одну смену, и потому вечерами гавань словно вымершая. Темпы тут не те, что в наших портах, и корабли простаивают дольше.

Завтра в Аделаиду должны прибыть английская королева-мать и «Обь» с морской антарктической экспедицией. Прихода «Оби» ждут на «Кооперации» с волнением. Часть участников морской экспедиции поплывет на нашем корабле домой. В честь прибытия королевы-матери улицы Аделаиды наряжаются. Всюду флаги и флажки, на витринах портреты ее величества и всевозможные изображения корон. По пути из Порт-Аделаиды в Аделаиду нам встретился своеобразный по своей пестрой красочности эскорт. Все лошади были белые и красивые, да и всадники им не уступали: сапоги и сюртуки — черные, узкие бриджи — белые. На сверкающих киверах султаны из перьев, в руках длинные пики. Все кавалеристы как на подбор — цветущие, солидные, исполненные достоинства. В конную свиту королевы-матери явно отбирали самых лучших, то есть самых богатых парней Аделаиды.

5 МАРТА 1958

Утром нагруженную «Кооперацию» перевели к другому причалу. После обеда прибыла «Обь». Встреча была сердечной. По причалу расхаживали мои спутники по рейсу в Антарктику — Марков и Зенькович. Среди десятков людей, смотревших вниз с борта «Оби», я разглядел загорелого Голышева, остриженного наголо и потому казавшегося еще более молодым и круглолицым. Затем появился долговязый Фурдецкий, все такой же элегантный и громогласный, как прежде. Хорошо быть среди друзей!

Встретился тут и с эстонцем, участником морской экспедиции. Это московский аспирант Ивар Мурдмаа. Я узнал его еще издали — он очень похож на свою мать. Странное дело — на рейде Мирного наши корабли

много дней простояли рядом, но каждый из нас и не подозревал о существовании другого, у обоих были свои дела, свои заботы. Да, мир так велик и так мал!

Чтобы спокойно поболтать, как полагается двум эстонцам, мы отправились в ближайший портовый бар.

Для большинства австралийцев бар — это клуб, место свиданий, второй дом. Говорят, что каждый австралиец выпивает в среднем два литра пива в день. Пиво тут в самом деле хорошее. В четыре часа люди кончают работу, и бары до шести вечера, до самого их закрытия, набиты битком. Жены приходят в бары встречать своих мужей, ждут их там. Похоже, что пиво тут считается не алкогольным напитком (хоть в нем и достаточно градусов), а предметом первой необходимости. Бар, в котором сидим мы с Иваром, состоит из двух помещений. В первом зале, просторном продолговатом зале, находится стойка с высокими табуретами, за стойкой бармен, а позади — полки, уставленные батареями всевозможных крепких напитков. Сейчас, в четверть пятого, бар заполнен до отказа. Люди пьют стакан за стаканом, пьют серьезно, деловито и по-домашнему. Поразительно, что при ежедневном потреблении такого количества пива в Австралии мало толстых людей, — редко встретишь человека с так называемым «пивным брюшком». Портовые рабочие, обычные посетители этого бара, почти все сухощавые и стройные.

Во втором помещении, в том, где мы сидим, утоптаный земляной пол, потолок из некрашенных досок и плетенные из прутьев стены высотой в человеческий рост. Дверей как таковых нет, вместо них имеется нечто вроде сарайных ворот. В просвет между низкими неглухими стенами и высоким потолком свободно проникает ветер, приносящий порой не только прохладу, но и пыль. Люди приходят сюда замкнутые, но затем их лица все более краснеют и оживляются. Беседа становится все непринужденнее, и кружки отстукивают на мраморных столиках гимн австралийскому пиву, тому самому пиву, вздорожание которого на два пенса за литр может вызвать всеобщую забастовку...

Обстановка в этом баре истинно портовая, тут особая атмосфера, на которую наложили свою печать и солидность докеров, и их веселость, и дыхание близкого океана. И даже две женщины, которые, заняв еще до четырех часов видный отовсюду стол в центре зала, извели на свои порядком поношенные лица столько же

краски, сколько ушло бы на соответствующий кусок новой тесовой крыши, даже эти подружки кажутся сейчас красавицами средних лет. Их пылкие, призывные и многообещающие взгляды скользят от столика к столику, выискивая человека с сердцем и не совсем пустым кошельком. Для того чтобы изобразить эту сторону здешней жизни, описать Австралию с четырех до шести вечера, был бы нужен карандаш Вийральята.

Мы с Мурдмаа говорили о своем старом Таллине, о наших общих знакомых, об океанографической экспедиции. «Обь» закартировала большой отрезок береговой линии Антарктики, внесла в карту много существенных исправлений. Самолеты экспедиции не раз высаживали на материке и ледниках группы ученых, которые в трудных условиях проделали за небольшое время большую работу. Наши корабли «Обь» и «Лена», которые плавали там в 1956—1957 годах, уточнили более чем одну четвертую часть береговой линии всей Антарктики, да и не только береговой линии. Если прибавить к этому океанографические исследования, промер глубин, метеорологические, геологические, гляциологические, магнитологические и прочие изыскания, съемки с воздуха и т. д., то станет ясно, что два этих ледокола, «Обь» и «Лена», высекли свои имена на камне истории открытий и исследований Антарктики, навсегда связав с этим материком, лишенным рек, наименования рек России.

«Обь» прибыла сюда из Новой Зеландии, из Веллингтона, где недавно встретились исследователи Антарктики: русские, американцы, англичане, французы и австралийцы. Похоже, что эта встреча не очень обогатила и удовлетворила наших ученых. И научные работники и печать Новой Зеландии дали высокую оценку докладам советских, а также французских и австралийских ученых, поскольку все они добавили к уже известному что-то новое. Но американцы, которые ведут систематическую работу по исследованию Антарктики еще с 1928 года и, стало быть, обладают большим опытом, а также и англичане выступили с довольно-таки поверхностными докладами.

Следует, разумеется, учесть, что это мнение не специалиста, а человека, который руководится внешними впечатлениями и который, кстати, относится с глубоким уважением к огромной работе, проделанной на шестом континенте английскими и в особенности американскими исследователями. Одно только создание на Южном по-

люсе исключительно с помощью авиации американской исследовательской станции «Амундсен — Скотт» является подлинным подвигом, рискованным и в то же время тщательно продуманным. Научная и организационная деятельность адмирала Эвелина Берда, побывавшего вторым после Амундсена на обоих полюсах земного шара, дает ему право на то, чтобы имя его сохранилось в памяти истории и будущих поколений как имя одного из величайших исследователей Антарктики. Но в своих последних, предсмертных статьях Берд настойчиво подчеркивал военное значение антарктического материка в качестве базы для авиации и ракетного оружия, подчеркивал возможность использования пролива Дрейка для переброски американского военного флота из Тихого океана в Атлантический. Американцы проверяют в Антарктике, как действуют при сверхнизких температурах танки и военная авиация, слишком часто твердят о том, что Антарктиду можно использовать как полигон и стартово-ракетную площадку, и смотрят на ее будущее именно под этим углом зрения. А если прибавить к этому уран, который, возможно, скрывается под вечными льдами, то...

И в то самое время, как два отряда полярников во главе с доктором наук англичанином Фоксом и покорителем Эвереста Хиллари первыми преодолевали путь с одного края ледяного плато Антарктики до другого, пока они совершали первую наземную трансантарктическую экспедицию, завершившуюся встречей на Южном полюсе и заслуженно вызвавшую громкие отклики всей мировой прессы, в это же время милитаристское в основном отношение некоторых стран к Антарктике, предопределяющее, кроме всего прочего, науку, облаченную в мундир, военизированную науку, весьма существенно мешало подлинно коллективным исследованиям, настоящему обмену информацией между отдельными учеными и странами, прикрываясь при этом, как водится, дымовой завесой высказываний кое-каких западных дипломатов и политических деятелей о «советской экспансии в Антарктике».

6 МАРТА

Те из участников морской экспедиции, которые поплывут домой, перебираются на «Кооперацию». Сюда переносят часть собранных коллекций и научной аппа-

ратуры. Возвращается на родину вся летная группа экспедиции, картографы и геологи. В океанах, которые начнет теперь исследовать «Обь», и в странах, которые она посетит, им уже делать нечего. В гуле новых голозов на нашем корабле я узнаю лишь немногие.

Завтра покидаем Австралию. На корабль пришли попрощаться с нами наши старые знакомые. Появляются Позены, появляется приятное лицо Митчелла, в нашей каюте сидит мистер Ламберс.

Мы долго говорили с Ламберсом о литературе. И в основном об английской и американской, поскольку из австралийцев мне известны лишь Харди и Лоусон. Мы радуемся каждому писателю, известному обоим, каждой книге. Она словно мост от человека к человеку. Выясняется, что у нас не так мало общих знакомых, и более того — наши оценки не особенно расходятся. Мы начинаем с милого нам обоим Диккенса, равно ценимого и молодыми и стариками, хотя и несколько более далекого людям среднего возраста, жаждущим проблемности. Затем мы возвращаемся к Теккерю и задерживаемся на «Ярмарке тщеславия» и «Генри Эсмонде». Но ирландцы, так же как англичане, да, очевидно, и мы, в немалой степени люди традиции, и потому в разговоре о классической литературе мы зачастую выражаем не свое собственное мнение, не свои симпатии и антипатии, а традиционное признание, освященное временем и подкрепленное комментариями исследователей. Ведь в самом деле, Диккенс может показаться порой сентиментальным и приторным, красочный и сочный «Том Джонс» Фильдинга — переступающим тонкую, словно лезвие бритвы, грань приличия и хорошего вкуса, пронизанный пафосом борьбы и любви к свободе «Уленшпигель» — смесью могучего реализма с мистикой, а высмеивающий попов, монахов и покладистых женщин «Декамерон» — слишком чувственным, что заставляет порядочных родителей прятать его от своих отпрысков. Но все эти произведения — дети своей эпохи и в то же время достояние всего человечества.

Есть среди выдающихся писателей близкого и недавнего прошлого и такие, мнения о которых до сих пор резко расходятся. В книжных магазинах Аделаиды мне не попалось ни одного нового издания Драйзера. Похоже, что после смерти Драйзера его родиной стал Советский Союз, где этого писателя так любят и так много читают. Ламберс как будто тоже не считает его очень

крупным художником. Но отношение к Джеку Лондону у нас оказалось одинаковым — и к его морским рассказам, и к «Мартину Идену», особенно к «Мартину Идену», и мне хочется тут напомнить, что после войны эта книга у нас еще ни разу не выходила на эстонском языке. Зато издавалась «Железная пята», которая, несмотря на давнишнюю популярность Джека Лондона среди наших читателей, до сих пор лежит на полках магазинов. Талант Лондона могуч и противоречив, но был ли смысл издавать именно это произведение, здоровое, правда, по своей тенденции, однако для Лондона художественно слабое?

Мы вспомнили о романе Мозма «Жало лезвия», мистика которого, сочетающаяся, впрочем, с хорошим реализмом, меня раздражает. Наряду с критичным и выразительным изображением американской денежной знати, французской буржуазии, закостеневшей английской аристократии тут полноправно уживаются и учение индийских йогов, и переселение душ, и полное отрицание главным героем объективной действительности, каковому автор явно сочувствует, и философия самоотречения, и проповедь аскетизма. Ламберс, очевидно, находит сосуществование всех этих вещей в рамках одного произведения вполне естественным.

Сошлись наши мнения и о повести Хемингуэя «Старик и море». Как и миллионы других читателей этой книги, мы считаем ее гимном морю, жизни, борьбе. В самом деле, среди книг последнего времени трудно найти произведение, столь же блестяще отвечавшее бы требованию Некрасова, которое лишь гению под силу выполнить:

Строго, отчетливо, честно
Правилу следуй упорно:
Чтобы словам было тесно,
Мыслям — просторно.

Я показываю Ламберсу эстонское издание этой книги и благоразумно умалчиваю о послесловии к ней, которое трудно охарактеризовать как-либо иначе, чем «странное». К сожалению, у нас часто бывает так: мы открываем хорошее произведение и переводим его, прочитываем, начинаем любить, а потом, добравшись до послесловия, пытаемся там отыскать ту же любовь и уважение к автору и к его таланту. Но послесловие упорно и судорожно цепляется за все ошибки автора, за его

идеологическую незрелость, критикует писателя не за то, что он изобразил, а за то, чего он не *изображал*, о чем он не писал. Примерно с таким же недовольством читал я послесловие Анисимова к очень хорошим произведениям Пуймановой «Люди на перепутье» и «Игра с огнем». До сих пор не могу понять, из чего исходят авторы подобных послесловий, в чем они видят смысл своей работы. Или они боятся, что буржуазные влияния могут проникнуть к нам даже с помощью самых лучших, самых талантливых и глубоко гуманных произведений писателей Запада?

Разговор переходит на «Тихого американца» Грина, на один из тех западных романов, который наиболее взволновал меня в последние годы, который и далек мне и в то же время близок. Экзотика, дыхание чужой страны, своеобразная композиция и беспощадный реализм. Прекрасная Фуонг, понять которую так же трудно, как душу растения или язык птиц, и которая цветет словно неведомый цветок рядом с прямодушным и грубым циником Фаулером. Сам Томас Фаулер с его ежевечерними трубками опиума, с его резкими и лаконичными оценками, со страхом перед далекой Англией, с большой любовью к Фуонг, с пониманием жестокости и бессмысленности войны, с настойчивым стремлением быть объективным — да, это образ! И, наконец, Пайл, «тихий американец», джентльмен на словах и в мелочах, наглец в крупном и определяющем. Это книга для вдумчивых вечеров. Ведь «Тихий американец» ставит не только литературные проблемы. Сходные проблемы существуют и в Австралии. Американцев здесь не выносят, говорят о них с внутренним раздражением. Как характер, поведение и гибель Пайла порождены воспитанием и средой, так и здесь порождена скрытая антиамериканская оппозиция высокомерием американцев, их наглым экономическим давлением, их уверенностью, что весь мир, кроме Соединенных Штатов, не что иное, как стойка бара, на которую каждый янки может положить свои ноги в ботинках с толстыми подошвами.

В круг наших общих знакомых вошли еще Эптон Синклер, Синклер Льюис, Артур Миллер, Стейнбек, Колдуэлл... Но о многих писателях, о которых Ламберс говорил с большим уважением, я ничего не знаю и даже никогда о них не слышал. Особенно это касается западных философов и психологов. Наиболее настойчиво он советует прочесть мне книгу Лэнгвиджа «Об особо

смутном и неясном в эмоционально-сексуальной сфере вырождения». Видно, его интересуют такие проблемы. Сам он написал книгу о жизни арестантов в уголовной тюрьме. С изрядным знанием дела, с обстоятельностью он рассказывает мне о смерти от жажды, обо всем, что человек переносит, что он постигает, что он чувствует и видит перед такой смертью в пустыне Северной Австралии. Ламберс изучал этот вопрос и собирается о нем написать.

Чувствуется, что у читателей Запада искусственно вызывается интерес к мучениям, к смерти, к гибели, к чувству ненависти, к садизму, к сексуальности, искусственно вызывается любопытство к ненормальному, вырождающемуся человеку. Книжный рынок диктует авторам свои законы. Более слабые подчиняются им сразу же и целиком. А более сильные, хоть зачастую и обращаются к тому же кругу тем, умеют и тут сохранить свою человечность и свой талант. Наиболее же беспринципные и бездарные служат причиной все большего количества смертей от моральной жажды среди молодого поколения, жажда, которая в тысячу раз опасней для общества, чем та, что испытывают в пустынях Африки и Австралии. Ламберс, безусловно, не принадлежит ни к писателям первого, ни к писателям последнего типа. Он для этого слишком крепок и чист.

У книг, как и у людей, своя судьба. Но судьба книг в Австралии, а следовательно, и жизнь писателей отнюдь не завидные. Если в доме среднего австралийца изредка и попадают книги, то выбор их более чем случаен. Связь между книгой и читателем тут слабая. Тиражи маленькие, каких-нибудь несколько сот экземпляров, да и те лежат в магазинах целый год. Одним сочинительством тут прожить трудно. Главным заработком писателей является сотрудничество в газете, на телевидении и на радио. За последние три недели Ламберс заработал как *писатель*, то есть только продажей книг, всего семь фунтов, вдвое меньше, чем зарабатывает низкооплачиваемый рабочий за неделю. Хорошие беллетристические издания тут необычайно дороги, отчего книга становится доступным развлечением лишь для состоятельных людей. Для тех же, кто победнее, остаются комиксы, газеты, кино да ипподром.

Ламберс уходит от нас поздно вечером. За короткое время мы стали хорошими знакомыми и, обмениваясь последним рукопожатием, выражаем надежду снова

когда-нибудь встретиться, но уже не здесь, а в Советском Союзе.

В сумерках медленно спускается по трапу на причал старый господин. Он поддерживает под руку полную седую даму. Пару эту провожают Трешников, начальник морской экспедиции Корт и капитан Янцелевич. У господина в черном костюме длинное интеллигентное лицо, подлинно английское; он немного похож на Бернарда Шоу. Он медленно подходит с провожатыми к своему черному лимузину; седая дама, его жена, садится за руль. Господин прощается со всеми и, низко пригнувшись, забирается на свое место,— машина кажется слишком низкой для его прямого, стройного тела длиной в семь футов.

Это Дуглас Моусон, национальный герой Австралии, знаменитый исследователь Антарктики, доживающий свой век в Аделаиде.

7 МАРТА

Сегодня «Обь» и «Кооперация» покинули Аделаиду. На пристани было много провожающих, членов Общества австрало-советской дружбы. И пока буксируемые корабли отваливали от причала, они бросали к нам на палубу цветной серпантин. Корабли постепенно удалялись от пристани, мы и провожающие держались за концы бумажных лент, и они все сильнее растягивались, образуя между нами и материком пестрый и хрупкий мост.

Но тот мост, который соединил за эти дни моряков и участников экспедиции с австралийцами, мыслящими трезво и здраво, этот невидимый мост не так пестр и декоративен, но зато и не так хрупок. Мы совсем не пытались превратить своих австралийских знакомых, беспартийных или принадлежащих к буржуазным партиям, в коммунистов, а они нас — в поборников «священной частной инициативы», но мы отлично понимаем друг друга и считаем, что на земле, на этой планете цвета морской синевы, белого снега, желтой пустыни и зеленого леса, люди могут и должны уживаться друг с другом.

Десять дней в Австралии, да к тому же еще в одном городе, это слишком мало, чтобы обо всем услышать,

все увидеть, понять и почувствовать. Аделаида — лишь одни из ворот Австралии, лишь один из кружков на ее громадной желтой карте, один из узлов, от которого тянутся к другим городам, в глубь опаленного материка нити дорог. Мы видели Австралию только сквозь эти ворота. Но люди, с которыми мы тут встретились, все-таки были представителями австралийцев, их страны, их образа жизни, их обычаев, их склада мышления. У них умные руки, ими создано и создается много хорошего и прекрасного на этом чужом нам материке. Как и у нас, люди тут рождаются и умирают, как и у нас, они умеют смеяться и плакать, и, будучи нашими антиподами, они все-таки ничуть нам не антиподы. У подавляющего большинства из них та же чудесная должность, что и у нас: быть на земле человеком.

и

8 МАРТА

Утром «Обь» и «Кооперация» снова стояли рядом у острова Кенгуру в заливе Эму. Мы брали у «Оби» дизельное топливо. Несмотря на близость берега и на то, что залив тут закрытый, была сильная волна. То борт «Оби» поднимало вверх, то наш. Трап, перекинутый с «Кооперации» на «Обь», мотался, словно качели. Чтобы перебраться с одной палубы на другую, приходилось выжидать благоприятного момента. Несмотря на пробковые кранцы, корпуса кораблей временами сталкивались и слышался стон и скрежет. Высокий мостик «Оби» въехал в нашу веранду с правого борта, разбил там три окна и оставил большие вмятины на металлических стенах. Не так-то просто заправляться горючим в открытом море.

Несколько раз побывал на «Оби». Могучий корабль с мощными двигателями, с хорошими лабораториями, с первоклассным навигационным оборудованием. Но бытовые условия у научных работников там как будто хуже, чем на старой доброй «Кооперации». Во многих каютах живут шестером.

Ведь «Обь» ледокольное судно, и научных сотрудников пришлось размещать в трюмах, переделав их под жилое помещение. Это дает себя знать.

Заправка горючим кончилась. Мы прощаемся с людьми на «Оби». Забегаю напоследок в каюту Мурдмаа, отыскиваю кинооператора Эзова, живущего на

самой корме, прямо над винтом, нахожу Голышева и Олега Воскресенского, которого зачислили тут в состав морской экспедиции. Потом мы теснимся у поручней отваливающих друг от друга кораблей, перекидываемся последними фразами, но вот корабли отдаляются и приходится уже кричать. «Обь» уходит на восток, мы плывем почти прямо на запад — к Большому Австралийскому заливу.

Погода ветреная, сбоку бьет волна, горизонт затянут легким туманом. Остров Кенгуру удаляется от нас, а затем и вовсе исчезает. «Кооперация» начинает сматывать невидимую нить длиной в семь с половиной тысяч миль, которые отделяют ее от ближайшего порта следования, от Суэца.

Слабое покачивание корабля, уже такое домашнее, действует усыпляюще, легкая вибрация корпуса создает ощущение длительного, непрерывного движения. Заснув, я увидел во сне дом, где прошло мое детство, большую ригу, в которой жужжали четыре прядки и мурлыкал на печи кот. Женщины пели:

Совсем слепой и с палкою
Там ходит их король...

Кто-то заходит в каюту, вполголоса бросает несколько слов Кунину и, очевидно имея в виду тропический пояс Индийского океана, произносит по-латыни:

— Hannibal ad portas! ¹

9 МАРТА

Большой Австралийский залив

Если ты хочешь знать, что такое время и пространство, так поживи на корабле, заполненном участниками экспедиции и нагруженном австралийским зерном, на корабле, у которого работает лишь один дизель и который пробивается сквозь волны со скоростью пяти узлов в час. А до родной гавани десять тысяч миль! Видно, тот, кто первым сказал: «Все течет!» — был весьма далек от абсолютной истины. Корабль, время, мысли — все замерло на месте, и за час плавания обратный путь сокращается на карте лишь на какие-то доли миллиметра. Когда в книгах наступает долгожданное, выстрадан-

¹ Ганнибал у ворот! (лат.)

ное и кажущееся вечным счастье, то обычно пишется: «Время замерло!», «Время стало», «Время прекратило свой бег». Но время может стоять на месте и под низкими серыми тучами, на темно-синей, тихо плещущей воде Большого Австралийского залива и быть не чем иным, как только печальным, тягучим, словно заунывная песня, вопросом:

— Когда же?

11 МАРТА

Во время парусников существовал морской термин «обезьяний груз». Но я никогда не думал, что мне придется плыть на корабле с «попугайным» грузом, да еще не в переносном, а в прямом смысле. Я пытался сосчитать, сколько их закупили в Австралии, но все время сбивался. Поодиночке и парами они стрекочут во всех каютах, покачиваясь в своих красивых клетках. В иных каютах даже по две клетки. На корабле только и разговору, что про любовь попугаев, про науку о попугаях, про их виды и характеры, про их талантливость и про их язык. Некоторых из более молодых участников экспедиции, в основном трактористов и строителей, тоже окрестили незаслуженно попугаями за то, что они купили себе в Австралии пестрые рубашки: на желтой материи прыгают кенгуру, спят коала и растут эвкалипты.

Вчера ко мне заходил один из пожилых участников экспедиции, серьезный и дельный человек, кандидат наук, до странности, кстати, похожий на приобретенного им попугая, хотя в своей научной деятельности он отнюдь не лишен самостоятельности и ничуть не попугайничает. У него круглое лицо, круглые глаза, а его нос напоминает клюв попугая. Он принялся всерьез упрекать меня за то, что я растранижил валюту на пустяки, а попугая не купил. Мы обменялись мыслями по этому важному вопросу.

Он. Следовало бы купить. Для Эстонии это редкость.

Я. Ни чуточки. Попугаев у нас больше, чем надо.

Он. Откуда же их привозят?

Я. Мы их сами выводим.

Он. Попугаев? В Эстонии? И какой же породы?

Я. Той, что в черных платьях и в черных костюмах.

О н. Ах, вот вы о ком... Такие и у нас есть... И много они болтают?

Я. Много. И все, что ни скажут, верно. Знай цитируют да из кожи лезут, чтоб логически увязать одну цитату с другой.

О н. Значит, вы признаете, что попугай все же весьма похож на человека?

Да, признаю и даже весьма жалею, что не купил попугая. Насколько легче мне жилось бы, если бы он сидел в углу моей комнаты и каждый день вдалбливал бы мне, что и с птичьими мозгами можно угодить людям и даже преуспеть.

Разумеется, попугаи на «Кооперации» в большинстве случаев маленькие, они еще не умеют говорить, только щебечут да стрекочут, семейных ссор в их клетках не бывает. Мужчины ухаживают за ними прямо-таки с отеческой любовью и часами простаивают перед проволочными клетками. Да оно и лучше, что попугаи не так велики и способны. Говорят, в одну из предыдущих морских экспедиций какие-то безответственные люди тайком обучили попугая одного профессора неделикатным выражениям и в Москве профессору пришлось продавать птицу, причем годился в покупателя только одинокий холостяк. И среди наших попугаев есть один покрупнее, который стоил намного дороже остальных уже из-за одной величины. Два дивных красных пера в хвосте тоже обошлись в лишние полфунта стерлингов. Перья эти, к сожалению, выпали — они оказались приклеенными.

Мне трудно писать о чем-либо ином, кроме попугаев. Со вчерашнего дня держится чудесная погода, клетки с попугаями вынесены на воздух, а две висят прямо перед моим иллюминатором, выходящим на прогулочную палубу. Красивые, живые, симпатичные птицы. По утрам меня одолевает сильное желание свернуть им головы. Я лучше всего сплю между шестью и семью утра, перед самым пробуждением. Но в шесть встает солнце, и тотчас же в открытый иллюминатор врывается громкий и не очень то мелодичный гомон птичьего базара. Спать больше невозможно. Так что мне и без валютных расходов становится ясно, какая дивная птица попугай и почему владельцы этих птиц вешают клетки не у своей каюты, а у моей. Но столь несправедливое отношение, разумеется, вызвано брюзгливостью сонного человека. Днем я с таким же удовольствием люблюсь попугаями,

как и их владельцы, и не отпускаю по их адресу никаких критических замечаний.

Двое других представителей корабельного птичьего царства живут под палубным трапом у третьего люка. Это императорские пингвины Ромео и Джульетта. В Австралии они были любимцами посетителей судна, вокруг них всегда толпились ребяташки, а птицы, совсем уже привыкшие к людям, не обращали на них никакого внимания. Они требуют много заботы, особенно теперь, с наступлением жары и приближением тропиков. Хоть они еще не испытывали настоящей жары, можно все-таки догадаться, как будет тяжело двум этим обитателям льдов в тропических широтах. До первой отечественной гавани ответственность за них возложена на Кричака, и ответственность эта связана со множеством беспокойств и хлопот. Для Ромео и Джульетты выстроен специальный маленький бассейн, в котором они купаются по нескольку раз в день. Жажду они утоляют не водой, а льдом. Кормят их мороженой рыбой и сибирскими пельменями. Кажется, они даже предпочитают последние. Несмотря на то что мы уже давно покинули зону антарктического климата, они все еще очень много едят. Отсюда и обильное количество помета, жидкого и желтого, убирать который не такое уж удовольствие.

Впрочем, все эти мелкие неприятности никак не смогли помешать пингвинам давно стать нашими всеобщими баловнями,— за их кормежкой всегда наблюдает с десяток любопытных, и если у птиц нет аппетита, то беспокоится не один Кричак, а и многие другие. У пингинов несколько задержался рост, но в общем они спокойны, дружелюбны, солидны и гуляют на палубе по одному и тому же маршруту, длиной в десять метров: впереди — более длинный Ромео, а позади — более низенькая Джульетта. Они, видно, привязаны друг к другу (у пингинов как будто очень устойчивые семейные отношения) и все о чем-то болтают между собой, только вот по неуклюжести, вызванной непривычностью обстановки, да по незнанию Шекспира, не разыгрывают сцен у балкона, хоть на корабле есть для этого богатые возможности. Они охотно принимают участие в утренней зарядке, которую проводит на третьем люке Фурдецкый.

Не думаю, чтобы им снилось что-нибудь, кроме льда.

13 МАРТА

Индийский океан

Наши координаты вечером — $33^{\circ}43'$ южной широты и $113^{\circ}35'$ восточной долготы. Юго-западный выступ Австралии остался в девяти с половиной милях на восток от нас, и теперь до самого Аденского залива мы нигде не увидим земли. На низкую, холмистую линию берега налег грудью темно-серый вечерний сумрак, погасив характерные блекло-желтые тона Австралии. А то, что еще не совсем скрыла сгушающаяся тьма, мешал разглядеть сильный огонь маяка, коловший глаза иглами своих лучей. У нас новый курс — 354, то есть почти норд. Потом мы сильно отклонимся на запад и пересечем экватор наискось.

На корабле вновь воцарился спокойный морской ритм штиля, — без выработавшегося ритма в океане не проживешь. Определяется он четырьмя элементами: преферансом, чтением, домино, а главное — работой. Играть в преферанс и в домино, читать и загорать — это в основном специальность трактористов и строителей, короче говоря, техников, которым не надо отчитываться в своей работе перед руководством экспедиции. А руководителям научных отрядов предстоит сдавать отчет об итогах своей работы, и поэтому они по несколько часов в день просиживают в каюте, пишут там, потеют, думают, чертыхаются и опять пишут. Трешников объявил, что тем, кто не сдаст в срок свои отчеты, грозит опасность просидеть без отпуска все лето в Москве или в Ленинграде, и это подействовало. Кинозал целиком и полностью заняли картографы, тут с утра до вечера наклеивают на карты аэрофото, постепенно создавая точную и выверенную картину прибрежного района Антарктики. Кричак часами сидит за пишущей машинкой, тем же занимается и ученый секретарь экспедиции Григорий Брегман, остальные же предпочитают писать от руки. Трешников, который требует многого с других, не дает пощады и самому себе, и когда ни пройдешь мимо его каюты, всегда видишь его склоненным над столом. Лишь изредка он появляется в курительном салоне, чтобы сыграть партию в домино.

Владимир Михайлович, мой сосед по каюте, пропадает с самого утра. Большую часть дня он проводит в столярной мастерской на носу корабля, потом рисует, потом читает где-нибудь на палубе в тихом уголке и,

если остается время, еще занимается с двумя своими друзьями английским языком.

«Мне нет покоя, мне нет покоя, мне нет покоя...»

Да, уж для такого человека, как Кунин, покой — это смерть. Его крючковатый орлиный нос молниеносно вынюхивает себе новое занятие, после чего Кунин скрывается на целый день в каком-нибудь из судовых помещений или в лабиринте мастерских. Тем не менее он и Кричак за обедом любят поговорить о том, что им неохота работать и что лень у них обоих, видно, врожденная. Я слушаю их с нескрываемой завистью и про себя думаю: «Вот бы и мне такую же «врожденную лень»!..» Ибо, несмотря на тесноту каюты, мысли тут во время штиля почему-то разбегаются во все стороны, океан рассеивает их и целиком поглощает. Временами я даже вижу, как под его безмятежную, зеркально-гладкую поверхность уходит вниз серебристой уклежкой удачная фраза, выразительное слово или половина строфы. Я чувствую, как океан высасывает из меня все содержимое, не давая ничего взамен, кроме правильного серебряного круга по вечерам и пылающего зеркала днем. То, что мы называем «сопротивлением материала», зримо встает передо мной плитняковой стеной. Все написанное раньше кажется неинтересным и серым, лишь задуманное кажется хорошим, но чтоб добраться до этого хорошего, надо пробиться хоть на шаг сквозь плитняковую стену «сопротивления материала».

Не знаю, справедливо это или несправедливо, но мне порой кажется, что многим из нас, из эстонских писателей младшего поколения, трудно решиться на этот шаг, такой неизбежный, а ведь без этого шага не может возникнуть нового качества и вообще нового. Это результат ложного отношения к своему воспитанию, к своей работе. Мы привыкли требовать и от читателей, и от критиков уважения и пиетета к труду писателя, к его таланту, к его удачам и даже неудачам, но сами часто не в состоянии взглянуть на свое произведение критическим взглядом человека со стороны, тем взглядом, какой бывает у нас в момент усталости и упадка, в моменты, когда мы наиболее строго и честно исправляем свою работу. Мы предъявляем требования к другим, но не к себе. И, очевидно, в этом одна из причин крайне малой продуктивности многих молодых писателей. Мы пишем: «строитель строит», «штукатур штукатурит», «рыбак рыбачит» и т. д. и т. п., и пишем об этом, как о самой

естественной вещи, пишем без всяких хитростей, ибо что может быть обыденней того, что рабочий работает? Но о том, что писатель пишет, что писатель заканчивает новое произведение, мы еще не привыкли говорить как о чем-то вполне нормальном и будничном. Нет, мы хотим, чтоб это всегда было окружено каким-то мерцающим ореолом, за которым мы зачастую пытаемся скрыть затаившееся творческое бесплодие, являющееся во многих случаях лишь результатом лени и благодушия, в чем, однако, мы не решаемся признаться. К ним я еще добавил бы «боязнь жизни», эту великую мастерицу фабриковать причины и поводы, выискивать виновных и прикрывать всяческими ширмами раздобревшее благодушие, эту полную даму с годовалым беби на руках, то есть Привередливостью, и с тещей, склонившейся у постели, то есть Обиженностью. А из-за ширмы порой выглядывает длинная жилистая физиономия Ее Величества Претензии. За пять лет — сборник стихов, за год — детская книжка в пол-листа или новелла, а если речь идет о критике, то пара рецензий, если их вообще не пишут лишь ко дню рождения. И мы довольны, мы подсчитываем все это и говорим, что литература идет вперед. Мне вспоминается, как во время войны один актер читал в Ярославле эстонскому художественному ансамблю свой реферат о построении коммунизма, особенно подчеркивая то обстоятельство, что при наступлении новой эпохи рабочий будет работать только два часа в день. И режиссер Каарель Ирд крикнул с места:

— И актер будет получать в год лишь по одной роли, а молодым и малоодаренным вообще ничего не дадут!

Оратора, говорят, очень огорчила такая перспектива.

Но, думается, мы нередко создаем для себя искусственный мир, искусственную эпоху двухчасового рабочего дня и кричим о несправедливости, если нас упрекают в том, что мы пишем мало, да нередко и плохо.

Не обижайтесь, ровесники и коллеги! Упреки этой иеремиады обращены мною прежде всего к самому себе, хоть при желании и нужде вы, конечно, и можете принять на свой счет то, что останется от моей доли. Меня огорчают и злят волны, глухо плещущие за бортом, вспышки маяка, все слабее озаряющие океан за кормой, и непередаваемое неотступно грызущее чувство бессидия и невыполненного долга.

Сильная волна в семь-восемь баллов, гул ветра. Готовим стенгазету ко дню выборов, то есть к 16 марта. Вернее, Кунин готовит. Текст уже наклеен, осталось написать шапку и заголовки да нарисовать карикатуры. Иные шаржи получаются очень удачными, особенно на участников экспедиции. Так как музыкальный салон сейчас полностью отдан в распоряжение ученых и составителей отчетов, мы расположились в красном уголке команды. Нас уже трижды пыталась выставить отсюда сердитая уборщица. Это пригожая девушка, архангельская красавица,— крепкая, но стройная, с красивыми руками и ногами, с синими и пронзительными, сейчас злыми глазами, с круглым лицом, с милым вздернутым носиком, усеянным веснушками. Она моет пол в кают-компании команды (являющейся одновременно столовой и красным уголком) и без передышки и всякого почтения ругает нас несколько часов подряд. Ругает нас негромко и разборчиво, ровным голосом. Все мы — я в качестве редактора, а Кунин с Фурдецким в качестве сотрудников — узнаём свою истинную цену: мы лодыри и мазилки, мы художники чертовы (слово «художники» в ее устах звучит как очень уничижительное), мы старые дурни и мусорщики, мы хулиганы и нахалы и т. д. и т. п. Поскольку мое участие в создании стенгазеты уже закончилось, я сижу молча, Фурецкий изредка вставит словечко-два, но это все равно, что подливать масло в огонь, а Кунин, наш вежливый и воспитанный, тихоголосый Кунин, бормочет под нос, раскрашивая какую-то карикатуру:

— О господи, разве мало на свете всякой дряни, что ты создал еще и женщин!

Это, кажется, слова Гоголя. Но архангельская красавица, не обращая ни на что внимания, продолжает ругать нас, и мне со своего места любо смотреть на нее: до чего же пригожая девушка! Как споро ее покрасневшие руки протирают мокрой тряпкой линолеум! А глаза ее, поглядывающие на «мазилку» из-под упавшей на лоб пряди и готовые испепелить нас, блещут и сверкают словно звезды. Порой она отшвыривает ногой стул, будто и тот принадлежит к компании «мусорщиков», делающих стенгазету, и выражается совсем уж по-мужски и весьма неместно для нас. Так как мы находимся на самой корме, наш стол сильно подбрасывает вверх и

вниз, иллюминаторы все время залиты водой. Краска на бумаге часто расплывается, и кисточка оставляет на ней непредвиденные полосы. Но архангелогородка не обращает внимания ни на качку, ни на ветер, ни на то, что уже с четверть часа ей никто не перечит, а знай поносит нашу четырехметровую (!) газету и нашу работу, которая должна перевоспитывать людей и, в частности, ее. Приятно слушать, как она разливается жаворонком, видеть ее гневные глаза и вспоминать, каким она бывает ангелом на танцевальных вечерах в музыкальном салоне.

Внезапно девушка, вытирающая тряпкой ножку стула, затихает, ее яростные движения становятся нежными, прядь, нависшая на глаза, исчезает под платком, и мы слышим ее дивный грудной голос, не для нас, очевидно, предназначенный. Этот берущий за душу голос поет:

Нет, я не брюнет,
Нет, я не поэт...

И что-то еще в том же роде про любовь и про клятвы.

В дверях появляется один из молодых участников экспедиции, брюнет с мощной шевелюрой и поэтическим взглядом. Девушка замечает его и, как бы оторопев, встает, поправляет китель, улыбается, любезно приносит нам пепельницу, которую мы давно выпрашивали, и просит не бросать окурки на пол. Молодые люди беседуют о чем-то в дверях. Насколько я слышу, словарь архангелогородки порядком усох, утратил свою сочность, мужественность, образность — теперь все ее выражения тщательно отобраны и литературны. А высокий брюнет, на время избавивший нас от роли «мусорщиков», лишь повторяет все время то умоляюще, то ласково, то с легким упреком:

— Дуня, Дунечка!

Но под китем Дунечки уже обрисовались еле заметные белые крылышки. Ее глаза мягко сияют, ее голос мелодичен и нежен. Все та же вечная повседневная история с бабочкой, выпархивающей из кокона и расправляющей свои яркие пестрые крылья. Только что мы видели небольшого крокодила, и вдруг...

Меня ты — я верю в чудо! —
На ласковых крыльях своих
В рай вознесешь, откуда
Мне падать так высоко,

Они долго шепчутся, с тихим шелестом пролетают по качающейся кают-компании имена Дуни и Толи. Кунин и Фурдецкий пишут заголовки, а я с нетерпением жду того момента, когда девушка снова взглянет на нас тигрицей и примется объяснять нам, какой мы тяжкий крест для ее красивой шеи. Но этот момент так и не наступает. Толя уходит, а Дуня остается все такой же доброй, как и была. Она больше не придирается к нам и даже, взглянув на кунинские карикатуры, хвалит их. По просьбе Владимира Михайловича она приносит ему из кухни воды для акварельных красок, за которой мне приходилось ходить в среднюю часть корабля,—Дуня не давала нам ни капельки.

За наружной переборкой ветер в шесть-семь баллов. Но океан в душе Дуни солнечен и гладок, словно зеркало.

Удивительно!

16 МАРТА

День выборов в Верховный Совет. «Кооперация» приписана к мурманскому порту, и мы голосуем за тех же кандидатов, что и тамошние избирательные участки. Биографии кандидатов нам были переданы по радио.

Мы все успели проголосовать до семи утра. И на корабле воцарилось праздничное спокойствие, более торжественное, чем когда-либо. На баке полным-полно людей — кто загорает, кто просто смотрит на воду, кто во что-то играет. Вечером в музыкальном салоне танцы. По желанию наиболее молодых участников экспедиции и женского персонала танцы устраиваются дважды в неделю и обычно — на задней палубе. Танцующих бывает мало, зрителей — много.

Днем сидел у летчиков. Там были Фурдецкий и старый полярный летчик Каминский, бортмеханики и радисты. Каминский — человек старше пятидесяти, с наголо остриженной головой и широким костистым лицом. Годы изрезали его лицо морщинами, схожими со следами резца на дубовом дереве, взгляд его синих глаз молот и спокоен. При чтении он пользуется очками. Читает он страшно много, читает целыми днями, вдумчиво, неторопливо, возвращаясь время от времени к уже прочитанным страницам. Он любит спорить о литературе, о книгах.

Сейчас по кораблю ходит из рук в руки «Битва в пути» Галины Николаевой, об этой вещи идут споры и в каютах и на палубах. Каминский подготавливает конференцию по этому произведению, которая, очевидно, состоится лишь в Красном море. Не знаю, что получится из конференции. Почти все здесь — люди техники, в той или иной степени соприкасавшиеся с конструированием сложных машин и приборов, с вопросами их практического использования. В происходящих спорах на первый план всегда выступают технические проблемы, вопрос о точном описании производственных процессов. Человеческие проблемы, страсти людей, их слабости и достоинства — все это мелькает где-то на заднем плане. Но уж когда добираются и до этого, то выясняется, что почти все участники экспедиции, и молодые и старые, предъявляют литературному герою очень большие требования и не прощают ему ничего. Они хотят, чтоб герой был чистым, чтоб он был деятельным и чтоб он не боялся риска. В море с человека спрашивают больше, чем на суше, а в экспедиции — еще больше, чем в море. Эта требовательность неизбежно переносится и на литературу, причем особенной силы и чистоты требуют от героинь. И порой их с особенной легкостью наделяют прозвищами «бабочек», а то и какими похуже.

Я упомянул героя, не боящегося риска. Это наш всеобщий любимец, к нему наиболее снисходительны. И не очень придираются к целям, которые ведут его вперед, к побуждениям его действий. Здесь особый класс, разумеется, составляют полярные исследователи: Амундсен, Нансен, Скотт, седовцы, четверка папанинцев, Чкалов, Громов, Берд, Моусон. Это знаменитые коллеги по странствиям во льдах и надо льдами. Но стоящий народ и тюленеловы Южного Ледовитого океана, многие из которых побывали на Крайнем Юге раньше признанных первооткрывателей, — они лишь подделывали записи в судовых журналах, чтобы утаить места лова. Стоящий народ и португальские капитаны, которые в погоне за перцем открывали новые острова и пополняли карту мира, — эти, правда, были не прочь из-за мешка перцу и перерезать глотку своему конкуренту. Такие могли из-за пустяка вздернуть матроса на рею — нравом они были страшнейшие деспоты, но история забывает о повешенных матросах и увенчивает охотника за перцем лавровым венком первооткрывателя. Похоже, что ставить так высоко людей риска заставляет полярников, летчи-

ков и моряков их профессия, да и сходство их характеров с характерами смельчаков прошлого.

Мы беседуем о самой ходовой книге из судовой библиотеки, которую по прочтении молча откладываем в сторону и которая глубоко потрясла нас своим суровым документализмом и духом отчаянного, бессмысленного риска. Это книга командира японской подводной лодки: «Потопленные. Японский подводный флот в войне 1941—1945 гг.». Автор ее принадлежит к числу тех немногих командиров японских подводных лодок, которые остались в живых после войны с Америкой. Американцы потопили фактически весь подводный флот Японии. И «Потопленные» — не что иное, как хронологический перечень гибелей, история бессмысленной гонки со смертью, обвинительный акт против адмиралтейства Японии. В начале войны японский подводный флот был уже устаревшим, отсталым, и во время войны его заставляли выполнять невыполнимые операции. С его помощью пытались снабжать японские гарнизоны на островах Тихого океана, блокированных морскими и воздушными вооруженными силами Америки. Мешки риса посылали к берегу из торпедных аппаратов. Строились подводные авианосцы для бомбежки Панамского канала, но при этом они не снабжались радарными установками, уже имевшимися в Японии. Японские подводные лодки дважды огибали мыс Доброй Надежды, пересекали «ревушие сороковые» Атлантического океана, добирались до европейских вод и встречались на немецких базах у берегов Франции с немецкими субмаринами. Это был смелый шаг смелых командиров и моряков. Но наиболее потрясает в «Потопленных» глава о людях-торпедах, которые появились в Японии перед ее разгромом. Ни один человек, выпущенный из специального торпедного аппарата, не вернулся назад, у нас нет никаких сведений о переживаниях этих обреченных. Пойти на этот шаг могла только Япония, только японцы. За таким поступком должно скрываться какое-то непонятное для нас отношение к жизни и убеждение самоубийцы, осознавшего предстоящий конец, что иначе быть не может. Людей-торпед обучали в особых школах, после окончания которых они получали специальную форму и жили как завтрашние мертвецы. Затем они попадали на подводные лодки, забирались в подходящий момент в торпеды, и последнее, что они успевали крикнуть по радиотелефону, было: «Да здравствует император!»

Вся книга пронизана фатальным спокойствием автора, он спокойно перечисляет имена погибших товарищей и номера не вернувшихся на базу лодок. По манере письма это самая бесстрастная и самая угнетающая книга. Но мы *признаем* ее. Почему? Отчаянный риск, постоянное устремление к безнадежному исходу — в этом-то и состоит ее очарование, подобное гипнозу змеиного взгляда.

За свою долгую летную жизнь Каминский налетал сотни тысяч километров надо льдом, он повидал и пережил все, что можно повидать и пережить в таких полетах. Я знаю, что он пишет дневник, который очень объемист и наверняка очень богат фактами. Меня интересует, понимает ли он, что является одним из самых чистых, самых деятельных героев, не боящихся риска. Видимо, не понимает. Его жизнь, прошлая и настоящая, кажется ему такой же естественной, как хлеб на столе, как воздух вокруг него и под его крыльями.

18 МАРТА

Почти во всяком коллективе существуют свои скрытые противоречия, свои лагеря, борьба убеждений, трения вкусов и характеров. Они наверняка имеются и среди отдельных наших ученых, — здесь-то и таятся самые запутанные и в то же время самые скрытые подводные течения.

Но в этой тихой и бескровной войне наиболее отчетливо выделяются две группы противников: болельщики «Спартака» и болельщики «Динамо». Меня еще в Мирном и даже в глубине Антарктиды поразило то, что одни трактора были украшены вымпелами «Спартака», а другие вымпелами «Динамо». Поразили однажды лица людей, когда я, спровоцированный ими на разговор, превознес *не их* общество. Впоследствии из-за этой двусмысленной позиции, из-за этой непричастности к какому-либо стану я не раз оказывался в мучительном положении. Дабы найти выход, я вступил в таллинский «Калев», — разумеется, не форменным образом и не уведомляя об этом руководителей общества. Я мудро предпочел «Калев» таллинскому «Динамо» и таллинскому «Спартаку», так как наименования последних неминуемо втянули бы меня в тот или иной лагерь. А в «Трудовые резервы» я не вступил потому, что это название (но не само общество!) кажется мне совершенно невозмож-

ным. Вы только подумайте: «Трудовые резервы»! Это название делает человека если не нулем, так цифрой, превращает его в единицу, лишённую индивидуальности и характера, почти отождествляет его с механизмом. Когда я вижу фабричную молодежь, идущую строем по вечернему Таллину — часто в плохо пригнанных и всегда мрачных шинелях черного цвета, как бы съедающего молодость этих ребят и превращающего их всех в однообразные унылые фигуры, — то меня каждый раз больно колет это словосочетание — «Трудовые резервы». А ведь я знаю, какие умелые руки у этих парней и девушек в грубых шинелях, какие жадные к науке головы у этих ребят в форменных фуражках. Чудесный народ, наш завтрашний день! Но неужели же это только трудовые резервы, только человеческий материал? Меня бы, во всяком случае, обидело, если кто-нибудь назвал бы меня так же, как называют этих молодых ребят, и сказал бы: «Ах, Смуул? Знаю, знаю, он теперь — „трудовой резерв“!».

Вот по каким соображениям я выбрал таллинский «Калев».

— Нашему «Динамо» — ура! — крикнул мой старый друг Владимир Гаврилов, выиграв партию в домино и обменявшись долгим, крепким и демонстративным рукопожатием со своим партнёром, тоже динамовцем.

— Случайность! Судьба играет человеком! — И один из проигравших, товарищ Гаврилова по каюте Игорь Тихомиров, страстный болельщик «Спартака», не сумев скрыть огорчения, вздохнул.

— Случайность? — весело воскликнул Гаврилов. — Какая же это случайность? «Динамо» всегда вас било и будет бить. Bravo, «Динамо»! Дрожи, Европа! Мы — это сила!

Не существует более близких друзей и более кровных врагов, чем Владимир Гаврилов и Игорь Тихомиров. Оба являются врачами экспедиции. Тихомиров — врач по внутренним болезням, Гаврилов — стоматолог. Гаврилов работал врачом и поваром на Востоке с самого основания этой станции. А Тихомиров работал в Мирном, но вместе с тракторным поездом тоже побывал на Востоке в качестве врача-повара. Лишь на тракторах он наездил по антарктическому льду около четырех тысяч километров.

Не найти более непохожих друг на друга по внешности людей. Гаврилов маленький и плотный, он ходит

в очках с круглыми стеклами, сквозь которые смотрят на вас карие глаза,— в их остром, живом и любопытном взгляде есть что-то птичье. У него круглое лицо, энергичный нос, а сам он для своего роста невероятно силен. Своей железной рукой он порой убеждает в ударной мощи «Динамо» тех, кто в ней сомневается. Почтительный страх перед его силой и вынудил меня срочно назваться патриотом «Калева».

Гаврилов темпераментный спорщик, почему-то старающийся казаться скептиком. Если кто-то излишне в чем-то уверен, если кто-нибудь хвастается, он обычно бросает свое всеисчерпывающее — вернее, всеотрицающее:

— Горлопан!

Но в собственной правоте он не усомнится. Нет, он скорей распалится, его и без того звонкий голос поднимется совсем на верха, а глаза начнут метать молнии.

Игорь Тихомиров высок, спокоен, обстоятелен, задумчив. Он много читает, как и Гаврилов, но его мнение о прочитанном заставляет смиряться даже задиристого Гаврилова. Одна бровь у Тихомирова всегда приподнята, и это придает его лицу что-то мефистофельское. В раж его привести трудно, но когда уж приведешь, то надолго. Если в споре была затронута общечеловеческая проблема (а Тихомиров всегда затрагивает более обширные, космические проблемы) и он не сумел убедить противника, то рубит плеча:

— Совести у тебя нет! У тебя вместо совести...— поясняет, чем заменена у противника совесть.

Мне он несколько раз говорил предостерегающе, в тех, разумеется, случаях, когда я с ним спорил:

— Я тебя научу любить свободу!

Для независимого и любящего свободу Тихомирова это самая страшная угроза,— фразу эту он в разных обстоятельствах произносит по-разному, но всегда весомо.

Когда проходишь мимо их каюты и заглядываешь к ним в иллюминатор, то часто видишь Игоря на койке с книгой на груди. Сложив руки под головой, он сосредоточенно о чем-то думает, а сидящий напротив Гаврилов изо всех сил старается отвлечь своего друга от бесплодного теоретизирования и втянуть его в деловую дискуссию.

— Видишь! — говорит он.— Думает! И о чем ему думать?

— Не мешай! — машет на него рукой Тихомиров и все-таки приподнимается.

— Знаешь, над чем он думает? — спрашивает меня Гаврилов. — Над новой теорией игры в домино. Ночи напролет не спит. Хочет понять, почему он проиграл вчера и проиграет завтра. Да уж что поделаешь? Раз «Спартак» — приходится проигрывать. Слабая командочка...

И тут начинается.

В конце концов они появляются в курительном салоне, усаживаются за стол и начинают стучать костями. В виде исключения они иногда играют вместе, временно забыв о соперничестве «Спартак» и «Динамо». Гаврилов играет темпераментно и рискованно, Тихомиров — молчаливо и расчетливо. После того как они выигрывают, Тихомиров говорит:

— Я вас научу любить свободу!

А Гаврилов доказывает, что оба они, два друга из каюты № 107, стали бы чемпионами «Кооперации», если бы цвета их обществ позволяли им всегда играть вместе. Динамовцы — они, конечно, крепче, но для «Спартак» и такой игрок, как Игорь...

И тут снова начинается...

Дивная погода. Сегодня вторично пересекли тропик Козерога под $98^{\circ}50'$ восточной долготы и вошли в тропики. Снова они перед нами — на этот раз в Индийском океане. Предстоят жаркие дни.

А далеко от нас, почти по прямой на юг, начинается владычество зимы. Вчера на Востоке было 67° ниже нуля. И это в начале зимы.

20 МАРТА

Быстро становится все жарче. Скорость приличная — нам помогает юго-восточный пассат. Еще в начале обратного рейса капитан Янцелевич проявил такую предупредительность, что разрешил мне бывать на командном мостике и в машинном отделении. На экспедиционном корабле это самые тихие места. Командный мостик кажется особенно изолированным от остального мира — беспокойного, говорливого и непоседливого, то есть от нижних палуб. Тут редко увидишь кого-нибудь, кроме рулевого и членов командования корабля. И, войдя в дверь командного мостика, сам тоже притихаешь.

Я обычно прихожу сюда после двух дня. Сквозь узкую дверь, расположенную слева от штурвального и ведущую в штурманскую рубку, видишь седую голову Анатолия Савельевича, склонившегося над морскими картами. К этому времени он обычно заканчивает свои полуденные вычисления и отправляется потом в свою каюту или идет к машинистам. Здесь больше всего забот: дизели «Кооперации» стали слишком уж часто отказывать, детали изнашивались и постарели, недостатки ремонта, произведенного перед рейсом, дают о себе знать каждый день. И когда океан, как сейчас, спокоен, Анатолий Савельевич показывается на мостике сравнительно редко. Придет, обменяется со штурманами несколькими короткими и скупыми фразами, «снимет солнце» своим личным секстаном, чтобы проверить вычисления, склонится на полчаса над картой, производя расчеты, может быть, внесет в курс небольшой корректив, а потом уже на мостике остаются одни «Анатолии», как мы дружески именуем всех штурманов «Кооперации». Старшего помощника зовут Анатолием, третьего помощника — тоже Анатолием, а четвертый, Окороков, — так и вовсе Анатолий Анатольевич. Но зато где-нибудь в Южном Ледовитом или Северном Ледовитом океане и всюду, где нужен большой опыт капитана дальнего плавания, капитана ледовых морей, Анатолий Янцелевич простаивает на мостике по десять часов кряду. Из всех капитанов, которых мне посчастливилось видеть, он один из самых удачливых, самых умудренных, самых спокойных и самых замкнутых. И, безусловно, один из самых суровых. Но последнее проявляется лишь по отношению к вверенному ему экипажу, но не к экспедиции.

Анатолий Савельевич оставляет свои карты. И примерно в то же самое время, что и каждый день, из штурманской рубки выходит второй помощник, единственный не Анатолий, Венямин Николаевич Красноюрченко. Его вахта продолжается с двенадцати до четырех дня. Венямин Николаевич приносит судовой журнал. Я списываю оттуда данные о нашем местоположении в полдень, о курсе, о температуре воды и воздуха, о силе и направлении ветра, о скорости судна, о пройденном за сутки расстоянии. Каждый день я пытаюсь обнаружить в записях что-нибудь необычное, но найти такое в судовом журнале более чем затруднительно. «Вахта сдана», «вахта принята»... Шесть раз в сутки, как

и положено, меняются при смене вахт почерки. И больше ничего, кроме цифр, что обозначают номера восточных меридианов и постепенно уменьшающиеся номера южных параллелей да слабые колебания в скорости ветра и силе волн. И все же здесь вся история судна, его людей, его рейсов. Но сколько мне придется еще бродяжить и учиться, прежде чем я сумею читать эту суровую поэму, постигать ее скупую красоту!..

Мы тихо разговариваем о погоде и о море, штурвальный неторопливо переводит рычаг (на «Кооперации» нет штурвала) то влево, то вправо, стрелка гирокомпаса перемещается как бы нехотя, но все же его показания более убедительны, чем показания магнитного компаса. Из открытых дверей и больших окон струится ровный и сильный свет, свет океана, озаряющий впереди, за носом корабля, бесконечную, тянущуюся до самого горизонта даль. Летающие рыбы оставляют на спокойной воде длинные полосы. Не видно ни одной птицы. Очертания облаков мятежны и фантастичны. А перед носом разбегаются волны, каждый день новые и все-таки те же самые. Лишь это да еще ровное биение винта говорит о том, что мы движемся.

В штурманской рубке пройденные расстояния становятся зримыми. Измеришь циркулем оставленную позади дорогу и увидишь, как наш курс перерезает наискось долготы и широты,— его черная черта, узкая и острая, кажется на белой карте летящей стрелой. Один конец длинной линейки упирается в пункт, рядом с которым написано каллиграфическим почерком «20.III.58, 12.00», а другой — в беспорядочно разбросанные точки кораллового архипелага Чагос, извилисто-вытянутого к северу. Самописец автоматически заносит на бумагу пройденный путь, а в упор на меня смотрит своим зеленым, сейчас потухшим глазом экран радиолокатора.

Тишина.

22 МАРТА

Координаты в полдень — $13^{\circ}50'$ южной широты и $85^{\circ}20'$ восточной долготы. Температура воды плюс 29 градусов, воздуха — плюс 28 градусов. Все тот же пассат с юго-востока. Скорость — десять узлов. В каюте душно и сыро. Почти все обитатели третьего класса перебрались на палубу. Над первым трюмом — большой

брезентовый тент, над вторым — два тента, натянутые на круглые металлические решетки. Под навесами немного прохладнее, чем в каютах. Попугаи чувствуют себя хорошо, о чем и сообщают нам еще ранним утром громкими пронзительными голосами. Работа не ладится. Не только у меня, но и у других, хотя кое-кто из экспедиции ежедневно потеет положенное количество часов над своими отчетами.

23 МАРТА

В Атлантике на той же широте было гораздо прохладнее. Правда, здесь часто идут дожди (в год здесь выпадает три тысячи миллиметров осадков), но освежают они лишь на минуту. Слабого попутного пассата вообще не чувствуешь, хоть он и увеличивает нашу скорость на добрых пол-узла. Все жалуются на то, что мозги не работают. Людям прохладных широт нелегко в этой большой, глубокой и бескрайней ванне с синей водой, то есть в части Индийского океана, находящейся между тропиками Рака и Козерога. Все до отворачивания теплое: воздух, вода в графинах и в бассейне и даже окрошка. Почти никто уже не восхищается синевой океана и устойчивостью хорошей погоды. Все мечтают о холодном пиве.

Вечером мы с Куниным смотрим фильм из спасательной шлюпки № 5. Тут ближе к небу и к звездам. Сегодня мы заметили, что Южный Крест уже довольно сильно опустился вниз, а над океаном повисла Большая Медведица. Еще дня два — и мы увидим Полярную звезду. Ночи очень темные, а тропические звезды — яркие. Весь вечер над океаном сверкали молнии. Грома мы не слышали, но молнии вспыхивали на горизонте словно распускающиеся огненные цветы. Казалось, они появляются не сверху, а снизу — из воды.

24 МАРТА

Координаты — $8^{\circ}30'$ южной широты и $78^{\circ}50'$ восточной долготы. У меня те же самые желания, что и у молодой зреющей ржи: поменьше бы пекло и побольше воды! Но душ закрыт — какой-то механизм испортился.

Жара. К счастью, с севера подул слабый ветерок. Океан гладкий и ослепительно синий. Дня через два мы пересечем экватор, но полоса безмолвия, вероятно, оборвется лишь параллели на десятой. По палубе больно ходить босиком — даже дерево горячее, а железные ступеньки трапов просто обжигают кожу. Ромео и Джульетта не выходят из-под трапа, они потеряли аппетит. Их полураскрытые клювы опущены на грудь. Джульетта похожа на молящуюся монахиню.

Провел полчаса в машинном отделении. Работают оба дизеля. Даже спускаясь сюда с палубы, над которой пылает солнце, чувствуешь, будто попал в преддверье ада. Корпус корабля излучает теплоту океанской воды, к этому присоединяется жар машин, жар их больших металлических масс, запах горячего масла и ровный, монотонный гул. Тут все горячее — и железные перила, и содрогающийся металлический пол, и само помещение, оплетенное гигантскими трубами и всякими проводами. Оно вытянуто от палубы до дна корабля словно колодец. Самая тяжелая и изнурительная жизнь в тропиках — у мотористов.

Когда смотришь на «Кооперацию» с прогулочной палубы, с места над каютами второго и третьего класса, наш красивый корабль кажется похожим на дикобраза. Из каждого иллюминатора торчит либо фанера, либо лист жести, либо толстый картон, согнутые полуцилиндром. Это самодельная вентиляция кают. Вид получается не очень-то красивый, но он почему-то отлично гармонирует с шатрами на палубе, с нашим несколько цыганским укладом жизни. Новейшая система охлаждения работает хорошо, но боцман и Кунин проклинают ее: стоит лишь выпустить из виду какой-нибудь кусок жести или фанеры, как он бесследно исчезает.

Из числа команды больше всего соприкасается с участниками экспедиции старший помощник капитана Анатолий Доня. Ему предъявляют претензии относительно питания, воды, бани и прочих вещей. Старпом является своего рода буфером между командованием корабля и экспедицией. Эта роль не из легких, ибо если столom все довольны, то положением с водой — не очень. И когда у «Кооперации» останавливается один дизель и скорость падает, старпому приходится выслушивать много неприятного. Люди ходят злые и нахохлившие-

ся, — они приходят в бешенство при взгляде на слабую, еле видную килевую струю. Даже самые спокойные порой взрываются. Безжизненный корабль поносят, словно надоевшую тещу. Доня равнодушно выслушивает поношения, и разъяренный товарищ отходит от него, несколько утешившись: пускай его слова не облегчат механикам их тяжелого труда и не увеличат скорость, но он все же сказал все, что думает.

Анатолий Доня — сердечный человек и хороший товарищ. Почти все зовут его либо просто по имени, либо «Старшим», подразумевая его должность старшего помощника. Много вечеров я просидел в просторной каюте Дони, беседуя о морях, о плаваниях, о нас самих и о своих планах. Благодаря зеленому абажуру всю каюту — и вещи, и стены, и углы, и нас самих — окутывает мягкая полутьма, делающая помещение обширным и таинственным. Лишь на круглый стол падает яркий свет. После отплытия из Австралии нашим третьим компаньоном всегда бывал маленький попугай Дони, которого он вез в подарок своей дочери. Попугай свободно летал по каюте, вертелся на проволоке, специально для него натянутой, и придавал всей обстановке что-то очень домашнее. Доня баловал птицу (она была из мелкой породы попугайчиков с приятным голосом), которая уже нередко садилась к нему на палец и принималась щебетать.

Сегодня Доня пришел в мою каюту, уселся и чуть ли не четверть часа мрачно молчал. Сколько я помнил, ни одна претензия по службе не приводила его в такое расстройство.

— Удрал... — сказал он наконец убитым голосом.

— Кто удрал?

— Попугай. Австралиец.

— Как же?

— Из иллюминатора.

Доня всегда затягивал открытый иллюминатор марлей, но на этот раз он забыл так сделать. Не прошло и полчаса, как красивая птица улетела в океан. Но даже до самой ближайшей земли, до архипелага Чагос, отсюда слишком далеко, чтобы птица смогла туда долететь. Пропадет попугай. И это больше всего нас огорчает.

Между прочим, вечерний выпуск радиогазеты откликнулся на это событие длинным некрологом, в котором были перечислены благородные душевные свойства

и заслуги ушедшего и выражалось соболезнование всего коллектива владельцу попугая, а также и австралийским родственникам пропавшего без вести. Прочел некролог благоговейным траурным голосом диктор Кричак.

26 МАРТА

Хенрик В. ван Лоон, автор превосходной книги «Моря и люди», начинает свой труд такими словами:

«История мореплаваний — это мартиролог человечества, причем на этот раз камеры пыток, которым подвергались люди, бросившие вызов богам Времени и Пространства, были названы кораблями».

Душно, жарко. Вода совсем как зеркало, нет и намека на ветер. Весь день работает лишь один дизель. Тащимся со скоростью семи миль в час. Здесь, в этой полосе безмолвия, Индийский океан наиболее безжизненный: ни одной птицы, ни одного судна, ни одного дымка на горизонте. Водяная пустыня — синяя, огромная и жаркая. Цветы в горшках, подаренные Кунину в Австралии, вянут на глазах, и мы не знаем, что предпринять для их спасения. Потеет без конца.

Но когда я в состоянии думать, мне становится ясно, какой это подарок — увидеть и этот лик океана.

28 МАРТА

В 7.21 пересекли экватор под $68^{\circ}10'$ восточной долготы и перебрались в северное полушарие. Сирена «Кооперация» мощным троекратным ревом попрощалась с южным полушарием. Большая часть участников возвращавшейся экспедиции последний раз была в северных широтах в ноябре 1956 года, то есть почти полтора года назад. Для них возвращение под звезды Большой Медведицы — волнующее событие. Ночное небо, которое с каждым вечером становится все более знакомым, порождает и у меня чувство близости к дому, хотя воды, которые лежат за форштевнем — Аденский залив, Красное, Средиземное и Черное моря, — для меня чужие и незнакомые. Но видеть те же звезды!.. Как поется в финской народной песне:

Ты — далеко, в родном краю, а я
Беду на чужбине...

Нам вместе только и смотреть
На звезды в небе синем...

Но я даже и тех же самых звезд так долго не видел.

Я мечтаю о прохладной и серой воде эстонских проливов, о деревенских праздниках и о том, что воспевал премудрый Соломон в своей «Песни песней». Душа моя, просолившаяся, как салака, устремляется к звездам. Но — стоп!

После обеда встретили первый после Австралии корабль. Это был большой и низкий дизель-электроход, под его форштевнем развевались пышные пенистые усы, вероятно, его скорость была четырнадцать-пятнадцать узлов. Нам, верно, еще не раз придется с завистью глядеть на быстроходные суда. Много позднее видели еще целую стаю птиц и больших летающих рыб. Уже несколько дней, как они нам попадают, но рыбки до сих пор были крошечные, словно кильки. Они летят над водой долго, совсем как птицы, чешуя их красиво переливается на солнце. А по правому борту резвилось большое дельфинье стадо, — затем, взбаламутив воду, оно исчезло вдали.

Очень тихо и очень жарко. Океан словно отполированная сталь, он отражает и облака, и растопыренные плавники да сверкающие грудки летучих рыб. Лишь вода за кормой «Кооперации» покрыта беспокойной рябью.

31 МАРТА

Я читаю:

Гибельный рок
Лица с печатью тайны,
Хап, караван,
Журчащий фонтан.
На ножах танцует султанша,
Магараджа и падишах,
Тысячелетний шах,
Бледный месяц над минаретами,
Рыжие, крашенные хной красавицы
Возлежат на пестрых коврах,
Плач муэдзина,
Сладкий яд опиума —
Вот вам Восток во французском романе,
Вот вам Восток в вашей фальшивой раме,
Размноженный миллионными тиражами.

Это строки из стихотворения Назыма Хикмета «Пьер Лоти» («Восток и запад»). Они вспомнились мне сегодня, когда я разозлился на океан, на правильный круг безжизненной воды, на пустынное, высокое и яркое небо над ним, на корабль, где на командном мостике счетчик показывает сто пятнадцать оборотов винта в минуту, а лаг — девять с половиной узлов, на самого себя, потому что жара и безмолвие не только нависли над океаном и раскаленной палубой, не только наполнили каюту серо-голубой тоской, но и стали единственной темой моих мыслей, стали для меня единственной неопровержимой реальностью, на которую можно было разозлиться. Произошло это явно потому, что где-то в тайниках души я все же окружил тропический Индийский океан ложным ореолом, но тут этот ореол рассеялся как дым. Ох, море, море! На суше мы обшиваем его блестящими и лентами, подобно Пьеру Лоти, идеализирующему Восток, обвешиваем бубенцами и погремушками, подкрашиваем его, словно боимся увидеть лицо моря без косметики. Дня через два слева от нас появится Африка, а справа Аравия — «хан, караван». На восток же от нас останется Аравийское море, через которое плыл мятежный паломничий корабль «Патна», корабль из книги Конрада «Лорд Джим», одной из самых моих любимых. Какая монотонность! Я вспоминаю о неделях, проведенных на лове сельди в Северной Атлантике, и мне кажется, что ни разу океан там не был таким мертвым. Вспоминаю, как мы в промасленных куртках, накинутых на сырые, пропахшие сельдью спецовки, бродили, шатаюсь, по узеньким коридорчикам во время трехдневного шторма, заставшего нас где-то между Исландией и Ян-Майеном, вспоминаю, как наш траулер так мотало, подкидывало и бросало, что даже нельзя было понять, какого типа волны нас треплют. Да, там было нелегко, — мне с непривычки особенно, — но здесь, в этой части Индийского океана, куда тяжелее, душевно тяжелее. Кажется, что в океане, в этом вместилище полной неподвижности, на глазах у тебя сплавилось воедино множество безвестных людских судеб, серых и будничных. И никакая дрожь не возмутит это море времени, никакая значительная радость, никакая значительная страсть, никакое чувство — даже глубокое отчаяние.

По-видимому, это раздражающее спокойствие океана действует не только на меня. Многие участники экспедиции, скрыто переживающие сильную тоску по дому,

говорят, что сыты морем по горло. Как только один дизель «Кооперации» прекращает работать (а случается это часто) и скорость корабля падает, раздаются яростные возгласы. Господи, каравеллы Колумба делали по четырнадцать узлов, парусники, возившие чай,— по семнадцать, а мы зачастую тащимся по свинцовой простыне океана со скоростью в шесть-семь узлов. И это во второй половине двадцатого века, когда где-то там, в выгоревшей высоте, наши луноиды мчатся со скоростью восьми тысяч метров в секунду!

Пялимся на океан. Занятно, до чего красивые слова о море я слышал от людей из глубин материка, впервые увидевших Таллинский залив с подножия памятника «Русалки». В то же время в словаре моих друзей-рыбаков, располагающем оценками самых разных вещей, нет ни одного выражения, характеризующего красоту моря. Тут найдутся хорошие и красивые слова и о женщинах, и о полях, и о хлебах, и о лесе, и обо всем, что обычно закрывает горизонт,— такие слова, рядом с которыми любое литературное сравнение покажется бледным. Но море, бурное или тихое, кажется особенно беспощадным тем, кто плывет домой и перед кем расстилается его бесконечный с виду простор, ненасытно и равнодушно проглатывающий день за днем. Тоска по дому делает нас несправедливыми по отношению к океану и к кораблю.

Вечер. По правому борту, милях в полтора от «Кооперации», движется корабль. Наверно, он прошел через Суэц и направляется в Австралию. Он точно такого же цвета, как и серые облака над водой, и кажется их клочком. Две его мачты похожи на спички, на вершинах которых виднеются две безмолвные и неподвижные точки белых огней. Чудится, будто этот корабль нагружен Временем и Пространством, столь нам враждебными.

2 АПРЕЛЯ

Все-таки вышли на большую дорогу...

Утром, часов в шесть, увидели первую после Австралии землю. Это африканский материк, Итальянское Сомали, мыс Гвардафуй. «Кооперация» обогнула его полукругом и вошла в Аденский залив. Прощай, океан! Или до свидания? Кто знает? Я писал и думал о нем несправедливо. Конечно, океану все равно — от моих слов и

мыслей он не станет ни лучше, ни хуже, не вздумает на меня обижаться. Он велик — велик и в спокойствии и в гневе. Вспоминается мудрый Платон, его «учение о душах». По мнению Платона, в «колесницу души» запряжено два коня — конь мужественности и конь вождления. А в колеснице восседает разум. К сожалению (это мы очень хорошо знаем по описанию мореплавателей), в океане и конь мужественности, и конь вождления самовольно забираются в колесницу, запрягают вместо себя разум и начинают его подхлестывать. И тогда мы уже не можем смотреть на океан с тем же спокойствием, с каким он глядит на нас. Эти мудрые строки будут моим прощальным словом к Индийскому океану.

По левому борту, уже исчезая в мерцающей дымке зноя, тянется Сомали. Около маяка, расположенного на самом верху мыса Гвардафуй, оно было совсем близко от нас — в километре, в полутора. Бурые, светло-бурые, местами бледно-желтые скалы, лишённые растительности и влаги. Они круто обрываются в море, и их раскаляет солнце. Между скал к синей воде спускаются низкие, безжизненные и бесцветные долины, занесенные песком пустыни и похожие на реки или на языки глетчеров. Ни одной рыбацкой лодки, ни одного дома, ни одной живой души на этом одиноком и грустном берегу. На фоне бурой, освещенной солнцем скалы показывается высоко выпрыгнувшая из воды рыба, с плеском она падает обратно — наверно, в подстерегающую ее пасть.

Кораблей здесь больше. Но Аденский залив достаточно широк, чтобы какие-то из них оказались за горизонтом. Мы видим лишь те, которые направляются в Австралию или идут вдоль восточного берега Африки на юг.

Видим первых акул. Они, правда, лишены всякой агрессивности и, проплыв некоторое время перед кораблем, исчезают. Безобразная все-таки рыба. Эта тупоконечная голова обжоры, эта грязная окраска и наглые движения! Невольно крепче вцепляешься в поручни. Птиц здесь больше, но все же не так много, как могло бы быть вблизи от берегов. По воде плавают зеленые водоросли, очевидно оторвавшиеся ото дна.

После долгого перерыва ветер вновь становится по-прохладнее. И впервые после экватора вода в бассейне опять начинает освежать — 24 градуса. Температура воздуха 27 градусов.

С сегодняшнего дня живем по московскому времени. В течение рейса из Австралии у нас было шесть двадцатипятичасовых суток: аделаидское время на шесть часов опережает московское. Теперь мы будем придерживаться московского времени и на порт-саидской, и на александрийской, и на дарданелльской, и на одесской долготе. Все-таки хоть что-то устойчивое.

4 АПРЕЛЯ

Утром прошли Баб-эль-Мандебский пролив и вошли в Красное море. Слева от нас Африка, справа — полуостров Аравия. Наконец-то небольшая волна и теплый гул моря. Ветер — с кормы. Идем для себя неплохо — за последние двадцать часов покрыли двести пять миль.

После обеда слева от нас остался остров Цугар — один из крупнейших в Красном море. Очень близко от него, местами всего в километре, проходит большой морской путь. Удивительный пейзаж: черные конусообразные горы (высота Футы, самой большой горы Цугара, 2047 метров), темные каменистые склоны, и все это затянуто столь свойственной Красному морю почти бесцветной желто-серой дымкой, смягчающей резкость контуров. Странно плыть по таким синим, большим и весело шумящим волнам, над которыми столько пыли. Пустыня врывается в море, во рту пересыхает, в глазах щиплет, а на зубах скрипит тонкая, невидимая песчаная пыль. Когда ветер дует с аравийского полуострова или с пустынного африканского материка, песчаная пыль сужает видимость до пятидесяти метров.

Справа от нас остается остров Абу-Али. Это крутые скалы того цвета, каким обозначают на картах пустынные плоскогорья. На вершине острова маяк. Сколько мы ни разглядываем в бинокли и простым глазом скалистую стену, обрывающуюся в море, но так и не можем найти место, где мог бы пристать корабль или шлюпка. Странная, наверно, одинокая и по-арабски одиозная жизнь у команды такого маяка: вокруг — морская синева (Красное море очень синее, даже темно-синее), на востоке — Цугар со своим ландшафтом дантовского «Ада», в воздухе — песчаная пыль, а в небе — большое солнце, как во время лесных пожаров. Корабли проходят, идут с юга и на юг, и хотя волны их килевой струи, похожей на рыбий хвост, достигают скал

Абу-Али, но сами суда, очевидно, остаются для обитателей маяка такими же далекими, как ночные звезды.

Много кораблей, в основном наливных танкеров. Здесь, в Красном море, я видел самое красивое из зрелищ, какне когда-либо наблюдал в плавании. Нам встретился датский танкер «Анна Марска» — водоизмещением в тринадцать тысяч тонн, с белыми палубными надстройками, с небесно-голубым корпусом. Все в нем — и его стройное вытянутое тело, и какая-то устремленность каждой линии вперед, и венок белой пены на голубой груди — заставило нас залюбоваться этим кораблем, словно красивым человеком. До чего же прекрасным бывает иной корабль — настоящая стальная сказка! Мы еще следили за удаляющейся «Анной», как тут же появился, разрезая небесно-голубой грудью воду и ветер, ее абсолютный двойник «Эмма Марска». Они шли одним курсом по направлению к Баб-эль-Мандебскому проливу, становились все меньше и наконец исчезли в реющей над морем песчаной пыли, словно две сказочные сестры в росистом тумане над костром Ивановой ночи.

Вечером на палубе показывают «Броненосец „Потемкин“». Сквозь ванты над экраном вниз смотрит луна, а по обоим бортам проплывают огни судов.

5 АПРЕЛЯ

Санитарный аврал. Моем с Куниным (наверно, в пятый раз) свою каюту и натираем до блеска медные части.

6 АПРЕЛЯ

Море чудесное. Прохладный, самый приятный встречный ветер. Скорость хорошая. Дня через три-четыре прибудем в Суэц.

Уже не помню точно, сколько раз по пути из Мирного в Красное море менялся наш маршрут. Сначала говорили, что мы поплывем в Европу через Кейптаун. Потом — что прямо на север и что первый порт следования неизвестен. Потом называлась Австралия — Мельбурн. Затем — Веллингтон в Новой Зеландии, где надо забрать морскую экспедицию и откуда, возможно, придет-

ся возвращаться на родину через Панамский канал. Наконец появилось что-то определенное — Аделаида. С самой же Австралии и до нынешнего дня наиболее устойчив был следующий вариант возвращения: через Суэцкий канал в Александрию, где мы должны были пересечь на «Победу», отходящую из Александрии 19 апреля и приходящую в Одессу 25-го. При этом варианте мы пробыли бы в Египте целую неделю.

С сегодняшнего утра все только и говорят что о новом маршруте: не задерживаясь надолго в Египте, мы поплывем к Пирею в Греции, где пересядем на пассажирский пароход «Крым». «Крым» покидает Грецию уже 13 апреля. Так что мы, возможно, попадем домой на целую неделю раньше. Однако я думаю, что это еще не последний вариант.

Несмотря на то что эти новые, предположительные маршруты порождают в душе известную неуверенность, они все же являются превосходным развлечением в монотонной судовой жизни. Странствуешь мысленно по путям, на которые твоя нога никогда, может быть, и не ступит, хоть за это и нельзя поручиться.

Начинается упаковочная горячка.

7 АПРЕЛЯ

В 14.30 пересекли тропик Рака и вышли из тропического пояса. Все еще стоит теплая, солнечная погода, дует слабый встречный ветер. Греческий вариант маршрута держится уже второй день. Интересно, долго ли он просуществует?

Утром приплыла порезвиться в носовых волнах корабля большая стая дельфинов. Их было около тридцати. Летающие рыбы здесь мельче, чем в Индийском океане, зато дельфины намного солиднее. Они долго следовали за нами. Из-за них на баке было прервано заседание «симпозиума».

«Симпозиум» как форма организационной работы возник у нас после Австралии. Он собирался и раньше, еще в теплых широтах Атлантики, но тогда он еще не обрел прав общего собрания экспедиции. Но в то же время это и не совсем общее собрание экспедиции. Участвовать в нем не обязательно, хоть он и без того собирает весь коллектив. Кино, танцы, самодеятельность, а также оформление претензий к командова-

нию — во всех этих делах «симпозиум» фактически является верховной властью. На заседаниях нет постоянного председателя, нет секретаря, нет, как может показаться, и никакого порядка. Они всегда проводятся на баке, под синим небом и жарким солнцем, в них есть что-то стихийное, что-то первозданное, чего не бывает в собраниях, проводимых в столовой.

Взглянем на заседающих. Все они без рубашек, в одних трусиках. С некоторых сходит третья шкура, некоторые краснокожи, некоторые коричневы, а некоторые — это наиболее молодые и активные — совсем черны. Кое-кто притащил с собой полотенце и одеяло, на котором можно разлечься, подставив солнцу живот или спину. Все босиком.

Начинается «симпозиум»: иной повернется на бок и взглянет на оратора (или на ораторов), иной лишь поднимет голову, а преферансисты и доминошники продолжают заниматься своим делом. Это, однако, никому не мешает в подходящий момент вставить свое словечко.

Заседание сегодняшнего «симпозиума» началось самостийно. На повестке дня лишь один небольшой вопрос. В случае, если греческий вариант отпадет (но покамест он не отпал) и мы пересядем в Александрии на «Победу», то у тех, кто этого захочет, будет возможность съездить в Каир и потратить там шесть египетских фунтов. Мигом выясняют, что часть хочет съездить, а часть — нет, и начальникам отрядов поручается составление списков желающих.

Но настоящее заседание на этом не кончается, а только начинается. Затрагивается такой вопрос, что даже игроки бросают свое дело и вмешиваются в прения. Лицо у Гаврилова расстроенное и мрачное, зато у Тихомирова — великодушно-снисходительное. Те же противоположные чувства, у одних скрываемые лучше, у других — хуже, видишь и на остальных лицах. Произошло что-то невероятное, вызвавшее у кого сдерживаемое удовлетворение, у кого — явное недовольство.

— «Убили, значит, Фердинанда-то нашего!» — произносит кто-то знаменитую фразу, которой начинается «Бравый солдат Швейк».

Гаврилова будто шершень ужалил. Он делает глубокий вздох, его мощная грудная клетка вздымается, затем он медленно выдыхает воздух, но не произносит ни слова.

«Шахтер» выиграл у московского «Динамо» со счетом 2 : 1!

Скандал. К тому же спартаковские болельщики ведут себя самым обидным образом, держатся со снисходительным сочувствием, будто бы глубоко понимая душевный кризис «динамовцев». Они молчат, но и молчание бывает порой очень многозначительным, куда более убийственным, чем речь наилучшего оратора. На лицах сторонников «Динамо» — растерянность и изумление. Теперь мне становится ясно, почему однажды на московском стадионе «Динамо» меня чуть не побили, когда я выразил свои чувства в неподходящем месте и в неподходящем обществе, то есть среди патриотов противного лагеря. Поведение футбольных болельщиков, сколько мне их приходилось наблюдать, менее всего подчинено рассудку. Это бушевание страстей, сильных переживаний, самозабвенная радость победы и горечь поражения. В средние века рыцари от таких сильных переживаний вздевали друг друга на копья, а дамы, теряя сознание, падали на грудь своих кавалеров. Среди футбольных болельщиков чувствуешь, что ты вновь попал во времена детства человеческого общества и сам становишься ребенком.

— Да, два — один... Побили наше «Динамо», побили,— говорит Тихомиров.— И кто побил? Даже не «Спартак», а «Шахтер»!

Сильные руки Гаврилова вцепляются в поручни.

— Ну и что ж, что ж, что побили? — начинает он гневным и сердитым голосом.— Случается. Но «Динамо» — это ведь команда! (И он перечисляет все достижения «Динамо» в играх на первенство и на кубок, все его победы времен новейшей истории.) Самая лучшая команда! А «Спартак»... (Перечисляются поражения «Спартака», все, сколько их было, и даже сверх того.) Уж если «Динамо» едет за границу, так оно играет с самыми сильными командами. Помните Англию? (Новое перечисление.)

— Два — один; от «Шахтера»!..— говорит какой-то «спартаковец», пытаясь возратить Гаврилова к современности и на отечественную почву.

Но Володя продолжает:

— А если «Спартак» куда и посылают, так на какие-нибудь острова Тихого или Индийского океана. И там он играет с лесными племенами, которые бутсов-то еще не видели: три пальца на ноге забинтуют да и гоняют

мяч босиком. «Спартак», ясно, и выигрывает со счетом четырнадцать — ноль, а потом еще хвастается соотношением мячей.

— «Спартак» ты оставь в покое. Ведь «Динамо» проиграло два — один, не «Спартак».

— «Проиграло» да «проиграло»! Я и сам знаю, что проиграло! Но по государственным соображениям «Шахтеру» не надо было выигрывать. (Подобная логика ошарашивает некоторых!) Ведь как это повлияет на шахтеров? От радости они за следующую неделю выдадут на-гора на миллион, нет, на десять миллионов, нет, на сто миллионов тонн меньше. (Гаврилов описывает нам процесс этого фантастического падения добычи, очень красочно описывает.) Выиграл бы «Шахтер» у «Спартака» — тогда бы ничего этого не случилось. Но раз у «Динамо» — то беды не миновать!

Тут вмешивается весь «симпозиум». Сильные загорелые руки и ноги приходят в движение, демонстрируется техника ударов, речь вдруг начинает изобиловать специальной терминологией. За разрешением важнейших вопросов обращаются к Семену Гайгерову, бывшему футболисту. Через какое-то время соперничество «Динамо» и «Спартака» оказывается погребенным под грудой абстрактных проблем, на баке царит Футбол, царит почти час, непоколебимо и единовластно.

Синее-синее море, мягкий ветерок, солнце. Много проходящих мимо кораблей. Мы уже так привыкли к ним, что лишь один большой пассажирский пароход прерывает на миг наш «симпозиум». А кончается он лишь после того, как перед носом судна появляются две акулы.

8 АПРЕЛЯ

Наконец-то известен новый и, как мы надеемся, окончательный маршрут и окончательные сроки. Мы плывем в Александрию, пересаживаемся там 13 апреля на «Победу», приплываем 16-го в Бейрут, 19-го возвращаемся снова в Александрию, уходим оттуда вечером того же дня, 21-го приходим в Пирей, в полночь покидаем его, заходим на несколько часов в Стамбул, Варну и Констанцу и 25 апреля прибываем в Одессу. Таким образом, на Египет у нас остается почти неделя. Возможно, что завтра ночью будем уже в Каире, если, конечно, опять что-нибудь не изменится.

В НОЧЬ НА 10 АПРЕЛЯ 1958

Каир. Отель «Луна-Парк»

Несколько минут назад служащий отеля ввел меня в номер. Это юный черноглазый магометанин с орлиным носом и с пергаментным цветом лица. Странное у меня было чувство, когда он вёл меня по коридору. Ступал он совсем неслышно. На нем был белый кафтан до пят, подвязанный красным шнуром и несколько напоминающий не то талар, не то халат. Черный султан его красной фески покачивался из стороны в сторону. В полутемных по-ночному коридорах мне казалось, что меня плотно обступили тишина и тени, что я внезапно оказался среди чего-то совершенно чужого и незнакомого. Мой вожатый открыл какую-то дверь, вошел в нее, зажег свет и, сложив руки на груди, отвесил мне такой глубокий поклон, что мне был виден лишь красный верх его фески. Потом он снова поднял голову и, взглянув на меня в упор своими сверкающими глазами, сказал грудным голосом:

— Рус, карашо!

Затем он улыбнулся и ушел так же неслышно, как и пришел.

Рассматриваю комнату. Широкая кровать с крошечной подушкой, стул, шкаф, у кровати столик с ночной лампой, умывальник. И все. Окно выходит в узкий квадратный колодец двора, на дне которого не видно никакого движения. Другие окна либо темны, либо закрыты ставнями. Но наверху — клочок темного неба с немногочисленными звездами, с дрожащим, беспокойным заревом огней и реклам большого города. Издалека сквозь окно слабо доносятся волнующие чужие звуки ночного Каира.

...Мы пришли на суэцкий рейд уже в девять пополудни. «Кооперация» бросила якоря довольно близко от города. В бинокли и без них мы разглядывали город и шлюзовые ворота канала. Вполне современный город, особенно здания на берегу, вблизи порта. Видно, Суэц — молодой город, хотя первые данные о нем восходят к десятому веку. В XVI веке, после завоевания его турками, он стал играть большую роль как военный и торговый порт, но затем постепенно утратил свое значение и величие. Суэц снова ожил в связи с открытием в 1869 году Суэцкого канала. Сейчас тут (по данным 1952 года) сто пятнадцать тысяч жителей.

Вечером нас переправили в шлюпках на берег. Туристская контора, взявшая на себя заботу о нашей поездке в Каир, прислала на пристань свои машины. Мы проехали через Суэц. И вблизи он производил то же, что с рейда, впечатление современного богатого города. Лишь кажется, что его сто пятнадцать тысяч жителей втиснуты на слишком узкую площадь, что пески пустынь вокруг ревниво отказывают городу в пространстве, заставляя его обратить лицо к морю.

Поехали в Каир. Солнце, повисшее над самым шоссе, уставилось нам в лицо своими желто-красными, усталыми, большими глазами. Хоть окна в машине были закрыты, на зубах уже скрипел песок. Однообразный, печальный, унылый пейзаж. Редкая и жесткая трава, голый песок, чахлые деревца и одинокие дома. Вдали — четыре верблюда с темными всадниками на спине, словно сросшимися с седлами. Высокие шен «кораблей пустыни», их покачивающийся шаг, их горбы и длинные ноги, а позади — желтая, слегка волнистая равнина под бледно-голубым небом с рыжеватыми краями. Сходство с морем — поразительное и контраст морю — тоже поразительный. Темнеет внезапно, в небе начинают мерцать звезды, и все, что мы можем еще разглядеть, — это узкая полоска незнакомой земли, ровно такой ширины, какую охватывает свет фар. Асфальтовая лента дороги, силуэты деревьев вдоль нее, стена дома, случайно оказавшаяся в полосе света, да одинокие верблюды с позвякивающими колокольчиками на шее и безмолвным египтянином в седле. Мы проносимся по Египту, но не видим его до тех пор, пока часть неба не окрашивается заревом Каира.

Первые впечатления от Каира поздним вечером. Уже тихие улицы, по которым мы направляемся к отелю «Луна-Парк», вполне европейские. И платье поздних прохожих — тоже европейское. Но не их лица. Есть даже в таком отходящем ко сну Каире что-то праздничное и волнующее. Повсюду на стенах лаконичные плакаты с изображением ятагана на фоне звезд. Много портретов Гамаль Абдель Насера и президента Сирии. На каждой стене, на каждой витрине — улыбка Насера. Видно, теперь, после того как Египет и Сирия слились в Объединенную Арабскую Республику, в воздухе витает одна-единственная мысль, одно стремление, один магнетический призыв: «Арабы, объединяйтесь!»

В отеле «Луна-Парк» нас приняли как долгожданных гостей. Уже во время ужина повторяли фразу, превратившуюся потом в неизменный рефрен: «Рус, карашо!» Мы как-то не сумели, несмотря на все усилия наших «англичан», объяснить, откуда мы прибыли. Если бы мы сказали им, что с Луны, а не из Антарктики, это было бы им понятней и ближе. Они все повторяли «Антарктис, Антарктис», но, видимо, это слово не соединилось в их сознании с какой-нибудь землей или морем. Оно и понятно. Власть Аллаха и его дух простерты над минаретами, над оазисами, над пустынями и над кормилицами-реками, а с холодными морями, снегами и льдами у пророка никогда не было никакой связи.

Какая роскошь — снова спать в настоящей постели и хоть в чужой, но тоже настоящей комнате!

Спокойной ночи!

В НОЧЬ НА 11 АПРЕЛЯ

Средиземное море

Вы бывали в Каире? Вероятно, нет, во всяком случае, большинство из вас не бывало. Я проспал в Каире одну ночь, бродил по нему один день и, чтобы познакомиться с Каиром, советую вам раскрыть девятнадцатый том Большой Советской Энциклопедии и на 371-й и 372-й страницах прочесть весь текст между статьями «Каинск» и «Каиров». Пробыть один день в городе, который хотел бы рассмотреть, изучить, понять и, может быть, даже описать в общих чертах,—после этого мало что остается, кроме отрывочных мыслей и сведений, калейдоскопа новых имен и цифр, причем именно то, что ты стараешься узнать как можно больше, является гарантией того, что ты ничего не узнаешь, и почти ничего не увидишь. Мы ходили по каирскому Египетскому музею. Я смотрел на мумии, на каменных фараонов и фараонш, на святых быков, на старинные порталы, на барельефы и фрески, на статуи и статуэтки, на древние монеты. Видел необычайно богатую культуру давних времен, развешанную по стенам и стендам, разложенную по витринам. Мы проходили мимо нее, словно мимо почетного караула, и казалось, что глаза каменных фараонов, высеченные резцами мастеров тысячелетия назад, смотрят на нас насмешливо. За один день не поймешь всего того, что народ Древнего Египта создавал

веками,— такого далекого нам и чужого, такого могучего и прекрасного. Лишь возникает желание вернуться сюда снова, чтобы побродить по сумеречным залам спокойно и вдумчиво. Надо быть благодарным и за одно это желание. Маленькая гипсовая голова царицы Нефертити, купленная мной в Каире, смотрит сейчас на меня со стола и тоже как будто говорит:

— Возвращайтесь!

Мы побывали в мечети Мухамед-Али. Приводить ли тут даты, размеры, описания? Не стоит, потому что покамест они и для меня мертвы. Тут чудесные ковры, электрический свет, похожий на свет свечей, узкие балконы для женщин,— они без ковров и отделены от общего помещения занавесом. Архитектура мечети Мухамед-Али оставляет цельное, законченное впечатление,— все тут словно само собой оказалось на своем месте, и мы, восседая в носках на красном ковре, тихо выражаем свое восхищение давно умершему зодчему, сумевшему построить в городе с таким ослепительным освещением здание, в котором столь много прохлады, полутьмы, воздуха и на редкость гармоничной красоты. История же мечети, рассказанная нам гидом, хорошо владеющим русским языком, вполне обыкновенная, такая же, как у других мечетей.

И все же — до чего богатый день! Из Каира мы съездили в Гизу, на левый берег Нила. Конечно, мы в Советском Союзе привыкли к рекам такого гигантского масштаба, что знаменитый Нил, отец Египта, его кормилец, его главная артерия, его святыня, ничем нас внешне не поразил — ни своей шириной, ни быстротой течения, ни небесной синевой. Впрочем, после океана, где глаз свыкается с небывалыми для суши масштабами, любая река производит скромное впечатление.

И все же, как не сравним ни с какой горой гигантский айсберг, как не сравнимо знойное безмолвие океана с самым глубоким безмолвием суши, так же не сумеешь сравнить ни с чем уже знакомым египетские пирамиды. Наши машины начали подниматься в гору, к пирамидам Гизы, а следом за нами поскакали на лошадях и верблюдах человек сто египтян (чтобы мы их сняли верхом). И вот на фоне неба появились вершины трех пирамид Гизы. Первая из них — пирамида Хеопса. Вокруг нее простираются пески, и сама она со своими желтыми треугольниками могучих стен кажется вырастающей из песка. Отсюда, снизу, не видишь за ней

ничего, кроме синего, томимого жаждой неба, да и кажется, что ее фоном достойны быть лишь небо и пустыня.

Я знал, что пирамида Хеопса сооружена примерно за две тысячи семьсот лет до нашей эры. Я знал, что ее строил для себя, как последнее пристанище, фараон четвертой египетской династии Хеопс и что двести тысяч рабочих создавали это пристанище в течение тридцати лет, взгромождая один на другой каменные кубы весом в две с половиной — три тонны. Я знал также, что высота пирамиды сто сорок шесть метров, что она, стало быть, выше башни собора Олевисте в Таллине. Но каждая сторона квадратного основания пирамиды так длинна, что поначалу мы и не обратили внимания на ее высоту. Лишь потом, когда начинаешь переводить взгляд с одного сужающегося кверху и отступающего назад каменного слоя на другой, когда сравниваешь величину пирамиды с величиной людей, домов и разных предметов, когда помотришь на нее издали и увидишь рядом с ней изваяние верблюда, кажущегося крохотным, словно игрушка, тогда теряешь дар речи.

Направляемся в усыпальницу. Узкий ход, прорубленный в каменной кладке, извивается между бугристых стен, и приходится все время пригибаться, чтобы не ушибить голову. Затем идет наклонный ход, ведущий к вершине пирамиды, где и находится усыпальница. Стены наклонного хода, образованные гигантскими каменными блоками, отполированы. При одном взгляде вверх захватывает дух: узкий и высокий коридор поднимается под углом почти в сорок пять градусов и кажется длинным, словно целая жизнь. Люминесцентное освещение делает лица призрачными и старыми. Затем начинаем подниматься по наклонному ходу с металлическим полом. Пробираемся чуть ли не на четвереньках. Воздух сухой и пахнет известью. Я иду примерно в середине нашей группы. Я слышу учащенное и трудное дыхание людей, идущих впереди, а оглянувшись назад, вижу, как ползут следом двадцать человек с бледно-зелеными лицами и черными провалами вокруг глаз. Отдуваемся. Высокий и узкий коридор все не кончается и не кончается. Чувствуешь у себя над головой тысячи тонн камня и ощущаешь, как пробегает по коридору известковое дыхание тысячелетий.

Добираемся до усыпальницы. Здесь тоже люминесцентное освещение. Узкое и высокое, до грандиозного

простое помещение с отшлифованными каменными стенами. Большой саркофаг из полированного гранита, в котором некогда лежала мумия Хеопса. Делимся своими мыслями вполголоса, потому что — и опустевшая — эта усыпальница впечатляет необычайно сильно. А в нескольких метрах отсюда — сияющее солнце, жаркие пески, синее небо и арабы со своими верблюдами и торговыми заботами. Но сейчас кажется, что до всего этого далеко, страшно далеко. Здесь, внутри пирамиды, словно смотришь в лупу времени. Здесь владения Озириса, бога подземного царства, владения тишины и тысячелетий, здесь все кажется неизменным или меняющимся столь же медленно, как что-нибудь погребенное на километровой глубине вечных льдов.

Снова оказавшись на солнце, мы с облегчением переводим дух. Каменное лицо сфинкса, гигантского сфинкса Гизы, думающего скорбные думы, смотрит вдаль. Спокойно и величественно вытянув свое львиное тело, лежит он под знойным солнцем. На его могучей спине восседает пять тысячелетий.

Нет, надо сюда вернуться!

Мы покидали Каир поздним вечером. Вокруг была прохладная тьма. Мы доехали до Измаила, а там свернули на параллельную каналу дорогу, идущую в Порт-Саид. Военские патрули не раз останавливали нас для проверки, но тут же разрешали ехать дальше. Здесь, в зоне канала, так же, впрочем, как и во всем Египте, идет война с контрабандой наркотиками...

С шоссе Суэцкий канал выглядит странно. Дорога, по которой мчатся наши машины, возвышается над уровнем воды ненамного. Зачастую искусственный, прямой как стрела, водоем прячется от нас за песчаными заносами. А то он вдруг выглянет снова, и опять блеснет его ночная, черная, словно деготь, гладь, на которой дрожат отражения фонарей, похожие на золотые яблоки, но миг спустя оба берега Суэцкого канала уже сливаются с темной пустотой Синайской пустыни, которая равнодушно поглощает узкую полосу соленой воды, глубиной в тридцать пять футов. И вдруг видишь посреди пустыни корабли с их сигнальными огнями, с их яркими иллюминаторами и освещенными палубами, видишь на их тяжелых корпусах надстройки и мощные коренные мачты. В первый момент возникает такое чувство, слов-

но увидел верблюда посреди океана. Судно, всегда кажущееся на море высоким и могучим, выглядит здесь необычайно маленьким. Оно как бы уменьшается на фоне панорамы, постепенно поднимающейся к горизонту пустыни.

Наконец — Порт-Саид. Мы пьем кофе в низком здании таможни и после этого отправляемся на рейд — встречать «Кооперацию». Гортанные крики лодочников, взаимные оклики со шлюпок и с кораблей. Подмигивают маяки, на маслянистых ленивых волнах извиваются, словно угри, вытянутые отражения огней. Притихшие гигантские суда, стоящие на якоре. Сказка из современной «Тысячи и одной ночи». А справа ночной город, Порт-Саид, где в 1956 году английские и французские «полицейские» сравнивали с землей два рабочих квартала. По темному небу плывет желтая луна. И я вполголоса читаю себе строки из есенинской «Баллады о двадцати шести»:

Ночь, как дыню,
Катит луну.
Море в берег
Струнт волну.
Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял их
Отряд англичан.

Из канала выходят корабли. Нам долго не удалось разыскать «Кооперацию», — в канале все корабли включают очень сильные прожекторы, от них слепит глаза и корпуса судов кажутся одинаковыми. Но наконец мы находим «Кооперацию». Корабль, не замедляя хода, проплывает мимо, а мы перескакиваем с моторных лодок на трап, повисший над водой.

12 АПРЕЛЯ 1958

Александрия

Вчера, 11 апреля, мы прибыли на александрийский рейд. Морская вода, средиземноморская вода, была сплошь усеяна у берегов желтыми пятнами, — казалось, будто под ней покачиваются огромные балтийские камбалы. Это песчаные наносы, подводные ответвления жаждущей пустыни, возведенные послештормовыми волнами. Тяжелая, многодневная волна бьет в борт «Кооперации». Ее назойливые размеренные удары прекра-

щаются лишь после того, как судно, бросив якоря, поворачивается носом к ветру.

Вид на Александрию с моря — да, это зрелище! Город растянулся по почти ровному берегу на несколько миль — белоснежный, красивый, впечатляющий. Он так и сверкает под лучами беспощадного солнца. Сияют обращенные к морю белые фасады десятиэтажных европейских домов. Стрелы воздушных минаретов устремляются к небу. Единственными темными пятнами являются серые портовые причалы, закопченные башни кранов и большой торговый пароход Федеративной Республики Германии, темные борта которого перекрывают при движении нижние этажи домов, а труба проходит под полумесяцами минаретов. Но вот буксиры увели пароход прочь, и мы опять видим весь город, слишком красивый, чтобы быть настоящим. Лицо у него европейское, оно подкрашено и без чадры. Но наверняка у него имеется и другое, уже прикрытое лицо, арабское, темноглазое, более подлинное. Очевидно, второй облик города и скромнее и пестрее.

И сама Александрия и та природа, которая ее окружает, богаче зеленью, чем все остальные города Египта. Над Александрией простирается благодать дельты Нила.

Новый город всегда волнует, будь он Александрией или райцентром эстонского захолустья. Последний волнуется темпом своего юного роста, заново создаваемыми кварталами, заново создаваемыми традициями. А первый — своей стариной, своей историей и своим сегодняшним днем.

Об Александрии я знаю мало. Знаю, что ее основал Александр Македонский в 332—331 году до нашей эры. Знаком с отдельными осколками различных культур, смешавшихся тут в одном потоке: греческой, римской, египетской, иудейской, — с некоторыми писателями античного мира, которые около двух тысяч лет назад, возможно, смотрели с этого же берега на Средиземное море. Тут процветали наука и литература, тут были впервые заложены греками начала точного изучения природы. Но четвертый век, век молодого воинствующего христианства, положил этому конец, и Александрия перестала существовать как научный центр. Энгельс назвал крестовые походы «великолепным памятником человеческому безумию». И когда епископ Феофил приказал в 391 году уничтожить Александрийскую библиотеку

ку, насчитывавшую семьсот тысяч рукописей и бывшую в те времена величайшей научной сокровищницей, после чего многое уже найденное надолго кануло во тьму времен, то в этом проявился тот же тупой, сумасшедший фанатизм, который несколько веков спустя заставил двадцать тысяч людей отправиться в крестовый поход во имя «освобождения гроба господня». Тут, в Александрии, были созданы пророческие песни Сивиллы, отразившие отношение низших слоев эллинизированного еврейского населения к Римской империи. Сивилла говорит Риму:

«О горе, горе тебе, фурия, подруга змей ядовитых! Умолкни, подлый город, оглашавшийся прежде звуками ликования!.. Не будет больше жертв на твоих алтарях... Ты опускаешь голову, кичливый Рим! Огонь поглотит тебя, твои богатства сгинут, волки и лисы поселятся на твоих развалинах, и все будет так, словно тебя и не существовало».

А в 1517 году Александрию уничтожили турки — ее словно и не существовало. И в восемнадцатом веке там, откуда сейчас глядят на море белые фасады, жило только шесть тысяч человек.

Когда мы стояли на рейде, мне почему-то казалось, что я уже видел Александрию. Не теперешнюю и не времен Александра Македонского. И не разграбленную Александрию 391 года, на которую надвинулась черная туча монашских ряс. Не город, ставший в 1517 году жертвой турецких ятаганов, разбоя и огня. Нет, я видел что-то промежуточное, что-то особое. Где же? В «Александрии», четвертой книге «Иудейской войны» Фейхтвангера, читанной когда-то давно. Та Александрия была большим городом с населением в миллион двести тысяч жителей, городом трудолюбивым и жадным к развлечениям, главным мировым рынком, резиденцией императоров древности. Тут имелся музей, великолепная библиотека, мавзолей с хрустальным гробом Александра Великого, театр, ипподром, судоверфи, ремесленные мастерские. Местный музей превосходил музеи Рима и Афин, школы были лучше римских. Сюда в свите императора Веспасиана приезжал Иосиф Флавий, здесь он дал себя высечь, чтобы освободиться от своей жены Мары, здесь он купил себе звание римского гражданина. Здесь он влюбился в Дорион, дочь художника Фабула.

И эта виденная мною невидимая Александрия предстала мне связанной с именем Дорион, которая была

довольно рослой и тонкой девушкой с темно-пепельными волосами, с длинной и узкой головой, с выпуклым и высоким лбом, с глазами цвета морской воды. «Хорошенькая девочка, — сказал император» (Фейхтвангер, «Иудейская война»). И странно — находящаяся от меня в полумиле Александрия 1958 года на миг вдруг утратила свои современные черты, и я увидел ее такой, какой она показана у Фейхтвангера. А к этому городу первого века наклоняется Дорнион со священной кошкой на руках. До меня даже доносится злой голос девушки и ее блеющий смех, но я тут же понимаю, что эта галлюцинация слуха вызвана отрывистыми сигналами буксиров и гудением автомашин на берегу.

Сегодняшняя Александрия — это подлинные ворота Египта. Тут, по данным 1947 года, живет девятьсот двадцать тысяч человек, 80 процентов экспорта и импорта Египта проходят через Александрию.

Сегодня утром буксиры подтащили нас к причалу. И едва швартовы соединили в одно целое «Кооперацию» и набережную, как на судно, казалось, хлынуло через борт что-то непередаваемо арабское, что-то свойственное лишь пустыне. Во рту опять стало сухо, а нос улавливает запахи, очевидно характерные для многих восточных портов. Но гавань перед глазами абсолютно европейская, она полна интенсивной жизни, — это могучая торговая артерия с наполненным пульсом. Нарождающаяся египетская промышленность получает через александрийскую гавань новую технику, новое промышленное оборудование. Через александрийскую гавань современные сельскохозяйственные орудия попадают к феллахам, которые хоть и медленно, но упорно расстаются с древними — времен фараонов — способами обработки земли. Совсем близко от нас стоят четыре советских судна. А перед ними на причале вытянулись аккуратными рядами трактора с прицепами и грузовики советских марок. Тут же три польских корабля, с которых сгружают машины. А если судить по вымпелам на кораблях, то и Западная Германия играет весьма видную роль во внешней торговле Египта. Отсюда, из Александрии, вывозится на текстильные фабрики Европы хлопок — эта египетская валюта.

И все-таки здесь же, в гавани, оснащенной новейшими кранами, новейшей техникой, ощущается и другой город, город пустыни. Рядом с грузовиками разъезжают запряженные парой лошадей или мулов длинные повоз-

ки, нагруженные ящиками фруктов или тюками хлопка. Их колеса грохоча катятся по железнодорожным рельсам. На причале перед «Кооперацией» выступает темнокожий артист, — весь его реквизит состоит из старого пиджака с огромными внутренними карманами, колоды карт, двух цветных платков, белой мыши, двух соколов и четырех цыплят... С десяток торговцев разложили у края пристани свои товары: игрушки, чемоданы, дамские сумочки, сигареты. Все на этом маленьком рынке яркое и пестрое, и всего мало. Только времени у продавцов вдоволь. Сиди себе на пыльном причале, тарачи часами сонные глаза, а то, вспылив на минуту, вскочи на ноги и сцепись с другим торговцем, чтобы затем лениво опуститься и разглядывать людей на борту, — вот и все. Люди застывают — лишь тени не перестают, как положено, передвигаться с запада на восток. Думается, что одной из черт, характерных для отсталых стран, является отношение некоторых их обитателей ко времени — бессмысленное его разбазаривание.

Мы угощаем таможенника и стоящего у трапа полицейского папиросами. Они с благодарностью берут папиросы, но не закуривают. Почему же?

Коричневый палец показывает на полуденное солнце, но мы ничего не понимаем.

— Рамазан!

По нашим понятиям, это, очевидно, пост, причем такого рода, что по нему видишь, насколько аллах суров и беспощаден к своим сынам. Магометанин во время рамазана с восхода до захода солнца не смеет ни есть, ни пить, ни курить. (Курение вообще запрещено верой, но современный египтянин не всегда соблюдает этот запрет.) От зари до зари он должен держаться подальше от женщин и даже гнать всякую мысль о нежном поле. Зато по ночам рамазана он себе хозяин: ешь, пей, веселись.

Идем в город. Ветрено. На зубах скрипит песок. Над огромной территорией гавани разносятся сигналы машин, скрежет кранов, ослиное «иаа-иаа!», фыркание лошадей, гортанные голоса египтян, непривычные слуху возгласы. Наша тройца — Кунин, Михаил Кулешов и я — словно три органые трубы. Слева идет Кунин, который на полголовы ниже меня, в середине я, а справа Миша Кулешов, которому я достаю лишь до плеча. Голосовые связки Кунина и Кулешова издают низкие звуки, а я работаю где-то на средних регистрах.

Мы окружены бегущими следом египетскими мальчишками — их поражает и приводит в восторг гигантский рост Кулешова. Мне и Кунину очень трудно, не теряя достоинства, поспевать за его шагами, вполне соответствующими росту. Но ребята не отстают от нас. Они ничего не клячат. Нет, они предлагают свои услуги. Нам готовы показать город, отвести в хорошие, но недорогие магазины, а если надо, так и в те места, где не соблюдают рамазана. Свита у нас проворная, любознательная, назойливая и порой даже бесстыдная. Из желания услужить получше все враждуют друг с другом. Обращаются они исключительно к Мише Кулешову, который поглядывает на них словно с высоты поста-мента. По всем правилам их логики он не иначе как наш командир и начальник.

— Шип «Кооперейшен»? — спрашивают мальчишки, показывая на белеющую «Кооперацию».

— Йес, этот самый шип и есть «Кооперация», — отвечает Кулешов.

— О рус! О рус! Ух, спутник! — воодушевились мальчишки, по-прежнему не сводя глаз с Кулешова, являвшегося для них живым воплощением этого «о рус!» и «ух, спутник!».

— О чем там они поют, Владимир Михайлович? — спросил на всякий случай Кулешов у Кунина, хоть и без перевода все было ясно.

— О спутнике и о России, — ответил Кунин.

— Ишь, знают! — растроганно произнес Кулешов. — И еще дорогу показывают...

Подходим к воротам порта. Казалось бы, ребятам пора предъявлять экономические требования, но нет, их занимает что-то более важное. Они крутятся вокруг Кулешова, стучат кулаками по своим мальчишеским бицепсам и выкрикивают слово «атлет», которое мы с трудом разбираем из-за многоголосого шума гавани. Все это, разумеется, адресовано Кулешову. И тогда он, сжав кулак, сгибает одну руку, а другой стучит по вздувшимся мускулам размером с глобус средней величины.

— Йес, атлет, — говорит он. — Йес, спутник! Йес, хорошо! Ясно, воробьи?

В этой рубленой фразе весь его характер и его сила, все его отношение к своей родине и ее науке. Ребятам это вполне ясно. И они переводят разговор на экономическую почву:

— Пиастры! Сигареты!

Слова эти произносятся по-английски, по-немецки и по-французски. И у Кулешова мгновенно остается пустой пачка «Беломора». Что до наших пиастров, то их пока не трогают. После того как мы выходим за ворота, наша свита редееет. За нами до самого вечера следуют, словно тени, лишь трое мальчишек. Они идут то впереди, то сзади, то занимаются тем, что отшивают от нас других провожатых. Они не заходят с нами в магазины, а ждут на улице, пока мы выйдем, после чего бегут к хозяину и, очевидно, получают за нас свои крошечные проценты, соответствующие потраченной нами сумме.

У меня два главных впечатления от этого дня: одно от Александрии, другое от Миши Кулешова. Мы приплыли сюда с Кулешовым из Антарктики, но лишь сегодня я как следует разглядел его.

Начну с него, самого высокого и, может быть, самого сильного человека во всей второй экспедиции. Собственно, впервые я заметил этого тракториста еще в Красном море, во время обсуждения романа Галины Николаевой. Он сидел тогда в музыкальном салоне на полу, не раз брал слово, горячился, но после каждого спора оказывался загнанным в тупик. И тогда он решил записать свои мысли. Тут я обратил внимание на его руки. Кулешов взял обыкновенную вечную ручку и положил ее на ладонь, — ручка выглядела на ней крохотной, словно спичка. Это казалось каким-то оптическим обманом. Но вот Кулешов зажал ручку между большим, указательным и средним пальцами и начал ее развинчивать, — делал он это так нежно и осторожно, словно обращался с воздушно-хрупкой ампулой или регулировал капризное зажигание.

Поглядишь на Кулешова — настоящий медведь. И суть не только в могучем росте, а во всем его облике. У Миши простое и волевое лицо. Граница густых каштановых волос, в которых уже немало седины, низко заходит на лоб. Солидный нос, большой рот, круглый подбородок. А из-под тяжелых, мохнатых бровей выглядывают с любопытством два вроде бы сонных глаза. Но лишь зайдет спор, и они становятся живыми, колючими, сузившимися. Или загораются веселым блеском, если кто-нибудь умело о чем-то рассказывает. Но проглядывает ли в них хитреца или печаль, они всегда остаются немного медвежьими: то они такие, какими бывают у царя лесов в день пробуждения от зимней спячки, то та-

кие, как если бы исполненный решимости косолапый проламывался сквозь чашу к пасеке, а то такие, как если бы мишка уже возвращался оттуда, довольный собой, пасечником и всем на свете. И в то же время это глаза умного, любознательного человека, оживляющие и красящие его лицо.

Кулешов хочет все знать. Не успели мы от него вернуться, как он уже наладил связь с каким-то западногерманским студентом, который несколько месяцев пробродяжил по Восточной Африке, а теперь сидит в Александрии без гроша и пытается наняться в матросы, чтобы таким образом попасть в Гамбург. Кулешов угощает его в баре пивом, и Кунин, оказывается прилично знающий и немецкий, переводит им взаимные изъявления дружбы. Жаль, что не Кулешов командует судном, а то он доставил бы этого парня в Гамбург и по дороге расспросил бы немца обо всем, что тот увидел в Сомали и Абиссинии. Однако он уже подружился с египтянином-барменом, и ему необходимо выяснить, что это за штука «рамазан» и какой от нее толк. «Скажите ему, Владимир Михалыч, спросите его, Владимир Михалыч», — обращается он все время к Кунину.

На одной весьма пыльной и грязной припортовой улице есть антикварный магазин. Мы разглядываем вещи на витрине, стекло которой, покрытое многомесячной пылью, едва-едва пропускает солнечные лучи. Здесь и статуэтки фараонов, и оружие, и верблюжьи седла, и серебряные да медные тарелки, и картины с видами Нила или минаретов. Все эти подержанные пыльные вещи — словно экзотическая новелла, охватывающая и вчерашний и сегодняшний день. Они умышленно нагромождены вокруг главного экспоната витрины — кривонногого кресла, обитого красным бархатом. На спинке кресла висит надпись:

«Кресло короля Фарука. Семь фунтов».

Может быть, это просто надувательство и реклама, но, может быть, и нет. Во всяком случае, этот королевский или псевдокоролевский реквизит как-то плохо вяжется с верблюжьими седлами и почерневшими пистолетами. И Кулешов приходит к такому логическому выводу:

— Короли падают в цене.

И еще как падают! И падение это очень явно на Ближнем Востоке. Ведь за кресло-то запрошено вдвое больше. И настоящий покупатель выторгует его даже за

три фунта. А еще более реально, что этому креслу долго придется пылиться и выгорать в столь неподходящем окружении. Покупатель в конце концов придет, но много ли он даст за короля?

Как у людей, так и у городов есть свой характер, своя душа, свое лицо, свои черты. Все это, конечно, изменяется в зависимости от того, кто, откуда, когда и как на них смотрит. У Таллина несколько обликов: утренний, полуденный и вечерний,— и все они с разных мест выглядят по-разному. Лицо центра не похоже на лицо полуострова Копли. Прибрежный район — на Нымме. И даже люди ходят везде по-разному: в Кадриорге спокойно и неторопливо, поблизости от фабрик шаг у них тяжелый и уверенный, а в центре мы стараемся шагать бодро и стремительно, словно из окон следят за нами тысячи глаз. По центру мы ходим наиболее театральным шагом. Но в основном у Таллина облик труженика, облик металлиста, машиностроителя, ткача и моряка.

Тарту — это умный город, это молодой город, город молодежи. Но древо ума пустило тут один паразитический отросток: нигде столько не умничают, как в Тарту. Тут не только учатся владеть словом, тут учатся и искажать его. Тут больше чем где-либо ведется бесполезных споров, когда видишь, как прекрасный эстонский язык преодолевает во всем своем великолепии мертвое пространство. И это чисто школярское свойство накладывает на красивое лицо Тарту несколько лишних морщинок. И, по-видимому, именно затем, чтобы с одной стороны освободиться от холодной расчетливости Таллина, а с другой — от тартуского надменного парения в высотах, покойный Сютисте и объявил себя поэтом Тапы. Но и Тарту, и Таллин — оба хороши и симпатичны.

Кейптаун можно увидеть только в профиль. С одного бока лицо у него белое, удовлетворенное, толстошее, чистое, холеное, пренебрежительное, с массивным ртом и безупречным голландским носом. С этого бока видно и огромное ухо, старающееся уловить слабейшие недозволения в недрах темной земли и отдающее мозгу приказ пускать в ход дубинки. Вторая половина лица темная, с негритянскими губами, с черным горячим глазом, со следами страданий, но задорная и боевая. И виной тому, что две эти половины не образуют единого лица, — расизм.

Да, у городов есть свой характер, своя душа. Может быть, мы наиболее зорко видим их в первые дни и даже в самый первый день, пока мы не сплывились с ними в одно целое, не стали их частицей. Привычка часто притупляет остроту взгляда. Конечно, одно дело разглядывать пейзаж долго и обстоятельно и совсем иное — увидеть его на миг в полночь при блеске молнии. Но надо уметь и то и другое. Однако многие места во время путешествия мы видели только при молнии и запомнили только те немногие детали, которые успели заметить при ее вспышке.

Александрия—это конгломерат наций. Тут и египтяне, и италийцы, и греки, и множество армян. Армяне часто подходят к нам, чтобы поговорить об Ереване, городе своих снов. Они говорят о нем, как магометане о Мекке: с нежностью, с мечтательностью, с преклонением, и в их темных глазах загорается огонь.

Больше всего европейских лиц видишь тут на набережной, на богатой и роскошной асфальтовой магистрали, над которой сливаются шумы города и моря. Египтяне здесь встречаются преимущественно богатые. Они ездят в шикарных машинах, очень немногие из них в фесках, и сидящие рядом с ними женщины одеты по последней моде. Это представители национального капитала, укрепляющего свои позиции в экономике страны. Капитал этот искусно использует национальные чувства и не страдает избытком сентиментальности и милосердия.

А в нескольких кварталах отсюда — другая Александрия. Там уже много женщин в чадре, мешкообразная одежда которых делает тело бесформенным и безличным. Правда, большинство из них немолоды. Молодые и красивые не прячут от мира свое лицо.

Много дешевых фесок и мужских шаровар, похожих на длинные — до земли — юбки. Юбки зашиты внизу, словно мешки, — лишь оставлены дыры для ног. Полосатые кафтаны до пят.

Маленькие лавчонки, где товар производится и выпускается в продажу на глазах у покупателя. Нас заинтересовали ковры из верблюжьих шкур — не успели мы войти в лавку, как хозяин отвел нас в заднее помещение, где двое рабочих делали эти ковры; нас интересуют медные тарелки с тонкими изящными гравюрами — и нам показывают, как их изготавливают. Вообще здесь властвуют купцы — египтяне, греки, армяне,

Много маленьких кафе, перед которыми на тротуаре сидят в застывшей позе люди,— они, прищурившись, пялятся на проходящий народ. Мимо течет жизнь, ползет как бархан время, лениво и бесполезно. «Судьба твоя начертана в небе, и на земле ты не властен ничего в ней изменить»,— написано на их темных, замкнутых лицах.

И тут же кипит жизнь — активная, незнакомая, красочная, шумная. Кипят чувства и страсти: любовь, ненависть, отзывчивость, корысть, религиозный фанатизм и радость мастерски исполненного труда. На меди и серебре появляется тонкая паутина линий, из-под коричневых рук мастера выходят тысячи новых сфинксов и пирамид, вырастают пальмы, а между двух параллельных линий течет, сверкая, на этот раз красный Нил. Здесь же изготавливаются фески, современные швейные машины строчат белье и платье для соседнего магазина. По улицам расхаживают продавцы с лотками и крикливо предлагают свой товар. Стоит остановиться на минуту-другую, как уже чувствуешь, что по твоим туфлям, и без того сверкающим, словно зеркало, начинают скользить щетки чистильщика. Часто мальчишек оказывается двое — по одному на каждую ногу,— и если у тебя не хватит решимости вовремя прекратить эту бесконечную чистку, то прощай пиастры.

Ко второй половине дня атаки уличных торговцев и непреклонная активность чистильщиков, не позволяющая остановиться хоть на минуту и спокойно оглядеться, привели меня в отчаяние. Я почувствовал себя совершенно беспомощным и беззащитным, да еще кроме того заметил, что успел закупить множество всякой ненужной, бессмысленной ерунды, в том числе и детские ручные часы из шоколада. А заодно я убедился в том, что к людям в фесках никто не пристает. А если кто и пристанет, так достаточно человеку в феске махнуть рукой, чтобы крикливый продавец отправился на поиски жертвы с более европейской внешностью. Исходя из этого, я сделал самую умную покупку за весь день — приобрел за тридцать пиастров феску. Молодой черноусый продавец, без умолку о чем-то тараторивший, водрузил мне ее на голову и напутствовал меня именем аллаха и «*veri good'om*».

С этого момента вокруг меня воцарился покой. Куни-на и Кулешова атаквали по-прежнему, а от меня (вернее, от моей фески) старались держаться поодаль даже неотступно следующие за нами провожатые. Лишь один

смелый и нахальный чистильщик накидывался с прежним рвением на мои туфли. Я попытался отделаться от него заученным пренебрежительным жестом, но это не подействовало. Он показывал пальцем на мои глаза и с неистовой яростью повторял что-то.

Цвета глаз не изменишь, а мои серые глаза явно не вязались с обликом раба аллахова и феской. Лоуренс, знаменитый английский шпион, долго проживший среди арабов и окрещенный ими «синеглазым шейхом», пишет, какой страх наводили его синие глаза на женщин пустыни. «Небо просвечивает сквозь череп!» — думали они.

По-видимому, и у чистильщика возникло по отношению ко мне такое подозрение. И все же я приобрел себе за тридцать пиастров сравнительно спокойных полдня.

Вечером мы попали в район александрийской железнодорожной станции. Она считается одной из главных архитектурных красот города. Но у нас не было интереса ни к станции, ни ко всей той европейщине, которой здесь очень много во всем, начиная с одежды и кончая неоновыми рекламами ресторанов. Нас интересовало то, что связано с пустыней, с феллахами, то, что просачивалось и в Александрию, накладывая отпечаток на эти большие морские ворота, ведущие в глубь страны и из страны в море.

Тут, в окрестностях станции, видишь по вечерам большие бараньи стада. Каждое сопровождают либо два пастуха, либо скупщики на верблюдах. Вокруг сумеречно и шумно. Грустно дрожат голоса и хвосты овец, мучимых жаждой. Они теснятся вокруг барановожаков — головами к центру круга, задами наружу. Эти белые неправильные круги на сером или черном асфальте, это беспомощное бляение, врывающееся в хор пронзительных автомобильных сигналов, эти грозно торчащие верблюжьи горбы и силуэты деревьев на заднем плане приводят в замешательство. Поневоле спрашиваешь себя: «Куда я попал?» На боку у каждой овцы намалевано красное пятно. Это означает, что завтра, вернее, уже ночью под утро, ее отправят на александрийскую бойню.

А между машинами, ослиами и верблюдами лавируют на велосипедах мальчишки — посыльные из харчевен. У многих перекинута через плечо баранья туша. Поскольку руки у велосипедистов заняты, они держат

неостриженный хвост туши в зубах. Есть в таком способе транспортировки мяса что-то первобытное и дикое. На каждом ухабе красноватая туша мотается с плеча на плечо, в свете фонарей мелькают крутящиеся спицы, звенит велосипедный звонок, а затем посыльный исчезает со своей ношей в сгущающихся сумерках, словно волк в лесу.

Заходим в какую-то третьеразрядную харчевню. За длинными столами сидят уличные торговцы, рабочие, солдаты и нижние чины египетской армии. Как и у нас, в стране равноправия, где в самых жарких республиках посещение женщинами второразрядной столовой считается из косности чуть ли не верхом неприличия (но только не лодырничество мужчин и претворенная ими в жизнь заповедь корана, гласящая, что «женщина — верблюдица, которая должна пронести на себе мужчину сквозь пустыню жизни»), так и здесь не увидишь в подобной харчевне ни одной женщины. Пска ищут кельнера, владеющего английским, мы осматриваемся. До чего различны и схожи лица вокруг! Все темноокие, и почти у каждого продолговатый разрез глаз. Цвет кожи колеблется от желто-пергаментного до темно-коричневого. Носы главным образом орлиные, но у некоторых мужчин потемнее они по-негритянски приплюснутые, а губы у этих людей более выпуклые и мясистые. Попадают почти античные, эллинские профили.

На нас поглядывают отнюдь не дружелюбно. Какникак здесь харчевня не для богатых, не для белых, не для неверных.

Скатерти на столе нет. Еду приносят на зеленых листьях. Ножа и вилки не дают. Посреди стола миска с солью и пряностями. С потолка падает резкий свет ничем не прикрытых ламп, отбрасывающих фантастические тени.

Наконец-то находят, очевидно в соседней харчевне, кельнера, знающего английский. Мы заказываем баранину с картошкой. Сверх того для нас добывают скатерть, тарелки и вилки. Мы заказываем к жаркому самое популярное в Египте пиво «Стелла». Баранина, приправленная большим количеством зелени, кажется нашим изнеженным зубам несколько мочалистой и жилистой. Но особенно впечатляют пряности. Их много, и они настолько остры, что во рту все горит, а из глаз текут слезы.

Со всех концов маленького зала, в котором вокруг

ламп быются маленькие бабочки, к нам тянутся невидимые параллельные нити изучающих взглядов.

Мы выходим. У Кулешова все еще горит во рту адское пламя прыаностей, и он произносит:

— Верблюды!

— Какой верблюд?

— Баран, которого мы ели, был верблюдом! — категорически заявляет Кулешов. И на наши возражения он отвечает: — Верблюжья шея, даю вам слово!

Переубедить его невозможно. И мы сговариваемся на том, что верблюд был все-таки вкусным.

Проходим мимо маленькой бедной мечети, зажатой между домами. Ее широкие двери распахнуты настежь. Мягкий свет падает на красный ковер и на коленопреклоненных богомольцев, то распрямляющих спины, то снова утыкающихся лбами в пол. У дверей поставлены в ряд их потрепанные сандалии и деревянные туфли. Что-то заставляет меня задержаться. Это босые ступни молящихся, обращенные к улице, ступни бедных людей.

Неправда, что характер и судьбу человека можно угадать лишь по его лицу. Наблюдательному человеку очень многое скажут и ступни. Вероятно, они одинаковы у бедняков всего мира. У бегающих весь день за скотиной босоногих пастушат, каков бы ни был у них цвет кожи, одинакова форма пяток и больших пальцев. Одинаковы и дубленые ступни рыбаков. Черные разводы на ногах пахаря, ходившего по осенней стерне, схожи с узорами на коричневых потрескавшихся ногах его далеких братьев, которые перебрались из пустыни в город, где проводят всю жизнь в ходьбе. Я долго смотрю и не нахожу в этом своеобразном строю ни одной изнеженной, мягкокожей пятки. Небо и ветер запечатлевают судьбу человека на его лице, а суровая земля — на его подошвах...

Я стою до тех пор, пока мулла не заканчивает последнего дневного богослужения. Богомольцы встают и молча обуваются, их ноги снова утрачивают своеобразный облик. Несколько взглядов, острых, как пики, буравят мои глаза. В них та самая вражда к неверному, которую превосходно выразил один большой человек и большой писатель:

«Неподвижный, в окаменевших складках голубого покрывала, Муян судит меня:

— Он говорит: ты ешь салат, как козы, и свинину, как свинья. Твои бесстыжие женщины показывают

лицо: он сам видел. Он говорит: ты никогда не молишься. Он говорит: на что тебе твои самолеты, твоё радио, твой Боннафус, если у тебя нет истины?»

И хотя я понимаю эти взгляды, хотя я истолковываю их почти так же, все же гораздо сильнее запоминаются мне ступни, которые несколько минут назад выглядывали из открытых дверей мечети на пыльную александрийскую улицу. Ведь об истине можно спорить. Но нет смысла спорить о том, нужны ли им самолеты и радио. Да, нужны. И гораздо важнее знать, какой путь выберут эти шершавые, коричневые, потрескавшиеся ступни, которые являются своего рода паспортом для 95 процентов жителей Черного материка, чьи шаги гремят все более согласно и грозно, приводя в ярость и страх паучьи души на Западе.

16—17 АПРЕЛЯ

На борту «Победы», плывущей в Бейрут

По дальним странам
Я ходил,
И мой сурок со мною, —

пела у поручней молодая монахиня, когда я направлялся в нашу большую, почти роскошную каюту. Два ее спутника, похожие на воронов и сопровождающие ее в Бейрут, лежали на шезлонгах. А их подопечная, отойдя от них настолько, чтобы ее не слышали, напевала на незнакомом мне языке тихим, кристально чистым голосом бетховенский мотив. Я украдкой взглянул на ее слабые изнеженные руки с длинными пальцами, лежащие на поручнях, взглянул на ее лицо, лилейная белизна которого казалась болезненной под черным капюшоном. На фоне Средиземного моря, серого и хмурого, выделялся тонкий иконописный профиль.

По дальним странам
Я ходил...

Но в душе эта девушка в дорогом и элегантном монашеском одеянии везет с собой неотступные воспоминания, неотступную тоску и своего сурка.

Я вошел в каюту, но мелодия продолжала меня терзать, не отставала от меня, и вокруг закружилось в хороводе все то, что в последние дни наполняло мою душу неясной, тихой печалью. Ибо все мы возим с собой своего сурка, который живет в нас до тех пор, пока живет

наше воображение, пока душа не закоснеет. И временами его грустное мурлыканье выражает все, что есть в нас хорошего: воспоминания, которых нечего стыдиться, уходящую молодость, людей, которых мы любим и которые поддерживают нас, мечты, в которых мы становимся такими, какими бываем не часто, но какими нам следует быть всегда, глаза, требовательно глядящие на нас, счастливый смех, и доброе слово, и великое святое чувство, называемое любовью к родине.

О чем ты мурлычешь, мой спутник, мой сурок? О моих товарищах, которые живут на морозе среди льдов, о тех, кто плывет вместе со мной на этом же корабле и с кем я вскоре распрощаюсь, возможно очень надолго, о еще не написанных песнях и о корабле, который мы покидаем?..

Да, о корабле, который мы покидаем... Ведь моя книга была по сути закончена вечером 13 апреля, в тот самый час, когда «Кооперация» вышла из Александрии в море.

«Победа» пришла в Александрию 13-го в полдень. Мы следили за ее приближением. Большой белый корпус, несущий на себе палубные надстройки и многоэтажные соты кают, высокий плавающий отель виднелся над молотом. И чем ближе он подходил, тем, казалось, крохотней и тесней становилась «Кооперация». Мы знали, каково водоизмещение «Победы». Знали, что ее скорость шестнадцать узлов. Именно последнее — скорость «Победы» — пробуждало в нас сочувствие к нашему кораблю, похожее на сочувствие к старикам.

Во вторую половину дня мы перебрались на «Победу». Прощание с командой получилось каким-то прохладным. Правда, «Кооперация» должна была через несколько часов выходить и вызванная этим спешка связывала команду, но... Ведь как-никак *наш* корабль совершил героический рейс, превышающий по расстоянию длину экватора, преодолел льды и штормы. Но сегодня он берет курс на Гибралтар, а после повезет груз в Роттердам, чтобы через месяц-полтора прийти в Ригу или Ленинград в качестве обычного судна, доставившего из Польши уголь. А «Победу» с экспедицией, очевидно, встретят в Одессе ревом судовых сирен, маршами духового оркестра, речами и поцелуями родных. Но все это более чем заслужила наша старая, верная «Кооперация» и ее команда! Вероятно, мы уже витали мыслями в Одессе в то время, как команда думала о Гибрал-

таре, и потому у людей не нашлось тех теплых хороших слов, которые им следовало бы сказать.

И все же они у всех вертелись на языке, даже у тех, кто больше всего проклинал «Кооперацию» в Индийском океане и называл ее старой калосей. Вспоминается, как в Индийском океане при демонстрации одной кинохроники, запечатлевшей судовой караван около Кронштадта, на экране появилась «Кооперация». А как раз в то время мы тащились на одном дизеле, и потому зрители освистали свою «Кооперацию». Теперь же при воспоминании об этом мы чувствуем себя так, словно обидели тогда хорошего человека.

«Кооперация» отплыла вечером. Все мы стояли на верхней палубе «Победы», на танцплощадке, и едва до нас донесся грустный вой знакомой сирены, как мы от всего сердца прокричали в ответ неистовое «ура», сопровождаемое низким и гулким басом «Победы». Мы кричали так, как кричат на прощанье другу, которого любят, несмотря на все его слабости. Мы вложили в это «ура» все те слова, которые нам следовало произнести днем на палубе «Кооперации» и в ее каютах.

Мы следовали за знакомым судном до тех пор, пока его не поглотила тьма Средиземного моря. И когда мой глаз перестал различать мачтовые огни, я вдруг понял, что меня уже мало интересуют Бейрут, Пирей, Афины и Стамбул, в которые нам предстоит заходить до приплытия в Одессу. И сурок начал мурлыкать песню о корабле, который я покинул.

Сейчас мы держим курс на Бейрут. Ветер норд-вест, Средиземное море взъерошенное и белогривое. Я смотрю на беспокойное ночное море, на то, как обрушиваются и умирают волны.

Похоже, что гребень новой волны в моей жизни — совершенное мною плавание — тоже вот-вот рухнет с шипением вниз и рассыплется брызгами. Но я страстно хочу, чтоб оказались правдой слова поэта:

Бегут, умирают волна за волной,
Могила одной — колыбель для другой!



ЯПОНСКОЕ
МОРЕ,
ДЕКАБРЬ

ОЧЕРКИ

ДОРОГОЙ Г. И.!

После долгих споров с тобой и самим собой я решил заменить в книге о плавании по Японскому морю подлинные имена вымышленными. Нелегко мне было решиться на это. Ведь в ящике моего стола уже лежит чуть не половина рукописи, а теперь многое полетит к черту. И вполне к тому же вероятно, что со мной произойдет такой же случай, какой произошел с молодым человеком в чеховском рассказе: бедняга сел в Бологом не на тот поезд. Более того, еще вероятнее, вероятно на девяносто девять процентов, что иные литературные могильщики начнут нашептывать, делая большие глаза, будто на автора оказали давление и нагнали страху. Я уже слышу этот пронзительный шепот: «Цензура!» И то правда — своя цензура у меня есть. В душе и в мозгу. Что же касается остального, то нет здесь ни тайн, ни страху.

В «Японском море», как и в классической драме, властвует единство времени, места и действия. Вот извольте!

Место: первый советский метеорологический корабль «А. И. Воейков», направляющийся из залива Золотой Рог в северный район Японского моря и потом обратно — из северного района Японского моря в залив Золотой Рог.

Время: ноябрь — декабрь 1959.

Действие разворачивается все в том же необъятном море.

Дополнительные сведения о Японском море можно найти в книге «Моря нашей родины», детальные подробности — в «Японском море» Ю. В. Истошина и в мощном атласе (для рыбаков) «Промысловые рыбы Советского Союза». А там, где речь пойдет о ракетах, которыми мы штурмовали небо, то их описание (вполне достаточное для интеллигентного человека) дано в восьмом номере журнала «Метеорология и гидрология» за 1957 год.

Координат я не сообщу. Моя жена, которую я эксплуатирую как машинистку и корректора, выбросила из моей предыдущей путевой книги большую их часть, и лишь после долгих уговоров мне все же удалось спасти некоторые, самые важные. Но каждый раз, когда стано-

вилось пасмурно, она обзывала меня старой координатой.

Не дай бог пережить это снова!

Но вернемся к цензуре. Разумеется, более или менее конкретные люди, которые действуют у меня (или бездействуют) под вымышленными именами, в самом деле прошли цензуру: они проверены нашим временем, нашей советской школой, советским обществом, советской практикой—это немало в них определило.

Я, конечно, уклоняюсь в сторону, но не я первый и не я последний, кто использует цитаты из классиков для оправдания своих ошибок. Мне как раз подвернулся под руку «Том Джонс» Генри Филдинга.

«Читатель! Прежде чем мы двинемся дальше, считаю уместным предупредить тебя, что в течение всего повествования я намерен при каждом удобном случае уклоняться в сторону. Я-то лучше знаю, когда это следует делать, чем какой-нибудь... (опускаю одно прилагательное.— Ю. С.) критик. Ибо я не собираюсь обращаться к ним за вынесением приговора, пока они не представят бумагу, подтверждающую их право судить меня».

Я и в дальнейшем намерен цитировать из чужих текстов только то, что более или менее пойдет мне на пользу.

Однако к делу. Несколько лет тому назад в периодической печати подняли шум, иным словом дискуссия, насчет очерков с адресом и без адреса. Я не сторонник первых или вторых, то есть я сторонник и первых и вторых. И если я решил заменить в «Японском море» подлинные имена вымышленными, то отнюдь не из симпатии к очеркам без адреса, а по другим соображениям. А именно по следующим:

1. Я не могу два раза подряд использовать в путевых записках форму дневника. Она удобна, но это было бы неправильно. Тут уместно заметить, что некоторые герои этой повести уже появлялись на страницах «Ледовой книги».

2. Думаю, что каждый писатель испытывал хоть раз в жизни такое чувство, будто он сидит за письменным столом в наручниках. Фантазия парализована, а вдохновение ковыляет, как слепая рудничная кляча. В подобных случаях нас вяжет по рукам беспощадная конкретность материала, существенные и в еще большей мере несущественные детали, и нам никак не удается пре-

вернуться из протоколиста жизни в ее творческого истолкователя. Несущественное затуманивает существенное, неважное — важное, истины одного дня гнетут нас и приковывают к земле. Так рождаются мертвые книги. Нечто подобное случилось и со мной. Поэтому я решил развязать себе руки и взглянуть на «Воейкова» с верхушек мачт.

3. Меня смущала скромность ученых. Напишешь о хорошем человеке хорошо, а он принимается упрекать тебя: зачем ты не написал о другом — он лучше. И при встрече промчится мимо тебя по улице Горького, как тайфун. Разве я не прав, дорогой Г. И.?

4. Писать о конкретных людях с конкретными именами — значит выносить им свою оценку, выдавать некий аттестат, который будет действителен до тех пор, пока книгу не перестанут читать. Но на «Воейкове» плавало слишком много молодых ученых, а я не Нострадамус, чтобы предсказывать, кто из них станет светилом в физике, океанографии, телеметрии или ракетной технике. Уверен, что все станут. Но уже давно было сказано кем-то: «Вера — это прочная надежда на неведомое». Думаю, что мои молодые друзья не обидятся. Осторожность еще не есть недоверие.

5. Мне нужно ввести в состав экспедиции несколько человек, с которыми я плавал по Ледовитому океану.

Вот вкратце причины, по которым я заменил подлинные имена вымышленными. Принята в расчет и твоя точка зрения, дорогой Г. И. Впрочем, она бы ничего мне не разъяснила, если бы я сам не зашел в тупик.

И ты, Брут, на этом выиграешь. Ведь после того, как я претворил тебя, конкретного Г. И-а, в художественный образ, кое-где появился избыток лака и слезливого пафоса. Мне пришлось подумать о твоей жене, о твоих детях и твоих увесистых кулаках. Теперь мой Г. И. несколько напоминает святого Антония. Словом, я по-прежнему останусь твоим зеркалом, но чуть похуже отшлифованным.

Договорились?

Ura voce!

1

ЭВРИКА!

С той поры, как золотых дел мастер надул Гиерона и Архимед, обнаружив это, от ликования и рассеянности выскочил на улицу Сиракуз нагишом, приведя тем са-

мым в изумление даже выдавших виды античных дам, возглас «эврика!» — то восторженный, то мрачный — звучит на протяжении всей истории человечества, всей истории прогресса: он отмечает знаменательные дни и переломные моменты в науке, зарождение великих художественных замыслов, начало первой любви («Я нашел свою судьбу!») и первые разочарования («Я нашел, что она не та...»).

«Я нашел!» — эти слова оказались последними в жизни ребенка, который вскоре после войны нашел гранату и позвал приятелей взглянуть на находку. Летчик, который, пролетев на американском бомбардировщике над Хиросимой, перевел *рычаги* и уничтожил целый город со стотысячным населением, *нашел* потом, что он повинен в массовом истреблении. За это человеческое движение души американские военно-воздушные силы предоставили ему место в сумасшедшем доме.

Нам, детям человеческим на Земле Людей, дорога именно та «эврика!», которая сопровождает великое или малое, но, во всяком случае, *счастливое* открытие. Великое или малое, но непременно полезное открытие, которое будет служить и помогать человеку. Люди в море, особенно молодые, часто рассказывают историю своей первой любви. Поражает сходство этих историй. И все-таки для каждого в отдельности эта история содержит свое переломное «я нашел!», и это переломное само по себе сыграло огромную роль в формировании и судьбе этих людей. Благодаря ему, и только ему, и под Москвой и на Дальнем Востоке в детских садах растут будущие океанографы, конструкторы ракет, телеметристы, метеорологи и моряки, отцы которых плавали со мной в Японском море. В этом плаваньи я десятки раз восклицал про себя: «Нашел!»

Во время рейса в Антарктику мне запомнился один из участников морской экспедиции: его тусклые глаза были похожи на погасшие звезды. Он мало двигался, мало говорил, много лежал и не вызвал во мне ни малейшего интереса к своей личности. Тут я *нашел* его заново. Это выдающийся телеметрист и конструктор, в годы Великой Отечественной войны он совершил двести семьдесят боевых вылетов, а в 1945 году, в дни разгрома Квантунской армии, стал в Мукдене очевидцем почти фантастических событий.

Я часами следил за локатором и смотрел, как счетные машины точно и молниеносно превращают в цифры

сигналы ракеты, и *нашел*, что в такую умную машину можно влюбиться. Мою кабину, к счастью, время от времени сильно трясло, потому что прямо под ней работал какой-то треклятый агрегат. И я *нашел* связь между вибрацией, страхом перед малярией и временной потерей способности мыслить.

Позже, уже на берегах Байкала, я пытался выведать у одного из главных героев этой книги, бывшего летчика и парашютиста, что испытывает человек перед прыжком с самолета и волнуется ли он, предположим, перед сотым прыжком. Мне ответили: «Я, во всяком случае, всегда волновался. Наверно, нужно быть очень старым, чтобы...» И не закончил. Я, однако, не раз слышал, как перед пуском ракеты он на командном мостике отсчитывал с убийственным спокойствием в микрофон: «Десять секунд... Пять секунд... Три секунды... Старт!» И *нашел* в своем старом друге тот стимул, тот мотор беспокойства и скрытого юношеского волнения, который мчит его сквозь крайне переменчивую трудовую и глубоко творческую жизнь.

Эврика!

В отвратительную ноябрьскую ночь 1959 года, под воскресенье, я *нашел* себя во Владивостокском порту на красной гранитной глыбине, торчавшей на берегу Золотого Рога. Я уже сорвал голос, и мое измученное горло издавало уже не крик «Э-ге-гей, на «Воейкове!»», а ржавое старческое сипение. Сколько я прокричал — час, два, три? Мне казалось, что полжизни. Чем сильнее холод стискивал сердце своим свинцовым обручем, тем неудержимее становилась жалость к себе, злость на все человечество и решимость собственноручно повесить на мачте заснувшего вахтенного. Плоские маслянистые волны, черные и холодные, подгоняемые утренним бурном, с плеском набегали на прибрежные камни, словно специально нагроможденные для того, чтобы можно было передомать ноги. И все это несмотря на то, что составители атласов, или так называемые географы, расположили Владивосток на одной широте с Южным Крымом! — Э-ге-гей, на «Воейкове»!

Ни души, никакого движения на палубе! Судно, будто невежливая дама, повернулось ко мне своим широким задом. А те сто метров холодной маслянистой воды, которые отражали бортовые огни и над которыми от кормы «Воейкова» до глубины под моими ногами был туго натянут сверкающий стальной швартов, эти сто

метров воды оставались для меня непреодолимыми. И большая «Сибирь», стоявшая слева от «Воейкова», и «Адмирал Макаров», стоявший справа, тоже роняли в воду самоварное золото своих огней и так же молчали, как и корабль моей мечты. В Москве его называли чудом, да он и в самом деле был чудом неразговорчивости и невоспитанности, чудом невежливости по отношению к сыну Эстонии, надрывающему глотку:

— Э-ге-гей, на «Воейкове»!

Мой родной край, о зачем я тебя покинул?

День и без того был тяжелый и трудный, а тут еще эта идиотская ночь и такое ощущение, будто тебе залепили железной гайкой в лоб. Холод, безнадежность. И в застывших мозгах внезапно мелькает мысль: а если судьба и впрямь окажется собакой и я в самом деле на этой красной глыбине «откину копыта» (народно-поэтическое определение бессмысленной смерти), кто напишет некролог? И будут ли в нем обрисованы достаточно выпукло мои всевозможные дарования, выдающиеся заслуги и вспомнят ли, что я хороший человек? *Может быть*, напишут «трагически погиб» и, *может быть*, добавят «при исполнении служебных обязанностей», в действительности же в моем положении нет никакой трагичности, а есть лишь невероятная глупость, и я не исполняю никаких обязанностей, а только сиплю: «Э-ге-гей, на «Воейкове»!» да стучу, как волк, зубами.

Один из героев «Семьи Тибо», доктор Филип, считает, что с человеком всегда происходят именно те чудеса, каких он заслуживает.

Да, я сам виноват во всем происходившем и происходящем, но не в том, что «Воейков» спит, а вахтенный оглох. В полночь я вылетел из Москвы на ТУ, не сообщив об этом на корабль и не узнав, где он находится. Телеграмма директору Дальневосточного института метеорологии и океанографии спасла бы положение. И сверх всего грубейший и глупейший просчет: ведь владивостокское время на шесть часов опережает московское. Как раз из-за этих шести часов, которые затем разрослись в девять, я и торчал на этой глыбе.

ТУ прекрасный самолет. За двенадцать часов добираться от Москвы до Владивостока. Девять тысяч километров на высоте девяти тысяч метров. Но во владивостокском аэропорту начинает казаться, что все это — удобство, скорость, заботливость — уходит куда-то прочь и эффектная авиановелла заканчивается убогой,

непродуманной, случайной развязкой. Вещи доставляют с самолета только через час. Мы ожидаем в неотапленном и неуютном здании вокзала хоть какого-нибудь транспорта, чтобы попасть в город. Но чего нет, того нет. Будет через полчаса, нет, через час. Наконец подходит автобус, и всей нашей братии пассажиров, которые хотят попасть в город, набивается столько, что машина трещит по швам. Дети плачут, и матери, потерявшие самообладание, успокаивают их несколько повышенными голосами. И хотя в автобус больше не смогла бы втиснуться ни одна душа, а всем нам еще до ночи надо попасть в центр города, тем не менее кондуктор сообщает, что мы не минуем ни одной предусмотренной маршрутом остановки и, стало быть, потеряем еще лишний час сверх всего того времени, какое уже потеряли...

— Послушайте, товарищ кондуктор, это же бессмыслица! — обращается к кондуктору полковник авиации.

Пассажирки становятся темпераментней, запас слов — богаче. На кондукторшу, женщину средних лет с пронзительным голосом, обрушиваются не самые нежные эпитеты. Весь автобус охвачен холодным бешенством, которое кондукторша еще подстегивает непрерывным потоком малоприятных слов. Мы, семьдесят пассажиров, люди самых разных профессий — и учителя, и геологи, и военные, — совершенно бессильны перед этой визгливой фурией. Следует, однако, признать к ее чести, что она ненавидит нас так же сильно, как мы ее. Победа остается за ней! Мы едем *по маршруту!* Ни один из нас не выходит, а тем, кто снаружи колотит кулаком в закрытую дверь, кондуктор истошно кричит:

— Вы что, не видите, что машина полная?! Ослепли, что ли? — После чего обращается ко всем — и к людям в автобусе, и к людям на остановке: — Когда же народ культурным станет?

Москва — Владивосток, девять тысяч километров, — двенадцать часов. Владивостокский аэропорт — Владивосток, тридцать километров, — три с половиной часа.

Давно пора — это касается множества аэропортов между Владивостоком и Кингисеппом — обзавестись культурой не только в воздухе, но и на земле.

Было уже поздно. Я разыскал диспетчера морского порта. После проверки он сообщил, что «Воейков» стоит где-то далеко, в пятом секторе. Была суббота, дело шло к ночи, на площади перед владивостокским вокзалом ветер пронизывал до костей. Такси не нашлось. Я снес

свой двадцатикилограммовый чемодан в камеру хранения ручного багажа. Ибо при запутанных обстоятельствах всегда лучше, если руки твои свободны и тебе, и без того упавшему духом, не приходится ничего волочить на себе. Итак, со свободными руками и с надеждой в душе я снова встал в очередь на такси. До чего же медленно она двигалась! И как быстро мы поддаемся психологии очередей, которая превращает нас в нулевой меридиан, делящий человечество пополам: на тех, кто стоит впереди, и на тех, кто стоит сзади, то есть на публику скверную и грубую и на публику сносную.

Рядом со мной возникла из темноты молодая женщина с опухшими подглазьями, с неприятным мутным взглядом, говорившим и о ее судьбе и о профессии. Одна из тех, которые все еще попадают у ворот портов и железнодорожных вокзалов — в полурасстегнутых пальто, в платьях, усеянных пятнами, с прическами, уже давно переставшими быть прическами, с профессиональными лобовыми приемами. Женщина прохрипела пропитым, некогда, вероятно, красивым голосом:

— Коля, пошли!

— Я не Коля.

— Ой, Миша, не признала тебя!

— Я не Миша. Оставьте меня в покое.

— Ишь, гордый!.. Пойдем выпьем. У меня вон чего есть, — и сна показала ключ.

Но тут появились красные милицейские погоны, и это заставило ее исчезнуть. Она пропала во выюжной тьме — парусник без руля и без ветрил, гонимый случайным течением.

Наконец подошла моя очередь. Я сел с водителем. Но не успел я захлопнуть дверцу, как ко мне подлетел высокий военный со старшинскими погонами, стоявший в конце хвоста, в числе «сносных».

— Вам куда?

Я сказал.

— Нам туда же. Не прихватите?

— Пожалуйста.

— Минуточку, я вещички закину.

— Пожалуйста! — повторил я, уже вполне довольный и самим собой и всем на свете.

Старшина открыл заднюю дверцу и начал «закидывать вещички». Он занял шесть мест. Прежде всего он не то чтобы усадил, а чуть ли не внес свою маленькую узкоглазую жену. Одно место. Потом — двух дочерей,

полутора и трех лет. Три места. А затем двух воинственных мальчишек, сражавшихся из-за апельсина, двух пятилетних близнецов. Пять мест. Шестое место занял он сам.

В машине было тепло, тесно и весело. Женщина ласковым шепотом старалась помирить близнецов. Те, насупясь, мрачно тарачились друг на друга, но потом все же пошли на мировую.

— Перемирие до утра, казаки.

Чудесная была семья! Она напоминала небольшое воинское подразделение, в котором царит порядок, любовь и взаимопонимание. Дети притихли, их сморила дрема, и немного погодя мое ухо уловило тихое сладкое посапывание двух девочек. Старшина все время то рассказывал о своих мальчиках, то разговаривал с ними на каком-то полуармейском языке, то переходил на язык команды, если дело касалось воспитательных вопросов. Женщина красноречиво молчала. Старшина частенько поглядывал на нее своими далеко расставленными глазами — они едва помещались оба сразу в зеркальце водителя, когда там показывалось его лицо. Жена старшины, кореянка или китайка, лишь скупно обнажала в улыбке белые зубы. «Контакт! — Есть контакт!» Голос старшины, дыхание спящих детей, ровное урчание мотора, мелькание незнакомых улиц и вихри метели за стеклами — все это вместе с теплом вернуло мне чувство домашности, чувство своего места, обретенного здесь, под звездами Дальнего Востока. Облик мира сразу переменялся, и мысль начала создавать роман о супружеской паре, сидевшей за моей спиной. Большая разница в росте, само собой, подсказала заглавие: «Гора и Магомет». В старшине все семь футов, а на языке североэстонских рыбаков «парень семи футов» означает высшее признание, касающееся, правда, не только роста. «Парнем семи футов» можно назвать и человека среднего роста, если он лихой и смекалистый. То есть к пяти футам его роста добавляется два фута характера. Но на этот раз речь в самом деле шла о двухметровом человеке, о Горе, и о крошечном Магомете. Все наверняка началось с того, подумал я, что Гора пошла к Магомету. Я представил себе, как они встретились где-то на опушке тайги, под кедром, а на кедре, наверно, сидела белка, и Гора с высоты своей вершины склонилась губами ко лбу Магомета. Это не могло быть иначе, а если все было по-другому, меня это не касается,

Мы подъехали к дому старшины. Бог его знает, к какому по счету в его жизни. Старшина выгрузил свои «вещички», попрощался, и все шестеро исчезли за незнакомой дверью незнакомого дома.

— Э-ге-гей, на «Воейкове»!

Водитель был незнаком с портовым районом, и потому мы проехали мимо нужных ворот. Я прошел около трех километров по берегу залива и под конец, не найдя никаких тропинок, занимался самым настоящим альпинизмом. И вот я стою на гранитной глыбе. Ночь и тьма — друзья страха, и потому в холодном усталом шипении волн мне все отчетливее слышится один из лейтмотивов гауптмановской «Атлантиды»: *Мойра*.

Тут из-за спины донеслись легкие шаги, донеслись с тропки меж валунами, оказавшейся вполне проходимой. Гибкая и ловкая, передо мной возникла из тьмы, будто луна из-за туч, молодая женщина, уборщица с «Воейкова». Оторопев, я даже забыл поздороваться.

— Ждете шлюпку?

— Да.

— Давно?

— Давно.

Я попытался унять лязг зубов, сознавая, на какие мысли может навести в полночь человек, лязгающий зубами. Отчасти мне это удалось.

— Шлюпка сейчас подойдет, — сказала женщина без всякой тени сомнения в голосе. И тут же над ночной маслянистой водой раздался звонкий, как трель жаворонка, повелительный оклик:

— «Воейков», шлюпку! Вы что, спите?

Странное дело, на палубе тотчас появилась фигура в тулупе. Минуту спустя эта круглая фигура спустилась, очень, правда, неторопливо, по трапу, издавая с мощностью паровоза какое-то непонятное клокотание. Затем человек сел в шлюпку, в старое черное корыто, выглядывшее на серо-голубом фоне корпуса «Воейкова» анахронизмом, и, перебирая руками швартов, направился к берегу. Клокотание, окутывая шлюпку темной тучей, становилось все громче, и в нем уже отчетливо выделялись ругательства и проклятия в адрес ночных бродяг.

Последние рывки, и вот шлюпка с человеком и ругательства закачались на волне прямо под нами. Шлюпка, вернее челн, уткнулась тупым носом в гранит. Человеку стоило труда уследить за тем, чтобы шлюпка не встала боком к волне. Сперва я видел только крепкую широкую

спину этого современного Харона и могучую красную шею в складках, без изгиба переходившую в затылок, прикрытый смешной ушанкой. Потом человек поднял голову и поглядел наверх.

Исправная, годная к употреблению память похожа, по-моему, на пилу, на зубья пилы. Длина пилы равна всей жизни или ее временному отрезку. Людям не надо помнить, и они не помнят всей линии зигзагов на пиле, всех существенных и несущественных мелочей, которые соединяют острия зубьев с остриями провалов. Иные длиннющие, недлинные и даже короткие романы тем и скучны, что зигзаги событий вытянуты там в прямую линию, где каждый миллиметр одинаково значителен и важен,—разница между острием зубца и острием провала исчезла. Нормальная память удерживает и радостные события — они у меня образуют острия зубьев, и тяжелые, угнетающие — они у меня образуют острия провалов. Две эти параллельные пунктирные линии фиксируют с должной точностью человеческую жизнь, человеческую судьбу, образуют в итоге жизнеописание каждой отдельной личности и даже историю народа. Сейчас я завяз в острие провала.

Человек в шлюпке поднял голову и поглядел вверх.

Лицо его вполне соответствовало шее: та же багровая угрюмость. На женщину лодочник посмотрел с упреком, а на меня — так же, как псковская купчиха на мужа,—эта дама с приоритетом уже за двести лет до Рентгена видела людей насквозь. Но я, по-видимому, стал уже настолько астральным, что икс-лучи лодочника ничего во мне не обнаружили.

— Садись! Что за гульба по ночам? — заворчал он на женщину.

— Этому товарищу тоже на «Воейков», — сказала она.

— Пропуск есть? — спросил меня лодочник.

Я признался, что нет. Тогда Харон, помогавший женщине перебраться со скользкого гранита в лодку, мотнул в мою сторону головой и сказал:

— Тамбовский волк тебе товарищ. Не возьму.

— Извините (с какой охотой мы извиняемся, когда не нужно, и с какой неохотой, когда нужно!), но я направлен на «Воейков».

— Кем направлен? Никем ты не направлен,—безапелляционно возразил лодочник и рассвирепел.— Истают тут по ночам всякие типы да еще хотят, суки-

ны дети, чтобы я их возил! Кто вас пустил в порт? Кто вас послал? Никто вас не посылал.

Я назвал центральную газету, главный редактор которой подписал мою командировку.

— Корреспондент? — спросил лодочник. — Какие там корреспонденты? Телеграммы не было. Распоряжения не было. Нет у нас корреспондентов и не нужно. У нас корабль научный, метеорологический, без корреспондентов обойдемся.

— Я направлен на «Воейков», — повторил я и посмотрел на шлюпку, которую как раз в этот миг подкинула волна.

— Покажите документы! — гаркнул лодочник.

Я начал искать. Но лодка качалась на волнах метрах в двух от меня, и передать туда документы, да еще в темноте, было невозможно. К тому же лодочник обеими руками держался за швартов, чтобы лодку не бросило на камни.

— Садитесь! Долго я вас буду ждать? Корреспондент! — И буркнул женщине, которая с предостережением и упреком покачала головой: — Пропуска-то нет! Порядок знаешь? Капитан мне устроит...

На миг сняв со швартова одну руку в мокрой брезентовой рукавице, он выразительно провел ею по горлу.

Я кое-как спустился со скользкой глыбы и встал на мокрую корму. Женщина села впереди меня на банку. Харон, перебирая швартов, повел лодку к кораблю. И еще кинул мне через плечо:

— Не думайте, что я вас пушу на трап. (Пауза.) Только на первую ступеньку. И если документы у вас не в порядке, до утра там простите. (Снова пауза.) Вот чертова работа: возить по ночам всяких корреспондентов! (Опять пауза.)

Но мне это казалось сущим блаженством: стоять на трапе *своего корабля* и трогать рукой холодную сталь своего будущего дома. «Воейков» все приближался, мне дружески подмигивали его палубные огни и бычьих глаза освещенных иллюминаторов. Мне даже стало теплей, хоть мы и были на воде.

По правде говоря, лодку качало и удерживать равновесие, стоя на мокрой кормовой банке, было нелегко, но...

— Садитесь, пожалуйста! — с тревогой попросила женщина, но лодочник решил положить конец этому «матросскому Версалю» и сказал обо мне в третьем лице:

— Пускай стоит, дьявол!

Снова стало холодней. И я подумал, почему большинство людей с плохим характером или плохими нервами ругаются так бездарно, почему у них такой бедный запас слов, почему злобе так редко сопутствует темперамент, способный придать блеск всякой стычке? Нам, эстонцам, разумеется, нелегко: у нас ругательств меньше, чем у любой другой великой нации. Правда, в Тартуском литературном музее мне однажды попался в руки «Словарь лексики эстонского стрелкового корпуса», составленный Юханом Пеегелем, и тогда я понял, что познал отнюдь не всесторонне богатства родной речи. Но все-таки обидно слушать, когда тебя чествуют так бездарно в какой-нибудь стране, где прочная, хоть и удручающая основа неисчерпаемого лексикона ругательств была заложена еще девой Марией, греко-православной или римско-католической церковью, всеми святыми, религиозными войнами и царями.

«Пускай стоит, дьявол!» До чего же пошло.

Я расставил ноги пошире, встал поустойчивее и, вскинув повыше голову, которую при каждом рывке мотало то влево, то вправо, бросил взгляд на мощный мясистый затылок своего противника. Внутренний голос осторожно шепнул:

«А что, если стукнуть?»

И настойчивее:

«Стукни!»

И наконец повелительное:

«Тресни его по затылку!»

Но я не треснул. Лодочник был сильнее меня, и его «внутренний голос» (совсем другого рода, чем «внутренний голос» некоторых поэтов, который не дает оступиться их рассудку) наверняка приказал бы ему дать сдачи. И тогда мне пришлось бы нахлебаться черной воды Золотого Рога.

Вот почему в ту ночь, нелепую и восхитительную, случилось нечто такое, о чем я до сих пор не могу вспомнить без стыда: я попытался угодить Харону. Наверно, Короленко был прав: стоит температуре человека упасть на два градуса, как совесть его сразу замерзает и чувство достоинства превращается в руины. В результате работник, не побоявшийся вступить в бой с министром, замирает в униженной позе перед ревизором и с виноватой улыбкой выслушивает выговор за то, что у табурета оказалось не три ноги, а четыре. И все это —

темные закоулки психологии, все это — притаившийся в нас раб, которому следует почаще давать по затылку. Время от времени оживает он и во мне, хотя предки мои стали вольными крестьянами еще в крепостные времена. Стальной швартов требует брезентовых рукавиц, а на мне были новые перчатки из весьма тонкой кожи. В неудержимом приступе угодничества я ухватился за мокрый, облизанный языками волн швартов. Я решил помочь лодочнику, и, вероятно, на лице у меня даже появилась заискивающая улыбочка. Позорное зрелище!

— Перчатки свои испортите, сядьте,— сказала женщина.

Какой приятный был у нее голос, и с каким удовольствием я внял бы ему.

— Ого! — буркнул лодочник.

Впрочем, это было его последнее «ого». До «Воейкова» оставалось всего метров двадцать, и лодочнику явно пришла в голову мысль, что деятель без пропуска, пытающийся незаконно проникнуть на корабль, может и впрямь оказаться корреспондентом. Неожиданно он обратился ко мне с такой же заискивающей улыбкой, какую десять секунд назад я послал его твердокаменному затылку:

— Садитесь, пожалуйста. Эти перчатки не для швартова.

— Спасибо. Я постою. (Раб во мне снова умер.)

Мы подплыли к трапу. Женщина, мой добрый ангел, поднялась первой. Я вылез и остановился на первой ступеньке. Лодочник, ловкий, крепкий, здоровый, привязал шлюпку и, выпрыгнув, оказался рядом со мной. Я протянул ему свои бумаги: паспорт, удостоверение депутата, командировку и письмо к капитану.

— Пошли наверх. Здесь дует.

— Спасибо, потерплю. Проверьте бумаги и вызовите дежурного штурмана.

Состоялась краткая дискуссия; так и сыпались признания в уважении, любезности, уверения, что на трапе можно простудиться, и, хотя я соглашался с тем, что на трапе можно простудиться (поднялся очень сильный ветер, и дул он чуть не со всех сторон сразу), но стоял на своем: человек, любящий порядок, никогда не поднимется выше первой ступеньки. Место было более чем неподходящее для всех этих дипломатических изъяснений: внизу, в метре от нас, море, в стороне, метрах в двадцати, «Адмирал Макаров», закрывающий гори-

зент, а слева — серый борт, поднимающийся на восемь метров. И потому мы полезли по трапу в небо — Харон впереди, а я на буксире сзади. На железной палубе «Воейкова» шаг звучал твердо и многообещающе, лампы по-домашнему горели теплым светом, открывались и закрывались металлические двери. «Пожалуйста!» — «Спасибо!» Короче, я был вполне дома.

Капитана на судне не оказалось. Первого помощника тоже. Дежурный штурман, которым был, кажется, четвертый помощник, выбрал себе в качестве ночной резиденции каюту первого помощника. Лодочник зашел с документами в каюту, а я остался в коридоре. Из-за двери послышались голоса, становившиеся все более громкими.

Дежурный штурман. Корреспондент? (Слышится шелест бумаг.) А где его пропуск, хотел бы я знать?

Лодочник. Пропуска нет.

Дежурный штурман. Что ж ты его на корабль притащил? Старик с тобой знаешь что сделает? (Оказалось, что старик делает что-то не очень приличное.) Эстонец? Из Риги, значит? Какого дьявола ты пустил его на судно, а?

Лодочник. Слушай, Андреич, я бы его не взял...

Дежурный штурман. Не взял бы, а все-таки взял. Куда я его дену — в засол?

Лодочник (повышая голос). Я бы его не взял. Только, веришь или нет, чухна этот совсем синим стал. (Неправда, я самое большее — чуть посерел с лица.) Будь на нем хоть ватник, я бы с этим мистером и говорить не стал.

Дежурный штурман. Смотри не заплачь.

Лодочник. Не надейся, Андреич. Хочешь, свезу его на камень обратно. Но утром, слышишь меня, утром ты сам за ним поедешь — я мертвяков не вожу.

Меня прямо распирало от злости на лодочника, но тут я все же начал его частично понимать. Не вел ли я себя как человек, пытавшийся завязать дружеские отношения с часовым у военного объекта?

В каюте стало тихо. Там изучали документы. Я считал, что на «Воейкове» они вполне сойдут. Бумаги взяли слово. Бумаги стали защищать «совсем синего чухну». Бумаги покончили с неясностью. Да здравствуют бумаги!

Минуту спустя меня пригласили в каюту.

— Значит, к нам?.. Хорошо... Хотите чаю? — обратился ко мне дежурный штурман с необычайным радушием. И затем попросил лодочника: — Открой двадцать пятую каюту.

— Двадцать пятую? Каюту прессы?!

— Вот именно.

Лодочник пошел открывать каюту, а дежурный штурман, вернув мне документы, скрылся в темном лабиринте коридоров. Я сидел радостный и уже совсем оттаявший. Я даже зажмурился от удовольствия. Переда мной, правда, тут же замаячил, и очень зримо, гигантский затылок в складках, но он уже не казался таким свирепым.

Потом мы пили чай. Лодочник вернулся и зашептался с дежурным штурманом. До меня донеслись слова «белье, одеяло, подушка». Очевидно, ночью их негде было раздобыть. Но все остальное постепенно уладилось. И немного погодя я уже сидел у себя на койке на голом матраце, и в оба иллюминатора моей каюты смотрела черно-синяя морская ночь в белых пятнах снега, ночь Золотого Рога и Японского моря, но на этот раз полоса той же самой воды, на которую я так долго таращился с унынием и злобой, показалась мне уже совсем иной. По-иному сверкали над водой натянутые швартовы, они сверкали волшебным и энергично, поблескивая серебром, как стрелы на лету. По-иному вздымал под ними свою глянцево-черную грудь ночной залив. По-иному, теперь уже таинственно и дружелюбно, покачивались на черной воде золотые отсветы судовых огней. Я чуть ли не слышал, как большие задумчивые корабли беседовали друг с другом о Ледовитом и Тихом океанах, о Курильских островах. Никогда я не вглядывался в море так пристально, как в эту ночь, и на этот раз море сказало мне что-то такое, чего я прежде не знал.

До утра я еще раз встретился с лодочником. Он принес мне постельное белье, полный комплект. Наверно, со своей кровати. У меня начался жар, и я не стал отказываться. Он извинился. За «сукиного сына» — он, кажется, сказал такое. Еще как сказал, но теперь мне было все равно. К тому же, когда он сказал это, я в самом деле чувствовал себя сукиным сыном. Но теперь я не стал пускаться в подробности.

Лодочник ушел. Дверь на миг приоткрылась, и в каюту через плечо лодочника заглянул Большой Халль, дух моей морской тоски.

БОЛЬШОЙ ХАЛЛЬ

Большой Халль — безликий, безглазый и бестелесный дух. Ему уже не одна сотня лет, но он рождается все снова и снова из молочной стены тумана, из плеска волн, из серых облаков над головой, а родившись, слоняется по длинным судовым коридорам, залитым мягким светом, поднимается и спускается по крутым трапам, переходя от каюты к каюте, высматривая, не приютит ли его кто на время. Никто не видел и не увидит Большого Халля, однако человека, оказавшегося во власти этого младшего, но более хитрого брата морской болезни, всегда отличишь от других. Я наблюдал эту болезнь в десятках форм, таких разных и в то же время таких схожих.

Человек стоит на расстоянии метра от тебя, на расстоянии промежутка между койками, но вас разделяет тысяча километров тоски, и этих километров не преодолеть ни звуку, ни слову, ни радости, которой ты хотел бы поделиться. Человек уже в десятый раз лезет во внутренний карман, заколотый булавкой, и ты слышишь легкий металлический щелчок английской булавки, слышишь холодный химический шорох целлофана, трущегося о подкладку пиджака. В десятый раз достается аккуратный серый водонепроницаемый пакетик, в десятый раз на одеяле раскладывается в ряд пять фотографий. В десятый раз из пяти фотографий выбирается одна, изображающая вполне обыкновенную девушку, курносую и кареглазую. Эту фотографию то подносят к самым глазам, то отставляют подальше, а потом вчитываются в слова, написанные на обороте, стертые и вечные. Потом снова шелест целлофана и щелчок иглы. И будущий кандидат географических наук, двадцатилетний аспирант, вздыхает так же шумно, как вздыхают в ночном лошади.

Морская тоска.

Теряя скорость, сельдяной траулер с трудом пробивается сквозь десятибалльный шторм. Небо с черными стремительными тучами то опускается прямо на мачты, то мачты взлетают до неба. Штурвальный после трудной вахты пробирается с кормы на нос, вцепившись в трос, и гремит по трапу подкованными каблуками. Он добирается до кубрика и тут спотыкается, наступив на «коты», брошенные кем-то из его друзей на пол.

И несколько раз поддает ногой ни в чем не повинные ботинки. Тягостная пауза. Глаза матроса наливаются кровью, он отдергивает плюшевую занавеску, за которой спит его друг, и подносит к его лицу кулак, пропахший сельдью. Крик. Брань. «Чертовы ботинки! Свилярник! Знать тебя не хочу!» Я убираю со стола острый с широким лезвием нож для потрошения сельди. Вчерашние, да, впрочем, и завтрашние друзья, одноклассники, молодые приличные ребята, приготовились к прыжку, словно две рыси. Они с удовольствием разбили бы друг другу морды. В качающемся кубрике повисают тяжелые слова, одно другого несправедливей. Но реакция наступает так же внезапно, как вспыхивает ссора. Споткнувшийся матрос говорит вдруг нормальным голосом:

«Нервы, ну их!..» И называет ту часть тела, где нервов довольно мало.

Какие в девятнадцать лет нервы? Какие-то есть, значит...

Морская тоска.

Одного Большой Халль гоняет форсированным маршем по коридору, и он отбивает шаг размеренно и четко, как метроном. И, даже не зная, кто это там ходит, ты все же сразу догадываешься, что за невидимка неслышно ступает следом за несчастным. Другой сотни раз подряд меряет свою двухметровую каюту от двери до столика под иллюминатором. И не даст себе передышки даже при сильной волне. Знай мотает на крутых поворотах серый клубок своих мыслей: раз, два, три, четыре — до двери и раз, два, три, четыре — до иллюминатора. Третий рисует на бумаге какие-то бессмысленные фигуры: треугольник, ромб, рыбий хвост, глаз с длинной бахромой ресниц. А потом снова треугольник и снова ромб. Четвертый сидит несколько минут в полной неподвижности, а потом вдруг гаркает своим непоставленным голосом что-то радостно-непристойное. Пятый, пригвожденный к поручням, пялится на серое море до тех пор, пока его лицо не становится таким же серым.

Все это разные формы морской тоски, и мы видим, что в каждом случае человек ей сопротивляется: двигается, рисует, пусть что-то бессмысленное, или выдирается из сумеречного состояния с веселым ревом. Когда изо дня в день играешь с Большим Халлем в карты, случается, что в иной партии ему достается козырной

туз и кое-какая мелочь из козырей. Но туза мы выбиваем, мелочь кроем крупными и, став хозяевами положения, показываем Большому Халлю шиш. Только машины не тоскуют и не скучают. Даже судно тоскует по своей гавани. Молодых птиц эта самая тоска гонит из Лапландии в недостижимые для их мозгов и крыльев, прямо-таки космические дали. И если даже у нас когда-то были жабры, если, прежде чем получить легкие, мы стали двоякодышащими (многие такими и остались), то все же дымка тысяч тысячелетий заволокла воспоминание об океане как о родине, и мы тоскуем по нашей доброй земле. Вот почему Большому Халлю достается порой козырной туз.

Когда Большой Халль слоняется по коридорам и неслышно спускается и поднимается по трапам, бойся глядеть в потолок. Потолок — союзник Большого Халля, это экран его мрачных фильмов, увеличительная линза твоей преходящей печали. Лучше уж читать Достоевского, чем, лежа на спине, глядеть в потолок.

Бывало, случалось, что какой-нибудь наивный товарищ садился играть со мной в шашки и с надеждой в душе и во взгляде самоуверенно делал первый ход. Тут я говорил себе: «Бедняга готов!» — и это всегда оказывалось правдой. Если человек в тяжелый пасмурный день смотрит не отрываясь в потолок, можете смело закладывать голову, что он «готов», то есть ни на что не пригоден. Морская тоска так цепко схватила его за горло, зеркало его видений, потолок, стало настолько кривым, что не только мысли, но все его тело, все мышцы охватил паралич тупого безволия и безразличия. На следующий день он придет в кают-компанию мрачный, невыспавшийся и небритый. Дня через два судовой врач сделает ему замечание за беспорядок в каюте, куда он убегает от всех, чтобы пялиться в потолок. Это самая тяжелая форма морской тоски: для тех, кому не удастся оторвать глаз от потолка, долгий рейс превращается в индивидуальный ад, созданный собственными усилиями. Ведь у каждого найдется минута безделья, когда взгляд задерживается на потолке. В самой мрачной книге ветхого завета, в книге Иова, Иегове приписываются отнюдь не божественные, человеконенавистнические поступки и, например, изобретение горизонта. «Там, где свет кончается тьмой, он положил на воду замкнутый круг...». Да, корабль плывет, а вместе с ним движется, не опережая корабля и не отставая от него, лишь сужа-

ясь временами и разрастаясь, «замкнутый круг», одно из свойств которого талантливо и точно охарактеризовал еще в семнадцатом веке Даниэль Вюльффер: «Ты — временность и вечность, ты круг и бесконечность, серединою твоей — „всегда“, чертою круга — „никогда”». В море никому из нас не удается выскользнуть из этого круга, хоть многие и делали последний шаг туда, где «свет кончается тьмой». Тем не менее всех нас связывает со светом наша работа, наши мечты, наше задание, наша родина, наша идеология и воспитание — все они сообща дают жару Большому Халлю. Лишь те, кого загипнотизировал потолок, на долгое время исчезают за той чертой, где начинается тьма и откуда им бывает нелегко обнаружить в море и в себе самих движущийся круг света. А потому — страшись потолка!

С морской тоской мы уже в давнем знакомстве и в давней вражде. Стоит мне теперь вспомнить свою каюту на «Воейкове», как чудится, будто тоска подкрадывается из-за спины, пытается залезть ко мне в мозг, схватить за руки.

Кюта номер двадцать пять была до мелочей обычной, знакомой каютой. Лишь время от времени она начинала вибрировать сильнее, чем все мои прежние и последующие каюты. Заглянем в нее. Прямо на вас уставятся два близко расположенных иллюминатора, два толстых круглых стекла в металлической оправе, которые во время шторма закрываются изнутри стальными люками на винтах. В воображении я не раз рисовал на стене нос между иллюминаторами, а над ними — брови, и у меня получалось очень удивленное человеческое лицо. Под иллюминаторами стоит узкий жесткий диван. Дальше — письменный столик с маленькой книжной полкой и настольной лампой, отбрасывающей круг то дружелюбного, то враждебного света. Там же, у правой стены, столь необходимый стандартный шкаф, в котором во время бесконечных качек болтается на вешалке костюм или пальто: их без конца бьет то об дверцы, то об стенки, и они начинают так великолепно блестеть, что сквозь их лацканы со временем проглядывает лучами зари светлая бортовка. Рядом со шкафом умывальник с зеркалом и двумя никелированными крючками. Стена над темными панелями отделана светлым, теплым, симпатичным деревом — родной березой или ясенем. Все, казалось бы, сделано в интересах человека.

Только... Да, это самое «только». К сожалению, не могу воскликнуть вместе с поэтом:

Кровать моя! Что за наследство...

Нам, старым солдатам, не привыкать к разным постелям: к нарам в землянке из досок или кругляков, к нише в окопе, к веткам, к матушке-земле с ее буграми. На сельдяном траулере я два месяца спал на узкой скамье, оказавшейся на двадцать сантиметров короче меня. Моя скамья стояла под прямым углом к капитанской койке, и каждое утро при пробуждении я приходил в ужас от одной и той же картины: на белой подушке капитана рядом с его бородой красовались чьи-то подзрительные пятки. То есть мои собственные. Лишь потом я научился спать, свернувшись калачом.

Немирович-Данченко пишет в своих воспоминаниях, что, когда родился Шаляпин, господь был в хорошем настроении, но когда родился Горький, господь злился на Петербург. Когда же родился тот, кто конструировал потом койки «Воейкова», господь бог наверняка гневался на какого-нибудь одесского или мурманского матроса: небось моряк нагло оскорбил его небесное достоинство, и всевышний решил отомстить тем, кто плавает. Так, и только так, могла возникнуть идея подобных коек. На первый взгляд постель как постель: должная длина, должная ширина, внизу — два выдвижных ящика, в изголовье — лампа для чтения. Но попробуйте поспать на этой койке, когда топят! Труба отопления, пылающая возле самой головы, тянется вдоль стены над постелью и огибает ноги. Голова горит, пятки раскаляются докрасна, левый бок и левая рука пылают, а правые — мерзнут. Повернешься лицом вниз — живот попадает в тропики, а спину окатывает эстонская осенняя прохлада. В прошлом веке на некоторых патриархальных сааремских хуторах хлеб пекли в таких огромных и трудных для топки печах, что задние коврижки замерзали, а возле устья сгорали. В невиданной конструкции обогрева коек на «Воейкове» кое-что перенято от этих печей. Если же говорить о конструктивных недостатках «Воейкова» вообще, то я могу назвать только два: то, что на нем слишком маленькие баки для пресной воды и что там задают слишком много жару, и не в переносном, а в самом прямом санитарно-техническом смысле.

Дверь этой каюты не оставалась закрытой для Большого Халля. И двадцать пятого ноября в моем дневнике

появились такие строки: «Морская тоска — что же она по сути такое? Тучи, закрывающие солнце? И это. Ночные мысли? И это. Чувство близкой смерти? И это. Недоумение по поводу того, зачем я уже несколько дней живу на корабле, который неподвижно стоит на рейде и не собирается никуда отплыть? И это. И еще сознание того, что от этой тоски никуда не денешься; нет-нет она оказывается сильнее меня. Ее серые глаза — это глаза ведьмы. Рано или поздно, год или два спустя, они покажутся снова — сперва во сне, а потом при свете дня, и мне опять придется глядеть в них».

Сейчас эти мысли кажутся немужскими, бесконтрольными. Но то, что я писал о близости смерти, в самом деле было мною пережито. Никогда я еще не испытывал столь острого ощущения приближающейся и уже близкой опасности, как там, в Японском море, и редко это чувство бывало столь мало обоснованным. Правда, несколько недель спустя южнокорейская канонерка обстреляла наше научно-исследовательское судно «Унгу».

Может, это чувство объяснялось тем, что один из моих старших товарищей любил теоретизировать по поводу того, что может случиться с человеком, если он окажется в непозволительной близости к стартующей ракете. «Гарантирую,— говорил он,— что после тебя останутся только подковки от ботинок и рубиновые камни ручных часов». И добавлял в утешение таким тоном, будто меня уже прикрутили веревкой к ракете: «Впрочем, все это дело мгновенное, я тебе гарантирую, мгновенное». Он вообще питал слабость ко всему мрачному. Следует добавить, что на судне были баллоны с водородом и водородный колодец, а также баки с горючим для метеорологических ракет. К тому же еще во Владивостоке я слышал один разговор, в котором подчеркивалось, что состав команды корабля и экспедиции должен строго соответствовать грузоподъемности половины шлюпок корабля, только одной половины, не больше. То есть можно было рассчитывать только на шлюпки, расположенные на одном из бортов. Другие могли выйти из строя — при большом наклоне ими возбранялось пользоваться. Везде, кроме кают-компании, запрещалось курить: и на палубах, и в каютах.

И вот моя кабинетная фантазия начала живо рисовать взрывы водородных баллонов, вспышки огня, рубиновые камни, похороны за казенный счет, в результате чего я и сумел ощутить чувство острой опасности, сооб-

щавшее, правда, морской тоске особую героическую окраску.

Как бы то ни было, лучшие средства защиты от этой серой тоски — работа, темп, движение и физическая усталость. И как раз в первые две недели всего этого не было. «Воейков» стоял на рейде, и сроки отплытия все отодвигались в неопределенное «завтра». Мои знакомые по плаванию в Антарктику — начальник аэрологического, то есть ракетного, отряда, кинооператор и телеметрист, с которыми я встретился в Москве незадолго до вылета, — предпочли самолету экспресс Москва — Владивосток и неторопливо приближались к Байкалу. Народ на корабле был мне незнаком, а новые контакты я завязываю очень медленно. А на неподвижном корабле время так же, как и при огромных космических скоростях, течет очень медленно, и Большой Халль находит в нем немало свободных «окон». Но будь он всего-навсего моим личным гостем и врагом, я бы не считал все эти перемины оправданными. Он навещает и знает многих, только ни на рейде, ни в море об этом госте не принято распространяться. Это элементарный морской закон внутренней жизни, и когда человек нарушает его и ноет, это не только дурной тон, нет, это более чем тягостно, это опасно.

Перед поездкой на Дальний Восток мне довелось встретиться с весьма известным московским поэтом, крайним эгоцентриком и необычайно суетным человеком, который, будто фокусник, так и сыпал теориями и теориейками. Истины в них было ровно столько, чтобы вымысел не сразу бросался в глаза. За каких-нибудь пять минут этот поэт низвел многих писателей, любимых мною, до уровня снежного человека. Затем была изложена сногшибательная теория культурного и литературного вакуума вокруг Москвы. На востоке этот вакуум простирался до Владивостока, на севере — до Мурманска, на западе — до Калининграда и Львова. Лишь южная граница оказалась не такой четкой, поскольку сам поэт возрос в одном из южных городов, где солнце так щедро одаряло его своим зноем. Однако мы, народ с периферии, не всегда оказываемся при встречах с такими людьми достаточно почтительными, из-за чего не решаемся выбросить на помойку чувство собственного достоинства и национальной гордости. В результате мы — каждый соответственно своему характеру — либо обижаемся и ощетиживаемся, либо говорим грубости.

Я прибегаю к последнему, и это поразило моего теоретика не меньше, чем если бы заговорил шкаф.

На «Всейкове» мне часто приходила на память одна из его теорий о поэтической искренности. Раз у поэта уныние, значит, и стихи его должны быть унылыми. Раз он несчастливо влюблен (а эта братия влюбляется только несчастливо), значит, его мировая скорбь должна стать всенародным достоянием. Подтекст великой поэзии должен быть непременно трагическим. Честный поэт должен и в жизни и в поэзии исходить только из настроений момента и обязан черпать все, что изольется в стихах, из глубин своего «я», из этого трагического колодца. Конечно, такая платформа начисто отрезала поэта от бодрящих источников жизни, как хирург отрезает от наших внутренностей аппендикс, и все же поначалу я опешил: ведь всякая теория, взывающая к поэтической честности и поэтической искренности, кажется до поры до времени справедливой и неоспоримой. Я начал упрекать себя за не пролитые в стихах слезы и даже с осуждением подумал о своем любимце Гейне, который на смертном одре сказал жене, уговаривавшей его покаяться в грехах: «Ничего, бог простит! Уж это его обязанность». До последней минуты он сохранял это неискреннее упрямство:

И как христианам положено,
Взвою я голосисто.
О мизерере! Оставь мир
Без лучшего юмориста.

Хватает этого неискренного упрямства и нам, не впервые оказавшимся посреди серого моря. Мы, видимо, все читали Макаренку:

«Но я при своем ограниченном опыте не стал все-таки обходить этого вопроса и сказал коммунарам: что может быть противнее несчастного человека? Уже один вид несчастного человека убивает радость жизни и отравляет существование. И потому, если ты чувствуешь себя несчастным, твой первый нравственный долг состоит в том, чтобы никто об этом не узнал».

И я с ужасом подумал о ершистом теоретике и о том, что могло бы случиться, если бы однажды у всех нас, измученных Большим Халлем, вдруг отказали тормоза и мы кинулись бы в каюту капитана или на командный мостик. О мизерере! Судно превратилось бы в сумасшедший дом, пусть и поэтически искренний.

Коллектив перестанет быть коллективом, если мы забудем о главном нравственном обязательстве: лишь к заботам друга относись как к чему-то значительному и серьезному. А свои заботы держи при себе.

Большой Халль ходит по кораблю.

Ну и пусть ходит.

«Дай мне в руки каннель, Ванемуйне!»

Начинается серьезный разговор.

3

ХАРАКТЕРЫ И РАКЕТЫ

Прошу вас, госпожа Патетика, покиньте на несколько часов каюту!

«Дай мне в руки каннель, Ванемуйне!»

Начинается тарарам.

«Воейков» еще не снялся с якоря, и натянутое над ним небо еще не продырявлено ракетами. Лопастивинта неподвижны. В машинном отделении тишина. Большую часть дня двери рулевой рубки, что тянется дугой до борта, остаются запертыми. К трапу, повисшему над водой, то и дело подходит катер, чтобы отвезти людей на берег, к земным утехам, а потом привезти обратно. Многие из командования — исконные дальневосточники и на ночь покидают судно. Мы редко видим капитана. Иван Иванович, начальник аэрологического, то есть ракетного, отряда еще не прибыл. Не часто мы видим на палубе круглое мужественное лицо и возбуждающую зависть пыжиковую шапку Павла Андреевича Медведева, гидролога и руководящего работника Дальневосточного института метеорологии и океанографии, начальника нашей экспедиции. Он комплектует во Владивостоке кадры и ведет там бескровную, но затяжную и трудную для нервов войну со снабженцами.

Отсутствие начальства создает видимость какой-то свободы и независимости.

Тем не менее в гигантском чреве «Воейкова», в монтажном трюме, ракеты, и прежде всего ракетные головки, постепенно обретают форму.

Эту форму придают им люди со сформировавшимися или только еще формирующимися характерами. У каждого характера, как и у каждой ракеты, свой потолок высоты. Как и у ракеты, своя дальность полета. Правда, наша память не столь хорошо удерживает технические цифровые данные, как запоминающее устройство раке-

ты, зато она способна хранить все земные краски, все былые движения души, сотни людских лиц, десятки видоизменений океана. Это...

За несколько минут до обеда, в четверть двенадцатого, я заглянул в дверь одной из лабораторий «Воейкова». Заглянул, не постучав, и среди малознакомых лиц увидел шесть знакомых. Это были «люди Ивана Ивановича». Так они сами представились мне при первой встрече. Все лица выражали напряжение и азарт.

Говорят, на судне, особенно на таком научном судне специального назначения, как «Воейков», только два дела требуют ума: крепление швартовов и домино. Но здесь десятка два молодых людей, в том числе и девушки, были заняты третьим *интеллектуальным* делом: они играли в спички. Играли под дикую и хриплую музыку магнитофона. Игра состояла в следующем: двадцать взрослых людей стояли вокруг большого монтажного стола, с которого все убрали, и передавали из рук в руки коробок спичек. Игроки по очереди клали его на самый край стола таким образом, чтобы он наполовину выступал над краем, и затем быстрым резким ударом большого или указательного пальца заставляли взлетать коробок в воздух. Если коробок падает плашмя, игрок получает пять очков, если на ребро — десять, а в том редком случае, когда коробок падает стоймя, ловкий счастливец имеет право приписать себе двадцать пять очков. Набравший сто очков считается победителем и выбывает из игры. Коробок падает плашмя очень часто, на ребро — реже, стоймя — совсем редко. Как и в любом интеллектуальном спорте, тут немалую роль играют сноровка и тренированность.

Чем больше игроков выбывало, чем меньше оставалось у стола нетренированных неудачников, тем сильнее нарастало напряжение, тем явственнее проглядывал неподдельный страх в глазах оставшихся игроков. Ибо тому, кто не наберет под конец сотни и проиграет, предстоит трижды прогнать коробок вокруг стола, толкая его носом. Носу приходится расплачиваться за нелозкость пальцев — помогать себе руками не разрешается. Окружность же стола равна двенадцати метрам.

— Пять!.. Сапожник!

— Десять!.. Слепое везение!

— Двадцать пять!.. Дьявол, вот это класс!

В конце концов у стола остаются только два игрока, один из них — молодая красивая женщина, тихая и до-

брая, по профессии океанограф. Сегодня она играет явно ниже своих возможностей, но вообще вне зависимости от проигрыша глаза ее последнее время бывают грустнее, чем нужно, и если ей не повезет, она обязательно расплачется.

Поскольку я уже обещал уклоняться при каждом удобном случае в сторону, взглянем на ее грусть в упор.

Она еще не рассталась со своим мужем, руководящим работником института метеорологии и океанографии, но над нею уже навис дамоклов меч. Их явно не пустят вместе в море, хоть нам так нужны и океанографы и метеорологи. Жена отправится куда-то в Северную Атлантику, а муж после того, как мы вернемся из краткосрочной экспедиции в Японское море, на три месяца уйдет с «Воейковым» в Тихий океан. Предстоит долгая-долгая и бессмысленная разлука, линии их путей создадут гигантский треугольник, на юге упирающийся вершиной в остров Фиджи, а на севере — в Ян-Майен. И возможно, стороны этого треугольника будут обведены не только килевой струей, гаснувшей среди волн, возможно, в море житейском, как говорили в старину, и во владивостокском народном суде им придется потом доказывать нечто более сложное, чем теорема Пифагора. Не знаю почему, не знаю в чьих интересах, и не знаю с каких пор, но существует идиотский, не то писанный, не то неписанный закон, по которому жене и мужу, даже если у них родственные специальности, не разрешается плавать в одной морской экспедиции. Кажется, на торговом судне и то не разрешается. Не рассчитанная на женщин политика кадров, вполне оправданная, когда дело касается антарктических экспедиций или Северного полюса, неприменима в море, где зачастую бывает на судах очень много женщин в составе и команд и экспедиций.

Я находился у начальника экспедиции, когда муж, как представитель сильного пола, пришел просить, чтобы жену тоже взяли в плавание. Павел Андреевич знал обоих, и было видно, как трудно ему составить фразу, кончавшуюся беспомощными и уклончивыми, но тем не менее категорическими и начальственными словами: «Боюсь, это невозможно».

Не мое дело атаковать и опрокидывать вековые морские традиции и законы, пока они остаются мудрыми, суровыми и человечными. Но если в Советском Союзе существуют супружеские пары, у которых есть по четве-

ро, пятеро и даже шестеро детей, но которые *не оформили законно свой брак* (лишь здесь, и больше нигде, уместно это заскорюзное допотопное выражение), не оформили потому, что тогда им нельзя будет плавать на одном корабле, то, значит, живая жизнь пришла в противоречие с обветшавшим обычаем.

Как-то после войны в городе Кингисеппе я встретил в беседе женщину, пришедшую за ежемесячным пособием по многодетности. У нее было шесть внебрачных детей — все шестеро от одного отца.

На вопрос, почему же она не выйдет замуж, женщина ответила:

— Понимаешь, дорогой товарищ, если нет этой настоящей любви...

Но такое отношение нельзя брать за мерку.

Метеоролог встал и посмотрел на Павла Андреевича тем же беспомощным блуждающим взглядом, с каким его жена проигрывала в спички. Здесь была «эта настоящая». Павел Андреевич пробурчал что-то невнятное и перевел глаза на барометр — тот стоял на «переменно» и понемногу падал.

Прошу вас, Патетика!

— Пять. Еще раз пять. Всего — восемьдесят.

В светлых женских глазах отражалась мореная столешница и ужас поражения. Анатолий Илларионович Боголюбов, один из «людей Ивана Ивановича», длинный, худой и слегка сутулый, темноглазый и темноволосый, человек широкой души, уже набрал девяносто очков. Всем нам хотелось, чтобы проиграл именно он. И удары Анатолия Илларионовича, или Толи, как его здесь называют и буду называть в дальнейшем и я, вдруг утратили точность, виной чему было не только невезение, но и несколько граммов рыцарства.

Еще пять очков. Девяносто пять. Спички перешли к женщине. Десять. Еще раз десять! Слепое везение? Нет, гениальность. Толя сапожник. И его крупный седловидный нос опускается с высоты девяноста сантиметров на край низкого стола, где лежит коробок. И не то от коробка, не то от головы исходит фанерный шорох. Все сходится на том, что от головы. Начинается тарарам. Толя честный игрок. Выгнув спину, словно кот перед прыжком, он пускается со своими спичками в тридцатистиметровое хождение по мукам. Руки его сложены за спиной. К лицу приливает кровь. Коробок норовит выскользнуть из-под носа на середину стола. А по дру-

гую сторону стола перемещаются в одном направлении с Толей пятеро из «людей Ивана Ивановича». Они стучат кулаками, чтобы проигравшему пришлось потруднее. На глаза Толи наворачиваются слезы, коробок выписывает по столу извилистую кривую, но Толя не прибегает к помощи рук даже во время последнего круга, когда десять кулаков принимаются выстукивать на противоположном краю неистовую тарантеллу. Закончив третий и последний круг, Толя поднимает свою темноволосую, взлохмаченную и опозоренную голову, вытирает глаза и, схватившись рукой за многострадальный нос, направляется размашистым шагом к своим коллегам, к пятерым зарвавшимся «людям Ивана Ивановича», гуськом марширующим вокруг стола. Все прибавляют темпа, и только мой друг Коля Орловский, кажущийся таким долговязым из-за своей худобы, юркий, колючий и острый, как стальная игла, Коля Орловский останавливается, поднимает умоляюще руки и смотрит на Толю незвинными карими глазами.

— Думаешь, Толя, я тоже? — спрашивает он тонким обиженным голосом.

— Пшел прочь, комар! Я маленьких не трогаю! — выпаливает Толя и отталкивает Орловского в сторону.

Лаборатория сотрясается от все нарастающего топота шагов, музыка по-прежнему неистовствует, а Толя, даже не поглядев на «маленького» Орловского, на этого «комара», покрасневшего от гнева, которого лишь начальник экспедиции в силу хорошего отношения, вполне оправданного, величает Николаем Александровичем, Толя, гонимый жаждой крови, продолжает преследовать остальных. Кто-то запирает дверь снаружи. Бежать некуда. Впереди всех шагает форсированным маршем Виталий Котов. Несмотря на преждевременную полноту и на брюшко, он проявляет удивительную подвижность, вызванную не то притворным, не то неподдельным страхом. По его пятам шагает будущий начальник всей пятерки Валентин Алексеевич Аристов, славный, уже давно женатый человек, лицом несколько смахивающий на молодого Есенина. Он отличается сердечностью, любит излишняя, легко умиляется и готов отдать мерзнущему другу последнюю рубашку. Голос его уступает по мягкости лишь дождевой воде, той самой дождевой воде, какой в детстве нам мыли головы. И потому его распоряжения звучат из корабельных репродукторов будто просьбы. В синих-синих, не омраченных судьбой глазах

Валентина Алексеевича светится широкоэкранный душа. Но громы и молнии в Толином взгляде заставляют его улепетывать, словно перепуганную мышь. Следующим вагоном в этом составе, где отдувается вместо локомотива Виталий Котов, движется Евгений Христофорович Добровольский, или Генка, закадычный друг Коли Орловского. Он приземист и широкоплеч, крепок и мускулист — рядом со своим юрким, похожим на иголку другом он кажется битюгом. А замыкает состав молодой Сергей Александрович Колпаков, тихий работяга, исполнительный и корректный. Вероятно, он принял участие в изымательствах над Толиным носом лишь из чувства коллективизма. -

Обеденный сигнал действует на всех, как сигнал тревоги. Повара на «Воейкове» очень хорошие, но даже капитану придется признать после отплытия, когда мы окажемся вдали от владивостокских мясных и рыбных лавок, что питание скудно. Утром на «Воейкове» кормят манной кашей. Черного хлеба у нас нет! И слышится видеть, что люди подбираются шаг за шагом к камбузу и кают-компани минут на десять — пятнадцать раньше срока. На этом судне я не раз замечал с ужасом, что правая рука плохо меня слушается. Когда она держала уполовник, поверхностная благовоспитанность приказывала ей: «Не срамись! Не позволяй ложке бултыхаться на самое дно за мясом!» Но мой желудок и внутренний голос кричали: «Нырять поглубже!» И рука повиновалась последней команде. И если потом в одном поселке на снежном берегу Японского моря я пал так низко, что пытался методом убеждения и разными другими средствами заманить в наш корабельный катер пудовую свинью дивной красоты, то к этому меня побудили такие факторы, как ежеутренняя манная каша, холод, отсутствие черного хлеба и видения, похожие на видения Чаплина в «Золотой лихорадке».

Едва лаборант Вера открывает дверь и сообщает, что обед на столе, как мигом рассеивается и Толин гнев и угрызения совести у его товарищей, и шестеро голодных людей, которым предстоит стать ядром ракетного отряда, миролюбиво отправляются кормиться.

Проходят годы, и уходит
Былой задор, румянец щек,
Но это мало нас заботит,
Всем это предстоит в свой срок.

Так пишет спокойный и мудрый Аугуст Санг. «Проходят годы...» Но меня это заботит. В молодости нам не стоит труда держать спину прямо потому, что мы все время глядим снизу вверх на людей более опытных и умных. Они вроде бы очень намного старше нас, ибо разница лет в десять кажется гигантской, неизмеримой. Весело и звонко промелькнуло тридцатилетие, ароматное, как вино. Ты самоуверенно кланяешься двадцатилетней девушке, она встает, и колокол ее юбки шуршит, будто накрахмаленная молодость. Ты просишь сыграть баяниста что-нибудь быстрое, что-нибудь отчаянное, такое, чтобы лихо топтать ногами, и даже не замечаешь грустных интонаций, кроющихся в причудливых переливах финской польки, а краски, мысли и настроения бальзаковской «Тридцатилетней женщины» кажутся тебе устарелыми — ты видишь в них чрезмерное художественное преувеличение. Все еще впереди. Уже маячит тридцатипятилетие. Кое-что сделано, но все еще впереди, абсолютно все, хотя твой слух начинают поражать грустные ноты финской польки. Упреки, обращаемые к себе, становятся болезненней. Плечи твои постоянно давят всем своим реальным весом чувство ответственности, давят даже после того, как ты успешно справился с быстрым фокстротом. Девушка тем временем тоже успела внести на свой текущий счет пять лет, но ее длинные ресницы все так же взлетают и опускаются, а глаза ее все так же красивы, хоть взгляд их и поумнел. Мимоходом она бросает замечание, что для своих лет ты выглядишь неплохо, и ты в мыслях обзываешь ее нахалкой. Однако пройдет еще лет двадцать, и дело может дойти до того, что она скажет, танцуя с тобой какой-нибудь медленный вальс: «А вы еще вполне бодры».

Мысли эти можно преподнести с притворной улыбочкой, но они вовсе не так забавны. В нас уживаются рядом, будто поссорившиеся соседи, два человеческих стремления: во-первых, больше знать, больше видеть, быстрее набираться опыта, оплаченного ценою жизни, а во-вторых, не стариться, уметь видеть мир глазами двадцатилетнего, хотеть, чтобы время текло медленно, как в ракете, летящей со скоростью света,— медленно с точки зрения наземного наблюдателя. До сорока лет остается еще тысяча суток, или двадцать четыре тысячи часов, если предаваться мании больших чисел, подобно португальским генералам, исчислявшим воинские подразделения по числу ног: пехотинец — две ноги, кавале-

рист — шесть. Но когда для успокоения души помножишь эти двадцать четыре тысячи на шестьдесят, чтобы перевести часы в минуты и получить утешительно длинный ряд нолей, тебя вдруг посещает на кормовой палубе «Воейкова», где ты осуществляешь эту математическую операцию, неожиданное видение. Над тем местом, где трап «Воейкова» спускается к воде, шесть раз подряд восходит солнце с промежутками в несколько секунд. Говоря точнее, там появляется шесть молодых, красных от ветра лиц под шестью ушанками.

Я видел, как эти шестеро ребят (все они показались мне мальчишками) появились со своими чемоданами на палубе и предъявили вахтенному документы. Ноги у них замерзли, и все шестеро переминались, но вахтенный не торопился, и кто-то прикинулся рассерженным:

— Пропускай! Не видишь, Москва приехала!

— Следующий. Не толкайся. Здесь тебе не метро. Потерпишь. Еще посмотрим, что это за Москва, — ответил вахтенный.

— Мало сказать, Москва, бери выше — гвардейские войска ЦАО, — рявкнул хриплым от мороза басом Виталий Котов. И кинул через плечо: — Занимай позиции, братва!

И они заняли позиции, заняли с ходу, будто всех тут знали и их знали все. В этот миг я заметил, что два лица мне знакомы. Я уже видел фотографии Виталия Котова и Евгения Добровольского в «Огоньке», в репортаже об испытании метеоракетной установки на Черном море. Правда, это были летние фотографии с летним пейзажем. Значит, эти шестеро — все из Центральной аэрологической обсерватории, из ЦАО. А со многими людьми из ЦАО я познакомился еще в Антарктике — в морской экспедиции на «Оби» их было немало.

Я немного представлял себе, чем занимается ЦАО, что она исследует. Это громадное учреждение со множеством отделов расположено на земле неподалеку от Москвы и в несколько сот пар глаз разглядывает небо, короче говоря, учреждение это неземное в прямом смысле слова. Большая часть его кадров прикована к земле только законом гравитации, который, конечно, не в силах сковать ни идей, ни духа. Здесь царят радиозонды с аппаратурой новейшей конструкции. В громадном ангаре лежат спущенные гигантские аэростаты, похожие на шкуры китов. Наполненные, эти аэростаты поднимают гондолы с сотрудниками ЦАО под облака и в обла-

ка. Летчики ЦАО на высоте в десять километров (высота полета ТУ) *ищут* опасные бури и пытаются разгадать закономерность их возникновения. Ночные облака с дальним свечением тоже входят в область их исследований. Полярное сияние — тоже. Ночное и дневное небо — тоже.

Старый профессор терпеливо объяснил мне, какую сложную проблему представляет обледенение самолетов, причем остро отточенный карандаш в его руке рисовал то один, то другой профиль самолетного крыла во всех ракурсах.

Здесь исследуют телеметрию и проблему радиосвязи. А в последние годы, с тех пор как Центральная обсерватория начала изучать небо с помощью метеорологических ракет, область ее совершенно конкретных исследований, опирающихся на более или менее твердые данные, внезапно передвинулась из средних и верхних слоев стратосферы в мезосферу. И т. д. и т. п.

Весь этот широкий и почтенный комплекс проблем, окруженный морозом и синим воздушным океаном, толкал воображение на создание фантастического персонажа: очень солидного, но и романтического, несколько оторванного от земной реальности сотрудника ЦАО. В сбитом набок галстук этот персонаж излагает с мечтательным взглядом какую-то теорию космического излучения и, вытянув свою нервную и худую, интеллигентную, как у пианиста, руку (такую фразу, сами понимаете, мог написать только человек, знакомый с героями многих научно-фантастических произведений), говорит или глуховатым, или сипловатым, или звонким, или электризующим, или впечатляющим, или обволакивающим голосом:

— А теперь снимем с мадам Земли последнюю сорочку, иными словами, тропосферу, и мы увидим...

Но эти шестеро, возникшие над бортом так внезапно и так уверенно, чтобы завтра же приступить к монтажу ракеты, показались мне оскорбительно молодыми и до того обыкновенными, что я с трудом мог вообразить себе хоть какую-нибудь связь между ними и большим научным учреждением, солидным, да еще центральным, не говоря уже о его связи с таинственными ракетами. Руки их были какими угодно, но только не интеллигентными: могучие широченные кисти, узловатые исцарапанные пальцы. Глаза их блуждали по кормовой палубе и с недисциплинированным любопытством поднимались вверх, к белому шлюпочному мостику.

Разговаривали они громко и самоуверенно, зубы на их обветренных лицах так и сверкали. Так вот, значит, кто будет монтировать ракеты! Эти самые ребята с галстуками, завязанными узлом величиной в кулак, с красными, как у рыбаков, руками и вроде бы не очень интеллектуальные с виду. Уж не разочарован ли ты? О нет! Но во мне вдруг с тихим изматывающим подвыванием заскулил, будто скандальная жена или бормашинна, ничтожный эстетик, кабинетный червь. У этого самодовольного типа заготовлена рамка на каждого, и горе тому, чья шея не влезет в ее квадратный хомут! Он привел мне на память этикетку на спичках, лежавших в моем кармане: «Не давайте детям спичек!» Напомнил мне, как вчера один матрос, выглядевший немногим старше Коли Орловского, жаловался горько товарищу:

— Ела мои конфеты, ела, а в кино с Андреем пошла.

Тут ко мне подошли Коля Орловский и длинный Толя. Их голые руки были очень холодными и очень сильными. Я пожал их. Толя сказал:

— Здравствуйте, Юхан Юрьевич! Мы люди Иван Иваныча.

Подошли и остальные четверо, и я вдруг оказался окруженным здоровьем, молодостью и какой-то освежающей силой. А Валентин Алексеевич, в котором мне и невдомек было видеть их начальника, главный их авторитет, повторил:

— Здравствуйте. Мы люди Иван Иваныча.

Три этих слова — «люди Иван Иваныча», — передавшие непередаваемое, но подлинное уважение к человеку, которого я знал и ценил давно и который сейчас сидел в купе экспресса «Москва — Владивосток» и ехал сюда, эти три слова мгновенно перекинули мост между нами.

— Иван Иваныч сказал, что вы уже здесь, — протрубил плотный Виталий Котов.

Мы еще раз поздоровались. Представились друг другу по именам: Коля, Анатолий, Виталий, Валентин, Евгений, Сергей.

Пошел к черту, эстетик! Пошел к черту, кабинетный червь, защищаемый и воспеваемый непрошеными адвокатами! Мне важно одно: чтобы Коля, Анатолий, Виталий, Валентин, Евгений и Сергей приняли меня в свою компанию.

Они приняли меня.

Спасибо, ребята!

ДОЛГИЙ РАЗГОВОР О МЕТЕОРОЛОГИИ И КОРОТКИЙ О ЗАДАЧАХ ЭКСПЕДИЦИИ НА «ВОЕЙКОВЕ»

Спасибо, ребята! Расстанемся ненадолго.

А ты, читатель, можешь спокойно пропустить эту главу. Она достаточно умная, но компилятивная. Впрочем, если ты хочешь понять и уяснить все последующее, хочешь знать, зачем, в самом деле, в декабре, в недобром декабре, послали большую экспедицию в северную часть Японского моря, тогда собери всю силу воли. Хотя бы для того, чтобы увидеть, чего только не напишет поэт о метеорологии.

Большой глобус на моем столе, продукция Главучтехпрома, повернулся ко мне синим полем Тихого океана со сравнительно бледными пятнами отмелей, с веселыми блошинными отметинами островов Туамоту. Потом чуть повернулся вправо, и перед моими глазами оказался крест, образованный пересечением сто восьмидесятого меридиана и экватора. Взяв начало там, где есть лишь одна страна света, юг, сто восьмидесятый меридиан перерезает прямолинейно, как смерть, Северный Ледовитый океан, делит надвое остров Врангеля, достигает шестидесятой параллели в Беринговом море и пятидесятой — чуть южнее Алеутов, и потом эта несуществующая и в то же время существующая прямая, эта абстракция, реальная, однако, для секстантов, врывается на юге в океанскую пустыню. Справа от меридиана остаются острова Лисянского, довольно далеко слева — атолл Утрика (под названием которого стоит в скобках имя Кутузова), а затем, уже южнее экватора, меридиан, миновав острова Эллиса, перерезает острова Фиджи — самый южный пункт предстоящего нам дальнего плавания. Потом, оставив слева Новую Зеландию, меридиан проходит через южную часть Тихого океана, пустынную и холодную, разрезает далеко на юг от Полярного круга шельфовый ледник Росса, преодолевает часть шестого континента и упирается в ту точку, где есть лишь одна страна света — Север.

Глобус крутится вокруг устойчивой металлической оси. Извиваясь змеей, спускается вниз гористый коричневатый берег двух Америк и синее море, «такой широкий, что дух человеческий с трудом это постигает»

(Максимиллиан Транссильванус). Магеллан по ошибке окрестил этот океан на веки вечные «il Pacifico», что значит Тихий. С томительным внутренним волнением я смотрю на бескрайнюю синюю пустоту, берущую начало у спускающихся в воду, оглашаемых птичьими воплями Кордильер. Между тридцатой и сороковой южными параллелями на этой синеве не чернеет ни одного островка до самой Новой Зеландии, а к северу — до самого острова Норфолка. По сравнению с этой пустыней Гоби и Сахара кажутся маленькими и отнюдь не безжизненными: там хоть попадаются оазисы с водой, которой нет здесь, в мокрой пустыне, где на протяжении всей неписаной истории океана жажда преследовала человека неотступней и безжалостней, чем где бы то ни было на земле. Этот океан (дай бог, чтобы он остался для моих друзей поистине il Pacifico) был и остается для «Воейкова» главной областью исследований: вскоре линия нашего курса пересечет сто восьмидесятый меридиан, экватор и не занесенные на карту незримые дороги Лисьянского, Крузенштерна, Кука и Магеллана. Месяц за месяцем вокруг нашего судна будет царить безмолвие, не нарушаемое даже криками чаек, безбрежный покой, могучее в своей монотонности безветрие и яростный вой бурь.

Наше плавание в Японском море — второе научное плавание на «Воейкове». Первое было связано с переходом судна с Черного моря в родной порт, во Владивосток. Правда, во время этой экспедиции еще не применялось одно из самых эффективных исследовательских средств, а именно метеорологические ракеты. Плавание проходило по весьма звучному маршруту: Черное море, Дарданеллы, Средиземное море, Красное море, Аденский залив, Индийский океан, Сингапур. Были осуществлены на основе твердой программы обстоятельные метеорологические наблюдения, океанографические и океанологические исследования. Возвращаясь домой, корабль одновременно начинал долгую жизнь *корабля погоды*, измеряемую милями, сутками и количеством наблюдений.

Несмотря на то что наше плавание в северную часть Японского моря было по времени коротким, без него все-таки невозможно себе представить дальнейшую деятельность «Воейкова».

Задание, полученное нашей экспедицией, можно разделить на три составные части,

Первая. Научное задание: перевести исследование атмосферы на большие высоты. Никогда еще в этом районе не проводились за столь короткое время, в столь большом количестве и, смею предполагать, столь успешно, как у нас, измерения с помощью ракет, радиозондов и метеорологических приборов. Мы запустили двенадцать метеорологических ракет! Через каждые шесть часов мы заглядывали на большие высоты в атмосферу, следили за изменчивыми процессами в стратосфере, и результаты многих наблюдений оказались весьма неожиданными. Ученые когда-нибудь напишут о них, а интеллигентному профану лучше держаться от этого подальше, чтобы не обжечься. Заранее принимаю все упреки в том, что намеренно уваливаю от описания и разрешения сложных научных проблем. Тот, кому хоть раз сказали: «Держись своих колодок, сапожник», — поймет меня. Крайности, как известно, сходятся. Хоть мы и снимаем шапки, оглядываясь на титанов Возрождения, которые знали чуть ли не все, что можно было знать в те времена, все ж таки в современной науке, если брать ее в целом, смыкаются, как мы видим, две новые крайности: всезнайка и невежда.

Наше научное задание, как и следовало ожидать, состояло в том, чтобы наблюдать, исследовать и «делать» погоду. Исследовать все, что творится в Японском море у нас под килем, все, что происходит над нами в холодной синевато-серой вышине. Разумеется, проводились и важные океанографические наблюдения, брались химические анализы воды, исследования планктонной массы, показывающие, насколько благоволил здесь море к рыбам-рыбешкам. Нас интересовали течения, их сила, их направление, их глубинность, словом, все то, что творится в царстве вечных сумерек, где разгуливают глазастые рыбы и где со временем похоронят не одного из нас.

За это плавание мы узнали свой корабль, его хорошие и дурные стороны. Для корабля с таким водоизмещением (свыше четырех тысяч тонн) мотор у «Воейкова» слабоват — две тысячи лошадиных сил. Максимальная скорость судна — одиннадцать миль. При этом минимальные скорости (малый вперед!) у корабля слишком велики: шесть миль в час. Это может оказаться помехой при океанографических исследованиях, требующих порой либо самой низкой скорости, либо полной неподвижности. На большой волне «Воейков» ведет себя, если можно так сказать о корабле, не наилучшим

образом и слишком сильно вибрирует. Но как бы то ни было, это единственный в мире столь совершенно оснащенный корабль такого типа, корабль погоды, у которого лишь некоторое время спустя появится близнец — «Шокальский». Эта пара плавучих институтов, плавучих «ракетодомов» помогает и будет помогать нам предвидеть, чего можно ждать от завтрашнего дня, помогает нам лучше знать *погоду*.

На свете много чего говорится и об очень многом. О любви, о детях, о рождении и о смерти, о прошедших войнах и о тех, что все еще угрожают нам по вине корыстолюбивых маньяков. У людей внутренне бесчестных слово «честь» не сходит с языка, эгоисты же знай крутят на своей шарманке все ту же заигранную песню о человеколюбии. Но, вероятно, больше всего говорят о погоде и о хлебе. И когда наши родители и прародители молились со слепым фатализмом угнетенных: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», то ведь они молились прежде всего погоде, этому другу и врагу урожая. Погоде, способной уничтожить человека и облагодетельствовать его. Ей, обнимающей и охватывающей весь земной шар, подчиняются все, все на нее реагируют — и безмозглые одноклеточные, и низшие и высшие существа, и беспозвоночные и позвоночные, и деревья, и розы, и трава. С переменной погоды связаны перемещения рыб в море: угорь боится грозы, в тихие и ясные дни язь идет на отмель, чайкам становится перед бурей мила суша. В сентябре, в пору первых холодных дождей, мухи становятся злее и кусаются чувствительней. А погляди, каков бывает твой брат человек в ту или иную погоду! Вот тема целой докторской диссертации для психолога. В июне, июле и августе, таком дивном в Эстонии, человек отчасти дитя и отчасти жеребенок — он счастлив, ленив, добродушен и понимает шутку. Но приглядишь к нему в конце октября, после того как три дня подряд лил дождь! По улице бредет какая-то траурная процессия с зонтами, все отчаянно чертыхаются, изрыгая огонь и смолу на мокрые головы своих начальников, продавцов и всяких интриганов на службе, невестка грызет свекровь, а свекровь — невестку. Критики, те самые критики, которых ты еще два месяца назад считал друзьями человека, пишут в такие дни свои пронизывающие до костей, разоблачительные, смешанные с грозой и градом статьи. Причуды человеческого характера теснейшим образом связаны с метаморфозами погоды.

Лишь младенец, сосущий материнскую грудь, не имеет никакого понятия о погоде. Его сопящий носик всегда ощущает близость двух теплых животворных солнц. Нет дела до погоды и влюбленным, если у них есть крыша над головой. Циклоны и антициклоны минуют их по каким-то невероятным кривым, ночи у них перепутались с днями, и вообще они существа крайне необщественные. Для страдающего заключенного погода тоже является второстепенной величиной. Где-то под землей слепые лошади тащат вагонетки. Им тоже нет дела до погоды. Возможно, нет до нее никакого дела и рыбам, живущим в черных глубинах океана, где давление достигает нескольких сот атмосфер. Вероятно, всякие ископаемые и магма тоже равнодушны к погоде.

Погода. Видимо, уже с тех пор как доисторический человек хаживал с дубиной на мамонта, она стала чем-то всеобъемлющим. Стала для бесчисленных человеческих поколений первопричиной доброго года и богатой добычи, главной виновницей чудовищных голодов и страшных потопов, заставлявших содрогаться целые материки. Какой глубокий след она оставила в языках всех народов, и не характерно ли, что в одном из самых старых эстонских словарей целые страницы, испещренные бисерным шрифтом, заняты двумя корневыми словами: «погода» и «хворь». Погода: божественная погода, устойчивая погода, погода для сенокоса, сырая, дождливая, чертова погода, рыбацкая погода, та самая рыбацкая погода, когда усталый, злой, вымокший насквозь рыбак говорит: «Вся задница мокрая, и хоть бы одна собака клюнула!» Погода, дождь, ветер, облака — стоит только заглянуть в «Старый каннель»:

То летят с востока ветры,
то летят они с заката,
а иные дуют с юга.
А коль с трех сторон подует,
то-то буря забушует.

Тут мы найдем и «тучи цвета глины», и «свинцовый небосвод», и «медно-желтый ливень», и «черное до жути небо». Народная поэзия густо насыщена народной метеорологией, а народная метеорология проникает даже в человеческие отношения. «День туманится от ссор» — так звучит название одной тартуской песни.

Отчего в тумане поле,
отчего в дыму все небо,
все в дыму и пятнах ржавых? —

спрашивает безымянный певец. И отвечает сам: потому что

сыновья с отцами бьются,
на смерть бьются на деревьях,
на земле грызут друг друга,
на ножах решают споры.

Кровью братской поливают
землю на отцовском поле.
Оттого стоят туманы...

Народная метеорология, так же как и народная медицина, заслуживает серьезного внимания. Метеорология эта отнюдь не исчерпывалась тем, что во время грозы говорилось: «Илья-пророк развоевался». Нет, по облакам-парусникам рыбаки умели и еще поныне умеют угадывать силу и направление не только завтрашнего, но и послезавтрашнего ветра. Процент точности рыбацких прогнозов все еще выше, чем у метобс¹. Прогнозы основываются на самых разных наблюдениях, собираемых десятилетиями. Все принимается в расчет: полет ласточек, пение иволги, морская пена у берегов, поведение собак и кошек, характер облачности, восходы и закаты, ну и, разумеется, хронический ревматизм. И по твердому убеждению рыбаков, прогнозы Таллинского бюро погоды оказываются иногда неточными (а время от времени это случается) только потому, что на прекрасной метеорологической станции в эстонской столице, очевидно, нет окон и метеорологи смотрят только на приборы, но не выглядывают во двор и не смотрят на небо. Нетрудно понять, почему ложный прогноз приводит порой в ярость рыбака, особенно если он всей душой верит в метеослужбу, а сети его заброшены в двадцати милях от берега. В таких случаях старые мухумские рыбаки вспоминают моего отца, который всегда отвечал, если у него спрашивали, пойдет ли дождь: «Потерпи, вечером скажу».

С неверным предсказанием погоды связан один из самых печальных эпизодов в истории науки, сравнимый лишь с отречением Галилея от своего открытия и сожжением Джордано Бруно... Наполеон приглашал на свои пышные приемы и ученых. Однажды среди приглашенных оказался и дряхлый полуслепой Ламарк. Наполеон, не умевший ходить, а вечно бегавший, пролетая мимо гостей царственной кометой, на миг задержался

¹ Метобс — метеорологическая обсерватория.

перед Ламарком, и тот успел преподнести императору лучшее из всего, что он сделал: «Философию зоологии». Но Наполеона из года в год приводили в бешенство промахи «Метеорологического бюллетеня» Ламарка, который доверялся только луне. Он с ходу обругал старого ученого, швырнул книгу своему адъютанту и понесся дальше. А Ламарк заплакал... И плакал до самой смерти.

Земля вращается. И вместе с нею вращается атмосфера. Над безбрежной пустынностью океанов с юга на север и с севера на юг, с востока на запад и с запада на восток перемещаются, врываются на материки, проходят над материками и покидают их высокие и низкие давления. Два холодильника — Арктика и Антарктика — обдают земной шар ледяным дыханием. Меня поражает, что в последние годы появилась примиренческая манера давать красивые женские имена — Изабелла, Арабелла, Мэри, Магдален — ураганам и торнадо, бушующим в Тихом и Индийском океанах. Скажите, как мило, когда бури срывают крыши у многих тысяч домов и топят в море несколько сот человек! Но таково одно из лиц ее величества погоды, изучать которое должны метеорологические корабли, в том числе и «Воейков».

Впрочем, несмотря на все сказанное выше, многие люди не могут уснуть, пока не услышат по радио прогноза погоды. Определенное число людей, а говоря точнее, абсолютное большинство должно знать завтрашнюю погоду отнюдь не в силу благоприобретенной привычки, а по непреложной жизненной необходимости. Это касается почти всех тех, кому приходится работать, всех тех, кто своим трудом кормит три миллиарда ртов нашей планеты. Сколь бы современным и безупречным ни был самолет, он не взлетит раньше, чем станет известно, в каких условиях ему предстоит лететь и какая погода там, где он должен приземлиться. Во время одного полета в Антарктике нам дали метеорологические сведения о трассе длиной в четыреста километров. Скорость ветра была шесть метров в секунду. Однако на сотом километре она достигла пятнадцати, а в пункте назначения — двадцати пяти метров в секунду. Мы не стали приземляться, но, когда вернулись, командир нашего корабля «приземлился» у метеорологов и в прямом смысле слова взорвался.

В последние годы палуба стала для меня второй землей, а каюта — вторым домом. Думая о них, я всегда

вспоминаю о погоде. Налетевшая внезапно буря — скверная штука. С причудами погоды, с ее неожиданными и наглыми шутками связана цифра, заставляющая задумываться: двести тысяч. Если верить доктору Бомбару, каждый *мирный* год на всех морях и океанах тонет двести тысяч человек. Из тех, кому удается сесть в спасательную шлюпку, спасаются лишь некоторые. Многие умирают раньше своей смерти. Из тех, кто попадает в спасательные шлюпки, гибнет пятьдесят тысяч. Потому что «окутанный ночным мраком, окоченевший от воды и ветра, напуганный бездонной глубиной, боящийся и тишины и гула человек всего за три дня окончательно превращается в труп... Вы, жертвы легендарных кораблекрушений, умершие слишком рано, я знаю: вас убило не море, не голод, не жажда! Качаясь на волнах под унылые крики чаек, вы умерли от страха». (А. Бомбар, «За бортом по своей воле»). Из тех ста сорока девяти человек, что плыли на знаменитом плоту «Медуза», выжило только пятнадцать. Остальные умерли от страха, хоть под рукой у них были и вода и вино. Всего лишь три часа спустя после гибели «Титаника» многие пассажиры спасательных шлюпок уже потеряли рассудок, а многие и жизнь. Лишь с детьми младше десяти лет этого не случилось. Бывают обстоятельства, когда рассудок становится врагом человека, а жизненный опыт — обузой. И страшно вспомнить не о тех, кто пошел на дно вместе с кораблем или кого смыла за борт волна, а о тех, кто долго агонизировал в спасательной шлюпке, уставясь погасшим взглядом в пустынное небо. Уверен, что мои родичи, погибшие в море, не попали в спасательные шлюпки...

Суда налетали в тумане на скалы, волны кидали их на коралловые рифы, а во время землетрясений по морю прокатывались со скоростью нескольких сот миль в час водяные горы. Гора накрывала судно, как сапог — муравейник, оставляя позади обломки и мертвые тела. В тропическом поясе корабли надолго попадали в плен к безветрию, паруса обвисали, и людское сопротивление, людская надежда тоже становились вялыми. А вокруг всего и надо всем, что записано или осталось незаписанным в бесконечной всемирной хронике морских бедствий, царит погода, та самая, которая властвует над человеком до последних минут его жизни, как властвовала до его появления. Та самая погода, о которой мы знаем уже довольно много, но все же не настолько мно-

го, чтобы составлять точные прогнозы и чтобы людям удавалось избежать многих все еще случающихся на море бедствий. Но какая огромная нужна работа, чтобы составить более или менее верный прогноз! По правде говоря, это один из наилучших примеров большого коллективного сотрудничества между разными народами нашей планеты.

Итак, о предсказании погоды. Как и во многих других сферах человеческой деятельности, диагноз тут предшествует прогнозу. Одним из главных компонентов диагноза, необходимого для предсказания, является фиксация погоды в определенные моменты времени. Таких моментов в сутках четыре: ноль часов ноль минут, шесть часов, двенадцать часов и восемнадцать часов по гринвичскому времени. В эти сроки *более чем десять тысяч* метеорологических станций осуществляют измерение так называемых элементов погоды: давления воздуха, температуры, влажности, силы и направления ветра, характера облачности. Подразделения международной метеорологической армии, синоптические станции разбросаны по всем уголкам света от Арктики до Антарктики — ими густо усеяны все материки, они пробрались на острова, на корабли, плавающие по океанским просторам, на самолеты, на горные хребты и в глубину долин. И по всем существующим каналам связи их данные посылаются в пункты сбора информации, чтобы после обработки стать всеобщим достоянием. Эта невидная работа, требующая участия сотен тысяч людей, ведется изо дня в день и по нескольку раз в сутки.

Одна треть всех телеграмм в мире начинается словом «метео». Передаются они по особым, самым быстрым каналам. Все эти телеграммы и радиограммы с синоптическими данными дают в целом необходимое для прогноза «метеофото» земного шара. Анализ этой «фотографии» позволяет следить за переменчивым характером погоды в той или иной географической полосе или даже в целом полушарии. «Фотография» дает представление о воздушных круговоротах и циклонах, о «жизни» и перемещении громадных воздушных масс. Но такая «фотография», такая карта запечатлевает только лицо погоды на земле и над самой землей. А ведь погода «готовится» во всех слоях атмосферы, где элементы бывают самые разные, и измерять их надо отдельно. Тут нам приходит на помощь наш старый знакомый — радиозонд, поднимающийся на высоту двадцати — тридца-

ти километров, и радиолокаторные установки. Можно сделать кое-какие выводы, наблюдая за интенсивностью обледенения самолетов. Измерения, осуществляемые на больших высотах, не только способствуют предсказанию погоды, но и расширяют знания людей о слоях газа, окружающего землю, о физических процессах в этих слоях. В последние годы ученые получили нового помощника — метеорологическую ракету.

Но вернемся к кораблям погоды. Какова их роль во всемирной сети синоптических станций, что они дают, чего от них ожидают?

Глобус вращается. Две трети его поверхности покрыты неровной синевой четырех океанов. И если мы знаем более или менее прилично, что происходит в атмосфере над материками, то с океанами дело обстоит иначе. Слишком мало у нас данных о погоде в открытом море, относительно же громадных океанских пространств их нет вовсе. Правда, все корабли проводят в море метеорологические наблюдения, измеряют упрощенным способом элементы и сообщают результаты измерений в информационные центры. Но их данные касаются либо прибрежных вод, либо преимущественно постоянных маршрутов, от которых суда отклоняются редко. А белые пятна остаются белыми пятнами. Может быть, господь бог, взяв большую малярную кисть, красит там небеса в синий цвет, что сулит материкам теплую солнечную погоду, но с тем же успехом там может резвиться и черт, варганя очередной торнадо. А нам надо знать, что там делается.

Именно туда, к белым пятнам с их бушующим штормом или ослепительным сиянием, и направляется «Воейков», этот плавучий институт, эта обсерватория, этот ракетный полигон с винтом на корме. С плавания в Японском море начнется подготовка к работе в центральной части Тихого океана. В нашу задачу входит исследовать атмосферу на больших высотах и осуществить за десять дней полную программу исследований с помощью ракет, радиозондов и метеорологических приборов.

Можно предполагать, что еще многие годы будет стоять вопрос: кто кого, человек природу или наоборот. Быть может, мы не так скоро научимся создавать погоду, повелевать ею. Но сумеем, подобно хорошим психологам, точно предсказывать, как она поступит завтра, послезавтра, через неделю и даже через месяц. И для

того, чтобы это было именно так, к десяти тысячам наземных, морских и воздушных метеостанций прибавилось два крошечных серебристо-серых пункта в безбрежности Тихого океана: советские корабли погоды «Воейков» и «Шокальский». Курсы их по прямой или ломаной линии пересекут сегодняшние белые пятна, с их носовых палуб через определенные промежутки времени будут взлетать с огненным воем ракеты и пропадать в небесной синеве, а радист будет предостерегать стуком Морзе дальние корабли и рыбаков об опасности шторма... Не знаю, где это будет, но уже знаю, как это будет.

Вторая. В плавании по Японскому морю мы должны проверить не только то, в какой степени человек способен использовать предоставленную ему исследовательскую технику, но и то, насколько можно доверять этой технике. Запуск ракет в открытом море и всю остальную работу надо организовать так, чтобы обеспечить полную безопасность. Разумеется, это требование надо соблюдать не только в море, но здесь оно особенно важно. Ведь судно — это маленький остров, иногда расположенный от земли и даже от ближайшего корабля за несколько тысяч километров. И если минер только раз в жизни платит за ошибку своей головой, то в нашем случае за ошибку может расплатиться весь коллектив, и расплатиться так дорого, что от людей останутся лишь воспоминание да рубиновые камни ручных часов.

Третья. В Японском море экспедиция будет разделена на два отряда. Первый отряд хорошо знаком с кораблем и техникой, часть людей участвовала в испытательных плаваниях по Черному морю, некоторыеплыли на «Воейкове» из Одессы во Владивосток. В Японском море они передадут свои знания и опыт другим — зеленым новичкам. А главное, в Японском море будет отобран основной состав будущих экспедиций, будет выяснено, кто на что годится. И это самое важное.

Однажды вечером, угнетенный бесконечным стоянием (две недели на Владивостокском рейде!), я читал «Кармен» и сражался с Большим Халлем. В ушах звенела тишина. Я услышал, как спереди к нам подошел катер и пристал к трапу, скинутому с правого борта. Люди, возвращаясь с берега, особенно если они бывали навеселе, обычно потихоньку скрывались в своих каю-

тах. Однако на этот раз в коридоре началась какая-то веселая суматоха. Послышалось, как на палубе тяжело грохнула металлическая дверь. Затем, когда люди были еще в десяти шагах от моей каюты, посыпались анекдоты, один другого соленее. Ага! Значит, прибыл мой старый друг и недруг Эдуард Давыдович, мой товарищ по рейсу в Антарктику, кинооператор. Прибыл вместе с двумя своими ассистентами. Тут я услышал знакомые шаги, услышал знакомый, почти беззвучный смех. Распахнул дверь. Первый, кого я увидел, был Эдуард в своей старой знакомой куртке: нос крючком, глаза горят, ушанка на затылке. Он прервал на середине рассказа о том, как чуть не утонул под Батуми, впервые попробовав заняться подводной съемкой.

— Ты еще жив, брат мой,— сказал этот чертов армянин из Астрахани и принялся меня трясти. Я был рад его видеть, хоть и знал, что теперь жизнь на корабле станет труднее, что теперь все время придется быть начеку. Ибо Эдуард Давыдович сумеет разыграть любого.

(Следующей ночью он явился в половине второго ко мне в каюту и с плаксивой миной попросил, чтобы я немедленно поехал с ним во Владивосток. Дескать, катер уже ждет. У него просрочен паспорт, потому что он не прописан в Москве (хотя живет в ней тридцать лет), и портовые власти не выпустят его в море, пока кто-нибудь не удостоверит его личность, а это могу сделать только я.

— К кому мы поедим? — спросил я.

Эдуард назвал фамилию одного вице-адмирала.

Я разыскал единственную свою накрахмаленную рубашку (адмирал все-таки!) и начал бриться. Он дал мне выбрить одну щеку, потом вышел, позвал двух свидетелей и сообщил им, что Смуул собирается в два часа ночи ломиться к адмиралу. Ему удалось уйти живым только потому, что вторая щека у меня была в мыльной пене.

Пусть все знают, почему я впредь буду отвечать отказом всем армянам, если они попросят меня удостоверить их личность!

А за спиной Эдуарда Давыдовича стоял длинный мужчина в кожаной куртке. На его обветренном лице сверкнула улыбка, когда он протянул мне свою могучую, твердую, как у кузнеца, руку.

Иван Иванович прибыл!

ХАРАКТЕРЫ И РАКЕТЫ

[Продолжение]

Иван Иванович прибыл.

И мне показалось, что суженный лесом мачт и крапов горизонт Золотого Рога, усеянного маслянистыми пятнами, внезапно раздвинулся. Глухой тупик обрел вдруг нечто океанское. Самый лучший, самый современный корабль во время стоянки на рейде выглядит холодным и неприветливым. Бывают дни, когда его корпус в несколько тысяч тонн кажется стальным гробом, гулким и неуютным. Но с кораблями дело обстоит точно так же, как с домами: не они красят людей, а люди их.

Иван Иванович прибыл. С этого дня и началась для меня экспедиция. Стальной гроб исчез. Подстегиваемый неотступной лихорадочной боязнью куда-то опоздать, я начал приглядываться к людям, налаживать контакты, и сразу все судовые помещения от трюма до командного мостика стали вдруг родными и слились в одно целое — в *свой корабль*. Я разыскал свой старый морской дневник и нашел там стихотворение Эльви Синерво «Я любила». С этой женщиной, чьи стихи мне дороги, я встретился в гранитном Хельсинки.

Я любила разных людей.

Любила таких, кто много читал и много знал:
знал, как рождаются вулканы и когда умирали короли,
знал образ жизни зверей, и химический состав кислот
и все законы эволюции.

Я любила простых людей, чьи руки
вскидывались от страсти или закидывали снасти,
людей, знавших, как рождаются хлеб и растенья
и сколько это требует пота.

Я любила порочных людей, воров, убийц.
В них человек был разбит на осколки,
и эти осколки зывали друг к другу.

Любила и тех, кто, мало зная
и мало умея,
все-таки верил в человека и славил его
всегда и везде.
В них я любила себя.

И только одних я не любила —
тех, кто, скопив какую-то малость,
боялся ее потерять или мечтал,
как бы ее приумножить.

Они не лучше мутных бутылок,
из которых ничего не нальешь,
в которые не добавишь ни капли.

Мой старый товарищ Иван Иванович много учился. Он кое-что знал о рождении вулканов. Когда умирали короли, он не знал вовсе. Законы эволюции и химический состав кислот — это ему близко. Рукам его знакомы и страсти и снасти. Полагаю, что, как исконный горожанин, он имеет слабое понятие о растениях (хотя и может отличить сосну от лиственницы) и о том, каким путем попадает хлеб к нему на стол. Но он обошел на кораблях весь земной шар, он водил самолеты и учил этому искусству других, он был знаком с безмолвием, царящим в гондолах аэростатов, и знал, как выглядит земля с большой высоты. Он любил умные машины и еще больше — их создателей. Он написал много научных статей и книгу об основах воздухоплавания. В аэродинамике он был своим человеком. Он хорошо водил машину и умел управлять лодкой при боковой волне не хуже старого рыбака. Наверно, лучше, чем кто-либо еще на «Воейкове», он знал и понимал то, что происходит в разных слоях атмосферы. Он умел расшифровывать сигналы ракетных радиопередатчиков и был первоклассным слесарем. Он был слишком цельный и слишком добротный, чтобы понять тех, в ком человек разбит на осколки. Время от времени он говорил о литературе с совершенно пуританских позиций и не желал уяснить некоторые различия между законами механики и искусства. В то же время он мог довести до бешенства своей терпимостью, когда имел дело с «мутными бутылками» и пытался найти что-то хорошее там, где искать было нечего. Но самое драгоценное: он знал свое место на земле, свое место среди людей, он не кокетничал тяжестью возложенной на него ответственности и не пытался от нее увильнуть. Будучи таким же, как все, он все-таки формировал остальных, сам того не замечая.

.....
«Воейков» направился в северную часть Японского моря. По левому борту тянется слегка выступающий в сторону норд-оста дальневосточный берег, освещенный неласковым декабрьским солнцем: местами предзимне желтоватый или багряно-золотистый, местами каменно-голый, словно карьер, местами в пятнах снега и почти везде непригодный для высадки.

Кое-где берег напоминает о безжизненных скалах Южной Норвегии, спускающихся в Скагеррак, изредка он походит на жаждающее пустынное побережье Сомали. Но это только с виду. Дальний Восток гораздо дружелюбнее, и невольно вспоминаешь, что лежит за этими голыми скалами и сопками с одиноко торчащими деревьями. На здешний берег можно смотреть часами, если иметь хороший бинокль. А в штурманской рубке я обнаружил на стене первоклассный бинокль. Точно отрегулировав его по своим близоруким глазам, я рассматривал берег, который рад был увидеть в апреле или в мае, в пору цветения, или в сентябре — октябре, когда полыхает всеми красками осень.

«Обнаружил...» На корабле ничего не «обнаруживают». Бинокль наверняка висел там, где ему полагалось висеть, и с того момента, как его обнаружил я, он перестал существовать для кого-то другого.

На одной скале лежала странная тень — ну совсем сидящий медведь. По мере нашего продвижения на север тень все больше и больше худела, пока наконец не превратилась в узкую темную полоску на красно-сером камне. Кто-то положил мне руку на плечо. Я с досадой обернулся и увидел капитана. Он сказал негромко, отнюдь не по-капитански:

— Дайте, пожалуйста, мой бинокль.

Я попытался быстро поставить окуляры в нормальное положение, перевести их с минуса на ноль. Но ремень бинокля застрял под воротником пальто, и я не сразу его вытащил. И вернул капитану бинокль с чувством неловкости. Он быстро и точно настроил его по своим глазам. Синеватые окуляры начали прошупывать берег.

— Между прочим, — сказал капитан все тем же некапитанским тоном, — секстантом и биноклем капитан имеет право пользоваться только капитан. Такова традиция.

Расставив ноги, он стоял ко мне спиной, широкоплечий, полнеющий, в глубоко нахлобученной шапке. Он разглядывал берег, а я чувствовал себя не то уличенным, не то побитым, и лицо мое пылало вовсе не от холодного ветра. Ну, еще одно слово, мой капитан, хороший капитанский окрик, и мне сразу станет легче! Но я не дождался окрика. Чуть погодя капитан снял с шеи ремень и вернул мне бинокль:

— Пользуйтесь, не обижайтесь. У вас, если не ошибаюсь, минус три? Близорукость? Профессиональная бо-

лезнь писателей. Ведь я читаю книги. (Пауза.) Будете класть обратно, поставьте, как тут: чтобы черточка была на ноле.

Он отошел, широкий, приземистый, медвежеватый, аккуратно застегнутый на все пуговицы,— и застыл у экрана заработавшего локатора. Отошел, оставив мне бинокль и мысль о близорукости. Что касается моего мнения о нем, близорукость эта оказалась сильнее, чем минус три.

Я встретился с нашим капитаном на другой день после того, как прибыл на «Воейков». Нанес обычный корреспондентский визит вежливости и сразу же успел разочароваться, очевидно в силу впечатлений от предыдущей ночи. Я вошел в превосходный, хорошо освещенный капитанский салон. Из-за письменного стола из светлой карельской березы поднялся невысокий лысый толстяк в полосатом штатском пиджаке, далеко не новом и не модном, и протянул мне руку, соответствующую его сложению,— короткую и широкую руку моряка. Лицо его с мягкими чертами было совсем круглое, глаза ясные, рот маленький. К таким мужчинам дети без спроса забираются на колени, бесстыже разглядывают в упор лицо, располагающее к доверию, залезают в карманы и с первой же минуты называют незнакомца «дядей».

У многих старых капитанов даже после того, как лица их становятся совсем обрюзглыми, носы все-таки не деформируются, а сохраняют какую-то особенную напряженность, тренированность, чудится, будто под кожу носа вставлена упругая стальная пластина. Но у этого и нос был вполне обычный: добродушный, прекрасно сочетающийся с круглым подбородком. И еще полосатый пиджак! А голос — мягкий, не по-моряцки мелодичный и тихий, без всяких повышений и понижений, ну прямо шелест ольхи. При звуках этого голоса, подумал я, матрос не замрет навтыяжку и не уставится на капитана с почтением. Мы долго обменивались банальнейшими фразами о погоде и о Владивостоке. Я все время ждал, что капитан начнет расхваливать свой корабль. Но даже после того, как я попросил разрешить мне беспрепятственно спускаться в машинное отделение, он не начал превозносить свои моторы, а просто ответил тихо: «Можно, можно, хотя посторонним мы этого не разрешаем».

Я надеялся, что он вызовет по телефону первого помощника и меня начнут знакомить с кораблем,— весь

ход этой церемонии можно было предсказать до подробностей. В ней обычно участвуют два действующих лица: первый помощник капитана, именуемый в деловых разговорах «помполитом», а в матросском просторечии «помпой», и сухопутный картофелевод, то есть гость. Церемония эта (опираюсь на собственный опыт) развивается следующий образом. «Прежде всего некоторые общие данные,— говорит вам помпа.— Судно построено там-то (в Ленинграде, в Финляндии, в Польше) в таком-то году. Водоизмещение столько-то тонн, скорость столько-то узлов, мотор такой-то фирмы, такого-то типа и в столько-то лошадиных сил». Перечисляются порты, в которых побывало судно. А потом начинается галон! На миг приоткрывается дверь капитанской каюты, ходовой мостик показывают через стекло запертой двери, и вы видите, что штурвала нет. Есть рычаг. Потом вас ведут в судовой салон. Там стоит пианино или рояль, обычно закрытые на замок, красивые картины и фикус, иногда имитация камина, в котором вместо угольков ярко горят красные электрические лампочки, прикрытые закопченным стеклом. Ваше внимание обращают на то, что в салоне лежат ковры и стоит фикус, а коридоры и трапы устланы бордовыми дорожками, которые, впрочем, сворачивают после выхода в море. Потом показывают кают-компанию и красный уголок, разрешают полюбоваться якорной лебедкой на баке, словом, показывают всякую всячину, но только не то, что делает корабль кораблем. Может быть, помполиту просто прискучило таскать профанов по трапам и коридорам, может быть, хозяевам уже надоели глупые расспросы гостей. В большинстве случаев так и есть. Но как бы то ни было, я все-таки чувствую себя оскорбленным, когда вижу, что звание первого помощника сочетается с манерами старшего кельнера. Впрочем, капитан не стал звонить.

Знаю, что бывают очень хорошие, очень деловые первые помощники, чувствующие себя на палубе не хуже, чем на суше. Таких команда ценит и считается с ними. До сих пор я с очень теплым чувством вспоминаю первого помощника с «Оби», бывшего судового радиста. Он очень умно справлялся со своей сложной работой, а в случае нужды мог подменить радиста. И для экспедиции и для команды он был нужным и близким человеком, был в своем роде отцом корабля и первым офицером в лучшем смысле слова. Но я говорю сейчас не о таких людях.

Мне попадались первые помощники из числа политработников, погоревших на суше, из числа бывших лекторов, занимавшихся антирелигиозной пропагандой. В первые помощники их произвели явно в надежде на то, что если бог дал должность, так даст и разум. Однажды мне встретился даже заведующий лесопунктом. То, что у них была прежде другая специальность, это, разумеется, еще полбеда и вообще не беда, — несчастье в том, что они не могут найти себе на корабле ни места, ни дела и команда бессильна им помочь. Почти для всех них море — враждебная стихия, а судно — чуть ли не штрафная рота. Чтобы преодолеть это неприятное чувство, они начинают совать нос куда не надо. Они придумывают себе *фиктивное дело* вместо тех реальных дел, которые возникают сами собой в ходе судовых будней. Так рождаются лишние слова, не действующие на людей, так придумываются доклады, в которых все без различия иностранные порты изображаются в паническом свете, так возникает брюзгливое чиновничье недоверие ко всем нижестоящим. Так неизбежно появляется трещина в отношениях между первым помощником и остальными партийцами на корабле. Я не обобщаю. Но раз мы говорим о плохих секретарях обкомов или райкомов, то по тому же праву мы можем критиковать и тех, кто зачастую оказывается на корабле никому не нужным балластом, пустым местом с высоким званием.

Легко было понять, в чем состоят обязанности и чем должен заниматься любой член команды «Воейкова», любой участник экспедиции. Но я до сих пор не понимаю, зачем с нами плавал помполит. Хоть он и сидел за обеденным столом по левую руку от капитана, все-таки невозможно было назвать его первым помощником. Сперва я решил, что это один из конструкторов: такой он отличался солидностью, сухопутной элегантностью и достоинством. Ни на мостике, ни в машинном отделении ни разу не показывалась его грудь, украшенная планками медалей, хоть он и именовался первым помощником. Возможно, что он хороший человек и мог бы оказаться на своем месте где-то еще. Но тут? После обеда люди собираются покурить. Помполит подходит к ним и напоминает, что курить разрешено только здесь. Но все и без того курят только здесь. Однако он напоминает об этом еще раз. И уходит. И тут же возвращается. Кто-то кинул окурок мимо урны. Помполит указывает на оку-

рок носком своего начищенного ботинка. «Видите?» — говорит он. Мы видим. Окурок тут же подбирают. Помполит уходит твердым шагом кадрового офицера, представительный, энергичный. Но немного погодя появляется опять и проходит мимо нас в кают-компанию. «Видите, как некрасиво?» — говорит он полной веснушчатой Наде, которая стелет скатерть. Надя не обращает на него внимания, хотя заутюженная складка на скатерти действительно легла не совсем перпендикулярно к ребру стола. Тогда первый помощник капитана поправляет скатерть *собственноручно*. Его, похоже, больше всего интересует работа уборщиц и стирка, интересуется и с технической стороны и по существу.

— Кто ваш первый помощник? — спросил я капитана.

— Я его еще не знаю, — уклончиво ответил капитан.

— Какого вы мнения о помполите? — спросил я начальника экспедиции.

— Никакого, — ответил тот, продолжая заниматься своим делом.

Один друг мне рассказывал, что на Севере, в оленеводческий колхоз на берегу Охотского моря, райком, нарушив демократию, назначил нового председателя. Оленеводам кандидат не понравился, и следующей ночью весь колхоз ушел, оставив председателя с его портфелем на берегу холодного моря.

Но с корабля во время плавания не уйдешь. И потому на суда нельзя назначать «мутные бутылки», которые ничего не дают и от которых ничего не возьмешь. На суда нельзя посылать косных людей, берущих с собой в море свои штампы и нередко те же самые ошибки, что еще на суше стали для них роковыми. Я не буду ораторствовать о добре и зле. В море является злом все, что неуместно, все, что стало анахронизмом. На суше мы ликвидировали много излишнего и устаревшего, однако...

С каждым часом холод становится все более зимним. Северный ветер раздувает мехи, наполненные камчатским холодом, дует в лицо, хватает за уши и гонит прибрежные волны с невысокими, но острыми гребешками все на юг и на юг. Узкий ремень бинокля режет шею. Это бинокль капитана. Я снова слышу его тихий голос: «Секстант капитана и бинокль капитана...»

Мой личный, мой внутренний бинокль, сквозь который я разглядывал капитана во время первой беседы

и в последующие дни, явно оказался не в порядке. По-видимому, меня поразило несоответствие между капитаном и его каютой, поразило сдержанное отношение капитана к судну, на которое его назначили всего лишь несколько дней назад. В моем дневнике тех дней еще сохранились два подчеркнутых слова: «нетипичный тип».

Существуют, впрочем, два угла зрения на таких невыразительных и по внешности и по поведению людей: после непродолжительного знакомства мы либо признаем их нетипичными типами, либо объявляем «простыми советскими людьми». К последней формуле мы прибегаем как раз в тех случаях, когда приходится писать или говорить о незнакомом, как о знакомом. «Простой советский человек» — это один из самых распространенных графаретов нашей журналистики, это любовь редакторов, это люминал для читателя. Для бобов, гороха, кукурузы и гибридной свеклы мы находим больше определений и эпитетов, чем для этого человека. Не пойму, когда он успел стать простым? Во время гражданской войны, когда брат шел на брата, когда полуграмотные крестьяне в лаптях отдавали жизнь за, казалось бы, отвлеченные идеалы? Или во время нэпа? Или в пору гигантского напряжения первых пятилеток? Или в годы Великой Отечественной войны? Или в период культа личности, когда этот человек таил про себя многое из того, что его беспокоило и мучило? Я не знаю ни одного периода в истории нашей страны, который опрокидывал бы непреложный закон развития — от простого к сложному. Поговорите с колхозником или рыбаком на острове Хийу, читающим две газеты. Вы и оглянуться не успеете, как он трижды загонит вас в ловушку, оценит ваш вес и через час сумеет дать вам исчерпывающую характеристику в одной фразе. Вы его не успеете изучить, а он вас успеет. Этот представитель самой хитрой, самой лукавой разновидности эстонцев любит подчеркивать, что он простой колхозник, простой советский человек.

Наступит коммунизм. Мы ликвидируем даже мелкохулиганство. И в немногих сохранившихся местах заключения будут сидеть, сося лапу, отсталые писатели, получившие трое суток за то, что крутили на своей шарманке песню о простом советском человеке.

Наш капитан Тимофей Федорович любит тишину. Крик, взвинченность, всяческая разнузданность — все

это ему чуждо. Я был поражен, когда за несколько минут до запуска первой ракеты он спросил Ивана Ивановича, следует ли и ему покинуть мостик. Он исконный дальневосточник, ему свойственна хорошая своеобразная гордость дальневосточников, разве что без шумной саморекламы.

Как-то я встретил его в час ночи. Он возвращался из машинного отделения, часто останавливаясь. Капитан шел по сонным коридорам своим неслышным дальневосточным шагом и, наверно, беседовал с кораблем, с которым еще не вполне освоился. Беседовал и подолгу прислушивался. В одной каюте пели, играли на аккордеоне. Я подошел. Вслушиваясь, Тимофей Федорович точно назвал номер каюты. Я знал, что точно: я шел оттуда. Судя по стройности и сдержанности пения, все было в норме, но все же и не совсем в норме, поскольку на судне царил сухой закон. И это беспокоило капитана, хотя он никогда не опускался до мелочной придирчивости.

— Поют,— сказал он, постучав пальцем по ручным часам.— Час ночи, а они поют.

— Поют... Молодежь...

— Значит, имеется еще на судне? — спросил он.

— Кто? — ответил я вопросом, сам стыдясь своего фарисейства.

— Спирт, ясно кто.— И добавил: — Хотя после спирта не так поют — громче.

Безмолвный надзор капитана ощущался всеми. Он подгонял боцмана, человека хорошего, но слишком часто исчезавшего неизвестно куда. Электронженер, темпераментный татарин, любитель вечных конфликтов, стрелявший словами со скоростью пулемета «максим», в присутствии капитана сбавлял тон. «Когда капитан съезжает на берег, на корабле должен оставаться его дух!» — учил меня капитан Янцелевич. Не знаю, удавалось ли и надолго ли удавалось оставлять Тимофею Федоровичу на судне свой дух, когда он сам уезжал, зато после его возвращения мы все ощущали присутствие этого духа.

Хотя Тимофей Федорович родился на Волге, вся его морская жизнь связана, начиная с 1930 года, с Дальним Востоком — здесь и на Севере он прошел превосходную морскую практику. В 1937—1939 годах он работал на китобойце «Трудфронт», входившем во флотилию «Алеут», третьим, вторым и первым штурманом. Капитаном

«Трудфронта» был Петр Андреевич Шарва, первый советский гарпунер, ныне Герой Социалистического Труда. Потом он перешел работать в дальневосточную флотилию Главсевморпути, плавал на танкере «Ненец», на знаменитом «Красине», на пароходах «Революционер» и «Беломорканал», был старшим помощником и капитаном дизельного судна «Чукотка». Долгое время, с 1950 по 1959 год, командовал лесовозом «Беломорканал». Он знаком с устьями всех восточносибирских рек и заливами Северного Ледовитого океана (шестнадцать летних сезонов — немалый срок), с далекими экзотическими островами и гаванями, с Тихим, Индийским и Атлантическим океанами. «Между прочим, — вспоминал Тимофей Федорович, словно бы о чем-то совершенно второстепенном, — во время Отечественной войны я шестнадцать раз ходил в Америку». Он вспоминает, вспоминает, вспоминает, закидывает тебя названиями стран, гаваней и городов, лежащих один от другого на расстоянии многих тысяч миль, ничего не описывает, и лишь потом, когда ты склонился над картой обоих полушарий, твоя фантазия начинает бродить бесчисленными жизненными путями этого моряка.

Я похвалил его каюту, вернее, плавающую квартиру в тридцать квадратных метров жилой площади. Он не разделил моего восторга, эта тема была ему явно не по душе.

— На суше, — ответил он, разглядывая светлые панели, — я с женой и двумя взрослыми детьми живу на двенадцати метрах. Тесно у нас, очень тесно.

Он задумался о Владивостоке. А мне вспомнились комнатенки некоторых именитых моряков в Таллине, Мурманске и даже во Владивостоке, таком перенаселенном и неудобном. И я невольно связал двенадцать городских метров Тимофея Федоровича с его тихим голосом, с его деликатностью и округлой мягкостью лица. Чтобы всюду и по справедливости провести в жизнь действующий еще закон — «каждому по труду», капитанам иногда нужно повышать голос. Суша, она добрая, родная, милая, но у нее есть склонность к забывчивости.

Не могу назвать ничего более противоположного, чем Тимофей Федорович и злое, взбалмошное Японское море, такое холодное в декабре. Казалось, они совсем не сошлись характерами. Зато они хорошо дополняли друг друга. Рядом с круглым лицом капитана чугунная

серость моря выглядела светлее, а ясные глаза слегка темнели, отражая бескрайний волнистый простор. Это было несходство братьев.

По левому борту за нами тянется безжизненный берег, то закрытый клочьями тумана, то залитый солнцем, то придавленный низкими тучами, то окутанный молочными клубами метели. А справа, насколько хватает глаз, распевает свою вечную угрюмую песню Японское море, поистине открытое море, ибо где-то далеко, за сотым горизонтом, оно сливается с Тихим океаном.

Открытое море! Послушай, мой друг, как звучат эти слова, которыми после Юри Париййги почти никто в эстонской литературе не пользовался! Это не слова, а симфония, кантата для органа и скрипки. Надо лишь закрыть глаза и увидеть в этих словах не только комбинацию букв, а что-то гигантское и необозримое по разнообразию красок, промежуточных тонов и полутонов, начиная с черного цвета и кончая цветом алюминия, начищенного до такого блеска, что больно смотреть. Я могу пощупать эти слова рукой и почувствовать, как они забьются под ладонью, словно шейные мышцы молодой необъезженной лошади, косящей на тебя гневными, налитыми кровью глазами и пытающейся куснуть в плечо. Море бывает с виду нежным и пушистым, как наэлектризованная кошачья шерсть, бывает и колючим, как ошетилившийся еж. Но всегда это все то же самое море, открытое море, открытые воды, понятие, включающее в себя все моря и океаны, да и многое другое: смутное томление, с каким мальчишки смотрят на волны, и таинственное тепло синих снов нашего детства, и самые содержательные, самые трудные дни нашей зрелости. У океана есть начало и конец, есть границы, образуемые берегами или меридианами, море замкнуто и ограничено в своем гуле. Но открытое море, открытый простор, вбирает все, оно надо всем, как аллах. Лишь такие понятия, как человеческий разум и космос, сравнимы по значению с открытым морем, лишь они — такие же емкие.

Смеркается. Ветер стал холоднее, вой его яростней. Облака в сумерках кажутся лесом, затянутым туманом. А море — осенним полем, мокрым и глинистым: насмотрелся я на такое поле в ту пору, когда будущее представлялось мне бесконечной вязкой бороздой. Я бы нашел вполне естественным, если бы услышал за бортом унылое «но, пошла!» и фырканье лошади. Однако чуть

погода, после того как бинокль уже не помогает проникнуть в сумерки, а метель скрадывает береговую линию, на северном склоне неба появляется гигант — порождение облаков, снега, утомленного зрения и фантазии, призрак сумеречных северных широт, родич лапландского великана на широких лыжах:

Бородой висят сосульки,
Волосами вьются вихри.
Белый полушубок — вьюга,
А носки — морозный иней.

Уж не эти ли строки из финской легенды вызвали его появление? Не приходится ли он братом Большому Халлю или сыном нашей ненависти и нашей привязанности к морю? Как с ним обращаться? Не сказать ли ему: здравствуй, грусть? Нет уж! Я сам его породил, сам и убью.

Я устанавливаю окуляры соответственно зрению капитана и отношу бинокль. Пора спускаться вниз, к ракетам, к людям Ивана Ивановича.

На первый взгляд гигантский монтажный трюм в чреве «Воейкова» кажется безлюдным и тихим. Человек выглядит здесь маленьким, голос Коли Орловского гаснет под стальным потолком и еле слышен. Он называет цифры, которые Геня Добровольский вносит в журнал. Они проверяют одну за другой смонтированные головки, выстроенные в ряд. Головки стоят без защитных чехлов в том самом виде, в каком они отделяются от ракетносителя, спускаются на парашюте и погружаются в море.

Коля Орловский и Геня Добровольский, два подмосковных парня, изучают их и прослушивают, как заправские врачи. Оба они молодые солдаты в науке, и может быть, им никогда не удастся перейти в старший командный состав. Но эта ракетная головка, устаивающаяся разговором только их, сумеречная огромность монтажного трюма и деловитость, с какой они проделывают свою тонкую работу, отбивают всякую охоту к фамильярности. Здесь перестает казаться смешной молодость людей Ивана Ивановича, проявляющаяся порой в самых заурядных телячьих выходках, здесь в долгие часы напряженной работы эта молодость вообще перестает ощущаться. Мир не старится вместе с нами, поколения продолжают свою эстафету, не обращая внимания, признает ли очевидную преемственность наша эгоистическая натура или нет. Я гляжу на Колю Орловско-

го, старшего механика ракетного отряда, практиканта, который еще учится в техникуме. И мне вспоминается девчонка с невероятно измазанным лицом мурены, родившаяся в том же году, что и Коля. Своим хныканьем и своими капризами она довела меня до того, что я отвесил ей несколько хороших шлепков по той самой части, с которой она еще не успела стряхнуть песок. Случилось это летом, за две недели до начала войны, в зарослях прибрежного можжевельника. Какое-то время спустя она попалась мне во втором издании, исправленном, дополненном и переплетенном в ситец и кружева. Это издание прощebetало:

— Здравствуй, дядя!

А сколько на этом самом «Воейкове» таких, кому Коле и Гене следовало бы вежливо и мило говорить «здравствуй, дядя!» в благодарность и за хорошее и за плохое, в благодарность за то, что они еще в молодости проникли в умный мир, захватывающий, переменчивый и перспективный, в мир, взмывающий с ревом ввысь, в мир, которому уступают дорогу другие страны и народы.

Здесь же, покоясь на своих ложах, лежат две подготовленные к старту ракеты. Одну из них запустят сегодня вечером — с нее уже сняли чехол, ее серебристая головка проверялась не раз и не раз, — короче говоря, она надежна. Над ее длинной и зеленой моторной частью, составляющей примерно четыре пятых всей протяженности ракеты, колдуют два инженера — Рэм Васильевич и Юрий Иванович. Они обмениваются вполголоса отдельными словами. Все делается неторопливо и спокойно, словно при замедленной съемке. Лица обоих я видел еще на «Оби», где они работали вместе с Иваном Ивановичем. Я обрадовался им, когда они появились на «Воейкове», хотя в Антарктике мы обменялись лишь двумя-тремя словами. Там они входили в состав морской экспедиции. Мы встретились как старые знакомые.

В 1924 году, когда умер Ленин, все лучшее, как во время боевой тревоги, бесповоротно и непреклонно прикнуло к партии. Этот год оставил свою печать не только на облике страны и на странице истории, он запечатлелся в именах.

Рэм Васильевич был первым Рэмом, которого я встретил. Я не знал, что он родился в 1924 году, и не сумел связать его имя с этой датой. Я был убежден, что его называли Рэмом в честь Рембрандта, и долго оста-

вался в заблуждении. Эта ошибка была по-своему логичной. Все в Рэме Васильевиче вызывает кисти и холсту. Если бы он носил пышный берет, то сильно походил бы на отпрыска какого-нибудь знатного фламандца. У него темные глаза, темно-русые волосы, прямой нос, мягкий овал лица, на котором годы еще не оставили следов. Могучая классическая шея. Он сильный и стройный, у него быстрая, несколько прыгающая походка, даже в мороз он *принципиально* не надевает ничего на голову, ничего. Эдуард Давыдович, обладающий кроме многих прочих достоинств умением подстраивать своим друзьям хорошо продуманные неприятности, воспользовался во Владивостоке этой слабостью Рэма Васильевича, этим щегольством, и затеял на улице небольшой скандал.

Мела метель. Было холодно. Мы шли по улице Ленина. Рэм Васильевич и Юрий Иванович — впереди, мы с Эдуардом Давыдовичем — позади. Не только у нас, но у всей улицы уши на шапках были опущены. Но над русыми волосами Рэма Васильевича, над его маленькими ушами реял белый ореол метели. На нем были тонкие темно-серые брюки со штрипками и кожаная куртка, короткая и элегантная. Молодые женщины поглядывали на него с интересом и благоговением.

— Погодите! — сказал наш кинооператор и прибавил шагу.

Он догнал Рэма Васильевича и непочтительно схватил за рукав. Рэм обернулся.

— Эй, иностранец! — сказал Эдуард своему старому другу. — Ты чего без шапки ходишь?

Сказав эту вызывающую фразу и повысив голос чуть ли не до крика, он замахал руками.

Начали собираться прохожие, а Рэм Васильевич глядел с испугом на Эдуарда и не мог сказать ни «а», ни «бе». В конце концов он яростно прошипел:

— Сумасшедший! На улице! Люди же смотрят!

— Слушай, юноша, тут нельзя ходить без шапки, — упорствовал Эдуард. — Не понимаешь? Совсем не понимаешь? — продолжал он тем же воинственно-наставническим тоном, снова схватив за рукав покрасневшего Рэма Васильевича, пытавшегося удрать. — Правду говорю, иностранец. Пирим, пирис, питлярим (наверно, это было по-татарски). Без шапки — нельзя. О'кэй! Понимаешь? Отдашь господу богу оба уха. — И он изобразил руками два крылышка, на которых уши Рэма Василье-

вича должны были улететь от русского мороза к госпо-
ду богу.

Вокруг нас уже собралось человек сто. Все они смотре-
ли на Рэма Васильевича с сочувствием, а на Эдуар-
да — с осуждением. И вдруг Рэм Васильевич исчез —
был человек и нету. И столпившиеся люди принялись
объяснять Эдуарду Давыдовичу, как бестактно он себя
вел, досаждая на улице иностранцу, может быть, наше-
му другу, как это невоспитанно и т. д., и т. д. Кто-то
отпустил оскорбительное замечание по адресу Эдуардо-
вой куртки, чьи полы развевались на всех меридианах,
хоть эта куртка и похожа на обкорнанный почтальон-
ский тулупчик. Не обращая особого внимания на оскор-
бительные словечки, Эдуард пытался изобразить себя
рыцарем абстрактного гуманизма и уверял всех, что его
побудила на этот шаг вполне человеческая забота об
ушах юноши. «Думаете, я пожалел бы своей шапки? —
пропел он с нарастающим пафосом. — Мигом бы отдал,
если бы вы все не начали вмешиваться». Он пере-
крестился. И лишь после того, как хорошенькая девуш-
ка объяснила ему, что, наверно, в той стране (в какой?)
модно ходить в мороз с непокрытой головой, он, сдав-
шись, признал свою ошибку. Но потом, уже на катере,
он не переставал улыбаться счастливой улыбкой благо-
детеля. Рэм Васильевич, человек тактичный и очень чув-
ствительный к таким уличным скандалам, весь вечер
яростно и упорно разыскивал Эдуарда. На «Воейкове»
одних лабораторий тридцать восемь, а кают — сто, так
что разыскать струхнувшего человека — это гибельное
дело. Эдуард не обнаружился. А Рэм Васильевич по-
прежнему не носит шапки, даже в тридцатиградусный
мороз, *принципиально* не носит.

Отец Рэма Васильевича вступил в партию сразу по-
сле смерти Ленина. И сына он назвал Рэмом не в честь
Рембрандта — он соединил первые буквы трех ленин-
ских слов: революция, электрификация, мир. О своем
отце Рэм Васильевич говорит в первую очередь не как
об отце, а как о коллеге и учителе, что, впрочем, не
исключает сыновних чувств. Отец, сейчас уже пенсио-
нер, был специалистом по металлическим конструкци-
ям и строил радиомачты. «Хорошая от него останется па-
мять миру — высокие мачты и красивая музыка, кото-
рую они передают», — подводит сын итоги работы отца.

Все характеры различны, каждый индивидуальный
микрокосм своеобразен — это очевидно, и все-таки ког-

да дело касается целой группы людей, которые после рождения попали в борющийся и формирующийся социалистический мир двадцатых годов, очень трудно описывать их приход в науку *по-разному*. Слишком много тут общего, совпадающего, а различия во многих случаях кажутся только исключениями, подтверждающими правило. Мне кажется, что в советской литературе последних лет единые черты, или, пользуясь техническим термином, единые показатели, этого поколения наиболее удачно подмечены в «Дневных звездах» Ольги Берггольц.

В 1941 году Рэм Васильевич кончил десятый класс. Во время войны служил во флоте: сначала на Тихом океане, потом на Черном море. Участвовал в Керченской операции — был радистом на катере. После войны окончил Бауманский институт. О своей работе никогда не говорит, разве что со специалистами. Он никогда не станет хорошим популяризатором. Однажды он рассказывал о том, как с помощью реактивных моторов, запустив ракету не вверх, а вниз, можно было бы наиболее быстрым и дешевым способом проникнуть в земные недра, к залежам нефти или руды. «Интересная задача, очень интересная», — уверял он. По-видимому, он уже приступил к работе над этой проблемой. Но все, что мы от него слышали, это было «если бы» да две отрывочные фразы, дававшие весьма смутное техническое представление об идее. Всем, что выходит за рамки его специальности, он интересуется лишь от случая к случаю, но зато жадно, ибо сохранил самое счастливое свойство детства и юности: способность удивляться и поражаться даже самым простым вещам. Рэм Васильевич не относится к тем людям, которые излучают ровно столько тепла, сколько дали им калории и друзья, и которые поэтому не располагают энергией, необходимой для мощного взрыва. Я догадывался, что он живет интенсивной, самоуглубленной жизнью, что он любит работу и вкладывает в нее всю свою дисциплинированную волю, что негромким возгласом «интересная проблема, очень интересная!» он обмолвился о самых счастливых минутах жизни и что своим внутренним теплом он делится только с очень близкими людьми. Но сведения мои о нем были немногочисленны и случайны. К тому же трудно сблизиться с человеком, упорно штурмующим барьеры неразрешенных проблем. Скрытое напряжение становится у таких людей вторым характером.

Вместе с Рэмом Васильевичем мы следили и за дневными и за вечерними запусками ракет. Однажды вечером, когда ракета взлетела в темное небо, он сказал о вырывающемся с ревом пламени: «До чего красивая! Пушкин! Сегодня она очень красивая!» Я помню того Рэма Васильевича, который на носовой палубе «Воейкова» размеренными и точными движениями переливает ракетное горючее, в то время как мороз волчком грызет его уши, а порывистый буран треплет темный чуб; помню и того Рэма Васильевича, который так воодушевился, узнав, что Бенджамен Франклин изобрел кроме громоотвода железную печку и кресло-качалку.

— Железная печка и Франклин?

— Он самый.

— Франклин и кресло-качалка? Вот это открытие!

Но сейчас, за два часа до взлета ракеты, его интересует не Франклин, не железная печка, не кресло-качалка, а только двигатель. Они перебрасываются с Юрием Ивановичем техническими репликами, такими редкими и тихими, словно оба находятся рядом с покойником. Может быть, такое впечатление вызвано сумеречной огромностью трюма и белой тканью на соседней ракете, а может быть, они просто не хотят мешать Гене и Коле. Или же между ракетой и создавшими ее людьми создались более теплые отношения, чем те, какие существуют обычно между человеком и машиной? Летчик срastaется с самолетом, капитан — с кораблем, дружба эта складывается долгое время, однако и самолет и корабль могут потом перейти в другие руки. А ракета? Ее двигатель проработает лишь несколько десятков секунд. После отделения головки он, сгоревший и умолкший, наберет еще самостоятельно какую-то высоту, достигнет мертвой точки, а потом начнет падать все быстрее и быстрее, пока не затонет в море. Земля, отдавшая металлы, необходимые для его создания, тянет его обратно с такой силой, что зона вокруг судна должна быть обязательно изолированной. При падении двигатель пробьет любую палубу, как бумагу, а суденышко поменьше он за какие-то доли секунды превратит в железный лом. Полезная жизнь головки, оснащенной измерительной аппаратурой, продолжается дольше: минут пятьдесят, час. Когда такие ракеты стартуют с суши, они в целости возвращаются на парашютах назад, исходя из чего их снабжают четырьмя фотоаппаратами, но здесь, в море, головки разделяют участь двигателей и

тоже тонут, посылая перед соприкосновением с водной поверхностью данные, данные и данные. Тонкие и дорогие измерительные приборы выполняют свой долг до последней секунды без всякого страха смерти и нравственного старения.

Юрий Иванович, товарищ Рэма Васильевича по каюте и по экспедиции, является одним из конструкторов, одним из многих отцов этой ракеты. Это коренастый лысеющий со лба человек лет сорока, сделанный из хорошего дерева. Когда меня что-то злит или раздражает, я всегда стараюсь оказаться поближе к нему. Даже в пяти метрах от него возникает чувство, что тебе удалось удрать от сбивающего с ног берегового шторма за непоколебимую гранитную глубину.

От Юрия Ивановича прямо пышет спокойствием — солидным, холодноватым, крестьянским. Даже взгляд с предмета на предмет он и то переводит неторопливо, чтобы тщательно ощупать ничейную полосу между ними. С его круглого, полного лица смотрят два светлосерых глаза, два кусочка льда на свету. Занятно, что, когда несколько месяцев спустя я попал на Шпицберген, в Беллефьорд, и впервые увидел, как под огромным небом, залитым сине-золотым сиянием, могуче извивается ледник Норденскёльда, мне сразу вспомнился Юрий Иванович — инженер-конструктор, хороший практик. А там, где люди занимаются скоростями и сверхскоростями, всегда найдется применение спокойным глазам и неторопливой мысли.

Но в вечер того дня, когда меня терзала тысяча блох, когда я не мог усидеть на стуле и минуты, а в ушах молотом стучало лишь одно слово «старт!», в тот вечер, когда я оказался за командным пультом, чтобы, услышав приказ, нажать на кнопку и запустить ракету в небо, — в тот самый вечер рядом со мной находился Юрий Иванович: он переключал систему за системой и смотрел на мой дрожащий указательный палец, который гипнотически тянулся к кнопке. Я сказал руке: — Не дрожи, чертова конечность!

Рука явно меня не слушалась, но побаивалась Юрия Ивановича. За три секунды до старта она успокоилась...

Узкий трап ведет из монтажного трюма в лабораторию, где Толя Боголюбов с двумя молодыми дальневосточниками устанавливает батареи питания. Виталий Котов сидит вместе с телеметристом номер один, с Павлом Петровичем, перед синееющим экраном, по которому

скачут непоседливые электрические зайчики. Идет проверка телеметрической системы. Часто здесь показывается Валентин Аристов, без конца снующий между верхними и нижними лабораториями. Ведь когда Иван Иванович, Рэм Васильевич и Юрий Иванович уедут, он в продолжение всей долгой экспедиции по Тихому океану будет командовать ракетным отрядом и потому уже сейчас приглядывается, как работают *его ребята*. Он более замкнутый и холодный, чем другие, слова у него тоже резче и ершистей — так бывает, во всяком случае, в течение рабочего дня, такого длинного у ракетчиков.

Дня два назад я попросил его познакомить меня с головками метеорологических ракет. И не по его вине я запомнил лишь отдельные названия, цифры и кое-какие сведения.

Тепловой манометр типа Пирани, измеряющий давление в пределах от 0,005 до 10 мм ртутного столба. Мембранный манометр, термометры с вольфрамовой нитью, коммутатор, ламмели. Но так же трудно (и, к счастью, нецелесообразно) описывать поэтично и точно схему моста Уинстона или среднюю квадратичную ошибку измерения температуры и давления, как фиксировать в формулах и цифрах рождение стихов или пересказывать хорошее стихотворение своими словами. Но те из читателей, кто интересуется работой приборов, расположенных в головной части ракеты, и кто обладает достаточными сведениями по специальным отраслям, могут обратиться к коллективной статье советских аэрологов («Ракетные исследования атмосферы». П. П. Алексеев, Е. А. Беседовский, Г. И. Голышев, М. Н. Изаков, А. М. Касаткин, Г. А. Кокон, И. С. Лившиц, Н. Д. Масапова, Е. Г. Швидковский. Журнал «Метеорология и гидрология», 1957, № 8.) Двое из членов этого коллектива были на «Воейкове» и, вместо того чтобы заниматься устной просветительской деятельностью, предпочли подарить мне номер этого журнала. Я не жадный и собираюсь добросовестно перевести читателю все — и то, в чем уже сам разобрался, и с особенной радостью то, что плохо понял.

С этой статьей прямо и косвенно связана также и работа Павла Петровича, который сейчас сидит возле приборов, по-кошачьи выгнув спину. Экраны волнуются, он спокоен. Не знаю, чем это обусловлено, но люди среднего поколения, работающие либо с ракетами, исследующими верхние слои атмосферы, либо в смеж-

ных с этой областью специальностей — в радиосвязи, телеметрии, радиолокации, в большинстве случаев народ молчаливый. Писатель, добивающийся занимательности, сильно рискует, переходя сразу после портрета Юрия Ивановича к описанию Павла Петровича. Но сейчас они разделены всего-навсего десятиметровым расстоянием, несколькими ступеньками трапа и освещенным косяком двери. Один из них конструктор, другой специалист по телеметрии и радиосвязи, и через два часа их объединит стартующая ракета.

Характеризуя людей, мы пользуемся целым рядом стандартных слов: хороший, чуткий, замкнутый, открытый, горемыка, краснобай, задира, светлая голова, ясный ум. Короче говоря, мы определяем характеры с помощью периодической таблицы эпохи каменного века. Между тем каждая душа требует хоть какого-нибудь психологического анализа, требует долгого или хотя бы краткого изучения. У людей, изо дня в день читающих газеты, запас этих определений немногим больше, да и тот склонен усохнуть. А при десятиминутном знакомстве с человеком в ход идут совсем уж стертые оборотные средства — тут и медный алтын согонится: энергичный, живой, оригинальный, остроумный и т. д., и т. д., и т. д... То есть берутся в расчет чисто внешние, искусственно выработанные черты и манеры, человек принимается не таким, как он есть, а таким, каким он хочет *выглядеть*.

Если бы Павел Петрович когда-нибудь задумывался над этими вопросами, он, вероятно, держался бы иначе. Вышеприведенные характеристики ему не идут — это костюмы с чужого плеча. Я знаю его достаточно давно и все же не знаю, насколько он хорош или плох. Он не откровенен и не замкнут. После пятиминутного знакомства он может показаться кому неудачником, кому — рохлей. Энергичный, живой, оригинальный? Вот уж нет! Когда он говорит, его и в трех шагах не слышно, двигается он медленно, даже, пожалуй, нехотя. Глаза у него выцветшие, усталые. Два года назад я прожил с ним два месяца на одном корабле, где наши каюты находились почти рядом, и тогда Павел Петрович показался мне человеком, с которого современный Гончаров мог бы списать портрет современного Обломова. Он никогда не болел морской болезнью, и у многих из нас возникло не лишнее оснований подозрение, что он просто слишком ленив и апатичен, чтобы проверять на собственном опыте, как это неприятно. Большую часть суток он про-

водил на своей койке, застланной с солдатской аккуратностью, и читал или смотрел в потолок. Но едва где-нибудь заходил разговор о радиосвязи или телеметрии, как тут же упоминалась фамилия Павла Петровича. Его мнение считалось авторитетным, решающим. Вот почему в Японском море меня уже не занимало, каким *кажется* Павел Петрович, меня занимало, как он *на самом деле*. Иван Иванович, давно знавший Павла Петровича по работе, называл его «светлой головой». Что ж, Ивану Ивановичу лучше знать.

Молодежь плотно обступила Павла Петровича. А он лежит на койке, смотрит в потолок и разливается ручьем.

— В Мукдене, — говорит он, — японские летчики делали себе воздушное харакири. Три истребителя сопровождали самолет какой-то дочки микадо, принцессы. В воздухе они, очевидно, узнали о капитуляции Японии и — трах! трах! трах! — спикировали прямо на землю, но не на аэродром. Ни одной косточки не уцелело. Хиросима и Нагасаки уже получили по милости Трумэна свои бомбы. Тут (Павел Петрович показывает пальцем на одеяле то место, где должен находиться мукденский аэродром) стоим мы, тут (его бледная рука указывает на другой пункт) стоят японские истребители, а тут (он снова тычет в одеяло) они и врезались. Да, было время, — вспоминает он, и при воспоминании о самолетах, несущихся с ревом вниз, его лицевой мускул начинает подергиваться.

Не знаю, сколько в его рассказах о разгроме Квантунской армии фантазии, сколько глянца, наведенного на воспоминания временем, но у него целый запас новелл, балансирующих на грани реального и невероятного, блестящих по своей краткости, лаконизму и неожиданной развязке. Павел Петрович великолепный рассказчик. Даже о тех событиях, в которых он принимал непосредственное участие, он рассказывает с легкой иронией умного наблюдателя со стороны. Но в то же время это и рассказы участника, тем более необыкновенные, что через известные промежутки времени они несколько видоизменяются. За коротенькую войну с Японией на счету у Павла Петровича успело накопиться двадцать семь боевых вылетов.

Его путь к проблемам радиосвязи и телеметрии выходит за рамки стандарта, он вьется, словно кривая отметчика корабельного курса между ледовых полей.

Свою трудовую деятельность он начал в 1935 году прибористом на заводе синтетических материалов. Позже — в 1936—1940 годах — он учится в Ростове-на-Дону в морском училище на факультете судовождения, готовившем капитанов речного флота. Он и плавал недолгое время капитаном речного флота, так что койки и каюта — вещи ему знакомые. Осенью 1940 года его призвали в армию и направили в летную школу. Всю жизнь он учился и переучивался. Капитан речного флота стал штурманом боевого самолета. Он участвовал в Сталинградской битве с начала до конца, летая все время на знаменитом в своем роде огороднике, кукурузнике, или как его там еще называли. Затем Орловско-Курская дуга, Центральный фронт, воздушные бои, полеты в немецкий тыл к партизанам, и к 1944 году, к тому времени, когда Павла Петровича перевели на Дальний Восток, на его счету уже накопилось двести сорок боевых вылетов. А потом начался Дальний Восток.

Украденный нашей разведкой крупный японский офицер летит на самолете в пижаме и выпрашивает свой мундир, меч и бритву, чтобы предстать перед советскими военными властями в достойном виде. А рядом с ним дрожит от страха белогвардейский атаман, которого тоже вытащили из постели, и думает только об одном: какими силами заставить забыть о сотнях повешенных им во время гражданской войны людей и спасти свою шею от петли? «Не давайте желтокожему бритву,— говорит он угодливо,— еще взрежет себе глотку!»

А мимо проходит Павел Петрович в форме старшего лейтенанта и видит бдительные круглоротые наганы стражи, и японца, стремящегося как можно скорее попасть на самурайское небо, и атамана, пытающегося угодливостью замолить свою вину перед теми, чьих отцов он повесил. Много повидал Павел Петрович на своем веку и, думается, научился не обольщаться показной энергичностью, показной оригинальностью, показной живостью. Ведь его биография — это биография мыслящего и очень активного человека, изменяющегося и изменяющего мир, человека, которому из-за постоянных перемен все время приходилось штурмовать барьер неведомого.

В 1948 году Павел Петрович, уже инженер-радиотехник, демобилизуется из армии. Он переезжает из Комсо-

мольска в Москву и поступает на работу в лабораторию при Центральной аэрологической обсерватории, где конструировалась и конструируется аппаратура для исследования верхних слоев атмосферы. Тогда, в период организации этой лаборатории, небольшой группой энтузиастов руководил В. А. Путохин, о ком его ученики еще и теперь, десять лет спустя после его смерти, вспоминают с благодарностью. Один из этих учеников Павел Петрович. Если не считать заводских, капитанских и летных лет, радиосвязь и телеметрия всегда оставались его *основной* специальностью, как он сам подчеркивает. Но я все-таки не верю, что он мог хоть к одной работе относиться иначе, чем к *основной*.

Я вошел в лабораторию, которой он руководит, и не узнал своего друга. Среди приборов, измерителей, мигающих ламп, тревожно светящихся экранов и молодых сотрудников сидел на вращающемся стуле подмененный Павел Петрович, все такой же сутулый, но помолодевший, задорный, приподнятый. Глаза его светились тем же веселым беспокойством, что и экран, по которому один за другим проносились трепетные сигналы — образы интенсивной мысли, ее родные братья. Мой друг был у себя дома и осуществлял свои идеи, возникшие, вероятно, на судовой койке во время разглядывания потолка.

— Начинает получаться,— сказал Павел Петрович.

Так может сказать поэт, когда у него наконец «пойдет» стихотворение и возникнет инстинктивное предчувствие того, что оно удастся. Я счастлив, что подглядел другое, подлинное лицо Павла Петровича, увидел то веселое беспокойство в его глазах, которое делает Советский Союз Советским Союзом.

Никто из них троих не совершил, во всяком случае до сих пор, открытия, которое вошло бы в историю науки и техники и принесло бы с собой решительные преобразования. Они не изобрели ни колеса, ни судна. Хомут, увеличивший тяговую силу лошади в пять раз, существовал задолго до них. (Это явно самое большое открытие, совершенное женщинами: сперва оно предназначалось для мужчин, потом его приспособили к лошадям.) Ноль открыли индийцы. Давно изобретены часы, кормовой руль, компас, порох, бумага и печатный станок, плуг и топор, громоотвод, паровая машина, судовой винт. Пути науки становятся все запутаннее, современная промышленность и исследовательская техника требуют все

большей специализации в узкой области. Профессии трех моих товарищей различны и в то же время близки, поскольку пути всех трех ведут к метеорологической ракете.

Если представить себе советскую науку в виде гигантской пирамиды с корифеями мысли на вершине, то будет очень трудно, а мне, как неспециалисту, просто невозможно, найти в этой пирамиде их место. Вероятно, оно где-то в середине, не очень близко к вершине, но уже далеко от основания, где Коля и Геня измеряют и заносят в журнал характерные особенности ракеты в переводе на язык цифр.

Но что бы их ни связывало друг с другом, от целого они неотделимы.

Вырвать камень или камешек из этого гигантского здания могут только смерть, благодущие, топтание на месте, мелочная обида иди бесталанность, дошедшая до ожесточения. Но даже тех, кто попадет в неизбежное число потерь, вряд ли какая сила сведет с чужим или враждебным миром, несмотря на то что доллар обладает своей притягательностью, а чары нейлонового века весьма могучи. Страна, где эти стимулы и силы притяжения почти утратили действие, ненормальным может показаться ненормальной, выскользнувшей из сферы «всеобщих законов», а ее наука, даже та, что изучает небо у нас над головой, представляется опасной, она кажется потенциальной смертью тем ученым в военной форме, которые разводят чумных бацилл. Эти господа боятся нашей науки.

Джон Бернал называет современную технику «рационализированной мифологией» (Д. Бернал. «Наука в истории общества»). За двумя этими словами тянется громадное поэтическое пространство, несмотря на то что они кажутся сухими, как концентрат. Одной из частиц этой «рационализированной мифологии», связанной с мечтой о полетах, о скоростях, приближающихся к скорости мысли, о глазах, умеющих преодолевать взглядом пространство и мрак, об ушах, слышащих даже перешептывание звезд,— одной из таких частиц полностью овладели мои товарищи. Более того, они могут сказать тут новое слово. Вот чего боятся эти господа, безусловно боятся!

Они знают, чего мы достигли и с каким напряжением. На «Воейкове» нет ни одного винтика, ни одного прибора, добытого за пределами Советского Союза, как

нет за пределами Советского Союза и второго такого корабля погоды, как «Воейков». И не наша вина, если судно, на котором нет ни одного военного ни в составе команды, ни в составе экспедиции, страшит тех, кто сведения о погоде, направлении ветра, океанских течениях и процессах в атмосфере считает стратегическим оружием.

Но самое для них страшное — это когда Павел Петрович и десять тысяч других Павлов Петровичей говорят с улыбкой: «Начинает получаться!» Их страшит и пугает не столько техническая мысль, реализуемая в новом радиопередатчике или приемнике, не столько это новое дополнение к «рационализированной мифологии», сколько сам Павел Петрович, который сейчас с беспокойством следит за экраном. У него лицо его страны, и молодость этого лица больше всего устрашает старцев в цилиндрах. Больше всего.

Пути господни неисповедимы, дела его нелогичны, доброта и гнев необъяснимы. Для последних болванов и негодяев он не жалеет ни солнца, ни золота, ни власти, более того, он подчинил своим любимчикам множество людей, хотя эти любимчики недостойны того, чтобы завязывать у любого из своих подчиненных шнурки на ботинках. Недостойны с точки зрения человеческой логики, конечно. Видимо, бухгалтерия бога запутана вконец и он все больше и для все большего числа людей становится тем существом, о котором Эйнштейн сказал ядовито: «Я не могу уважать бога, который тратит все свое время на азартные игры».

Возьмем, к примеру, сегодняшней случай. Небо все время хмурилось, но за несколько минут до того, как с корабля серого морского цвета, а по своей внутренней сути огненно-красного цвета, должна была взлететь к определенному участку неба насквозь атеистическая ракета, небосвод вдруг прояснился. Появились звезды, и появилась сначала одна луна, довольно бледная, а потом другая, большая и круглая, — лицо судового кока. Кок сказал:

— Благодаренье богу! Сегодня мир узрит!

Когда-то он пел на подмостках самодеятельных театров, он помнит наизусть все оперетты, его осыпали цветами, поцелуями и прочими знаками восторга. Сначала он пел теноровые партии, потом по загадочным причи-

нам стал петь баритоном, а впоследствии в его голосе появилась недвусмысленная хрипота. Уже тридцать лет, как он плавает на судах коком, но по-прежнему считает своим истинным призванием оперетту и относится к своей работе несколько свысока. Впрочем, только на словах. Человек он милейший.

— Благодаренье богу. Сегодня мир узрит! — снова повторил он, подобно опереточному певцу, выходящему из театра после удачного спектакля. Мы стояли на верхнем мостике, нас освещало круглое лицо кока.

А луна освещала волны. Довольно слабо, но освещала. И в ее сиротском свете беспокойно дремало холодное море. До старта оставалось минуты две. Главный двигатель был включен. «Талатта! Талатта!» — стучали волны в безмолвный корабль. Небо было темно-серое, усеянное бледными точечками звезд, неопределимо высокое и глубокое. Время, от которого секундная стрелка отщепляла осколок за осколком, стало ощутимым, плотным и таким же тяжелым, как море вокруг нас.

Знакомый голос в репродукторе перестал отсчитывать секунды и бросил в наши ушные раковины три буквы:

— Ста!..

Это все, что мы услышали. Рев. Пламя на корме. Какую-то долю секунды длинная сигара раздумывала, вися над кораблем и заливая все ослепительным светом. В такой момент весь съезживаешься или откидываешься назад, словно втащил на леске в свою лодку шуку, шелкающую разбойничьей пастью. Месяц пропал, море пропало, звезды пропали. Небо вокруг стало совсем черным, словно театральный занавес, и близким — оно чуть ли не в шаге от нас. И это черное, такое близкое небо разрезает надвое несущаяся ввысь ракета. Все уменьшаясь, она превращается в пылающую точку, сестру звезд. А потом гаснет. Двигатель сгорел, и отделившаяся головка, сбросив металлическое платье, стала невидимой и летит вверх.

В глазах еще пылает воспоминание о пламени. Но вечер, холодный вечер Японского моря, вернулся назад. Небо снова обретает утраченные краски, снова показывается луна, а волны опять стучатся в безмолвный корпус корабля: «Талатта! Талатта!» Огромная миска локатора мечется из стороны в сторону, радиоволны локатора ищут в небе, как легавые своего зайца, головку ракеты. Но вот они напали на след, локатор уверенно

настиг головку и уже не упустил ее до самого затопления.

— Красиво, Юрьевич? — спросил Рэм Васильевич.

— Вы помните, — спрашивает кок, этот тенор и баритон в одном лице, — эту штучку из «Летучей мыши»? Тира-ри-ра-ри?.. Это когда бал и такой красивый фейерверк? Мне сразу вспомнилось. Когда я был еще тенором, то...

Лунный свет над Японским морем. И ракетная головка с ее умными приборами.

Сейчас у телеметристов можно послушать грустную музыку. Пойдемте послушаем.

6

ГРУСТНАЯ МУЗЫКА.

ЛУННЫЙ СВЕТ

к:

Я пошел слушать грустную музыку. Большую часть времени рояль в кают-компании бывает заперт на замок. Иногда по вечерам там играет на баяне моторист с мечтательным лицом. Хорошо играет. У парней из ракетного отряда есть аккордеон, и они по очереди его мучают. Аккордеон вопит в их руках — не стонет, а кричит благим матом. Временами даже доходит до агонии и тогда бывает ужасно несправедлив к советским композиторам. Правда, люди Ивана Ивановича делают успехи и постепенно из музыкальных медведей превращаются в средних ремесленников. От упражнения к упражнению на лице Виталия Котова появляется все больше какой-то трепетности, патетики, мечтательности и лиризма. В душе у него уже звучит музыка, которой остальные пока еще не слышат. С каждым вечером он все уверенней прижимает свою круглую щеку к ребристым подвижным мехам. Ему уже не надо так пристально смотреть на свои пальцы и клавиши. И чем послушнее становится аккордеон, чем более плавно течет мелодия, тем отчетливее выступают на первый план три столпа, на которых держится и музыка и текст многих наших песен и эстрадных романсов: береза, гармошка и два сердца. Трехногие столы самые устойчивые. Можете проверить! Но этот сервированный музыкальный стол стоит слишком уже долго и слишком устойчиво, от него тянутся сумерки прошлого и пахнет пряниками. Над головой у нас, на командном мостике, рядом со штурвалом, шевелит своей стрелкой, с виду как бы ле-

ниво, гирокомпас; местоположение мы определяем с помощью радиопеленгов; три локатора готовы, если нужно, ощупать море и небо; на носу расположена стартово-ракетная установка; внизу лежат ракеты и части ракет; на судне много лабораторий, каждая — последнее слово науки, а в каютах — береза, гармошка и два сердца или береза, гармошка и душа, через которую, если использовать выражение эстонского классика Борнхёэ, проходит трещина, рассекающая весь мир.

Простите мне это отступление. Вряд ли я обладаю правом обсуждать музыкальные проблемы, и простые и сложные. Природа обделила меня великим даром музыкального слуха и глубокого понимания музыки. Порой я чувствую себя серой вороной, которая затесалась в стаю певчих птиц и с трудом удерживается от того, чтобы не разинуть клюв. Впрочем, эта роковая несправедливость, вернее, небрежность судьбы постигла не меня одного.

Недавно я имел возможность слушать всю ночь пение рыбаков из своей родной деревни как соло, так и а капелла. Меня бросало в жар от их пения. Минимум семьдесят процентов из них фальшивили и не признавали никакой власти нотных знаков. В прекрасном единодушии подавляющее большинство рыбаков со всей их прямолинейностью перемахивали через виражи мелодии напрямик. Слабые попытки нескольких одиночек петь правильно были подавлены в самом зародыше. Под утро, часа в четыре, мне казалось, что голову мою пробуравили множеством железных прутьев, прямых и черных, и каждый прут звенел на свой лад:

Меня ждет в Рио Лонни,
А в Лиссабоне Ли,
А в Амстердаме Анни,
А в Лондоне Мари...

Пели они с азартом и страстью, и бревна старого деревенского дома, немало повидавшие за несколько десятилетий, отзывались гулом на каждый удар житейских волн, превратившихся в маломузыкальный рев. Порой сквозь их монотонный плеск пробивался какой-то обрывок мелодии, но он тут же увядал, как цветок. Так же гаснет крик чайки в гуле осенней бури... Глотая невидимые слезы, я прислушивался к могучим богатырским голосам своих друзей и понимал, что, поскольку они являются моим отражением, я не вправе судить их. Ведь у многих из нас слух ничуть не лучше и не хуже, чем

у тюленей. (Из всех тварей, живущих и плавающих в море, тюлени — самые музыкальные.) В тот потрясший мое воображение вечер длиною в год мне вспомнилась былая пора, когда я еще не потерял своих музыкальных идеалов и надежд и хотел пожертвовать свои силы и свои голосовые связки во имя достижения новых вершин и без того высокой хоровой культуры нашей республики. Я попросил своего друга Густава Эрнесакса, чтобы он принял меня в академический мужской хор. Эрнесакс пригладил свою седую гриву и ответил: «Твоего черного кота я бы еще взял. Он хоть мотив не перевирает».

«Раны сердца не залечишь», как поется в народной песне.

Тут, в Японском море, эти раны занули опять.

Но даже тех из нас, для кого двери в певучий музыкальный мир закрыты навсегда, кто, слыша намного лучше глухого Бетховена, слышит все-таки в тысячу раз меньше, сопровождают или, точнее говоря, преследуют музыкальные воспоминания. Бесформенные, неотчетливые, непереводимые, они сопровождают нас, несмотря ни на что, и на нас лавиной обрушивается то, чего мы не хотим забывать, а еще чаще то, что мы считали погребенным и скрывали как от себя, так и от других. Музыкальная фраза, веселая, легкая, игривая, воскресит в нашей памяти тот час, когда мы сидели с человеком так близко и так далеко друг от друга и глядели один другому в глаза, как без вины виноватые. Вы увидите комнату, увидите, как падает свет. Вы вспомните каждую мелочь, вспомните, какая скатерть была на столе и какая литография висела на стене, вспомните узор платка, брошенного на спинку стула, и заметите, что, хотя бутылка вина выпита только наполовину, в ней уже не осталось ни капли радости. Вы увидите, как цветы изредка роняют красные лепестки. Увидите зеленый циклопический глаз приемника, который должен был заполнить томительную тишину. Вам даже вспомнится, какими духами она душилась в тот вечер. И вспомнится пустота глаз — пустота безводной пустыни. Когда-нибудь потом на солнечной улице сквозь городской грохот из чьего-нибудь открытого окна до вас донесется та самая мелодия, которую вы слышали в тот вечер, и память начнет крутить свой фильм: вид улицы мгновенно

изменится, и вы укусите себя за руку, чтобы слабая боль отвлекла вас от сильной.

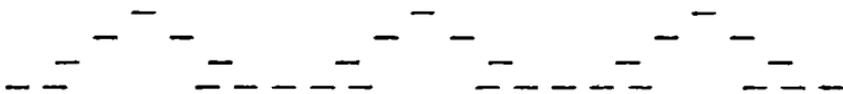
Иногда и самая простая песенка детских лет со всем ее убогим набором, со слезами, пистолетом и смертью, возвращает вам далекие счастливые дни: вечерний запах свежего сена и наивные мечты о великой жизни и великих свершениях, само собой разумеется, благородных. И вы вспомните тот вечер, когда море, небо и земля думали и мечтали с вами заодно, а все краски жили полной жизнью, как в «Алых парусах» Грина. И вы будете благодарны песенке, сумевшей вернуть вам на миг часы необычайной душевной ясности.

За время экспедиции мы запустили в небо двенадцать ракет. Одиннадцать раз я спускался в помещение, где был расположен главный пульт, радиоаппаратура и приборы телеметрической системы. Мне хотелось послушать музыку, которая казалась мне, и, наверно, только мне, грустной: радиосигналы падающей ракеты.

У кинокамеры, которая снимает на ленту сигналы, поступающие по радиотелеметрической линии на синий экран, сидит Виталий Котов. Это уже не «свой парень» — он деловито сосредоточен. Тут же за маленьким столиком, приставленным к доске с компасом (перед запуском ракет машины на «Воейкове» выключают, курс судна определяют ветер и течение, и поэтому стрелка компаса все время прыгает), сидит Коля Орловский и заносит в журналы ежеминутно поступающие сверху, из локационной рубки, данные об уровне снижения головки, угле падения относительно корабля и т. д. Виталий Котов кидает ему время от времени одобряющие ядовитые реплики, на которые Коля отвечает с той же любезностью. Даже здесь друзья не прекращают своей войны, отнюдь, впрочем, не нарушающей математически размеренного ритма работы. Наоборот, кажется, что эта война выполняет в их общем деле свою чисто человеческую функцию. А над всем этим царит спокойствие и тихий голос сонного с виду Павла Петровича. Все это такая же неотъемлемая принадлежность лаборатории, как и свет, и относительная тишина, в которую так отчетливо и пронзительно врываются сигналы падающего в море радиопередатчика. Бесперебойно, объективно и неторопливо делают свое дело измерители, передавая данные памяти черному электронному раструбу. Тот задерживает их на миг и, вникнув, переводит на

язык радиосигналов, после чего посылает по передатчику на сушу. Такова упрощенная схема. И все-таки...

Я несколько раз пытался записать, как выглядят речь этих сигналов, эта грустная песня ночного неба. И на бумаге всегда возникали кривые, состоящие из точек и тире, своеобразные нервные диаграммы, похожие на лихорадочную температурную кривую, в которой все вершины отделялись друг от друга монотонной прямой линией пяти сигналов. Вот одна из таких диаграмм:



Я знал, что пять монотонных промежуточных ударов — это так называемые контрольные сигналы, а горная гряда беспокойной кривой между ними таит в себе целый ряд цифровых данных. Тем не менее эти сигналы, то нисходившие, то восходившие, то обретавшие через регулярные промежутки прямолинейность, за две минуты полностью захватили меня, полновластно царя над всем, как «Болеро» Равеля.

Когда вы засыпаете в самолете, то, прежде чем окончательно заснуть, вы успеваете запомнить мелодию моторов. Такое же впечатление, только более могучее, производит и песня в судовом машинном отделении. Порой в мороз я спускался к дизелям «Воейкова», где было так тепло и уютно и где приходилось кричать, чтобы тебя услышали. Посидишь немного и от пропахшего маслом тепла становишься сонным. И вскоре начинаешь слышать, как старина дизель, этот гигант мощью в две тысячи лошадиных сил, начинает распевать пошлый базарный шлягер: «Юхан, Юхан, старый зубоскал...» Это повторялось без конца, дизель не желал исполнять для меня никакой другой песни, и я стал держаться подальше от этой стальной махины, поскольку мне противна безвкусица и всякие личные намеки.

Нечто подобное проделывали со мной в лабораторий телеметристов и радиосигналы — стремительный, трепетный и нервный каскад механических звуков, падающих с темных холодных высот. Каскад могучий и прозрачный и в то же время настолько нежно-воздушный, что все время боишься, как бы он не оборвался, как бы не лопнула эта тончайшая струна. Слышишь, сидя в просторной и мягко освещенной каюте-лаборатории,

один и тот же мотив по сто, по тысяче и по десять тысяч раз и забываешь, что это техника, что звуки эти снимаются на пленку и что они не выражают ничего, кроме цифр, цифр и цифр. Под прикрытыми веками возникают все новые картины, а мысли, растревоженные сигналами, пускаются блуждать по темным тропинкам.

Заблудившийся утенок зовет в камышовых зарослях мать. Он один, ему страшно, крылья его еще не окрепли, и его птенячье сердце, прикрытое нежным пухом, колотится от страха. Где-то ищут друг друга разлученные равнодушной судьбой люди. «Бип-бип-бип-бип-бип, бип-бип-бип...» «Почему же вы не кричите?» — «Я кричу, — ответил Гребер, — только вы этого не слышите», — появляются строки Ремарка. Эти сигналы обладают удивительной способностью — они пробуждают зрительную память: вы не вспоминаете какую-то мысль, какое-то сравнение, вычитанное из книг, а видите их. «Бип-бип-бип, бип-бип-бип-бип-бип».

«...И почему-то мне начинает постепенно казаться, что меня тоже вспоминают, ждут, что мы встретим друг друга.

Мисюсь, где ты?»

Чехов. Снова Чехов. Последняя страница «Дома с мезонином».

Может быть, все это производило такое особенное впечатление потому, что мы попали во время плавания в удивительно глупое положение. «Воейков» вдруг обезголосел, его перестали слышать. По-видимому, перед выходом из порта вопрос о связи не был согласован до конца, и все береговые радиостанции от Владивостока до Петропавловска отказывались принимать наши радиogramмы. Несколько раз мы обращались к начальнику Владивостокского порта — и с мольбами и с угрозами. Ни звука — лишь вежливое молчание. Судовая радиостанция была отдана во власть нашим радистам, которые передавали по спецканалам только научную информацию. Мы не отправляли посланий сами и не получали радиogramм, посланных во Владивосток для передачи на судно. Мы видели иногда береговую линию, в ясные ночи до нас доходило мигание маяков, но земля, которая не желает тебя слушать, кажется более далекой, чем луна. Самый современный и самый умный корабль на всем Японском море оставался немым, словно паршивая зверсобойная шхуна. Нижестоящий докладывал вышестоящему: «Воейков» жалуется, что Влади-

восток не принимает радиogramм». Вышестоящий удивлялся и отвечал: «Меры принимаются». Под этой расплывчатой формулой — «меры принимаются» — из года в год погребается множество срочных и легко разрешимых вопросов, как это и случилось с нами. И москвич, чью жену со дня на день могут увезти в родильный дом, все время нервничает, хотя его работа требует самообладания и точности, и без конца, то злой, то удрученный, разыскивает начальника радиостанции. И кричит на него:

— Когда же, черт возьми, ты наладишь связь? Что говорит земля? — И по-детски жалобно: — Ну я тебя прошу, Маркони, понимаешь, прошу...

Начальник радиостанции человек и без того горячий, а после того, как связь прервалась, он и вовсе стал необузданным — во всех упреках ему слышится личное оскорбление. С великим трудом сдерживаясь, он цедит сквозь зубы:

— Что же, я пешком, что ли, пойду во Владивосток за твоими радиogramмами? Или сам их буду сочинять? Земля знаешь куда нас посылает?..

Корабль нем. Земля молчит. И на ней и на судне растут горы радиogramм. Мы чувствуем себя отрезанными. Но небо, залитое бледным лунным светом, не онемело.

«Бип-бип-бип-бип...» Мягкое жужжание кинокамеры перекрывает стремительный, скачущий танец сигналов.

И каждый раз где-то на втором, на третьем плане возникает мистически-космическая картина из читанной когда-то давно «Аэлиты»:

«...Инженер Лось слышал далекий голос, медленный и взволнованный, который грустно повторял на неземном языке:

«Где ты, где ты, где ты, моя любовь?»

Ищущий и тоскующий голос Аэлиты дошел до него сквозь холодную пустоту, сквозь пространство, где небо совсем черное, а звезды не такие, как на земле...

Фантазия с трудом поспекает за стремительным движением реальной техники. Все мы слышали далекую и быструю механическую речь передатчиков спутника и живые голоса космонавтов. Но более чем реально, что в ближайшем будущем — через год, через два, через десять лет — космонавт или космонавты, поселившиеся на месяцы или даже на годы в узких сигарах межпланетных кораблей, загоскуют по нашей общей стартовой

площадке — Земле — и по своим таинственным каналам начнут взывать к земным Аэлитам. «Где ты? Где ты?» — будет доноситься из далеких пространств, в которых отраженное свечение Земли будет видеться едва заметной красной точечкой, а сама Земля превратится в крошечную планету на громадной звездной карте. Через неизмеримые для нас расстояния, утратившие реальность, люди будут звать друг друга. Красивые, умные и очень выносливые люди. Но в выносливости хорошего человека кроется немало нежности, тоски и даже грусти, а в грустной музыке нашей, можно сказать, карликовой ракеты уже слышится нечто такое, что мы уловим со временем в зове космических кораблей: «Где ты?»

«Бип-бип, бип-бип-бип...»

Это длится уже несколько десятков минут — головка скоро долетит до моря и утонет.

В эти последние минуты всегда кажется, что в торопливых сигналах слышится мольба, обращенная к людям:

«Творцы мои, спасите меня!»

И вдруг тишина.

— Готово, утопла, — говорит Виталий Котов, и после только что оборвавшейся звонкой и высокой песни сигналов его простуженный бас оглушает нас, будто грохот тяжелых товарных вагонов.

— Молодчина! Сделала свое дело! — добавляет Коля Орловский на октаву выше.

В коридоре мне встречается Иван Иванович, он в хорошем настроении, как это бывает всегда, когда ракета «не подводит». А его еще «не подвела» ни одна ракета.

— Ну как? Красивый был взлет? — И он сообщает, на какой высоте отделилась головка.

— Больно уж музыка грустная, Иван Иванович, дьявольски грустная! Веришь или нет, но ракета плачет перед затоплением.

Я поделился своими впечатлениями от концерта. Иван Иванович сделал большие глаза.

— Эх ты, реалист! И еще соцреалист! — сказал он не без насмешки. — Двадцатый век — и бабушкины незабудки. (Он постучал себя кулаком в лоб.) Ты не слышишь того, что должен слышать, не понимаешь, что поет ракета. Отсюда и вся твоя поэзия: ракета плачет, ракета грустная... Где тут логика?

Он повел меня в лабораторию, где на дешифраторе обрабатывали киноплёнку с данными предыдущей ракеты. В самом деле, на экране, где неторопливо сменялись увеличенные изображения, все выглядело совсем иначе: трезвее, деловитее и не так красиво. Песня Аэлиты оказалась похожей на беспорядочную стаю морских птиц. Глаза мои оказались не в ладу со слухом, отчего я опечалился и даже рассердился на Ивана Ивановича. Он начал расшифровывать сигналы своим глухим голосом. Поэту, все еще упорствовавшему во мне и вовсю отбивавшемуся, самым прозаическим образом утерли нос.

— Видишь? Нервы, и больше ничего.

Ну и пусть нервы! И прекрасно. Я не спорю.

Один мой хороший друг, ставший известным поэтом еще в буржуазное время, отправился в 1938 году к модному невропатологу. Он пожаловался на частые приступы меланхолии и на то, что по ночам над ним каркают стаей воронов черные мысли. Короче говоря, он считал себя ненормальным. Врач выслушал его и утешил:

«Но кто из нас вполне нормален? Из людей — никто. Может быть, вполне нормальны только свиньи, да и то не все. Разве что экспортные, и в первую очередь беконные».

Поэт почувствовал себя утешенным и здоровым и, придя от врача домой, написал стихотворение об алом цветке, синей птице и золотом солнце.

А что слышишь ты, мой скептический друг, в этих сигналах, которые напоминают на дешифраторе беспорядочную стаю казарок?

Не говори мне: цифры, цифры, цифры. Разумеется, и цифры. Но прежде всего ты слышишь в них песню о труде человека, о его уме, и то, что мне показалось грустным, покажется тебе радостным и возвышенным. Мы оба правы, полностью правы.

Сквозь иллюминатор в кабину падает бледный лунный свет.

Сквозь иллюминатор в кабину падает бледный лунный свет.

В тот вечер, когда в кабину заглядывала луна, я написал в дневник названия двух новелл: «Когда море дымит» — новелла о море, борющемся с морозом, и «Лунный свет». Я хорошо помню, какой представлял себе первую новеллу: лирической, нежной, жаркой от пла-

мени и чуть-чуть ироничной и холодной, как покрытое паром море, борющееся с морозом.

Но каждый раз, как я собираюсь писать о лунном свете, расширив это понятие до размеров моря Мечты, до изображения людских отношений в таинственном, скрытом и многообещающем свете, добавив к нему те отблески, которые отбрасывает это холодное небесное тело на сверкающий снег, изрезанный тейями веток, или на летнюю, почти черную траву, каждый раз, как я хочу поговорить о сужающейся лунной дорожке, которая в августовскую ночь тянется за рыбачьей лодкой и изменяет лица людей до неузнаваемости, да, каждый раз ко мне является верный спутник моих последних лет — Радикулит и вонзает свой нож в мое бедро. И сверкающие чашечки всех цветов, которые я хотел бы составить на белой бумаге из прекрасных и правдивых слов, внезапно закрываются. Совсем как сейчас. Но в тот вечер все было иначе.

В тот вечер было так. Я надел добротный овчинный тулуп, одолженный у океанографов, и пошел на палубу, чтобы посмотреть на людей, всматривающихся не в небо, а в ночные глубины моря, посмотреть, как они с качающейся за бортом платформы опускают в воду батометры, а потом вытягивают их лебедкой. Мне хотелось посмотреть, какими красными становятся их руки и как деревенеют их лица на пронзительном ветру.

Но мне не так-то скоро удалось выбраться на палубу. В коридоре я услышал легкие, для судна необычайно легкие шаги. С лица, обрамленного пышными и шелковистыми светлыми волосами, на меня смотрели два удивительно синих глаза, таких синих, какие и на суше можно увидеть лишь по большим праздникам, а на судне — только во сне. Синева их была чистая-чистая, но в то же время и богатая оттенками, совсем как у весенних фиалок. Глаза эти были детскими и одновременно женскими — нельзя было не заглянуть в них. Они существовали, и все тут. И удивительно соответствовали настроению, монотонной песне падающей головки, бледному свету луны и взбаламученному морю, окутанному холодным паром.

Жила она, правда, где-то внизу, под палубой, но фактически, как и мы, была обитательницей палубы, поскольку убирала верхние каюты и проводила у нас большую часть дня. Уборщица она первоклассная. Все в каюте блестело, но я никогда не заставлял ее за убор-

кой. За этим прозаическим занятием она мне ни разу не попадалась. По-видимому, у нее был выработан свой твердый график. Она знала, когда какой штурман несет вахту, знала, каков распорядок дня у механика, знала, кто покидает каюту за час до запуска ракеты, а кто — за два, знала, в какое время синоптики вычерчивают свои карты. Короче говоря, она сумела усвоить твердый ритм судовых будней. И хотя ей по нескольку часов в день приходилось носить черный китель уборщицы, видели мы ее в нем очень редко. Хрупкая, светловолосая, синеглазая, она переходила из каюты в каюту и, несмотря на качку, делала свое дело. Наверно, в пустых каютах она мечтала о самодеятельной сцене, о своем капитане или механике, о своем завтрашнем дне.

Сейчас она была не в кителе, а в черном платье, с золотым сердцем, пронзенным стрелой. А море заливал лунный свет. Мы заговорили. Ее звали Эдит.

— Имя у вас нерусское, — сказал я.

— Мама нашла его в одном романе. Не знаю, в каком. Она сама тоже не помнит, — ответила Эдит и тут же спросила: — За что вас выслали из Эстонии?

— Как? — поразился я. — Выслали?!

— Нет, не то. Я просто хотела спросить, давно ли вы в Советском Союзе.

— С тысяча девятьсот сорокового года.

— А какие у вас деньги? Марки?

— Нет, рубли.

— Значит, как у нас, — сказала Эдит с оттенком разочарования, и любопытство в ее глазах погасло.

В одну минуту я лишился ореола не то высланного, не то политического изгнанника. Эдит напомнила мне одну женщину из Волгограда, которая рассказывала мне, что ее дочь вышла замуж и уехала к мужу в очень красивый город с ангелом на берегу, имея в виду Таллин и памятник «Русалке».

— Простите меня, я так мало знаю. Чему учили, забывается. Я все время плаваю на Дальнем Востоке, — грустно сказала Эдит с нескрываемой и знакомой каждому человеку тоской о неведомых даях.

— Нравится вам на корабле? — спросил я, как принято спрашивать в подобных случаях.

— Нравится. Кормят хорошо, одежда казенная, — дала она стандартный ответ, всегда оставляющий впечатление, «что имеешь дело с нетребовательным человеком».

— Но будем справедливы.

Эдит родилась в 1939 году, когда ее мама еще читала романы и, наверно, мечтала о далеких странах. Но потом с перерывами в год-два родилось еще четверо детей, начались тяжелые военные годы, а когда война кончилась, жизнь долго еще оставалась бедной и трудной. Отец пропал. Мать не то уборщица, не то сторожиха, осталась одна с пятью ребятами на руках и зарплатой в триста рублей. Если расти в таких условиях, «хорошая еда и казенная одежда» могут показаться достижением.

— Кончила семь классов. Пришлось идти на работу.

Эдит устроилась на работу в краболовную флотилию и прослужила на этих плавучих фабриках прачкой и уборщицей четыре года. «Вот это памятька с того времени, — показывает она два стальных зуба, и я впервые замечаю резкую складку у ее рта. — Упала во время шторма с трапа. За государственный счет вставили».

Не у каждого из тех, кто расхаживает по «Воейкову» с видом заправских моряков, за плечами такой долгий и тяжелый стаж морской службы, как у Эдит. Им не вставляли зубов за государственный счет. И у многих нет того горького опыта, какой есть у этой хрупкой девушки, для которой вопрос о хлебе насущном и о новом платье все еще остается вопросом номер один. Львиную долю своей скудной зарплаты (большой эта зарплата быть не может) она отсылает домой младшим братьям и сестрам.

Географию можно выучить. Есть своеобразная прелесть в том, чтобы мерить на карте шагами циркуля сушу и море. И потом гордиться тем, что знаешь местоположение больших и маленьких городов и ангелов на морском берегу. Все это так.

Но изучить суровую географию будней куда тяжелее — сперва надо поучиться смелости, хотя бы у той же Эдит.

Я посмотрел на ее узкое прекрасное лицо и подумал:

«Но все-таки, Эдит, мы дожили до того времени, когда нетребовательность к себе и другим начинает превращаться из достоинства в недостаток. Эта нетребовательность чем-то сродни былому смиренню перед судьбой».

Эдит ушла. Матросы позвали ее играть в карты. Не хватало четвертого партнера.

Я не могу дважды прыгнуть в одни и те же волны. Вихри, дувшие мне в лицо, больше никогда ко мне не

вернутся. Накинувшаяся на меня метель уже не та, что была вчера. Даже лунный свет, заливающий Японское море, стал иным, чем был четверть часа назад. Луна перебралась вперед и отбрасывает свет под другим углом. Заглянув завтра в синие глаза Эдит, я найду в них уже что-то иное...

Да, луна перебралась вперед, и на корму «Воейкова», где работают океанологи, падает зубчатая тень шлюпочной палубы. Тень эта накрыла лебедку и небольшую повисшую над морем платформу, с которой спускают вниз на стальном тросе батометр. Океанологи берут пробы воды и измеряют температуру на глубинах от пяти до ста пятидесяти метров.

Я не сразу увидел на платформе Татьяну Иосифовну, умную начальницу наших океанографов, обеспечившую меня теплым овчинным тулупом. Я ее побаиваюсь. Но вот ее маленькая фигура, необычайно округлившаяся из-за тулупа и сапог, появляется на том участке кормы, с которого еще не ушел лунный свет. Она задерживается на миг у полки, привинченной к палубе. С полки холодно поблескивают расставленные по ячейкам пробирки с пробами воды и термометры, побывавшие на разных глубинах. Ветер очень холодный, нас сильно качает, и платформа, висящая над морем, отвешивает весьма рискованные поклоны.

— Я вам уже говорила и скажу еще раз, что конструкторы «Воейкова» не приняли в расчет всех наших исследовательских нужд. Им бы следовало...— застуженным голосом говорит мне вместо приветствия Татьяна Иосифовна, оглушая меня своим раскатистым «р».

Это старая и опасная тема, связанная с ее профессией, ее работой, ее научными интересами. Боже упаси доверяться в таких случаях хоть на минуту ее молодому мягкому лицу, ее дружелюбным глазам. После поверхностного ознакомления с гидрохимической лабораторией (где работают три лаборанта), со способами определения количества кислорода, хлора и т. п. в морской воде я решил, что такая наука, как гидрохимия, может дать творческой личности очень мало. Я тут же поделился своим соображением, и Татьяна Иосифовна (тогда, без тулупа и сапог, она была совсем маленькой) сердито фыркнула. Ее добрые синие глаза начали метать молнии, а «р» стало еще более раскатистым.

— Ах, скучное дело! Что же тут скучного? Профану все скучно, а гидрохимия — особенно.— Но затем Татьяна

на Иосифовна сбавила тон: — На гидрохимию наплевать только тем директорам фабрик, которые травят в реках всю рыбу, спуская в воду всякие отходы. Государство платит за них штраф, и пока оно платит, гидрохимия им кажется скучной. Рыбу ловите?

— Ловлю, но без всякой гидрохимии. И фабрик у меня тоже нет. Так что отходы тут ни при чем.

— Очень даже при чем. И отходы и гидрохимия. И вы, именно вы (хорошенький пальчик Татьяны Иосифовны нацелился прямо в мое сердце) во всем этом тоже виноваты!

— В чем же я виноват, Татьяна Иосифовна?

— Я кончила Ленинградский гидрометеорологический институт. Знакома я с вашим морем или нет? Лучше, чем вы. Думаете, я не знаю, сколько эстонских рек... Я почувствовал подвох.

— Канав считать не будем. Я мыслю в масштабах морей. Сколько эстонских рек отравлено химикалиями и отходами! На фильтры у вас денег не хватает, а на штрафы — хватает. И так из года в год, из года в год. (Разговор происходил в 1959 году, теперь положение изменилось.) Разве рыба такая дура, чтобы идти нереститься в эти самые мертвые реки? Нет, она вам не какая-нибудь дура. Вы говорите, что фабрики не ваши. Но тогда чьи же это фабрики? Если они не мои и не ваши, так чьи? И фильтры ставить некому. Я молчу, вы молчите. Кто же должен поднимать крик?

Лицо ее покраснело, но закончила она мягко:

— Это варварство. И речь не только о вас...

В тот раз я обиделся. «Ваши реки, ваши фабрики, убитая вами рыба». Слишком уж много взвалили на меня, все из-за гидрохимии. Но обида скоро прошла. В пустыне и в море иногда бывают миражи. И вдруг в самом чистом, слегка просоленном морском воздухе нос начинает улавливать чужеродный тягостный запах, вдруг начинают мерещиться корпуса большого комбината, и ты вспоминаешь, что точно тем же запахом веяло от большой реки, на которой стоит комбинат. Нет, «запах» — это не то слово. Ведь Койдула писала: «моя пахучая отчизна», придавая этому слову патетическое значение. От реки, на которой расположен целлюлозный комбинат, не пахнет, а разит смертью и безответственностью. А равнодушные мертвые воды уносят эту смерть и это равнодушие за десятки километров дальше — к морю и в море.

«Я молчу! Вы молчите! Кто же должен поднимать крик?» Татьяна Иосифовна права. Мертвые реки, текущие на север, на запад и на восток,—это мои реки; химикалии, убивающие жизнь рек, мои химикалии; за директоров, которые покрывают *государственными* деньгами непоправимый порой вред, причиненный *государству* и *народу*, я тоже должен отвечать. Даже она расстоянии в одиннадцать тысяч километров.

Вот что значит пренебрежительно относиться к гидрехимии.

Судно слегка изменило курс, и теперь лунный свет заливал всю корму. Татьяна Иосифовна перебирается на маленькую платформу, лебедка начинает выбирать трос, и над водой один за другим показываются батометры. Приятно смотреть, как они раскачиваются в воздухе. Движения людей, точные и согласованные, исполнены той гармоничной красоты, которая дается долгим опытом и убежденностью в том, что делаешь нужную работу. Появляются новые пробы воды, новые термометры.

Может ли монотонное быть красивым? Да, может. Самая гигантская и самая монотонная работа в мире — это работа моря. Повторяются его приливы, повторяются его отливы, волны чередуются через равные промежутки и похожи одна на другую. Но его вечное монотонное движение, его беспокойство, его привычка разбрасывать свои гигантские силы, привычка с точки зрения человека бесполезная, а зачастую и разрушительная,—все это потрясло своей мрачной красотой Байрона и Гейне, Бьёрнсона и Конрада, благодаря чему слава моря дошла и до горных пастухов.

Работа морских исследователей во многом похожа на «работу» моря. Разница лишь в одном: работа исследователей осмысленна.

Трос медленно наматывается на лебедку, через каждые пять минут над ночным морем показывается батометр, и после того, как его снимают, лебедка опять принимается осторожно сматывать трос.

Как-то я спросил у Татьяны Иосифовны, что играет главную роль в ее работе. Она ответила:

— Лебедка. Если лебедка хорошая, можно работать в любую погоду.— И после недолгого раздумья добавила: — Да, самое главное — лебедка.

Я ждал любого другого ответа: талант, упорство, призвание, хорошая подготовка, техническая или теоре-

тическая. Ожидал даже того, что она заговорит об истинной любви человека к морю, о зове моря, о том, что без моря она не может жить. И вдруг услышать от молодой женщины, кандидата географических наук и, как сказал Павел Андреевич, от талантливого, перспективного ученого ответ бодмана с парусника, потрепанного моряка с просоленными мозгами! Подумаешь, какая-то вульгарная лебедка, такая маленькая, что, несмотря на луну, она даже не может отбросить порядочной тени! Уж не насмешка ли это?

Но есть в этом и своя логика. Женщина, снимающая сейчас с троса голыми руками, несмотря на шестнадцатиградусный мороз, батометр, плавала на многих судах и по многим морям. Район, где мы сейчас находимся, хорошо ей знаком. Она избородила вдоль и поперек воды Камчатки («Уж и погода там была, господи боже мой!») и Северной Атлантики. Но Татьяне Иосифовне доводилось очень редко плавать на специальных исследовательских кораблях. И дорожить в первую очередь лебедкой она научилась на траулерах и люгерах. На них она плавала в Баренцевом и Гренландском морях, они в большинстве случаев становились ее научной базой и тут, на Дальнем Востоке. И лебедка либо помогала ей, либо подводила ее.

Сейчас Татьяну Иосифовну отделяют от ночного океана несколько метров мрака и тонкий стальной барьер. В тулупе, в сапогах, в обычной казенной ушанке она выглядит на фоне черных волн, то опадающих, то вздымающихся, маленькой и беспомощной. Но все-таки этот человек стремился и стремится перепробовать все моря и океаны, чтобы узнать, насколько они соленые, насколько теплые или холодные, каковы они на вкус. Вот жажда! И я верю, что она долго-долго не сможет утолить эту жажду: О синем океане — атмосфере — и о простирающемся за ним черном космосе нам, вероятно, известно сравнительно больше, чем о всемирном море. Лишь Атлантический океан более или менее изучен, но и над ним реют не только теории серьезных ученых, но и гипотезы фантазеров. Темные глубины Индийского и Великого океанов с их невообразимым давлением ждут не дождутся своего Колумба. А маленькая женщина, мечтающая постичь хотя бы частицу морских тайн, открывает закономерности некоторых процессов, совершающихся в бескрайнем океане, и вписывает новые страницы в книгу под названием «Открытое море». И сама

не замечает, в какой степени она уже пронизана и глубинными волнами и рябью воды, не замечает, что живет в этом, как это живет в ней.

Страстная склонность к твердой дисциплине науки, доходящая до полного самоотречения, порой сужает кругозор (чего о Татьяне Иосифовне не скажешь), но в то же время она неотъемлемое свойство цельной жизни, и жизни человека, разводящего пчел или сирень, и жизни ядерного физика.

Мне стыдно, но я уже замерз. Татьяна Иосифовна снимает последний батометр, переходит на корму и начинает заносить в журнал температурные данные. От мороза ее маленькие руки покраснели и стали непослушными, нос побелел, а губы окоченело застыли, отчего ей даже трудно выговаривать слова. Но ей и ее коллегам предстоит работать еще несколько часов.

Лебедка... Временами тина мелких мыслей и мелких страстей пригибает нас к земле, и позвоночник наш становится кривым, словно знак параграфа. Создается впечатление, что на такого человека, связанного козлом (есть такой способ пытки), обращается слишком много внимания. По поводу него заводят споры о рациональном и иррациональном, о силах притяжения и отталкивания, определяющих судьбу и поступки людей. Эти вопросы интересуют и меня, но я пока не в состоянии составлять историю болезни разных душ и разных индивидуальностей. Меня интересуют лебедки, то есть те люди, которые прилаживают к твоим волосам трос и, подняв тебя, ставят на ноги.

Луна нарисовала на досках палубы забавную вытянутую тень сосредоточенной и замерзшей Татьяны Иосифовны. Я пожимаю ее маленькую красную руку и произношу мысленно:

«Доброй ночи, милая моя лебедка!»

Гейне писал гусиным пером на века. А мы своими вечными перьями пишем нередко такое, что впору бы читать гусям, которые уже не спасут Рима.

Я не знаю, что видел Генрих Великий, что он испытал перед тем, как написать свой цикл «Северное море». Если читать в море историю бременского погребка, то можно и прослезиться — тут от зарождения идеи до последней точки все ясно. Но в цикле есть маленький шедевр — «Штиль». Позволю себе привести его тут.

Штиль. Сияющие стрелы
Солнце на воду бросает.
И в лучах сверкает судно
Наподобие смарагда.

У руля улегся боцман.
Чутко спит, на брюхе лежа.
И, смолою весь испачкан,
Старый парус чинит юнга.

Щеки грязные румянцем
Налились, дрожат в испуге
Губы, и глаза большие
Смотрят жалко и тревожно.

Капитан над ним бушует,
Проклиная и ругаясь:
«Жулик, жулик, ты из бочки
У меня украл селедку».

Штиль. Всплывает на поверхность
Рыбка умная, головку
Под лучами солнца греет,
Плещет хвостиком игриво.

Только чайка, точно камень,
Сверху падает на рыбку
И с трепещущей добычей
Вновь в лазури исчезает.

Я спустился вниз: мороз и божественное провидение погнали меня в каюту, расположенную под палубой, где по вечерам люди Ивана Ивановича обычно играли в домино и сражались в спорах о смысле жизни. Уже в коридоре я понял, что обстановка там отнюдь не мирная. Еще и до двери не дошел, как услышал звонкий голос Коли Орловского: «Бессовестные мошенники!» — и глухое ворчание Виталия Котова, накинувшегося на эту реплику, словно чайка на хитрую рыбешку.

Я вошел и увидел следующую картину. У иллюминатора сидел за столом Валентин Аристов и с предельным интересом следил за ходом боя: одна сторона, состоявшая из пяти человек, выставила от себя Виталия Котова, а другая была представлена одиноким, но упорным сувереном Колей Орловским. Имелись еще и нейтральные, хотя и заинтересованные стороны: Толя Боголюбов, Геня Добровольский и вечно молчащий Колпаков. Сидела тут еще и лаборантка Вера, лихая девушка, которая и не думала одергивать спорщиков, бросавших Коле разные соленые словечки, равно как и не мешала Коле высказывать напрямую свое мнение

о пяти бессовестных мошенниках. Плотный Котов все никак не мог выбраться из-за стола. Вера мешала. А бесстрашный Коля высился, словно утес, посреди каюты и сверкающими от гнева глазами глядел прямо в лицо Виталию Котову. С убедительностью Цицерона он доказывал, что если бы его друг, то есть Котов, не был так ленив, то он наверняка грабил бы на большой дороге и перерезал бы людям глотки из-за медного гроша.

На столе стояли два графина. В одном была вода. А во втором — не вода. Было еще шесть стаканов, пустая, словно ждущая чего-то тарелка и острый нож.

Достаточно было взглянуть на Виталия Котова, на стол и на лица собравшихся, достаточно было увидеть боль в больших красивых глазах бравого Коли и горькую складку у его рта, чтобы положение сразу же стало ясным и сам собой пришел на память приведенный выше «Штиль». Пятеро «бессовестных мошенников», применяя самые бесчестные средства воздействия, самую эгоистическую агитацию и прямые угрозы, гнали честного Колю во мрак ночи на черное дело. Во втором графине блестела не вода. Тарелка была пустая. Колю подбивали на кражу селедки. Но Коля не хотел красть селедку.

— В последний раз спрашиваю, — Вера, выпусти меня, — пойдешь ты или нет? — перешел в штурм Виталий Котов, который всегда играет роль организатора, когда дело касается закуски, законной или незаконной.

— Не пойду. Я уже сколько раз доставал. Больше не пойду! — отрезал Коля.

— Генка, организуй хлеб! — обращается Котов к Добровольскому, любовно поглаживая тот графин, где не вода.

Генка скрывается.

— Видишь, Коля, кто настоящий друг? Генка вот пошел за хлебом. А ты?

— Что ты раскомандовался, будто атаман? — взвизнул Коля. — Для других я бы еще достал, но воровать селедку для таких, как ты, не буду — душа не позволяет.

— Так достань для других, черт бы тебя побрал! — дипломатично предлагает Виталий.

— Ну да, небось ты первый и набросишься, — отвечает Коля. — Не хочу! Там вахтенный стоит. С чего это мне, комсомольцу, воровать для вас селедку? — выкладывает Коля свой последний козырь.

Но Валентин Аристов, не впервые наблюдающий борьбу добра и зла в душе человеческой, решает вмешаться, чтобы помочь злу. С дружеской улыбкой он начинает небольшую педагогическую проповедь:

— Послушай, Колечка.

Коля слушает.

— Тебе ведь это не впервой?

Коля молчит.

— Твоя совесть уже такая черная, что черней не сыщешь, добирайся хоть до самого Петропавловска. Ведь тут все свои...

— Бандиты вы все, — бормочет Коля.

— Ведь тут все свои. Неужели ты в самом деле хочешь, чтобы мы из-за пары селедок замарали свою репутацию и совесть? Хочешь, да? Но тебе-то это *уже* не поможет.

Коварный сокрушительный маневр, особенно это «уже». Коля прижат к стене. Окончательно побежденный силами зла, он просит:

— Дайте газетку.

Невозможно пронести сейчас незавернутые селедки через кормовую палубу, где работают океанографы и стоит вахтенный матрос. Они ведь так и засверкают на лунном свете (я говорю о селедках). Коле дают газету, и он неслышным шагом выходит в коридор с видом человека, решившего принести свою жизнь в жертву дружбе. Тотчас после этого входит Геня Добровольский, ставший толстым, будто банкир. Он выкладывает на стол две длинных, еще теплых буханки белого хлеба и снова становится прежним Генкой. Все встают и шепотом кричат «ура».

А Коля начинает свое хождение по мукам. В эту самую минуту он открывает тяжелую стальную дверь и, невидимый и неслышимый, появляется на корме. Там стоит бочка сельдей, у которой при погрузке вылетели из днища две доски. Из-за этого бочку пришлось вытащить из трюма и поставить на палубу — на соблазн находчивым людям. Я живо представляю себе, как Коля подбирается к бочке: гибкий и ловкий, словно пума, умело проскальзывает от тени к тени, захваченный своеобразным азартом и совершенно забывший о муках совести.

— Эх, Юхан Юрьевич, — вздыхает Валентин Аристов и смотрит на меня своими добрыми глазами, совершенно неспособными воспринимать упрек. — Эх, Юхан Юрьевич, будь у нас в резерве ваша свинья...

(Да, у нас могла бы быть свинья, но ее нет, мы часто заводим о ней разговор, и мне вспоминается временами, большей частью перед обедом, эта незабываемая встреча.

Павел Андреевич Медведев поехал вместе с несколькими метеорологами на берег, чтобы проверить метеорологическую станцию. Меня тоже взяли. Мы высадились в маленьком заснеженном поселке, похожем на что-то среднее между городком и деревней. Стоял мороз, мело, проверка должна была отнять много времени, и я отправился побродить по поселку. Мне попался магазин. В нем продавали крохотные зеленые мандарины. Я купил два кило. Разумеется, я был голоден, и потому, как только я вышел из магазина, меня взволновали некоторые уличные сценки. Переваливаясь с ноги на ногу, по дороге брели большие и маленькие гуси. Солидные утки прокладывали в снегу борозды своими яркими брюшками. А потом я заметил ее — длинноногую, стройную, красивую свинью весом в пуд. Она явно была бездомная и подыскивала хозяина. Я угостил ее мандаринами. Она приняла угощение. Я пошел своей дорогой. Свинья преданно потрусилась за мной, тоскливо похрюкивая. Я дал ей еще два мандарина и окончательно завоевал ее сердце. Она следовала за мной по пятам, словно преданная собака. И чем пристальнее я изучал ее экстерьер, ее длинные ноги, темные полосы на боках, тараном устремленное вперед рыло и мощную щетину, тем прочнее становилась моя уверенность в том, что мой спутник — заблудившийся обитатель тайги, словом, кабан, и хозяина у него быть не может.

Свинья, лишь недавно простившаяся с поросячьим детством, ходила за мной по пятам целый час. Постепенно, обходным путем, мы приблизились к причалу. Эмма (я окрестил ее Эммой — для бездомного существа имя тоже подарок) уплела уже полтора кило моих мандаринов.

На причале я увидел метеорологов. И спросил их:

— Поглядите, что вы скажете, не кабан ли это?

— Уж больно смиренная тварь, — решили они.

— Но эта холка, это вытянутое рыло, эти полосы на боках? — пустил я в ход весь свой опыт старого свиновода, чтобы добиться от них нужного ответа.

— Кто его знает. Взгляд больно кроткий. А ведь у кабана он злой. Я сама читала, — сказала одна женщи-

на, синоптик, поглаживая вздыбленную холку Эммы. Женщины всегда выищут несущественную мелочь и сразу за нее ухватятся.

Мы направились к катеру. Свинья пошла за мной с преданностью телохранителя. Я швырнул на снег еще один мандарин, и мы начали садиться в катер. Из-за отлива это было нелегко — катер стоял не вровень с причалом, а на шесть-семь метров ниже. Мы все уже сели, а с причала на нас смотрела Эмма — на фоне синего неба отчетливо вырисовывалось ее вытянутое рыло. Я швырнул на дно катера последние мандарины и решил, что если Эмма не испугается высоты и прыгнет в катер, значит, это кабан, и я могу его считать своей добычей. Эмма все колебалась и колебалась, в ее остроугольной голове шевелились какие-то мысли. Но вниз она не прыгнула.

Мы отчалили. Эмма стояла на причале и крутила хвостиком — одинокая, бездомная, грустная.

Мы часто вспоминаем ее теплым словом.)

Но вот появляется Коля и со смущенно-торжествующим видом кладет на стол сверток: три необыкновенные селедки, три тихоокеанские селедки, которые могут дать атлантическим селедкам десять очков вперед.

— Я всегда говорил, что Коля гений,— не скупится на признание Виталий.— Невинное лицо и ловкие руки.

— Завтра попрошу Ивана Ивановича,— говорит Коля.

— Чего?

— Чтобы на закуску к каждой вечерней ракете он разрешил нам брать по три селедки. А не то все прячься. На корме океанографы, а вахтенный, вы себе представляете, прислонился спиной к бочке. У меня дух замер. И тут еще луна светит — нашла время! Завтра попрошу.

Разве кто-нибудь запрещал брать селедку? Никто не запрещал. Но что случилось бы тогда с диспутами о дружбе и совести, о готовности Коли к самопожертвованию и прочих глубоких проблемах? Кок взялся бы приготовить нам эти селедки и даже украсить их гарниром, но они показались бы нам на вкус более пресными и официальными, чем эти Колины селедки. И поэтому никак нельзя, чтобы Коля обращался к Ивану Ивановичу. Каждый, кто хоть раз грыз в детстве яблоко, украденное в соседском саду, легко поймет меня.

Виталий Котов режет селедку. Какая же она ароматная! Кадык начинает ходить вверх и вниз, будто поршень насоса.

— Генка! — говорит Виталий Добровольскому. — Сходи позови Павла Петровича.

Генка уходит и через две минуты возвращается назад с Павлом Петровичем. Консилиум в сборе. Из того графина, где не вода, каждому наливается точно по пятьдесят граммов. Темп выбирается индивидуально, соответственно вкусу.

Павел Петрович смотрит на нас блеклыми глазами и поднимает свой стакан:

— За ее здоровье!

И пьет за здоровье ракеты, которую так долго рожали и которая так быстро умерла.

Тепло распространяется по груди с быстротой слуха. Такой вкусной селедки мне есть не приходилось и не придется. Ненадолго воцаряется деловитая тишина. Затем мы приступаем к справедливому дележу последней селедки. Мы с грустью видим, что дно графина поднимается к небу все выше и выше, пока оно не становится под углом в девяносто градусов по отношению к поверхности моря и по стаканам не разливаются последние остатки. Виталий Котов берет слово. Он подносит к глазам стакан, наполненный лишь наполовину, вздыхает и говорит:

— Выпьем, мужики, за Колино здоровье!

Коле и приятно и немножко стыдно, что мужики пьют именно за его здоровье. Но Котов все еще изучает уровень жидкости в стакане. Он еще не кончил.

— Правда, он (то есть Коля) последний демагог и змея ядовитая, пожирающая мою душу и мои нервы. Сколько я его воспитывал! (Коля подходит к Генке и кладет руку на его могучее плечо.) Но не впрок ему наука. Выпьем, мужики, за Колино здоровье.

Мы пьем за здоровье демагога и ядовитой змеи, и пьем от души, не исключая и Виталия Котова, хоть змея и пожирает его нервы. Коля — это Коля, одна из самых колоритных фигур на «Воейкове», — уже одно то, что он существует, делает мир более светлым.

Все эти парни сплочены дружбой, словно пальцы, сжатые в кулак. Куда их только не заносила беспокойная профессия! И на Крайний Север, и на юг, и на всякие моря. Они хорошо знают друг друга. Генка с его уравновешенностью и тучным спокойствием — антипод

Коли, сидящего рядом. Поэтому они так и сошлись. В этой самой каюте они довольно часто выступают с разными эстрадными номерами, например удивительно здорово имитируют женское исполнение народных песен. Высокий голос Коли, растягивая слова, парит где-то под потолком, а низкие ноты Генки бухаются нам в ноги. Оба умеют показывать девчонок на танцплощадке, хотя поют при этом тексты далеко не девчоночьи. Или изображать, как поп читает проповедь, а в это время вокруг его носа кружит злая оса. Если есть слушатели, то они по часу, а то и по два читают Блока, Есенина, Маяковского. Оба они прочли кучу книг и давно уже переросли Дюма. Не очень-то им доверяйся, когда они протяжно голосят на манер деревенских баб. Они только кажутся молодыми и наивными, на самом деле они умнее, чем были мы в их возрасте, и голыми руками их не возьмешь.

Какие в этой каюте ведутся баталии из-за книг, из-за вопросов внутренней и внешней политики, из-за космонавтики и ее будущего, из-за проблем ракетной техники! Да и траектории их собственных жизненных полетов тоже предмет спора. Спор не всегда ведется на академическом уровне, но у него всегда есть своя почва. И почти каждый кончается ссорой между спокойным Котовым и демагогичным Колей. Да простят мне это утверждение, но Коля действительно демагог, и демагог образцовый. Мне не раз приходила в голову мысль: не созвать ли шесть виднейших эстонских демагогов, чтобы Коля почитал им лекции? Может, это помогло бы им перебраться с низин малокровного мямленья на вершины искусства? Мне мешают только две вещи: во-первых, я на это не уполномочен, а во-вторых, пришлось бы пригласить и Виталия Котова, потому что без него, без его почтенного присутствия, демагогический талант Коли увянет и даже погибнет.

Виталий Котов — это целый мир, простой, ясный и неизменный, вернее, изменяющийся очень медленно. Мысль Виталия, как чувствуется, движется медленно, размеренно и тяжело, словно гусеничный трактор на первой скорости. Виталий не переносит, чтобы кто-нибудь хоть слегка нарушал порядок, который он навел в своих мозгах, или подкапывался под фундамент его мировоззрения. Из всех шестерых Виталий всегда наиболее самоуверен и решителен, даже если он и отстаивает ущербные истины. В борьбе за них он и высокопар-

ным словом не побрезгует, и кулаком по столу может стукнуть.

Но тут вязывается колючий как игла Коля с его гибкой стратегией и тактикой и принимается точить и долбить. Порой он действует исподволь, как подводная эрозия, а порой — очертя голову, как Йоозеп Тоотс в чулане Кийра. В словаре Виталия нет слова «сомнение». У Коли же все начинается именно с сомнения, которое не шадит ни одной вечной истины.

Как-то они читали дуэтом «Происхождение» Багрицкого. Котов гремел:

Меня учили: крыша это крыша,
Груб табурет, убит подошвой пол.
Ты должен видеть, понимать и слышать.
На жизнь облокотиться, как на стол.

Коля подхватывал строчку на лету и продолжал:

А древоточца часовая точность
Уже точит подпорок бытие.
Ну, как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие мое?

— Моль! — говорит Котов и смотрит на Колю с отчаянием. — Моль души моей!

Коля разработал специальную систему, чтобы окончательно выводить Виталия из себя. Система эта такова.

Коля принимается отстаивать какую-нибудь теорию, научная ценность которой более чем сомнительна. Утверждение Поприщина, будто внутри земного шара находится шар еще больших размеров, чем сама Земля, может показаться по сравнению с этой теорией абсолютной истиной. Виталий радостно спешит разоблачить и опровергнуть всю эту демагогию с ее необъятным диапазоном от любви и смерти до астрофизики. Из любовно прибранной кладовой своего мозга он достает все новые факты, выкладывает их на стол и подтверждает ударом кулака. Всем ясно, что очередная теория Коли не выдерживает никакой критики. Создается впечатление, что даже сам Коля об этом догадывается.

Но тут происходит странное превращение. Совершив молниеносный маневр, Коля присваивает себе идеи и факты Виталия. Внезапно выясняется, что вовсе не он, а Виталий выдвинул такую нелепую теорию. Коля так ловок, что никто ничего не замечает. Не проходит и нескольких минут, как Котов занимает слабые позиции,

оставленные Колей, обороняет их, мучительно подыскивая факты, стучит кулаком, но все отступает и отступает, пока не сдастся. А Коля его утешает:

— Учение — свет. Не броди в потемках, друг! — И незаметно выскальзывает из каюты. У Виталия уходит немало времени, чтобы снова навести в мыслях порядок, после чего он вдруг обнаруживает (в который уже раз!), какой Коля демагог. В этот мрачный миг лучше держаться от него подальше.

Колю все любят. В кают-компанин часто собирается вокруг него стайка девушек из экспедиции и команды. Они ловят каждое его слово, словно птенцы — червяков. Коля немногословен, скромн, предельно сдержан, это столичный молодой человек с хорошими манерами. Биография у него волнующая. Он бывал в тундре во время бурана, ездил на собаках и на оленях и видывал такие запуски ракет, по сравнению с которыми наши запуски — детская игра. Коля культурен. А главное, Коля серьезно относится к девушкам, не ведет с ними никаких рискованных разговоров и не занимается демагогией, как некоторые. Эдуард Давыдович, который вместе с Генкой Добровольским снимал всех за работой в монтажном трюме, называет его «фотогеничным Колей». Если хочешь увидеть, как в течение десяти минут человеку дарят пятьдесят улыбок, ходи за Колей по пятам.

Здесь, в прокуренной до синевы каюте, Коля берет на себя и другую специальную роль — роль сквозняка. Он сразу угадывает шестым чувством, если тихая заводь в чьей-то душе начала зацветать и там воцаряется успокоение. Он не терпит стоячей воды и делает все, чтобы взбаламутить ее посильнее.

Вот на коленях у Котова пристроился, словно младенец, аккордеон. При звуках «Подмосковных вечеров» ребята из подмосковного города-спутника впадают в задумчивость и начинают мычать под музыку. Опасный момент. Заводь становится слишком тихой...

Коля достает из кармана коробок спичек и трясет его.

— Через десять лет, — говорит он значительно, — габариты думающих машин уменьшатся в тысячу раз.

— Ну и что? — бдительно спрашивает Виталий.

— Что? — спрашивает Коля и вертит коробок. — А то, что в такую коробочку поместится минимум десять Виталиев Котовых. И вообрази, все они будут давать

правильные ответы. Гляди, Виталька, ты хоть и здоровый — сто килограммов, а как тебя можно спрессовать. Весь ты из пустоты, ясное дело. Десять Котовых в одном спичечном коробке. Теория кибернетики, академик Берг и я...

Тут все начинают говорить разом. Коле явно придется улепетывать из каюты.

Я снова выхожу на палубу. Тупоконечная мачта, покачиваясь в такт кораблю, скользит по бледному лицу луны, безуспешно пытаюсь сбить с неба это холодное тело. Но если бы мачте это удалось, в душе у меня все равно было бы светло. Я думаю о своих друзьях, вижу, как улыбаются Валентин Аристов, как Толя Боголюбов молчит и ждет, что будет дальше, как замер Генка Добровольский, готовясь отстаивать друга. За спиной Виталия стоит сама истина, но зато Колю поддерживает академик Берг.

Вот вам репортаж об одном лунном вечере.

Везет мне в жизни, клянусь открытым морем, везет!
Завтра — день Ивана Ивановича.

7

ЛЮДИ, ЗЕМЛЯ И ОКЕАНЫ

Сегодня день Ивана Ивановича. Тяжелый день.

Мне приходится писать о человеке, с которым мы очень близки и очень далеки. Я знаю его слишком давно, но все чаще обнаруживаю, что знаю о нем слишком мало. Мы долго пробыли вместе в океане. Мы ловили в одной лодке угрей на Малом проливе. Он ругал меня за то, что быстро хожу, а я его за то, что он не ходит, а тащится. Мы проговорили с ним с глазу на глаз не меньше ста часов, и если не всегда находили общий язык, то зато всегда были искренни.

Мне приходилось врать. Не много и не мало. Ровно столько, сколько врет средний эстонец сорока лет. Чаще всего это случалось от невинного желания загнуть, от избытка фантазии, показавшейся правдоподобной себе самому. А бывает, что просто невозможно сказать человеку правду в лицо — только обидишь, а пользы никакой. Люди, уверяющие своих жен, что те старые и некрасивые и что у них кривые ноги, иногда считают себя честными. Я знавал таких. Для них правда такое же оружие, как для бандита — кастет.

Иногда мы врем для того, чтобы выставить себя в лучшем свете. Ведь правда бывает малоприятной и болезненной. И тогда неправда — вещь более приятная.

Ивану Ивановичу я не могу ни соврать, ни даже невинно прилгнуть. Это сильнее меня. И все-таки между нами не возникла та самая страшная и самая непреодолимая пропасть, какая может возникнуть между двумя людьми: пропасть откровенности. На «Воейкове» я узнал, что это за пропасть. Милый воспитанный человек выворачивает перед тобой свою душу, совсем как корабейник свой корабль. Выгребаются все: и ситец, и самоварное золото. Сколько плоских слов об откровенности и честности мне пришлось услышать перед тем, как на меня начали нападать за скрытность и неоткровенность. Я вызвал эти нападки тем, что не смог переступить грань, после которой откровенность переходит в патологическое саморазоблачение. После часового разговора между мною и одним членом экспедиции в результате откровенности пролегла пропасть, и уже ни один из нас не мог ее потом преодолеть. Мы стали врагами.

Моя путевая записная книжка полна аэростатов, самолетов, гондол и поперечных разрезов атмосферы, нарисованных Иваном Ивановичем, а также комментариев, написанных почерком, не поддающимся расшифровке. Приятная память о том, с каким упорством мой друг пытался превратить меня в аэролога и вообще в технически грамотного человека. Наряду со всем этим он учил меня и чувству меры, чувству уважения к заповедному тылу в душе человека, куда не должна ступать нога постороннего.

Во время культа личности я уже обжегся и больше не могу творить себе кумиров. Впрочем, Иван Иванович вовсе и не кумир, хотя бы уже потому, что он реально существует.

Да, помня о чувстве меры, я все же хотел бы хоть немного походить на Ивана Ивановича, конечно без его аэростатов и его аэрологии.

1959 год начался для меня неудачно: не было клева. Я искал рыбу две недели, я прочесал в Малом проливе все рыбные места, знакомые с детства, но море за что-то обиделось на меня. Раза два я возвращался утром с пролива совсем без улова или почти без улова — одно не лучше другого, даже, пожалуй, хуже вернуться почти без улова, чем совсем с пустыми руками. Лишь

однажды щука килограмма в два заставила затрепетать мое сердце, однажды на дне моей лодки забил хвостом судак, а во все остальные разы я оставался ни с чем, совсем как московский рыбак. Я знаком с некоторыми из этих рыбаков-теоретиков и убежден, что попадись им на удочку хотя бы килограммовая щука, дело кончится нервным потрясением или статьей в «Вечерней Москве». С почтением затаив дыхание, я слушаю их рассказы. Эти рыбаки удивительно хорошо разбираются в душевной жизни рыб, и каждый из них мог выловить вот такую рыбину, если бы только... Да, если бы только!.. Герой этой главы Иван Иванович Корягин уверял меня, что однажды он выловил в подмосковной речке две большие рыбы. Рыбы Корягина так и остались бы большими, если бы только магнит истин не сблизил две нежные ладошки маленького Никиты Корягина, в результате чего в одной рыбе оказалось сантиметров восемь, а в другой, более крупной, сантиметров двенадцать-пятнадцать. Я поверил и галлюцинациям Ивана Ивановича и глазомеру Никиты. Ведь все зависит от умения смотреть и умения видеть. Многих московских рыбаков можно назвать истинными поэтами: они закидывают в голубые житейские воды наживку мечты и ждут, когда ее заглотает серебристо-чешуйчатая галлюцинация. Во все века существовали ножницы между мечтой и действительностью. Мы бы охотней полюбовались крупной рыбой, но раз ее нет, то готовы любоваться и творческой фантазией, пусть фантазию и не поджаришь.

Но в своей родной деревне я не могу показываться с великими мечтами и тремя окуньками: у нас верят только в окуней. И по ночам мне начало сниться одно и то же: крупная рыба. Когда-то в Грузии мне из ночи в ночь упорно снился большой ломоть черного хлеба. А теперь другой проклятый мираж, неуловимый и недоступный: крупная рыба. Фрейдисты истолковали бы этот сон бог знает как. Но я знал, что должен поймать эту самую рыбу, которая щелкала в моих снах зубастой пастью и показывала мне то полосатую спину, то жемчужно-белое брюхо, которая без конца меняла обличье, превращаясь то в щуку, то в язя, то в судака, то в угря, и от ночи к ночи увеличивалась в размерах. Я знал, что если я так и не поймаю свою *большую рыбу*, то лето будет испорчено, а сон мой станет беспокойным. Но рыба не ловилась.

Мне пришлось поехать в Москву: в летнюю, безветренную, душную и пахнущую асфальтом Москву. Уезжая, я решил не возвращаться оттуда прямо в Эстонию, а отправиться во Владивосток или в Петропавловск-на-Камчатке и поплыть оттуда в северную часть Тихого океана, где в это время вела лов наша китобойная флотилия «Алеут». Я был уверен, что Тихий океан не будет со мной скуп и что, как только я загарпуню кита, щука моих снов покраснеет от сознания своего ничтожества. В ту пору в Главсевморпути еще работал Алексей Фишкин, с которым я познакомился в Калининграде. Я обратился к нему. Алексей Михайлович взялся свести меня с китобоями.

Но в тот же день я встретил Корягина. Он был летний и загорелый, он кипел энергией, он только что вернулся из не знаю какой по счету командировки,— словом, это был самый подходящий соучастник для моих планов и замыслов. Но старый друг удивил меня: кит его не потряс, кашалот оставил холодным. Человек без нервов, бесчувственная личность! ЦАО, где он работал, испортила его вконец. Аэрология, а Иван Иванович аэролог, учит людей смотреть в небо, а не на море. А увести человека от заоблачных метеорологических процессов вниз, к живой рыбе,— это задача безнадежная. Тому, кто просидел сотни часов в гондоле аэроста-та, не понять музыки натянутой лески.

— Наш маршрут...— начал Корягин.

Я перебил его:

— Владивосток или Петропавловск-на-Камчатке.

— Черное море, Дарданеллы, Средиземное море, Суэц, Красное море, Аденский залив, остров Сокотра. Там и приступим.

— Какая еще Сокотра?

Корягин не дал себя перебить:

— Следующая стоянка в Джакарте. Затем ряд пунктов в тропических широтах Тихого океана.

Не видать мне своей большой рыбы, ну и бог с ней...

— Может быть — точно еще не знаю,— остановимся и в Сингапуре.

В душе у меня забренчала гитара:

В бананово-лимонном Сингапуре,

— пуре, пуре,

когда поет и плещет океан...

Корягин совсем недавно вернулся с Черного моря, где «А. И. Воейков» совершал пробное плавание. Там

проверялась научная аппаратура и установка по запуску ракет.

Так-то вот.

«Хорошая буква «л»,— пишет поэт,— «любовь» с нее начинается...»

«М» средняя буква. С нее начинается «мама» (которая не пускает нас к китам), и «морока», и «море», и «мойра». С нее начинается и «музыка». И с нее начинается «маршрут», это мучительное слово, слово-паук — стоит попасть в его паутину, и уже нипочем не вырвешься. Дарданеллы, Аденский залив, Сокотра, Джакарта, Сингапур... Тропические широты, синее спокойствие Индийского океана, летучие рыбы, дельфины, кувыркающиеся в поднятых судном волнах, хищное тело акулы за бортом, коралловые острова, а если повезет, то и хулахула под пальмами. И все это нам с готовностью предлагает одно-единственное, но заманчивое слово «маршрут». «Ряд пунктов в тропических широтах Тихого океана». Земной рай: ешь бананы, играй в домино, болтай ногами. Вот как звучит слово «маршрут». Но, подобно лукавому коммивояжеру, оно скрывает от нас свою теневую сторону, тоже связанную с «рядом пунктов в тропических широтах Тихого океана».

«Время от времени какая-нибудь чайка наводит на мысль, что где-то близко земля — одинокий, забытый всеми остров, погребенный в водной пустыне. Но чайки, грустные чайки так и остаются его единственным признаком. Ты не видишь ни одного случайного торгового судна, ни одного баркаса или стройной шхуны, даже ни одной рыбацкой лодки. Это пустая пустыня. И постепенно эта пустота наполняет твою душу дурными предчувствиями» (Сомерсет Моэм, «Тихий океан»).

Корягин, плававший с морской экспедицией на «Оби» в составе аэрологического отряда, провел немало дней в этих широтах. Всего год назад он вернулся из кругосветного плавания, продолжавшегося девять месяцев. За моей спиной тоже были месяцы, проведенные в Индийском и Атлантическом океанах. Но магическое слово «маршрут» подействовало на нас одинаково.

— Ну как? Поедешь? — спросил меня Корягин, бывший у нас парторгом во время рейса в Антарктику, и его черные цыганские глаза засверкали совсем как у мальчишки, помешанного на путешествиях.

— Поеду.

— А киты?

— Пусть живут.

— Вот это принципиальное решение! — похвалил меня Корягин, хотя мое решение можно было назвать каким угодно, только не принципиальным.— Раз, два — и заметано!

«Воейков» поплыл во Владивосток без нас. Мы остались без тропических широт, бананов и лимонов. И сейчас вокруг нас отплясывает свою вьюжную хула-хулу зимнее Японское море.

Первое, что я вижу после сна, это обмерзшие иллюминаторы. Через них с трудом пробивается робкий предутренний свет, вестник морозного дня. И хотя в каюте тепло, сквозь эти близко поставленные заледенелые стеклянные круги в каюту проникает изрядная доза того мглистого неюта, какой царит за бортом. Мороз пробирается в тело сквозь органы зрения, и мгновениями кажется, что недружелюбную серую мглу приходится рассекать не только «Воейкову» своим высоким носом, но и нам — полуобнаженной грудью.

Точно в восемь часов по всем репродукторам разносится команда Корягина:

— Через час будет произведен запуск метеорологической ракеты. Посторонних просят очистить носовую палубу. Все иллюминаторы закрыты! Повторяю: через час будет произведен...

Начиная с этого момента иллюминаторы перестают смотреть на нас враждебно. Ночь уступает свои права дню. Сейчас в монтажном трюме с ракеты снимут саван, и по длинной наклонной платформе она медленно поднимется на палубу, продолговатая, вытянутая зеленая красавица с серебристой головой. Через час я услышу ее лебединую песню.

Я поднялся на мостик и встал рядом с Корягиным. Прямо под нами, на носовой палубе, Рэм Васильевич заливал ракетное горючее, соблюдая, как всегда, предельную осторожность. На палубе очень холодно, ветер в добрых шесть баллов дует с северо-запада — Камчатка обдаёт нас своим суровым дыханием. Но Рэм Васильевич и на этот раз не надел шапки, продолжая проделывать эксперименты над своими ушами.

Наш кинооператор Эдуард Давыдович пристраивает свою драгоценную камеру на самом носу, в десяти-пятнадцати метрах от установки. По тому, с какой регулярностью вылетают из его рта облачка пара, можно догадаться, что он воспитывает своего ассистента Робсона.

(Судьба обращается с Эдуардом не очень милостиво и все время закидывает его в холодные места: то он в Антарктике, то в свирепых сороковых широтах южного полушария, то на Крайнем Севере, то здесь. Ему приходилось заниматься своей нелегкой работой даже под водой. При съемках одного охотничьего фильма он спрятался в канаве и снимал оттуда, как заяц удирает от волка. Заяц махнул с края прямо в канаву, волк — за ним, и бедный оператор чуть не был проглочен вместе с камерой. Сейчас он мог бы сидеть в теплой студии и снимать героев-любовников, но он мерзнет на носовой палубе «Воейкова», и виновата в этом музыка. Году в двадцать седьмом его, молодого оператора, послали снимать первомайский парад на Красной площади. Он нашел хорошее место рядом с оркестром. А тогда кинокамеру крутили вручную. И военная музыка подвела Эдуарда Давыдовича. Он крутил ленту под могучий военный марш в том же ритме, в каком дирижер махал руками, а руки двигались то очень стремительно, то чеканно и отрывисто, то опять быстро, то подчеркивали меланхолическую медлительность героических тактов. Войска потом шли на экране невиданным шагом: то они бежали, то чуть ли не замирали на месте. Эдуарду Давыдовичу пришлось покинуть студию, и тем не менее он потом снял немало выдающихся фильмов, научных и документальных. Он грозился оторвать мне уши, если я расскажу в книге эту историю. Но ради истины я готов пожертвовать даже ушами).

Коля Орловский и Геня Добровольский растирают возле установки руки. Ибо часовой промежуток, отделяющий момент подъема ракеты на палубу от момента взлета, состоит из проверки, проверки и еще раз проверки, и при этом ни одну из работ нельзя производить в перчатках. Медлительная с виду деятельность на носовой палубе была продумана до последней детали, до последнего движения — без этой завершающей шлифовки таинственный купол неба над Японским морем никогда не стал бы для нас открытой книгой.

До запуска ракеты остается сорок пять минут. Треугольник носовой палубы живет своей спокойной, уравновешенной жизнью. Отсюда, сверху, он кажется особенно контрастным по отношению к беспокойному морю.

Светало. Мрачные темно-синие тучи на востоке касались нижними краями моря. Но затем вышло солнце, и началось такое буйство красок, что все перемешалось:

над облаками горели пурпур и золото, а ниже разлилась кровавая морозная краснота. Над самым же судном, в том месте, куда должна была устремиться ракета, небо оставалось бледно-серым, прозрачным и холодным. Над частыми белогривыми волнами стлался морозный пар, и казалось, будто мы смотрели на море с какой-то большой заоблачной высоты. Мало того, что лицо Японского моря, зимнего Японского моря, каждый день меняется — но еще меняется четыре раза в сутки: утром, в полдень, вечером и ночью.

До старта остается сорок минут. Я стою рядом с Корягиным, чье внимание приковано к морю и к носовой палубе, и думаю: сколько раз мы уже стояли так на командном мостике и в Атлантике, и в Индийском океане, и в это плавание.

Мы познакомились с Иваном Ивановичем в антарктическом рейсе, на «Кооперации». На первом партийном собрании экспедиции нам надо было выбрать временное — на срок пути от Калининграда до Мирного — партбюро. Выдвинутые кандидаты, соответственно морской традиции, рассказывали свои биографии лаконично и отрывисто. Поднялся в свою очередь высокий мужчина спортивного сложения, темноволосый и темноглазый, плывший в одной каюте с известным профессором. Имя и фамилия — Иван Корягин, год рождения — 1913, год вступления в комсомол — 1930, член партии с 1938 года. В третьей комплексной антарктической экспедиции он входил в состав аэрологического отряда, плывшего на «Оби». Руководящий работник ЦАО. Кандидат технических наук. Собрание выбрало его секретарем партбюро.

Несколько дней спустя он прочел нам две лекции о метеорологических ракетах. Хорошие лекции, говорил народ, но сам я мало что в них понял. Меня поразило, как велик авторитет этого уравновешенного, подвижного и вечно улыбающегося человека. Его все знали. Но в экспедиции было много «людей Ивана Ивановича», его новых и старых сослуживцев, и они видели на лице Корягина не только улыбку. Корягин был отзывчив, дружелюбен (как трафаретно я изображаю своего товарища), охотно писал заметки в стенгазету и хорошо выносил штормы — вот и все, что мы про него знали. Ракеты лежали в трюме «Кооперации» — аэрологи еще не приступили к работе всерьез. И каждый раз, как я слышал фразу: «Корягин — это человек!» — она мне казалась

просто романтическим преувеличением, склонностью молодежи к сотворению кумиров, чисто русской слабостью (так мне тогда казалось) к превосходным степеням в оценке и хорошего и плохого.

Нам, эстонцам, нелегко каждый раз запоминать отчество, и потому я называл Ивана Ивановича и в мыслях и в своих заметках просто «ЦАО». А что такое ЦАО, я понял далеко не сразу. Мне казалось, что это что-то таинственное, как Древний Китай.

Иногда у меня возникало подозрение, что Корягин цыган, хотя он не проявлял ни малейшей склонности ни к лошадям, ни к гитаре. Но я отказался от этой мысли. Лишь позже я разведаль, какой у Корягина любимый конек, узнал, что так же, по-домашнему, а может, еще более по-домашнему, чем в Атлантическом и Индийском океанах, он мог бы чувствовать себя и под небесным куполом, в просторах то облачного, то безоблачного, то голубого, то пасмурного воздушного океана, океана своей юности.

Как только судно добралось до Мирного, Корягин тотчас исчез — улетел вместе с Толстиковым и Трешниковым на Полюс недоступности. В этом шестнадцатичасовом полете он вел аэрологические наблюдения. Вернулся он оттуда с торжествующей улыбкой.

— Этот полюс у нас в руках.

Потом началась разгрузка и перегрузка. Пришлось перетаскивать снаряжение аэрологического отряда с «Кооперации» на «Обь». Трещины, плохой лед, то длительные задержки, то бешеный темп. В те дни Корягин улыбался куда реже, зато улыбка его бывала такой ядовитой, что пропадала всякая охота спорить. Он похудел, стал суровее. Наконец-то началась настоящая работа. И вскоре Иван Иванович исчез вместе с «Обью». Словом, встретился тебе на пути хороший, отзывчивый человек, а потом скрылся в каком-то холодном далеке на пути к морю Росса. Вокруг тебя много других людей, таких же хороших и мужественных, и под влиянием новых впечатлений образ Корягина начинает блекнуть. Остается лишь страница в дневнике, светлое, но беглое воспоминание и ощущение того, что в доброй улыбке этого человека скрыто ровно столько суровости, сколько нужно каждому из нас, чтобы не скиснуть от благодушия.

Этим дело могло бы и кончиться.

Но мы опять встретились в Австралии, в Аделаиде, куда пришла из Новой Зеландии «Обь». В тот же день

в Аделаиду прибыла и английская королева-мать, из-за чего на «Кооперации» толпилось меньше народу, чем всегда. И мы были благодарны ее величеству. Слишком уж нас одолевали с утра до вечера расспросами о ценах на продовольствие, о квартирной плате, о возможности учиться, заводя заодно речи о свободах западного мира, о всех холодильниках и телевизорах. Уставшие от этого, мы все кинулись к тому причалу, где швартовалась «Обь». Портовые власти не сразу пустили нас на ледок, у поручней которого выстроилась вся экспедиция. Они напоминали ласточек на проводах. И когда эти ласточки разевали клювы, какая чудесная музыка до нас доносилась! Музыка того самого русского языка, на котором говорили и эмигранты, того самого, на котором пел, оплакивая прошлое, «второй Вертинский», то есть Лещенко:

Ялта, где растет золотой виноград, —

но насколько по-другому он теперь звучал. Ведь приехали люди, не отделенные от нас стеной времени, предрасудков и лжи.

Остриженный наголо, обветренный и загорелый Корягин казался с виду двадцатипятилетним. Да в тот день он и был таким. Потом я зашел в каюту Ивана Ивановича, расположенную на корме. Поджав по-портновски ноги, он сидел на полу и изучал в хитроумном радиоккомбайне приспособление, автоматически менявшее пластинки. Приспособление напоминало человеческую руку. В каюту то и дело заходил народ и с «Кооперации» и с «Оби», чтобы полюбоваться тем, как серьезный ученый преклоняется перед Западом.

К тому времени «Обь» уже успела пройти большую часть своего сложного маршрута, и аэрологический отряд, руководимый Корягиным, собрал с помощью ракет и радиозондов такие сведения о верхних слоях атмосферы в некоторых районах, какими еще никто в мире не располагал.

Но мы говорили не об этом. Корягин спросил меня, как подвигается книга. Мы спустились на причал. На зубах у нас закрипел песок. Я ответил на его вопрос. Он настойчиво советовал мне, вернее, требовал на правах старшего товарища, чтобы я подчеркнул чисто научный, совершенно чуждый военным или стратегическим задачам характер нашей экспедиции, нашей науки. В то время в западной прессе писали, будто Мирный превращен

в базу для советских подводных лодок и в стартовую площадку для атомных ракет. По-видимому, приспособление, столь похожее с виду на человеческую руку, продолжает где-то автоматически ставить старые и заигранные антисоветские пластинки, заполняя враньем эфир и тысячи тонн бумаги. Корягин возвращался к этому вопросу все снова и снова, и наш разговор, начавшийся с шуток и смеха, закончился весьма серьезно. И когда я писал свою книгу в Индийском океане, мне часто казалось, что за моей спиной стоит Иван Иванович...

Корягин берет микрофон:

— До запуска ракеты остается тридцать минут. Повторяю...

Тонкий трос, соединяющий хвост ракеты с установкой, натягивается. Платформа, на которой лежит ракета, повернута под таким углом, что серебристая головка нацеливается прямо на жерло установки, расположенное почти горизонтально. Коля с Геней хватают трос, и ракета тихо соскальзывает в установку.

Солнце отрывается от моря. На палубе поблескивают одинокие розовато-серые пятна наледи — следы волн, переклестывавших через борт. Если бы не было так холодно, можно было бы подумать, что море вот-вот закипит: то рдея, то сгушаясь, над ним струится пар, принимая где форму фронтальных волн, где очертания островов и холмов со снежными вершинами, сверкающими на солнце. Самая большая котельная — всемирный океан — ведет здесь, в преддверье Охотского моря, войну с морозом. Порывы сильного ветра проносят над палубой клочья серого тумана, треплют одежду на людях, собравшихся вокруг ракеты. Эдуард Давыдович прячет голову за релинг, его лицо стало от мороза красным и злым. Да и руки Рэма Васильевича невольно тянутся к ушам.

— Ага, Спарта начинает растирать уши, — замечает Корягин, он сегодня в хорошем настроении.

В конце 1958 года я жил в Москве. Как-то у меня в гостях сидели собратья по перу, когда ко мне зашел Корягин. Не скрою, мне хотелось похвастаться им перед товарищами. Мы сидели допоздна. Корягин рассказывал обо всем понемногу: об Аргентине, о Чили, об островах Пасхи, об Аку-Аку. Но о себе, о своей работе — ни слова. В лучшем случае он согласился бы набросать чертёж своей биографии и пояснить, что Иван Иванович состоит из таких-то приборов, из простых и турбореак-

тивных двигателей, из деталей стратостата, аэростата (за конструирование которого ему присудили Государственную премию), из ракетных головок, передатчиков, устанавливаемых на радиозондах, и ряда других механизмов общим весом не меньше пяти тонн. В тот вечер он слушал, улыбался и поддакивал. Видно, он не чувствовал себя по-домашнему. На следующий день я спросил у одного товарища, как ему понравился Корягин, и мне ответили:

— Знаешь... Ты с ним, конечно, лучше знаком, но... к нему не подступишься.— Чуть погода товарищ добавил: — Согласен ты или нет, но чаще всего мы находим путь к чужой человеческой душе через слабости и страсти человека. Там легче всего пробить стену. А если этого нет, то...

То что тогда?

Корягин курит и от рюмки коньяку тоже не откажется. Но, по-видимому, эти слабости слишком ничтожны, чтобы сделать человека человеком. Я ничего не сумел ответить своему товарищу. Насколько я узнал, у Корягина не набралось бы такого количества слабостей, чтобы он мог превратиться в полноценного литературного героя, богатого внутренними конфликтами. Мы не раз сражались из-за книг, из-за книжных персонажей, и его оценки часто заставляли меня сердиться, но и это мало помогало. Нередко он анализировал романы как специалист по аэродинамике и пытался в неравновесии найти равновесие. Его заставляли ошестиниваться зачастую и наиболее рельефные персонажи в советской литературе последних лет: все эти молодые люди, испорченные либо вконец, либо наполовину, либо опустившиеся, либо опускающиеся. «Стиляга на стилинге едет и стилингой погоняет. Будь это правдой, так не было бы у нас ни «Воейкова», ни ракет. Ни черта бы не было. Был бы сплошной кабак. А ты мне хочешь доказать...»

Доказывать ему было нелегко.

В ту пору я еще не знал того, что знаю теперь и что в какой-то степени могло смягчить моего критически настроенного товарища: Корягин суеверен. Этот человек, вполне освоившийся в мире современной и современной техники, боится на свете только двух вещей: понедельника и числа тринадцать. Если он увидит, что на каком-нибудь приборе стоит номер пятьсот тридцать пять, или семьсот двадцать четыре, или девятьсот тридцать один, то его тут же охватывает сомнение: а вдруг

этот прибор, помеченный чертовой дюжиной, вообще не будет работать. В очереди на такси он может уступить другому машину с сомнительным номером. Он пытался меня уверить, что радиозонд, запущенный с «Воейкова» тринадцатым, выполнил задание хуже двенадцатого и четырнадцатого. Мы собрали сведения о тринадцатом радиозонде. В самом деле, согласно измерениям, этот зонд поднялся на триста метров ниже двенадцатого и на полкилометра ниже четырнадцатого. Правда, при высоте в двадцать пять, двадцать шесть километров — это не ахти какая разница. И до тринадцатого радиозонда и после него случалось, что баллоны лопались еще на палубе, а иные тонули в море прямо у нас на глазах, взлетев едва ли на двадцать метров.

Впрочем, во флоте действительно боятся понедельника. И я потратил немало сил, чтобы убедить штурманов и ученых, что понедельник, которого следует опасаться по русской морской традиции, далеко не так страшен, как эстонская пятница — вот ее ученым вправду следует бояться. Самое худшее, когда пятница приходится на тринадцатое число. А хийумцы говорят, имея в виду месяц с пятью пятницами: «Дай бог поскорее бы пронесло эту напасть!». Месяцы с пятью пятницами, — я думаю, что это можно обосновать научно, — самые штормовые. Разумеется, и понедельники, если подойти серьезно...

Почему я не выношу разговорчивых людей? Если удержаться от обобщения и задать этот вопрос только самому себе, то придется ответить: потому, что они не дают мне поговорить. Мы должны научиться слушать очевидцев вчерашних событий, мы должны научиться слушать современников, в чьей речи угадывается слабый, но все более крепнущий голос завтрашнего дня. Современный герой разговорчив — надо только уметь его слушать. Безусловно, легче описать лицо старика или землю, изрезанную окопами и развороченную бомбами, чем лицо юноши или пшеницу на полях. Это известно всем. Но, к несчастью, часто бывает так, что мы заседаем изо дня в день в накуренных комнатах и до хриплого изнеможения спорим о герое, определяя, словно химики, его отдельные, не всегда самые главные элементы. И потом расходимся с чувством удовлетворения: хоть на шагок мы да приблизились к истине. Но не отошли ли мы на два шага в сторону? Ибо тот, на кого мы тратили свое время и свои мозги, между тем работал под землей или на земле, летал на самолете, стоял на командном мости-

ке корабля, конструировал ракеты и составлял карту обратной, неведомой стороны Луны. А мы в это время слушали самих себя, а не его, этого разговорчивого современника. Странное дело, чем более далек человек от жизни, тем красноречивее он разглагольствует о своем современнике, тем непоколебимее его представление об этом «великом неизвестном» и тем упорнее он цепляется за эталоны времен Николая Второго. Только подумаешь, сколько в последние годы мы потратили времени на подобную болтовню, как хочется прыгнуть за борт.

Года два назад на Тоомпеа сняли милицейский пост у здания Совета Министров Эстонской ССР. Теперь можно заходить в ворота без пропуска и без проверки паспорта. Вскоре после снятия поста я увидел, как один человек беспомощно повернул от ворот обратно:

— Там нельзя пройти — нет милиции!

Но как быть с человеком вроде Корягина? Если взять за основу старый, но все еще сохранивший негласное значение эталон, таких вообще не должно быть. Ибо согласно некой ни к черту не годной теорийке, согласно этому незаконному милицейскому посту, давно ожидающему снятия, в полноценном литературном герое, отвечающем самым высоким требованиям, достоинства должны быть обязательно уравновешены с недостатками. Прямо зло берет, с каким плохо скрываемым упоением мы роемся в пережитках современного человека. Мы стали великими специалистами по части недостатков, мы описываем их словно какую-то драгоценность, украденную у нас карманником. Не в этом ли одна из причин того, что по нашей литературе бродит столько полубольных и больных старых интеллигентов, изображаемых часто крайне неинтеллигентно. Разумеется, тяжело, когда человеку не удастся выдержать бурный натиск новой эпохи и он дает в себе погибнуть или сам в себе убивает Моцарта. Согласен, это трагедия. Но наша главная задача состоит вовсе не в том, чтобы нести караул и описывать мертвецов. В конце концов, мы должны идти к тем людям, в которых Моцарт жив.

— До запуска ракеты остается пятнадцать минут. Повторяю...

Ракетная установка медленно разворачивается жерлом кверху почти под прямым углом к палубе. И при звуках этой команды по судну прокатывается ток напряжения, сила которого будет теперь нарастать с каждой минутой. Море куда-то уходит — остается только

носовая палуба и пирамида с выпуклыми гранями, только кинокамера на самом носу корабля и Эдуард Давыдович, колотящий рукой о руку, чтобы согреться. Остаются только люди и ракета, в которую вложено столько людского терпения и труда и которая нацелилась в холодное светлое небо — в перья ангелов нашего детства.

Человек, в котором жив Моцарт... Я думаю, что в Корягине, как и в каждом человеке, любящем свою работу и видящем в ней высокий смысл, что в насквозь пропитанном техникой Иване Ивановиче Моцарт жив, о чем, правда, его маловыразительный голос никак не свидетельствует. Но хотя этот голос и не отличается музыкальностью, в Иване Ивановиче не прекращалось и не прекращается создание своей, неповторимой, чисто корягинской симфонии, то радостной, то мрачной, но всегда исполненной того напряжения, какое охватило корабль после команды: «До запуска ракеты остается пятнадцать минут!»

Только идиоты могут все время смеяться. В жизни спокойного с виду, уравновешенного и веселого Корягина бывало немало моментов, когда музыка в его душе начинала греметь драматично, а порой и мучительно и когда он изо всех сил старался, чтобы она не перешла в рев бури.

В Японском море проводились собеседования с самыми молодыми членами экспедиции, жителями Дальнего Востока, с теми, кто впоследствии вместе с «людьми Ивана Ивановича» вошел в состав тихоокеанской группы. Нередко эти беседы проходили очень напряженно, без всякой тени юмора и едва не кончались взрывом. Вел их Павел Андреевич Медведев, лучше знавший дальневосточников и умевший исподволь направить разговор в нужное русло. В беседах принимал участие и Корягин и тот товарищ, которому в экспедиции предстояло взять на себя роль рулевого. А мне тоже разрешили сидеть в углу каюты с записной книжкой в руках.

Медведев — старый друг Корягина, по образованию гидролог. Прежде его главной слабостью были реки и охота, во Владивостоке к этой слабости прибавились моря и океаны. Он хороший ученый (проверить этого я не могу, но полагаюсь на других), однако на «Воейкове» он в основном занимался организационной и руководящей работой. Этот тяжеловес, способный отмахать на лыжах в погоне за волком или зайцем полсотни верст, показался мне при первой встрече во Влади-

востоке холодным, суровым и расчетливым человеком, экономившим каждое слово. В тот день он был озабочен. Не будучи исконным дальневосточником, он уже успел заразиться дальневосточной гордостью, особенно ощутимой в молодом столетнем Владивостоке. Иногда эта гордость скупа на слова и сдержанна, но иногда без удержу превозносит свой край. Людям, прожившим тут всю свою жизнь, с трудом удается скрыть чувство превосходства над теми, кто живет западнее Урала. Здесь ревниво подчеркивается разница между старыми и молодыми дальневосточниками. Молодые по возрасту люди нередко попадают в «старики», а люди пожилые оказываются «зелеными новичками». В краю, где все в движении, это естественно.

На судне я сталкивался с Медведевым каждый день. Его спокойствие было таким же тяжеловесным, как и он сам. Лишь однажды он повысил голос, когда выступал на последнем собрании экспедиции. Похвалив ракетный отряд, он затем перешел к метеорологам, для которых плавание по Японскому морю было экзаменом, и сказал, что эти люди старую технику уже забыли, а новой еще не овладели. (На «Воейкове» пользовались радиозондами нового типа.) Но хоть он и задал синоптикам баню, речь его все время оставалась корректной.

Как-то в его присутствии будущий начальник тихоокеанской экспедиции водил указкой по карте, на которой был нарисован гигантский треугольник, усеянный черными кружочками: пунктами ракетных исследований. За пять минут он добрался до островов Фиджи и вернулся во Владивосток. Но в этих пяти минутах равнодушия и скуки было на час. И не было ни слова о смысле будущей экспедиции. Потом, уже в каюте, Павел Андреевич за это выступление распял своего преемника на кресте. Павел Андреевич сидел в своем кресле, грузный и неподвижный, с крупным скульптурным лицом, и не давал провалившемуся оратору сказать в свою защиту ни словечка. «Пастух с овцами и то человечнее разговаривает, чем ты говорил со своими будущими сотрудниками. Фактически люди у тебя прекрасные, не исключая метеорологов и синоптиков. Тебе что, одни доктора наук нужны? Подумать только, начальник научной экспедиции и такой шкурный фельдфебельский тон! Мы еще потолкуем!» — угрожающе сказал Павел Андреевич и начал ругаться под нос, явно только для того, чтобы очистить душу от словесного мусора.

Вообще этот человек был воплощенным чувством такта. О своих сотрудниках он отзывался только хорошо.

В тот день, когда они с Иваном Ивановичем проводили первые собеседования с членами экспедиции, меня поразило их самообладание. Нередко за властью, как административной, так и научной, неотступно следуют чрезмерная нервность и повышенный тон. Ни крикливый директор, ни буйный ядовитый профессор не являются писательским вымыслом.

Но большинство встреч проходило сердечно и деловито. Войдет, скажем, в каюту робкий юноша с лицом Роберта Бернса, сядет на краешек стула, а куда деть шапку, не знает. По рукам видно, до чего он волнуется. Он океанограф, будущий начальник отряда. Дело знает — об этом шел разговор перед его приходом. Что такому посоветуешь? Только одно: не хватайся за все сам, не будь слишком мягким и добрым. Ты начальник отряда. На тебя смотрит весь мир.

Юноша все отмалчивается, но лоб его покрывается испариной. Он кается в том, что не умеет командовать. Ничего не выходит! Но он попробует научиться. Попробует. А после того как он исчезает (часть людей уходит из каюты, но многие просто проваливаются), Павел Андреевич и Иван Иванович несколько медлят с вызовом следующего. Им жаль расставаться с тем чувством внутренней радости, которое вызвал у них юноша, не умеющий командовать.

— Хороший парень,— говорит Павел Андреевич.— Умный. Я знаю.

— Главное, чтобы в его отряд лодыри не затесались. Обведут вокруг пальца и заставят вместо себя ишачить,— думает вслух Иван Иванович.

— Мы тоже не сразу командовать научились,— напоминает Павел Андреевич.— Но ведь научились.

Разговаривать с такими молодыми людьми, по сути дела твоими единомышленниками,— это отдых. Но попадают и себялюбцы, начинающие карьеристы, чья душа похожа на мутную бутылку. Хватит ли и на них терпения этим двоим?

Терпения хватило, даже с избытком, и, как мне казалось, с nepозволительным избытком.

Первой «мутной бутылкой» оказался аэролог, в некотором роде коллега Корягина, который поэтому и взялся руководить беседой. Впрочем, это был не разговор,

а какая-то долгая, бесконечная пытка. Аэролог закончил физико-математический факультет. Закончил, несмотря на все трудности, интриги и помыкательства — вещи, к сожалению, слишком обычные в нашем советском обществе, как можно было понять по его скорбно-му виду...

— Простите, пожалуйста, что я перебил вас,— Иван Иванович отвел взгляд в сторону,— кто же и как вам помыкал?

— В колхоз на картошку посылали.

— Весь курс?

— Да, весь курс.

— А заодно и вас?

— Да, и меня. На десять дней.

— Странно,— сказал Павел Андреевич и побагровел, но голос его остался таким же сдержанным.— Экспедиция нам предстоит длительная — вы надеетесь справиться с работой? Три месяца в море, зима, и к тому же в эту пору года в северной части Тихого океана часто штормит. Это ведь похуже, чем пробыть десять дней на картошке.

— Как-нибудь выкручусь,— равнодушно отвечает молодой человек.

— Как-нибудь выкрутиться — это нам не подходит,— резко обрывает его Корягин.— Вы собираетесь специализироваться на аэрологии?

— На первых порах.

— А потом?

— Может быть, на астрофизике.

— Тоже на первых порах?

— Возможно.— И молодой аэролог смотрит на двух пожилых ученых, смотрит сверху вниз, хоть он и ниже их ростом. До сих пор не понимаю, как он с этим справился. Он уже довольно долго сосал грудь государства и успешно выкручивался, имея дело с дяденьками и по-настоящему этими, а они тут вздумали устраивать ему экзамены. И он криво усмехнулся, но от экзаменов отвертеться не сумел.

Иван Иванович стал задавать ему вопросы о физических процессах, происходящих в атмосфере.

Парень нес околесицу или молчал.

Его стали спрашивать о вещах, которые должен знать каждый человек, получивший образование аэролога.

Околесица или молчание.

— Извините, но как можно не знать таких простых вещей? — спросил Корягин, скорее пораженный, чем рассерженный.

И опять началась старая песня: трудности, помыкательства, интриги. На картошку посылали.

Начался серьезный разговор и серьезный экзамен. Павел Андреевич и Иван Иванович взламывали стену равнодушия и плаксивого нахальства. Даже мне, человеку постороннему, было мучительно следить за борьбой этих двух умных людей с дипломированным болваном, болваном в самом широком и опасном смысле слова, болваном, которого пытались превратить в человека. И Корягин и Медведев — люди с нормальной нервной системой, но им пришлось потратить столько же энергии на то, чтобы держать себя в рамках, сколько и на агитацию, от которой я лично не ждал никакого толку. Корягин и Медведев говорили о жизни и о том, что так жить нельзя. Но аэролог, уже притихший и взмокший, смотрел на них, будто на врагов, и все мычал про интриги и помыкательства. При воспоминании об этом у меня до сих пор холодеет в груди, и мне хотелось бы, чтобы эти страницы остались ненаписанными.

И еще один... Этого никто не пытался переубеждать. Он был постарше аэролога. Физически крепкий. Бесспорно интеллигентный. Медведев и Корягин предложили ему пост старшего инженера ракетного отряда.

Он попросил назначить его младшим инженером.

— Почему? — спросил Корягин. — Ведь вы знакомы с ракетами, с которыми мы работаем.

— Знаком. Тип старый, — ответил тот. — Дело нехитрое.

— Почему же вы не хотите стать старшим инженером? Наверно, никто из людей вашего будущего отряда не изучил этих ракет так хорошо, как вы. Да и зарплата выше.

— Поэтому и не хочу.

— Почему поэтому?

— Потому что зарплата выше.

— Что??? — И Корягин с Медведевым во все глаза уставились на несправного идеалиста.

— Потому не хочу, — идеалист смущенно улыбнулся, — что я пенсионер. Если моя зарплата в сумме с пенсией превысит известный предел, я потеряю пенсию. Так и получится. Служить старшим инженером мне убыточно.

И все. Подход столь простой и логичный, что не было смысла его опровергать. Он добился, чего хотел, и ушел. И в каюте долго царило молчание...

Здесь воздух давит, как свинец,
Кричу, кричу, кричу, кричу:
— Идите! — людям я кричу.

(Н. Хикмет, «Как Керем»)

— Ну? — спросил Медведев, ни на кого не глядя.

— Жуть! — ответил Корягин.

Человеку, так тесно связанному с воздушным океаном, как Корягин, было наверняка тяжело, когда из-за туберкулеза и повышенного кровяного давления ему не разрешили летать. Товарищи его летали, поднимались за облака на аэростатах, которые он конструировал, а его удерживала внизу и не пускала вверх свинцовая тяжесть земли. Но именно в такие тяжелые моменты отчетливее всего проявляется несущая сила человеческих крыльев.

Несколько дней назад мы встали на рейд. Аэрологи запускали радиозонды, океанологи ежедневно проводили свои замеры, метеорологи составляли карты погоды, но ракетная установка была накрыта брезентом и абсолютно подготовленные к запуску ракеты лежали в монтажном трюме под белыми чехлами. Не работал лока́тор. Хитроумное приспособление по названию «компонент», действующее, как и ги́рокомпас, по принципу волчка и при любой качке удерживающее опору лока́тора в горизонтальном положении, этот самый компонент отказал, и лока́тор шатался в такт ударам волн, словно пьяный. Надо было срочно наладить компонент. Внизу, на дне корабля, в компонентном отсеке, куда вел железный трап, крутой и узкий, механики уже не раз сменяли друг друга, а три человека оставались там безвыходно: один из конструкторов лока́торов, которого мы звали дядя Боря, Корягин и старший механик Чувалов. К тому времени, когда я к ним спустился, они просидели там, ни разу не побывав на палубе, тридцать часов. Я надеялся, что наконец увижу Корягина таким, каким он бывал в те дни, когда в его душе играла мрачная музыка.

Он был весь перемазан маслом, усталые глаза потускнели. И я впервые подумал, что ему уже далеко за сорок. Компонент безучастно слушал все, что о нем говорили. (Разбирать его оказалось очень трудно.) А Ко-

Корягин был непохож даже на родственника того человека, который сидит в большом кабинете Центральной аэрологической обсерватории. Но усталыми у него были только руки и глаза. И когда кто-то сказал ему: «Вы бы пошли отдохнуть хоть на полчаса», — Корягин проворчал:

— К дьяволу! Дайте подумать. Где же поломка? — И добавил несколько дружелюбнее: — Пока компонент не будет в порядке, наверх не пойду. Давайте рассуждать логически: где же поломка?

Ремонт компонента продолжался почти сорок часов. Потом все трое поднялись наверх, и Корягин с дядей Борей, сходя в душ, вышли оттуда такими, будто этих сорока часов и не было. Прежде чем лечь спать, Корягин еще успел задать головоломку одному участнику экспедиции. Теперь, когда я пишу эти строки, мне вспоминаются два Корягина: тот, кого знают все, и другой, похожий на цыгана и напряженно думающий: «Давайте рассуждать логически: где же поломка?» Этот замасленный и усталый Корягин столь же подлинный, как и другой — вежливый и спокойный.

Люди, в которых жив Моцарт, у которых есть чувство эпохи, у которых чувство ответственности перед своей страной стало второй натурой, люди, итоги чьих трудов обладают для нас неизмеримой ценностью, руководятся в жизни одним неписанным законом: брать на себя обязательства, либо близкие к пределу их возможностей, либо доходящие до этого предела. Вот почему им всегда удается преодолеть свой вчерашний потолок высоты.

— До запуска ракеты остается десять минут.

Включаются все системы наблюдения. На экране телеметрической рубки начинают прыгать зеленые электрические зайчики. Локатор настораживается. Напряжение нарастает.

Жизненный путь человека, который стоит рядом со мной, начался так же обычно, как у тех, кто впоследствии составил ядро наших кадровых тружеников. После семилетки пошел в заводское училище и до 1934 года работал слесарем. Но еще в 1932 году он связал свою жизнь с авиацией, и с тех пор воздушный океан становится для него второй родиной. Он летает на аэростатах, а после окончания летной школы водит планеры и самолеты Центрального аэроклуба, становится одновременно инструктором этого клуба, овладевает парашютом. Перед Десятым съездом комсомола организу-

ются групповые прыжки лыжных десантов, частично составленных из комсомольцев, и он командует отрядом, который прыгает в районе Смоленска. Оттуда они возвращаются на лыжах в Москву, устраивая по дороге лекции о будущем нашей авиации и парашютного спорта. Об этом молодом и наверняка увлекательном мероприятии Иван Иванович вспоминает до сих пор. И каждый раз, как вспоминает, превращается из партийца с большим жизненным опытом в комсомольца, а временами чуть ли не в пионера...

В царствование Грозного «некий смерд, боярского сына холоп, Никита» соорудил себе крылья и попробовал летать. За это с него сняли голову. Несколько столетий спустя, в ту пору, когда сооружение крыльев и желание летать перестали называть бесовской хитростью, когда люди начали подниматься за облака в гондолах воздушных шаров и стратостатов, воздушный океан часто проявлял враждебность к летунам и многие из них гибли. Но как раз на преодолении этой враждебности и росли смельчаки, которые не боялись риска, не боялись неведомых путей и умели ставить себе задачи, доходящие до предела человеческих возможностей. Бьёрнстерн Бьёрнсон где-то пишет: «Ведь мы всегда побеждали, исключая те случаи, когда мы терпели поражение...» Человек дерзал и терпел поражение, опять дерзал и опять терпел неудачу, но даже неудачи приближали его к цели.

Не всякая зависть предосудительна. Зависть вызывается порой такими причинами, которые облагораживают это чувство, делают его человеческим и чистым и вполне приемлемым. Я могу позавидовать автору стихов, потрясших меня, или хорошему новеллисту. Я позавидую тому, кто напишет роман, отвечающий пока еще смутным, но уже определившимся требованиям, какие мы предъявляем к советскому роману завтрашнего дня. Подобная зависть ставит нас в положение учеников, и хотя она грызет нас, но и заставляет подтягиваться, и мы становимся лучше и требовательнее к себе. Подобное чувство превращает предмет нашей зависти в пример для подражания — оно лишено мелочности.

Есть разновидность зависти, какую испытываешь даже к лучшему другу; завидуешь переживаниям его юности, если он старше тебя, и завидуешь, что он увидит нарождающиеся сегодня радужно-яркие завтрашние дни, если этот друг моложе тебя. Нехорошо быть

жадным, но как вспомнишь, что Корягин провел в гондолах воздушных шаров и стратостатов две тысячи часов, то поневоле думаешь, что от него бы не убыло, если бы он уступил тебе хоть два часика. А теперь я могу лишь мысленно представить себе гигантский баллон и повисшую под ним гондолу с людьми и приборами, представить, как шар скользит по воздушному океану, словно лодка по течению, представить себе эту тишину вокруг и облака, проплывающие внизу, будто ледяные поля, и мысли, какие могут там прийти человеку в голову.

Передо мною лежит книга, прекрасная, содержательная книга, заставляющая думать. Это «Записки спортсмена-воздухоплователя и парашютиста» заслуженного мастера спорта Порфирия Полосухина, изданные в 1953 году. Полосухин — один из учителей Корягина, один из его товарищей по воздухоплаванию. Это известный парашютист, поставивший много рекордов, и вообще у него немалые заслуги в деле развития этого спорта смелых. Впрочем, парашютизм больше чем спорт. Ему сопутствуют трудности и радости, приключения, неудачи и даже несчастья, полеты на воздушных шарах и субстратостатах. Весь этот поднебесный, пронизанный ветрами мир пятого океана, далекий и в то же время близкий, предстает перед нами в книге Полосухина. Мир этот бывает и враждебным. Полосухину пришлось однажды совершить ночной прыжок с высоты пять тысяч метров при свободном падении в течение шестидесяти пяти секунд, то есть он должен был падать с закрытым парашютом четыре тысячи метров. Но невыверенный секундомер остановился на пятьдесят восьмой секунде, и Полосухин внезапно увидел, что приближается со страшной скоростью к чему-то огромному и белому — к покрытой снегом и тьмой земле. И в тот самый момент, когда ему удается раскрыть парашют, он врзается в сугроб и от удара жуткой силы теряет сознание. Он долго отлеживается в больнице, ему долго не разрешают прыгать, но после окончательного выздоровления он сразу же вспоминает свою старую любовь, и его стокилограммовое, хорошо натренированное тело устремляется все снова и снова к несущейся навстречу земле.

А потом происходит катастрофа.

Недавно Корягин водил меня к своему наставнику и другу. Мы поздоровались с Порфирием Полосухиным, пожав его плечо. Обе руки были у него забинтованы. Уже восемь лет он не поднимается с постели, и врачи до

сих пор не могут ему вернуть способность двигаться. Ни руки, ни ноги ему не подчиняются. Для всякого человека это трагедия. Два года назад Полосухин ослеп. И все-таки он не перестает разыскивать всевозможные каналы, чтобы связаться с жизнью и со своим океаном, воздушным океаном. К этим каналам относится и радио, и телефон на столе, и пионеры из дружины имени Полосухина, читающие ему вслух. К ним же относятся и его бывшие ученики — люди из породы Корягиных.

Едва мы пришли, как Иван Иванович сразу же заговорил с Полосухиным об общих знакомых, о новых типах самолетов, об авариях. Для человека непосвященного все это недоступный мир, но было похоже, что неподвижный Полосухин ориентируется в нем ничуть не хуже, чем зрячий и такой подвижной Корягин.

Сильнее всего потрясла меня в Полосухине вера. Не слепая вера, а твердая убежденность в том, что он обязательно вернется к оставленному им делу. За восемь лет неподвижности человек не утратил ощущения того, что он сидит в самолете. За два года непрерывной ночи не потерял уверенности в том, что он будет видеть и синее небо, и цветы, и деревья, и лица своих детей. Говорят, в Корее проведена удивительная глазная операция. Ему известно о ней лучше, чем скептикам-врачам.

Мы вышли. На улице Корягин меня спросил:

— Видел Человека?

Да, видел.

На каждом из нас оставляют свой след наши друзья, товарищи. Этот коллектив нас формирует: стачивает лишнее, добавляет недостающее. Вы замечали, что муж и жена с долголетним супружеским стажем становятся похожи друг на друга. Даже лицом. Становятся одинаковыми их улыбки, их манера речи и походка, и все больше и больше сближаются точки зрения. При этом, разумеется, сильный формирует слабого. Если эстонец женится на латышке, то дома говорят по-латышски — обратные случаи очень редки. Недавно я встретил супружескую пару, с которой долгое время не виделся. Муж — человек плотного сложения, похожий на боксера, явно очень волевой, до предела эгоистичный и глупый ровно настолько, чтобы никогда не сомневаться в своих суконных убеждениях. Все коллеги для него конкуренты, и только конкуренты. Если бы не законы, он всем бы нанес нокаут. Жена его была когда-то стройной, хрупкой и синеглазой. Тем поразительнее было ви-

деть, как ее красивое лицо подергивалось той же самой судорогой презрения, какая неизменно украшала лицо ее мужа, как ее васильковыми глазами внезапно уставлялся на вас эгонстичный разъяренный бык. К счастью, такие метаморфозы случаются нечасто. Нормальный здоровый человек тянется к хорошему и, опираясь на сильного, сам становится сильнее.

Корягина с юности окружали сильные, умные и смелые люди, в которых разум не угасил воли к риску, и наоборот. Он рано попал в родственную среду.

Многие из друзей его юности, бывшие летчиками или парашютистами, погибли. А те, кто выжил... Да, только из книги Полосухина я узнал, что за человек Семен Гейгеров, пленивший меня в Антарктике своим сочным юмором. Но сколько на его счету полетов, длившихся по несколько десятков часов, сколько требовалось смелости и воли к риску, когда он оказывался в положениях, которые лишь годы спустя стали выглядеть юмористически. Или аэролог Бабарыкин, старый воздушный волк, бывший при мне начальником станции Советская в Антарктиде. Я видел его на станции Комсомольская во время ожесточенного спора по вопросу о маршруте, горючем и картошке. Плохо, чертовски плохо знаю я своего разговорчивого современника, и оттого, что кто-то знает его еще хуже, мне ничуть не легче.

Борис Невернов, друг и летный спутник Корягина, погиб во время Великой Отечественной войны. Но я услышал его голос в книге Полосухина. Вот он рассказывает комсомольцам, начинающим воздухоплателям, о прелести их профессии, о приключениях в воздухе:

«Летим мы один раз с Корягиным. Пора уже идти на посадку. Под нами деревня. Ветер очень сильный. Ждем, значит, мы на клапан, разгоняем аэростат вниз, беремся за разрывное, а оно не вскрывается. Гондола как стукнется об землю! У нас у обоих фуражки слетели и остались на лугу. А мы — опять под облака. Ну, вы сами знаете, что значит получить новые форменные фуражки. Решаем садиться во что бы то ни стало. Опять разгоняемся вниз, вскрываем разрывное и попадаем прямо на дерево. Чуть его не сломали, но сами ничего — в порядке.

Молодежь, видно, была в поле, нас окружили одни старухи. Охают, причитают. Одна спрашивает: «Это у вас, родимые, авария произошла, что шар разорвался, или так и должно быть?» А мы в ответ: «Это, бабушка, называется нормальная посадка».

Однажды Корягин и его друг продержались в воздухе на аэростате объемом шестьсот кубических метров тридцать два часа подряд. Не иначе как в один из таких полетов рождалась сладостно-жуткая романтика историй вроде следующей:

«И вот прохожу я медленно над деревней. Низко, над самыми домами... А ночь такая лунная, все видно, как днем. Вдруг слышу разговор. Гляжу: около хаты сидят парень с девушкой. А рядом гармонь лежит. Парень обнял одной рукой девушку, а она говорит: «Да что ты, Коленька! Никогда не побоюсь. С таким, как ты, мне ничего не страшно!»

А я сверху говорю спокойно.

— Ой, страшно!

Смотрю, мои герои притихли, оглядываются по сторонам. Тогда я опять, только голос сделал такой замогильный:

— Ой, страшно вам!

Меня еще не далеко отнесло, а я все видел. Как схватятся они оба и бежать! Бедный парень даже гармонь забыл».

В самом деле, слышишь эту лунную тишину, видишь, как скользит по воздушному океану гондола, видишь эту деревню и сильную руку деревенского парня, и темные тени деревьев, и алый девичий рот, и отсутствующие лица влюбленных... Видишь даже, как при звуках этого невозмутимого небесного «ой, страшно!» сердца у обоих подскакивают да так и застревают в горле, когда некто неведомый и всевидящий жалуется своим замогильным голосом во второй раз. А гондола скользит дальше сквозь лунный свет и безмолвие, и по земле бежит за ней следом причудливая вытянутая тень. Может быть, теперь эти двое сами уже успели налетать по воздушным трассам десятки тысяч километров, может быть, они даже читали книгу Полосухина. А может, случилось и так, что двое пожилых подмосковных колхозников с неодобрением в душе слушают непочтительные разговоры молодежи и о небе и о звездах, этих гаванях будущего, о том, что чудес на свете не было и не бывает. И молча взглядывают на старую гармошку, немую свидетельницу их чуда. У них как-никак есть своя тайна, свое чудо, свершившееся лишь для них по воле Корягина и его друга Бориса Невернова.

— До запуска ракеты остается пять минут. Повторяю...

Последний осмотр установки, и носовая палуба пустеет. В локаторной рубке сидят перед экраном люди. Курс окончательно выверяется так, чтобы волна не била сбоку. И вот «Воейков» скользит уже только по инерции. Эдуард Давыдович, единственный человек, оставшийся на носовой палубе, берет телефонную трубку и, меча в нас гневные взоры, требует от командного мостика, чтобы его своевременно предупредили о запуске, а то он не успеет включить камеру. Его девиз «не употреблять оскорбительных слов» на этот раз утратил свою силу, потому что однажды его в самом деле забыли предупредить в последние секунды и ракета исчезла в небе раньше, чем сын Армении поймал ее в объектив. Погода была прекрасная, самая съёмочная, и Эдуард до сих пор этого не простил.

Все три судовых кока покидают свои раскаленные плиты и выходят на кормовую палубу.

А холодный пар все струится и струится над морем, заволакивая солнце.

Остается пять минут. На лице Корягина появляется едва заметная напряженность.

В зиму 1940/41 года, в памятную для Корягина зиму, ему и Фомину дали задание поднять субстратостат на большую высоту и произвести там необходимые научные измерения. Полет этот долго подготавливался, многие товарищи пришли их провожать. Примерно на высоте двух тысяч метров аэронавты обнаружили, что нижний клапан субстратостата — аппендикс, регулирующий давление газа в баллоне, — не открывается. Между тем плотность воздуха снизилась, и под напором газа громадный шар начал быстро округляться, внутрибаллонное давление уже угрожало нежной оболочке шара. Еще несколько минут, и стремительно набирающий высоту субстратостат лопнет, задание останется невыполненным и, может быть... Корягин решил действовать. В своей грузной одежде он попытался влезть по канату наверх, к аппендиксу. Первая попытка оказалась неудачной. Вторая — тоже. Стоит себе представить эту гимнастику на канате, это зрелище, которого никто не видел, и подумать, сколько нужно было смелости для этой эквилибристики между гондолой и шаром. Сейчас, вспоминая об этом, Корягин ухмыляется, но тогда он наверняка не ухмылялся. В такие минуты время течет с медлительностью каменного потока, минута кажется длиною в жизнь, и даже закаленным людям потом слу-

чается кричать во сне. Корягин не добрался до аппендикса, но они открыли верхний клапан, чтобы регулировать с его помощью давление в баллоне, и так, действуя вопреки всем законам вождения аэростатов, поднялись на заданную высоту, выполнили задание, а потом благополучно приземлились.

— ...остается три минуты. Повторяю...

Предел... Предельной высотой, на которую может подняться в открытой гондоле воздухоплаватель с кислородным прибором, разумеется, считается высота в десять километров. Известные аэронавты Бергсон и Зиринг поднялись в открытой гондоле на десять тысяч восемьсот метров. На такой высоте всегда царит пятидесятиградусный мороз и атмосферное давление падает до ста девяноста миллиметров. Не очень многим удавалось вернуться с этой высоты живыми.

В январе 1941 года Корягин вместе с Фоминым дважды преодолевают этот предел: в январе их шар поднимается на высоту в одиннадцать тысяч двести метров, а шестого февраля они поставили мировой рекорд, достигнув высоты в двенадцать тысяч двести двадцать три метра.

— Две минуты! — Иван Иванович произносит эти слова быстро, четко и отрывисто.

Во время войны капитан Корягин был тесно связан с частями противовоздушной обороны Москвы и работал в то же время в аэрологической обсерватории. После войны он несколько лет напряженно трудится над созданием автоматических стратостатов, над созданием аппаратуры, передающей на землю по радио с опасных для человека высот все необходимые науке данные.

Бывает, что техника поглощает человека целиком и полностью. Мир формул вытесняет чуть ли не все: любовь, страсть, радость, печаль, музыку. Я встречал таких рыцарей, таких мучеников науки, представляющих громадную ценность для нашей страны. Разумеется, и мир Корягина — это в значительной степени мир формул, сфера его интересов — заоблачная сфера аэрологических проблем. Но никогда он не терял интереса к людям, чью работу должен направлять и координировать, всегда оставался опытным партийным работником и организатором, наделенным большим чувством ответственности, понимающим, что человек, и в особенности молодой человек, более сложен, чем любой механизм.

— Остается сорок секунд!

В прошлом веке русский ученый Арендт очень точно высчитал, какова несущая сила птичьих крыльев. У маленьких птиц она равна 0,24—0,26 грамма на квадратный сантиметр крыла, у больших — 0,6—0,78 грамма. Я, наверно, бываю несправедлив, когда временами переношу эти вычисления на литературу, где сварливого воробья, клюющего конский навоз, отделяют от парящего в вышине зоркого орла прямо-таки космические расстояния, намного превышающие градации Арендта. И когда слышишь, как эти воробьи начинают чирикать, видя мир со своей воробьиной перспективы, невольно восклицаешь вместе со стариком из «Проданной колыбельной» Лакснеса: «Моя птица — лебедь!»

— Тридцать секунд!

Ветер разгоняет на миг пар вокруг «Воейкова», и клочок Японского моря кажется нам незамерзшим озером среди снегов. Стальные, холодные, белогривые волны все бегут, скрываясь ряд за рядом за белым занавесом тумана.

— Пятнадцать секунд!

Дав воображению свободу и представив Ивана Корягина птицей, я вижу, как велика тяжесть, приходящаяся на каждый сантиметр его крыла, как велика несущая сила этого крыла. Сейчас он молча следит за движением секундной стрелки, его лицо замкнуто и сосредоточенно. Кроме секундной стрелки и ракеты, сейчас для него ничего не существует.

Но укрепнуть его крыльям помог и Полосухин, помогли погибшие Фомин и Невернов, все его друзья по земле, по морю и по воздушному океану. У человека, которого воспитал комсомол, которому столько дала партия и с которого она теперь столько спрашивает, не могут быть слабые крылья. Это крылья человека, в котором жив Моцарт.

— Десять секунд!

Стремительно стучит сердце. Секунды уходят в небытие грохочущим шагом. «Пять секунд!.. Три секунды!..»

В рубке телеметристов начинает работать кинокамера, а Эдуард Давыдович сливается на носу корабля в одно целое со своим аппаратом.

Раздается словно удар бича:

— Старт!!!

Ракета взлетает вверх.

ПОСЛЕДНЯЯ РАКЕТА

Ракета взлетела вверх.

Как первая, вторая, третья, десятая, одиннадцатая.

Они ввинчивались по утрам в белесое, а по вечерам в чернильно-лиловое небо.

И вот ушла последняя, двенадцатая ракета. И собственник в моей душе, крестьянский сын, не может удержаться от крика:

— Это моя ракета! Моя! Моя личная!

Единственная ракета, запуска которой я не увидел. Я слышал команду Корягина. Когда на командном мостике начали отсчитывать не минуты, а уже секунды, я почти дошел до состояния нервного потрясения. Слово «старт» подбиралось ко мне, будто крокодил, и вот оно меня настигло. На букве «р» я нажал указательным пальцем на кнопку. Яркая вспышка взрыва в маленьком иллюминаторе. Легкий толчок. Крокодил исчез. Я побежал на мостик. И увидел лишь ночное небо. Двигатель моей ракеты уже падал в море, и только по локатору можно было определить местонахождение головки.

Сколько переживаний за один день! За обедом мне стало ясно, что Рэм Васильевич и Юрий Иванович не шутят, что они взаправду пустят меня к пульту управления, приняв все меры предосторожности. Разум говорил мне, что ничего плохого случиться не может. Но все-таки я несколько раз ходил смотреть на пульт, вернее, не на пульт, а на кнопку, которую мне предстояло нажать. Блохи всей Эстонии кусали меня. Оставалось девять часов, и эти часы казались бесконечными.

В тот миг, когда ракету подняли на палубу, мне очень захотелось сбежать с корабля. С мотора, выкрашенного в зеленый цвет, на меня уставился 535-й номер.

Я сложил цифры: $5+5+3=13$. Сложил еще раз. $5+3+5=13$. $3+5+5$ снова равно тринадцати. Я кинулся искать Ивана Ивановича.

— Она же взорвется на палубе! — сказал я ему.

— Кто взорвется? Что взорвется? — испугался Корягин.

— Ракета!

— Почему? — спросил меня этот человек, от которого я заразился верой в магию цифр.

— У нее пятьсот тридцать пятый номер.

— Ну и что?

— Сложи! Выходит тринадцать!

Тяжело победить в человеке убеждение, внушенное тобой же самим. Но Иван Иванович справился и с этой работой.

— Должен же кто-то и ее запустить,— утешал он меня.— Если ракета с таким ненадежным номером останется на корабле...

И вот она взлетела. 535-й номер достиг заданной высоты. На счетной машине в локаторной рубке растут четыре непрерывных колонки цифр. *Все системы работают нормально.* Я спускаюсь вниз, чтобы послушать песню ракеты. И слушаю пять минут подряд. Мне кажется, что 535-й номер поет иначе, чем все остальные ракеты, в ритме его сигналов мне чудится что-то веселое и бодрое.

— Слышишь, Коля? — спрашиваю я Орловского.

— Норма,— отвечает Коля.

— Порядок! — добавляет Котов.

Разве это я хотел от вас услышать, дорогие друзья? Опять коридоры и трапы. Я спрашиваю всех:

— Как вам сегодняшняя? Вы смотрели? Как впечатление?

— Обыкновенное. Но ничего. Красиво.

Разве это я хотел услышать, дорогие друзья?

Лишь кок, этот тенор и баритон в одном лице, оказался на судне единственным человеком, сумевшим сохранить в наш технический век чувство красоты и поэзии. Лишь он сообщил мне ту истину, которую я так ждал:

— Сегодняшняя — я даже не могу этого объяснить,— она взлетела с каким-то *особенным* «дзззи-ужжж». Совсем, совсем особенным!

Я пошел в каюту, насвистывая «Черного капитана».

Второй штурман схватил меня за грудки:

— Черт бы вас побрал! Вы в своем уме? На корабле не свистят!

— Почему? — спросил я, уставившись в его разъяренные глаза.

— Бурю накличете!

Я решаю пошадить «Воейкова» и ван Страатена.

Если бы ты только знал, штурман, какая дивная буря свистит сейчас в такелаже моей души! Весенняя, свежая, неумная. На ней можно и кончить рассказ об экспедиции в Японском море. И поставить точку.

Точка.



ЙЫНЬ
С ОСТРОВА
КИХНУ —
ДИКИЙ
КАПИТАН

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
С ПЕСНЯМИ
В ПЯТИ
КАРТИНАХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Энн Ууэтоа, по прозвищу Йынь с Кихну,
дикый капитан.

Историческая истина, весьма затравлен-
ная личность.

Мань, кок на «Фортуне».

Матильда, уборщица на «Фортуне».

Шнейдер, штурман «Фортуны».

Юрнас, боцман «Фортуны».

Валлинь, трактирщик.

Пееп

Андрус

Якоб

Михкель

Яан

Антти

Лаури

Гармонь

Кларнет

} матросы «Фортуны».

Капитан Керттунен.

Адмирал.

Адъютант адмирала.

Возлюбленная адмирала.

Англичанин.

Тор.

Писарь адмирала, синие бушлаты, две проститут-
ки, два половых, приказчик Альфред, порто-
вый врач, портовый инспектор, русский консул.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Петербург. Адмиралтейство. Приемная и кабинет адмирала. Адмирал, осанистый, красивый мужчина, беседует со своей возлюбленной. В приемной сидит адъютант адмирала, капитан второго ранга. Он обтачивает ногти и явно скучает.

Адмирал (*счастливым голосом*). Я ждал тебя! Я страдал! Как долго тебя не было! Много позидала в Москве?

Возлюбленная. Много! Бесконечные балы... Скука! И званые обеды... Скука! За мной увивались два немецких барона. Слава богу, что я уже вернулась к тебе, дорогой мой, адмиральчик мой, жизнь моя, вобла моя с погонями!

Адмирал. Вобла? Кто тебя научил таким компли- ментам?

Возлюбленная. Один мичман.

Адмирал (*настороженно*). Молодой?

Возлюбленная. Успокойся, милый! Подавая шубу, он с обожанием говорит о своем начальстве.

Адмирал (*с облегчением*). Вобла с погонями! Неплохо сказано. У нас в адмиралтействе полно этой воблы: сплошь одни бароны... Когда мы увидимся? Скоро?

Возлюбленная. Надеюсь, что вечером ты свободен. Я все устроила. Кроме меня и тебя, никого не будет... Кстати, милый, на Невском, у Казанского собора, я видела в лавке изумрудные подвески. Редкостные! Только боюсь, что какой-нибудь граф прицепит их к ушкам своей балерины.

Адмирал. Не бойся, моя радость! Сегодня же вечером эти серьги украсят те ушки, которые их достойны, (*про себя*) раз уж хомут опять украсил чью-то шею. (*Встает и подходит к ней.*)

Возлюбленная. Так на Невском, у Казанского собора...

Адмирал. Да-да, уж я найду! (*Обнимает ее.*)

Свет в кабинете гаснет. В приемной появляется Иынь с Кихну. Все в этом человеке монументально. У него волевое загорелое лицо моряка, серые глаза умны и лукавы. Волосы подстрижены коротко, отчего голова кажется круглой. Иынь высок, но это не очень заметно, так как у него широкие плечи. На нем кафтан цвета тюленьей шкуры, а полушарие живота, туго обтянутого жилетом, пересекает экватор толстой часовой цепочки из серебра. Сапоги с голенищами выше колен. На шее — шелковый платок, белизна которого как бы делает лицо Иыня еще более загорелым и обветренным. Платок заколот серебряной булавкой в виде якоря.

Иынь (*протягивает свою лапищу адъютанту*).
Будь здоров, высокоблагородие!

Адъютант (*поколебавшись, пожимает его руку с удивлением*). Здравствуйте, господин...

Иынь. Господин капитан. Это будет правильно.

Адъютант. ...господин капитан.

Иынь все еще трясет его руку.

Вы явно попали не туда, господин капитан. Здесь приемная адмирала. Какой отдел вам нужен, господин капитан? Впрочем, боюсь, у нас такого не окажется...

Иынь. И он здесь, и я здесь. Там внизу на меня накинулись сопляки с галунами. Бои твои, что ли? Хотели кафтан с меня содрать и тоже такое пели, но уж я им сказал!

Адъютант. Что же именно вы сказали, господин капитан?

Иынь сует ему под нос здоровенный красный кулак и делает соответствующую рожу.

Ну и как, поняли?

Иынь. Еще как поняли! Не сразу, но поняли.

Адъютант. Вам угодно попасть к адмиралу?

Иынь. К нему самому. Ради всякой мелюзги в Петербург я бы не потащился. Он здесь?

Адъютант. В данный момент — нет. Возможно, что его сегодня и не будет. Уехал в Кронштадт. Но если он появится, то как прикажете доложить о вас его превосходительству? Вы по какому вопросу?

Иынь. По вопросу жизни.

Адъютант (*глядя на Иыня, как на обезьяну невиданной породы*). Каким судном вы командуете, господин капитан?

Иынь. Каким судном? Каменным.

Адъютант. Каменным? Как вас понять? Сколько человек команды?

Иынь. А так и понимать, что каменное — без мачт и без палубы. Камень в Ригу возим — у латышей свой камень весь вышел. Хорошие деньги платят. Сколько команды, говоришь? Двое мальчишек с Кихну, мелюзга, конфиркации еще не прошли.

Адъютант. Так-так... Значит, целых двое.

Иынь. Считай — полтора. Неконфирмованные ведь...

Адъютант. А командовать более крупными судами вам, господин капитан, еще не доводилось?

Иынь. На Пярнуском побережье капитанов вроде меня называют дикими, потому как бумаг у нас нет.

Адъютант. То есть, вы хотите сказать, господин капитан, господин дикий капитан, что у вас нет даже капитанского диплома?

Иынь. Во-во, это самое я и хотел сказать. Только я всякими судами командовал — и двух- и трехмачтовыми. Последним у меня был трехмачтовый, с реями, да ушел из-под ног, собака!

Адъютант *(с сарказмом)*. И, значит, вы, господин капитан, господин каменный капитан без диплома, дикий капитан дырявого корыта, тюлень вы этакий, желаете непременно беседовать с их превосходительством?

Иынь *(с лукавым подбострастием)*. «Кто сможет мне противиться, коль за меня господь?» *(Достает из-за пазухи белый в розочках платок, разворачивает его на глазах у изумленного адъютанта и достает два письма.)* Вот кто меня рекомендует! *(Протягивает письма.)*

Адъютант. Надо думать, что рекомендуют вас такие же дикие капитаны, как вы, господин каменный капитан?

Иынь. *(скромно)*. Одно письмо от Кристьяна Вальдемара.

Адъютант. Кристьян Вальдемар?.. Кристьян Вальдемар?.. *(Становясь вдруг почтительней.)* Не секретарь ли Российского общества развития мореплавания?..

Иынь. Он самый.

Адъютант. Кто же другой ходатай?

Иынь. Капитан Даль.

Адъютант. Даль?.. Какой это Даль? Не тот ли, который плавал с капитаном Курзейном, когда тот на деньги миллионера Трапешникова провел судно до Тобольска по Северному морскому пути?

Иынь. Да, «Луизу». В тысяча восемьсот семьдесят седьмом году. Тот самый Даль. А вы, видать, кое-что знаете про моря и моряков...

Адъютант *(дружелюбно)*. Я ведь тоже капитан, хоть и служу в военном флоте. *(После паузы.)* Адмирал сейчас не один — у него дама, не рискую им мешать. Но как только она выйдет, я о вас доложу. *(Берет бумаги.)* Простите, господин капитан, как вас величать?

Иынь. Земляки зовут меня Иынем с острова Кихну, а по паспорту я Энн Ууэтоа.

Снова освещается кабинет, где адмирал прощается со своей возлюбленной.

Возлюбленная. Так запомни: на Невском, у Казанского собора. Очень тебя прошу.

Адмирал. Да, дорогая, да! Сегодня у меня такой счастливый день, что я никому не откажу в просьбе, тем более тебе.

Возлюбленная покидает кабинет и проплывает мимо Иыня, который пожирает ее глазами.

Иынь (*глядя ей вслед*). Сатана милостивый, ну и такелаж у этой кралли!

Адъютант. Как вы сказали, капитан?

Иынь. Мощный, говорю, такелаж у этой барыньки.

Адъютант. Да вы и впрямь знаток парусного дела! А размещен такелаж удачно?

Иынь. В носовой части — не худо, но корма слишком задрана. Если сзади поставить гафельный парус, то при крутом галсе он закроет весь бом-брамсель.

Адъютант (*скрывая усмешку*). Согласен, коллега... Пойду доложу о вас адмиралу. Надеюсь на успех. (*Входит в кабинет адмирала.*) Ваше превосходительство!

Адмирал. Да, Николай Иваныч!

Адъютант. Ваше превосходительство, тут какой-то капитан парусника, эстонец, хочет, чтобы вы его приняли.

Адмирал. Капитан парусника? Что за человек? Что ему надо?

Адъютант. Человек весьма своеобразный... Настоящий тюлень... Во всяком случае, с виду. Но спятивший ли это умник или поумневший дурак, понять трудно... Говорит, по вопросу жизни.

Адмирал. Здесь, черт бы его побрал, Адмиралтейство!..

Адъютант (*кладет на стол адмирала рекомендательные письма*). За этого человека ходатайствуют Кристьян Вальдемар и капитан Даль.

Адмирал. Вальдемар? У него был хороший, очень хороший законопроект касательно мореходных училищ... А какой это Даль? Не тот ли эстонский швед, что был ученым наблюдателем на судне Трапешникова?

Адъютант. Тот самый, ваше превосходительство.

Адмирал. Знаете, Николай Иваныч... почему-то я сегодня очень благодушен... Пригласите этого молодца!

Адъютант (*Иыню, открывая дверь в приемную*). Прошу вас!

Иынь поднимается, оправляет на себе кафтан и шейный платок. Входит в кабинет. Адмирал идет к нему навстречу и, взглядываясь в Иыня с едва заметной усмешкой, протягивает ему руку. Обмениваются рукопожатием.

Адмирал. Рад с вами познакомиться, господин капитан!

Иынь. Здравствуйте, ваше превосходительство, здравствуйте, господин адмирал.

Адмирал. Прошу вас, садитесь!

Садятся в кресла друг против друга. Адъютант выходит.

Вас, капитан... капитан...

Иынь. Капитан Ууэтоа.

Адмирал. Вас, капитан Ууэтоа (*неправильно ставит ударение на последнем слоге*), рекомендуют мой друг Вальдемар и капитан Даль, очень хороший моряк, с которым, к сожалению, не имею чести быть знакомым. Итак, что же у вас на душе, капитан?

Иынь. Бумага.

Адмирал. Бумага? Какая же? Вероятно, какое-нибудь ходатайство или справка?

Иынь. Нет, господин адмирал. Справок мне от тебя не надо. Мне нужны капитанские бумаги, только чтоб надежные, самые надежные, такие, чтобы портовые власти и в Лондоне и в Гамбурге рот разинули. По этому самому делу я к тебе и заявился, господин адмирал.

Адмирал (*неприятно удивленный*). Вы всегда так быстро переходите на «ты»?

Иынь. С мужчинами завсегда. Англичане с самим господом богом на «ты», а я — со всеми христианами. А с поганцами и католиками разговор, конечно, другой.

Адмирал. Будь по-вашему. Покончим с этим. Значит, вам нужно капитанское свидетельство? (*После паузы.*) Но извините за нескромный вопрос: вы, вероятно, кончили мореходную школу?

Иынь. Понимаешь, адмирал, в мореходную школу-то я ходил. В Хейнасте. Полтора дня ходил. Только этот самый Даль не дал мне никакой бумаги. У меня, адмирал, голова больно круглая. Такая она у меня чудная, что вся эта школьная наука никак в ней не удержится — зацепиться не за что. Вот и остался я капитаном без бумаг, диким, то есть, капитаном.

Адмирал. Простите меня, капитан, — вы ведь не обижаетесь, что я вас так называю? — но с моей стороны было бы превышением власти выдавать вам, капита-

ну не из капитанов, какое-то свидетельство, облакающее вас подлинными правами капитана дальнего плавания. А ведь от просьбы своей вы не отступитесь?

Иынь. Ни на дюйм!

Адмирал. Мне было бы проще добыть для вас в академии докторскую степень.

Иынь. Докторские, что ли, бумаги? Ну, это дело плевое... Знаю я одного доктора, коновала из Пярну...

Адмирал. Коновала или доктора?

Иынь. Сам говорит, что доктор... Шлейфер его фамилия... Так разве коновалу можно доверить парусник и команду? Нет, ты мне дай капитанские бумаги, и чтоб самые надежные!

Адмирал *(со смехом)*. Разумеется, коновалу судно я не доверил бы. *(Про себя.)* Но ты, дикий капитан, скорее увидишь без зеркала свои уши, чем бумагу за моей подписью. *(Громко.)* Ведь плавали же вы до сих пор без бумаг, капитан? И хорошо плавали, судя по вашим ходатаям. Зачем вам вдруг эти бумаги понадобились?

Иынь. Должна быть у человека бумага. Если бумаги сумасшедшего иметь, то можно и людей убивать — все равно оправдают. У всех уличных девочек, тех самых, что за три дня дочиста обернут моряка после дальнего плавания, и то есть бумага, хоть и желтая. А тут порядочный человек должен скитаться по миру без бумаг, будто Агасфер. Нет, у человека должна быть бумага!

Адмирал *(про себя)*. Не видать тебе этой бумаги!..

Иынь. Я, понимаешь, могу провести судно через океан и обратно, и в море никто с меня этой бумаги не спросит. Но на суше бумага — это полчеловека.

Адмирал. Целая половина?

Иынь. Точнее, так все три четверти. Есть бумага — есть и человек, нет бумаги — нет человека. Я могу вывести судно с парусами или без парусов из Торнадо и спастись. Главное — иметь три вещи: голову, смелость и команду. Но если я без бумаг попаду к редеру в контору, то он мне такое сделает... *(Прижимает ноготь к столу, словно бы давя блоху.)* Во времена Петра Великого, понимаешь, полагались на человека, а теперь, при таком умном царе, полагаются на бумагу. Бумага тебе и мать, и отец, и ум, и совесть, и сам господь бог. Стал бы ты со мной разговаривать, не будь у меня писем от

Вальдемара и Даля? Небось сразу в Кронштадте оказался бы, как мне твой шкипер в приемной доложил... Или взять капитана Ольсена: хороший капитан, самому сатане не уступит, давно меня знает, но письма к тебе не дал. Говорит, Иынь хороший моряк, но человеку без бумаг бумаги не дам. Достань бумагу, так и от меня получишь... Пошли ему бог волчьего дерьма на могилу!

Адмирал. И на мою тоже, если бумаг не дам?

Иынь мычит что-то неопределенное.

(Задумывается.) Капитанских бумаг, не только самых настоящих, но вообще каких бы то ни было, я вам дать не могу. Разве что рекомендацию... Но тогда мне надо иметь хоть скромное представление о ваших капитанских возможностях, о том, какой вы навигатор...

Иынь *(с испугом)*. Очень он мне нужен, этот навигатор!

Адмирал. Да, какой вы навигатор... Если вы ничего не имеете против, пригласим сюда моего адъютанта. Он военный моряк, капитан второго ранга. Две головы хорошо, а три лучше — потолкуем втроем.

Иынь. Я до сих пор своей головой обходился.

Адмирал звонит, входит адъютант.

Адмирал. Присядьте, Николай Иванович. *(Подходит к висящей на стене карте.)* Как я понял, Пярну и Рига — это ваши родные порты. Вам надо доставить груз из Риги в Петербург. Покажите на карте, как вы поплывете.

Иынь *(сердито косится на карту)*. Тут карта ни к чему. *(Проводит по карте ногтем.)* Сперва — Рижским заливом, так, чтобы лес был по правую руку. Потом — Мухумским проливом и через Куракург *(показывает на отмель Хари)*, мимо Пеетерова кабака. Здесь денек-другой будем от шторма прятаться. А потом выйдем в Финский залив и поплывем себе как бог даст. *(Доверительно.)* Мы, моряки с побережья Пярну, сроду в этих местах с картой не сверялись. В старину пярнуские возили из Риги в Петербург гипс. Бывало, ветер покрепчает и гипс с одного борта начинает подмокать — тут его и скидывали, чтобы крена не было. Так что от Риги до самого Петербурга тянется по дну белая гипсовая тропочка, и ворона на заборе...

Адъютант. Ворона на заборе?

Иынь. Ну, матрос, который на баке дежурит... Так он следит за тропочкой и кричит рулевому, куда она

заборачивает... А уж от Кронштадта до Петербурга и малое дитя доплывет.

Адъютант. Но предположим, что вам надо дойти от Риги до Копенгагена.

Иынь (твердо). И что такого? (Проводит ногтем размашистую кривую вдоль берегов Латвии, Литвы, Польши, Германии и Дании.) Если тут плыть, так берег будет по левую руку, а если обратно — так по правую. Нет, в Балтийском море никаких карт не нужно. Тут все время лес на виду. А если ветер хорош, так махну напрямик от Куракурга до самого Копенгагена. (Снимает брючный ремень и прикладывает его к карте. Адъютанту.) Бери другой конец.

Адъютант прикладывает свой конец ремня к Копенгагену, Иынь прикладывает другой конец к Куракургу.

Этак вот и проложу курс.

Адмирал (с любопытством). А если вам надо будет доставить груз из Англии в Америку? Тут уж вы никакого леса не увидите.

Иынь. Так дождусь, пока не найдется корабль, что поплывет по тому же пути. Главное, чтоб из глаз его не потерять ночью или в тумане... Когда я в Америку плавал, меня довел туда один англичанин, а назад — норвежец.

Адмирал. Предположим, капитан, что вы оказались посреди океана. Врача, то есть доктора, на судне нет. Какими лекарствами располагает ваша аптечка? Чем будете лечить людей?

Иынь. В судовой аптечке должно быть пять лекарств: джин, ром, виски, скипидар и деготь.

Адъютант. Обширный выбор!.. В каких же случаях применяются эти лекарства?

Иынь. Три первых помогают от всякой простудной хвори. Они идут в ход к северу от тропика Рака и к югу от тропика Козерога. А если грудь заложит и кашель дойдет, тут лучшее дело — скипидар... От желтой лихорадки ром хорошо помогает: если уж человек от лихорадки не помрет, так от рома и подавно. Ну а если шкура на ладонях потрескается — а не потрескаться она не может, когда без конца канаты травишь, — самое божеское средство — это помочиться как следует на руку.

Адмирал. Какое варварство!

Иынь. Это уж точно: боль страсть какая, если руки запустишь.

Адъютант. Какие существуют в гаванях мира самые известные трактирные кварталы?

Иынь. Не больно я великий охотник до этих трактиров, но знать их надо, не то пропавших людей не соберешь. В Кардифе — Тайгер-Бэй и Бат-стрит, в Антверпене — Скиппарстрат, в Гамбурге — Сант-Пауль, в Лондоне...

Адмирал. Знаю-знаю... Я тоже когда-то был молод... А в духов вы верите?

Иынь. Верю.

Адмирал. Какие духи, капитан, являются, по вашему мнению, самыми могущественными в наше время, то есть в конце девятнадцатого века? Я понимаю, что никаких духов, конечно, нет, но все-таки какие?

Иынь (*после раздумья*). Черный капитан, русский царь и немецкий кайзер. А в Эфиопии — еще негус.

Адмирал. Тсс, голубчик! (*Прикладывает палец ко рту. Вновь пробегает взглядом рекомендации.*) Даль и Вальдемар пишут, что вы не раз командовали очень ветхими судами, настоящими плавучими гробами, на которых никто не осмеливался плавать. И что у вас никогда не случалось крушений, чем вы и прославились. Это правда?

Иынь. Сушая правда. Все были старье и с такой вздутой палубой, что с кормы носа не увидишь. Но вообще-то хорошие были суденышки. Последнее, правда, ко дну пошло, да уж делать было нечего. Вот получу бумагу и куплю у финнов новое.

Адъютант. Новый парусник?

Иынь. Да нет, не новый. Такое же корыто. Но это старье хорошо меня слушается.

Адмирал. А почему вы не купите новое судно?

Иынь. Дорого обойдется. А корыто по дешевке можно купить.

Адмирал. Но ведь, плавая на этих гробах, вы рискуете жизнью, и не только своей собственной, но и жизнью всей команды! Об этом вы не думаете? Слава — славой, а смерть — смертью...

Иынь. (*откровенно*). Нам, адмирал, обоям быть в море похороненными. И никуда от этого не денешься. Потому как... (*Запевает хриплым голосом.*)

В час назначенный моряк
Спустится в могильный мрак,
И заснет он под волной,
Как под крышкой гробовсой.

Так-то, адмирал!.. Но ведь и корабли и дети людьми сделаны, и у тех и у других душа есть, и уж как они себя поведут на суше или на море, как будут слушаться руля и парусов...

Адмирал. Зависит от капитана, не так ли?

Иынь. Вот-вот! Уж поверь мне, адмирал, у корабля, и перво-наперво у парусного, такая же душа, как у человека: кораблю надо, чтоб его любили. (*Стыдливо.*) На ночных вахтах я всегда с кораблем разговариваю...

Адмирал. На каком же языке вы говорите? Неужели эти плавающие гробы разговаривают?

Иынь. На каком языке? На кихнувском! Они-то и разговаривают, эти развалины, они ведь старые — успели ума набраться, и всегда у них где-то болит: или в такелаже, или внизу, под ватерлинией. Мне, понимаешь, увидеть в гавани старое судно — все равно что старика увидеть.

Адмирал (*адъютанту*). Какую-то рекомендацию надо ему дать... Что вы на это скажете?

Адъютант. Пожалуй, придется... Занятная личность.

Иынь. Я их покупаю по дешевке, крашу, ставлю новые паруса и хожу на них в плавание, к примеру, в Англию. И пускай это самое что ни на есть корыто, все ж таки оно меня слушается и бережет, как родного сына. Потому как душа у всех есть: и у человека, и у моря, и у корабля.

Адмирал (*про себя*). Придется помочь этому чудаку. (*Иыню.*) Но читать карту вы все-таки умеете?

Иынь. Умею.

Адмирал. Секстантом пользуетесь?

Иынь. Нет. Если я плыву без штурмана, так обхожусь компасом, лагом и часами. И все.

Адмирал. И даже хронометра у вас нет?

Иынь. Нет. (*Достает из кармана огромные старинные часы с серебряной крышкой.*) Этим я больше доверяю.

Адъютант. Но почему бы вам, несмотря на все ваши познания, не нанять штурмана?

Иынь. Потому что в судовых бумагах его надо записать как капитана, а меня — как штурмана, хотя это он штурман, а я капитан. Мы называем их флаг-капитанами. Это все ребята из Рижской биржевой мореходки, большей частью прибалтийские немцы. Навигации их,

конечно, учили, но почти все они прохвосты и кофехлебы, верные утопленники. Зато у них бумага. Могут среди дня по звездам определиться. У меня уже целых трое таких было, и все сбежали. Говорят, не хотим тонуть вместе с Иынем... Задавали чертовы, доннерветтеры. Вот и плаваю без них.

Адмирал. Николай Иваныч, позовите, пожалуйста, писаря.

Адъютант выходит.

Не согласитесь ли вы, капитан Ууэтоа, посидеть в приемной, пока я буду диктовать?

Иынь (*поднимаясь*). Только напиши мне хорошую бумагу, адмирал, самую надежную! (*Выходит в приемную.*)

К адмиралу является писарь.

Адмирал. Пишите! Число и месяц. Год тысяча восемьсот восемьдесят девятый. Санкт-Петербург. Всем русским консулам в иноземных гаванях. Настоящая рекомендация — слово «рекомендация» подчеркните, ибо мы только рекомендуем — выдана капитану...

Писарь. Капитану дальнего плавания, ваше превосходительство?

Адмирал. Нет, просто капитану, дикому капитану, черт бы его побрал.

Писарь. Так и написать «дикому капитану», ваше превосходительство?

Адмирал. Нет, пишите: выдана капитану Энну Ууэтоа, неоднократно проявлявшему в качестве моряка-практика смелость, инициативу и мужество. Просим всех русских консулов оказывать ему в пределах возможного помощь и содействие. Оговорка первая: требовать от Энна Ууэтоа, чтобы на его судне непременно состоял штурман, знающий навигацию и имеющий необходимые свидетельства. Оговорка вторая: доверять Энну Ууэтоа лишь в пределах допустимой истины и морской практики. Оговорка третья: воздерживаться от перевода выданной мною рекомендации на иностранные языки. Оговорка четвертая: относиться к данному письму не как к официальному документу Адмиралтейства, но как к простой, ни к чему не обязывающей рекомендации. Вот так! Печать. Подпись. И все.

Писарь подает письмо адмиралу. Тот расписывается и прикладывает печать.

Самый дурацкий документ, какой я когда-либо подписывал. Дай-то бог, чтобы этот дикий капитан меня не подвел! (Звонит.)

Появляется адъютант.

Пригласите сюда капитана Ууэтоа.

Адъютант зовет Йыня.

Вот ваша бумага. (Показывает Йыню бумагу, держа ее от него на почтительном расстоянии, потом сворачивает бумагу в трубочку и запечатывает ее сургучом.)

Будете ее показывать русским консулам. Только им. Они вам помогут. И ни под каким видом не разрешайте переводить текст ни на немецкий, ни на английский, ни на испанский — словом, ни на какой язык.

Йынь. Век тебя не забуду, адмирал... Печать настоящая?

Адмирал. Самая настоящая!

Йынь. С царским орлом?

Адмирал (со смехом). Как же иначе?

Йынь. Стало быть, на худой конец можно сказать, что сам царь дал мне эту бумагу?

Адмирал. Ну, это не совсем так... Главное, не позволяйте переводить текст!

Йынь. Но если подойти к этому делу так, что царь — наш отец...

Адмирал. Да, государь — наш отец!

Йынь. ...а ты его сын, посланный им в этот дом адмиральский...

Адмирал. Можно, конечно, взглянуть на это дело и так...

Йынь ...то я — сам дух святой и могу размахивать бумагой отца и сына во всех морях и океанах. (Достает из-за пазухи уже знакомый нам платок в розочках и заворачивает в него рекомендацию.)

Адмирал следит за его действиями с немалым интересом. Оба на прощанье пылливо всматриваются друг в друга. Йынь уходит из кабинета. Шаг у него уверенный, осанка — гвардейская; это идет человек, у которого есть бумага. Адмирал провожает его взглядом.

После того как дверь за широкой спиной Йыня закрывается, адмирал снимает с себя золотой адмиральский ремень, подходит к карте и ремнем «прокладывает курс» от Куракура до Копенгагена.

Адмирал. Мда... Святой дух и брючный ремень!..

Занавес

Перед занавесом появляется Историческая истина. Вид у нее весьма бледный и обшарпанный.

Историческая истина. Мое имя — Историческая истина. В этом спектакле мне поручили две неблагодарные роли. Первая — отвлекать ваше внимание, пока за спиной у меня будут менять декорации, призванные изображать и отображать то или иное историческое обстоятельство в полном несоответствии с историей. Во-вторых, я должна делать автору бесконечные последние предупреждения, очень серьезные, ибо он изменяет и искажает мой суровый, честный облик, сворачивает мне нос набок и плюет на церковные и судовые книги, без помощи которых невозможно изобразить Историческую личность, чья жизнь прошла на суше и на море. Автор попросту оскорбляет меня, доверяя не Исторической истине, а всяким болтунам и брехунам с берегов Эстонии. Тем самым болтунам и брехунам, которые, вместо того чтобы поближе познакомиться со мной, сотворили себе в лице Ыыня с Кихну нелепого идола, одновременно и глупого и мудрого. Сотворив его, они смеялись над ним в своем невежестве, восхищались им и любили его. И тем самым уподобились выдумщикам, кои вложили в уста Галилея фразу: «А все-таки она вертится!» — хотя Галилей в жизни не говорил такого. Мог сказать, но не говорил. И еще эти лжецы уподобились тем, кто в древних избах Эстонии, темных и некультурных, кроме Калевипоэга и Большого Тылля выдумал третьего народного героя — Юри Румму, который, с точки зрения Исторической истины, был завзятым конокрадом. И вот театры, не желая прислушиваться ни к моему голосу, ни к голосу рассудка, принялись демонстрировать народу этого героического конокрада. Мало того, они изображали и изображают Юри Румму так, что можно подумать, будто этот конокрад, отсидев свой законный срок в псковской тюрьме и начав потом красть помещичьих коней, стал если не марксистом, то по крайней мере народником. Между тем Историческая истина говорит другое, а именно следующее: в псковской тюрьме Юри Румму сидел вместе с лучшими псковскими, прибалтийскими, белорусскими, башкирскими и калмыцкими конокрадами, не говоря уже о цыганах. В порядке обмена опытом он усвоил их передовые методы и, применив их потом на практике, наловчился красть лошадей еще лучше прежнего. Мое имя — Историческая истина. Имя моего брата — Факт. И не потому ли. Бальзак умер таким несчастным и обремененным долгами, что он осмелился оскорбить моего брата, ска-

зав: «Глупо, как факт»? В своей безграничной глупости и необъятном невежестве народная фантазия может сколько угодно видоизменять Историческую личность, но меня это не интересует. Каждый, кто решил изобразить Историческую личность, должен быть холоден, бесстрастен, объективен и точен, как судебный протокол. Не то мы получим что угодно, но только не копию того Иыня, который существовал в действительности. Я позволю себе спуститься на миг со своего трона, чтобы, ослабив поводья своего разума, вообразить, как истолковали бы образ Иыня те, кто меня уважает. Попробую предположить (какое противное слово: предположить), что написал бы о нем честный буржуазный писатель, позаимствовав у меня все данные и факты. Не вступая со мной в ссору, он показал бы нам на примере Иыня, на какие достижения способен тот, кто с детства бережет каждую копейку. Ведь Иынь так и поступал! Он был очень бережлив. Он мало спал, ел простую пищу и не пил. Он не бегал за женщинами, так как был человеком добродетельным,— нет, он бегал от женщин, так как был человеком смелым. Это факт. И если автор хочет представить все это иначе, то... Впрочем, об этом позже. Не вступая со мной в серьезные противоречия, сделать Иыня прототипом своего героя могли бы и те писатели, которым захотелось бы убедить нас в том, что в прошлом веке над морями и океанами простиралось милосердие господне, что парусники ничем не отличались от воскресных школ и что капитаны командовали судами и без помощи револьвера и плетки, обходясь лишь учением о христианской любви. Эти писатели имели бы право забыть, что тогда над морями и океанами каркала вороньей стаей стоязычная брань капитанов и боцманов, что жизнь матроса на паруснике была жизнью морского крепостного со всеми вытекающими отсюда последствиями. То, что в тысяча восемьсот восемьдесят девятом году царское правительство выдало Иыню за многолетнее плавание без крушений почетный диплом,— это правда. Но что там было написано, в этом дипломе, этого не знает никто, даже я. Иынь выдумал, будто в бумаге, выданной ему царским правительством, было написано: «Может командовать любыми кораблями в любых морях». Иынь даже распространял повсюду эту выдумку с упорством, достойным лучшего применения. Иынь погиб в тысяча девятьсот двенадцатом году у датских берегов. Тело его было выброшено на берег

и погребено на кладбище портового города Эсбьерга. Его хоронил весь город. Это факт. Почему его хоронил весь город, остается, с точки зрения Исторической истины, непонятным. Столь же непонятным остается и то, что именно этот человек стал в народном предании олицетворением бесшабашности, смелости, доброты и лукавого простодушия. С точки зрения Исторической истины, Йынь не что иное, как человек среди людей. И не более того. Я еще подумаю и потом просвещу вас. До свиданья! (*Уходит.*)

КАРТИНА ВТОРАЯ

Расположенный неподалеку от рынка трактир Валлиня в Риге. В конце прошлого века он являлся своеобразной матросской биржей. Латыш Валлинь не относился к числу работяг, к числу сухопутных акул. Но он знал людей, и капитаны могли положиться на его рекомендацию. Валлинь очень дружил с эстонцами и высоко ценил их как моряков.

Трактир просторен, но потолок в нем низкий. С потолка свисают три керосиновые лампы. Справа — дверь на улицу. Слева — длинная стойка. За ней, на переднем плане, — дверь в служебные помещения. На стойке расставлены оловянные и стеклянные кружки. Стеклянные — для гостей почище и посмирней, оловянные — для буянов и вообще посетителей последнего разбора. Тут же несколько весьма дорогих бокалов, в которые наливаются более изысканные вина, если в трактир заглянет случайный матрос, а капитан. На задней стене — почерневшие олеографии с изображением моря и кораблей. Среди них, явно по ошибке, затесалась и деза Мария с младенцем Иисусом на руках. Чуть отступя от стены подвешены к потолку громоздкие, топорные модели парусников. На самом же видном месте красуется написанное готическим шрифтом изречение апостола Павла: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов». На табличке с этим изречением нарисована кружка, увенчанная пивной пеной.

Расположение столов в этом уютном вертепе говорит о том, насколько тонко чувствует Валлинь наличие сословий среди моряков. В заднем правом углу — одинокий стол, накрытый белоснежной выглаженной скатертью. На нем стоит ваза с тремя бумажными цветами и пепельница. Вокруг стола расположены четыре стула — все разного стиля, но вполне пристойные. Этот стол — капитанский, остальные столы держатся от него на почтительной дистанции — они предназначены для матросов и нахлебников Валлиня, ожидающих своего «шанса». Столы выкрашены в темный цвет. К одним представлены грубые скамьи, к другим — стулья. Наконец, в правом переднем углу, возле двери, сквозь которую в трактир врывается ветер и уличный шум, стоят уже не столы, а две пустые бочки. И вместо стульев — обыкновенные колоды. На бочках — оловянные кружки, навечно прикованные ради сохранности цепями. Это место для босяков, которых Валлинь использует время от времени на посылках и для сбора информации.

В трактире сравнительно пусто. За стойкой стоит сам Валлинь, добродушный толстяк со сверкающей лысиной. Сонный, он тем не менее видит все, что делается, и хладнокровно командует двумя рослыми половыми, служащими по совместительству и вышибалами. Свободное место между капитанским столом и остальными столами заняли два трактирных музыканта — Кларнет и Гармонь. Между ними — столик с оловянными кружками, на которые они тупо пялятся. Рядом с ними — компания из восьми синешушлатников: норвежцев, англичан и немцев. Все уже сильно навеселе. Над столом — возбужденный гул, многоголосый и многоязычный. Чуть подалеже за отдельным столиком — две накрашенные проститутки, пытающиеся красноречивыми взглядами покорить сердца иностранцев. Еще дальше — Лаури и Антти — мрачные финны, грузные, как валуны. За следующим столом — Юрнас, Пееп, Андрус, Якоб — эстонцы с острова Хийу.

Англичанин. Братья! Споем песню во славу города Риги и старого Валлиня!.. Только чтоб не было в ней никаких любовных мук и всякой похабщины, а чтоб это была настоящая матросская песня, от какой камни стонут!

Лаури. Хлебнем, Антти!

Антти. Хлебнем, Лаури!

Первая проститутка. Раз петь начали, значит, скоро клюнет.

Вторая проститутка (*шепотом*). У этого длинного норвежца есть деньги... В правом нагрудном кармане...

Англичанин. Начинай ты, Тор, сын Норвегии.

Тор, высокий и белокурый норвежец, поднимается и запекает. Остальные подхватывают.

Тор.

Капитан, как свинья, налакается джина
И браунинг наводит в упор,
А море нахально, а боцман скотина,
А кок — сухопутный вор.

Хор.

Тот, кто смерть победил,
Всех в трактире побил,
А потом угодил за решетку.

Заслышав припев, Кларнет и Гармонь очнулись от летаргии, словно цирковые лошади при звуках вальса. Кларнет прикладывает к губам инструмент и пытается попасть в такт песне.

Англичанин. Бой, подать музыкантам рома!

Музыканты подобострастно кланяются.

Лаури. Помнишь, Антти, как в Лондоне нас в кузку посадили?

Антти. Там хорошо было — клопов не было. Не то что в Марселе...

Лаури. Хлебнем, Антти!

Антти. Хлебнем, Лаури!

Лаури. У меня в Турку девочка осталась.

Антти. А у меня только нож и несмытая обида.

Лаури. Вернешься — смоешь, Антти.

Антти. Вернусь и смою, Лаури. Поеду сразу в наш Хямеенлина и смою. И сразу мальчика Антти в тюрьму посадят.

Кларнет все еще повторяет в одиночестве припев.

Лаури. И сразу мальчика Антти в тюрьму посадят. Любимого сына своей мамочки. Поведет его солдат со штыком, и будут на нем наручники позвякивать. *(Утирает слезы.)* Поплачем, Антти!

Антти. Поплачем, Лаури!

Плачут, но довольно сдержанно.

Тор.

Под Гренландией нас обступили торосы,
Сгубить захотели во льду,
Но во льдах погибать не желают матросы.
Поднимается бунт на борту.

Хор.

Тот, кто смерть победил,
Всех в трактире побил,
А потом угодил за решетку.

Гармонь и Кларнет сопровождают запевалу и хор уже в полную силу. Во время пения в трактир входят Мань, Матильда и приказчик. Приказчик делает попытку занять капитанский стол, но Валлинь, выйдя из-за стойки, молча усаживает гостей за простой стол. Приказчик ворчит.

Валлинь. Это стол для капитанов, сударь!

Мань, здоровая и крепкая девушка, чувствует себя совсем как дома. Приказчик, изогнувшись, словно знак параграфа, пододвигает стул Матильде. Матильда, обстирывающая важных господ, кривится и морщит нос, как настоящая дама.

Матильда *(приказчику, по-немецки, выговор у нее ужасный)*. Альфред, хир ист ес ниht файн. Хир шприхт ман фрех. Хир штинкт ес шреклих, шреклих¹. Терпеть не могу мужиков и матросню.

Мань. Говори по-эстонски, а то сама не понимаешь, что говоришь.

Матильда. Фу, по-эстонски. Я уж и забыла... Найн-найн!

¹ Альфред, здесь никакого благородства. Здесь грубо разговаривают. Здесь ужасно пахнет, ужасно *(нем.)*.

Мань. Не задирай нос! А то сквозь ноздри всю тебя насквозь видно.

Матильда. Ох! Мари! Что ты говоришь!

Юрнас. В такую ноздрю и маковое зернышко не пройдет.

Матильда (*с презрением*). Айн эстнише мужик. Фуй! Альфред, хир ист ес ниht файн.

Первая проститутка (*качнув головой в сторону Матильды*). Если эта фря вздумает у меня клиентов отбивать, я ей все глаза выцарапаю.

Тор (*поет*).

Но слаба против пуль безоружная сила:
Капитан убил двух ребят.
И качнулось над их водяною могилой
Небо — синее, как бушлат.

Хор.

Тот, кто смерть победил,
Всех в трактире побил,
А потом угодил за решетку.

Во время исполнения припева в трактир входят Иынь и капитан Керттунен. Валлинь спешит к ним навстречу. С церемонным поклоном подводит их к капитанскому столу.

Иынь. Швейки, швейки, кунгс Валлинь! Ка йет? ¹

Валлинь. Добро пожаловать, капитан!

Иынь. Познакомьтесь с капитаном Керттуненом, моим финским коллегой.

Валлинь. Хювя илта, каптени! ²

Керттунен. Швейки, швейки, Валлинь.

Валлинь (*пододвигая стулья*). Садитесь, капитан Ууэтоа. Обратите внимание на ваш стул: это бидермейер. Садитесь, капитан Керттунен. Этот стул рококо.

Гости садятся. Иынь садится спиной ко всем остальным столам, Керттунен — напротив него. Хийумцы начинают перешептываться.

Чем разрешите вас угостить, господа капитаны?

Иынь. Сам знаешь. Нам сделку закончить надо. Так что горлодера этого матросского не давай, а всяких таких ягодных соков приятель мой не пьет. Поищи у себя под стойкой — ты ведь все самое лучшее слева дер-

¹ Здравствуйте, здравствуйте, господин Валлинь. Как дела? (*латыш.*).

² Добро пожаловать, капитан! (*фин.*).

жишь? (*Притягивает Валлиня к себе за рукав и говорит ему на ухо.*) Люди у тебя есть, Валлинь?

Валлинь. Есть. Много тебе народу надо?

Йынь. Много. Большое судно как-никак... Ах да! Я уже нанял флаг-капитана, взял немца Шнейдера. Слышал про такого?

Валлинь (*неопределенно*). Кое-что слышал. Сорока на хвосте приносила. Ты бы его с собой привел.

Йынь. Он сам не пожелал. Побрезговал твоим домом. Не к лицу ему сидеть у латыша в кабаке.

Валлинь (*задетый*). А служить на судне у кихнувца — к лицу?.. Если он так чванится перед уважаемым всеми трактирщиком, как же он будет держаться с твоими эстонцами? Не связывайся с ним, капитан, послушай друга. (*После паузы.*) Под рукой у меня только четыре эстонца с острова Хийу (*кивает головой в их сторону*), два финна и два эстонца с острова Сааремаа, только сааремцы в молельный дом пошли.

Йынь. Что за народ?

Валлинь. Народ отборный, не хуже семенной картошки. Дерьма предлагать не стану.

Йынь. Значит, четверо, и еще двое, и еще двое. Всего восемь. Если ручаешься, беру всех... А теперь дай выпить. Стой, погоди! Составь пару столов для моих людей: приглашаю всех, кого беру. Дай же выпить, наконец!

Валлинь приносит выпивку.

Керттунен. Твое здоровье!

Йынь. Твое здоровье, Керттунен!

Пьют.

(*Достает из-за пазухи уже знакомый нам розовый платок, разворачивает его и выкладывает на стол горку золотых, прикрывая их полой от любопытных*). Здесь пять тысяч, капитан. Больше при себе нет. Две тысячи получишь после того, как сходим к нотариусу.

Керттунен (*оторопело уставясь на деньги*). Слушай, вирон пойка¹, «Фортуна» пока еще на мое имя записана, а ты уже расплачиваешься... Вдруг сбегу с деньгами?

Йынь. Не сбежишь. Ты честный.

Керттунен. Откуда это видно?

¹ Сын Эстонии (*фин.*).

Иынь (берется за козырек его капитанской фуражки и слегка приподнимает его). Отсюда и видно — из-под козырька. Скооль, каптени!..¹ К тому же такого, как я, не проведешь. У меня бумага от самого царя: могу командовать любым кораблем в любом море...

Керттунен. Бумага от царя?..

Иынь. От самого царя, капитан. Я к нему в Петербург ездил, экзамены сдавал, вот и получил бумагу. (Достает из кармана свернутую в трубочку адмиральскую рекомендацию.) Вот она — бумага — с печатью и подписью. Самая надежная бумага во всем северном полушарии. Понимаешь теперь, в какие руки попадает твоя «Фортуна»? (Доверительно.) Молчать умеешь, капитан?

Керттунен. Не хуже мертвого лапландца.

Иынь. Тогда скажу... Я не то что царя — и кончика его хвоста не видел. Мне эту бумагу адмирал дал. Хороший человек. Всем буду говорить, что это царская бумага, и она мне послужит не хуже кокера в том большом покере, в какой мы играем всю жизнь. Ведь эти чернильные души в портах становятся навтыяжку перед любой бумагой — становятся навтыяжку перед человеком они еще не научились... Души у людей — что ни год — все чернильнее: сами напрашиваются, чтоб мы их бумажками обманывали... Помогите мне бог обдурить эту братию! Ведь таких людей, как мы с тобой, делают в этом мире только по особому заказу. Нас и тринадцать тысяч черных дьяволов от моря не отвадят... Но поговорим о твоей «Фортуне», капитан.

Керттунен. Обманывать тебя не хочу. Судно старое.

Иынь. Знаю. Двадцать лет плавало.

Керттунен. Восемнадцать, капитан. Проседать начало.

Иынь. Видел.

Керттунен. Паруса жидковаты. Но запасной комплект совсем новый... Года через два придется сменить пару досок в обшивке.

Иынь. Сменю. Течет твоя «Фортуна»?

Керттунен (со вздохом). Течет. Но плавать можно. Откачивать, конечно, приходится. И еще, капитан, вели фок-мачту проверить.

Иынь (насторожившись). Фок-мачту? Что с ней?

Керттунен. Боюсь, начала сдавать у самой палу-

¹ Ваше здоровье, капитан! (швед.).

бы. Не успел сменить... Вот, пожалуй, и все недостатки «Фортуны».

Иынь (*озабоченно*). И на том спасибо, что все. И за то, что ничего не скрыл, тоже спасибо. Про фокмачту я ничего не знал — это самое серьезное. (*Сердечно*.) Другой стал бы расхваливать свое судно, словно писаную красотку, а ты ни одной морщинки не упустил. И еще говоришь, чтоб я тебе не верил!

Керттунен. Скооль! Дашь «Фортуне» другое имя?

Иынь. Нет. Раз уж она прожила под этим именем восемнадцать лет, пускай и дальше так живет. Ведь фортуна — это удача, а у нас в Пярну говорят, что Иынь и удача — родные брат с сестрой. С какой же это стати удача должна повернуться ко мне своим прекрасным задом? И плавать твоя «Фортуна» будет по-прежнему под финским флагом. Не хочу царю пошлину платить... Эй, Валлинь!

Валлинь подходит к ним. Половые уже сдвинули вплотную два стола и поставили вокруг восемь стульев. Услышав, как Иынь окликнул хозяина, хийумцы подняли головы. Иынь, до сих пор сидевший ко всем спиной, повернулся теперь со стулом на сто восемьдесят градусов, вытянул во всю длину свои ноги и пристально глядится в присутствующих. Компания за большим столом поглядывает на него свысока, хийумцы — выжидательно, только финны ничего вокруг не видят. Первая проститутка успела перебраться за большой стол и сесть на колени к норвежцу. Вторая — в нерешительности. Мань сидит спиной к Иыню, Матильда болтает, Альфред бурчит что-то нечленораздельное.

Матильда. Хозяйка мне дает стирать только все глянцевитое: и барские сорочки и нижние юбки. Наше дело тонкое. Работаем всего двенадцать часов, а платят в день по полтиннику.

Мань. Ты дура, Маали. И этот твой Альфред или как его там, штопор твой расфуфыренный, тоже дурак.

Альфред. Вас заге зи, Матильда?¹

Матильда. Нихт файнес², Альфред... (*К Мань*.) Я тебе не Маали, а Матильда!

Мань. Небось когда свиной у нас в деревне пасла, так и на Маали отзывалась!

Матильда. Фуй.

Иынь (*все это время он переешентывался с Валлинем, поглядывая то на хийумцев, то на финнов*). Будь ласков, Валлинь, пригласи сюда этих хийумцев. И если

¹ Что она сказала, Матильда? (*нем.*).

² Ничего хорошего (*нем.*).

я с ними столкуюсь, дашь им за тот стол вина и водки. И какой-нибудь закуски.

Ю р н а с. Ребята, это Йынь с Кихну, тот самый! Дай бог, чтобы он нас взял!

К хийумцам подходит Валлинъ и что-то говорит. Они поднимаются. Первым, как старший, идет Юрнас — он решает все за всех, по пятам за ним следует Пееп, который чуть помоложе, а сзади всех идут Андрус и Якоб, оба совсем еще зеленые. У стола Йыня они даже не решаются сесть.

А н г л и ч а н и н. Картофельный капитан команду набирает. Харч—свинский, жалованье—нищенское.

Йы нь. Вы все с Хийу, ребята?

Ю р н а с. Почему вы так решили?

Йы нь. По длинным языкам... Садись, Юрнас! Последний раз я тебя в Бергене видел. Помнишь? Ты у Гранта служил матросом.

Ю р н а с. Как не помнить? Йыня все помнят.

Йы нь (*наливает доплна бокал и протягивает его Юрнасу*). Выпей за мой новый корабль «Фортуну» и за здоровье Керттунена, самого честного из друзей.

Юрнас пьет.

Хорошую, очень хорошую песню пел ты в Бергене. (*Напевает.*)

Ты была моей фиалкой
на ночном лужке,
а потом лупила скалкой
прямо по башке.

Правильно пою?

Ю р н а с. Да, жалостливая была песня, капитан. До сих пор слезу прошибает.

Йы нь. Я сам уже плачу. (*Переменив тон.*) Мне люди нужны, Юрнас. Новое судно купил.

Ю р н а с. Ну да, «Фортуну». Мы уже ходили в порт, смотрели. Представление имеем.

Йы нь. Ну как она вам показалась?

Ю р н а с. Ты и не на таком дерьме плавал.

Йы нь. Пойдешь ко мне матросом? Платить буду не хуже, чем платят по всему Пярнускому побережью, а есть будете то же, что и я.

Ю р н а с. Да уж на воде с горохом ты людей не держишь. Дело известное. Только я не пойду.

Йы нь (*обиженно*). Почему же? Не хочешь на моем корабле плавать?

Ю р н а с. Есть у нас, у хийумцев, одна беда.

И ы н ь. Какая-нибудь новая?

Ю р н а с. Поесть любим. Это у нас у всех в крови. Хийумцы, сам знаешь, бывают водяные и лошадиные. Водяные — плавают, лошадиные — пашут. Мы, все четверо, — водяные хийумцы. Пееп (*показывает на товарища*) плавал и с немцами и с финнами. Первый мастер и по плотничьей и по парусной части. Что хочешь смастерит: хоть забор, хоть гроб. Валлинь — человек разумный, но без денег и он никого не кормит. А мы без гроша.

И ы н ь. Ну, заборов да гробов мне не понадобится, а мастер по плотничьей и парусной части пригодится. (*Пеепу.*) Пойдешь на «Фортуну»?

П е е п. Как все, так и я. Один не пойду.

И ы н ь. Ты, Юрнас, у них за главного? Я ведь не ошибся?

Ю р н а с. Если я за главного, так мне после всех говорить положено. При мне ведь два птенца желторотых — Андрус и Якоб. Я обещал их старикам, что обеспечу малым кусок хлеба. На Хийу все девчонки голову потеряли: только тех ребят на сеновал к себе пускают, какие в Атлантике побывали. Не век же этим молодцам милостыню под окном выпрашивать!

И ы н ь. А что молодцы сами думают?

А н д р у с. Как Юрнас, так и мы.

Я к о б. Как Юрнас, так и я. Только зря ты, Юрнас, треплешься: у меня уже двое ребят.

И ы н ь. Уже семейный человек, значит?

Я к о б. Дудки! Это я просто пошутил.

И ы н ь. Хороши шутки! Кормить-то их надо, детей своих!

Я к о б. То-то и оно! И все через моего старика вышло.

И ы н ь. А при чем тут старик? Дети-то твои?

Я к о б. Дети-то мои, а все равно старик виноват. Земля у нас скупая, каменная. Отец мой и говорит, что от такой земли милости не дождешься, самому надо брать. Вот я и взял у Ингель у этой. А теперь плачу и плачу, плачу и плачу.

И ы н ь. И должен платить и платить, платить и платить. (*Встает и пожимает всем руки.*) Если ты, Юрнас, пойдешь ко мне, беру всех четверых. Не хочу вашу компанию разбивать. В Южную Америку поплывем... В Гамбурге скобяные товары погрузим. Но если там кто сбежит с корабля...

Ю р н а с. От тебя в одиночку не сбежишь. От тебя только всей командой можно сбежать. И если кто сбежит, так не от тебя, а от страха... На таких гробах плавать...

И ы н ь. «Фортуна» — хорошее судно, самое новое из всех, что подо мной бывали... Но если народ разбежится, то придется мне платить и платить, платить и платить, и никакая царская бумага мне не поможет. Веди, Юрнас, своих ребят к тому столу. Выпейте за наш уговор и за удачу «Фортуны».

Все четверо идут к накрытому для них столу.

Постой, Юрнас! Позови ко мне тех двух финнов.

Юрнас подходит к Антти и Лаури.

(Керттунену.) Я все смотрю на них и думаю, брать или нет. Что ты скажешь? Валлинь советует брать.

К е р т т у н е н. Возьми... Только отбери у них первым делом ножи. Эти черти только тогда и спохватываются, как уже натворят чего-нибудь.

Хийумцы садятся за накрытый стол. Лаури и Антти подходят к Иыню, останавливаются, картинно расставив ноги.

Л а у р и. Хювя илта, каптени.

А н т т и. Хювя илта, каптени.

И ы н ь. Хювя илта, ребята. Хотите в рейс?

К е р т т у н е н. Рийасса тэлла хеткелля паремпа лайва эй лейдю. Я тэмен каптенин кансса эй упота. Совиткаа каупаста!¹

Л а у р и. Куда поплывем, каптени?

И ы н ь. В Южную Америку... Приходилось туда плавать?

А н т т и. Мы старые морские волки... Драться так драться, а плавать так плавать... Тюрьма от Антти пикуда не денется... Что скажешь, Лаури?

Л а у р и. Как ты, так и я, Антти. Девочка у меня в Турку осталась...

А н т т и. Хинкелла Яакко тоже ждет не дождется моего ножа... Но мы поплывем, Лаури... Там девочки черные, как пантеры.

Л а у р и. И жара, как в аду... Поплывем, Антти.

И ы н ь. Тогда по рукам!

¹ Лучшего корабля в Риге вы сейчас не найдете. С этим капитаном вы не утонете. Советую соглашаться! (фин.).

Финны негостеприимно подают ему свои лапищи.

Чтобы закрепить сделку, разделите компанию с моей командой за тем большим столом. А свои пукко отдайте до утра мне. В тюрьму еще сто раз успеете попасть.

Антти (*снимая с пояса нож и отдавая его Йыню*). Доверяю его тебе как родного сына. (*Кидает яростный взгляд на компанию иностранцев и снова тянется за своим ножом.*) Там одна рожа просит ножа, каптени!

Керттунен (*положив руку на нож*). Спокойствие, сын мой!

Йынь. Если кто ударит моего человека, он ударит меня. Нож останется при мне.

Антти и Лаури идут к столу хийумцев и с неуклюжей церемонностью здороваются. Между двумя враждующими столами возникает напряженность.

Антти (*с яростью поглядывает на иностранцев, про себя*). И тогда я убил коротышку Ламме. И вымыл нож в его сердце...

Йынь. Валлинь!

Валлинь подходит.

Где же твои сааремские святоши? Кому они там молятся в такую поздноту?

Валлинь. Сам не знаю. Не иначе как Люциферу.

Йынь. Ты помог мне набрать шестерых. И все шестеро — молодцы. Но мне этого мало. В команде должно быть шестнадцать человек. Есть у тебя кто на примете, старина? Ствол у моей команды крепкий, так что ветки могут быть и пожиже.

Валлинь. Женщины тебе не подходят?

Йынь. Женщины?! «Фортуна» сама женщина... Керттунен, на твоих судах женщины плавали?

Керттунен. Случалось.

Йынь. Ну и как?

Керттунен. Два матроса прямо в рай с песней отправились. Только сперва их на суше продырявили и личность немного повредили...

Йынь. То-то и оно...

Валлинь. Можно ведь хокком взять или там для уборки...

Йынь. Уговорил. Попробую. Женщина — друг человека. Кого ты мне присмотрел?

Валлинь (*указывает ему взглядом на стол, за которым сидят Мань и Матильда*). Погляді на тот стол.

Мань сидит к Ыню спиной, Матильда, все время болтающая по-немецки, — в профиль.

Иынь (*глядя на Матильду*). Вот эта? Будь человеком, Валлинь! Да ее уже на суше морская болезнь крутит. Ни мяса, ни костей... И в кавалерах у нее не иначе как приказчик или шахер-махер какой-нибудь.

Валлинь. Нет, капитан, я не про ту. Я про ту, которая спиной к тебе. Это Мань из Хяадемеесте, она уже плавала коком. Только на небольших суденышках.

Иынь. Мань из Хяадемеесте? Да что ты говоришь? Я же ее знаю! Зови ее скорей... Нет, погоди! Я сам ее приглашу. (*Подходит к Мань и по-свойски кладет ей руку на плечо.*)

Мань (*резким, гневным движением отводит плечо, вскакивает и оборачивается*). Вот дам тебе, так нос сразу к самому уху съедет! Какой нашелся!.. (*Смотрит во все глаза на ухмыляющегося Ыня, не веря себе, трет глаза и всматривается снова.*) Ынь, Ынь с Кихну! Откуда ты здесь взялся, сивый морж? А я-то боялась, что тебя треска слопала...

Иынь. Треска меня не слопает, не посмеет; я ведь местечко себе купил на кихнувском кладбище.

Мань (*с нежностью*). Ишь, какой ты круглый да толстый! Ты, брат, долго на воде продержишься: чайки успеют гнездо свить в пупке... Садись к нам, Ынь... Ведь я уже хотела заупоконную по тебе заказывать.

Иынь. Пойдем лучше к моему столу. Надо немного потолковать. (*Берет Мань под руку и ведет ее к столу.*)

Кертунен поднимается и ждет, пока сядет Мань.

Вторая проститутка. Вот кто гадюкой-то оказался!

Лаури. Капитан себе девочку привел.

Юрнас. Окуляры вбок, парень! Старик — человек вспыльчивый.

Синий бушлат. Эй, фликен!¹ Давайте сюда, здесь господа попрличнее.

Иынь. Не обращай внимания, Мань... Ты пришла сюда работу искать?

Мань. Угадал. (*Доверчиво.*) Дома больно много братьев и сестер расплодилось, а рожь в этом году... только половина ее и уродилось, да еще и корсва сдохла. К хуторянам в батрачки наниматься не хочется — море мне вроде привычной. А ты, Ынь, все такой же

¹ Барышня! (*швед.*).

и с виду совсем как волостной старшина. Жену себе нашел?

Йынь (*показывая на свою команду*). Вон я кого нашел. А жену все еще ищу... Слушай, Мань, поплыли со мной! Мне кока не хватает, а ты человек стоящий... Мы с тобой всегда ладили...

Мань. Всегда, кроме одного раза. (*С грустью.*) Забыл?

Йынь что-то мычит.

А поплыть на твоём корабле — это я с радостью. Ты у меня золото, старое золото...

Матильда (*к которой начал привязываться один из иностранцев*). Мань, иди скорей сюда!

Мань. Слышишь, как Матильда уже заскулила там без меня? Жалко бросать свою землячку в этой грешной Риге.

Йынь. Чем она тут занимается?

Мань. Прачкой работает. Такой барыней тут стала, что без толмача сговориться не можем... По-эстонски совсем разучилась говорить... Дома гусей да свиной пасла, а тут в обморок на рыбном рынке падает: вонища, мужичье такое грубое, ругаются. И вечно приказчики при ней ошиваются, бестолочь эта, им бы палубу поскоблить! Ее мать просила меня за ней приглядывать... Возьмем и ее, Йынь! Может, человеком станет...

Йынь. На кой черт? На корабле, бывает, и хуже воняет, чем на рыбном рынке, а что такое буря — сама знаешь. А дохлых барышень хоронить — это мы, капитаны, не умеем.

Мань. Йынь, золотко! Я ведь не за себя прошу! Неужели ты мне откажешь?

Йынь (*себе под нос, мрачно*). Все равно все эти образованные капитаны сумасшедшим меня считают... (*Громко.*) Зови ее сюда.

Мань (*на весь трактир*). Давай сюда, Маали!

Матильда вздрагивает, но не оборачивается.

Маали!

Матильда поворачивается спиной.

Хватай конец, Маали!.. (*Йыню.*) Видишь, до чего она поглупела в городе, — собственное имя забыла.

Йынь (*громко*). Фроляйн Матильда, коммен зир хир! ¹

¹ Подойдите сюда! (*нем.*).

Матильда поднимается и, кокетливо придерживая юбку за воланы, мелкими шажками таксы направляется к Йыню.

Битте, зетцен зи зих!¹

Матильда церемонно опускается на свободный стул.

Мань. Это капитан Йынь, Маали... Он хочет тебя нанять на свой корабль.

Матильда. Фуй! На корабль! Альфред обещал меня в трактир устроить... Там куда благородней...

Мань. Заткнись! Разве я тебе зла желаю, наказание господне!

Йынь. Погоди, Мань! Понимаешь, прейли² Матильда, ты должна меня выручить. Корабль у меня большой, новый и называется «Фортуна». Мань пойдет ко мне коком, но нужен еще один толковый человек — полы мыть.

Матильда. Полы мыть? Фуй! Только тонкое бельё!..

Йынь. Да нет, не то чтобы полы мыть, а протереть разок — у меня в каюте и у штурмана... И насчет белья у нас, конечно, слабовато... Не прикажу ведь я матросу лезть на мачту, если у него никакого вида: блузу он сам себе стирал, да и та в трех местах продрана.

Матильда. Никакой тонкости!

Йынь. Значит, некому будет по мачтам лазать. *(Вздыхает.)* Да и сам я разве смогу отдавать команду, если на мне не будет крахмального воротничка и белоснежной манишки? Кто меня станет слушаться? *(Прикрывает рукой свой шейный платок.)* А юнга крахмалить не обучен.

Матильда *(ласково протягивает руку к шейному платку Йыня)*. Бедный капитан Йынь, даже в ресторан вы ходите ненакрахмаленный. *(Несмотря на сопротивление Йыня, развязывает его платок и обнаруживает под ним серую деревенскую фуфайку.)* Фуй! Это же овца!

Йынь. Серый кихнувский баран. Юнга — что с него спросишь? Работа у нас на корабле легкая. Народ воспитанный. Штурман говорит только по-немецки. Поплывем мы отсюда прямо в Германию.

Матильда. Боже мой!

Йынь. А из Германии в Южную Америку.

Матильда. А там тоже есть города?

¹ Садитесь, пожалуйста! *(нем.)*.

² Барышня *(эст.)*.

Иынь. И еще какие! Рига в сравнении с ними — ничего, все равно что ваше Хядемеесте в сравнении с той же Ригой. Там вы таких чудес повидаете, таких чудес! Там любую женщину называют сеньоритой и дарят ей быка.

Матильда. Быка? Мне? Фу!

Иынь. Нет, быка дарят капитану. Но тебя будут называть сеньоритой, осыпать драгоценностями и страусовыми перьями.

Матильда. Перьями! Ах, обожаю перья!

Иынь. У них там всякие перья. И птицы всякие: и марабу, и какаду, и попугай, и мамонты, и анаконды. Ты таких птиц и не видывала... Привезешь с собой сумку перьев, знаешь как разбогатеешь? А какие там юбки!..

Матильда. Накрахмаленные?

Иынь. Не успел разобраться. Только знаю, что под них колеса вставляют.

Матильда. Майн готт!¹ Женщины на колесах?

Иынь. Да нет, не женщины на колесах, а юбки на колесах... Под каждой юбкой большое такое колесо, а над ним — другое, поменьше, а потом — третье, еще поменьше. Снизу колесо от кареты, повыше — от телеги, еще повыше — от тачки, а совсем наверху — от швейной машины. А на талии узенькое такое колечко, величиной со старое точило... Поплывешь со мной — и у тебя будет такая юбка, и придется старому Валлиню сделать для тебя дверь в полтора раза шире — не то не пройдешь в его кабак... Представляешь, какая красота! Опять же в плавании у человека лоска прибавляется — ведь каким только языкам не выучишься!.. Если есть рай на земле, то это не иначе как парусник.

Матильда (*мечтательно*). Перья!.. Юбки с колесами!.. Штурман по-немецки разговаривает!.. Что же мне делать, Мань?

Мань. Ударь с Иынем по рукам.

Матильда протягивает Иыню руку.

Пойди выпроводи своего приказчика!.. И сядем вместе к нашей команде.

Матильда. Фу! К этому мужичью?

Мань. Твой Альфред — мужичье! Как он легко тебя отпустил! Погляди, на кого он похож — дохлая ры-

¹ Бог мой! (*нем.*).

ба... Ступай! (Иыню.) У вас тут свои разговоры... Пойду к команде. (Идет к большому столу и спокойно усаживается рядом с финнами. С простотой деревенской девушки пожимает всем руку.)

Матильда, с явной неохотой покинув стол Иыня, наклоняется к скишшему Альфреду и что-то говорит ему. Все той же семенящей походкой направляется к столу «Фортуны», делает небрежный книксен, улыбается и тут с испугом замечает «бандитское» лицо Антти.

Керттунен. Не хочу вмешиваться в твои дела, капитан, но ты сам навлек несчастье на свой корабль.

Иынь. Иынь и удача — родные брат с сестрой.

Керттунен. Я считал и считаю тебя честным человеком. Но во всем северном полушарии никто еще так чертовски не врал, как ты, когда рассказывал этой девчонке про море.

Иынь. Ну и что из того? Господь мне простит. Понимаешь ли, девчонка эта без Мань наверняка пропадет, а когда человек идет на дно, все вокруг, вместо того чтобы помочь, только воют. Человек растянется в грязи, а ему никто даже руки не подаст. Замарать побоятся. И при этом еще воображают себя главными праведниками в этом божьем мире: разве мы не лили слезы? Но все они самые настоящие жулики: и пасторы, и попы, и Армия спасения, и разные любители похныкать. Расплодилось их — как клопов! Но выть, как они, я не умею... Помочь — другое дело. Если в моих силах — всегда помогу... И если ради этого надо соврать — совру! Выпьем?

Синий бушлат. Эта фроляйн Матильда — лакомый кусочек. Слишком лакомый для этих серых фуфаяк из Прибалтики! Отобьем?

Антти. Лаури, они плятятся на нашу девочку! Пора затевать драку.

Матильда. Что говорят эти ужасные люди?

Мань. Не слушай чужих разговоров. Где твоя тонкость?

Юрнас. Потихе, Антти!

Из-за двери сперва слабо, потом громче доносится песня.

Вваливаются в обнимку Михкель и Яан.

Михкель и Яан (поют).

Два сааремца в тени раки
С чертями резались в картишки.
Тиди-риг-тиг-тит,

Тиди-рит-тит-тит,
Щебетали воробышки.

Валлинь (*кидаясь к ним коршуном*). Ах, это вы из молельного дома так поздно? Ах, это вы из молельного дома в таком виде?

Михкель и Яан (*воплощенное смирение*).

Сжался, не губи нас!
Духом укрепи нас!

Валлинь (*в бешенстве*). Молчать, пираты! Из-за таких, как вы, старый Валлинь облысел раньше времени. И за ночлег вы мне должны, и за стол должны, и за пиво должны. Да будь проклята та повивальная бабка, которая помогла вам на свет явиться! У вас были деньги, но вы не отдали их старому Валлиню. Вы оставили свои денежки в другом трактире. (*С глубоким вздохом.*) Такова награда за доброту! А я вас еще расхваливал капитану Йыню.

Михкель (*трезвея*). Йынь здесь?

Яан. Сам Йынь? Господин Валлинь, простите нас!

Валлинь. Расхваливал таких головорезов, и кому расхваливал — лучшему капитану! Пошли! (*Подводит их к Йыню.*) Вот вам, капитан, еще два эстонца — Михкель и Яан. Оба с острова Сааремаа. Набожные ребята. Жулики.

Йынь. Сааремцы, говоришь? И жулики?

Валлинь. А как же их еще назвать, если они выносят деньги за эту дверь?

Йынь. В море со мной пойдете?

Михкель. Да мы сами ищем, с кем бы пойти.

Йынь. Судно есть... Много вы должны Валлиню?

Валлинь. Шестнадцать рублей.

Йынь. Я заплачу. Это дело решенное.

Сааремцы кивают головой.

Идите за тот стол, к моей команде. Налей им церковного, Валлинь (*вполголоса*), только по-божески.

Михкель и Яан пришвартовываются к столу «Фортуны». Враждебность между этим столом и столом иностранцев все нарастает: кто стискивает кулаки, кто кидает кровожадные реплики, кто вызывающие взгляды. Англичанин просит пологого «поднести» Кларнету и Гармони, находящимся в промежуточном между сном и бодрствованием состоянии. Выпив, они начинают играть медленный печальный вальс.

Валлины!

Валлинь подходит.

А что ты скажешь о своих музыкантах? Чем они раньше занимались?

В а л л и н ь. Моряками служили. Потом застряли на суше и стали пьяницами. Сам знаешь, капитан, как это бывает. А потом я их подобрал — они тут играют за выпивку и закуску. Оно все же приличней, чем побираться... Но стоит забрести сюда знакомому моряку — беда: режут как маленькие. И делают вид, будто судно себе подыскивают — уже четыре года занимаются этим каждый божий день. Днем ищут, а вечером сюда приходят, инструмент свой мучить... Это народ конченный — хуже любого покойника.

И ы н ь. Конченный, говоришь?

К е р т т у н е н. Как теленка скрипачом не сделаешь, так и скрипача — моряком.

И ы н ь. Отдай их мне, Валлинь.

В а л л и н ь. За милую душу отдам. Они и сами мигом согласятся. Но ты и одуматься не успеешь, как они свистнут у тебя бухты две каната, выпьют весь спирт и назанимают у всей команды денег, а то и вещей. Ничем не побрезгуют. Одному датчанину они чуть не продали его же собственный якорь. У какого-то англичанина хронометр сперли и под полой унесли, тот по причалу за ними гнался. Тащат все, что ни увидят, кроме раскаленного железа и теплого дерьма. За день до твоего отплытия они от тебя сбегут, а дня через два опять в трактире объявятся.

И ы н ь. А все ж таки пригласи их сюда. Если они еще не научились воровать раскаленное железо, значит, и у меня ничего не стащат.

Валлинь манит их пальцем. Музыка обрывается. Кларнет и Гармонь поднимаются, одергивают на себе сюртучишки и подходят к Иыню.

А н г л и ч а н и н. Эй, ребята! Ведь я вам уплатил! Кто посмел оборвать песню, заказанную британским подданным?

И ы н ь. Я посмел. Я! Капитан с царским дипломом!

Англичанин порывается встать, но Валлинь его удерживает.

Ну как, музыканты? Сладок вам кабацкий хлеб?

К л а р н е т. Нет, господин капитан, не сладок. Как только найдем корабль...

Г а р м о н ь. Как только найдем корабль, сразу отсюда смоемся.

Иынь. А что, если я вам предложу место? Место и дальнейшее плавание?

Кларнет. Покорно благодарим.

Гармонь. В ножки кланяемся.

Кларнет. Имеем множество рекомендаций.

Гармонь. От весьма знаменитых капитанов.

Иынь (*про себя*). Сильны зубы заговаривать, мошенники! Истинный бог, смешай при них кофе с молоком — они молоко сопрут, а кофе оставят.

Англичанин (*в ярости*). Кто заказал музыку? Я! А ну, встать в честь британского флага! Правь, Британия!

Иынь. Ступайте, сядьте в честь британского флага, сыграйте ему что-нибудь и подумайте над моим предложением.

Кларнет и Гармонь играют. И тут вдруг, вопреки всякой логике, как оно обычно и происходит в этом мире, начинается такая драка, что весь трактир оказывается перевернутым вверх дном. Синие бушлаты приглашают проститутку танцевать, один из них подходит к столу «Фортуны» и тянет Матильду на середину зала.

Антти (*вскакивает*). Убери свои лапы, парень!

Синий бушлат. Заткнись, пьянчуга! А не те соловьем у меня запоешь!

Антти (*сунув ему под нос кулак*). Понюхай, чем пахнет эта головешка! Приличная гиря, правда? Один раз дам — и сразу похоронят с оркестром!

Юрнас (*хийумцам*). Придется драться, ребята, никуда не денешься... Только башку берегите — в плавании пригодиться может. (*Разбивает ударом об пол стул.*)

Все четверо хийумцев вооружаются ножками от стула. Антти бьет англичанина в грудь, и тут же в его челюсть врезается костлявый кулак противника. Раздается женский визг.

Иынь (*вскакивает*). Женщины и дети, ко мне!

Мань хзатает визжащую Матильду и прячется с ней в углу за спиной Иыня. Драка охватывает весь трактир, словно пожар. Остановить ее уже невозможно. Ножки стульев обрушиваются на головы с выразительным деревянным звуком. Брань, возгласы: «Лаури, прикрой меня с тыла!», «Юрнас, у меня в глазах темно! Какая сволочь ударила меня ослиной челюстью?», «Годдам!», «Фердамт!», «Каррамба!» Разгул организованной стихии.

(*Схватил свой стул и стоит наготове. Валлийю.*) Ты поглядывай, что мои ребята ломают. Потом счет представишь. За чужих платить не стану. (*Капитанским голо-*

сом.) «Фортуна», слушай мою команду! Все за одного, один за всех! Прикрывай друга со спины! Пол целовать нечего! Сбили с ног — поскорее вставай!

Кларнет. На чью сторону встанем?

Гармонь. Сперва подождем, кто одолевать начнет.

Трактир заволакивает нежный лирический полумрак. Начинает намечаться перевес «Фортуны». Синие бушлаты отступают и просачиваются сквозь дверь на улицу. Только теперь Кларнет и Гармонь становятся на сторону «Фортуны». Англичанина бьют по голове гармошкой. Кларнет бессильно и жалобно стучит по отступающим спинам. Когда лампа снова разгорается, на поле боя не остается ни одного синего бушлата.

У трактира такой вид, будто было землетрясение. У Антти под глазом синяк, Лаури держится за голову, хийумцы все еще сжимают в руках ножки стульев и отдуваются, сааремцы ошупывают свои челюсти. Гармонь удрученно разглядывает свой разорванный инструмент, а Кларнет с отчаянием пытается извлечь хотя бы единственный звук из своей дудки.

Йынь (*в руках у него осталась лишь спинка от стула*). Это ты, Антти, начал первым. По чести говоря, заслужил линька. (*Матильде, с усмешкой.*) Из-за тебя, фроляйн Матильда, великие нации пошли на кровопролитие. Воображаю, что будет, когда ты в перья обрядишься!

Матильда вздыхает.

Но за то, что вы и пили вместе и дрались заодно, хочу вас на первый раз простить. На этом моей проповеди конец. Юрнас! Собери людей и отведи на «Фортуну»... Валлинь! Никому больше ни капли!..

Всеобщий ропот. Команда «Фортуны», вся изодранная, но победоносная, покидает трактир. Впереди всех — Юрнас с женщинами, позади — Гармонь и Кларнет.

Поломался твой бидермейер. Составь общий счет. И дай нам с Керттуненом чего-нибудь выпить. Никого больше не пускай.

Валлинь запирает дверь.

(*Керттунену*). Значит, говоришь, фок-мачта...

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Атлантический океан. Тропики. Судно на полпути от Гамбурга до Бразилии. Баркентина «Фортуна» уже вторую неделю как застигнута в море штилем. Беспощадно яркое солнце, совсем короткие тени. Паруса безжизненно обвисли. Весь океан до самого горизонта пронзительно синий, без единой морщинки, без всякой ряби. Удру-

чающе болезненная яркость. И люди и мысли движутся замедленно и неохотно. Каждый миг стал огромен, словно под лупой. Палуба «Фортуны». Пееп, Лаури, Андрус и сааремцы латают парус. Все босы и раздеты до пояса, мрачные, заросшие. Антти с ведерком краски в руке прислонился к поручням и пристальным взглядом знатока изучает Матильду. Свободной рукой он держит ее за палец. У Якоба в руках большая игла, но он ничего не делает. Чуть поодаль, в тени, сидят Кларнет и Гармонь. На их лицах написано: «Прощай, жизнь!» Они тягуче наигрывают старинную песню «Мой дом стоит на дальнем побережье». Кто-то напевает под нос свой текст этой песни:

Прощай, мой брат! Часы мои пробили...
Я счастлив, что с тобою говорю.
Последним сном усну в морской могиле
Отечества на радость и царю.
И вздох последний испустил несчастный
При этих скорбных жалостных словах.
В его очах угас огонь неясный,
И умер он с улыбкой на устах.

Появляется Юрнас. Он стал боцманом.

Юрнас (всем). Кого вы тут хороните? Уши болят от вашего воя... И это при живом-то капитане! Чахлый вы народ!

Гармонь. Капитан!.. Хорош капитан!.. Куда он нас заманил, жулик? Из-за него мы все бросили — и Валлиня с его пивом, и благородное общество!

Кларнет. И кто по нас будет плакать, кроме нас самих? (Истерически.) Воды дают только по штофу в день, да и та уже провоняла... Бак у капитана под замком... Ни капли лишней не получишь!.. Засох наш талант, а язык во рту совсем как подошва стал.

Юрнас. Аминь! Язык у тебя как подошва, но болтается еще бойче прежнего.

Якоб. Вторую неделю с места сдвинуться не можем, словно припаял нас кто. Здесь мы и подохнем от жажды.

Пееп. Давай иглой действуй! Человек должен трудиться, даже если завтра наступит судный день.

Якоб. Завтра и наступит! С таким капитаном допрыгаешься! Корабль можно доверять только такому человеку, у которого большая страна за спиной, например Россия, или Хйу, или Британия, или Сааремаа... Капитану с острова Муху даже и баркаса доверять нельзя, а про Кихну и говорить нечего... Тоже еще остров: три деревни и одна церковь...

Яан. Зато у этого кихнувца бумага от царя.

Лаури. Провались он в пекло, этот царь!

Пееп (*негромко*). Да пусть он подотрется своей царской бумагой!

Кларнет. Стоять на месте — это еще полбеды. А нас ведь в Саргассово море несет... Сколько там матросов спит, боже милостивый!

Михкель. Целый оркестр!.. Только гармони с кларнетом не хватает...

Якоб. В Саргассовом море нас вокруг оси закрутит волчком.

Юрнас. Интересно, по часовой стрелке или наоборот?

Гармонь. Дурак я, что не продал свой скелет Рижскому университету... Проил бы денежки...

Кларнет. Идея — блеск, только поздно ты хватился... А сколько они дают за скелет?

Якоб (*про себя*). А потом спрут вцепится и на дно потащит... И никуда не денешься.

Яан. Ну нет, спрут — он разборчивый... Он хийумцев предпочитает — у них душа понежнее, особенно у молодых.

Лаури (*негромко*). Пить хочется...

Михкель. Как только придем в порт, сбежим с «Фортуны».

Лаури. Все как один. И в первый же день.

Яан. Иынь с удачей — родные брат с сестрой!.. А уж если родные ссорятся, то крови всегда — по колено.

Юрнас. Пееп, Михкель, Яан! Ко мне! Отойдем-ка в сторонку на два слова.

Все трое поднимаются и отходят с Юрнасом в сторону.

Кларнет. Эта бражка чего-то замышляет против нас.

Гармонь. Валлинь, мой Валлинь, дорогой мой, милый!

Антти. Штурман получит ножа, если воды не прибавит! Сам я пускай пересохну, словно коряга старая, словно сук можжевеловый, но чтобы ты тоже терпела...

Матильда. Антти, ты этого не сделаешь!

Антти. ...но чтобы моя невеста сохла, словно кусок солонины, словно вяленая овца...

Матильда. Антти! Ты назвал меня невестой? Ой, ты назвал меня своей овечкой?

Антти. Штурман получит ножа, говорю.

Ю р н а с. Вот что, ребята; я все слышал, что вы говорили. И все правда, чистая правда. Разве ж я сам не вижу?

П е е п. Плохо ты стал видеть, как боцманом заделался. А еще свой! Скоро мы зубы на полку положим, если они от цинги не вывалятся... Знаешь, какие разговоры в кубрике пошли? Как бы Шнейдеру на тот свет не пришлось отправиться.

Ю р н а с. Знаю я все эти разговоры. Дескать, Йынь продал свою душу черту и получил от него эту царскую бумагу... Дескать, штурман наш никакой не немец из Риги, а сам сатана хвостатый. Даже длина хвоста уже известна — шесть с половиной дюймов...

Я а н. Это все пустяки. Болтовня Кларнета и Гармони. Эти двое и еще Якоб думают, что воды у Йыня сколько хочешь, да только Шнейдер велел ему всех нас уморить. И опять же разговоры всякие про чертовщину. А кто их распускает, никак не пойдем. Нынче ночью они опять плясали...

Ю р н а с. Кто это—они?

М и х к е л ь. Да Якоб с музыкантами. А потом уже и Лаури вскочил с койки и к хороводу их пристроился. Пляшут босые и поют: «Ветер-ветер, лу-ту-ту, ветер-ветер, лу-ту-ту». Колдуют. Хорошо еще, Антти этот все возле Маали ошивается, а то заставили бы его лапландских ведьм вызывать... Уж если на корабле начинают службы нечистой силе служить!..

Ю р н а с. Ничего страшного. В старину, когда суда в штиль попадали, всегда эти песенки насчет ветра пели. Сам капитан первым в пляс пускался. Это еще не самое худшее.

П е е п. Самое худшее то, что народ увял. А уж если трава увянет да высохнет, так она от всякого огонька вспыхнет. И чем человек слабее, тем больше от него пламени да треску. И не дай бог, чтоб этот пожар на палубу вырвался. Первому несдобровать штурману. Сам послушай его речи: у нас, мол, тут зверинец, все мы коровы, ослы да мартышки. Где это слыхано, чтобы мужчин корезами ругать! И на каждом третьем слове у него «швайн»¹.

Ю р н а с. Ты что, грозишься?

Я а н. Каждому свое достоинство дорого.

М и х к е л ь. Йынь должен поговорить с людьми.

¹ Свинья (нем.).

Сказать нам, как и что. И молебен отслужить. Разве мы поганцы какие, чтобы без молебна погибать?

Ю р н а с (*Михкелю и Яану*). Помнится мне, будто в Риге вы в молебельный дом хаживали... Не вам ли и поговорить с Йынем насчет молебна?

Я а н. Не горячись, боцман! Очень нам тогда нужен был этот бог! Бог не иголка, чтобы во все дыры его совать! На суше, бывает, раз в год о нем вспомнишь — в день причастия. Но теперь дело иное, теперь мы в беде. Придется Йыню отслужить молебен.

Ю р н а с. Конечно, поговорить бы с людьми он должен... Но сейчас он не может.

П е е п. Почему это не может?

Ю р н а с. Со штурманом совещается. Дела у нас паршивые — обманывать себя нечего. Трехсотштофный бак в трюме, который сейчас у всех на уме, сухим-сухой, и нет в нем ни капельки. Какой-то нехристь пил из него тайком воду и оставил кран открытым. Йынь просил вам это передать. Только вам троим. С завтрашнего утра выдачу воды снизят до трех четвертей штофа. Барометр дурит — то подаст надежду, то отнимет. Так что всякие чудеса могут еще случиться.

М и х к е л ь. Какие же еще?

П е е п. Прощай, мой берег родной!.. (*Глогает слюну.*) В Эммасте, когда колодцы роют, уже на восьмом футе до воды добираются... И вода такая вкусная!..

Я а н. Йынь должен молебен отслужить... По три четверти штофа... Золото у нас, а не капитан!

Ю р н а с. Я поговорю с Йынем.

Яан, Михкель и Пееп снова принимаются за работу.

(*Подходит к Якобу, который разлегся на палубе, словно пес.*)

Почему не работаешь, Якоб?

Я к о б (*со стоном*). Заболел.

Ю р н а с (*испуганно*). Чем?

Я к о б. В полное повреждение пришел.

Ю р н а с (*заставляя его подняться*). Пошли к капитану. Он у нас за лекаря. Прострел, что ли?

Я к о б. Хуже.

Якоб и Юрнас уходят.

Л а у р и. Ну, что вам боцман сказал? Ветер будет?

П е е п. Ветра не будет, а кое-что пострашнее будет.

М и х к е л ь. Не болтай!

Сидят молча, каждый наедине со своей иглой, со своими мыслями, Матильда тем временем придвинулась к Антти совсем близко.

М а т и л ь д а. Ты меня любишь, Антти?

А н т т и. Ракастан? Кюлля! ¹ Сколько я дрался из-за этих тютто², сколько раз меня били из-за них, и ни одна еще к себе не подпустила. Пока лекаря меня отхаживали, другой уже под их синее шелковое одеяло забирался. Ты первая сразу меня своим признала.

М а т и л ь д а. Как это сразу? Фу, Антти! Никому не смей так говорить...

А н т т и. Я и не скажу. Да и где уж там сразу, если мы сперва целый час на болтовню потратили. Я не меньше ста слов сказал. Вот и не осталось больше ни словечка.

М а т и л ь д а (*закрывая глаза рукой*). А еще говоришь, что любишь! И тебе не стыдно, Антти?

А н т т и. Не стыдно. Ракастан кюлля. Станешь в моем доме госпожой.

М а т и л ь д а. Ой! Госпожой стану? Ах, Антти! Но как же ты меня любишь, Антти, скажи!

А н т т и. Как кархуланский лесник свою собаку!

М а т и л ь д а. Антти! Ты разбил мое сердце вдребезги, как фарфоровую чашечку.

А н т т и. Никто еще никого так не любил, как лесник эту собаку. До смерти не разлучались и всю жизнь на один манер лаялись. (*Утратив чувство реального.*) В дремучем лесу в Аохьяле мы расчистим себе участок и начнем варить деготь. На подсеке рожь посеем. Медведи будут натываться на нож Антти, и олени будут натываться на нож Антти, и форели будут попадаться на крючок Антти. А с потолка у нас будут свисать сто сушеных хлебов, тысяча сушеных хлебов и еще один хлебец. Уж если мы, финны, берем в дом жену, так мы ее и кормим тоже. Кюлля! А ты сидишь у плиты, и огонь будет согрывать твои белые груди...

М а т и л ь д а. Антти! Так нельзя!

А н т т и. Можно! Дров у нас будет много. А наши сорванцы, наши пиккупояд³, рычат на полу и грызут медвежьи кости. Хювэ, ой как хювэ!⁴ У меня, Матильда, сердце очень жалостливое. Как подумаю обо всей этой красоте, так слеза прошибает.

¹ Люблю? Очень! (*фин.*).

² Девиц (*фин.*).

³ Сыновья (*фин.*).

⁴ Хорошо, ой как хорошо! (*фин.*).

М а т и л ь д а. Лучше расскажи, как ты меня любишь, Антти.

А н т т и (*удивленно*). А я о чем говорю? Я тебе тут целую проповедь пропел, не хуже псаломщика из Сваскюлы, да еще и молебен отслужил. Хочешь, чтоб я и хором спел за всех прихожан?

М а т и л ь д а. Хором петь ты не можешь. У тебя голоса нет.

А н т т и. Это у меня голоса нет? И это ты говоришь? Да меня в Турку хотели вместо сирены нанять на случай туманов, четыре марки в месяц предлагали. Сейчас ты услышишь, как может петь мужчина, если любовь у него гудит громче водопада Иматры. (*Поет сильным от жажды голосом.*)

Я в чужом пальто разгуливал,
Как поддельный барин,
И за внешность благородную
Был мне шанс подарен.
Как-то раз такую девочку
Я встретил возле речки,
Что от чувства вспыхнул нежного,
Как полено в печке.
Я с разбега в речку прыгаю,
Чтоб не сгореть напрасно,
И тут же познакомился
С Матильдою прекрасной.
Лучшей пары нет и не было
Истинному финну,
Драчуну и медвежатнику,
Маминому сыну.

М а т и л ь д а. Ах, тут есть и про любовь. Немножко, но все-таки есть. А родник у нас будет?

А н т т и. Где?

М а т и л ь д а. Да возле того участка, где наши ребята будут медвежьи кости грызть.

А н т т и. Будет и родник. Возле самой бани. В десяти шагах всего. Хороший родник. Кюлля.

М а т и л ь д а. Пить хочется...

А н т т и (*внезапно помрачнев*). Или я украду сейчас воды, или кто-то получит ножа.

Каюта Йыня. Йынь, мрачный, небритый, сидит за маленьким столиком. Рядом с ним стоит «флаг-капитан» Шнейдер. На столике разложена карта. В углу на деревянном диване сидит М а н ь.

Шнейдер. Мы не движемся. По моим расчетам, нас снесло дрейфом за сутки на две-три мили назад. Можно считать, что мы стоим на месте.

И ы нь. Да, стоим. И уже слишком долго. Как у нас с мясом, Мань?

М а нь. Воняет мясо. С души воротит, когда в котел его кладешь.

И ы нь. Вода... Вода... С водой у нас плохо. С завтрашнего дня придется выдавать на душу по три четверти штофа. Тяжело станет людям. Тропики... (*Шнейдеру.*) Как у вас проходит вахта, Шнейдер? Удалось что-нибудь разнюхать?

Ш н е й д е р. Про что? Про то, что все они в Бразилии сбегут с корабля? Да это мужичье скулит в открытую! Доннер веттер! А чего вы еще ждали, капитан, от этих баранов из полушерсти? Выдаешь им по штофу в день — мало. Выдаешь по три четверти — мало. Так выдавайте им по полштофа — сразу заткнутся. Уж мы знаем!

И ы нь. А ты можешь обойтись в тропиках полуштофом?

Ш н е й д е р. И не собираюсь. У меня еще не кончился запас гамбургского пива, и плевал я на вашу воночную воду.

И ы нь. Ты плевал, а они ее пьют. Пьют и еще просят.

Ш н е й д е р. Они? Они могут ее пить и должны ее пить. Для меня их нытье что собачье вытье. А если начнут ныть слишком громко, так разговор с ними будет простой.

И ы нь (*резко*). Какой же это простой разговор, Шнейдер?

Ш н е й д е р. Бить по зубам, и все! Как только прибалтийский мужик получает по зубам, ему сразу все становится ясно и в доме наступает покой.

И ы нь (*вскакивает и хватает Шнейдера за грудь*). Не будет у нас этого, флаг-капитан! Запомни: жажда — парень свирепый. В рожу тебе плюнуть он, правда, не сможет — слишком у него глотка пересохла, но выпустить из тебя жиденькую твою кровь — это он сумеет. И если уж случится такая беда, что придется дать по зубам кому-то из моих людей, так это сделаю я, но только не ты!

Ш н е й д е р. Я думал, капитан...

И ы нь. Черта лысого ты думал! Если б думал, так не стал бы мне тут выкладывать свои премудрости. По крови я такой же мужик, как они, и так же мучаюсь от жажды, и так же, как они, хотел бы рассчитаться с тем,

кто... Не посмеешь ты мне дать по зубам, доннерветтер, и никому из них не посмеешь! Ступай! Одно неосторожное слово на вахте — и оба мы с тобой перейдем под команду ангелов небесных. Запомни это!

Шнейдер уходит.

Мань (*подходит к Иыню и обнимает его за шею*). Мне страшно, Иынь!

Иынь. Тут и мужчине станет страшно. А тебе и сам бог велел, не то какая же ты женщина. Женщинам, которые ничего не боятся, лучше к пруссакам в капралы идти, чем мужа обнимать... От таких боже упаси!

Мань. Перестань шутить, Иынь. Я ведь не за себя боюсь... За ребенка..

Иынь. За какого это еще ребенка? Не за ребенка, а за сына. Ребенок мне не нужен.

Мань. Ведь я ношу нашего ребенка, Иынь. И я не хочу, и он тоже не хочет, чтобы его папу убили.

Иынь (*прикрыв глаза*). Папа... Папа... Слово-то какое сладкое! Прямо песнопение ангельское! Прямо булка с изюмом! Так и ласкает душу... (*После паузы.*) Не бойся. Никто меня не убьет.

Мань (*торопливо*). Люди говорят, что немец этот, как щенком, тобой помыкает, что это он тебя подучил морить всех голодом и жаждой. Сказал бы людям, как ты к нему относишься, тогда бы они знали.

Иынь. Дура ты! Одно дело — разговор начистоту здесь, другое дело — на палубе. Хорош я буду, если пойду жаловаться матросам на своего же штурмана! Такому капитану лучше сразу проститься с морем, купить себе сивую клячу и навоз возить. Со времен Ноя такого не бывало! (*Нежно.*) Не бойся, Мань, не плачь. Вернемся в Эстонию — такую свадьбу сыграем, не хуже, чем в Кане галилейской...

Мань (*мечтательно*). Нам бы хоть тихую сыграть!..

Иынь. Таковую свадьбу сыграем — вино рекой будет литься. Муж сперва под музыку плясать будет, а потом и без музыки, пока с ног не свалится.

Мань (*настойчиво*). Поговори с людьми, Иынь. С Юрнасом поговори. Не хочу, чтобы тебя и штурмана одной меркой мерили. Боюсь я...

Иынь (*мрачно*). А я разве не боюсь? Я разве не знаю, во что превращается от жажды не только слабый, но и сильный человек? Но я капитан, и мой страх — это мой страх.

Мань. Почему же твой, если мы с тобой одно и я тебя люблю?

Йынь. Это ни к чему... Сегодня эта любовь ни к чему... Слушай меня хорошенько, Мань! Ребята считают меня бесстрашным человеком, но боюсь я ничуть не меньше каждого в отдельности и всех вместе. Ведь я отвечаю за команду перед людьми, перед собой и перед богом. Так что капитанский страх — это что-то вроде карточного долга, или краденых денег, или смертного греха, или проказы: это такая штука, которую скрывают и о которой помалкивают. Капитан должен спрятать свой страх за семью замками и все семь ключей в море выкинуть. А не то веры в него не будет. *(После паузы.)* Пожалуйтесь людям — конец. Вот какая у капитана арифметика.

Мань. А все ж таки, Йынь, если тебе придется туго, позови меня на помощь.

Йынь. Чудеса! Хядемеесте породило женщину с мужским разумом и мечом херувима, ангела, моего хранителя породило. Хочешь водочки хватить, золотко мое?

Мань. С ума сошел! Ребенок же!

Йынь. Не ребенок, а сын. И больше меня не учи. Не твоего ума это дело.

Мань *(про себя)*. Погоди, вернешься на сушу! Уж там я тебя выучу десяти заповедям.

Входят Юрнас и Якоб.

Йынь. Что случилось, боцман?

Юрнас. Больного привел.

Йынь. Что с ним? На что жалуешься, Якоб?

Якоб *(плакливо)*. Животом мучаюсь.

Юрнас. Ошалел парень, на все четыре ноги припадает.

Йынь *(напустив на себя чрезвычайно внушительный вид)*. Животом? Да?..

Юрнас. Ему бы льняного масла! Должно помочь.

Мань. Или пороху.

Йынь *(кинүз на нее недовольный взгляд)*. А заодно и дрови в него всыпать. Хороший залп будет. *(Достав из шкафа бутылку.)* Лучшее лекарство — ром. Хвати-ка рому! А что ты чувствуешь, когда такое бывает?..

Якоб *(уклончиво)*. Да то чувствую, что...

Юрнас. И давно это у тебя?

Якоб. С самого детства... Лягу, бывало, спать и все сплю да сплю, сплю да сплю. *(Зевает.)* А есть сяду, так

все ем и ем, ем и ем. Или, случится, встану, так все стою и стою. (*Тянет руку к рому, который держит Иынь.*)

Иынь. Ходить можешь? (*Ставит стакан с ромом на стол.*)

Якоб. Могу. Ходить могу.

Иынь. Тогда иди к черту!

Якоб мигом исчезает.

Иди-иди, все иди и иди!.. (*Отдает ром Юрнасу.*) Выпей. И если опять у него приступ случится, погоняй его на мачту и с мачты, до тех пор гоняй, пока не пройдет...

Юрнас хочет уйти.

Погоди, боцман!

С палубы доносится пение. Нагоняя тоску, песня отчетливо звучит в продолжение всего их разговора.

Римский папа (не пьет даже летом!)
Пьет винишко, да в день по бочонку,
А у нас, моряков, ни воды, ни еды —
Въелись тропики эти в печенку.

Капитан спрятал воду,
И черту в угоду
Мы должны пропадать.
Жажда! Жажда! Жажда!
Черту в угоду
Мы должны пропадать.

«Капитан спрятал воду...» Ты говорил с людьми? Объяснил им?

Юрнас. Говорил. С сааремцами и Пеепом.

Иынь. Сказал им, что будет завтра?

Юрнас. Сказал. Им сказал. Приздумались ребята. Но только они не из трусливых.

Иынь (*с ненавистью глядя на барометр*). Видишь, уже три недели подряд безоблачно и ясно. Хоть бы этот дьяволов приспешник на «переменно» передвинулся. Уж про «дождь» и «шторм» я и не говорю, это нам лучше святой субботы. Дай глоток воды, Мань.

Мань. Потерпишь.

Слышится песня:

Всемогущий господь, адмирал всех морей,
Властелин над водой и землею,
В ад отправь капитанов, и пап, и царей,
Утопи их в котле со смолою!

Капитан спрятал воду,
И черту в угоду
Мы должны пропадать.

Жажда! Жажда! Жажда!
Черту в угоду
Мы должны пропадать.

Ю р н а с. Не моего это ума дело, капитан, а все ж таки сказал бы ты Шнейдеру, чтобы он с людьми почелсвечески разговаривал. Чертов мерин! Вообразил, будто «Фортуна» — его имение, по которому с плеткой можно расхаживать. *(После паузы.)* Как бы кто-нибудь ненароком в воду не свалился. Долго ли? Говорят, душа у человека такая малая, что сквозь самую крохотную дырочку улетучиться может... На острове Сырве был такой случай, что лошадь в трещину под лед провалилась. Островитяне, не будь дураки, горло ей шнуром затянули, чтоб дух вон не вышел. Так он все равно вышел — другой дорогой. Как бы кто не попробовал и штурманскую душу освободить.

М а н ь. А я тебе что говорю, Иынь? Что я говорю? Вот освободят твою душу...

Иынь. Нужны мне сейчас такие разговоры, как треске — серьги... Уйди... У нас мужской разговор.

Ю р н а с *(растерянно поглаживая усы)*. Ну-ну, закусил удила...

М а н ь. Власть свою показывает... *(Уходит.)*

Иынь. Шнейдеру я уже все сказал, боцман. И больше говорить не буду.

Вновь доносится песня:

И кричит капитан: «Нет, смолы я не пью!
Эй, матросы, воды! Только живо!»
А матросы-то все, не в аду, а в раю —
Пьют матросы и водку и пиво.

Капитан спрятал воду.
И черту в угоду
Мы должны пропадать.
Жажда! Жажда! Жажда!
Черту в угоду
Мы должны пропадать.

И песни тоже всякими бывают. В одних по звездам вздыхают и луне поклоняются. Певец от любви страдает, а стону на все поднебесье, как от сопения китов. А иной человек на свой пуп уставится и воображает, будто сквозь его пуп идет дорога от огненного чрева земли к самому сердцу. «Капитан спрятал воду...» Господи боже, если ты все это видишь и располагаешь свободным временем...

Ю р н а с. Люди просят, капитан, чтобы ты молебен отслужил.

И ы н ь. Я? Молебен? Кто это просит?

Ю р н а с. Сааремцы. И ещё Пееп. Да и финны эти угрюмые тоже обрадовались бы. А если бы твой рай был чуточку похож на трактир Валлия, то и музыкантам полегчало бы. И женщины тебя послушали бы — и Мань и Маали...

И ы н ь. Женщины? Ну нет! Без них еще туда-сюда...

Входят Михкель, Яан и Пееп.

Что у вас там происходит на палубе? Певческий праздник, что ли? Что это за песни?

Яан. Если люди поют и ругаются — значит, они живы. А уж если они молчат...

И ы н ь. За чем явились? За водой или за господом богом?

Михкель (*смиренно*). И за водой и за господом богом. Когда Моисей вывел свой народ из Египта и повел его через Черное море и Синайскую пустыню, там у них тоже воды не было. Хорошо бы и тебе, капитан Моисей...

Ю р н а с. Капитан Ууэтоа.

Михкель. Хорошо бы и тебе, капитан Ууэтоа, человек зрелого слова и мужского дела, вознестись духом к небу... Великий ропот идет среди твоего народа, и слабейшие уже пошатнулись в вере своей.

И ы н ь. Знаю, ребята, все знаю. (*Озабоченно.*) Но чем же я напою людей? Словами?

Яан. Слово Писания, капитан, слово Писания названо родником живой воды и второй Иорданью...

И ы н ь. А под боком у церкви всегда кабак стоит. Всегда и везде.

В каюту врывается Антти и, растолкав всех, кидается к Иыню.

Антти. Конец моему терпению, капитан! Мера моя переполнилась. Теперь я тебе все скажу, и слова мои будут тяжелее, чем гири в портовом зерновом складе.

И ы н ь (*глядя ему в глаза*). Хочешь сказать — скажи! И не размахивай своими гирями, не то уронишь их на ногу слабонервному. О чем ты хочешь говорить? О воде?

Антти. О воде. О жажде, что разрослась до самого неба.

И ы н ь (*сдерживаясь*). Воды у нас ровно столько, сколько есть. И выдается ее ровно столько, сколько

нужно. Я капитан, и я знаю. Насчет небес ничего не знаю, а вот что некоторым жажда в голову ударила — это я вижу. *(С презрением и гневом.)* Даже людям лучше вас случалось утолять жажду потрохами трески, получать в день по пинте вонючей воды и слизывать с палубы снег. Так было и в проливе Дрейка и у мыса Горн, со мной самим было. Пинта воды в день, и еще сумею в дикий шторм забрать паруса. *(После паузы.)* Я думал, Антти, ты тоже такой человек, я увидел твою рожу — рожу медвежатника — и поверил тебе. Человеку свойственно ошибаться.

Антти. Знаешь, капитан, я бы не стал жаловаться, даже если бы меня стали выжимать и не выжали бы ни капли воды, даже если бы меня высушили, как прут для огня. Но раз Антти заговорил, так не от своей беды. *(Понизив голос.)* Ведь на корабле две тютто: Матильда и эта вторая баба...

Иынь угрожающе хмыкает.

То, что мы можем вынести, они не могут. Они чахнут. Они сохнут, и ребра у них проступают, как шпангоуты. Рукой потрогать и то больно, душе больно!

Иынь. Это чьи ребра ты трогаешь, парень? Что ты здесь болтаешь про Мань?

Антти. Не про Мань. Мань — это ерунда.

Иынь. Мань — это ерунда?! Слушай!

Антти *(совсем тихо)*. Я про другую, про красивую. Про Матильду, про мою нейти¹. *(Опустив глаза.)* Тебе не понять, капитан, что любовь проходит сквозь мужчину, как лесной пожар, делает его стоустым, одаряет его красноречием псаломщика. От любви мужчина пробьет насквозь серый камень. Это говорю тебе я, а уж я знаю...

Иынь. Ни черта ты не знаешь... *(После паузы.)* Я подумаю об этом. Ступай!

Антти уходит.

И вы, ребята, ступайте! Я отслужу молебен.

Матросы уходят.

Я прочту вам проповедь о море, о людях, о Моисее, о любви и о жажде. *(Достает из шкафа Библию, кладет*

¹ Девушку *(фин.)*.

ее на стол, раскрывает, садится, сжимает голову руками.)

Палуба «Фортуны». На ней все так же, как в начале картины. Лишь левее люка поставлена бочка, накрытая брезентом. Она изображает алтарь. Над люком, свесив ноги, сидят рядом Мань и Матильда, за спиной у них — Антти и Лаури, Кларнет и Гармонь с лицами великомучеников, сидят, отвернувшись от «алтаря». На переднем плане расположились особняком Ян, Михкель, Андрус и Пееп. Они заняты починкой парусов. Якоб стоит. Напротив них, за бочкой, — Шнейдер и Юрнас. Появляется Иынь. Он кладет Библию на бочку и, опустив голову, замирает.

Иынь (*не сразу находя слова*). Да... Нет... Да, нынче у нас не церковный и не царский праздник и не воскресенье. И ни один дьявол не превратит для нас будний день в воскресный. На суше свои законы — там служба начинается с пения. Можно бы и в море этого закона держаться, но я слышал в своем салоне, что тут у вас на палубе есть свой двухтрубный орган, который я сам же по слабоумию своему перетащил из трактира Валлиня на корабль... Но противно мне слушать, как воет этот орган.

Гармонь (*тихо*). Поносить искусство — это умеет каждый мужлан.

Кларнет. Сказано — не мечи бисер перед свиньями.

Иынь. Эй вы, заткнитесь! С вами не какой-нибудь пьяный епископ разговаривает, не какой-нибудь венценосный баран, а капитан «Фортуны». Повернуться лицом к алтарю!

Кларнет и Гармонь неохотно поворачиваются.

Спиной повернетесь у райских врат, когда к апостолу Петру явитесь, чтобы он мог наподдать вам коленом... Так-то! В крепости своей и послушании вы послали к черту папу римского, царя и своего капитана. Папа римский угодит в ад и без вашей помощи, а про царя и говорить не буду... Прошу лить слезы и сморкаться как можно тише!.. Только вот не знаю, что доведет вас отсюда до цветущей земли бразильской, если вы отправите в ад своего капитана... Ах, тоже не знаете? Прекрасно и прямо-таки трогательно, как сказала рыбачка, продав прокисшую салаку. А теперь слушайте проповедь! Встать! Шнейдер, мютце аб!¹

Все встают. Шнейдер снимает фуражку.

¹ Шапку долой! (*нем.*).

Слушайте, что сказано во второй книге Моисеевой, в главе семнадцатой, во втором, третьем и четвертом стихе: «И укорял народ Моисея, и говорил: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? Что искушаете господа? И жаждал там народ и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждою нас, и детей наших, и стада наши? И Моисей возопил к господу и сказал: что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». Аминь. Аминь... Аминь, я сказал — сядьте!

Все шумно усаживаются.

Есть среди вас такие, что вздумали в Бразилии, куда я вас должен довести, собрать в узелок свои дырявые ватники и штаны и удрать с корабля. Эти небось думали, что я не скажу сейчас «аминь», но прочту им то место, где Моисей исторг своей дубинкой воду из камня и напсил весь народ. Эти небось ждали, что я потом трахну кулаком по мачте и призову всех, когда из мачты забьет источник: «Напоите верблюдов ваших и напейтесь сами»...

М и х к е л ь. Это, капитан, в другом месте рассказывается и немного не так...

И ы н ь. В капитанской проповеди все на своем месте и все так. «Зачем ты вывел нас из Египта?» — спросил народ Моисея. Зачем ты нанял нас в Риге и привел сюда, где нечего пить и такая дрянная еда? Но разве это я вас привел? И вас и меня привел сюда хлеб насущный, что гоняет человека по этому недоброму миру не хуже бича. Наверно, лишь один из тысячи плавает по морю себе на радость, но господь в своей милости лишил нас этой радости. Этот корабль — и наша судьба и наследственный наш удел. И корабль, и его мачты, и реи, и штурвал, и работа, какую мы должны делать, и шторм, и палящее солнце, и штиль, и приказ капитана, а приказа этого вы должны слушаться так же, как если бы он вылетел из бороды господа бога. Наша судьба в том, чтобы, сжав зубы, идти наперекор судьбе, а не то она нас на спину опрокинет, как навозных жуков. Не то человек станет мертвым, а он должен быть выше своей судьбы. *(После паузы.)* Вы пели: «Капитан спрятал воду...» Да молись я богу с утра до вечера, все равно не хлынет на палубу ни река Пярну, ни Генисаретское озеро. С водой шутики плохи. И я был мотом, когда разрешил выдавать по штофу в день.

Антти. Подумай о тютто, капитан! Ты обещал.

Матильда. Господи, неужели не прибавят?

Иынь (*мрачно*). Не прибавят... Я рассчитал, что всем хватит по штофу в день, даже если еще десять-пятнадцать дней не будет ветра. Одного я не рассчитал. Того, что какой-то пират пойдет в ночной тьме на разбой и спустит из бака триста штофов воды. И не осмеливаюсь я уговаривать бога, чтобы он ради этого мошенника превратился в водовоза трактирного и прилетел бы к нам на крылышках с тремястами штофами под мышкой.

Антти (*протянув Лаури свой нож, шепотом*). Всади мне его ночью в спину.

Лаури. Почему, Антти? Ты же хотел штурмана?..

Антти. Не спрашивай. Всади!

Иынь. Может быть, ветер будет завтра. А может быть, через неделю. Но что такое для капитана «может быть»? Пустое слово. А потому с завтрашнего дня — по три четверти штофа на душу! Не хочу я морить жаждой ни вас, ни детей ваших, но здесь я стою и не могу иначе.

Всеобщий глухой ропот. Слышатся возгласы: «Мучение!», «Все одно погибать...» Самый отчетливый из них: «А почему все должны страдать из-за одного гада?»

Почему все должны страдать из-за одного гада? В море и на войне всегда так. (*После паузы.*) Если вы хотите увидеть когда-нибудь берег, то на «Фортуне» не должно быть никакого нутья и никакого непорядка. Некоторые думают, что от простого непорядка до полного беспорядка еще очень далеко. Нет. Между ними всего четверть дюйма, а то и того меньше. А непорядок начинается с того, что человек считает себя конченным. В черные дни между морем и человеком начинается беспощадная драка, и продолжается она до тех пор, пока человек верит, дышит и двигается. Клянусь вам лысиной Валлиня, что так оно и есть. Половина из тех, кто погиб в море, проиграли драку самим себе, зверю, кричавшему в их утробе от голода и жажды. И это святая истина. Но говорю вам: даже если вся земля пошатнется, а небо расколется надвое и в море закишат бешеные собаки, все равно непорядка на «Фортуне» не будет. Не будет, потому что на «Фортуне» плывут не конокрады и не богохульники, не уличные дворняги и не отребье кабацкое, которое при первом громе крестится. Клянусь тебе в этом, господи! И скажу вам еще одно: не слыш-

ком уповайте на господа, а слушайтесь получше своего капитана. Аллилуйя! Если понадобится молиться, я сам помолюсь за всех. В том сам самодержец российский меня уполномочил и печать приложил. Господу Саваофу приятней слушать капитана с хорошими бумагами, чем матроса в драных штанах, у которого и документов-то нет. На том проповеди конец. Аминь!

Ю р н а с (*деликатно дернув Ёыня за рукав*). Помолись, капитан, помолись!

Ёы н ь. Молебна не будет. В каюте помолюсь. Это вам не дрова рубить, это дело тонкое — его продумать надо. Шнейдер! Боцман! Развести на работу всех! (*Берет Библию и уходит твердым шагом, с поднятой головой.*)

Люди начинают постепенно подниматься на ноги.

М и х к е л ь. Не пойму, Яан, кого он тут восславил — господа или себя?

Я а н. Обоим было воздано по справедливости. Но богу, конечно, меньше перепало.

М а н ь. А ведь он и самому епископу ни в чем не уступит, правда, Матильда? Все священное писание на зубок помнит.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Бразилия. Баркентина «Фортуна» стоит в порту города Сантоса. Каюта Ёыня. Здесь все так же, как и прежде, только более прибрано и нарядно. С причала доносится чужеземная южная речь. В каюте — Ёынь и Шнейдер. Ёынь в полной капитанской форме, он свежевыбрит. Похудел и стал бледнее. Шнейдер совершенно такой же, каким и был: лоценый и элегантный.

Ёы н ь. Как вы думаете, флаг-капитан, сбежит от нас команда?

Ш н е й д е р. Ну еще бы! После такого рейса... Во всяком случае, попытаются, причем все до одного. Даже те...

Ёы н ь. Даже те, вы говорите?..

Ш н е й д е р. ...даже те, господин капитан, кого вы не разрешали бить по зубам. Ни мне, ни самому себе не разрешали.

Ёы н ь (*про себя*). Даже те... даже те... даже те...

Ш н е й д е р. Они не уйдут, а убегут, капитан. Удут. Это разница.

Ёы н ь. Так что же вы посоветуете?

Ш н е й д е р (*педантично*). Не выплачивать никому жалованья, Дать денег только на выпивку, Это первое.

Велеть боцману забрать у всех вещи и спрятать их под замок. Это второе. Затем удвоить вахту. Это третье. Отпускать в город лишь по одному или по двое. Вернутся эти — пустить других, но не раньше. У них какая-то бунтарская порука, они все заодно держатся и по одному удирать не станут. Это четвертое.

Иынь. Значит, оставлять на судне заложников, так, что ли?

Шнейдер. Совершенно верно, заложников. Пообещать, что вы уплатите жалованье после того, как судно будет разгружено. А когда разгрузимся, пообещайте, что расплатитесь после погрузки. Покончив же с погрузкой, выведите судно на рейд — на рейде возьмите и воду и провиант. Ведь пока на борту не будет ни воды, ни провианта, никто не будет ждать отплытия. Это пятое. На рейде поставьте у шлюпок охрану. Это шестое. И, наконец, в Сантосе есть полиция, она обязана отыскать всех мошенников, которые сбегут. Это седьмое. И последнее.

Иынь. Седьмое. И тогда, Шнейдер, у меня все они вот где будут, я их всех, как цыплят, зажму, любого скручу, как солдат — бабу. Это восьмое. (Помрачнев.) А мы вместе и голод и жажду перенесли. Сегодня я скажу им «спасибо», а завтра заберу свое «спасибо» обратно. Дам им завтра слово, а послезавтра отступлюсь от него. Так, что ли, флаг-капитан?

Шнейдер. Так точно. Я эту операцию до последней заклепки продумал, капитан.

Иынь. Сам дам — сам и обратно возьму. Выходит, слово капитана дешевле куриного помета, хоть он, говорят, и помогает соплякам бороды отращивать. А потом я переплыву со своими людьми океан, и каждый сможет сказать про меня: отребье, босяк, дерьмо, шлюхино отродье. И они будут правы. Будут они правы или нет, Шнейдер?

Шнейдер. Нет, не будут: ни юридически, ни с точки зрения морских законов.

Иынь. Значит, морские законы разрешают капитану врать? Хорош закон, если за спиной у него вранье прячется! Хорош закон, если он лишает меня права смотреть людям в глаза! Нет, сатана господень! Конечно, я рискую тем, что потеряю деньги (вздыхает), много денег, а деньги я люблю. Морской закон разрешает мне сберечь эти денежки. (После паузы.) Надо лишь проститься с одной пустяковиной, с безделицей мельче бло-

хи — со своей честью. Да вот не могу я с ней расстаться.

Шнейдер. Доживать вам свой век в богадельне, капитан!

Иынь (*яростно*). Дудки! Не каркай! Если не продам своей чести, так утону по-честному. (*Успокоившись*.) Забыл спросить, Шнейдер, сами-то вы останетесь на «Фортуне»?

Шнейдер. Нет, не останусь. Извините, что так поздно ставлю вас в известность.

Иынь. Причины?

Шнейдер. Не хочу плавать на таком дырявом гробу. Это первое. Не умею с вами ладить. Это второе. У вас не матросы, а дикая банда. Это третье. Все они меня ненавидят. Это четвертое. А виноваты в этом вы. Это пятое и последнее.

Иынь. Как здорово вы все на свете перенумеровали: на основе семи параграфов для обмана матросов и пяти параграфов для обмана меня.

Шнейдер. Точность, аккуратность, воспитанность. Я не хотел покидать «Фортуну», пока не сделал всего, что мог для вас сделать. Это был мой долг. И если я вам больше не нужен, то...

Иынь (*ставит на стол железный ящичек, в котором хранятся судовая касса и судовые документы*). Рассчитаемся, Шнейдер. Не откладывая.

Стук в дверь.

Войдите!

В дверь просовываются головы матросов — Кларнета и Гармони.

Закройте дверь! Не видите разве, что я с самой Аккуратностью рассчитываюсь?

Головы исчезают.

(*Считает деньги, отдуваясь, как паровой котел. Протягивает Шнейдеру жалованье*.) Тут все, проверьте.

Шнейдер. Зачем? Я вам верю, капитан. Ваши оскорбления меня не трогают. Но разрешите вам заметить, капитан...

Иынь (*поднимается*). Да? Что именно?

Шнейдер. Никакой вы не капитан. Ваша слава — блеф. Вы идиот с душой младенца. «Честь, честь!» Какая тут честь в этом стаде? Быть вам в богадельне, капитан! Разрешите откланяться. (*Протягивает руку*.)

Иынь (*вяло отвечая на его рукопожатие*). Прощайте, Шнейдер. Хотелось бы многое вам сказать как молодому человеку, или, говоря по-нашему, по-эстонски, сопляку. Вы умеете снять с неба секстантом звезды и сказать, где находится судно. Но определить свое место среди людей — это у вас не получается. Честь — это такая штука, что мы узнаём, какова ее цена, лишь после того, как уже лишаемся ее. А я не так богат, чтобы лишаться чести.

Пауза.

Самое паршивое, что может случиться в море, — это не видеть рядом людей. Ты, Шнейдер, не видишь. И дай тебе бог, чтобы тебе досталось за это поскорее и покрепче. Я все сказал... Ступайте... Блеф!

Шнейдер уходит. Иынь опять садится. Он вдруг постарел и стал сутулым.

Дверь без стука открывается. Мань входит в каюту и кладет руки на плечи Иыню.

Мань. Иынь!

Иынь. Что?

Мань. Штурман так и пронесся мимо меня... Поссо-рились вы, что ли?

Иынь. Я его рассчитал. Проповедями с ним обменялся. Тяжело мне, Мань... Даже и те, даже и те... Они же мне как дети... Блеф!.. Скажи, Мань, что это за штука — блеф? К примеру, я скажу, что ты блеф, или что слава — блеф, или что честь — блеф и капитан — блеф...

Мань. Не знаю. Наверное, что-то хорошее... Иынь! Люди уходят, уже вещи свои собирают,

Иынь. Все?

Мань. Как будто все. Я их не спрашивала. Расплакаться побоялась. Ведь свои люди. Ты имеешь право задержать их?

Иынь. «Право!» «Право!» А как я потом в глаза буду смотреть нашему ребенку?

Мань. Не ребенку, а сыну. Ребенок — это ничто.

Иынь. Как я посмотрю в глаза нашему сыну, если после такого тяжелого рейса задержу или натравлю на них полицию? Нет уж, раз кобыла пропала, пускай и тарантас пропадет! Каким старым я стал, Мань, старей валуна на Кинху... Все уходят... От меня уж когда уходят, так все сразу.

Мань. Не вешай носа, золотко! В такой момент ты должен быть твердым, как железный гвоздь.

Из-за двери доносятся шаги — беспокойный стук множества сапог.
В дверь стучат.

Войдите!

Входят Кларнет и Гармонь. Стоят рядом. Ишь мрачно
смотрит на них.

Вам чего, музыканты?

Кларнет. Жалованья. Денег, заработанных тяжким трудом.

Гармонь. Все деньги — целиком и полностью. И паспорта.

Иынь. Уходите, значит?.. Расчет?.. Оставьте корабль без песен?

Гармонь. Может, еще вернемся...

Иынь. Что же я старсму Валлиню скажу, когда в Ригу вернусь? Он, может, плакать по вас будет... Сказать, что вы в раю остались — бананы, бататы и прочая картошка! Что ж, держать не буду. Я сам хотел вас рассчитать.

Гармонь. Сам хотел? *(Стучит себя кулаком в грудь.)* Сам хотел рассчитать таких морских волков! Отпустить, значит, хотел? С корабля выставить?

Кларнет. Вы делаете мне больно, капитан!

Иынь *(отсутствующе отсчитывает деньги)*. Больно? «Фортуна» слишком мала, чтобы держать на ней людей только из-за музыки. *(Протягивает им деньги и паспорта.)* Получайте свои деньги, заработанные тяжким трудом... Так...

Пауза.

Скажите, что это значит, если кто-нибудь назовет вашу музыку блефом! Хорошо это или плохо?

Гармонь. Про нашу музыку такого не скажут. Наша музыка — искусство.

Иынь. И я так думал. Откуда бы и взяться блефу в этом сарае Валлиня? *(Резко.)* Пересчитали. Так! Будете собирать вещи — не прихватите чего чужого, не то я вас под землей найду, в самой пренсподней! *(Протягивает руку.)* Не поминайте лихом! Море — это море. Ступайте! Мне делами надо заниматься.

Гармонь. Неужели вы сами бы нас рассчитали? Какая неблагодарность!

Кларнет. Сам же заманил нас на корабль, а потом вздумал рассчитать! Хотел бы я посмотреть, кто теперь поплывет на «Фортуне»!

Уходят с оскорбленным видом.

Мань. Йынь, упрямый мой Кихну, послушай!

Йынь. Деньги, милые мои деньги!..

Мань. Деньги опять будут... Главное — не печалься, не подавай виду, что у тебя на душе творится! (*Целует его в ухо.*) Это еще что — потом хуже будет!

Стучат.

Йынь. Войдите!

Входят сааремцы — Михкель и Яан.

Михкель. Такое у нас дело, капитан...

Яан. Да, капитан, такая, значит, история... Рыба ищет, где глубже... Мы, конечно, понимаем...

Йынь (*опустив глаза*). Деньги, расчетную книжку, паспорт! Это мне известно. А вам известно, что по уговору вы обязаны оставаться на судне до возвращения в родной порт?

Сааремцы. Известно... Все известно.

Йынь. Известно, а паспорта и деньги получить все-таки хотите?

Михкель. Да, хотелось бы...

Йынь. Можете завтра пешком отправляться на север, дойти по берегу до самой Аляски. Но если вы хоть в одной гавани найдете такого же круглого дурака, как я, то готов у вас на глазах сожрать свою зюйдвестку. Другой капитан посадил бы вас на цепь, а я... (*С решимостью.*) А я расплачусь с вами. И паспорта отдам. (*Отдает им паспорта.*)

Михкель (*в сомнении*). Мы бы не стали уходить...

Мань. Но уходите! Так уходите, не мучайте капитана!

Михкель. Мы бы не ушли, Йынь, если бы удача тебя не покинула.

Яан. Ветер тебя обманывает, буря убивает, волна корабль губит...

Йынь. В городе Куресааре у кабака Копса стоит сивый мерин. Ему и расскажите, что вы там считаете. (*Протягивает деньги.*) Вот все ваше жалованье — целиком и полностью...

Михкель. Мы тут с Яаном советовались и решили: возьми у нас, пожалуйста, половину денег и припрячь. Если приплывешь на родину раньше нас, женам нашим пошлешь,

Йынь. А если волны мой кораблик сгубят!

Яан. С вами, кихнувскими, ничего не случается. Не впервой тебе смерть одурачивать. В твоих руках денешки сохраннее будут.

Йынь. Не хочу я брать ваших денег. Разве что Мань согласится...

Мань (*прворно*). Давайте сюда! И не половину, а три четверти. На что вам в чужом городе деньги, тулупам драным? Пропьете только! На Сааремаа жены за вас богу молятся, а вы...

Михкель. Мы тоже за себя молимся.

Мань. На причале ангелы вас ожидают, размалеванные — не хуже финских лодочных сараев. Глазищи так и мигают, как маяк на Суурупи. Сразу небось с ними подружитесь.

Сааремцы отдадут по три четверти своих денег.

А через неделю явитесь назад драными баранами, в мешках из-под угля вместо сорочек, мелкой дрожью дрожать будете, и глаза, как у жаб, опухнут. Известное дело! Ты что, Яан, так мало даешь? Гони двенадцать рублей! Не задерживай!

Йынь. В море вы молодцами были, ребята, дружно мне помогали. (*Пожимает им руки.*) Пришлите ко мне хийумцев... Всякой глупости приходит конец, как сказала лиса, когда с нее сняли шкуру...

Михкель. Если бы удача тебя не покинула...

Уходят.

Мань. Через три дня вернутся, поверь мне, Йынь, как миленькие вернутся: тиди-рит-тит-тит, дири-рит-тит-тит!

Йынь (*тихо*). Слышишь, Мань, как умирает корабль? Это сааремцы уходят... Слышишь шаги? Первый удар на колокольне... За ними хийумцы мои уйдут. Второй удар... А потом и финны уйдут — третий удар... Тут псаломщик и затянет над гробом: «Плоть — это нежный цветочек...»

Мань. Слушай, Йынь, ты хуже малого ребенка. Вот уж не думала, что у тебя душа такая детская.

Йынь (*угрюмо*). И я не думал, пока она не болела. Но ничего, мы возьмем ее в руки.

Стучат.

Войдите!

Входят хийумцы — Пееп, Андрус, Якоб и Юрнас. Вид у всех виноватый и нерешительный.

(Словно не замечая этого, достает из ящика и отдает им четыре паспорта.) Нá, бери! Нá паспорт! Нá! Смывайся! Возьми, Юрнас! Мне и своего мусора хватает, очень мне нужно хранить паспорта каких-то хийумцев! Медведи чертовы, мачтоломы! Катай их по океану с их грыжей! *(Яростно отсчитывает деньги.)* Плати и плати, плати и плати!

Юрнас. Капитан, я тебе еще в Риге говорил, что если уж мы уйдем, то все сразу.

Иынь. А мне от этого легче, что ли? *(Отдает деньги Якобу.)* Вот твое жалованье, пересчитай. Найди хлебное дерево и постой под ним. Еда сама будет в рот валиться.

Якоб пятится.

Вот твое жалованье, Андрус! Пересчитай! Со временем и ты моряком станешь, да еще каким! Вот твое жалованье, Пееп. Ты честно его заработал. Молодчина. Если бы не моя гордость, ухватил бы тебя за хвост.

Пееп. Я, капитан, не ушел бы, но раз уж все уходит...

Иынь. И раз уж удача меня покинула...

Пееп. То-то и оно! В том-то и закавыка! А то я никогда не ушел бы.

Иынь. А я вас спрашиваю, что ли? Что вы из меня жилы тянете? Вчетвером пришли, вчетвером ушли — дело ваше. И кроме вас есть люди. Новых найму. *(Поднимается и обращается к Юрнасу.)* Вот твое жалованье, боцман. На тебя я больше всего рассчитывал, а ты меня в беде бросаешь. *(Пожимает руку Якобу, Андрусу и Пеепу.)* Зла на вас у меня нет, Бог с вами. Море еще сведет нас вместе.

Якоб, Андрус и Пееп уходят.

Ты, Юрнас, погоди... *(Достает из шкафа бутылку и наполняет стаканы. Рука его слегка дрожит.)* Выпей! Выпей за здоровье капитана и Мань. Ведь теперь мы с ней вдвоем — вся команда «Фортуны».

Юрнас. Будьте здоровы! Сплясал бы я у вас на свадьбе, да разве вы позовете...

Мань. Нет, не позовем. Еще собак спустим.

Юрнас. И правильно сделаете. По-свински мы поступаем, что уходим, *(Иыню.)* А зачем ты жалованье

выплатил, зачем паспорта отдал? Кто так поступает после такого рейса? И я сам остался бы и мои хийумцы. А теперь что тебе остается делать?

Иынь. Два ума — хорошо, боцман, только теперь мне твоего не надо. Наберу новую команду в карантинных бараках. Шведов, финнов — всех, кто на ногах держится — и поплыву с ними через Англию в Ригу.

Юрна с *(встревоженно)*. В каких же таких карантинных бараках?

Иынь. В Сантосе эпидемия желтой лихорадки. Поглядывай за своими людьми, чтобы они сырой воды не пили и всякой дряни не ели. Ты из-за них ведь уходишь?

Юрна с. Из-за них, Иынь. Я обязан на место всех их пристроить.

Иынь. Что ж, ступай, раз обязан, *(Протягивает руку.)* Но если почувствуешь, что схватил лихорадку, возвращайся ко мне. Только не в лазарет. Из них возами мертвецов вывозят. Беги же на корабль — мы ведь с Мань хорошие доктора. С богом! *(Поворачивается к нему спиной, смотрит в иллюминатор.)*

Юрна с прощается за руку с Мань и тихо уходит.

Тяжело, когда хорошие люди уходят; или волком вой, или ругай их почем зря... Но уж лучше ругаться. И для них и для меня лучше...

Мань. Иынь!

Иынь. Что?

Мань. Когда же мы домой вернемся, если все так скверно оборачивается?

Иынь. А тебе что за печаль? Когда-нибудь да вернемся: в свое время или чуточку позже.

Мань *(смущенно)*. Боюсь, как бы ребенок в открытом море не родился.

Иынь. Ну и что за беда? Главное, чтобы человек на свет явился, а где он явится — невелика разница.

Мань. Надо же, чтобы у человека место рождения было, а то как же мы его в церковную книгу запишем?

Иынь. А разве в море места мало? Под любой долготой и широтой, под любым градусом...

Мань *(со слезами в голосе)*. Не хочу я, чтобы наш ребенок под какими-то градусами рождался. Уж больно это чудно. Такого и крестить не захотят.

Иынь. Не захотят — сам его окрещу. Да еще в соленой воде. Суша, она тоже вся под градусами — каждый камень, каждый сарай свои градусы имеет.

Мань. Это ты дурачкам рассказывай. Кто их, эти градусы, видал?

Стучат.

Иынь. Да! (К Мань.) Вот провожу последних, и тогда будем мы с тобой по очереди вахту нести: четыре часа — я, два часа — ты... Четыре и два, четыре и два...

Входит Лаури.

Лаури. Каптени...

Иынь (спокойно и миролюбиво). За деньгами пришел, Лаури?

Лаури. За деньгами, каптени...

Иынь. Если Лаури нужны деньги, так Лаури их получит. (Отдает ему паспорт и деньги.) Чем Лаури хуже других? Раз все ушли — значит, и ему пора. Не топать же ему со мной...

Лаури. Тонуть мне нельзя. У меня в городе Турку осталась тютто. Только ты не утонешь, каптени. Я точно знаю. Если бы я не дал в море слово, что уйду, так поплыл бы с тобой хоть в ад. Но уж если дал слово, потом его не проглотишь — ни с солью, ни без соли.

Иынь (пожимает ему руку). Хорошо, Лаури, хорошо! Прощай! Пришли ко мне Антти и прейли Матильду.

Лаури уходит.

И на этом будет все. Все. (Достает из ящичка бумаги Антти и Матильды и раскладывает их деньги на две кучки. Сидит, уставясь в пространство бессмысленным взглядом.)

Стук в дверь.

Да! Войдите!

Входят Антти и Матильда.

Матильда. Вы нас звали, капитан?

Антти. Мы пришли.

Иынь (уже автоматическим движением протягивает Антти паспорт и деньги). Вот. Возьми. Пересчитай-ка сам. Чтобы без обмана.

Антти. Мне этого не надо, каптени.

Иынь (пораженный). Как ты сказал? Не надо?

Матильда. Мы бы лучше на «Фортуне» остались.

Антти. Если только капитан нас не выгонит.

Мань (шепотом). Силы небесные! Милость господня!

Иынь (с трудом скрывая радость и удивление).
Слушайте, может, вас солнечный удар хватил? Это
здесь случается. (Дозвольный, кладет паспорта на пре-
жнее место.) Не ждал я, что ты, Антти, и ты, Матильда,
доставите мне такую... такую... ну, эту самую...

Мань. Радость! Ну скажи: радость! Что ты мям-
лишь?

Иынь. ...такую радость!

Антти. Я, каптени... Это я, каптени...

Матильда. Мы, капитан... Это мы, капитан...

Антти. Это я, каптени, спустил воду из бака. Это
из-за меня все от жажды мучились.

Матильда (поспешно). Нет, из-за меня! Это он
для меня воду воровал.

Антти (протягивает Иыню свой нож). Убей меня,
каптени! (Тихим голосом.) Или отдай под суд. (Совсем
шепотом.) Или оставь на судне. Буду служить на «Фор-
туне» без жалованья, чтобы искупить свою вину.

Матильда. Оставьте нас на судне!

Иынь. Да... Нет... Да отчего же мне вас не оста-
вить, сатана пречистый? Забирай свой нож. В этом
краю мужчине расставаться с ножом не следует. (До-
стает из шкафа бутылку рома и наливает его в стакан.)
Выпей! Выпей! Отпускаю тебе твой грех!

Матильда. Антти не пьет.

Антти. Да, Антти, кажется, не пьет.

Мань. Закрой свой клюв, Маали! Антти выпьет.

Антти (мгновенно опрокидывает стакан). Приказ
есть приказ. Кийтос, каптени! ¹

Иынь (деловым тоном). Начнем сначала. Жизнь
из того и состоит, чтоб все время начинать сначала.
(После паузы.) Деньги-то вам все-таки нужны? Ведь
заработанные! По городу походить надо и всякое та-
кое... Матильда хотела перья купить...

Матильда (покраснев от гнева). Плохой ты ка-
валер, капитан! Мало ли чего я наговорила в Риге по
глупости... (Скороговоркой.) Можешь свою Мань разря-
дить в перья, можешь своей Мань закупить колец в уши
и в нос, и напялить на нее юбку с колесами, и расфуфы-
рить ее, как паву какую-нибудь!.. Перья! Фу, капитан!
(Успокаиваясь.) Можешь дать мне часть денег Антти,
куплю ему рубашку и табаку. Капитанская фрау может,
конечно, позволить себе такую роскошь, как перья, а

¹ Спасибо, капитан! (фин.).

нам с Антти приходится каждую копейку считать. В Похьяле, в дремучем лесу, мы с ним выстроим себе...

Антти. Выстроим себе дом.

Матильда. И землю для поля расчистим.

Мань. Вы только поглядите!

Матильда. Вот-вот! Глядите получше! И если дети у нас в отца пойдут, так только и знай что запасай розги... Перья! Хороша будет Маали из Хяадемеесте, вся в бразильских перьях! *(Весело, от души смеется.)*

Антти тоже смеется несколько по-лошадному.

Уж тебе это понравится, Антти, тебе понравится!.. А теперь, капитан, пора за работу приниматься.

Иынь *(весело)*. Правильно! За работу!

Антти. Да, за работу! И поскорее!

Иынь. Пойдете с Маали на четырехчасовую вахту.

Антти. А потяжелее работы не найдется?

Иынь. В Сантосе это самая тяжелая работа! Второго такого воровского города во всем свете не сыскать. Пускай Маали отправляется на нос, а ты, Антти, возьмешь на себя корму и середину.

Матильда. Нас бы куда-нибудь вместе!

Иынь *(снова входя в роль капитана)*. Это не пройдет. Ни под каким видом не пройдет. Порядок прежде всего! Воров в Сантосе больше, чем маргышек. *(К Антти.)* Только вы окажетесь опять вместе, и только ты первый раз поцелуешь Маали...

Матильда. Капитан, прошу вас!

Иынь. Проси сколько хочешь.. Ну ладно, пусть будет по-твоему! Только ты ее поцелуешь во второй раз, как это жулье окажется на мачтах. И все с них срежет. Поцелуйтесь вы в третий раз, как они все ручки от дверей оторвут — как-никак медь.

Антти. А после третьего поцелуя, капитан, я уж засыпаю.

Матильда. Антти! Постыдился бы!

Иынь. После четвертого поцелуя — прощай компас, а после пятого начнут мачты спиливать. Так что вместе никак нельзя.

Матильда. Да, никак нельзя. На вахту, Антти! *(Уходит вместе с ним.)*

Мань *(садится к Иыню на колени и обнимает его за шею. Напряжение, в котором она так долго была, спадает, Колотит Иыня кулаком по плечу и плачет)*. Се-

дой ты тюлень! Обольститель проклятый! Пес вислоухий! Я ведь так люблю тебя, Йынь!

Йынь (*глядит ее по голове*). Поплачь, глупышка, поплачь! (*Не отпуская ее, поет своим ржавым голосом.*)

Родился сын лицом в отца
И силою медвежьей.
Красавец — на погибель всем
Девчонкам с побережья.

Глядишь, едва из люльки встал,
Пристал к отцу: давай штурвал!
Иначе не отстанет.
Такому ни к чему латынь:
Науку жизни младший Йынь
Изучит в океане.

Мань (*сонно*). Если ты воображаешь, Йынь, что я дам превратить нашего сына в такого же кругосветного бродягу, как его папенька, то ты сильно ошибаешься. У меня тоже есть право голоса!

Йынь. Голос у тебя есть, Мань, еще бы! На сто верст вокруг слышно. (*Поет.*)

Поймет он рано, какое
Житье в матросской шкуре.
Экзамен зрелости ему
Сдавать придется буре.

Не бойся: после бурь и драк
Вернется к матушке моряк
И скажет ей: «Не плачьте!
Я был на всех материках,
Я шар земной держал в руках,
Когда сидел на мачте!»

Мань уже успела уснуть в объятиях Йыня. Йынь берет ее на руки, относит на диван и укрывает одеялом.

Счастье — это всегда счастье, даже и запоздалое...

Занавес

Перед занавесом появляется Историческая истина.

Историческая истина. К сожалению, мой родной брат — Факт не всегда бывает способен подкрепить мои высказывания. К сожалению, мне приходится иногда вступать на скользкую почву предположений. Что касается найма команды, так в этой истории есть известная доля истины, подчеркиваю, — известная доля. Скажем, нанять к себе на судно по своей доброй воле музыкантов, пусть и рекомендованных такой исторической личностью, как Валлинь, на это способен только сумасшедший.

Рассказывают, правда, что однажды в истории мореплавания, а именно при гибели «Титаника», последними остались на корабле капитан и оркестр. Рассказывают, что оркестр до тех пор играл на корме «Боже, чем ближе к тебе...», пока вода не начала заливать трубы. Но дабы восстановить пошатнувшуюся истину, добавлю: оркестр пытался первым захватить спасательные шлюпки, а когда это не удалось, капельмейстер сбил с ног барабанщика и, схватив его барабан, прыгнул в море, ибо из всех музыкальных инструментов лишь турецкий барабан может удержаться на воде человека.

Если предположить — а так как мне не пришлось побывать в Сантосе, то ничего, кроме предположений, мне не остается, — что Йынь в самом деле выплатил своим людям жалованье, чего еще не делал ни один финансово мыслящий капитан, если исходить из опыта Исторической истины, то Йынь вполне заслужил ту сомнительную славу, ореол которой сиял над его круглой башкой... Но прежде чем покинуть сцену, я, прибегнув к помощи фактов древнейшей и новейшей истории, хочу поговорить о данной пьеске, которая в какой-то степени претендует на высокое наименование драматургии.

Таким образом, обратившись к событиям конца прошлого века, автор бежал не только от своей эпохи — нет, он удрал в столь далекое прошлое и от некоторых основных тенденций современной драматургии. В этой пьесе никто никого не спасает. Современная же драматургия зачастую ставит в основу своего конфликта спасение людей либо ошибающихся, либо опустившихся, либо просто глупых людьми неопытными, неопустившимися и умными, причем на каждого спасаемого приходится около тридцати спасающих. Спасающие всегда и всюду поспевают и, наподобие греческого хора, толпятся вокруг спасаемого даже во время его первой брачной ночи. Как это красиво и гуманно! Я смотрю в будущее с надеждой и верю, что даже через сто, через триста и через пятьсот лет еще будут существовать индивиды, которых придется коллективно брать на поруки и которые во веки веков будут служить неисчерпаемым источником для драматургии. Ибо плох тот гуманист, кто схватит расхоронившегося хулигана за шкуру и уберет его прочь. Для драматурга это то же самое, что убрать интригу. Настоящий гуманист наблюдает и читает проповеди. Эта бесспорная мудрость постигнута мною в театре.

Кроме того, Историческая истина утверждает, что Йынь жил и умер холостяком. Введя в команду «Фортуны» женщин, автор совершил надо мной насилие. Так что пусть эта Мань, которая, вопреки Исторической истине, кружит над «Фортуной», не вмешивается в корабельные дела и не подтачивает своими ядовитыми речами власть и авторитет капитана!

И, наконец, последнее. Местами меня очень коробит от того варварского языка, на котором автор заставляет изъясняться своих героев. Как можно?! Зачем эти люди сквернословят, употребляют грубые и грязные словечки? Неужели автор не замечает, в каком прекрасном направлении развивается наш литературный язык, становясь все красивее, все чище и стерильнее? В нем, словно цветы, расцвели ласкательные формы: кис-кис, пис-пис, папочка-лапочка и т. д. и т. п.

Наш поистине прекрасный эстонский язык твердо взял курс на то, чтобы стать доброй тетенькой, и если мы со всей решительностью выкинем из него названия иных частей тела, бранные слова и оскорбительные эпитеты, то наконец в доме будет порядок. Останется лишь победить переводную литературу. Такую, как «Том Джонс» Фильдинга и «Бравый солдат Швейк». Авторы этих книг уже умерли, и мы не можем их больше изучать, так что нам приходится читать и переводить все те слова, которые у нас самих оказались под запретом. Но разрешать эти вольности эстонским писателям не следует. У нас свои нормы: или придерживайся их, или помалкивай!

Я больше не желаю слушать этот варварский язык и не буду смотреть последнюю картину. Я уже высказала все свои мысли и ухожу. (*Уходит.*)

КАРТИНА ПЯТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

«Фортуна» стоит на рейде у Сантоса. Нежный, теплый ветер. Все паруса убраны, палуба пуста, корабль выглядит покинутым. На заднем плане задумчиво ходит по палубе Антти, несущий вахту. На первом плане, под тентом, сидят Мань и Матильда. Тихий, усыпляющий рокот моря, мягкие всплески волн у борта, похожие на всплески рыбьих хвостов.

М а т и л ь д а. Что-то долго твой старик пропадает на берегу.

М а н ь. Какой он тебе старик? Как ты говоришь о капитане?

Матильда. Капитана всегда называют «старик», даже если ему двадцать лет. Уж так на кораблях положено. Скоро он людей наберет?

Мань. По лазаретам ходит... Прямо жуть берет! Как бы не схватил желтую лихорадку... Он, правда, уже присмотрел четырех шведов и несколько штук финнов... Как только встанут они на ноги...

Матильда. С каких это пор ты стала финнов на штуки считать?

Мань. С тех самых пор, как мамзели из прачечной начали капитана стариком называть.

Матильда. Антти! Я больше не могу!

Антти. Начинается! Чего это ты не можешь? *(Прикрывает глаза рукой козырьком и смотрит в море.)* Шлюпка! Шлюпка! Шлюпка идет! С капитаном!

Женщины встают и подходят к Антти, замершему у поручней. Доносятся легкие удары весел и мягкий толчок шлюпки в борт судна. На палубе появляется Йынь, взобравшийся по штурм-трапу.

Мань *(кинувшись к нему)*. Ну, как, Йынь?

Йынь. Пока никак, но дело уже на мази. У ворот лазаретов можно набрать целую команду... Я, конечно, не про те ворота говорю, из каких мертвецов выносят... Только вот...

Мань. Что — только вот? О финнах и шведах ты еще вчера рассказывал.

Йынь. Ребята как мачтовые сосны. И все домой хотят добраться... *(После паузы.)* Только вот видел я в городе Юрнаса. *(Капитанским голосом.)* Ставь котел на огонь! Думаю, что придется нам сегодня накормить десяток голодных парней.

Мань. Уж не решил ли ты вдруг взять обратно этих пиратов? Всех этих сааремцев и музыкантов, которые сбежали от тебя с таким единодушием, с таким трогательным единодушием, что ты потом стонал по ночам и даже худеть начал? Уж не решил ли ты по глупости простить их всех?

Йынь. Что-то плохо разобрал, Мань... Я на это ухо туговат.

Мань. Слышишь ты не хуже кошки. Не вообразил ли ты, что я стану стряпать для таких предателей? Пусть только сунутся на борт, сразу сковородкой по голове получат! Только попробуй у меня миндальничать с ними!

Йынь. Теперь хорошо слышу... Это самое я и попробую! И если кто из них пожелтел от лихорадки, так

ты, Мань, Христом-богом поклянешься и портовому врачу и русскому консулу, что они у нас малайцы.

М а н ь. Не поклянусь! Ни Христом-богом, ни чертом-дьяволом. И стряпать я им не стану. Я их проучу!

И ы н ь. Она их проучит! Она будет учить моих матросов! Час от часу не легче! Да их сама жизнь уже проучила!

М а н ь. Проучила, да недостаточно! Разве это урок? Пусть пешком в Ригу возвращаются, тогда поймут, что от Иыня убежать нельзя.

И ы н ь. Все это не так просто. Что такое школа жизни? Это наши ошибки! Марш на камбуз! Мигом!

М а н ь. Мигом не пойду! Подождешь! Не стану я им стряпать.

И ы н ь (*пораженный*). Не пойдешь? Числишься по судовой книге коком — и не пойдешь?

М а н ь. Не пойду! Хоть на руках носи, не пойду!

И ы н ь. Антти! Матильда! Сюда!

Подбегают Антти и Матильда.

Ты, Матильда, отправишься на камбуз и приготовишь еды на пятнадцать человек. И чтоб еда была как надо!

М а т и л ь д а. Капитан, я...

И ы н ь. Да, ты, Матильда! За неповиновение в открытом море я увольняю своего кока!

Матильда направляется на камбуз, то в дело испуганно оглядываясь.

М а н ь. Только попробуй, Матильда!

Матильда останавливается.

И ы н ь. А ты, Антти, посадишь кока под замок в пустую каюту штурмана, и она просидит там до самой Риги, пока я не отдам ее под суд. Кок, марш под арест! (*Дает Антти ключ.*) В кутузку ее! На хлеб и на воду! Матильда, на камбуз!

М а н ь. Матильда, не смей! Не верь этому сумасшедшему.

Матильда стоит.

(*Иыню, шепотом.*) Помнишь, золото мое...

И ы н ь. Не помню!

М а н ь. А наш ребенок, наш сын?

И ы н ь (*с мрачной усмешкой*). Редко кому из нас удается попасть в карцер еще до рождения. Но что делаешь, закон есть закон.

М а н ь. Я иду на камбуз. Я наварю еды этим (*пони-зив голос*) обманщикам, этим пиратам, этим... (*Нежно.*) Я всегда слушалась капитана! (*Идет, заставив посторо-ниться Матильду.*) Чертов Кихну! Крест на мою голову! Баран упрямый! (*Уходит.*)

А н т т и (*беспомощно вертя ключ*). Ключ от каюты штурмана. Что мне с ним делать, капитан?..

И ы н ь (*отбирая ключ*). Давай сюда! (*Весело себе под нос.*) Создатель небесный, подари мне такой ключ, чтобы запирать рот у этой Мань, и уж я возблагодарю тебя! (*К Антти и Матильде.*) Антти, на вахту! Матиль-да, убрать каюты!

Антти вновь принимается расхаживать вокруг поручней. М а т и л ь - да уходит.

А н т т и. Капитан, шлюпка!

И ы н ь. Кто плывет?

А н т т и. Музыканты!

М а н ь (*появляясь на палубе*). Кто плывет, Антти?

И ы н ь. Музыканты.

М а н ь. Я уже стряпаю, Иыны! (*Кидает на Иыня взгляд искоса.*) Уж конечно, первыми возвращаются са-мые лучшие из всех.

За бортом слышится всхлип Гармони.

Радости-то! Позову Матильду, встретим их песней.

И ы н ь. Какая еще песня?

М а н ь. Распрекрасная песня «Каннель золотой на пальме»! И прочий старинный репертуар.

И ы н ь. Если твсей золотой каннель, жало твое раз-двоенное, не замолкнет, то...

М а н ь. Иду на камбуз! По судовой книге я всего-навсего кок! (*Уходит.*)

Над бортом возникает желтое лицо Кларнета, которого явно кто-то поддерживает. Он совсем ослаб и сразу повисает на поруч-нях. На палубу летит его дудка. Затем появляется Гармонь со своим инструментом. Он в пиджаке, надетом на голое тело, в красном шейном платке и сомбреро. Кларнет остается у поручней. Гармонь подходит к Иыню.

Г а р м о н ь. Вернулись выполнять свои обязан-ности. Мир изучен, деньги кончились, голова трещит, а душа тоскует по тяжкой матросской работе и по наше-му славному капитану.

И ы н ь. Катитесь к дьяволу! Чтобы и духу вашего на «Фортуне» не было! Тоже мне мужнины! Много мне

радости видеть, как ваши штаны на нее трепыхаются! Катитесь к дьяволу, говорю!

Гармонь. Мы прямо от него, капитан!

Иынь. Откуда?

Гармонь. Прямо из ада! *(Жалобно.)* Мы собирались честно зарабатывать свой хлеб музыкой, но в этом краю все с ума посходили! Никто не понимает нашей музыки— платят за нее побоями. В этом краю играть в оркестрах и заниматься музыкой могут только полоумные: когда здешние танцуют, музыканту за их ногами не угнаться, если он сам не полоумный. Будто у каждого по сто пар ног и все сто пар знай дрыгают! Будто у каждого винт сзади крутится — на тыщу оборотов в минуту. Сроду не видел, чтобы люди от музыки с лица желтели, а вот Кларнет пожелтел.

Иынь *(переводя взгляд на Кларнета)*. Пожелтел, говоришь? Да у него желтая лихорадка!

Гармонь. Что?!

Иынь. Желтая лихорадка, говорю! Вы с собой смерть принесли, бродяги! *(С испугом.)* Мань! Мань!

Появляется Мань.

Дать всем чесноку, и поскорее! И Антти и Матильде, а первым делом сама съешь и мне тоже дашь. У нас на корабле смерть! *(Гармони.)* Снеси своего дружка на причал и оттуда немедля в лазарет!

Кларнет *(шатаясь, подходит к Иыню)*. У меня хорошие рекомендации. Я бывалый морской волк, только немного сдал от музыки. *(Он явно никого больше не узнает.)* В последний раз плавал с капитаном Иынем Ууэтоа. Он на коленях меня умолял, чтобы я из рижского трактира на корабль к нему перешел. Такие, как я, его и прославили по всем морям.

Гармонь. Бредит... Не слушайте его, капитан.

Иынь. Возьми шлюпку и увези его.

Мань *(с состраданием глядя на Кларнета)*. Больной человек! Куда мы его гоним? Сам ведь сказал Юрнасу, что в лазаретах все умирают... Может, вылечим его сами?

Иынь. А если не вылечим? Даже доктора не знают, как она передается, эта желтая лихорадка: сама по себе или через комара... А вдруг из-за него полкоманды перемрет?

Гармонь. Сжался, капитан!

Иынь. «Сжался»! Жалеть с умом надо. Придет к нам портовый врач и все равно его в лазарет отправит.

Мань. А я скажу, что он малаец. Ты сам велел.

Иынь. Мало ли что я велел!.. Кто его лечить будет?

Мань. Я и Матильда.

Иынь (*уерюмо*). Мне и самому не по душе гнать вас подыхать на суше. Как ни кинь, все клин. (*Гармони и Мань.*) Отвести больного в кубрик! И если перед отплытием он не сумеет продержаться на ногах хотя бы четверть часа, то быть ему вечером в лазарете, а завтра утром — на городском кладбище.

Мань и Гармонь уводят Кларнета.

Антти. Капитан! Шлюпка...

За бортом слышится песня:

Два сааремца в тени раки
С чертями резались в картишки.
Тиди-рит-тит-тит,
Тиди-рит-тит-тит,
Щебетали им воробьишки.

Мань (*кинувшись к Иыню*). Это сааремцы, слышишь? Что я тебе говорила, Иынь, что я тебе говорила!

Иынь. Сааремцы! Куда они денутся! Их-то мне и надо.

На палубе появляются две причудливые фигуры. Это Михкель и Яан. На них длинные мешки. Уголки у мешков отрезаны, из дыр торчат голые руки. Спереди и сзади на этих «бабушкиных почных рубашках» написано крупными буквами «какао». Иынь, скрывая усмешку, отворачивается.

Мань (*вертится вокруг них волчком, разглядывая их со всех сторон*). Боже милостивый, какие вы хорошенькие! Как апостолы Христовы! И даже красивей — у тех рубашонки без надписей были. (*Вертится перед ними, не подпуская их к Иыню.*) А что я говорила! Что я говорила!

Иынь. Мань!

Михкель. Это ты, Мань, во всем виновата! Это ты нам накаркала!

Мань (*всплеснув руками*). Я, значит, виновата? Силы небесные!

Михкель. Кто говорил, что мы вернемся в угольных мешках вместо рубашек? Ты говорила! Вот и вышло по-твоему.

Я а н. Вышло, да не совсем так: мешки-то из-под какао. Так что есть разница.

Сааремцы прорывают наконец блокаду Мань и подходят к Иыню.

Иы нь. Пришли, значит, попрощаться со старушкой «Фортуной»?

М и х к е л ь. Нет, не за этим... *(Просительно.)* У Маць осталась часть наших денег.. Выдай нам какой-нибудь одежонки — вычтешь потом из нашего жалования. А главное, накорми и дай работы. Нам так паршиво пришлось, что... Не дай бог, родные узнают!

Иы нь. Маны!

Мань подходит.

Подбери им штаны, рубахи и *(осматривает их критически)* на ноги что-нибудь.

Я а н. Бельишка бы тоже, капитан...

М а н ь. И белья у вас нет? Даже белья?

Я а н. Мы под этими мешками все голые, как невинные младенцы.

М и х к е л ь. Как ангелы божьи.

М а н ь. Дадям ангелам и белье. Сегодня у нас день невинных младенцев. *(Уходит.)*

Иы нь. Еду и работу получите. Мне люди нужны. Кто же это вас обобрал так чисто?

М и х к е л ь. Сперва пошли мы себе обновки покупать.

Я а н. Но прежде решили спрыснуть это дело.

М и х к е л ь. Так что на хорошие костюмы уже не осталось, и мы решили найти себе чего-нибудь подешевле.

Я а н. Но на дешевое денег многовато было, так что мы решили еще раз спрыснуть это дело.

М и х к е л ь. Ну, после и на дешевые костюмы не осталось, а тут как раз мы очень подружились с тремя отличными парнями. Все усатые, и у всех глаза так и бегают. Город знают вдоль и поперек, куда хочешь проведут. Уговорили они нас, что можно и рубахами обойтись.

Я а н. Но сперва мы это дело спрыснули.

М и х к е л ь. Да, спрыснули мы это дело и к утру оказались почему-то на каком-то дворе среди мешков с какао. И ни одежды на нас, ничего... И дружки наши куда-то запропастились — сколько их ни искали, так и не нашли. А пока мы их искали, нас сдапали и — в ку-

тузку. Дескать, мешки эти для какао годятся, а сааремцам, видите ли, не идут. Из кутузки мы все же выбрались вместе с дверью и оконной рамой. Нам двери и окна не помеха. И вот мы здесь!

Мань (*возвращается с одеждой*). Получайте!

Иынь. Приведите себя в божеский вид и марш на палубу... Сегодня же отплываем.

Михкель и Яан. Мы нигом, капитан! (*Уходят.*)

Мань. Ты им все сказал?

Иынь. Человек сам себе такое может сказать, что ему никто не скажет. Я рад, что они вернулись, рад, что не забыли о своем капитане.

Мань. Не забыли, как же! Нужда их вернула!

Иынь. А что, кроме нужды, может выгнать дитя человеческое в море?

Мань уходит.

Антти. К нам шлюпка, капитан! Еще одна! Это хийумцы... Да-да... там и Лаури... Ура, капитан! Лаури!

Иынь (*про себя*). Какими бы они ни были, сколько ни скопилось бы у них грехов, все-таки свои, родные, такие, каким я и сам был. Вернулись, все как один вернулись.

На палубу поднимаются Юрнас, Пееп, Андрус и Якоб. Андрус и Якоб поддерживают с двух сторон Лаури, больного желтой лихорадкой и с трудом держащегося на ногах.

Антти (*осторожно коснувшись Лаури*). Лаури, брат мой, ты болен! Скажи хоть словечко, Лаури!

Лаури (*бредит*). Говорили, что здесь тютто, как тигрицы. И правда — как тигрицы... А смерть в этом городе — желтая-прежелтая. Антти-пюю, терве тулуоа!¹ У меня в Турку моя тютто осталась...

Иынь (*подходит к ним и словно бы не замечает, что Юрнас подает ему руку*). Андрус и Якоб! Отведите Лаури в каюту штурмана! Мань!

Появляется Мань. Вид у нее крайне деятельный. Юрнас подает ей руку. Мань кидает беглый взгляд на Иыня и украдкой пожимает Юрнасу руку.

Найди для него матрац и одеяло. Уложишь его на полу — койку Кларнет занял. (*Про себя.*) В этой жизни всегда так получается, что лучшие люди спят на полу,

¹ Добро пожаловать (*фин.*).

а худшие — на кроватях. (*Громко.*) Пошевеливайтесь — ему совсем худо, а надо, чтобы он сумел продержаться полчаса на ногах, когда придет портовый врач. (*Качает головой.*)

Якоб и Андрус уводят Лаури.

Что ты на меня смотришь, Мань?

Мань (*указывая рукой на Юрнаса и Пеепа*). Соображаю, сказать им или нет, что я про них думаю.

Иынь. А что ты про них думаешь?

Мань. Откуда же я знаю, если еще не сказала?

Иынь. Тогда не говори и не думай!

Мань уходит.

Юрнас. Вернулись мы, значит...

Иынь издает неопределенный звук.

И если ты зла на нас не помнишь, капитан...

Пауза.

Ты, Иынь, таковский человек, от кого в одиночку не уходят и к кому поодиночке не возвращаются...

Пееп (*тихо*). Многие капитаны нас на службу звали... Но уж если мною должны командовать, то я хочу, чтобы капитан и меня считал человеком.

Иынь. Катитесь со своим барахлом в кубрик и плачьте там на груди друг у друга, ненаглядные мои хийумцы.

Юрнас. Наконец-то слышу слово, сказанное от души!

Иынь. Ты, Пееп, заступишь вместо Антти на вахту. Он уже две недели почти и не спит вовсе: то воду с Матильдой откачивает, то на вахте стоит. (*Глядя в упор на Юрнаса.*) Его мы назначим боцманом.

Пееп уходит.

Юрнас (*хрипло*). Правильно, капитан.

Иынь. Что — правильно?

Юрнас. Мы мужской разговор понимаем... Боцман Юрнас сбежал, матрос Юрнас вернулся. Раз я ошибся, значит, сам должен и расплачиваться — больше никому.

Иынь. Можешь повесить свою ошибку себе на шею вместо коровьего колокольчика — то-то будет звону на весь мир! Какое мое собачье дело, что ты ошибся? Это шлюхи любят всем встречным-поперечным о своей первой ошибке плакаться, чтобы нервы пощекотать.

Ю р н а с. Капитан! Я...

И ы н ь. Сам посеял — сам пожнешь. Штурмана у меня нет. Ты знаешь корабль лучше всех: возьмешь на себя вторую вахту и будешь за штурмана.

Ю р н а с. Я сам теперь каюсь, Иынь, что так...

И ы н ь. Слушай, Юрнас, не берись ты за эту профессию: каяться. Советую тебе как старший младшему. Без конца каяться — это занятие для ловких мошенников. У них одна задача — разжалобить, чтобы ты им заплатил за их раскаяние. Не бойся, я тебе тоже заплачу за раскаяние.

Ю р н а с. Как же ты мне отплатишь, капитан?

И ы н ь. Очень просто. После того как мы с тобой распишем вахты, ты возьмешь под свое начало Якоба, того самого, который все стоит и стоит, все спит и спит... А как только Гармонь малость поправится и встанет на ноги, мы его тоже к твоей вахте припишем. И если в штормовую ночь придется тебе с этими двумя красавцами по реям лазить, а деваться тебе будет некуда, так знай: это тебе за то, что сегодня ты попусту терял время и каялся. Все. Приступай!

Ю р н а с. Как же мы, капитан, выйдем в море без настоящего штурмана?

И ы н ь. Уж это моя забота. Вызови людей на палубу! Сейчас к нам явятся портовый инспектор, врач и русский консул. Выдай больным по штофу рома, может, продержатся на ногах хоть четверть часа. Только запомни: все они малайцы, потому и такие желтые. Не то врач всех их спишет. Тогда им труба: и Лаури и тому, другому...

Иынь и Юрнас уходят. Постепенно на палубе собирается вся команда. Люди уже успели переодеться в робы. Первыми показываются Михкель и Яан, они в новом обмундировании. Гармонь, едва волоча ноги, бормочет себе под нос: «Бедный мой друг, бедный мой друг!» Появляются Андрус и Якоб и чуть погодя — Антти. При виде его все виновато отводит глаза, но Антти все такой же: дружелюбный и угрюмый. Наконец входят Мань и Матильда: обе разряжены, словно город Таллин в дни певческих праздников. Держатся с большим достоинством. Мань торопливо проходит между матросов, стараясь перехватить их опущенный взгляд. Похоже, что в груди у нее теснится множество невысказанных слов.

М а н ь (*подходит к Антти*). Помнишь, Антти, как мы остались вчетвером на судне, пока господа проводили лето на суше?

А н т т и. Знай воду качали и несли вахту, качали

и несли вахту. Ведь нам за это харчи давали. Житье — лучше не надо, и еще жалованье набегало.

Мань (*шепотом*). Расскажи, как нам трудно было... Проучим их...

Антти (*совершенно на манер Иыня*). Что ты сказала?

Мань. Дурак!

Пееп. Шлюпка! Портовые власти едут!

Появляется Юрнас.

Юрнас. Всем построиться в одну шеренгу! Держаться молодцом: грудь вперед, нос кверху!

Все выстраиваются. Первым — Михкель, за ним — Яан, дальше — Гармонь, Антти, Андрус и Якоб. К этой весьма нестройной шеренге пристраиваются в конце Матильда и Мань. Сверхпуло круглое зеркальце, которое они украдкой передают друг другу. Потом Мань выходит из строя, окидывает всех критическим взглядом и, взяв

Антти за руку, подводит его к Матильде.

На палубе появляется Иынь, в лучшем своем мундире. Выползают желтые как лимон Лаури и Кларнет. Оба держатся друг за друга, пошатываются, но стараются держаться прямо.

Антти хватает Лаури за рукав.

Антти. Становись рядом со мной, Лаури.

Лаури. Терве тулуоа, дамы и господа!

Антти (*не давая ему упасть*). Тихо!

Иынь (*звучно*). Яан и Гармонь, шаг вперед! Будете поддерживать с боков Кларнета.

Яан и Гармонь выполняют приказание.

Желтая лихорадка сама по себе не заразная — ее букашки разносят. Премудрые доктора этих букашек за копыта ловят. А те, кто боится, у кого поджилки дрожат, те могут уйти с корабля. Еще есть время. А хотите, отправьте этих двух горемык подышать на суше — это в вашей воле и власти!

Юрнас. Равняйся!

Строй более или менее выравнивается, поглощая обок больных, которых поддерживают с двух сторон. На палубу поднимаются портовый инспектор, портовый врач и русский консул. Иынь спешит к ним навстречу, с подобающим почтением пожимает каждому руку. Гости с благовоспитанным и солидным видом проходят вперед. Юрнас, замерев на своем месте, одним глазом следит за ними, другим — за командой.

Инспектор. Корабль в порядке, сеньор капитан?

Иынь. В порядке. (*Протягивает инспектору судовые документы, которые тот начинает просматривать.*)

Портовый врач тем временем начинает в напряженной тишине изучать с пристальным профессиональным интересом застывшую навывтяжку команду.

Инспектор. У вас нет штурмана, господин капитан?

Иынь. Штурман есть. Юрнас!

Юрнас подходит к ним.

Вот наш штурман.

Инспектор. Ваш диплом?

Иынь. Он его в Риге оставил.

Инспектор. В Риге оставил?! *(Консулу.)* Знаете, сеньор консул, это не судно, а... *(Иыню.)* В таком случае ваш штурман не может быть допущен к навигаторству. Я не могу выпустить ваше судно. Весьма сожалею, сеньор капитан, но оставленные в Риге дипломы мы в расчет не принимаем.

Иынь ловким движением сует ему что-то в ладонь, и рука инспектора с такой же ловкостью ныряет в карман мундира.

Весьма сожалею, сеньор капитан, но... но, поскольку судно уже загружено, поскольку вы уже взяли на борт воду и провиант, я вынужден на всякий случай... вы уж меня извините... вынужден проверить... вы уж меня извините, сеньор капитан, не примите, прошу вас, за обиду... проверить ваш диплом.

Иынь *(себе под нос)*. Сатана пречистый! Ну, адмирал, выручай! *(Решительным жестом протягивает инспектору рекомендацию адмирала.)* Вот вам мой диплом.

Инспектор *(разворачивает рекомендацию, глядит на нее непонимающим взглядом, вертит и так и этак и наконец передает консулу)*. Что-то никак не могу прочесть. Это на каком языке? Почему нет перевода на английский?

Консул *(читая)*. Это на русском языке. *(Сначала ухмыляется, потом краснеет, потом бледнеет.)* Да, на русском... Это документ...

Инспектор. Диплом?

Консул. Вот именно: не документ, а диплом. *(Дочитывает до конца и, с трудом сдерживая смех, с большим любопытством смотрит на Иыня.)* Этот документ, то есть, простите, диплом, выдан российским Адмиралтейством в городе Санкт-Петербурге. Вот печать Адмиралтейства, вот адмиралтейская подпись.

Инспектор. Адмиралтейская подпись?

Иынь *(консулу)*. Скажите ему, что это царский диплом.

Консул. Да, можно истолковать это и так, что диплом этот выдан от имени его величества императора всероссийского, как бы по его распоряжению.

Инспектор (*самому себе*). Йезус-Мария, пресвятая богородица! (*Вытягивается перед Йынем в струнку.*) Тысяча извинений, сеньор капитан! Лишь пустяковое недоразумение с дипломом штурмана толкнуло меня на этот бестактный шаг... Тысяча извинений! (*Льстиво.*) Я не историк, но лишь два морехода, повторяю — лишь два вступали на наш берег со столь достопочтенными грамотами. Первым из них был Колумб, присланный сюда королем Кастилии Фердинандом...

Йынь (*консулу*). Это что еще за Фердинанд?

Консул. Молчите, капитан, ради всего святого, молчите!

Инспектор. ...и королевой Изабеллой. А второй — вы, сеньор капитан. Низко склоняюсь перед вашими историческими бумагами! (*Смотрит на Йыня, как на идола.*)

Йынь (*про себя*). Ишь, пададь, перед бумагами, а не передо мной!

Консул. Знаете ли вы, что пишет в этой бумаге адмирал?

Йынь. Нет, не знаю... Читать по-русски я не силен...

Консул (*дружелюбно*). Адмирал считает вас молодцом. Если бы не это, так я не стал бы обманывать портовых чиновников и переводить русский текст так вольно. Так что скажите «спасибо» адмиралу.

Йынь. Привезу ему десять сажень дров, отборных березовых дров, и тюленью лапу.

Консул (*со смехом*). Непременно, капитан, непременно!

Врач (*все это время изучавший команду, держась от нее на почтительном расстоянии*). Сеньоры, на судне — тропическая лихорадка.

Йынь. Что?!

Врач. Двух ваших людей я немедленно снимаю с борта. Жить им не больше одного-двух дней. Тропическая лихорадка в последней стадии. Они же совершенно желтые.

Йынь (*просительно*). Господин доктор, это же майяцы!

Врач (*обиженно*). И вы, сеньор капитан, уверяете меня, врача, да еще бразильца, знающего, что такое му-

латы, метисы, негры, индейцы, китайцы и все на свете, будто я не умею отличать симптомов тропической лихорадки от естественного цвета кожи? *(Подводит Иыня к матросам. Останавливается перед Лаури, указывает на его лицо пальцем.)* Это вам что: малаец или тропическая лихорадка? Отвечайте, сеньор капитан!

М а н ь. Это малаец, малаец, малаец! Я сама у него в няньках была.

Л а у р и *(с трудом подняв руку, указывает на врача)*. Антти, дай ему ножа... Чего он задирается? Смерть у них желтая. У меня в городе Турку осталась тютто... Я хочу домой...

В р а ч. Что он сказал, сеньор капитан?

И ы н ь. Сказал, что он с самого детства такой желтый... Что однажды врачи уже пытались вылечить его от желтухи и чуть не убили.

В р а ч. Тогда почему он белокурый? Чудеса: белокурый малаец!

Инспектор слегка толкает его в бок, и тогда врач с выразительным жестом отводит одну руку за спину. Иынь вкладывает в нее несколько золотых монет, которые тут же исчезают в кармане врача.

Ну конечно, сеньор капитан, бывают и светлые малайцы...

И ы н ь. Мы везли груз извести...

В р а ч. Тогда все понятно... Кто из нас не ошибается, сеньор капитан! *(Подходит к Кларнету.)* Это тоже малаец?

И ы н ь *(торопливо)*. Да, сын вождя. Из великого племени людоедов. Я нанял его матросом в Риго де Латвиков.

В р а ч. До чего худой! Спишем его на берег: он очень подозрителен. *(Прячет руку за спину, повторяется недавняя процедура.)* Впрочем, не исключено, что в силу плохих условий питания у него возникли явления дистрофии.

И ы н ь. Питание!.. Этот врач, верно, хочет слопать всю мою команду.

В р а ч. Врачебный осмотр закончен... Все остальные здоровы... *(Пожимает руку Иыню.)* Счастливого плаванья, сеньор капитан!

И н с п е к т о р *(жмет руку Иыню)*. Счастливого рейса, сеньор капитан! Если еще раз придете в Сантос, встретим вас всенародным салютом. Какой документ, Иезус-Мария, какой документ!

Консул (*прощаясь с Йынем*). Счастливого пути, капитан! В другой раз обзаведитесь, пожалуйста, настоящим штурманом или раздобудьте себе диплом... Вы меня поняли?

Все трое уходят. Йынь провожает их до трапа. Строй все еще неподвижен. Выпроводив гостей, Йынь возвращается к команде, проходится несколько раз перед строем, придиричиво глядясь в матросов.

Йынь. Антти, шаг вперед!

Антти выходит из строя.

Антти назначается боцманом «Фортуны»... Раз флаг-капитана у нас нет, так им будет Юрнас... Почему все сбежали и почему Антти остался, об этом мы толковать не будем... Но своей капитанской властью разрешаю боцману дать по зубам каждому, кто очень этого захочет... (*Не находя нужных слов, задумывается.*)

Матильда (*к Мань*). Хороший человек твой Йынь. Не будь тебя и Антти, уж я поплакала б на его груди! Ишь, Антти уже боцманом заделался! Теперь бы еще часы ему купить!

Мань. Прижми его, да покрепче... Их надо в три погибели гнуть, гнуть и гнуть!

Матильда. Антти у меня такой мягкий — прямо воск! Зачем же его гнуть?

Йынь. Того, что в Сантосе у нас вышло, я вовек не забуду, но и вспоминать тоже не стану. Грехи грехами, но корабли через моря водят люди, а не грехи... По доброте своей сердечной я охотно бы, дети мои, влил кое-кому пару горячих и по шее и по заднице. Но раз вы вернулись, раз вы сумели найти свой корабль и своего капитана, скажу вам лишь одно: добро пожаловать, чертовье барбосы! (*Капитанским голосом.*) Отвести больных в каюту!

Лаури (*мрачно*). Без меня «Фортуне» парусов не поднять!

Кларнет. А без моей музыки тем более!

Йынь. Поднять фок-брамсели!

Матросы хватаются за шкот.

И чтоб дело пошло веселее, давай музыку, Гармонь, а ты, Кларнет, если не можешь стоять на ногах, дуй в свою дудку лежа.

Приносят гармонь и кларнет.

Лаури, ты слишком слаб — тяни шкот зубами, так больше толку будет.

Лаури хватает шкот зубами.

Раз! Два! Тронулись! Больше жизни! Смерть, эта старая баба, боится настоящих людей, и песни боится, и мужского забростого словца боится, и соленой шутки. «Фортуна», слушать мою команду! Песню!

Все поют.

Моряк, ты от жизни устал сухопутной,
Проворней натягивай шкот!
Опять уплывает дырявсе судно
На поиски новых невзгод.
Дуй-дуй, ветерок,
Нам плыть на восток
Сквозь ураган.
Ведет нас дикий капитан,
А он от самого царя
Бумагу получил не зря
И твердо решил не тонуть.

Пусть грянут из туч
Громовые раскаты
И черная хлынет смола;
Команда зубами вонзится в канаты,
Но будет стоять, как скала.
Дуй-дуй, ветерок,
Нам плыть на восток
Сквозь ураган.
Веди нас, дикий капитан,
А ты, хозяйка наша Мань,
На нас поласковее глянь
И проповедь нам прочитай.

Когда в последнюю гавань прибудем,
Не знает и сам сатана.
Судьба, как акула, зубаста, но люди
Должны быть сильнее, чем она.
Дуй-дуй, ветерок,
Нам плыть на восток
Сквозь ураган.
Ведет нас дикий капитан,
А он от самого царя
Бумагу получил не зря
И твердо решил не тонуть.

Занавес



ПОЛУДЕННЫЙ ПАРОМ

КИНОСЦЕНАРИЙ

Скромный городок из скрещения больших дорог.

Асфальтовая лента прямого шоссе уходит, сужаясь, далеко на запад, раннее солнце иванова дня отбрасывает остроугольные тени одиноких деревьев и темные полосы телефонных столбов.

По асфальту медленно проскальзывают мягкие, словно рассеянные отражения облаков. Спокойное, удобное шоссе Западной Эстонии среди спокойного, однообразного пейзажа с почти незаметными, как и в эстонском темпераменте, подъемами и спусками.

От пункта с указателем «До Таллина — 80 км» дорога сворачивает на восток. Она становится чуть извилистее и беспокойнее, на ней появляются железнодорожные переезды, рядом параллельно ей шагает линия высокого напряжения, кое-где в полях встречаются рощицы.

Другой же большак, «наш» большак, изгибаясь вытянутым латинским «S», сворачивает отсюда на юго-запад. Эта людская тропа слишком незначительна для того, чтобы министерство дорог выравнивало по линейке ее изгибы и петли, но она все же заслуживает хорошего асфальтированного покрытия. Дорогу эту любят лошади, да и рожь охотно склоняется к ней своими колосьями, а возле самой обочины разросся могучий пирамидальный можжевельник. Эта частица пейзажа, эта дорога не усыпляет, не дает скучать, и случается, что она заставляет путника петь.

Городок, где сходятся и расходятся дороги, тих и в нынешнее праздничное утро, как только может быть тих в такое утро глухой городок. Какая-то тетка, лениво помахивая хворостиной, выгоняет из хлева большую рыжую корову, со двора вылетают на обочину белые куры, собачка подыскивает столбик, кошка крадется через дорогу.

В этой утренней чуткой, хрупкой прозрачности стоит на стоянке у перекрестка четырехтонный грузовик. В его вместительном кузове, накрытые брезентом, лежат тюки хлопка. Но в самом хвосте кузова осталось как раз столько свободного пространства, чтобы мы сумели уместить здесь двоих влюбленных и завязку трагедии.

Пустая кабина грузовика заперта.

Поначалу влюбленных нет — они появляются внезапно. Они выходят из-за редких елочек на краю дороги, идущей на запад. Они не спали, и солнце, видимо, спит их, городок кажется им тихим. Сонное утреннее

спокойствие неизбежно делает их центром внимания. Они выходят на дорогу.

Девушка кладет руку парню на плечо и начинает надевать туфли.

Туфли у нее белые, на высоких каблуках, и, как только она их надела, так сразу же обратила наше внимание на свои красивые, загорелые и исцарапанные ноги. На девушке цветастое шелковое платье и светлый жакет. У нее какая-то послештормовая прическа, а вернее, удачный вариант непричесанности. Рот у нее великоват, а несколько пухлые губы красны, как земляника. В ее больших глазах отразились и ночь и это утро; взгляд, как это бывает у влюбленных, какой-то затуманенный, отсутствующий, смотрящий как бы сквозь предметы и поверх них. Единственное, чего не хватает девушке, так это хрупкости. У нее крепкие ноги, крепкое задорное тело, а шея могла бы быть и потоньше. Вообще же она выглядит так, как должна выглядеть молодая здоровая девушка, которая всю иванову ночь протанцевала со своим парнем, ни в чем ему не отказывала, ни о чем теперь не сожалеет и страшится лишь одного: наступления будней. Красивая девчонка, сжигающая все мосты.

Они стоят на шоссе. Несмотря на то что девушка уже надела туфли, она с цепкостью собственности по-прежнему держит парня за ворот сорочки. Притягивает его к себе. Парень обнимает ее одной рукой. Не отрывая друг от друга глаз, они идут зигзагом к машине. Ну а парень!.. Силы небесные, что за парень! Он сузил свои джинсы до предела, чтобы выставить напоказ все мускулы. Пиджака на нем нет. Под пестрой рубашкой угадывается могучий торс. Большие, широко расставленные водянисто-голубые и не блещущие умом глаза. Крохотный чичиковский подбородок с ямочкой и не соответствующий всему остальному дворянский нос. На редкость светлые волосы выются натуральными крохотными колечками, словно каракуль. Рука девушки все время тянется к этим волосам. Будь в этом парне хоть грамм на два злости, из него вышел бы конокрад. Но злости в нем нет. Из-за своей безмерной доброты он не сможет не стать законченным подкаблучником, который будет мыть полы и стирать пеленки, колоть дрова, бегать в лавку за молоком и после рождения первого ребенка называть свою жену «мамочкой». Посадив своего бэби на колени, он будет под новогодней елкой фальши-

вым, но отчаянно задушевым голосом петь «Святую ночь», слов которой не сумеет заучить до самой смерти.

Наша пара подходит к машине. Парень заглядывает в пустую кабину и обходит вокруг грузовика, постукивая ногой по скатам.

Он приподымает брезент, обнаруживает между бортом и тюками пустое пространство, и ему приходит в голову идея.

П а р е н ь. С этой машиной и махнем.

Д е в у ш к а (*загораясь*). С этой?

П а р е н ь (*уговаривающе*). Темно и тепло.

Д е в у ш к а. Тогда согласна. Поцелуемся. (*Целуются.*) Поесть бы. Хочу есть!

П а р е н ь. Поцелуемся.

Д е в у ш к а. Хочу есть!

П а р е н ь (*растерянно*). У меня, понимаешь, у меня... понимаешь... у меня ни пенса, ну, совсем ни копыя. Ликер такой дорогой был.

Д е в у ш к а (*глядя его волосы*). Значит, мы без гроша? Поцелуй меня!

П а р е н ь. Знаешь? У меня идея. Садись в кузов.

Д е в у ш к а с его помощью забирается под брезент.

П а р е н ь. Опустит брезент. Жди меня здесь.

В своих джинсах в обтяжку парень направляется в городок, заглядывая в сады и теперь в самом деле напоминая конокрада. Вдруг его взгляд останавливается на балконе с резными перилами, с которого свисают на веревке сверкающие на солнце связки сушеного язя. Парень проглатывает слюну, подходит к забору, потом пятится назад и перемахивает через ограду. Прячась в кустах, он крадется к балкону. К нему кидается серой молнией громадный волкодав и пытается, рыча и гремя цепью, ухватить его за джинсы.

П а р е н ь (*шепотом*). Мурка... Томми... Да тише ты, дьявол, не шуми! Мы же братья, мы же с тобой братья...

Не переставая улещивать собаку, он подбирается к самому балкону, срывает связку язей, надевает ее, как ожерелье, на шею и, повторяя: «Мы же братья, Томми, пойми, братья!» — осторожно отходит на такое расстояние, чтобы собака не могла его достать, после чего в несколько прыжков пересекает сад и перемахивает через забор. Собака заливается безумным лаем. Как раз в тот момент, когда льняная голова парня взлетает над забором, на балконе появляется в ночной рубашке до

пят и в мужском пиджаке хозяйка. Хозяйка кинула взгляд на остальные связки язей, раскочавшиеся ни с того ни с сего при полном безветрии, скрестила руки на груди и сказала утробным басом лавочника:

— Молодежь! Рыбокрады! Молодежь!

Лаает собака.

Парень с язами за пазухой подбегает к машине и откидывает брезент. Достает из-под рубашки добычу и протягивает ей.

П а р е н ь (*шепотом*). Дорогая, я здесь.

Д е в у ш к а. Что? Ты где пропал?

П а р е н ь. Возьми. Это язь.

Язи исчезают. Из-под брезента показывается девичья рука, протягивающая потертую рублевку.

Д е в у ш к а. А я нашла рубль. Купи хлеба и пива.

Парень берет рубль и направляется к лавке, на этот раз уверенным, неторопливым шагом. Лавку только что открыли. Покупателей в ней нет. Его голодные глаза шарят по полкам.

П а р е н ь. Пару пива!

Продавец дает пиво.

Хлеба.

Продавец кладет на прилавок буханку.

Отрежь половину!

Продавец режет буханку.

(*Подсчитывает в уме.*) Отрежь четверть.

Продавец смотрит на него с иронией, отрезает четверть и отсчитывает мелочью сдачу. Парень пересчитывает.

П а р е н ь. «Приму» и спички!

Продавец дает. Парень расплачивается и выходит. Хлеб он прячет за пазуху, сигареты и спички в карман. А пиво несет в руках, словно это символ богатства и счастья. Он идет и фальшиво насвистывает «Еньку». С негромким возгласом: «Это я, дорогая!» — он исчезает в кузове. Брезент запахивается изнутри.

Автостоянка. Утро иванова дня. Большой четырехтонный грузовик с хлопком.

Подходит водитель. Свою кожаную куртку он зажал под мышкой. Это лысый крепкий мужчина средних лет, с лицом меланхолика.

Первым делом он обходит машину кругом, пристально изучает покрышки, стягивает плотнее и без того натянутый брезент, открывает дверь кабины, включает зажигание, и мотор начинает петь ту самую песню, какую

он и должен петь у хорошего водителя. Первая скорость — машина медленно трогается с места. Вторая скорость. А на третьей скорости машина катит уже по вытянутому латинскому «S», по «нашему» шоссе, уходящему на юго-запад.

В кузове, тесно прижавшись друг к другу, сидят парень и девушка. У обоих в зубах по язю, а у парня в руке — бутылка пива. Счастливые и голодные, они обмениваются изредка случайными фразами.

Девушка. Куда он нас везет? Куда мы едем?

Парень. С тобой — хоть в пекло.

Но все же он слегка приподнимает брезент и смотрит на убегающее назад шоссе, по которому к ним приближается издали серая «Волга». «Волга» постепенно настигает грузовик, и как раз в тот момент, когда становятся различимыми лица ее пассажиров, которых в дальнейшем мы будем называть парикмахершей и доцентом, парень опускает брезент.

Парень. Какая-то дорога... Куда-нибудь да приедем.

Девушка. Лишь бы только не в Ригу. Там на разговоре не выедешь.

Парень. Не выедешь? Это я-то? Да. Нет. Корова. Борода... Еще как выеду!

Девушка. И денег нет...

Парень. Продадим что-нибудь. Ведь я с тобой. *(Подсчитывает.)* Пиво у нас есть, хлеб есть. И язь и сигареты...

Девушка. И поцелуй!

Не выпуская из руки язя, парень обнимает девушку и привлекает к себе. Пауза.

Парень. Покурим!

Девушка. Осторожней. Здесь хлопок.

Парень. Молчи, глупая! Тоже мне драгоценность! У меня легкая рука, вроде как у того дяди, что баню в Петсери спалил: затопил баню, а загорелся весь город.

Они берут по сигарете и начинают курить — парень курит со знанием дела, девушка неумело.

Девушка. Видишь? Курю!

Парень. Тогда поцелуемся.

Пока по «нашей» дороге направляются в гавань грузовик с хлопком и серая «Волга», из порта на острове выходит к материку морской паром.

Купающийся в безветрии и утреннем солнце порт, над которым тоскливо и маняще гудит на прощание си-

рена парома, похож и в то же время не похож на множество таких же маленьких портов Эстонии. Аккуратные и какие-то голые домики: зал ожидания с билетной кассой и почтой, столовая, гараж, приземистый вытянутый пакгауз, пара стандартных строений из белого камня. Неудержимый и беспощадный морской ветер, толчущийся по девяти месяцев в году на этом округло выступающем в море мысу, где из-под сине-серого щебня выдирается на поверхность белая кость известняка, этот самовластный ветер, которого мы пока не чувствуем и не слышим, расплющил ногами даже можжевельник и пригнул к земле сосны, превратив их в горбатых карликов. Тут пытались сажать деревья — выживает одно из пяти. Эти выжившие назло всему деревья как бы олицетворяют собой бессильный протест. Глаз кинокамеры шарит по бесплодной земле и останавливается на зеленом клочке, на веселой густой траве, которую щиплют привязанная овца с двумя ягнятами. А затем земля уходит под воду, становится морем. Под лучами ясного-ясного утреннего солнца лежит, отражая бледную небесную синеву, море. У него идеально отшлифованная и теплая на взгляд поверхность. В него вонзается мол, похожий на вилку с двумя зубцами. На одном зубце — невысокий маяк. У причала разгруженное судно, его задравшаяся корма и черный форштевень ломают идеальную прямую мола. Единственные признаки жизни на нем — нижнее белье, три тельняшки и фартук кока, развешанные на шлюпках.

Метрах в двухстах от мола, раздувая белые пенистые усы и оставляя за кормой лениво расходящийся в стороны треугольник килевой воды, идет паром. Его крупный серый корпус осел в воде грузно и по-домашнему уверенно. Над серединой палубы возвышается ослепительно-белый командный мостик, опирающийся на пассажирские салоны с правого и левого борта и оставивший под собой длинный высокий туннель: скважину для ветра и проезд для машин. Мирный паром с мирным грузом: три больших высоких рефрижератора с мясом и рыбой да два видавших виды грузовика, мелодично дребезжащие от легкой вибрации. В их кузовах тысячи пустых бутылок, немых свидетелей эстонской жажды. Затем машина с соленой рыбой. Остальное место занимают пустые бензиновые цистерны с большими буквами на запыленных боках: «Огнеопасно!» А между двумя автоцистернами втиснулась еще одна ма-

шина — конское ржание прошлого. В кузове с высокими бортами — шесть лошадей: глаза, полные отчаянного страха, подрагивающие мышцы шеи и ног, настороженные уши. Конская голова на фоне моря — устрашающая и нелогична. Кто-то написал на борту: «Привет материковым лисицам...»

Машины стоят так тесно, что перебираться от одной к другой приходится через крылья и капоты.

В пассажирском салоне всего двое сонных людей.

Командный мостик. У рулевого пульта матрос с красной повязкой на рукаве, он шевелит рукоять изредка и с ленцой. Справа от пульта, у машинного телеграфа, оба рычага которого повернуты почти до отказа на «полный вперед», стоит капитан. Это молодой моряк лет двадцати пяти — двадцати семи, высокий, светловолосый, спортивный, один из тех хороших моряков, которых выпускает Таллинская мореходка. Лицо у него еще мягкое, мальчишеское, лишенное резких, суровых линий, неизбежно накладываемых долгой матросской жизнью, большой и одинокой властью капитана над людьми, его неделимой ответственностью. В связи с тем что сегодня иванов день и на материке парому предстоит принять легковые машины, туристские автобусы и множество людей, которые, невзирая на строгие надписи («Вход посторонним воспрещен»), будут лезть на мостик и которым он с искусно скрытым удовлетворением согласится продемонстрировать свой паром и свое капитанское величие (слова «мой паром» звучат в его устах так же естественно, как «моя жена»), — в связи со всем этим, а также благодаря вьезшейся в плоть благовоспитанности он в полном капитанском параде. Белая нейлоновая рубашка подчеркивает на зависть ровный и здоровый загар шеи и лица. Капитан опускает ручкой толстое стекло, взгляд его удовлетворенно обводит мастерски расставленные на палубе автомашины, задерживается ненадолго на лошадях и, скользя через апарель, добирается до сияющего, как зеркало, моря.

В расположенной близко от мостика капитанской каюте с ее гардинами из обязательного синего плюша, на широкой и совсем не корабельной кровати, над которой висит барометр и вьется змеей переговорная труба, все еще досматривает светлые утренние сны молодая жена. По лицу капитана проскальзывает счастливая улыбка, взгляд его становится глубоким, но легкое поскрипывание рулевой рукоятки возвращает капитана к действию.

тельности. Итак, мы видим счастливого человека в самом начале несчастливого дня...

На другом конце мостика — штурман. Он несколько старше капитана и отличается от него ровно настолько, насколько отличается неудачник от удачника. Он в ночных туфлях, в застиранных тренировочных брюках и в бумажной ковбойке. Он часто трогает то пальцами, то языком вспухшую верхнюю губу. Вокруг правого глаза — синий ореол, след классного удара кулаком, глаз выглядывает из узенькой щёлки с мукой и отчаянием. Весь этот мир — паром с машинами на палубе, мучительно сияющее море, кричащая подтянутость капитана, скрип рукояти — вызывает в душе штурмана крайнее отвращение, что и отражается на его лице в пределах возможного. Штурман судорожно силится не смотреть на капитана.

Капитан же смотрит на него изучающе и даже сердито. Потом подходит к матросу и касается его плеча.

Капитан. Уйди-ка минут на пять.

Матрос. Есть уйти.

Матрос выходит, и капитан берется за рулевую рукоять.

Капитан (*штурману*). Послушай-ка, друг.

Штурман (*не двигаясь*). Не грызи ты меня, будь человеком.

Капитан. Когда ты вернулся на корабль? При мне ты вел себя у костра пай-мальчиком...

Штурман. Значит, ты не видел? И твоя жена не видела? Повезло все же...

Капитан. Какое там к черту — повезло! Чтобы мои люди подрались в иванову ночь! Чтобы мой штурман затеял ссору! (*Понижая голос.*) Но это еще полбеды.

Штурман (*с отчаянием*). Уж если бы тебя так по башке саданули, сидеть бы тебе сейчас в своем парадном мундире одесную от господ бога!

Капитан (*хмуро и с достоинством*). Я не потерплю, чтобы мои люди дрались. А чтобы их еще и били, и вовсе не потерплю. Вот влеплю тебе выговор приказом — не за то, что дрался, а за то, что не умеешь драться. Ты у меня...

Штурман. Капитан... Этих чертовых островитян было десять тысяч штук.

Капитан. Мобилизацию, значит, провели? На вас

всегда тысячами нападают, когда вы с синяками возвращаетесь.

Штурман. Во всех кустах засели. И все заодно держались — чертовы эти островитяне. А рожи у них такие узкие, что каждый второй удар — мимо! Я же защищал честь корабля!

Капитан. По лицу видно, как защищал.

Штурман. Клянусь!

Капитан. Если покажешь мне завтра хотя бы троих, которым и ты синяков наставил, тогда приказа не будет. А покажешь пятерых, объявлю благодарность. Но так дела не оставлю. Честь корабля — это честь корабля.

Штурман. Ты меня знаешь. Покажу! Но... Раз ты меня видел, зачем же оставил меня у костра?

Капитан (*задумчиво*). Я не мог не уйти. После того как они бросили в огонь покрышки. Пять лет назад я плавал здесь курсантом и спасал однажды норвежцев с горящего танкера. (*Вздыхает.*) Когда горит резина, этот запах, понимаешь, запах... запах резины... Для меня это запах горящего судна, краски, масла, резины — всего вместе, дьявол... Когда покрышки загорелись, я уже ничего не видел — ни жены рядом, ни костра, ничего — только черные лица норвежцев и то, как они стояли на корме горящего танкера, совсем как эти лошади в машине. И деваться им было некуда — море тоже горело. Мне надо было уйти. Одного горящего корабля на всю жизнь хватит. Хватит, да еще и с придачей.

Штурман (*смотрит на него с изумлением*). А вот как? Такая, значит, хитрая история. А ты не говорил.

Капитан. Не хотелось. Каждый из нас, у каждого из нас... Ну, ладно. (*Тонем команды.*) Пойди побрейся. Сними эти лохмотья. Ты пока что у меня служишь. Будешь командовать погрузкой.

Штурман. С таким глазом?

Капитан. Нет, не с таким! С тем, который не подбит! Пришли сюда вахтенного.

Штурман уходит. Матрос возвращается и принимает от капитана рулевую вахту. Материковый берег с его углообразно вытянутым пирсом все приближается и приближается.

«Наше» шоссе. Грузовик с хлопком. Водитель мурлычет песню. Девушка и парень спят, их волосы усыпа-

ны, словно цветами, кочьями белого хлопка. Обоих обвивает веревка с еще не съеденными язями. Чуть впереди грузовика едет большой «Икарус», а дальше — коричневая инвалидная коляска.

Как раз в этот миг грузовик с хлопком чрезвычайно робко обгоняет серая «Волга». Она прижимается к левому краю широкой и прямой дороги, оставляя между собой и грузовиком несколько метров. Лишь через двести метров «Волга» начинает медленно перемещаться на свою правую сторону — почерк начинающего водителя.

В «Волге» сидят доцент и парикмахерша. Ведет доцент. Женщина рядом с водителем видит и дорогу и окрестности, но ею владеет лишь одно, главное чувство: «Наконец-то я сижу в своей машине». Это чувство придает ей тот вид, который нам так же примелькался на дорогах нашей страны, как рекламы сберегательной кассы. Тут и хвастливая радость, и чувство превосходства, и радость лягушки, вознесенной своими сестрами на болотную кочку, радость, которую люди маскируют притворной простотой и благодушно-сюсюкающим снисхождением к «массам». Это выражается в некоторой судорожности лицевых мышц, в осанке, в сдержанности взгляда, в манере речи.

Сочиняя для режиссера и самого себя длинные и, вероятно, не очень существенные характеристики, я исхожу из принципа, опровержение которого стало для многих и молодых и старых писателей делом жизни, славы и чести. А убежден я именно в том, что порядочный с виду человек вовсе не всегда должен быть в душе прохвостом, догматиком или бездушным чурбаном. Убежден, что совесть не всегда прячется под маской, ярко и размашисто расписанной экстравагантностью, хамством, слабостью, стилижеством и нелогическим поведением. Знаю, что положение «все так и есть, как видишь» не является абсолютной истиной. Но «не верь глазам своим» отстоит от нее еще дальше.

Итак, в «Волге» сидят двое. Парикмахерша, свежеспеченная жена доцента, являет собой тот тип совершенной красавицы, какой производят на базе природных ресурсов косметика, кино, модные журналы и беспощадность конкуренции. Прическа, брови, ресницы, цвет губ, вырез легкого летнего платья, математически рассчитанный и обнажающий все, что надо, коленные руки, лак на ногтях — все это налицо. Однако с тем избытком, от которого естественная красота и элеган-

ность, непременно требующие и некоторой небрежности, уже задыхаются. И сейчас, когда парикмахерша смотрит на дорогу, а может быть, и в свой вчерашний день, возле ее рта вдруг появляется злая, самодовольная, решительная и черствая складка, столь свойственная женщинам, чье прошлое пестро, как лоскутное одеяло, и знало лишь один закон: «Хватай!» Ей может быть и двадцать пять и двадцать восемь лет. Лицом она моложе своих лет, глазами — старше.

Доцент, не рискующий в качестве начинающего водителя отрывать взгляд от бегущей навстречу дороги, на десять лет старше жены. У него большая и нескладная голова мыслителя, острые и высокие зальсины на висках. Лицо у него по-кабинетному бледное, отчего его жена кажется еще более загорелой. Он хорошо одет, однако чувствуется, что он кем-то хорошо одет. Для своих лет он полноват. Иногда он поглаживает руку жены (в такие моменты скорость падает до сорока километров), потом приглаживает волосы и с панической стремительностью снова хватается за руль.

Влюбленный интеллигент так же легко превращается в слепого идиота, как и все остальные, а при наличии фантазии ему удастся стать трижды идиотом.

П а р и к м а х е р ш а. Как хорошо ты ведешь, Артур!

Д о ц е н т. Еще не очень уверенно.

П а р и к м а х е р ш а. Это придет. Машина-то своя. Господи!

Д о ц е н т (*у него и ласкательные словечки звучат по-профессорски суховато*). Да, золотко, мы с тобой, да. И машина своя, и едет. Да. Нам бы стоило взять с собой и твою дочку, ребенок бы привык ко мне и...

П а р и к м а х е р ш а. Артур! Я хочу быть с тобой одна. Одна. Пускай твои старики увидят меня в первый раз без ребенка.

Д о ц е н т. Они знают, что он есть. Я написал. Твой дядя — инвалид, а наш ребенок сидит у него на шее уже второй месяц. Инвалиду это тяжело.

П а р и к м а х е р ш а. А мне разве легко? Я хочу, чтобы мы были одни со своей машиной. Сейчас я не хочу видеть этого ребенка! У него и глаза и рот отцовские, понимаешь ты или нет? Сейчас я не хочу его видеть.

Д о ц е н т (*спокойно*). Тогда, золотко, отдай его своему первому мужу. С отцом ребенку будет лучше: отец — это все-таки отец.

П а р и к м а х е р ш а. Пока мой бывший муж будет водить к себе девочек, ребенка он не получит. (*Интимно.*) Неужели ты не понимаешь, что я хочу быть с тобой одна, только мы и наша машина, имею я право раз в жизни пожить по-человечески.

Д о ц е н т. Понимаю, золотко. А душа ребенка, характер? Психические травмы?

П а р и к м а х е р ш а. Пошел ты в задницу со своими травмами!

По лицу доцента пробегает тень, он морщится, словно от сильной физической боли, рот становится узкой, бесцветной полоской. Стрелка спидометра переходит с шестидесяти на пятьдесят, с пятидесяти на сорок. Лицо каменеет все больше и больше, боль проникает в сердце. Парикмахерша тоже испугалась и молча кусает губы. Но в тот же миг лицо ее приобретает лирически-ангельское выражение, и она, хоть и со страхом в глазах, поддвигается к мужу.

П а р и к м а х е р ш а. Прости, дорогой. Я не хотела.

Муж молчит и едет по-прежнему медленно.

Господи, так и откусила бы себе язык!

Муж молчит, и жена переходит в атаку.

Это у меня от прежнего. Сам понимаешь, все время в парикмахерской, так добро бы еще в приличной, а то на вокзале! Я же тебя просила: добейся, чтобы меня перевели, у тебя связи.

Доцент морщится.

С тобой посчитаются. А ты ничего не делаешь, тебе стыдно просить чего-то для меня! Другие парикмахерши участвуют в конкурсах, получают премии, делают шикарные головы, их снимают для газеты... (*Ожесточаясь.*) А у меня на вокзале — посмотрел бы ты, что за головы! Разве из них что-нибудь сделаешь? Техники женского пола, жены сельделовов, патлы командировочных! Ни одной головы!

Стрелка спидометра снова начинает медленно перемещаться вправо: сорок, пятьдесят, шестьдесят. Лицо доцента немного смягчается; но все еще остается угрюмым и растерянным. Жена решает стать доброй, кроткой, кающейся и печальной.

П а р и к м а х е р ш а. Артур, прости!

Д о ц е н т. Ну хорошо, хорошо, золотко. Но наши слова — это мы сами и никто иной. Ты, я, мы сами. Наша красота, наше безобразие.

П а р и к м а х е р ш а (*с раскаянием*). Прости!

«Волга» постепенно настигает коричневую инвалидную коляску, едущую на своей предельной скорости — сорок километров. Брезентовый верх откинут.

«Волга» догоняет ее. Доцент концентрирует внимание. Каждый обгон для него — это пока еще риск, смертельный номер. А парикмахерша по мере приближения к коляске становится все беспокойнее, все неувереннее и даже отворачивается в сторону, чтобы муж не видел ее лица. Сначала на ее лице только догадка, но немного погодя она узнает эту коричневую коляску, в которой виднеются седоватая мужская голова и весело развещающаяся льняная гривка. Девочка встала и, держась за ветровое стекло, с жадным детским любопытством неотрывно глядит на все, что проносится мимо: на деревья, дома, животных. Парикмахерша мечтает только об одном: чтобы они поскорей проехали мимо этой тарактелки, на которой едут ее дядя и ее дочь, и чтобы доцент ничего не заметил.

В коляске едет инвалид войны лет пятидесяти с двумя костылями по бокам и непоседливая шестилетняя девочка Тийу. Им вдвоем хорошо и весело, обоим вполне хватает места в их машине, тарактящей, как мотоцикл. У инвалида с девочкой установилась та тесная, теплая и трогательная дружба, какая часто возникает между детьми и бездетными мужчинами, перевалившими за средний возраст, и в которой взрослый предлагает ребенку свою любовь, а ребенок принимает ее с благодарным детским эгоизмом. Для взрослого такая любовь всегда печальна: птица всегда может улететь, огонек всегда могут украсть, радуга непременно растает.

Тийу (*показывая пальцем на собаку, бредущую по обочине*). Десятая. Я сто собак насчитала. И десять овец. Я собак не боюсь.

И н в а л и д. Сядь-ка, Тийу, сядь!

Тийу. Возле твоего кармана сяду. (*Садится, похозяйски сует руку в карман его пиджака и достает конфету.*) Но сперва я не буду есть конфетку (*украдкой надкусывает конфету*), сперва я тебе стишки почитаю.

И н в а л и д. А вдруг они быстро кончатся?

Тийу. Я сто стихов знаю. (*Снова встает и, держась за ветровое стекло, начинает декламировать.*)

Виджу море...
Слышу, слышу
В тишине шуршит камыш...

(*Задумывается. Повторяет громче.*)

В тишине шуршит камыш..

(Счастливым звонким голосом.)

И вовсе не камыш,
а мышь!

(Смешным грозным шепотом.)

Ты крадешь конфетки, мышь,
Ну-ка в море, мышка,
Кыш!

Дядя, ты слышал? Я стишок сочинила! *(Садится счастливая.)*

И н в а л и д. Ты умница. Котелок у тебя работает.

Т и й у *(задумавшись)*. А у папы котелок не работал?

И н в а л и д. Кто тебе сказал?

Т и й у. Мама. Поэтому папа и ушел, что у него котелок не работал.

И н в а л и д. Ну-ну! Ты того...

Т и й у. Вот и мама сказала, что папа немножко того. А из-за этого и я такая глупая. А новый мамин дядя вовсе не того, а я глупая и еще наказание господне.

На лице инвалида мучительная беспомощность, которую так часто вызывает у взрослых ошеломляющая детская прямота.

И н в а л и д. А почему мама так говорит?

Т и й у. Это она говорила, когда папа ушел и другие дяди приходили. Она укладывала меня спать на кухне, а я не хотела, я там боялась. И если я бежала к маме или плакала, значит, я была глупая и наказание господне. Мама тогда была красивая, такая красивая, что... И глаза у нее были другие — как у кошки в темноте. Я так боялась...

И н в а л и д. Пойдем с тобой завтра на море и в лес. У тебя есть хорошая собака, пестрый петух и большой поросенок — беленький и хвост крючком.

Девочка выуживает у него из кармана новую конфету.

Не ешь так много конфет — зубы испортишь, болей будут.

Т и й у. А я про зубы песню знаю.

И н в а л и д. Про зубы? Песню?

Т и й у *(поет)*.

Вдруг назад ко мне явилась
разведенная жена,

потому что позабыла
зубы новые она.

Инвалид (*заговорщицки*). Слушай, детка, ты тебе эту песню не пой. Это песня не для деток.

Тий у. Не буду. Дядя, а в чем эта жена была разведенная? В воде?

В это время «Волга» догоняет и начинает обгонять коляску. Доцент — весь напряженное внимание. Парикмахерша откидывает голову, чтобы доцент не видел ее лица, на котором застыли мертвая заученная улыбка, испуг и досада. Как только обе машины поравнялись, парикмахерша повернула лицо влево, чтобы в коляске видели только ее затылок и край щеки. «Волга» обгоняет коляску крайне медленно, судорожная кукольная улыбка не сходит с лица парикмахерши.

Девочка в коляске вскакивает.

Тий у. Мама! (*Но она тут же садится.*) И вовсе не мама.

Инвалид молчит.

Доцент. Ты заметила — там был инвалид.

Парикмахерша. Не обратила внимания.

Доцент. Все управление — газ, тормоз, сцепление — переведено на ручное.

Парикмахерша. Он потерял ногу на войне.

Доцент. Кто потерял ногу на войне?

Парикмахерша. Инвалид. Не этот, а вообще...

Доцент. С ним была девочка.

Парикмахерша. Я не видела.

Чем ближе к берегу гавани, тем оживленнее становится дорога. Сначала «Волга», потом — инвалидная коляска. Коляску обгоняет наш грузовик с хлопком. А впереди всех едет туристский автобус «Икарус» с крупной табличкой на переднем стекле: «Заказной». Окна «Икаруса» открыты, и он разбрасывает на обе стороны в солнечный утренний мир выкрики, смех, женский визг и запах пива.

Какая-то районная промкооперация едет на остров, чтобы весело провести иванов день, и все уже настроились на соответствующую волну. Автобус выглядит как банкетный зал. В передней части автобуса стоит большой молочный бидон, и главный бухгалтер, толстая самоуверенная сорокапятилетняя женщина в строгом сером костюме, плотно обтягивающем ее пышные формы,

черпает из бидона эмалированной кастрюлькой и наливает в кружку пиво. Лицо у нее при этом чуть ли не благоговейное. Кружку подносят в первую очередь баянисту, сидящему возле двери с громоздким инструментом на коленях. Затем кружка начинает путешествовать по шумному автобусу. Здесь едут девушки из пошивочной мастерской — во рту полно зубов, в голове — ветер, все в легких платьях, одна другой красивее.

Сзади на длинной скамье сидят четверо мрачных мужчин. Для них перспективы этого длинного пустого дня сводятся к зеленой пятилитровой манерке с пивом. Украдкой переходит из рук в руки четвертинка. Похоже на то, что между ними и остальными пассажирами — незримая стена. Среди этих четверых — мрачный грузный человек. Это заведующий мельницей.

З а в е д у ю щ и й м е л ь н и ц е й. Выдумали еще тоже — остров! Такой кочке и не удержать мужчину! Нам бы лучше баню — островную, деревенскую!

Второй из четверых — тощий.

Т о щ и й. И что за охота по свету шляться? Чего мы не видели? Куда-то за море волокут, а мы ни плавать, ни тонуть не умеем. Год назад на иванов день сидели мы об эту пору в моем саду под сиренью, и у меня на руках были двойка и десятка крестей, и брат мне еще туза дал. Козырь с колесами. Весь день делом занимались, и такой был чудесный денек, такой длинный.

Третий достает из кармана колоду карт.

Т р е т и й. Карты с собой.

Ч е т в е р т ы й. Вам четвертого не хватает. Возьмите меня.

Т о щ и й. Ну, раз карты с собой, уж мы этот день как-нибудь переживем. Год назад на иванов день мне сдали двойку и туза крестей.

И мрачности как не бывало. Возник новый коллектив с общими целями и интересами.

Шум в автобусе не смолкает.

Выкрики, обрывки фраз. Главный бухгалтер, взявшая на себя роль главного руководителя, командует:

— Споем.

— Чего?

— «Мы из Кунглы»!

— Неохота.

— «Почтальона»!

— Да ну! Приелось!

— «У нас на Сааремаа растет...».

— Это пускай сааремцы поют!

— «Хороши островитянки...».

— Это все песни с того берега. (*Баянисту.*) Сыграйка «Соседского Аду»!

Баянист растягивает свой инструмент и начинает:

Я с этим самым Аду по-соседски был знаком,
Любил он к дочке Кярнера заглядывать тайком.

Все.

А ну, гони, дуй в гриву, в хвост,
За полчаса по десять верст!

Б а я н и с т.

Между прочим, он у Кярнеров нисколько не шумел,
Потому как и без ключика в дома входить умел.

Все.

А ну, гони, дуй в гриву, в хвост,
За полчаса по десять верст!

Б а я н и с т и к а р т е ж н и к и.

Но и сам я в те же двери тем же способом входил,
И однажды темной ночью за нахалом проследил.

Все.

А ну, гони, дуй в гриву, в хвост,
За полчаса по десять верст!

Б а я н и с т с х о р о м.

И жилет его и брюки я увидел на окне,
И засаленную шляпу, шикарную вполне.

Все.

А ну, гони, дуй в гриву, в хвост,
За полчаса по десять верст!

Главный бухгалтер с серьезным видом отбивает такт. Поют все — даже водитель за рулем. Заведующий мельницей поет, не переставая тасовать карты. И с последним куплетом:

Я хватаю эту шляпу, эти брюки и жилет
И соседу посылаю самый пламенный привет! —

веселый автобус красиво берет вираж.

«Икарус». «Волга». Инвалидная коляска. Солнечная дорога. Пейзаж тем временем стал беднее, монотоннее — это бывшее морское дно, где теперь властвуют камень и можжевельник.

Четверку машин быстро настигает пятая.—взятый напрокат «Москвич». Его гонят чуть ли не со стокилометровой скоростью и притом с той небрежностью, с какой водят только чужие машины. Лишь подойдя вплотную к каравану впереди, «Москвич» слегка снижает скорость. Стрелка температурного датчика на доске приборов подходит к ста, давление масла ниже нормального, мотор работает нечисто. Машина заезжена.

В «Москвиче» едут четверо — трое парней и девушка. За рулем парень двадцати двух лет, небритый, длинноволосый, с сигаретой в углу рта, с красивым равнодушным лицом именно того типа, которому мы торопимся приписать скрытые достоинства. На самом же деле тут ничего нет, кроме преждевременной страсти и пресыщенности, питающейся дешевыми победами, тайного панического страха перед каждой трудностью и каждым усилием, благоприобретенного цинизма и полной неспособности к удивлению. Отчасти это порождено той гиперболической родительской любовью, которая шумно кидается на защиту сперва ошибок, потом ошибок, поскольку это ошибки молодых, и которая своим противным дамским причитанием «о защите молодых», «о понимании молодых» доводит кого до тюрьмы, а кого и до предательства. Парень за рулем — порождение такой инфляции гуманизма.

Девушка рядом с ним под стать ему: юная, накрашенная, равнодушная. Слова, исходящие из ее уст, настолько безлики и бесцветны, что они как бы обрывают все контакты с ней и ни до кого не доходят.

Сзади — двое двадцатилетних. Один из них не вмешивается в спор, становящийся все более горячим. Он тихонько насвистывает, но спокойствие его притворное. Его худой и разъяренный сосед подался вперед. Комсомольский значок у него на груди выглядит здесь таким же неуместным, как и его горячность.

Парень с комсомольским значком. Остановись. Вода закипает. Давление масла падает. Сгорят же цилиндры.

Водитель. До порта дотянем.

Девушка. Подумаешь, масло! Атс взял машину, Атсу и отвечать.

Парень с комсомольским значком. Небось на своей машине не так бы ездил.

Водитель. Еще бы! А из-за государственной нервы портить...

Девушка. Подумаешь!

Парень с комсомольским значком. Затормози, Атс! Запороть казенную машину — с твоим обр-азованием это неоригинально.

Девушка. Скажите, как остроумно!

Водитель. Кончай ты с этими лозунгами — о государственном добре. Я их с самой школы от тебя слышу. Смени пластинку.

Парень с комсомольским значком. Приходится повторять, раз ты такая дубина. Затормози!

Девушка. Скажите, как остроумно!

Водитель (*упрямо прибавляя газу*). Отцепись! Терпеть не могу этих проповедей — шесть лет подряд их слышу. Красный пастор. Не моя марка.

Парень с комсомольским значком. Твоя марка? Это какая же? У тебя же все напрокат: и философия, и песни, и «Москвич».

Водитель (*вызывающе*). Все? Ну нет! Я хочу быть свободным. Свободным!..

Парень с комсомольским значком (*с интересом*). От чего же?

Водитель. От всего! От твоей морали. На мой вкус, она пресна.

Девушка. Скажите, как остроумно!

Водитель. Мой отец воевал — ну и пусть! Он получил за это простреленное легкое, директорский пост и мое незаконченное высшее образование.

«Москвич» обгоняет инвалидную коляску.

Этот тоже воевал и остался без ноги. Наслушался я этих проповедей, хватит — мы воевали, мы боролись. Воевали, и ладно.

«Москвич» обгоняет грузовик, потом «Волгу».

(*Кивает головой в сторону «Волги»*.) Это кислое тесто в «Волге» не воевало, и все равно у него своя машина и баба рядом — первый класс. Им бы пригодились твои проповеди, а нам — нет.

Парень с комсомольским значком. И откуда берутся такие, как ты, не понимаю.

Водитель. А что ты вообще понимаешь?

«Москвич» обгоняет «Икарус».

Твое место там, в этом автобусе, а не здесь, среди неорганизованной и распушенной молодежи без идеалов. Там тебе и государственная машина, и коллектив, и стадные инстинкты. Соответствующие твоей интеллигентности.

Парень с комсомольским значком. Юпитер, ты сердисься! Но без таких коллективов и без папы с простреленным легким половина ресторанных философов собирала бы окурки. Задумывался ли ты, кто оплачивает твою свободу?

Девушка. Скажите, как остроумно!

Водитель. Кончай, щенок! *(С иронией.)* Слабые у тебя зубы для таких оригиналов, как мы. Подучиться надо. Мы же взяты государством под охрану... да-да...

Второй парень. Как бобры и выдры.

Водитель. Заткнись! Под полную охрану! Даже, понимаешь, скучно. Не успеешь и расшуметься, как всякие тети и дяди уже кричат: «Надо понять молодежь!» Никакого интереса. *(Парню со значком.)* Ты, серость, не замечаешь, что не тебе с твоим комсомольским значком, а нам, оригиналам, строят глазки, что к нам подбирают ключи! Нас ругают стилистами, да, и паразитами, называют ресторанными философами, да. А с другой стороны...

Парень с комсомольским значком. Я тебя понял. Если клопа научили философии...

Девушка. Скажите, как остроумно!

Второй парень. Слушай, Агс, вода кипит!

Водитель. До порта дотянем.

«Москвич», «Волга», грузовик с хлопком и коляска с каждым километром приближаются к порту. Вдали уже мелькнул клочок моря: здесь ломаная дуга залива глубоко врежется в сушу. Эстонское побережье с его камнями и редкой жесткой травой как бы тушуетя рядом с веселой синевою моря.

И вдруг совершенно неожиданно возникает над низким берегом входящий в гавань паром. На фоне выгоревшей зелени можжевельника свежая, сияющая белизна его салонов и командного мостика кажется парадной. Как если бы прямо по воздуху плыла под бледным небом церковь, отрешенная от моря и от суши. Навстречу ему плывет низкая каменная грудь мола, и вот уже белая башня мостика скользит над ним, и начинает реветь сирена — гулкая, печальная, призывная.

Машины подходят к порту. Но прежде они обгоняют четырех девушек. Девушки крутят педали спокойно, даже чуть устало и лениво, но сирена заставляет велосипедисток принальечь, так что скромной инвалидной коляске удастся обогнать их далеко не сразу.

По шоссе гонят четыре студентки-филологички. Их рюкзаки прикручены к багажникам. Одеты все одинако-

во: полосатые майки, гимнастические брюки, тапочки. Все на зависть молодые и свежие. Сильные красивые ноги в трикотажных брюках, голые руки, склоненные в броске головы — все это создает ощущение чего-то чистого, здорового и в лучшем смысле слова патетического. Лица их от гонки стали розовыми и влажными, скорость им по душе. Мчащаяся впереди Маль, самая крепкая и плотная из всех, поднимает голову.

— Нажмем, а то опоздаем!

Едущая следом Реет, хрупкая и миловидная, с пылающими; словно куст, рыжими волосами, нажимает.

Реет. Вперед, в край копченых угрей и просоленных парней!

Третья девушка, Хелью, старается не отстать от Реет. Она в пестром платочке, рот у нее приоткрыт.

Хелью. Там рыжие не в моде! Сделают из тебя маяк или дорожный знак.

Реет. Если маяк, так я освещу тебя в самый неподходящий момент.

Последней жмет изо всех сил самая маленькая из девушек. Она стиснула зубы, но все-таки отстает. Она светлая, как пламя на солнце, лицо у нее, как у борзой. Ее зовут Ингрид, и она молчит.

Скорость нарастает. И девушки начинают петь, крутя в такт педалями. Они чуточку задыхаются, но поют громко и хорошо. Это пустая и безобидно-фривольная песенка такого примерно рода:

На химфаке курс тяжелый —
нуклеины и фенолы,
но у будущей химнички
парни в голове.
Твисты, модные журналы,
маскарады, карнавалы.
Стать невесте химиком
очень тяжело.

Все студентки на филфаке
о законном бредят браке,
Угро-финская наука
не идет на ум.
Нам, несчастным, не до лекций,
не до аффиксов и флексий,
нас во цвете лет погубит
фи-ло-ло-гня.

Паром швартуется. На пристани принимают концы и набрасывают их на швартовые палы. Медленно опускается апарель. Грохочут двигатели, над палубой

вьется синеватый дымок выхлопных газов. С парома торопливо сбегают немногие пассажиры. Затем съезжают машины. Они словно бы прокрадываются по ребристому аппарелю и по бревнам, положенным на причал. Но, едва почувствовав под колесами твердую землю, машины сразу же дают газ и скрываются. Только из грузовика с лошадьми слышится взволнованное ржание — запахло сушей! После выгрузки каждой машины паром незаметно приподнимается, а после полной разгрузки его аппарель зияет над пристанью, словно пасть кита. Стальные щиты палубы поблескивают на корме и на носу тускло, а в туннеле под мостиком — маслянисто. Опустевший паром кажется очень большим, безжизненным и одиноким.

Рядом с аппарелем стоит штурман — он уже в полной форме и с красной повязкой на рукаве. Он поглядывает на портовую контору, возле которой выстроились машины. Штурман смотрит на них, как на личных врагов. За спиной у него с видом своего парня стоит палубный матрос — с сигаретой в уголке рта. Штурман, старающийся, чтобы его подбитый глаз не попадал в поле зрения чело-вечества, делает полный оборот кругом: теперь матрос видит только его здоровый глаз.

Штурман (*указывая на машины*). И чего люди шлятся? Вози их взад-вперед. Никаких тебе выходных. Невольничий корабль.

Матрос. А шеф не предложил тебе увольнительной?

Штурман (*яростно*). Капитан-то? Он и послал мою физиономию на выставку (*тычет пальцем в подбитый глаз*), дескать, пусть эстонский народ полюбуется на своего побитого сыночка! Русский не послал бы! Латыш не послал бы! Я с ними плавал. Но уж если эстонцу циферблат расколотят, так именно его и посылают дачников грузить — мол, полюбуйтесь, таллинские мартышки, полюбуйтесь, дармоеды, как нашим достается. Эстонские капитаны — они все такие!

Матрос. В буфет сбегал?

Штурман. Да надо бы, только... Куда же они лезут?!

На мол въезжают и останавливаются на почтительном расстоянии от парома две бензоцистерны. Водители вылезают из кабин и, переговариваясь на ходу, направляются к штурману.

В это время мимо стада машин у конторы проезжают, не сбавляя скорости, четыре велосипедистки. Зады-

хающиеся и потные, они тормозят и соскакивают на землю перед самым штурманом. Не обращая на него внимания, они явно собираются пройти с велосипедами прямо на паром. Рыжая Реет успевает даже ступить на палубу, прежде чем штурман преграждает дорогу трем остальным.

Штурман. Куда это вы нацелились?

Маль. Господи! На паром, куда же еще?

Штурман. Назад! Ишь, вертихвостка! *(К Реет, которая со своим велосипедом уже успела пробраться на другой конец парома.)* Эй ты, рыжая! Разворачивайся кормой к волне и газуй сюда!

Реет с гордым видом садится в седло и зигзагами катит к штурману.

Реет. Меня кто-то звал? Кажется, меня кто-то звал? Кто-то успел уже влюбиться в мою рыжую голову?

Штурман. Вы сядете последними, после того как будут погружены все машины.

Реет возвращается с велосипедом на пристань и останавливается перед штурманом.

Реет. Это вы назвали меня рыжей? Вы гений. С одним-единственным глазом подмечаете все существенное.

Маль *(подходя к ним)*. Послушайте, Нельсон, найдите себе девушку покрепче, чтобы она защищала вас от житейских бурь. Просто жаль такого прекрасного юношу.

Ингрид. А теперь нам уже можно на корабль?

Штурман. Идите... Идите вы... Идите вы со всей начинкой! *(Тяжело вздыхает.)* Подождите там в сторонке, пока мы погрузим машины. Прошу вас!

Реет. Спасибо. Нам не хочется в сторонку, капитан. Мы хотим быть рядом с вами.

Штурман. Проваливайте, сороки! Очень вас прошу. Катитесь!

Девушки с велосипедами отходят к краю пристани, продолжая в упор глядеть на штурмана.

Вдруг из репродукторов обрушивается мелодия «Еньки». Ноги девушек приходят в движение. Все четыре кладут велосипеды и пускаются в пляс, строя глазки штурману. И штурман, несмотря на клочкотание желчи в душе, следит за ними здоровым глазом с восхищением знатока...

До штурмана добираются наконец водители цистерн. Они ложимают ему руку, словно старые знакомые, с

интересом всматриваются в его лицо, но не произносят ни слова. В иных случаях человек, выступающий в роли просителя, должен уметь и помалкивать.

Первый водитель молод и, если учитывать его работу, одет прямо-таки роскошно: шелковая темная рубашка с открытым воротом, светлые брюки и сверкающие ботинки. Он свежевыбрит. Будто на праздник собрался. Другой — постарше, он жилист, словно можжевелевый корень, приземист, широк, у него нос картошкой и хитрые глаза, за версту видно, что он может быть только шофером, и больше никем. Он олицетворение своей профессии: всегда затормозит, чтобы вытащить тебя из кювета, одолжит в случае нужды десять литров бензина, не откажется от рубля, если дашь сам, а не дашь, так тоже не заплачет.

Первый водитель. У сестры свадьба.

Штурман. Поздравляю. Спасибо за приглашение.

Первый водитель. Послушай, приятель, перебрось ты нас.

Штурман. Бензопаром отошел два часа назад.

Второй водитель. Послушай, дружище, погрузи. Мы же старые знакомые. Что же, мне весь иванов день пристанью любоваться?

Штурман. Не могу! Меня повесят, если я между туристскими автобусами впихну пять тонн бензина. Лучше бомбы возить, чем вас, идиолов. Какая-нибудь шишка пронюхает, так крику будет — до самой Москвы!

Первый водитель. У сестры свадьба. А мы ведь и раньше с пассажирским паромом плавали.

Штурман. Не могу!

Второй водитель. Я с капитаном поговорю.

Штурман (*задетый*). За погрузку отвечаю я.

Второй водитель. Блеск! Значит, ты нас и погрузишь. Что за детский разговор — не могу? Послушай (*обнимает штурмана за плечи*), тебе сейчас не повредило бы... Голова-то какая! Пошли!

Направляются все втроем к цистернам.

Штурман. Не могу я. Не положено.

Второй водитель. Не могу, не могу. Как девчонка! Со времен Ноя еще ни одна цистерна на пароме не горела. Детский разговор.

Штурман. Законы эти хуже собак: все только запрещают и ни один ничего не разрешает.

Второй водитель. Значит, поговорить с капитаном?

Штурман. За погрузку отвечаю я!
Второй водитель. Ну так отвечай!
Штурман. И отвечу.

На миг они скрываются за цистернами. Штурман возвращается оттуда более бодрым и уверенным, но все же косится на командный мостик: не видел ли капитан.

Тем временем «Енька» кончилась и уступила место какому-то сатанинскому завыванию, под которое четыре девушки вихляют бедрами вокруг груди велосипедов. Заметив возвращающегося штурмана, они посылают ему «алло» и окружают его.

Маль. Пустите же нас на корабль, капитан.

Хелью. Мы никому не скажем.

Реет. Мы хорошие.

Штурман (*исполненный достоинства*). И верно — недурны. Но погрузку я вас последними. А пока укоротите язычки.

У портовой конторы, ожидая разрешения на погрузку, стоят машины. Вперед всех протиснулся «Москвич». Его водитель открыл свою дверцу и свесил ноги наружу. Он сидит спиной к девушке и равнодушно смотрит на море. Девушка не потрудилась даже открыть дверцу — она сидит и лениво поводит своими молодыми глазами. Двое молодых людей, связанных лишь скукой и постелью. Парень с комсомольским значком маятником шагает возле машины и вызывающе поглядывает на водителя «Москвича».

Их четвертый товарищ возвращается и кладет на заднее сиденье бутылки. Водитель с девушкой тотчас оборачиваются и смотрят назад.

Водитель. В порядке?

Девушка (*зевая*). Господи, какая скука!

Рядом с «Москвичом» стоит выдавший виды «Виллис» из рыболовецкого колхоза — старый, заслуженный, запыленный. За рулем женщина в расцвете средних лет. Председатель колхоза, крупный, грузный и медлительный, как тяжелый мотобот, стоит, опершись на капот, и беседует с двумя местными рыбаками. За «Виллисом» стоит с опущенными стеклами серая «Волга».

Доцент. Пойди погуляй.

Парикмахерша. Не хочу. Пыльно. Наверно, скоро пустят на паром.

При этом она смотрит в ручное зеркальце, в котором отражаются наполовину закрытая туристским автобу-

сом инвалидная коляска и мрачное лицо сидящего в ней инвалида.

И н в а л и д. Побегай, Тийу. Попрыгай, воробей.

Т и й у. Не хочу.

И н в а л и д. Тогда спой что-нибудь.

Т и й у. Все песни кончились.

И н в а л и д. Конфетку возьми.

Т и й у. Больше не хочется.

В туристском автобусе остался только водитель. Все остальные расположились на травке возле обочины и наслаждаются жизнью. Бидон с пивом и кружка тоже здесь. Слышен командирский голос главного бухгалтера и повизгивание девушек. Чуть в стороне от всей компании режется в карты четверка рыцарей, счастливых и деловитых. Летняя идиллия.

Между туристским автобусом и коляской стоит грузовик с хлопком. Влюбленные явно только что проснулись и курят. Мягкий приглушенный свет, проникающий в щель, падает на их лица и на белые клочья хлопка в волосах. Парень обнимает девушку за плечи, и от его сигареты сыплются искры, которые оба не замечают.

В сумраке тлеет на клочке хлопка искра, меркнет, разгорается, забирается, словно червь, вглубь. Сквозняк пронесет стороной от влюбленных тонкие нити серого дыма. Это еще не пламя, не огонь и даже не огонек — это всего лишь эмбрион несчастья.

П а р е н ь (*выглядывает из-под брезента*). Никак не пойму, где мы. Не то железнодорожный переезд, не то... Прямо за нами — инвалид с коляской. (*Замечает расположившийся на траве народ из промкооперации.*) В канаве гулянка какая-то — пиво хлещут. Девчонки. (*Хочет прыгнуть.*) Схожу расследую.

Д е в у ш к а (*хватая его за волосы.*) Что еще за девчонки? Цыц! Сиди здесь! (*Выглядывает из-под брезента.*) Ага, какие-то латыши. Наверно, это Рижское взморье. Долго мы спали?

П а р е н ь. Не знаю, часов-то нет. Слушай, это же судовой гудок! Мы в порту.

Д е в у ш к а. В каком порту?

П а р е н ь. Не важно. Поцелуемся.

Слабый ветерок свивает в колечки нити серого дыма. Парочка целуется, но чувствительный нос девушки сразу же улавливает запах горящего хлопка.

Д е в у ш к а. Ягненок, где-то горит.

Парень. Это мое сердце.

В этот миг начинают работать моторы. На пристань выносятся «Москвич», за ним медлительная «Волга» доцента, затем «Виллис» председателя колхоза, туристский автобус, инвалидная коляска, два длиннотельных рефрижератора и наконец еще одна «Волга» с двумя военными летчиками. Один из них, темноволосый, мчит-ся в контору за билетами, а другой, светлый, неторопливо ходит вокруг машины. Темноволосый возвращается, садится в машину, светлый — в форме капитана — завершает свой обход и садится за руль. Похоже на то, что они точно рассчитали время, что они не опаздывают и не торопятся. Первое впечатление от них — это синтез молодости и спокойствия.

В грузовике с хлопком сидят в обнимку парень и девушка. Как только машина тронулась, они сразу же успокоились.

Парень. У тебя паспорт с собой?

Девушка. Зачем? Или не веришь, что мне правда девятнадцать? (*Достает из сумочки паспорт.*) Гляди! Девятнадцать лет и три месяца. Гляди — штамп службы, видишь? Комбинат обслуживания. Гляди — не замужем. (*С обидой.*) Что же ты ночью паспорта не спрашивал — самое было время.

Парень. Куриная ты голова. Разве я для того? Я хочу шагом-арш в первую же церковь со своей первой девушкой, и аминь. (*Серьезно.*) Хочу, чтобы мне надели хомут по всей государственной форме.

Девушка. Чего-чего?

Парень. Хомут. Священные узы брака, словом. Пойми же, с тобой!

Грузовик внезапно тормозит, и они валятся на хлопок. Пожилой портовик в фуражке с гербом и со списком машин в руках подходит к штурману.

Портовик. Начнем.

Штурман (*напустив на себя солидность и поглядывая на девушек*). Можем начать.

Портовик. Эти бензоцистерны придется оставить.

Штурман. У его сестры свадьба. Я им почти пообещал.

Портовик (*махнув рукой*). Ну, раз пообещал... (*Подходит к ожидающим машинам.*) Цистерны!

Первый водитель подкатывает свою цистерну к аппарелю и тормозит.

Вперед — на правый борт!

Носовая палуба парома разделена на два вытянутых треугольника, наружные стороны которых, образуемые бортами, слегка приподняты. Площадь их как раз достаточна либо для среднего грузовика, либо для бензоцистерны. При погрузке машины проезжают на самый нос и потом задним ходом легко въезжают в свой сектор. Без двух этих треугольников оставшаяся часть палубы составляет длинный прямоугольник с двумя аппаратами по краям.

На паром въезжает первая цистерна. Затем вторая. Водители, знающие тут с каждым дюймо́м палубы, мастерски выполняют все маневры. Вообще погрузка идет в хорошем темпе, опытный портовик распоряжается всем без суеты, так что ответственность штурмана носит формальный характер. Он просто стоит рядом, повернувшись подбитым глазом к морю.

Портовик. «Волга» ЭСГ35-33!

Доцент осторожно объезжает «Москвича». Водитель «Москвича» выскакивает из машины.

Водитель «Москвича». Я стоял раньше! И вы погрузите меня раньше.

Портовик. Сначала погрузим «Волгу», потом инвалида. Потом вас.

Водитель «Москвича». Это что за шахер-махеры? Я вам покажу!

Портовик. Не показывай — не стану и смотреть. «Волга», проезжайте!

«Волга» осторожно подкрадывается к аппарелю, доцент жмет на газ, мотор ревет, но сцепление выжато. Доцент отпускает сцепление, но забывает про газ, и мотор глохнет.

Портовик. Спокойнее, спокойнее. Бояться нечего.

Водитель «Москвича». Портач!

Тем временем «Волга» проезжает на самый нос и благодаря спокойным подсказкам портовика становится как можно левее, чтобы рядом осталось место для инвалидной коляски. Доцент переводит дух и отирает пот.

Портовик подходит к инвалиду.

Портовик. Теперь попрошу вас.

Инвалид включает мотор.

Из какого полка?

Инвалид. Из девятьсот семнадцатого.

Портовик. Значит, свой. Становись рядом с «Волгой». Первым сойдешь, да и вообще там лучше. Хорошее место — только для однополчан.

Инвалид въезжает на паром и втискивает свою машинку рядом с «Волгой».

Доцент все еще проверяет, хорошо ли затянут ручной тормоз. Парикмахерша закрыла глаза — ей, кажется, стало плохо. Девочка плотно прижалась к инвалиду и украдкой поглядывает на мать, и родную и незнакомую. Инвалид смотрит в пространство. Но там нет ничего, кроме стальной стены поднятого аппарата, похожей на вздыбившуюся дорогу...

Въезжает «Москвич». Все четыре седока выходят из него и становятся у поручней.

Колхозный «Виллис».

И наконец — грузовик с хлопком.

Передняя его часть находится рядом с цистернами, задняя — посередине парома, в продуваемом всеми сквозняками туннеле под мостиком. Шофер выходит из кабины, осматривается по сторонам в поисках знакомых и с радостью обнаруживает на правом борту водителей цистерн.

В этот миг парень с девушкой приподнимают брезент. Сумерки туннеля, неуютный сквозняк, стальная обшивка палубы.

П а р е н ь. Слезем?

Д е в у ш к а. И куда?

П а р е н ь. Я устрою каюту. Прыгай!

Парень достает из кармана помятую пачку «Примы», вынимает из нее и кладет в сумочку девушки сигареты, складывает пустую пачку вдвое, и теперь, если зажать надпись пальцем, пачку можно выдать за красное служебное удостоверение. Парень кладет пачку в карман рубашки, и лицо его тотчас меняется, становится нарочито мужественным, как у эстрадного певца. Он распаивает брезент и спрыгивает на палубу. Только что въехавший на палубу туристский автобус резко тормозит, водитель высовывается из кабины.

Водитель автобуса. Ты, черт! Прямо под колеса! Что, ослеп?!

Парень поворачивается. Его спина и затылок в ключьях хлопка наводят на мысль, что он расцвел. Широко расставив ноги, он помогает девушке слезть. Водитель автобуса подает яростные сигналы — один, другой, третий, но эти двое стоят себе посреди палубы, и парень снимает с девушкиного жакета хлопок. Сзади ревут машины. И тут между влюбленными возникает во всем величии штурман.

Водитель автобуса. Убери ты этих зайцев.

Парень. Что? Ты кому это говоришь?!

Штурман (с важной официальнойностью). Попрошу ваши билеты.

Парень (с нагловатой фамильярностью). Послушай, друг...

Девушка (робко). Давай сойдем.

Штурман. Ваши билеты, пожалуйста.

Парень (достает из кармана сложенную вдвое «Приму» и, зажав надпись пальцем, сует ее под нос штурману). Узнаешь, друг?!

Штурман. Чего?

Парень. Уголовный розыск.

Штурман (инстинктивно прикрывает рукой подбитый глаз). Ах так? Извините.

Парень. Извиниться еще успеешь. У нас, друг, розыск, расследуем кое-что.

Штурман. Это не я начал. Меня первого ударили!

Парень. Мы еще посмотрим, друг. (Указывает на девушку и пронзительно шепчет.) Новый районный оперативник. Если хочешь, чтоб...

Штурман. Но не я же начал!

Парень (грубо, с повелительной твердостью). Отведи нас к себе в каюту! Секретный сотрудник — это тебе не брюква на сельхозвыставке, его напоказ не выставляют. Мигом!

Штурман (водителю автобуса). Ну, чего трубишь в свою трубу? Чего кричишь на товарища! (Появившемуся портовику.) Ты грузи, а я устрою товарищей.

Штурман скрывается, уводя за собой парня и девушку. Вид у девушки все еще огорошенный, ей стыдно, и она ничего не понимает. Парень же выставил вперед подбородок и расправил грудь, он уже проникся уверенностью, что судьба шагающего впереди штурмана и впрямь в его руках. Они спускаются по трапу, проходят по длинному коридору. Над их головами светится желтая вереница ламп, с обеих сторон сверкает лакированное дерево.

Все трое подходят к каюте штурмана.

Штурман достает из кармана ключ и с извиняющейся улыбкой обращается к парню:

— Извините, но у меня беспорядок. Стоял ночью на вахте, не успел убрать.

Парень. Раз вахта — дело простительное,

Девушка. Ну что вы, что вы! Мы причиняем вам беспокойство, а вы...

Парень. При нашей профессии неубранная каюта... Всякое, друг, случается. Перетерпим.

Штурман. Но все-таки извините. Если бы я знал...

Они входят в каюту. Штурман прежде всего бросается к иллюминатору и раскрывает его. В каюте, куда попали парень с девушкой, царит типичный холостяцкий беспорядок: пепельница полна окурков, на столе посреди растрепанных книг стоит бутылка из-под «Старки», повязанная галстуком. Но гости сразу же впиваются глазами в тарелку с жареной колбасой и капустой. Рядом с тарелкой лежит на газете сеledка без хвоста — довольно жирный кусочек — и хлеб. Парень глотает слюну. Штурман одной рукой открывает иллюминатор, а другой нащупывает за спиной бутылку и выбрасывает ее в море. Девушка украдкой косится на постель. Штурман поворачивается к ним.

Штурман. Разрешите убрать постель?

Парень. Не беда, друг. Оперативник уберет. *(Протягивает руку.)* Ключ!

Штурман достает из кармана ключ и отдает парню.

Штурман. Прошу!

Парень. Будь человеком — не забудем!

Штурман *(подходя к столу)*. Снесу тарелки в камбуз. Уж эти уборщицы — ничего не делают.

Парень *(с судорожной поспешностью)*. Пускай остаются!

Штурман *(с сомнением)*. Ладно, пусть остаются... Не я первый стукнул. Честь корабля я, правда, защищал, и если кто получил по носу... Будете расследовать это дело, не очень-то доверяйте свидетелям. Эти чертовы островитяне все заодно.

Парень *(великодушно)*. Знаешь, друг, мы твое дело пока отложим. Винца у тебя нет?

Штурман. К сожалению, нет. Было, да все вышло.

Парень. Ладно. Обойдемся. А теперь оставь нас одних. У нас тут *(указывает на сумочку девушки)* кое-какие анализы крови. Пора браться за работу. Возвращайся к своим делам, друг!

Штурман *(с облегчением)*. Давайте, давайте. Не буду мешать. Сегодня я руковожу погрузкой.

Парень. Давай руководи, друг.

Штурман уходит. Девушка, отступив шага на два от парня, смотрит на него во все глаза, словно на незнакомого. Парень запирает дверь. Самое их сильное чувство — голод; с безмолвным единодушием они накидываются на еду штурмана, по-братски делят все пополам и уничтожают подчистую. Капуста с колбасой исчезают мигом. И, лишь перейдя к селедке, они вновь обретают дар речи.

Девушка. Как у тебя это получается?

Парень. Что «это»?

Девушка. Чем ты напугал морячка?

Парень. Денег нет, билетов нет. Что оставалось делать? Вот я и трахнул парня по башке его же страхами. Мне бы только ухватить за хвост страха всех людей, иметь хотя бы догадку, чего они боятся, так уж мы бы пожили, уж мы бы пожили! Меня этому один старый арестант научил. Он с этого и жил. За вымогательство и в тюрьму попал.

Девушка поправляет постель.

Девушка. Поди-ка сюда, друг.

Паром уже полностью загружен. Туристский автобус, еще один туристский автобус, маленькая «Латвия», два грузовика. Площадь всей палубы умело использована до последнего фута. Водителям, желающим выбраться из туннеля под мостиком к поручням, приходится или проползать под машинами, или перебираться через капоты и крылья. Кажется, будто все это множество машин слилось в огромную автотварь и распутать этот гигантский клубок почти невозможно.

Штурман появляется в тот момент, когда на палубу въезжает последняя машина — «Волга» с летчиками. Четыре велосипедистки — Маль, рыжая Реет, Хелью и Ингрид — стоят пока в ожидании, придерживая велосипеды, и их фигуры красиво выделяются на зеркале моря.

Штурман (*портовику*). Всех посадил?

Портовик. Всех. Можешь отчаливать.

Реет. Капитан, дорогой мой, не разрешите ли нам погрузить своих коней?

Штурман. Да-да, скорее. Чего же вы ждете?

И девушки вкатывают на палубу свои велосипеды. Все четверо очень веселы и держатся с подчеркнутым достоинством, а велосипеды они переносят к поручням с такой легкостью, будто те ничего не весят.

Пассажиры... Куда вода просочится, туда просочится и среднекалиберный пассажир парома. Как, впрочем, и туда, куда не просачивается даже вода. Пассажир парома, январский буран и песок пустыни проникнут куда угодно. Недаром в старину термином «обезьяний груз» обозначался наихудший, если не считать взрывчатых веществ, груз, а именно люди, приобретающие в случае опасности два свойства, которых лишены все остальные грузы: фантазию и склонность к панике.

В нашем сегодняшнем пароме их полно. Лишь немногие — пожилые, уравновешенные, а также влюбленные — заняли места в пассажирских салонах. Остальные расположились на нижней, а также и на верхней палубе, той самой, где находятся командный мостик и каюты капитана и радиста.

Сверху паром выглядит как правильный вытянутый овал. В середине овала — кузова машин, их кабины и капоты, а вокруг — венок пассажиров. Они разбросаны вдоль всех поручней, но самыми плотными пчелиными роями они скопились на носу и на корме, образовав там четыре пестрые, шумные и суетливые группы. Кормят чаек, фотографируются. Наверху по обеим сторонам мостика они опираются на высокий — по грудь — барьер, выглядывают, словно кукушата, из-за шлюпок, и никто не обращает ровно никакого внимания на надпись, украшающую тяжелую металлическую дверь: «Вход посторонним воспрещен!» На пассажиров нижней палубы они смотрят сверху вниз — ведь они забрались туда, куда остальных не пускают.

Капитан выходит с женой из каюты и направляется в рулевую рубку.

Жена у него красивая, оба выглядят счастливыми и по-праздничному молодыми. Капитан прекрасно владеет своей мимикой, но все-таки видно, как нравится ему собственная персона в отлично сидящем мундире, и жена-красавица, и то, что он в любую минуту может прогнать отсюда всю эту пеструю ватагу, но из великодушия не делает этого. Он слегка улыбается, заметив мальчика с двумя девочками, прилипших к стеклянной двери рулевой рубки.

Капитан. Разрешите, пожалуйста.

Мальчик и девочки отскакивают. Парень во все глаза смотрит на капитана с мальчишечьим восторгом и завистью, с таким преклонением перед его формой, с таким обожанием и занскиванием, что лицо капитана,

который и сам-то всего-навсего большой мальчик, покрывается румянцем.

Капитан (*мальчику*). Что вы тут изучаете? Что вас интересует?

Мальчик (*проглатывая слюну*). Да хотели бы... Хотели бы поглядеть на локатор.

Капитан. На локатор?

Мальчик. Ага. На радарные установки.

Капитан (*великодушно*). Вот отчалим, тогда заходите. (*Девочкам.*) И вы тоже.

Входит с женой в рубку. Капитан переводит машинный телеграф на команду: «Готовьсь!»

На корме уже все подготовлено к отплытию. Шумные пассажиры по обоим бортам, четыре велосипедистки, которые сумели бы оживить и самую инертную компанию. Двое юношей с бородами лжепророков, сельделовы в отпуску, подбираются поближе к девушкам. Те поглядывают на бородачей с любопытством.

Первый сельделов. Помнишь, как нас мотало у Ян-Майена?

Второй. Я шестнадцать часов от штурвала не отходил. Ноги стали кривыми, как у татарина.

Первый (*шепотом*). Ты заметил этих девчонок? Эту рыжую заметил?

Второй. Симпатичная скумбрия. (*Издает многозначительный свист.*)

Паром жизнерадостен, как молодой жеребчик.

Штурман (*палубному матросу*). Апарель.

Апарель начинает медленно подниматься. Вдруг из толпы пассажиров вырывается женщина, держащая за руки двух детей и, протиснувшись кое-как мимо «Волги», кидается к поднимающейся стальной стене. Самое страшное, что она выглядит вполне нормальной.

Штурман. Куда вы? Паром уже отходит.

Женщина. На сушу. Пустите меня на сушу!

Штурман. Ты же хотела плыть? Или не хотела?

Женщина (*прижимая к себе детей*). Очень даже хотела. Пустите меня на сушу.

Штурман. Зачем?

Женщина. Я с этим паромом не поеду. У меня дети.

Штурман. Заболела, что ли?

Женщина. Я с этим паромом не поеду. У меня дети.

Апарель все поднимается и поднимается. По знаку

штурмана он замирает и начинает опускаться. Женщина, даже не оглянувшись, хватает детей за руки и по апарелю тащит их за собой на причал. Они идут по опустевшей залитой солнцем пристани, дети без конца оборачиваются. Апарель снова начинает подниматься.

Штурман. Какая-то сумасшедшая. С этим паромом она не поедет. Хотелось бы знать, почему именно этот паром ей не подходит.

Апарель все поднимается. Стальной барьер сомкнулся и взял в кольцо паром с его машинами, пассажиров с их судьбами и ближайшим будущим.

Портовик отпускает концы. Пронзительная сирена. Паром потихоньку отваливает от причала. Бородатые сельделовы, затесавшиеся в компанию велосипедисток, начинают петь свою песню:

«Что было, сплыло, и нету милой —
Одна вода.
Все дни и все ночи кипит и клокочет
Одна вода,
Одна вода.

Ловлю селедку и ем селедку,
Молчу, как тень.
И висит надо мною с ненужной луною
Полярный день,
Полярный день.

Дождаться встречи, обнять за плечи
Хоть раз в году.
Я тоскую о рыжей девчонке бесстыжей
И встречи жду,
И встречи жду.

Я шканцы драю, а сам сгораю —
Прощай, земля!
Я очень несчастен и огнеопасен
Для корабля,
Для корабля».

Грузовик с хлопком втиснулся в стадо машин. Он выглядит скучным и безжизненным, но если заглянуть под брезент, то мы увидим, что в кузове полно серого дыма, почувствуем запах паленого хлопка. Огонь притаился где-то в глубине и оживает с каждым порывом сквозняка в туннеле под мостиком, а после выхода в море сквозить стало сильнее. Временами из-под брезента выбиваются наружу и устремляются вверх тонкие нити серого дыма.

На корме, где центром одной из групп стали четыре наши велосипедистки и два сельделова, кидают чайкам

хлеб, переговариваются. Слова как бы утратили свое обычное повседневное значение, их произносят как бы без адреса, хоть девушки явно обращаются к бородачам, а бородачи — к девушкам.

Первый сельделов. Ты когда последний раз был дома?

Второй сельделов. Ровно год назад. Уж и поболтало же меня потом у Нью-Фаундленда и в Гвинейском заливе. Полтора месяца могу душу отводить — такие афинские ночи будут. А ты давно был дома?

Первый сельделов. Тоже год назад. Только пил и плясал, пил и плясал. Выжало, как молóку у салаки.

Второй сельделов. Детей тоже делал или за-дарма пил?

Первый сельделов. Не трепись! *(Девушкам.)* Не обращайтесь внимания — ему на башку мачта свалилась. Но все, кроме мозгов, у него на месте.

Маль. Скажите, в ваших краях у всех такой хороший язык?

Первый сельделов. Хороший язык? У нас? Знаете, в море он у нас таким хорошим становится, что когда мы домой возвращаемся, так на неделю рот полотенцем завязываем. Но почему вас это интересует?

Реет. Мы собираем диалекты, всякие притчи и пословицы. Мы филологи, вернее говоря, станем филологами, если замуж не выскочим.

Второй сельделов *(на школьном английском)*. О, ду ю спик инглиш?

Первый сельделов *(в тон ему)*. Май систерс нэйм из Мэри.

Второй сельделов. Ай лайк ту уэл уайт ма дог. Май догс нэйм из Том.

Первый сельделов. Май шип из вери биг энд май кептенс из мистер Джемс Смит.

Реет *(весело)*. Слушайте, ребята, говорите по-эстонски. Чтоб и самим понятно было.

Второй сельделов. Да, уж этих тартуских не проведешь!

И оба смеются с простодушием хороших парней, которых вывели на чистую воду. Смех немного сближает их с девушками.

Слабый порыв ветра доносит противный запах паленого хлопка. Оба сельделова хватаются за карманы — уж не попал ли туда непогашенный окурок. Все подозрительно присматриваются друг к другу.

Первый сельделов. Кто-то горит! (Товарищу.) Проверь карманы — ты еще в школе совал туда окурки.

Второй сельделов. Я не горю. Но кто же тогда горит?

Реет. Если кто и загорится, здесь воды хватает.

Мостик. Большая часть стекол опущена: опущены они и над машинным телеграфом, у которого стоит штурман, и на другом конце мостика, где стоят капитан с женой. Они смотрят вниз, на носовую палубу. Перед ними как на ладони «Волга» доцента, инвалидная коляска, «Москвич», колхозный «Виллис» и две цистерны. Виден капот грузовика с хлопком.

Море необыкновенное. Оно солнечное, зеркальное, умопомрачительно синее. Видно, как Тийу выбирается из инвалидной коляски и идет к поручням, идет, держась слишком прямо, словно страшась, что ее сзади ударят. Протискивается между взрослыми. Смотрит на море, как смотрят на него озабоченные люди: глядит не на горизонт, не на чаек, а вниз, на клубящиеся у носа волны.

И парикмахерша, взвесив все плюсы и минусы, решает закончить эту мучительную для всех игру счастливой развязкой. Она смотрит на Тийу, стоящую спиной к ней. Как бы только что узнав инвалида, посылает ему родственную улыбку. Открывает дверцу и восклицает тоном радостного удивления.

П а р и к м а х е р ш а. Это же Тийу! И с дядей! Как чудесно!

Д о ц е н т. Тийу? Вот и хорошо. Я уже давно хотел...

П а р и к м а х е р ш а. Я подойду к ним.

Д о ц е н т (радно). Конечно, подойди.

Парикмахерша распахивает дверцу, выходит и все с той же радостью, с той же примирительностью протягивает инвалиду руку. Ответив ей рукопожатием и посмотрев на нее, инвалид начинает искать глазами Тийу.

П а р и к м а х е р ш а. Я давно хотела видеть Тийу. А она вот где.

И н в а л и д. Она вот где... Да...

Парикмахерша подходит к дочери, обнимает ее своей красивой рукой, привлекает к себе. Девочка и покорна и в то же время строптива, она и припадает к матери, и отстраняется, и задает взглядом столько вопросов, сколько умеют задавать сразу только дети, но взгляд

этот готов стать и уклончивым и обдать льдом. Парикмахерша наклоняется и поправляет на Тийу воротничок.

П а р и к м а х е р ш а. Хорошо тебе у дяди?

Т и й у. Хорошо.

П а р и к м а х е р ш а. По маме не скучаешь?

Тийу трясет головой.

(Шепотом). А все-таки скучаешь, все-таки скучаешь.

Т и й у (как эхо). Все-таки скучаю...

И парикмахерша, несмотря на строптивость в голосе дочки, гладит ее по голове, разглаживает складки на ее платье и улыбается, улыбается, как мадонна, и дочери, и инвалиду, и мужу, и на всякий случай всем тем, кому вдруг захочется полюбоваться на фотогеничную материнскую любовь. Доцент смотрит на нее как зачарованный. Он опять влюблен.

Но ему неловко. Он хочет, он должен поговорить с инвалидом, но не знает, как начать. Он ерзает в машине, поправляет воротничок, шарит по карманам, не знает, куда деть руки. Он то и дело поглядывает на инвалида, но тот смотрит вдаль: после того как девочка оставила его в одиночестве, он сразу стал выглядеть намного старше, горе его обнажилось. Его тревожат и даже мучат эти ласки и улыбки парикмахерши.

Наконец доцент решается. Он неуклюже вылезает из-за руля, пододвигается к правой дверце и, открыв ее, высовывается из машины, его лицо и лицо инвалида оказываются в довольно близком соседстве. Инвалид по-прежнему смотрит вдаль.

Д о ц е н т. Извините... Нам надо бы познакомиться. Я муж Лейли.

И н в а л и д. Знаю. (протягивает руку). Мельдер.

Д о ц е н т. Как поживает Тийу? Она не спрашивает про маму? Мы бы взяли ее...

И н в а л и д. Не спрашивает. (Грубо.) И нечего приставать к ней. Ребенку надо прийти в себя. Она еще помнит своего отца.

Д о ц е н т. Товарищ Мельдер! Я и не собираюсь приставать к ней. Просто я думал, что у матери ей было бы лучше, она понемногу привыкла бы ко мне.

И н в а л и д. Не отдам я ребенка. На небе — господь-бог, а на земле — Советская власть и советские инвалиды войны. И если они ни на что больше не годятся, так уж детей они всегда защитят!

Д о ц е н т. Я не хотел вас обижать.

И н в а л и д (*бранчливо*): Я вас — тоже. (*Доверительно.*) Вы умный человек. Скажите, что вы нашли в этой Лейли? Она же пустышка, в ней ничего нет. Я ее знаю. Она вышла замуж за вашу машину и зарплату, а заодно терпит и вас. Мне вас жаль, по-мужски жаль.

Доцент (*задегый*). Все это не так просто, товарищ Мельдер. Кроме машины существует еще любовь.

И н в а л и д. Любовь-то есть, но к чему? К чему?

Доцент. Вы несправедливы.

И н в а л и д. Это жизнь несправедлива, не я.

Доцент отодвигается на свое прежнее место за рулем, правая дверца машины прихлопывается сама по себе, как бы окончательно разделив собеседников. Теперь оба смотрят вдаль.

Мостик. Капитан подходит к штурману и показывает ему взглядом на цистерны. Глаза у него злые, но он так отлично владеет голосом, что со стороны можно подумать, что разговор у них самый будничней.

Капитан. Не ты ли разрешил погрузить эти бомбы?

Штурман. Какие бомбы?

Капитан. Какие? Бензоцистерны, идиот! Паром полон людей, одних пассажиров — сотни две, тут и туристские автобусы и легковые машины, а ты ставишь на оба борта по цистерне с авиационным бензином!

Жена капитана (*лирически*). Никогда еще не видела такого красивого моря. А ты, Эрвин, видел? Блестит и сверкает, как новая кастрюля.

Капитан. По твоему заказу. (*Штурману.*) Ты что, законов не знаешь, инструкций не читал?

Штурман. Возили же мы и раньше машины с горючим.

Капитан. Это еще не означает, что мы должны возить бензин вместе с пассажирами.

Штурман. Свои же ребята. Каждый день их возим. У одного сестра свадьбу играет, у другого мать умерла.

Капитан. Саперы и капитаны бензопаромов ошибаются один раз.

Кто-то стучит в дверь рулевой рубки. Капитан кричит «да». Дверь открывается, и в ней появляется тот самый мальчик, который хотел посмотреть на радарную установку. Из-за его плеча выглядывают девочки.

М а л ь ч и к. Товарищ капитан, если вы разрешите, мы войдем.

Капитан. Придите, пожалуйста, минут через пять. А мы тут пока кое-что выясним.

Мальчик тихо прикрывает дверь. Так у этого, что ли *(показывает на того водителя цистерны, который постарше, — он стоит у поручней)*, опять мама умерла?

Штурман. Как это — опять?

Капитан. Этот ловкач всегда устроится. Раза три он подъезжал ко мне с покойной матушкой, да и папу он хоронил уже раза два. Про дюжину теток я и не говорю. И не такой уж крупный, а сколько матерей его рожало. Сегодня он тебя, значит, разжалобил.

Штурман *(пытаясь прекратить разговор на эту щекотливую тему)*. Капитан! Я должен тебе кое-что сказать. На пароме двое сыщиков: один из угрозыска, а с ним оперативница.

Капитан. Из какого угрозыска?

Штурман. Парень из уголовного розыска. Все честь по чести — с удостоверением. Что они тут ищут?

Капитан. Драчунов и бензин. Что дальше?

Штурман. Ты с этим народом еще не встречался? Интересно, все они так чудно выглядят? Ну, вроде начинающих подзаборников?

Капитан. Как им надо, так и выглядят. Артисты. Куда ты их дел?

Штурман. В свою каюту. Пускай там побудут.

Капитан. Откуда они взялись?

Штурман. Из кузова. У них все есть — и анализы крови и отпечатки пальцев.

Капитан. И они тебе это сказали? Что-то не то. *(Добродушно.)* Ну а кроме бензоцистерн и оперативников, какие другие чудеса у тебя на погрузке приключились?

Жена капитана. Эрвин, погляди на чаек! Ты таких красивых птиц не видел?словно белые голуби.

Капитан *(отсутствующе)*. Да-да, голуби, настоящие голуби *(тихо)*, пока башку не обделают. *(Штурману.)* Ну что еще случилось?

Штурман *(хмуро)*. Одна в последнюю минуту сбежала.

Капитан. Кто сбежал?

Штурман. Женщина с двумя детьми. Как психическая дернула. Она с этим паромом не поедет, у нее дети! Пришлось опустить для нее аппарель: если загорелось, сматывайся!

Капитан (*побледнев*). И ушла?

Штурман. Ушла... Так и пустилась по пристани.

Капитан. Это... это... Знаешь, что это такое? (*Ветер доносит до них сильный запах паленого хлопка*.)
Слушай, да ты горюшь!

Штурман (*ощупывая карманы*). Я не горю.

Капитан (*штурвальному*). На вас что-то горит — проверьте. Не в кармане ли... Курить за рулем — сколько раз я говорил!

Штурвалный (*нервно обшаривая себя*). Товарищ капитан, я нигде не горю. Я некурящий.

Штурман (*мрачно*). Вьетнам горит. Индонезия горит. Полмира в огне. Не хватало, чтобы мы загорелись.

И как внезапный порыв ветра взбаламучивает зеркальную гладь, так беспокойство охватывает вдруг палубу. Люди подозрительно всматриваются друг в друга, вертят головой: их настиг медленно растекающийся над палубой запах паленого хлопка. Но на мостике воздух еще чистый. Каким-то шестым чувством капитан угадывает недобрую причину возникшего на палубе беспокойства и надвигающуюся опасность. Мальчик снова стучится в дверь, открывает ее и заглядывает в рубку.

Мальчик. Товарищ капитан...

На палубе становится все тревожнее, люди поглядывают на грузовик с хлопком, над которым, серовато мерцая, расплывается жуткий дымок. И внезапно праздничное море, красивое и переливчатое, начинает казаться людям враждебным, паром становится клеткой, люди понимают, что отсюда не убежишь, что они в плену у синей воды и стального корпуса, и это чувство делает их другими.

Инвалид. Тийу, Тийу, сюда!

Ребенок, чувствуя инстинктом, что всего в несколько мгновений мир вокруг стал злым и угрюмым, возвращается в коляску и крепко прижимается к взрослому.

Парикмахерша спешит к своему доценту.

Тийу. Дядя, мне страшно.

Инвалид. Не бойся. Чего ты боишься?

Тийу. Не знаю.

Мальчик (*стоит у двери рулевой рубки*), Товарищ капитан, мы...

Но капитаном уже целиком овладела тревога, ворвавшаяся с палубы в рубку.

Капитан (*угрюмо*). Сегодня нельзя. Нет возможности! Извините,

Мальчик исчезает. Капитан бросает взгляд на боковые стекла рубки, за которыми виден плотный строй голов — и в профиль, и в три четверти, и в затылок. Все с недоумением смотрят на нижнюю палубу, пока что еще не догадываясь, по какой причине там так взволнованы. Капитан поворачивается к штурману, теперь у него совсем иной голос: металлический и в то же время шипящий.

Капитан. Пойди загни их вниз, в пассажирские салоны. Не мостик, а прямо базар: все сюда лезут! Читать не умеют: запрещено же!

Штурман скрывается. В рубку доносится его пронзительный голос, имитирующий голос капитана.

Голос штурмана. Все вниз! Нет, не на палубу, а в салон! Что? Капитан разрешил? Ничего он не разрешал — вы мне не пойте! Живо!.. Мое лицо оставьте в покое... Скорее, скорее! Закройте дверь с той стороны. В пассажирский салон, я сказал, в пассажирский салон!

Шаги, шаги, шаги. Грузная поступь мужчин, стук женских каблучков. Через несколько минут верхняя палуба становится пустой. В рубке недоброе, зловещее безмолвие.

Жена капитана. Что случилось, Эрвин, что случилось?

Капитан. Не знаю. *(Приказывающе.)* Ступай в каюту!

Жена капитана. Я...

Капитан *(тоном, не допускающим возражений)*. Я сказал, ступай в каюту. Уходи с мостика!

Глядя на мужа с оторопью и недоумением, она уходит. По стальным листам палубы гремят торопливые шаги. В дверях рубки появляется матрос с красной повязкой дежурного на рукаве. Он замирает, вытянув руки по швам, все его молодое лицо напряжено, и, несмотря на все его старания, губы вот-вот задрожат.

Матрос. Товарищ капитан, мы горим!

Капитан *(побелев и произвольно встав по стойке «смирно»)*. Что вы сказали?

Матрос. Мы горим! Прямо внизу горит большой грузовик с хлопком!

Капитан. Где?

Матрос. В центре, под мостиком. Под нами.

Капитан *(со стоном)*. Бензин...

Капитан цепенеет. Он видит, что бурление на палубе стало уже паническим, и кусает кулак.

Внезапно все на мостике затуманивается: это в открытые иллюминаторы занесло облако густого удушливого дыма. Штурвальный закашлялся, капитан закрыл руками глаза и даже потерял на миг хладнокровие.

На мостик врывается штурман.

Штурман. Старик, внизу горит машина!

Капитан (*в ярости*). Внизу горит машина! (*Хватает висящую на машинном телеграфе переговорную трубку и кричит.*) Пожарная тревога! Какая там игра? Пожарная тревога! Пожар! Дайте воду, немедленно воду! Сейчас же, дьявол! Грузовик загорелся. (*Штурману.*) Пока мы все не взлетели, пойди утопись в бензине! (*Матросу.*) Поднимите все стекла. (*Штурману.*) Пожарная тревога! Немедленно. Всех наверх.

Штурман дает сигнал пожарной тревоги. Сигнал ревет из репродукторов всех кают, и салонов, и камбуза, действуя на людей, как удар тока. Жена капитана слышит этот непонятный для нее звук и зажимает уши. Сирена проникает в каюту штурмана, где любовники из грузовика заняли хозяйскую постель, и девушка отрывает от подушки свою взлохмаченную голову. Парень не шевельнулся, но в его глазах вспыхнул страх.

Девушка. А вдруг это из-за нас? Уж как-то мы слишком нахально...

Парень. Как из-за нас? А что мы сделали? Поехали зайцем? Так объявлять из-за этого тревогу? Ну попадемся, так возьмут за шкирку, и все.

Из коридора доносятся в каюту топот бегущей команды и обрывки взволнованных, растерянных фраз:

— Где-то горит!

— Можем взорваться!

— Да это старик нарочно устроил, для учения!

Девушка (*вскрикнув*). Мы ехали в кузове с хлопком. Мы курили в грузовике с хлопком! Мы подожгли паром! Нас расстреляют!

Парень продолжает лежать неподвижно, но лицо его становится таким же белым, как наволочка. Затем он вскакивает с постели и начинает с лихорадочной поспешностью одеваться. Девушка ищет у себя в ногах сорочку. Парень, у которого так дрожат руки, что он приводит в негодность молнию на джинсах и с трудом застегивает пуговицы, начинает кричать на свою милую, как на законную да еще и надоевшую жену.

Парень. Поживее одевайся! Если тебя здесь найдут раздетой...

Девушка (*хныча*). Я одеваюсь. Сорочка пропала. И куда ты бросил платье?

Парень. Прикройся чем-нибудь. Живо! Где сигареты?

Девушка (*торопливо одеваясь*). В сумочке, ты положил их в сумочку, когда удостоверение делал.

Парень хватает сумочку, выгребает из нее сигареты и вместе со спичками резко выбрасывает их в полукрытый иллюминатор.

Парень. Сигарет и спичек у нас нет. И запомни: не было. Ни сигарет, ни спичек у нас не было!

Проходит секунда, вторая, пятая, десятая. В коридоре тихо. Звуки с палубы сюда не доходят. Парень, стоящий сейчас у стола, успел успокоиться. Глаза его рыщут по столу в поисках еды и находят кусок хлеба. Как одевшаяся девушка остается, несмотря на всю реальность опасности, женщиной и прихорашивается перед зеркалом.

Тишина в коридоре и монотонный гул двигателей как бы отгородили ее от всего, что происходит и может произойти за пределами каюты. Она бросает взгляд на парня, голова которого на светлом фоне иллюминатора напоминает сейчас медальон с изображением Тарзана, и глаза ее сужаются, а накрашенные губы трогает чувственная призывная улыбка.

Парень. Я же сказал — пожарная тревога. На кораблях любят этот цирк.

Девушка. Ага...

Парень. Зачем ты губы нарисовала?

Девушка. Я думала... Хочешь, сотру:

Паром с мостика. Над людьми и машинами плавают серые и прозрачные волны горького дыма, проникающего и на мостик. Все свободные члены команды на палубе, каждый занял свое место у одного из шлангов.

По обе стороны аппарата плотно сбились пассажиры, все проталкиваются к самому носу, чтобы находиться хоть на несколько сантиметров подальше от дымящегося грузовика. Люди не кричат и не разговаривают, только протискиваются, протискиваются, протискиваются и чего-то ждут. Временами дым сгущается, и палуба становится похожа на какую-то пасмурную юдоль скорби. Водители пробиваются к своим машинам.

Вдруг вялые расплющенные шланги оживают, начинают извиваться, как змеи, становятся тугими и круглыми: заработало давление в шесть атмосфер.

Поверх машины хлещет пенная белая вода.

Капитан (*кусая губы, матросу*). Вызови радиста! Матрос убегает.

Штурман. Что ты задумал, старик, что ты хочешь делать?

Капитан. Вызову второй паром.

Приходит радист.

Маркони, немедленно вызывай второй паром. Мы горим. Пусть возьмет пассажиров.

Радист. Есть, капитан. (*Уходит.*)

На мостик врывается боцман, глаза у него налились кровью, он весь мокрый.

Боцман (*с скороговоркой*). К этой заразе не подберешься! Так по-дурацки загнали машину — ни с какого боку не подступишься. А чертов хлопок горит всюю. И впереди, в самом дальнем конце от кормы, автоцистерны! Они хоть пустые?

Капитан (*с усилием*). Нет, обе полны бензина. Обе.

Боцман (*с скороговоркой*). Что за гад пустил их на паром! Мы же взорвемся! Мы же вот-вот взорвемся! Набить пассажирский паром автоцистернами! Сроду еще не плавал на таких свинарниках! Кто их погрузил? У меня трое детей.

Капитан (*резко*). Не ори. (*Штурману.*) Марш вниз! Четыре шланга на эту горящую телегу и два — на ее бензобак, для охлаждения, и пока не...

Боцман. ...пока мы не взорвемся!

Штурман. Можно исполнять, капитан?

Капитан. Нет, погоди. Пассажиров загоните в салоны и вниз. Сколько поместится. На корму их сейчас не перегонишь. Стой! Если попадет морда поотчаянней, оставь на палубе, пригодится!

Штурман уходит.

Радист (*появляясь в двери*). Второй паром выходит. Радиogramму в Таллин дать?

Капитан (*строго*). Нет! Там и без того узнают раньше времени.

Матрос (*врываясь без стука*). Капитан, к машине не подберешься!

Капитан. Сдерите брезент, откройте борта. Выкиньте хлопок в море!

М а т р о с. Невозможно. Впереди машины!

Б о ц м а н. Нельзя. Разворошим огонь. Бензин! Если мы не решимся сразу, то...

К а п и т а н. То... да... Нет, иного пути нет, иного нет. (*Хватает рупор.*) Первый апарель — к спуску. Первый апарель — немедленно к спуску!

Б о ц м а н. Что ты делаешь?

К а п и т а н. Сброшу машины. «Волгу», коляску, «Виллис», «Москвич», потом обе цистерны и, наконец, грузовик с хлопком. Больше ничего не остается!

Б о ц м а н. Больше ничего не остается, капитан.

Апарель опускается. И поскольку в этом дымном чаду на мостике обмен репликами, команды капитана, все действия, все движения фантастически стремительны, спуск апареля кажется мучительно медленным. Апарель опускается. И перед паромом дециметр за дециметром открывается кусок синего моря. От дыма и потоков воды, хлещущих поверх машин, синева эта стала густой и темной. На мостике уже тяжело дышать.

Пассажиры на носу сбились еще плотнее. Те, кто стоит близко к горячей машине, стараются протиснуться вперед, а те, перед которыми разверзается огромная пасть апареля, видят впереди только гибель и, хватаясь за соседей или за поручни, жмутся назад. Обе группы и на правом и на левом борту уже начали утрачивать чувство коллективизма, эгоизм страха постепенно берет верх, самоконтроль слабеет. Глаза у кого расширены, у кого зажмурены, рты плотно стиснуты или полуоткрыты. Вся эта борьба за пространство в двух противоположных направлениях протекает безмолвно, бессловесно, без всякой брани. Страх эстонца безголос, таким он остается и сейчас, когда треном овладевает ее величество Паника.

Капитан с боцманом стоят плечом к плечу — молодой капитан и выдавший виды боцман. Сейчас они ровесники. Блеск капитанского мундира кажется неуместным на мостике, где клубится удушливый дым и где глаза у штурвального так слезятся, что он видит компас как бы сквозь туман.

Апарель опущен, море ждет. В дымном поле зрения капитана и боцмана — ставшее устрашающе близким после спуска апареля море, машины, которые капитану предстоит сбросить за борт, и люди.

И капитаном овладевает вдруг последнее сомнение.

Капитан (боцману). Не запросить ли Таллин?

Боцман. О чем?

Капитан. Ведь не меньше шести, нет, семи машин сбрасываем.

Боцман (яростно и в то же время по-отечески). Если боишься давать команду, скажи, я отдам. А Таллин Москву запросит. Москва подумает и ответит: решайте сами. Уж лучше я несогласованно останусь в живых, чем согласованно сгорию. Давай команду или проваливай с мостика!

Капитан берет рупор и медленно-медленно поднимает его. Но где-то на уровне плеча рука его обретает решительность, на лице проступает каждый мускул, и раздается громкий механический голос команды.

Капитан. Слушать меня! Никакой опасности нет. Огонь ликвидируется. На носу — соблюдать спокойствие. Осторожнее: вы же столкнете людей в море! (Пауза.) Слушать мою команду: «Волгу», «Москвич» и «Виллис» снять со скорости и ручного тормоза! Открыть дверцы! Инвалида попрошу выйти из коляски! Водителям цистерн и грузовика с хлопком — подойти к своим машинам. Все названные машины будут сброшены в море. В случае противодействия стреляю без предупреждения. Сохранять спокойствие! (Боцману). Может, я чего не так сказал или пропустил?

Боцман. Скомандуй — «тихий вперед». «Стреляю без предупреждения» — это было к месту. (Кладет руку ему на плечо.) Что поделаешь? Уж если идти под суд, так лучше, чтобы нас не обвиняли и мертвые!

Капитан. Где бензобак у грузовика с хлопком?

Боцман. Впереди снизу. За кабиной.

Капитан. Нельзя ли оторвать его и выбросить в море?

Боцман. Нельзя. Машина прижата к самой переборке — не подберешься.

На мостике полно дыма, два человека, кажущиеся совсем серыми, стоят плечом к плечу и смотрят на палубу, где колышутся темные и плотные волны едкого дыма.

Боцман. Жарковато тут становится. Не перейти ли к аварийному штурвалу?

Капитан. Оттуда ничего не видно.

Боцман. Если автоцистерна взорвется, мостик взлетит.

Капитан. Оттуда ничего не видно. *(Штурвальному.)* Выдержите вы тут наверху или отправить вас вниз, к аварийному штурвалу?

Матрос. Если вы выдержите, то и мне положено.

Боцман *(кидает через плечо, уходя)*. Значит, машины — за борт!

Капитан. За борт.

Боцман уходит. На мостике остаются капитан и штурвальный. Паром идет вперед самым малым ходом, и море за бортом движется все медленнее и медленнее: глубокое, сверкающее, враждебное.

Кормовая часть палубы. С того момента как матрос сообщил капитану: «Товарищ капитан, мы горим!» — события тут пошли своим ходом. На корме, где собрался народ из промкооперации, четыре велосипедистки, два сельделова и два военных летчика, вид наполненного дымом туннеля и обжигающее людей слово «огонь» произвели сначала такое же впечатление, как и на носовой палубе: многие бросились к корме, прижались спиной к апарелю и не спускают глаз с палубы, откуда грозит удар. Но здесь, в отличие от носа, отсутствие порядка не сменяется мгновенно беспорядком, здесь воцаряется на миг как бы ничье время, тот временной вакуум, из которого есть лишь два выхода: к отчаянию или к дисциплине. Да, здесь возникает такой вакуум, и он не приводит к отчаянию.

На левом борту порядок сохраняется благодаря двум летчикам, которые остаются стоять там, где стояли, и каждый, кто протискивается мимо них, незаметно для себя прихватывает от обоих частицу смелости. Даже после того как все уже пробираются на корму и видят оттуда лишь молодые шеи летчиков и аккуратно подстриженные затылки, два этих человека в форме, оставшиеся на своем месте, продолжают действовать на всех успокаивающе. А деловитый сухой тон их разговора создает видимость сохраняемого порядка.

Темноволосый летчик. Хлопок?

Капитан В В С. Огнетушители! Машина в самом дурацком месте.

Темноволосый летчик *(срывает с грузовика, водитель которого куда-то исчез, огнетушитель и, пробиваясь между машинами, кричит)*. А ты, Алеша, отведи женщин в пассажирский салон на правом борту. Если что-нибудь взорвется, то и весь левый борт взлетит,

Темноволосый исчезает.

Капитан ВВС. Гражданки женщины. Прошу вас наверх, в пассажирский салон. Понимаете — в пассажирский салон. Не понимаете... Вот ведь история!

Капитан ВВС берет двух женщин под руку и подводит их, испуганных и упирающихся, к двери пассажирского салона на правом борту. Вторая пара дается ему легче — женщины идут за ним покорно, прикрывая платками рты и носы. И когда в туннеле начинают бить крест-накрест потоки вспененной воды из шлангов, люди успокаиваются, им кажется, что опасность немного отступила.

Темноволосый летчик, весь мокрый, покрытый копотью, возвращается назад с пустым огнетушителем.

Темноволосый летчик. Огонь ушел вглубь, и с этой пустяковщиной (*показывает на огнетушитель*) ничего не сделаешь. А впереди автоцистерны как раз напротив.

Капитан ВВС. Не хотел бы я оказаться в шкуре капитана.

Темноволосый летчик. Не хотел бы я вообще тут оказаться!

Они продолжают спокойно стоять, за спиной у них остались только картежники из туристского автобуса.

На правом же борту ядром сохраняемого спокойствия оказались два сельделова и четыре филологички. Как только туннель стал серым от дыма, сельделовы спрятали девушек у себя за спиной: сейчас они стоят перед ними лицом к парому в виде символического заслона. И девушки не присоединились к протискивающимся на корму пассажирам, они стоят за спинами бородачей и смотрят на сгущающийся дым, на неистовое хлестание белой воды.

Реет. Что там такое, молодые люди?

Первый сельделов. Какая-то телега загорелась. Хлопок — паршивая штука, хуже не бывает...

Маль. Боже мой, как интересно!

Реет. Прелесть! Неужели мы горим?

Второй сельделов (*со всей серьезностью*). Веселиться не с чего. Впереди — автоцистерны!

Все это происходит одновременно с уже описанными действиями летчиков!

Первый сельделов. В общем и целом — проваливайте! Ступайте наверх, в пассажирский салон.

Нет, лучше вниз, там надежнее. И прихватите с собой всех женщин и детей.

М а л ь. Никуда мы не пойдём. Мы не боимся.

В т о р о й с е л ь д е л о в. Осел тоже не боялся. Горит же! И бензин рядом. Неужели не видите, какая тут полундра...

М а л ь (д е в у ш к а м). Уведем женщин!

В один миг они протискиваются в толпу, прижавшуюся к аппарелю, и собирают вокруг себя всех женщин, кого беря за руку, кого подталкивая, все время успокаивая их и приговаривая: «Женщины, давайте уйдем! Мы тут мешаем! Пойдем вниз, там нет дыма!» И, шагая впереди, как гренадеры, уводят всех, обращаясь с теми, кто мог бы им быть матерями, словно с детьми. Женщины послушно и безропотно следуют за четырьмя девушками, которые знают, что им делать. Девушки встают на страже по обе стороны двери и, если какая-нибудь женщина медлит или начинает сомневаться, без лишних церемоний вталкивают ее в салон. К тому моменту, когда штурман сбегает вниз, на корме устанавливается какое-то подобие порядка. Загнав в салон последнюю женщину, девушки возвращаются на свое место за спинами сельделовов. Их самым сильным чувством по-прежнему остается любопытство: все происходящее на пароме еще не дошло до их сознания.

Из той самой двери, в которую они загнали женщин, выходит штурман. Это уже не тот человек, который зубоскалил с девушками и командовал, это вконец отчаявшееся существо, с трудом сохраняющее самообладание и отдающее приказы просительным тоном.

Ш т у р м а н (с е л ь д е л о в а м). Ребята, нам нужна помощь. Капитан просит.

П е р в ы й с е л ь д е л о в. Раз капитан приказывает, будет сделано.

Ш т у р м а н. С носа надо половину машин спихнуть в море.

В т о р о й с е л ь д е л о в. Да-а?

П о д х о д я т л е т ч и к и. Штурман обращается к ним на ломаном русском языке.

Ш т у р м а н. Товарищи летчики, прошу помощи!

Т е м н о в о л о с ы й л е т ч и к. Чего просить? Приказывайте!

Ш т у р м а н. Пройдите на нос. Помогите столкнуть машины в море.

К а п и т а н В В С. Ясно. Еще что?

Штурман. Все. *(Указывая на правую дверь.)* Пройдете низом. Не выпускайте пассажиров на палубу — на носу и без того полно народу.

Сельделовы и летчики уходят.

Штурман, одинокий и несчастный, на несколько секунд оцепенел. За спиной у него шипят потоки воды, поднимается вверх густой дым. Но вот штурману удается встряхнуться, его вяло обвисшие руки сжимаются, разукрашенное лицо обретает осмысленное выражение. На корме остались только восемь человек: четыре картежника из туристского автобуса и четыре девушки.

Штурман *(картежникам)*. Мужчины, на нос! Помогите столкнуть в море машины.

Заведующий мельницей. Чего? Столкнуть в море? С ума сошли!

Худой. Я толкать не могу, у меня грыжа!

Двое других. А где пробраться? Мы идем!

Штурман *(указывая на правую дверь)*. Сюда. Скорее. *(Заведующему мельницей, смотрящему вслед двум партнерам)*. И вы тоже! Не человек — гора, а там силенка нужна.

Заведующий мельницей. Сколько платите?

Штурман. Иди к черту! Взлетишь на воздух, вот тебе и плата!

Заведующий, испуганно поглядывая на штурмана, скрывается за правой дверью.

Штурман. И чтобы вы тоже исчезли! Очистить палубу!

Худой с радостным вздохом скрывается.

Девушки стоят молча. Наконец-то они поняли, что могут взорваться. Шипучая смесь белой водяной пены с дымом и влажный удушливый запах перестали быть экзотикой. Все четыре помрачнели и ждут распоряжений штурмана.

Штурман. Вы.. Убирайтесь отсюда. Тут и без вас тошно.

Маль. Капитан, мы пойдем поможем!

Рет. Поможем толкать.

Маль *(по-борцовски согнув руки и подставляя штурману под нос свои бицепсы)*. Попробуйте! Силенка у нас есть!

Штурман. Помощь нужна. Что ж, помогите! За мной, шагом-арш!

Все пятеро во главе со штурманом скрываются за правой дверью.

Корма совсем пуста. Чайки не следуют за дымящимся паромом. Килевой воды почти не видно — паром идет вперед самым малым. Море, сплошь усеянное солнечными бликами, сверкает красиво, насмешливо, враждебно. Наступил такой час, когда в роли единственного трагического героя оказался паром, как существо мужского пола, когда идти на риск и принимать решения остается только мужчинам и когда единственными злодеями драмы стали огонь и беспощадное море.

Панорама с воздуха.

По проливу, зажатому между берегами, идут два парома: между ними — полмили. Первый из них, чей спущенный аппарат выступает вперед, как тупой клюв, кажется неподвижным. Он не вздымает носом волн, не оставляет сзади килевой воды. На его носу двумя гроздьями застыли люди, тускло поблескивают крыши автомобильных кабин, а на корме — ни души, одни машины. Стекла командного мостика не сверкают на солнце. Сверху кажется, что вся верхняя палуба, командный мостик и спасательные шлюпки окутаны серым туманом. Но если чуть опуститься и посмотреть на паром сбоку, то будет видно, что из-под мостика с обоих концов поднимается дым.

Палуба второго парома пуста, лишь на носу стоит группа людей. Он идет полным ходом. Расстояние между паромами непрерывно сокращается.

А теперь — носовая палуба. Вернемся назад, ко времени, предшествовавшему кульминационной команде капитана.

Капитан. Слушать меня! Никакой опасности нет. Огонь ликвидируется. На носу сохранять спокойствие. Не толпитесь, вы же спихнете людей в море.

И молчаливо толкавшиеся люди, снова став коллективом, как по команде, обращают свои лица к мостику. Толпа уже не толкается, она ждет. На левом борту, где стоят четверо из «Москвича» — водитель со своей девушкой, их друг и парень с комсомольским значком, — в поведении и в чувствах произошла перемена. Если до сих пор двое первых не очень старались скрывать свой страх: ведь смелость — стадное чувство, а их страх — это страх индивидуальности, то после первых же слов

команды они вновь напялили на себя маски отважного безразличия.

Водитель «Москвича». Так чего орать, если нет опасности!

Девушка. Только-только началось интересное, и все! Вот тоска!

Но парень с комсомольским значком, сохранявший спокойствие, и его сосед по машине слушают капитана с волнением. Инвалид смотрит через плечо на мостик и тоже напряженно слушает, прижав к себе ребенка. Председатель колхоза, стоявший возле своего «Виллиса», повернулся на звук рупора. Доцент и парикмахерша, хоть и сидят рядом, далеки друг от друга. После первой же фразы капитана оба вздрагивают — команда обрушивается на них из окна машины, как удар кулака.

Голос капитана. Слушать мою команду! «Волга»!

Парикмахерша. Чего они хотят?

Доцент. Тихо! Слушай!

Капитан. «Москвич»!

Девушка. Опять нас! Кошмар!

Водитель «Москвича». Выньте бутылки.

Капитан. «Виллис»!

Председатель колхоза. Все-таки...

Капитан. Снять машины со скорости и ручного тормоза! Дверцы оставить открытыми.

Парикмахерша. Господи, что же это такое?

Доцент. Машину скинут в море.

Парикмахерша. Нет! Они не имеют права!

Капитан. Инвалид, попрошу покинуть коляску! Водителям цистерн и грузовика с хлопком — вернуться к своим машинам. Все названные машины будут сброшены в море. В случае противодействия стреляю без предупреждения. Сохранять спокойствие!

При последних словах капитана парикмахерша начинает действовать. Нагнувшись над коленями доцента, она открывает левую дверцу. Потом грубым сильным толчком пытается выпихнуть доцента из машины. Тот смотрит на нее непонимающе.

Парикмахерша. Выходи!

Доцент. Брось!

Парикмахерша. Выходи, идиот!

Выдергивает ключи из замка зажигания.

Доцент. Все равно же машину столкнут за борт.

П а р и к м а х е р ш а . Не столкнут! Нашу машину не столкнут!

И она попросту выпихивает его из машины, так что он шлепается задом на палубу. Она захлопывает и запирает изнутри дверцу. Ее движения точны и стремительны, ее действия при всей их бессознательности выглядят тщательно продуманными.

Доцент встает и пытается открыть дверцу, но кнопка на ней уже опущена. У левой задней дверцы — тоже. Парикмахерша еще туже затягивает ручной тормоз, проверяет, включена ли скорость, запирает заднюю правую дверцу, а потом, торопливо взглянув на заднее сиденье, хватает с него коробку со шляпкой, выбирается справа из машины в сторону инвалидной коляски и запирает снаружи дверцу. Рука ее дрожит, ключ не сразу попадает в замок, лицо у парикмахерши каменное и злое. Она бежит к багажнику, убеждается в том, что он заперт, и, зажав ключи в руке, подходит к несчастному, ошарашенному доценту.

Д о ц е н т . Дай ключи.

П а р и к м а х е р ш а . Не дам! Не будет машины, так и тебя не надо!

Они стоят совсем близко. За спиной доцента зияет синяя бездна. Доцент что есть силы стискивает руку жены, но парикмахерша гибким кошачьим движением высвобождает руку и с размаху кидает ключи в море.

П а р и к м а х е р ш а . Доставай, если хочешь!

В это время инвалид открывает у себя правую дверцу и нежно высаживает ребенка.

И н в а л и д . Надо выйти, Тийу! Выбросят нашу тележку!

Т и й у . В море, на самое дно?

И н в а л и д . Да, на дно. Выходи!

Тийу выходит и пробирается в толпу. Инвалид отпускает ручной тормоз, выключает скорость и, найдя ощупью костыли, выбирается и останавливается рядом с коляской. Левая нога отнята у него почти до бедра, и сейчас, на костылях, он выглядит несчастным и беспомощным человеком, для которого потеря коляски — истинная трагедия. Посмотрев на нее с лаской, он вынимает из замка ключи, потом замечает на стекле пыль и начинает стирать ее носовым платком.

Г о л о с к а п и т а н а (хрипло). Товарищ инвалид, прошу вас перейти на правый борт!

Инвалид непонимающе смотрит на платок в своей

руке, поднимает глаза в сторону голоса и прячет платок в карман. Он выходит из-за коляски и, выбрасывая костыли вперед, добирается до толпы, где к нему сразу притикает Тийу. Он все еще смотрит на коляску, как хороший крестьянин смотрит на хорошую лошадь, которую приходится отдавать в чужие руки, и глаза его влажнеют.

Он отдает ключи Тийу.

Тийу. Зачем ты отдаешь их мне, дядя?

Индальд. Это тебе игрушка. Играй, пока не получишь новую коляску.

Водитель «Москвича». Пропавшие запчасти спишем на рыб. (*Девушке.*) Достань бутылки и всю остальную музыку.

Девушка приносит и кладет у поручней чемодан, бутылки, портфель и два летних пальто.

Кидать государственную машину в море? Ты! Где же твоя логика?

Парень с комсомольским значком (*засучивая рукава*). Придется сделать и эту работу.

Водитель «Москвича» (*с иронией*). Ну нет. Мне сознательность не позволяет.

Парень с комсомольским значком. Наконец-то, а главное — вовремя.

Парень с комсомольским значком подходит к боцману, который с извивающимся шлангом в руках пробирается между машинами. При его возрасте и сложении это не так-то просто. Парень берет его за руку и забирает шланг.

Парень с комсомольским значком. Дай мне. Куда?

Боцман. Вон туда. Попробуй охладить бензобак — может, сумеешь подобраться. Придется ползком.

Парень с комсомольским значком. Ползком так ползком. Подтягивай шланг сзади.

Боцман подтягивает шланг, чтобы парню, перелезающему через капот горячей машины, было легче его тянуть. Парень втискивается в узкое пространство между автоцистерной и грузовиком с хлопком. Но отсюда к бензобаку не подобраться. Парень пытается лечь на палубу, и после нескольких попыток это ему удается. Он лежит в грязной пене, слоем сантиметров в десять, и не видит ничего, кроме этой пузырчатой бурлящей поверхности, большого автомобильного колеса и серо-зеленого жестяного бензобака, по которому с силой ударяет поток воды.

Боцман. Ну как?

Парень с комсомольским значком.
С девчонками лучше. Подтяни шланг!

Боцман подтягивает шланг.

Голос парня. Теперь хорошо. Мотай отсюда.

Председатель колхоза и водитель открывают обе дверцы «Виллиса», молча переносят из него на узкое незанятое пространство у поручней зубья культиватора, выкатывают две большие покрышки от грузовика, достают всевозможные запчасти.

Парикмахерша и доцент стоят друг против друга. Доцент внезапно постарел, он задыхается, на его мягком лице непонимание, чуть ли не гнев.

Парикмахерша (*шипя*). Если ты позволишь это сделать, тогда узнаешь!

Толпа на носу поредела. Людей отпугивает спущенный апарель, эта дыра в стальном кольце вокруг паромы, и вода, ставшая такой близкой. Люди протискиваются между поручнями и цистернами. шель так узка, что их спины выгибаются над морем. Сперва палубу покидают более смелые и трезвые, затем и все остальные. На миг в дверях салона возникает давка — навстречу тоже идут люди: сначала двое летчиков, за ними сельделовы и четыре филологички, потом трое из промкооперации. Они довольно бесцеремонно прокладывают себе дорогу в смирной, напуганной толпе и подходят к машинам, которые предстоит столкнуть. Водитель «Москвича» и его девушка занимают нейтральную позицию у поручней. Водитель «Москвича» показывает всем видом, что и он мог бы, но не хочет и что нести благородное бремя непричастности совсем не легко. Парикмахерша и доцент прислонились к запертой «Волге». Инвалид с Тийу стоят у поручней. К «спасательной команде» присоединяются председатель колхоза со своим водителем, два других шофера и молчаливый парень из «Москвича».

С лицом мрачнее тучи появляется штурман, скрывающий от всех свое беспросветное, как перед атакой, одиночество. Он видит не людей, а лишь машины, машины и машины, определяет взглядом их вес и расстояние стних до края апареля. Проходя мимо девушек, он довольно неделикатно отпихивает Реет в сторону. Подходит к «Волге» и смотрит на прислонившуюся к дверце парикмахершу, как на неодушевленный предмет.

Штурман. Посторонись-ка! Ну!

Парикмахерша на миг опешила от такой бесцеремонности и сделала шаг в сторону. Но на большую уступку она не пойдет.

Штурман дергает сначала одну дверцу, потом другую и, заглянув в машину, видит, что ручной тормоз затянут до отказа и скорость включена.

Штурман. Это что за свинство! Где хозяин? Мигом —ключи!

Доцент. Хозяин, извините, я.

Штурман. Извините?! Ключи!!!

Парикмахерша. Это моя машина. Ее вы в море не столкнете. Мой муж — профессор.

Штурман, пытаясь открыть дверцу, весь багровеет от натуги.

Голос капитана. Штурман, давай! Чего тянешь?

Штурман рупором прикладывает руки ко рту и кричит во всю силу легких:

— Машина заперта и на скорости. Какая-то шлюха выкинула ключи в море.

Парикмахерша. Знаете ли, за оскорбительные слова по адресу советской женщины... (Доценту.) Если ты немедленно не дашь ему по соплям...

Голос капитана. Выбейте окна. И скиньте машину в море!

Боцман, который держит шланг, чтобы лежащему на грязной палубе мокрому и почти ослепшему от дыма парню было легче подтягивать брандспойт, следит за происходящим суженными глазами. Руки его продолжают держать шланг, но сам он рвется к «Волге».

Боцман (парню). Как там у тебя?

Голос парня. Пар так и валит. Почти не вижу.

Боцман. Продержишься немного без меня?

Голос парня. Только чтобы шланг не был натянут.

Боцман укрепляет шланг так, чтобы его передняя часть лежала расслабленной, и кидается к штурману.

Боцман (штурману, тихо). Спокойно! Криком тут не поможешь.

Среди добра, вытащенного на палубу председателем колхоза, Маль обнаруживает ломик. Она молниеносно хватает его и протягивает сельделову.

Маль. Выбей окно! И выключи скорость!

Сельделов подходит с ломиком к левой дверце «Волги». Раньше, чем парикмахерша успевает вмешаться, окно разлетается, сельделов открывает изнутри дверцу, выключает скорость и отпускает ручной тормоз. Боцман выбивает ногой чурбаки из-под колес машины.

Г о л о с к а п и т а н а. Готово наконец?

Б о ц м а н. Взялись!

Летчики, девушки, сельделовы начинают толкать машину — чувствуется, что у них особая неприязнь к этой ухоженной, вылизанной «Волге». Машина идет легко.

Парикмахерша плюет на палубу, чуть ли не на ноги доценту, став от внезапной ярости вконец вульгарной. Доцент, как бы парализованный непрерывной серией ударов, видит, что лицо его возлюбленной вдруг расплылось, что ее стройное крепкое тело стало бесформенным и раскоряченным, что его красавица превратилась в торговку кильками. Секунды две держится в его глазах этот образ. За это время «Волгу» успевают подкатить к аппарелю.

Тут парикмахерша окончательно теряет свой облик. Лицо ее становится именно таким, каким представлялось миг назад духовному оку доцента, бешенство ее совершенно животное. Она подскакивает к штурману и с воплем: «Я тебе и второй глаз выбью!» — срывает с него фуражку, топчет ее ногами, после чего пытается вцепиться в него ногтями. Вмешавшийся боцман получает такой удар коленом под зад, что стучается головой об машину. Парикмахерша готова избить всех разом и по очереди, она разъярена, как верблюдица. Но внезапно злость ее находит истинный адрес. Не шадя своих ногтей, кулаков, бедер и ног, она продирается сквозь заслон из четырех девушек и пытается открыть багажник. Она отчаянно крутит никелированную ручку, одновременно колотя ногами по стройным и не приспособленным к драке девичьим ногам. И все время издает жуткие бессвязные вопли: «Чтоб вам никогда замуж не выйти! Господи! Белья на сто финских марок, четыре платья! А еще женщины! Женщины!»

М а л ь (*кривясь от боли*). Волк тебе женщина!

П а р и к м а х е р ш а. Мерзавки! Серной кислоты вам в рожу! Чучела! Женщины!

Передние колеса «Волги» уже на аппареле. Летчики, упиравшиеся в открытые передние дверцы машины, останавливаются. Машина уже катится, свободно скользит по наклонной плоскости аппареля. Только теперь

парикмахерша осознает всю безнадежность борьбы, понимает, что все пропало — и любовь и машина. Она подходит к инвалиду, который наблюдает за всем этим с умудренной печалью. При ее приближении Тийу сразу прячется за спину инвалида.

Тийу (*шепотом*). Дядечка, дорогой, не позволяй! Я не хочу!

И н в а л и д. Не позволю, не бойся.

П а р и к м а х е р ш а (*не отдышавшись*). Теперь ты видишь, видишь? И ради этого ты воевал, чтобы твои советские корабли горели, а твои советские люди швыряли машину в море?! Моему мужу надо работать пять лет, чтобы купить новую!

И н в а л и д. Чего скулить? Ведь стоимость машины выплатят!

П а р и к м а х е р ш а. Стоимость... выплатят?.. За чем же я тогда так?.. Почему ты не сказал?!

И н в а л и д. Отойти от нас. Тийу боится.

«Волга» скатывается вниз и падает в море мотором вперед.

Капитан на мостике сейчас так одинок, как бывают одиноки только капитаны на мостиках. У него в руке рупор. Он глядит на носовую палубу, все еще затянутую густым влажным дымом. Ему кажется, что «Волгу» сталкивают чудовищно медленно. Вся эта история началась по его приказу, отвечать придется ему, так уж скорей бы это кончилось. Когда боцман кричит ему с палубы: «Какая-то шлюха выкинула ключи в море», — ему кажется, что на корабле не один враг — огонь, а два — огонь и человеческая алчность, и его молодое лицо каменеет от злости. Вот почему с неожиданной для себя легкостью он отдает приказ: «Выбейте стекла!»

В эту минуту в рубку входит его жена — она прикрывает дверь так тихо, что ее замечает только штурманский. Жена капитана остается около двери. Она смотрит на мужа, она хочет быть рядом с ним, но его сгорбившаяся спина, его металлический, безжизненный голос удерживают ее в стороне. Она остро ощущает одиночество мужа и тяжесть его бремени. Наконец она набирается храбрости и неуверенным шагом подходит к нему.

Ж е н а к а п и т а н а. Я здесь.

К а п и т а н. Ладно. Теперь один черт.

Жена капитана. Но я всегда буду здесь, понял?

В этот миг «Волга» исчезает в море. Капитан проводит рукой по глазам.

Капитан. С первой кончено. (Жене.) Если можешь, оставайся. Это нелегко.

Капитан снова подносит рупор ко рту, на этот раз голос его звучит неуверенно, просительно: «Коляску — за борт!»

Жена капитана. Какие жуткие приказы придется тебе отдавать! Безногий человек...

Капитан (резко поворачиваясь к ней). Я же сказал: оставайся, если можешь. (В рупор.) Поживее. (Опять поворачивается к жене, чтобы не смотреть на носовую палубу.) В жизни моряка бывают два кошмара: пожар на борту и плохая жена на суше. Все остальное — обычная норма. Меня отдадут под суд.

Жена капитана. Я остаюсь, остаюсь... Я остаюсь.

Носовая палуба.

Голос капитана. Коляску — за борт!

Девушки пятаются от коляски. Свыше их сил толкать эту маленькую машину, им стыдно смотреть на человека, грузно опирающегося на костыли, и на Тийу, ухватившуюся за его пиджак и сжимающую в другой ручонке ключи.

Голос капитана. Поживее!

Летчики, боцман, штурман, двое из промкооперации и сельделовы становятся кольцом вокруг коляски и полностью заслоняют ее. Темноволосый летчик говорит что-то боцману, и тот кидает взгляд на правый борт, где примерно на фут от палубы возвышается металлическая платформа с кнехтами и лебедкой для поднятия аппарата. На этой платформе и стоят сейчас инвалид, Тийу и парикмахерша. Боцман меряет взглядом платформу. Пожалуй, коляска поместилась бы на ней, если поставить ее стоямя или боком.

Боцман. Эту блоху мы закинем туда. (Инвалиду.) Отойди-ка. Малость помнем твою тачку, зато не утонет.

С неожиданной, почти юношеской легкостью инвалид отходит шага на два. Тийу следует за ним, не выпуская полы его пиджака. Лишь парикмахерша с безучастностью разоренного дотла человека все смотрит на воду, над которой вьется дым.

Штурман. Эй вы! Посторонитесь! Мы поставим туда коляску!

Парикмахерша. А почему мою машину не поставили?

Бодман. Я сброшу тебя за борт, чтобы под ногами не путалась.

Доцент (*беспомощно*). Пожалуйста, повежливее, пожалуйста.

Парикмахерша. Бандиты! (*Отходит в сторону.*)

И мужчины поднимают коляску на платформу, словно игрушку, но, поскольку и в длину и в ширину платформа маловата, коляску ставят стоймя на нос. Инвалид подходит к ней и придерживает ее руками, чтобы она не покачнулась и не упала назад.

И вот подходят к «Москвичу». Инвалид берет за руку Тийу и говорит ей убеждающе и доверительно, словно взрослой:

— Видишь, Тийу, какие люди добрые. Они очень добрые.

Тийу. А мамы тоже люди?

Инвалид. Мамы тоже люди.

Тийу. Мамы не бывают добрые...

Туннель под мостиком полон густого влажного дыма. Придушенный огонь упорствует, и, несмотря на то, что грузовик с хлопком и цистерна рядом с ним находятся под перекрестной атакой шлангов, что вся палуба покрыта пеной толщиной сантиметров в двадцать, хлопок не перестает дымиться. Парень с комсомольским значком лежит на палубе. Он устроился так, чтобы удобней было наблюдать за бензобаком и поливать его. Он ничего не видит, кроме белесого луча струи и колес машины.

На мостике опять серо от дыма, как в Лондоне. Жена капитана зажала рот платком. Глаза ее слезятся, но, хотя ей очень хотелось бы уйти с мостика и оставить мужа одного, она все-таки не уходит.

Капитан (*штурвальному*). Выдержишь?

Штурвальн^{ый}. Выдержите вы, так и я выдержу. Уже гаснет или нет?

Капитан. Наверно, гаснет. (*В рупор.*) «Москвич» и «Виллис» — поживее! Освободите дорогу цистернам.

Мужчины сталкивают «Москвич» в море. Девушки хотели помочь, но не нашлось свободного места. Они стоят у поручней, серьезные, решительные, задумчивые

и в то же время возбужденные. Рядом с ними стоит водитель «Москвича» со своей подругой. Они следят за всем происходящим безучастно, и, когда над апарелем мелькают в последний раз протекторы задних колес, водитель «Москвича» издает вздох облегчения.

Водитель «Москвича». Конечно с этой рухлядью.

За борт сталкивают старый заслуженный «Виллис». Председатель колхоза идет рядом с ним и бормочет:

— Поосторожнее, ребята, поосторожнее. Надежная, честная машина...

Тем временем парень и девушка снова оккупировали кровать штурмана. Они мирно полеживают рядом — счастливые, свободные, охваченные ленью. Девушка чувствует себя повзрослевшей и более женственной. Не будь парень рядом с ней таким верзилой, с них можно было бы писать «Мадонну с младенцем». В каюте поразительно тихо. Девушка потягивается.

Девушка. Как это хорошо — жить, и все. Просто жить.

Парень (*откровенно*). Говори что хочешь, но любовь — штука мировая.

Девушка. Как верно ты говоришь, как красиво.

Парень. У меня сейчас в душе и в голове такая каша, что я могу говорить только чистую правду. Совсем, понимаешь, поглупел.

Девушка (*придвигаясь к парню*). Я тоже. Мы и говорить-то не хочется. Поцелуемся!

Носовая палуба, на которой после исчезновения четырех машин освободился большой кусок пространства, выглядит жутко. Зияет апарель, за которым виднеется море, ожидающее новой жертвы. Поскольку паром почти не движется, море вокруг кажется застывшим, еще более застывшим, чем сам паром. И хотя людей на носу много, над каждым нависло одиночество беды.

Если посмотреть на паром с апареля, то теперь, после того как машины перестали закрывать грузовик с хлопком, несчастье стало обнаженнее. Туннель под мостиком черно-серый от дыма, под машинами и вокруг них пузырится вспененная вода. К счастью, она не заливает носа, слегка задравшегося вверх после того, как машины сбросили в море,

Девушки-филологички стоят рядышком; у них за спинами водитель «Москвича» с подругой. Их молчаливый спутник присоединяется к летчикам, все остальные стоят вокруг штурмана. Ни у кого нет охоты подходить к цистерне, находящейся в такой близости от грузовика с хлопком и все время поливаемой из шлангов.

В кабину правой цистерны уже сел ее молодой водитель и завел мотор.

Голос капитана. Цистерна, трогайтесь своим ходом с места!

С чувством облегчения все как один переходят к безопасной цистерне на правой борту.

Голос капитана (*нетерпеливо*). Эта пусть подождет! Там ничего не горит. Возьмемся за другую — и поживее!

Все поворачиваются. Девушки, первыми подошедшие к правой цистерне и уже засучившие по-мужски рукава, оказываются теперь последними. Они не рвутся вперед. Как всем людям с трезвым рассудком, вторая цистерна, куда более опасная, чем горящий грузовик, им тоже внушает страх.

Капитан видит, что люди идут ко второй цистерне неохотно и словно бы крадучись, что расстояние между штурманом и остальными увеличивается, что боцман и тот замедлил шаг. Более того, ему понятен их страх, и в душе он как бы подталкивает их сзади и грудью и силой воли, и потому он говорит в рупор безучастно и подчеркнуто казенно:

— Товарищ штурман, поскорее отправьте эту цистерну ко всем чертям!

Штурман. Слушаюсь, товарищ капитан! (*Своей команде.*) Прошу вас, возьмемся! Девушки! Ну же!

Люди проходят к цистерне. Кабина пуста, водитель исчез.

Боцман. Водитель пропал!

Капитан. Пусть кто-нибудь заведет мотор!

Штурман. А ну-ка, красавицы, спихнем эту бомбу в море!

И еще недавно такие острые на язык девушки послушно идут за ним.

Вся эта «спасательная команда» — боцман, штурман, летчики, молчаливый парень из «Москвича», двое свободных водителей, девушки — полукругом обступают цистерну. Миг растерянности. Цистерна велика и тяжела, ее левый край так плотно прижат к борту, что к

нему не подступишься. Сзади тоже нет места, чтобы толкать. Там переборка и горящий грузовик.

Из-под цистерны вылезает парень с комсомольским значком. Он весь грязный и мокрый. Сейчас на палубе нет места страшнее того, где он лежал. Натянутый прыгающий шланг обдаёт стекла мостика шипящей струей, но парень тут же опускает его вниз.

Парень с комсомольским значком. Оттолкните ее! Она все загоразживает.

Водитель цистерны одиноко стоит на корме, курит и смотрит на воду. Ему страшно, ох как ему страшно и как он старается это скрыть от самого себя!

Боцман. Эта шваль смысла. Приволок на паром смерть, а сам исчез, пес паршивый. (*Оборачивается назад.*) Кто водит машину? Заведите ее и строньте с места. Руками ее не столкнешь.

Внезапно между двумя летчиками появляется доцент. Выглядит он нелепо и беспомощно, руки его дрожат, но голос звучит твердо.

Доцент. Я умею водить. У меня есть права. Мой долг...

Боцман. Долг долгом. Еще кого нет?

Доцент. Я учился... Я должен.

Девушка (*водителю «Москвича»*). Атс, ты же понимаешь в машинах. Выручи этих лопухов. Подумать только...

Водитель «Москвича» (*кусая губы, в сомнениях*). Этой марки я не знаю.

Внезапно цистерну и всех людей вокруг окутывает удушливый дым. Почти ослепнув от дыма, доцент пытается открыть дверцу кабины и сесть за руль.

Капитан ВВС, щурясь, наблюдает за интеллигентской беспомощностью доцента.

Капитан ВВС (*по-русски*). Позвольте, боцман, мне. (*Доценту.*) Извините, но, наверно, я лучше знаком с такими машинами. (*Влезает в кабину.*) Я строну с места. А потом будете толкать!

Боцман. Давай, Вася, давай!

Мотор сразу же начал реветь. Штурман, согнувшись в дыму; выбивает ногой чурбаки из-под задних колес. Цистерна чуть ли не скачком срывается с места и направляется прямо к аппарелю. Летчик глушит мотор, выпрыгивает из кабины, и все, кроме водителя «Москвича» с его подружкой, инвалида с Тийу и парикмахерши, изо всех сил толкают машину сзади. Длинная серая сигара

медленно движется вперед и вкатывается передними колесами на апарель.

Штурман. Еще разок! Поднажмем!

И, скребнув брюхом по круглому краю апареля, машина катится вниз. Над морем она взлетает на миг стоймя и бухается в воду.

Все это продолжается, начиная с того момента, как летчик садится в кабину, и кончая исчезновением машины, секунд сорок — сорок пять. В эти секунды водителю «Москвича», стоящему рядом со своей подружкой возле груды вынутых из машины вещей и бутылок, которые выглядят на разоренной и дымной палубе так утешительно, становится почему-то неуютно. Мокрая и грязная команда тушит огонь, водителя цистерны на корме раздирает борьба между страхом и долгом, а на этих двоих, которые ничем не заняты и стоят с видом превосходства над всем человечеством, никто не обращает внимания. Первым делом водитель «Москвича» подбрасывает ногой светлое летнее пальто девушки, так, чтобы оно упало на бутылки. Потом он пробует свистеть, но на фоне рева цистерны и сердитого шипения воды этот свист кажется дурацким и неуместным даже ему самому. Полуотвернувшись от подружки, он цедит сквозь зубы слова, исполненные горечи и сожаления:

— Проспал! И как это я проспал такое?!

Девушка. Подумать только! Что же?

Водитель «Москвича» (*смотрит на нее как на неодушевленный предмет*). Что? Это я должен был вести цистерну, а не летчик! Я!

Девушка. Подумать! А тогда что?

Водитель «Москвича». Тогда? Пойми, дура, упущенный поступок, возможность совершить поступок никогда не повторяются, никогда...

Девушка смотрит на него пораженная. Она не привыкла к резким выражениям человеческой мысли, каждый новый горизонт ее пугает.

Парикмахерша оперлась на поручни, в двух шагах от нее — Тийу и стоящий на посту возле своей коляски инвалид. Она смотрит на воду, где, как воспоминание о сброшенных машинах, переливается всеми цветами радуги слой масла. Если кто тут и сгорел дотла, так это она. Она стискивает зубы, она смертельно несчастна, но и в этой несчастье не теряет своей холодной расчетливости. Она надеется, что инвалид и ее дочь станут мостом между ней и доцентом, которого она не должна

и не хочет лишаться. Всклипывая, она поглядывает украдкой на дочь и на инвалида и как-то бочком старается к ним приблизиться.

По мере того как она пододвигается к ним, Тийу, прежнему цепляясь за пиджак инвалида, старается отступить от нее подальше. Девочка прячется за ним, как за деревом при игре в прятки. Инвалид все время остается между ней и матерью, в нем вся надежда и поддержка девочки. Победив свои слезы, парикмахерша подходит к ним вплотную. На лице появляется материнская улыбка.

П а р и к м а х е р ш а. Тийу!

Тийу прячется к инвалиду под пиджак.

Тийуке, доченька моя!

И н в а л и д. Что тебе надо?

П а р и к м а х е р ш а (*со своей судорожной улыбкой*). Разве нельзя матери, несчастной матери, посмотреть на своего ребенка...

Т и й у (*выглядывая с умоляющим видом из-под полы*). Дядя, я не хочу. Сегодня не хочу! И завтра не хочу! Никогда не хочу!

И н в а л и д. Ребенок не хочет. (*Сердитым и требовательным шепотом.*) Оставь ее в покое!

П а р и к м а х е р ш а (*снова всклипывая*). Какой бессердечный ребенок! Чего я только не потеряла сегодня! А ты воспитал девочку таким бессердечным поросенком...

И н в а л и д. Если твоя дочь — поросенок, подумай, кто ты сама!

Цистерна не закрывает больше грузовик, и его хорошо видно. Одним боком он прижат к переборке туннеля под мостиком, другим — к туристскому автобусу. Белоснежная переборка, как и потолок туннеля, покрыта жирной копотью. Брезент фургона разодран, видны железные прутья каркаса. Грузовик похож на полусгоревший дом, крыша которого обвалилась, но стропила уцели.

Открытого огня уже нет, но хлопок злобно дымится, заволакивается темными ядовитыми клубами, Кузов и кабина заляпаны закопченной пеной.

Панорама с воздуха. Приближается другой паром, ему осталось пройти несколько десятков метров. Ветра почти нет, и дым сносится влево очень медленно, но под-

ходящий паром все же учитывает направление ветра и подходит с правого, то есть с наветренного борта. Все на его борту в боевой готовности: команда со шлангами в руках и в брезентовых робах выстроилась на левом борту. Оба парома сближаются все плотнее.

Капитан нашего парома спускается с мостика и идет на правый борт шлюпочной палубы.

Капитан второго парома *(в рупор)*. Как у тебя?

Капитан *(тоже в рупор)*. Сам справлюсь. Скидываю машины за борт.

Капитан второго парома. Что у тебя горит?

Капитан. Грузовик с хлопком. Ближе не подходите. Сейчас кончим!

Капитан второго парома. Добро!

Капитан кидает взгляд вниз, на носовую палубу. С одной цистерной покончено, теперь «спасательная команда» во главе со штурманом и боцманом направляется к другой. С верхней палубы хорошо видно, что задохшийся и ушедший куда-то вниз огонь уже не так опасен, поскольку другая цистерна находится метрах в десяти от него. Если сначала сбросить за борт грузовик, то цистерну можно оставить. Капитан поднимает рупор.

— Штурман, боцман! Сперва сбросьте в море грузовик с хлопком, а потом посмотрим!

Боцман, штурман и летчики идут первыми, остальные — следом. Подойти к машине с хлопком почти невозможно. Ее надо стронуть с места своим ходом или на буксире. Кабина грузовика полна дыма.

Миг растерянности.

Капитан В В С. Бак может взорваться.

Темноволосый летчик. Дурацкая смерть.

Боцман. Загнали, словно пробку. Дело дерьмо.

Штурман. Мы ее выведем.

Внезапно появляется водитель грузовика. Он мрачен и неразговорчив, вид у него убитый.

Водитель. В море?

Штурман. Приказ капитана. В море.

Водитель. Ну, попадись мне эти, которые груз подожгли... А нельзя ли...

Боцман. Не торгуйся. Нельзя! *(Просительно.)* Не бойшьясь завести машину?

Водитель. Если бензобак взорвется, то... *(Показывает на небо.)*

Между боцманом и водителем грузовика опять появляется доцент.

Доцент (*вытирая вспотевшие руки*). Я включу. Я обязан!

Штурман. Что-о-о? Обязан?

Доцент. Да! (*Хватается за ручку дверцы.*) Именно я обязан.

Водитель «Москвича», стоявший в нарочито небрежной позе, вытягивается при появлении доцента чуть ли не в струнку и делает шаг вперед.

Водитель «Москвича» (*девушке*). Я им покажу!

Да, преодолев последний внутренний барьер, он размашистым шагом подходит к боцману и водителю грузовика.

Водитель «Москвича» (*отстраняя доцента*). Вы! Да у вас машина при погрузке заглохла! Я вам покажу, как...

Он распахивает дверцу и лезет в кабину. Оглядывается через плечо на людей вокруг машины, и все в нем — жесты, выражение лица, посадка головы — становится театральным, им руководят две противоположные силы: подавляемый страх и желание держаться бесшабашно. Сквозь душный дым он замечает парня с комсомольским значком, следящего за ним пытливо и удивленно.

Водитель «Москвича». Будешь класть венок — отметь: в трудный момент показал себя...

Голос капитана. Кончайте митинг! Трогайтесь!

Штурман (*выходя из себя*). Или покажи нам, или убирайся! Какие сейчас речи?!

Водитель «Москвича» захлопывает дверцу. Театральные жесты уступают место нервной суетливости. Мотор с первого раза не заводится. Каждый, отступив в сторону и выжидательно сжавшись, прислушивается к холостому реву стартера с таким видом, будто этот рев исходит из его собственного тела и мучителен, словно боль.

Небольшая пауза. Глаза водителя «Москвича» слезятся, он закашливается. Он снова жмет на стартер, но мотор не заводится.

Мотор заводится лишь на третий раз.

Медленно, очень медленно длиннотелая машина выезжает из тупика. Углом своего кузова она срывает зер-

кальце с туристского автобуса и выдавливает левое стекло водительской кабины. Водитель «Москвича» сторбился над рулем, губы его шевелятся: подбадривая себя, он непрерывно ругается.

Водитель «Москвича». Я им покажу! О черт, я им покажу!

Какая длинная машина! Ее безобразный, обгорелый и мокрый насквозь кузов появляется из-за туристского автобуса дециметр за дециметром, и люди расступаются перед машиной. И вот она выехала на пустую палубу целиком, на всю длину дымящегося тела. Мотор работает на высоких оборотах, и шланги посылают ей вслед свои струи. Водитель, почти зажмуривший глаза, пытается попасть передними колесами на апарель. Он высунул голову в окно и смотрит на палубу, медленно движущуюся под колесами назад.

Водитель «Москвича». Еще метр. Черт! Я им покажу! Еще полметра! *(В его груди пылает безграничная жертвенность.)* Я им покажу!

Он отчетливо видит, как передние колеса медленно вкатываются на апарель. Его рука тянется к зажиганию, нога жмет на тормоз.

В тот же миг внизу взрывается бензобак. Левый бок кабины подкидывает, в открытое окно кабины врывается пламя. Водителя кидает к правой дверце, и, закрыв лицо руками, он застывает, скрюченный, на сиденье.

Яростный голос капитана. Вытащите водителя из кабины. Машину немедленно в море!

Перед взрывом люди полукольцом следовали за машиной. Внезапно весь апарель и даже кусочек моря в его проеме охватывает огонь. Все застывают на месте. Грузовик стоит так неудачно, что железный край высокого фальшборта, являющийся как бы стеной ворот, то есть апареля, позволяет открыть дверцу только наполовину. Потерявшего сознание водителя кое-как вытаскивают из машины, относят на несколько шагов в сторону и осторожно кладут на палубу.

Голос капитана. Грузовик в море! Быстрее, штурман!

Сквозь открытую дверь мостика доносится голос другого паромца.

Капитан второго паромца. Разрешите идти в порт!

Капитан *(себе)*. Катись к своей бабушке! *(В рупор.)* Грузовик в море!

Жена капитана (*робко*). А тот паром не может тебе помочь?

Капитан. Никто мне больше не поможет. Банк сорван. Помолчи.

Взгляд капитана прикован к машине, горящей в широком проеме апареля. На секунду взгляд перебегает на водителя, лежащего на палубе, но тотчас возвращается назад.

Все осторожно, плечом вперед, подбираются к пылающему грузовику.

Голос с другого парома. У нас на борту врач! Прислать?

Капитан (*в рупор, яростно*). Что вы там, черт подери, крадетесь, как церковные воры! Толкайте ее в море! (*Подходит к открытой двери и обращается к другому парому.*) Через минуту можете идти в порт. Врач нужен!

Все разом бросаются к машине: девушки, боцман, штурман, летчики, ребята из «Москвича», председатель колхоза, двое из промкооперации. Лишь с левой стороны, там, где находится бензобак, никого нет. Толкают грузовик изо всех сил и с такой злобой, словно эта дымящаяся машина стала их личным врагом. Но у самого края палуба немного поднимается, и от этого грузовик становится как бы тяжелее.

Маль (*краснея от натуги*). Катись же, подлюга, катись!

Боцман (*плечо его, прижатое к кузову, наклонено на сорок пять градусов*). Господь, ты видишь нашу муку. Помоги!

Грузовик подвигается, получает разгон, передние колеса повисают в конце апареля над морем. И наконец грузовик падает вниз, оставив над водой спиральное облако дыма. Спираль замирает, рассеивается. На поверхность всплывают тюки обгорелого хлопка.

Все те, кто сталкивал машину, молча стоят у открытого апареля и смотрят на грязное море, где плавают, бултыхаясь, тюки хлопка, запасные колеса, бакелитовая кукла с розовым тельцем и черными кудряшками и другие случайные пустяки, связывавшие потопленные машины с жизнью. Мертвый круг сверкающего масла все расплывается и расплывается, тот самый мертвый круг, что умиряет волны и грозит птицам «масляной смертью».

Масляные пятна похожи на глаза парикмахерши.

Люди смотрят в море, в самих себя.

Второй паром подваливает к правому борту. Первым с него перебирается через фальшборт на палубу врач. Вслед за ним — капитан второго парома. Врач склоняется над лежащим водителем. Тот тихо стонет, лицо его, сильно обожженное слева, кривится от боли. Два матроса приносят носилки и ставят их на палубу.

Штурман подходит к врачу. Он смотрит на врача, как на человека, способного и спасти его и погубить.

Штурман. Выживет?

Врач. Сейчас... Наверняка.

Штурман. Сильно он пострадал?

Врач. Не... Еще не знаю.

Обращается к матросам с носилками:

— Помогите. Положите его на носилки.

Подходит парень с комсомольским значком, смотрит на лицо пострадавшего. На левой щеке краснеет ожог. Парень наклоняется:

— Атс, послушай, Атс!

Врач. Положите его на носилки.

Но как только матросы начинают его поднимать, пострадавший открывает глаза. Его кладут на носилки.

Врач. Унесите.

Матросы несут пострадавшего, парень с комсомольским значком идет рядом.

Водитель «Москвича». Видал? Твоя теория получила по зубам!

Парень с комсомольским значком. Наоборот. Не моя, а твоя. Почаще бы давал по зубам своим теориям.

Водитель «Москвича». Ты опять за свое.

Парень с комсомольским значком.
А как же!

Паромы стоят рядом, как близнецы.

Пассажиры по-прежнему сидят в салонах: кто молчит, кто не в меру разговорчив.

Голос капитана в репродукторе. Опасность миновала. Повторяю! Опасность миновала. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь на своих местах. Повторяю: опасность миновала.

«Спасательная команда», составлявшая за эти не то половину, не то четверть часа единое целое, начинает распадаться.

Боцман садится рядом с аппаратом и сжимает голову руками. Смотрит на мокрую, грязную, закопченную палубу, на то место, где стоял грузовик с хлопком и где зияет сейчас черное от копоти ущелье. Паром вернулся к своей обычной жизни, но боцман еще не способен войти в эту жизнь. Страх, который вообще довольно часто является на место происшествия с опозданием, настигает его только теперь. Плечи боцмана дрожат, будто ему стало холодно. Он поднимается, как поднимаются очень усталые пожилые люди. Подходит к инвалиду и ударяет его по плечу.

Боцман. Такая, брат, история. Случается. Сейчас мигом поставим твою тачку на колеса. *(Глядя на Тийу.)* Не испугалась, дочка?

Инвалид. Испугалась. Только не пожара. У ребят свои, другие страхи.

Боцман *(глядя Тийу по голове)*. А ты, стрекоза, не бойся! Держись за папин пиджак и не бойся!

Боцман уходит. Исчезает, сутулый, в коридоре.

Инвалид и Тийу стоят рядом со своей коляской, торчащей дыбом, еще более близкие друг другу, чем прежде.

Сзади них, прислонясь к поручням, стоит парикмахерша — олицетворенное одиночество. Она следит за доцентом.

Но в его душе не то сломилось что-то, не то созрело. Ведь нередко люди ведут себя одинаково в обоих случаях. Большой, неуклюжий, добрый, он не может найти себе места на пустой палубе и хочет установить контакт хоть с кем-нибудь из «спасательной команды». Сначала он кружит около летчиков, но те пробираются между машинами на корму. Он остается один. Он судорожно тщится не смотреть в сторону жены. Он слоняется по носовой палубе, словно лошадь, ходящая по кругу на приводе. Только привод этот привязан не к столбу, а к парикмахерше.

Доцент переходит на левый борт, где стоят особняком четыре филологички и двое сельделовов. Но эти шестеро уже связаны незримо и надежно в одно, седьмой им не нужен, доцент для них слишком стар, он им далек.

Как умный человек, он сразу это чувствует и, задумавшись, застывает в одиночестве на пустой палубе. Затем он решается и подходит к парикмахерше.

Парикмахерша *(кладет ладонь на его рукав)*. Что было... Что было... Прости меня.

Доцент. Что? Что ты оказалась такой, какая есть?

Парикмахерша. Машину мы купим новую. И если ты хочешь, чтобы ребенок был с нами, то я...

Доцент. Поздно! Я не хочу. Я уйду. Я боюсь.

Парикмахерша (с такой силой стискивает его запястье, что ее пальцы белеют). А я? Что будет со мной?

Доцент (подыскивая слова). Послушай... Прости меня... Но я не могу жить с женщиной, не могу спать с женщиной, у которой нет ничего, кроме тела. Я не могу гладить кожу, под которой одна пакля и эгонизм. Это было бы патологией, я презирал бы себя. Это ты меня прости. Я не могу.

Парикмахерша (в глазах ее страх). Я глупая, глупая, глупая, я всего-навсего глупая вокзальная парикмахерша.

Доцент (тоном доцента). Глупая? Знаете ли, в женской глупости много теплоты. Я читал об этом. В ней и наивность, и материнское чувство, и страх потерять своего любимого, и множество всяких других элементов. Будь у вас эта глупость, я бы остался.

Парикмахерша. Попробуем еще раз!

Доцент. Нет.

И доцент уходит. Он меряет длинными шагами стальные листы палубы, он ищет истину и утраченное равновесие, которое найдет не так скоро...

Радист в радиорубке стаскивает наушники и ставит на проигрыватель пластинку.

Сельделовы и филологички стоят плечом к плечу у поручней и смотрят в морскую даль, как умеют смотреть в морскую даль лишь молодые задумавшиеся люди. Блузки девушек, их руки и лица все в пятнах копоти и масла, никаких причесок не осталось, а лица их серьезные.

Первый сельделов (тихо.) Будь моя воля, взял бы я вас, девушки, на сельделовный сейнер, сразу старшими матросами взял бы.

Реет (пытается вернуться к прежнему легкомысленному тону). Какая честь! А рыжих тоже берут?

Второй сельделов (с мальчишеской обидой). Туда и мужчин-то берут не всяких. У иных кишка тонка. Честь немалая. Мы вам всерьез говорим. Вы бы выдержали. Дело ясное, о'кэй!

Маль. Спасибо, ребята.

И девушки начинают подпевать репродуктору, милые девушки с носами в копоти. Сельделовы с солидным видом подсвистывают.

Мостик. Тут реют лишь остатки дымка. Два капитана стоят рядом и молчат... Жена капитана время от времени опускает взгляд, а потом снова смотрит во все глаза на мужа.

Капитан второго парома. Одно в этой истории паршиво—цистерны.

Капитан. Да.

Капитан второго парома. Могло бы и хуже кончиться. Мостик к небу и сто покойников.

Капитан. Могло бы.

Входит штурман.

Штурман. Водитель выживет. Пришел в сознание. Ругается и форсит, выставляется, как петух.

Капитан. И то хорошо!

Штурман. Что хорошо?

Капитан. Что ругается.

Штурман. Наверно, виноват я.

Капитан (*устало*). Ты? Виноват? Может, и в самом деле так. Все может быть. На свете нет ничего невозможного. Думаешь, мне от этого легче? Своей радостью можно и с другими поделиться, своей виной не поделишься. Она вся твоя. Так-то!

Штурман, пятась, отходит.

Входит боцман. Капитан крепко, двумя руками жмет ему руку.

Боцман (*одновременно и смущенный и довольный*). Оставь, старик. Еще поплаваем.

Капитан (*повернувшись к боцману и забыв о своей жене, о втором капитане, о штурмане, обо всем*). А что дальше? Что будет дальше, боцман?

Боцман. Надо составить рапорт. На то ты и капитан.

Капитан. Да. Дело, конечно, ясное.

Боцман. Что дальше? Первым делом поднимем апарель. Паром должен быть паромом, а не подбитой вороной с опущенным клювом. Надо отметить место.

Капитан (*боцману*). Поставь буй. (*Переводит ручку машинного телеграфа на «полный вперед».* Хватает рупор.) Поставить инвалидную коляску на колеса! Поднять апарель!

Дизели начинают работать на полную мощность.

Свободные от тушения пожара матросы бегут на

носовую палубу и ставят инвалидную коляску на колеса. Нос коляски немножко помялся, одна фара вдавлена. Но коляска все-таки в порядке. Тийу мигом забирается на сиденье и, не обращая внимания на мать, пожирающую ее голодным взглядом, весело кричит инвалиду нормальным детским голосом:

— Дядя, иди! Я уже здесь.

Апарель поднимается, поднимается, и стальное кольцо вокруг парома снова смыкается.

Второй паром отваливает, описывает полукруг и берет обратный курс.

И снова гавань. Паром причаливает. На пристани два красных пятна пожарных машин и два пустых автобуса, ожидающих пассажиров. Как-то обособленно стоит «Волга», а рядом с ней — мужчина в форме капитана дальнего плавания.

Апарель медленно опускается, и нам открывается напоследок вид на пустую носовую палубу, где стоит в одиночестве инвалидная коляска с помятым носом. На палубе четыре филологички, сельделовы, подружка водителя «Москвича» и ее спутники по машине, председатель колхоза.

Палубу заполняет гул включенных автомоторов.

Все пассажиры, находившиеся в правом салоне, выходят на причал из боковой двери. Это молчаливый народ, торопящийся поскорее отойти от парома как можно дальше. Паром, эти несколько сот тонн качественной стали, все еще кажется им враждебным, и, хотя большинство из них не догадывается о том, что происходило в действительности, люди оглядываются так, словно за ними гонится незнакомая собака.

Первой съезжает на сушу инвалидная коляска. Парикмахерша глядит ей вслед. Коляска удаляется, а лицо парикмахерши становится все естественнее, ее отчаяние — все человечнее. Она по-прежнему стоит у поручней, в двух шагах от безмолвного доцента.

Филологички и сельделовы пробираются между машинами на корму, туда, где оставлены велосипеды.

Машины одна за другой съезжают на причал, паром становится все выше и пустыннее. Затем сходят и девушки, ведущие свои велосипеды, они окружают двух сельделовов, словно почетный караул. Все шестеро молчат, но мы чувствуем, что на их плечи можно положить завтра хоть половину земного шара.

На уже опустевшей палубе появляются водитель «Москвича» и парень с комсомольским значком. Водитель «Москвича», у которого левая часть лица забинтована, положил руку на плечо спутнику. Он внутренне уязвлен тем, что палуба уже пуста. Не так надо встречать героев, не так надо высаживать на берег своих спасителей. Они проходят по аппарелю на причал, где возле лежащего на земле багажа их ожидают двое спутников.

Водитель «Москвича» (*показывая на багаж*). Могли бы швырнуть эти шмотки в море.

Девушка. Подумать только! А дальше?

Водитель «Москвича». Дальше? Циферблат мне повредило. (*Парню с комсомольским значком.*) Не столкни я в море эту телегу, вы уже превратились бы в жареные котлеты. Если бы не я...

Парень с комсомольским значком. Так нашелся бы кто-нибудь другой.

Водитель «Москвича» (*указывая взглядом на доцента*). Этот, что ли?

Парень с комсомольским значком. Хотя бы этот.

Водитель «Москвича» бьет ногой по вещам. Повелительно:

— Берите вещи!

Трое остальных берут вещи. Водитель «Москвича» по-прежнему опирается на плечо спутника. Они направляются к автобусу.

Доцент подходит к парикмахерше.

Доцент. Я иду.

Парикмахерша. Да, пошли.

Доцент. Я пойду один.

Парикмахерша. Да-а?

Доцент протягивает ей руку. Та сжимает ее двумя ладонями, но, взглянув ему в глаза, сразу выпускает его руку.

Доцент уходит. И лишь теперь, после того как она осталась одна у поручней пустого паррома, парикмахерша начинает рыдать так, как рыдают только в одиночестве...

Появляется штурман и начинает разглядывать закопченные стены туннеля под мостиком. Он проводит пальцем по копоти, как бы проверяя ее толщину, и в медлительной задумчивости рисует на черном одинокие белые буквы:

«Завтра... виноват... завтра...»

И наконец появляются они: наши парень и девушка. Они идут в обнимку по пустой палубе парома, их счастливые самоуверенные шаги вспугивают штурмана у закопченной стены. Проходя мимо штурмана, девушка, задевая плечом стену, стирает с нее слово «виноват» и основательно пачкает рукав своего жакета.

Девушка (*жалобно*). Гляди, я жакет испачкала. Какая же тут грязь!

Парень (*посмотрев на запачканный рукав, штурману*). Почему не моете паром? Не видите разве, пассажиры пачкаются?

Штурман (*злбно*). Тут был пожар. Понимаешь? Пожар.

Парень (*с важным видом*). Меня ваши пассажиры не интересуют. Кто мне заплатит за жакетку жены?

Штурман. Если бы у тебя шерсть на башке загорелась, так небось поинтересовался бы!

Девушка. Какое вам дело до прически моего мужа? (*Парню.*) Пошли!

Парень обнимает девушку за плечи, и они так же величественно шагают к аппарелю. Парень замечает, что у парикмахерши вздрагивают плечи.

Парень. Не плачь, мамаша! Мужиков на свете хватает!

Девушка. Пошли!

Наша пара выходит на причал. Штурман смотрит им вслед. Они подходят к пожарной машине, и парень объясняет что-то водителю, показывая то на себя, то на девушку, после чего оба забираются на пожарную машину и уезжают.

Последним появляется на палубе капитан. Долог путь капитана до аппареля, долог...

А посреди ослепительно синего моря все расплывается и расплывается масляное пятно с бумом посередине.

ПИСАТЕЛЬ В ПУТИ

Дневник путешествия, путевой очерк — один из самых древних и самых распространенных литературных жанров.

Я имею в виду не только те книги, которые выпускаются, скажем, «Географгизом», хотя они, к слову сказать, пользуются устойчиво большим читательским спросом. Я имею в виду художественную литературу.

Еще одно уточнение, ограничение темы: речь пойдет не о тех художественных произведениях, которые построены как путешествия персонажей, не об «Одиссее» и «Одиссеях», а о дневниках подлинных, невыдуманных путешествий, совершенных писателями.

Так вот: что делает эти дневники именно художественными произведениями? Почему «Путешествие по Гарцу», например, — художественная литература, а «Путешествие на „Кон-Тики“» по материалу куда более интересное, более захватывающее, — «просто» дневник путешествия?

Вопрос не праздный. Если читатель подойдет к произведению с мерками, этому произведению не свойственными, он испытает разочарование. Можно, конечно, прочитать «Ледовую книгу» и как обычный «антарктический дневник», но — за счет утраты самого существенного в ее содержании.

Границу между художественным «путешествием» и «просто путешествием» провести трудно, особенно если перед нами записки писателя — с его наблюдательностью, нешаблонностью употребляемых слов, свободой повествования и тому подобными профессиональными достоинствами. И все же попытаться ощутить эту границу полезно.

Писателю ничто не чуждо из человеческих интересов; поэтому, отправляясь в поездку, он — в случае сколько-нибудь серьезной подготовленности к ней — немножко и журналист-репортер, немножко и хроник-историк, и ученый-этнограф, и публицист-социолог. В жанре дневника путешествия может ярко проявиться и человеческое хобби писателя, его человеческое увлечение чем-либо помимо основного литературного дела жизни, и обычно многосторонность интересов идет на пользу дневнику (достаточно вспомнить хотя бы стендалевские «Прогулки по Риму»). И все же путешествующий писатель, если он решает оставаться в своем путешествии прежде всего и главным образом писателем, — не репортер, не хронист, не этнограф, не искусствовед. И уж, конечно, не турист, хотя бы и более наблюдательный, чем турист обычный.

Жанр, о котором у нас идет речь, разработан, можно сказать, в бесконечном числе попыток. Есть «книги путешествий», которые открыли в своих литературах поистине новые эстетические эпохи, — припомним только «Сентиментальное путешествие» Стерна, радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву», упомянутую уже книгу Гейне. Опыт накоплен колоссальный, поистине безбрежный. Но его можно «систематизировать» и нужно, — разумеется, не для удовлетворения страсти к литературоведческим классификациям, а для лучшего понимания существа дела.

Что видит писатель-путешественник и каков он сам, — вот две стороны художественного путевого очерка, анализируя которые мы сможем приблизиться к секрету его художественности.

Как и в любом эстетически цельном произведении, эти две стороны — объективная (что видит...) и субъективная (кто смотрит...) — в дневнике путешествия неразрывны. Но, во-первых, степень личного участия автора в сюжете поездки, степень лирической активности его, авторской мысли, чувства, воспоминания и так далее могут быть весьма различными в разных произведениях (спокойно-наблюдательная книга Гончарова «Фрегат „Паллада“» в этом смысле намного «пассивнее», например, радищевского «Путешествия»). А во-вторых, в каждом художественном «дневнике путешествия» автор ищет «золотую» меру в соотношении «объективного» и субъективного, ищет именно для того, чтобы создать, как в любом другом художественном произведении, эстетический эффект цельности. Поиск эти всегда индивидуальны; общей, профессионально общей остается только цель. А достичь ее можно лишь трудом, трудом художественного обобщения, типизации, напряженным творческим трудом отбора событий, впечатлений, трудом перепроверки, собственных «монологов», композиционных «прикидок», языковой шлифовкой.

«Бесхитростная» форма дневника путешествия трудоемка, а кроме того, и коварна — именно кажущейся своей легкостью.

Казалось бы, сиди и увиденное записывай, потом «пройдись» стилистически по тексту — и выпускай книгу в свет. Но вот что рассказывает по этому поводу сам Смуул: «„Ледовая книга“ написана в форме дневника, и, за редким исключением, я работал над ней каждый день (экспедиции. — Юр. С.). Я записывал все, что видел. Я стремился уловить, удачно или неудачно, различные черты разных характеров по мере того, как они раскрывались передо мной. Уверовав в свою пронципальность, я уже нередко делал поспешные, несправедливые или восторженные выводы, и это заставило меня быть более осторожным. Я и сейчас считаю, что если в «Ледовой книге» я изображаю обстановку и людей, к тому же конкретных людей, в основном правильно, то это именно благодаря умению ждать (подчеркнуто мной. — Юр. С.)»¹.

«Умение ждать» — я толкую эти слова Смуула не только как его нежелание поддаваться первым, поверхностным впечатлениям, но и как своеобразную прививку против самоуверенности, а то и бесцеремонности суждений о людях, с которыми только что познакомился. Ведь если каждый день «записывать» увиденное и этим ограничиться, чего же, собственно, еще «ждать»? Нет, каждодневная работа писателя включает в себя «ожидание», то есть анализ и самопроверку не только во время поездки, но и позже, значительно позже нее.

Возможно, хронологически верно признание писателя (в той же статье), что он написал три четверти своей «Ледовой книги» за время плавания на «Кооперации». Но все же главный смысл этого признания я вижу в другом: оно обозначает, что на «последнюю четверть» Смуул затратил времени куда больше, чем на всю экспедицию в Антарктику. Смуул был там в 1957 году. «Ледовая книга» на эстонском языке появилась в пятьдесят девятом.

¹ Смуул Юхан. О людях, о книгах, о море. — «Вопросы литературы», 1961, № 10, с. 129.

Последняя «четверть» произведения — это и была работа над произведением в целом.

Точно так же многие-многие месяцы отделяют кратковременное плавание писателя на «Воейкове» (декабрь, 1959) от книги «Японское море, декабрь» (1962).

Труд и время — необходимые факторы появления любого художественного произведения. В том числе и дневника-путешествия.

* * *

Но не только труд и время.

Как и всякое другое подлинное произведение, «дневник путешествия» должен быть «выстрадан» писателем, подготовлен всем опытом его жизни. В этом, может быть, главный секрет художественности этого жанра.

Тур Хейердал на плоту «Кон-Тики» и на острове Пасха предстал перед нами как ученый прежде всего и больше всего. Гейне в «Путешествии по Гарцу» — писатель-человековед. И потому, что в своих иронических зарисовках людей и быта шел путем постижения их человеческой сути — путем художественной типизации, и потому, что тем же путем он шел в «самоизображении», «самораскрытии», множеством путей связывал эту книгу с предыдущим своим творчеством, открыто и самокритично представляя читателю свой внутренний мир. «Путешествие по Гарцу» — «книга идей» автора, книга его чувств и мыслей, а одновременно — иронический очерк нравов, философское размышление, творческая лаборатория, — короче, синтетическая форма, что и составляет, собственно, главную прелесть и главное богатство этого жанра. Нужно сказать, что именно такое направление жанра наиболее плодотворно. И эстетические победы анализируемого жанра в современной советской литературе (например, прозаические книги Смуула, Гривы, Солоухина, Юзовского, Субботина, Алимжанова и др.) при всей неповторимости каждой в общем достигнуты тоже на «синтетическом» направлении.

Это не означает, разумеется, что во всех наших путевых очерках одна и та же основная мысль, та самая мысль, что организует собою все произведение, та самая мысль, которая, собственно, и вызывает произведение к жизни и которую обозначают как его «идею». Доминанта того или иного дневника, опора его, сердце, биение которого наполняет дневник живой кровью, — должна быть, повторяю, неразрывно связана со всем общественно-личным опытом писателя, и потому она своеобразна. Дневник, который становится литературным фактом, очевиднее многих других жанров доказывает, что он необходимое звено в творчестве данного писателя.

Когда-то Белинский хорошо написал о том, что «вся мир творчества поэта, вся полнота его поэтической деятельности имеет свой единственный пафос, к которому пафос отдельного произведения отнюдь не как часть к целому, как оттенок, видоизменение главной идеи, как одна из бесчисленных сторон»¹. Дневник, в том числе дневник путешествия, — это та форма, которая как бы нарочито создается для того, чтобы открыто высказать этот пафос, концентрировать оттенки и видоизменения главной идеи; дневник — это жи-

¹ Белинский В. Г. Собрание сочинений в 3-х т. М., 1948, т. 3, с. 380.

вой, в картинах и образах, трактат и лирическая исповедь, это объяснение людей, событий, себя самого.

Дневник — это ключ к собственной жизни, который писатель вручает читателю.

Какова же главная, задушевная, всеорганизующая и всепроникающая мысль путевых очерков-дневников Ю. Смуула? Как пришел он к этим книгам, что в них концентрированно выразил?

«Мы любим и ищем в литературе и в жизни подлинный героизм», — обмолвился как бы мимоходом Смуул в цитированной мною статье¹. Эти слова могли бы вполне подойти для эпитафии ко всему творчеству Смуула. Писатель не устаёт повторять их в прямой лирико-публицистической форме в своих путевых дневниках. Люди ежедневного настоящего героизма — его идеал; на раздумья о том, что же составляет силу и обаяние таких людей и в чем их героизм, столь боящийся громких, патетических восклицаний, — на это Смуул никогда не жалеет ни места, ни патетики.

Антарктида. «Там... действительно совершается что-то великое, требующее смелости, мужества, выдержки и железной дисциплины, там взаимопомощь диктуется не вежливостью, а законом жизни. Холод, мороз, кислородное голодание, затрудняющее каждое физическое усилие, бесконечная дорога в глубь материка... — все это героический ледовый гимн, творимый нашими людьми».

Станция Комсомольская... 74°05' южной широты и 92°29' восточной долготы... 3420 м над уровнем моря... От 0° до 40° ниже нуля летом и более 70° мороза зимой. «Тут идут споры о технике, о литературе, о важнейших жизненных проблемах... Забываешь, что за стеной снежная, холодная, вьюжная пустыня, что вокруг на сотни километров ни души, что полярной ночью в ста метрах от этого камбуза метель может погубить человека, что снаружи прикосновение к железу обжигает руку. Забываешь и о том, что этим людям предстоит пережить здесь трудную полярную ночь, видишь в них лишь молодых, здоровых парней, любящих юмор и соленое словцо, людей с интересом к жизни и относящихся к антарктической пустыне так, словно это обычное рабочее место... Сильные люди среди белых снегов, которые прикажут мне по тому же праву, по какому распоряжаются писателем его внутренние резервы:

— Не пишать! Долг есть долг!»

«Он (один из участников экспедиции на «Воейкове». — Юр. С.) был слишком цельный и слишком добротный, чтобы понять тех, в ком человек разбит на осколки. В то же время он мог довести до бешенства своей терпимостью, когда имел дело с «мутными бутылками» и пытался найти что-то хорошее там, где искать было нечего. Но самое драгоценное: он знал свое место на земле, свое место среди людей, он не кокетничал тяжестью возложенной на него ответственности и не пытался от нее увильнуть. Будучи таким же, как все, он все-таки формировал остальных, сам того не замечая».

На таких людей равняется автор. Именно по ним строит свою философию человеческого героизма и человеческого счастья, свои нравственно-обогащенные «афоризмы» и «максимы».

«Очевидно, главным образом от того, сколько мы платим или готовы заплатить за счастье или чувство удовлетворения, и зависит, насколько они велики... одни платят за чувство удовлетворения очень дешево, другие очень дорого».

¹ «Вопросы литературы», 1961, № 10, с. 134.

«Не веря в бога, я верю в божественное в человеке».

«Люди, в которых жив Моцарт, у которых есть чувство эпохи, у которых чувство ответственности перед своей страной стало второй натурой, люди, итоги чьих трудов обладают для нас неизмеримой ценностью, руководятся в жизни одним неписанным законом: брать на себя обязательства, либо близкие к пределу их возможностей, либо доходящие до этого предела. Вот почему им всегда удается преодолевать свой вчерашний потолок высоты».

Я привожу эти многочисленные цитаты не для того, чтобы пересказывать содержание двух очерковых произведений Смуула: во-первых, пересказать содержание художественного произведения вообще трудно, а путевого дневника — тем более; во-вторых, редко читатель начинает знакомиться с книгой с послесловия к ней.

Я хочу, цитируя Смуула, показать главный нравственный стержень смууловских книг. Он, этот стержень, нигде не превращается в прямолинейную, однообразную «конструкцию», на нем, этом стержне, наращиваются многообразнейшие человеческие характеры, в том числе — характер искренне самоисповедывающегося перед нами автора. С большой живостью, наблюдательностью, юмором воссозданы в книгах десятки и десятки человеческих судеб и портретов — в «Ледовой книге» чаще всего людей конкретных (имя, фамилия, кое-какие анкетные данные), в «Японском море» подлинные имена заменены вымышленными, но «прототипы» чувствуются очень легко. Казалось бы, автор должен был утонуть в «эмпирии» этого множества лиц, но ничего подобного. Точно и цепко фиксируя индивидуальные черты людей, которых он узнал лучше, нежели других (например, Васюкова или героев с Комсомольской в «Ледовой книге», Ивана Ивановича и его людей в «Японском море»), — вторая книга вообще заселена меньше, о каждом персонаже говорится подробнее, Смуул в то же время упорно и последовательно держится главного стержня этих двух своих произведений. Что такое подлинный героизм, каков подлинный современный герой, — этот вопрос и концентрирует вокруг себя огромное количество фактов, деталей, портретных и психологических характеристик, собственных авторских воспоминаний и раздумий. Концентрация неоднородная, она имеет свою периферию и свои центральные области, — и все же любая «точка» этого «круга» охватывается воздействием «центра».

Посмотрим, например, что говорится в «Ледовой книге» о тех людях, которые присутствуют в ней мимолетно, с которыми словно на минутку свела автора судьба.

Вообще-то Смуул не любит писать о малознакомых ему людях: не из боязни «домыслить» о них что-то не то, а из элементарного уважения и к ним, и к своей работе. Поверхностные впечатления — вот чего не терпит Смуул, высмеивающий тех писателей, «которые допрашивают своих будущих и заведомо неудачных героев совершенно по-прокурорски, а то и по-сыщицки, полагая, что раскрыть природу человека так же легко, как кухонный шкаф». И тем не менее, когда Смуул заносит в антарктический дневник «на минутку», на страничку какого-либо человека, он не останавливается перед тем, чтобы дать этому человеку краткую, но ответственную портретную характеристику.

Весьма любопытно проследить, какова она, эта характеристика. Листаем «Ледовую книгу». Работник Главсевморпути Алексей Михайлович Фишкин — «умные добрые глаза»; летчик Афонин — «едкая усмешка, лицо изборождено морщинами», «когда заговаривает о своих приключениях, его взгляд становится удивленным»;

кинооператор Эзов — «славный Эзов», «золотые руки»; летчик Школьников — «юный и сильный... редко встречал людей с таким душевным, неназойливым чувством такта»; авиамеханики (все безмянные) — люди «золотых рук и большого опыта»; инженер Кунин — «глубоко образованный, деликатный, веселый и подвижный человек, прекрасный товарищ», «у него золотые руки»; безмянные юноши и девушки с таллинских фабрик — «умелые руки», «жадные к науке головы»; старший помощник капитана Доня — «сердечный человек и хороший товарищ»; тракторист-полярник Кулешов — «простое и волевое лицо», «два вроде бы сонных глаза. Но лишь зайдет спор, и они становятся живыми, колючими, сузившимися... это глаза умного, любознательного человека, оживляющие и красящие его лицо», и т. д., и т. д...

Не о таких ли аттестациях сам Смуул в «Японском море» иронически говорил: «Характеризуя людей, мы пользуемся целым рядом стандартных слов: хороший, чуткий, замкнутый, открытый, горемыка, краснобай, задира, светлая голова, ясный ум. Короче говоря, мы определяем характеры с помощью периодической таблицы каменного века. Между тем каждая душа требует хоть какого-нибудь психологического анализа, требует долгого или хотя бы краткого изучения».

Но здесь нет противоречия. Во-первых, бегло Смуул пишет далеко не о всех. Во-вторых, к цитированным аттестациям нельзя свести и портреты некоторых из упомянутых смууловских знакомцев; в-третьих, и это самое главное, писатель стремится ухватить своими характеристиками общее во всех этих людях, ибо помимо индивидуально и разносторонне обрисованных моряков и полярников, Смуул хочет дать как бы коллективный образ современника; публицистически он исследует его черты и качества, выделяя те из них, которые могут дать нам наиболее приближенное представление о современном положительном герое.

Добросовестный, изобретательный, творческий труд как органическая потребность души, как живое, практическое проявление гражданского сознания, советского патриотизма; органический коллективизм; влюбленность в науку; необычайная широта интересов; отвращение к пышным словам, привязанность к шутке, юмору, ироничность как признак культуры и демократизма — вот то, что особенно дорого Смуулу в людях «Кооперации» и «Воейкова». Это — мастера своего дела, и мастера, если можно так сказать, сегодняшней настоящей гуманности.

Пестрой, не очень стройной толпой проходят перед нами герои очерковых дневников Смуула. Конечно, не всех мы запомним, но вот эти повторяющиеся, варьируемые, но выдерживаемые автором в одном эмоциональном ключе аттестации: «добрые глаза», «золотые руки», «жадные к науке головы» — останутся у нас в памяти.

Тем, как человек относится к труду, и тем, как он относится к другому человеку, проверяет Смуул ценность людей.

Надо сказать, что внешне лишенные драматизма дневники Смуула (уж очень хороший народ окружает автора!) вовсе не бесконфликтны. Не только люди-энтузиасты и коллективисты интересуют писателя, но и люди, как говорится, «совсем наоборот». В очень разнообразной палитре эстонского литератора есть и сатирическая краска. И хотя среда, которую изображал Смуул в дневниках, скудно питала эту его способность, давая зато большой простор для его способности юмориста, однако и среди людей ежедневного героизма, в семье ученых, полярников, моряков, летчиков,

не обошлось «без уroda». И эти уродливые уникамы попадают в поле зрения писателя, сатирически безжалостно и саркастично обличаются им. Конечно, таких в названной среде мало, и потому случаи применения смууловской сатиры в его дневниках редки. В «Ледовой книге» это безымянные колоритные фигуры «интеллигента», обнаружившего неспособность к какой бы то ни было полезной деятельности в Антарктике, но оставшегося там из-за суточных, и юности — «угасающей свечи», жалующегося на то, что «чай здесь пахнет пингвинами», и на то, что «в силу жестокости жизни он должен был ехать за ними (все теми же суточными. — Юр. С.) в Мирный, хотя почталлон мог бы принести ему те же несколько тысяч прямо в постель». В «Японском море» родственниками вышеназванной «свечи» оказываются два человека, две «мутные бутылки», с которыми пытались по-человечески поговорить перед экспедицией Корягин и Медведев и впечатления от которых они выразили в коротком, исчерпывающем диалоге:

«— Ну? — спросил Медведев, ни на кого не глядя.

— Жуть! — ответил Корягин».

Вот, пожалуй, и все, кому автор дневников выразил свою полную неприязнь. Однако и на столь количественно маленьком «плацдарме» он пытается идти не просто к дневниковой «записи», а именно к обобщению, к типу. И с этой точки зрения безымянность сатирически описанных персонажей приобретает значение своеобразной собирательности: одна-две странички — а перед нами вполне серьезный типовой портрет. Кого? Смүүл отвечает так: «...существует выражение, до предела насыщенное мешанским содержанием — черствостью, равнодушием, низостью, стремлением пробивать себе дорогу локтями — патриотизмом персонального оклада». Вот этих-то «рыцарей» и выводит писатель на чистую воду. Они — ярые противники и антиподы тех, в ком жив Моцарт. Эгоизм, равнодушие ко всему тому, к чему равнодушны настоящие люди, краснбайство и демагогическое фразерство. По всем линиям проводит Смүүл принципиальную размежевку между людьми-энтузиастами, творцами, хозяевами действительности и людьми, которым свойственны названные «качества» и которым однажды писатель дал прозвище «арендаторов жизни».

* * *

Здесь мы подходим к вопросу, поставленному ранее. Я говорил о том, что дневник, чтобы стать художественным произведением, должен быть подготовлен всем предшествующим творческим опытом писателя.

Ключевые обобщения, ключевые типы (человека-энтузиаста и человека-эгоиста) во всем разнообразии их вариаций, «преломлений», характерных особенностей, составляют — в конфликтной связи друг с другом — ось не только путевых дневников, но и многих смууловских произведений.

Тут следует, пожалуй, рассказать — очень коротко, под углом зрения одной только нашей темы — о творческом пути писателя¹.

¹ Интересующихся более полно биографией писателя отсылаю к статье Э. Нирка в сб. «Эстонская литература» (Таллин, Эстгосиздат, 1956) и к своей книжке «Юхан Смүүл. Очерк творчества», (Москва, «Советский писатель», 1964).

Творчество Смуула — первые стихи его напечатаны были в 1946 году, сразу после войны, — довольно отчетливо делится на два периода, внутренне меж собою, безусловно, связанных и все же неодинаковых. Первый — примерно до 1953 года — рассказывает о времени восстановления Советской власти в Эстонии. Контрасты старой (буржуазной) и новой (социалистической) действительности, романтика приобщения людей к коллективистскому строю мыслей и чувств, постепенно, но неуклонно расширяющиеся «горизонты души», ощущение и осознание себя советскими людьми, гражданами великой многонациональной страны, — вот что определяло тональность и проблематику смууловского творчества 40—50-х годов: его насыщенную публицистико-лирику, его поэмы-репортажи, поэмы-очерки «Красный обоз деревни Когува» и «Бригада парней из Ярвесуу», его социально-эпическую поэму «Сын бури» и повесть «Эндель Кангур», поэму — почти автобиографию — «Я — комсомолец».

Второй период творчества писателя начинается известной очерковой книгой «Письма из деревни Сыгедате» (русский перевод — 1955 год). Именно она сделала Смуула всеобщим известным прозаиком; именно в ней произошел поворот в тематике и проблематике. Цикл этих очерков и новелл по жизненному материалу полностью замкнут — это быт, нравы, человеческие конфликты, разыгрывающиеся на эстонских островах, откуда родом сам автор, но по проблемному звучанию он, этот цикл, весьма широк, он входит — одним из первых! — в общеизвестное и литературно важное движение нашего очерка, которое характеризуется именами В. Овечкина, В. Тендрякова, Е. Дороша, А. Калинина, Г. Троепольского, С. Антонова. Критика уже не раз размышляла над опытом развития этого жанра, над причинами его расцвета в середине и конце пятидесятых годов, так что мне нет необходимости заниматься здесь историко-литературным анализом. Мне важно отметить, что в «Письмах» Смуул впервые в своем творчестве показал не первые послевоенные годы Эстонии, а уже устоявшую мирную жизнь и конфликты, которые хотя и связаны с буржуазным прошлым, но связаны уже опосредованно, не прямо. В «Письмах» была впервые поставлена и та этическая тема, которая станет главной в дальнейших его произведениях: воспевание людей «обыкновенного», повседневного героизма, изобличение пустопорожних, эгоистических, демагогических «арендаторов жизни».

Второй период творчества Смуула характеризуется более углубленным вниманием к сложности жизни, ее многоликости и разнообразию, усилением аналитического начала, стремлением именно в этой сложности и многоликости разобраться. Смуул не отказывается от прежних социально-контрастных сопоставлений старой и новой Эстонии (реминисценций такого рода много и в «Ледовой книге», не говоря уже о «Письмах из деревни Сыгедате»), — он только не сводит изображаемое к этому контрасту. Происходит некоторый сдвиг авторской точки зрения: от публицистически пафосной точки зрения поэта к аналитически «земной» — очеркиста, прозаика. Оказавшись как бы поближе к непосредственному бытию уже устоявшейся, повторяя, ставшей привычной, естественной нашей советской жизни, Смуул-прозаик и создает многосторонне очерченные, в различных плоскостях исследованные образы людей двух типов.

Хозяева жизни — эти сыгедатовцы Яан и Руди Аар, Мартин Пури, Эрвин Ряйм, Гарибальди Стурм, Линда Саар и множество других. Смуул не ставит их на котурны декларативного воспева-

ния, он шутит над их смешными человеческими слабостями и промахами (отсюда берет начало стихия юмора Смуула, по-товарищески любовного подшучивания), но это — его герой, предмет его писательской любви, люди-энтузиасты, по-государственному мыслящие, самоотверженно и радостно работающие, люди, духовно родственные полярикам «Кооперации», ученым и техникам «Воейкова», люди, в ком жив Моцарт.

А против них — «арендаторы жизни»: прямолинейный и злой, как буйвол, эгоист Аугуст Пури, вычурный эстет, «интеллигентный» прощельга Роуль Ронк, «кулацкие души» Пеэтер Лыугас и Михкель Пярди, демагог и лентяйка Эрмелина Пийт.

Позднее в сатирико-юмористической повести «Приключения мухумцев на певческом празднике в Таллине» (1955), в пьесе «Атлантический океан» (1956) писатель продолжит эту галерею отрицательных персонажей стилистами и бюрократами, жуликами и лжегуманистами.

Так, в разных аспектах и жанрах, разворачивается в книгах эстонского писателя центральная его идея: уважение и любовь к людям честного труда, ответственного взгляда на жизнь и ненависть к мещанам, корыстолюбцам, эгоистам. Это противопоставление раскрывается и в прозе писателя, и в его драматургии («Атлантический океан», пьеса «Вдова полковника»), и в его путевых очерках и дневниках.

* * *

Читатель, безусловно, обратил внимание на то, как щедро, искренне, дружески делится Смуул в «Ледовой книге» и «Японском море» своими размышлениями о собственном творчестве. Пожалуй, в этом смысле путевые дневники Смуула — наиболее откровенные из книг такого жанра. И в то же время не раз и не два писатель признается в некоторой замкнутости своего характера и в том, что вообще он не любит тех, кто готов «выворачивать» душу перед другими. В «Японском море» сказаны суровые слова о «пропасти откровенности», когда человек выворачивает душу «совсем как корабейник свой короб. Выгрбаются все: и ситец, и самоварное золото». А в цитированной мною статье Смуула «О людях, о книгах, о море» мы находим такую сентенцию: «У нас, эстонцев, есть выражение: «Лезет под жилетку». Это означает, что кто-то силком пытается залезть тебе в душу, хочет, чтобы ты рассказал ему все, что у тебя на душе, даже глубоко личное. А если ты этого не сделаешь, он будет упрекать тебя в неискренности, в отсутствии доверия к человеку, в эгонизме и еще в семи смертных грехах. Я не могу ничего поделать я просто не терплю подобных людей»¹.

А сам в то же время «откровенничает» без конца и чуть ли не по всякому поводу.

Да, но если вдуматься в этот внешне пестрый, кажущийся хаотичным когломерат «о себе», нам откроется чрезвычайно важная «лирическая» тема книги — приобретение человека, живущего обыкновенной жизнью, к людям повседневной необыкновенности, как бы они сами, шуткой ли, нарочитой самоприземленностью ли, ни снимали с себя ореол необыкновенности.

Читаем в «Ледовой книге»: «У меня мало столь близких людей, как Борис Чернов, Слава Яковлев, Виктор Якунин, Владимир

¹ «Вопросы литературы», 1961, № 10, с. 129—130.

Сушинский (это все радисты-полярники.— *Юр. С.*). Мы сто дней жили бок о бок, но ни разу за это время не обменивались комплиментами, а наоборот — нередко говорили друг другу в лицо резкости. Но если мне еще придется побывать на Крайнем Севере или в далеком плавании, то хотелось бы, чтоб рядом со мной оказались они или люди такой же породы». Вспоминная станция Комсомольская с ее четырьмя зимовщиками, к которым он очень привязался, Смуул продолжает: «Крохотная точка на льду, место, где я пережил самые трудные и самые содержательные дни своей жизни. Убежден, что такие дни могут изменить внутренний мир человека, очистив его от всякого мусора и наделив чистотой снегов,— вот только достанет ли человеческой силы, чтоб сохранить ее».

В «Японском море» — тот же мотив: «Мне важно одно, чтобы Коля, Анатолий, Виталий, Валентин, Евгений и Сергей (это «люди Ивана Ивановича», ученого метеоролога.— *Юр. С.*) приняли меня в свою компанию.

Они приняли меня.

Спасибо, ребята!»

Что же заставляет автора так стремиться в «компанию» этих людей? Ведь при всей своей самокритичности, при всех своих шуточках о самом себе, о действительных и мнимых промахах, крупных и мелких изъянах (от технической малообразованности до радикулитовой немочи), — при всем этом Смуул никогда не ступает на унижительную тропу самоуничижения: вот, мол, какие люди-работяги вокруг, а я, жалкий интеллигентик, терзаемый рефлексиями, далекий от настоящих «простых» людей. Смуул отлично понимает, что такое «народолюбство» унижительно и для литературы (вспомним у Маяковского: «Труд мой любому труду родственен») и для «простого человека». Как яростно восстает Смуул против этого «термина», этого «одного из самых распространенных трафаретов нашей журналистики», этого «люминала для читателей». Смуул мечтает, и вряд ли в шутку: «Наступит коммунизм. Мы ликвидируем даже мелкое хулиганство. И в немногих сохранившихся местах заключения будут сидеть, сося лапу, отсталые писатели, получившие трое суток за то, что крутили на своей шарманке песню о простом советском человеке».

Стоп! Вот она, отгадка откровенности неоткровенного Смуула, тяги его, «нелюдима», к полярникам, техникам, ученым и прочим «простым» людям.

Дело здесь, конечно, и в «желании быть смелее и лучше, чем я есть». Но не только. Смуул ощущает себя именно писателем; ему необходимы эти поездки именно как писателю. Люди вокруг него — это еще не родившиеся, но уже будящие воображение повести, новеллы, драмы. Люди вокруг него — это еще не родившиеся, может быть, но опять же пробуждающиеся литературные теории, — да, без кавычек. Хотя у писателя и нет ученой степени доктора филологических наук и хотя по традиции Смуул ехидничает над критиками и литературоведами, его собственные суждения о литературе, о герое, о типичности и так далее весьма далеки просто от субъективных импрессиий, они серьезные, они весьма актуальны в наших литературных спорах.

Почвой авторских суждений о литературе, своеобразным аккумулятором, от которого заряжается Смуул-писатель, и являются эти люди. Они не просто материал для творчества. Они — критерий, компас, по которому сверяет свои творческие установки писатель.

Любопытная особенность. В «Ледовой книге» автор не раз знакомит читателей с точкой зрения своих героев на искусство, литературу, положительного героя. «В происходящих (на «Кооперации». — Юр. С.) спорах на первый план всегда выступают технические проблемы, вопрос о точном описании производственных процессов. Человеческие проблемы, страсти людей, их слабости и достоинства — все это мелькнет где-то на заднем плане. Но уж когда доберутся и до этого, то выясняется, что почти все участники экспедиции, и молодые и старые, предъявляют литературному герою очень большие требования и не прощают ему ничего. Они хотят, чтоб герой был чистым, чтоб он был деятельным и чтоб он не боялся риска».

Как перекликается с этим собственное писательское кредо Смуула, изложенное им в «Японском море»! «Прямо зло берет, с каким плохо скрываемым умением мы роемся в пережитках современного человека. Мы стали великими специалистами по части недостатков, мы описываем их, словно какую-то драгоценность, украденную у нас карманником... Разумеется, тяжело, когда человеку не удается выдержать бурный натиск новой эпохи и он дает в себе погибнуть или сам в себе убивает Моцарта. Согласен, это трагедия. Но наша главная задача состоит вовсе не в том, чтобы нести караул и описывать мертвецов. В конце концов, мы должны идти к тем людям, в которых Моцарт жив».

Принципиальное сходство эстетических вкусов! А за ним — принципиальная общность отношения к действительности, «родство душ», которое обретоно писателем, а не свалилось на него как небесный дар. Этому обретению посвящены многие страницы смууловской прозы, в этом «сюжете» — главная привлекательность и поучительность его лирических дневников путешествий.

Именно это чувство родства и желание еще теснее сродниться с другими людьми и дает Смуулу ту непринужденную, не навязчивую свободу говорить «о себе» — умно, иронично, честно, — которой он пользуется, создавая иногда отдельные, законченные лирические «стихотворения в прозе» (см., например, главку «Большой Халль» или воспевание моря в последней очерковой книге), а чаще всего, пронизывая своей личной интонацией, своей лирикой все изображаемое...

Путевые очерки Смуула пользуются заслуженным прочным успехом у читателей. Ленинская премия за «Ледовую книгу» увенчала не только большой труд писателя, но подчеркнула и плодотворность самих жанровых исканий. Смуул повторил опыт «Ледовой книги» в «Японском море», но не скопировав, а видоизменив, развив его («Японское море, декабрь» — гораздо дальше от формы дневника, слаженнее композиционно; кроме того, психологичнее по стилю). И снова — успех!

* * *

...Я пишу продолжение (а точнее сказать — заключение) этой своей статьи спустя уже много лет после того, как она была написана. Статья оканчивалась оптимистически бодро. Сейчас нужны другие слова — те, что могли бы передать не только радость подтвержденной, непреходящей (не прошедшей с годами!) творческой ценности смууловского наследия, но и неизбывную до сих пор горечь от столь жестоко ранней потери: в феврале 1982

года эстонская и вся многонациональная литературная общественность страны широко отметила 60-летие со дня рождения Юхана Смуула как юбилей советского писателя-классика, но... без самого Юхана Смуула.

Юхан Смуул как творец, как писатель дожил до этого своего юбилея и переживает еще множество собственных юбилеев. Его проза, стихи, драматургия продолжают издаваться, переводиться, читаться. Тому подтверждение и ленинградский сборник, который вы держите сейчас в руках. Его хочется назвать «маринистски»-смууловским, потому что он состоит из произведений, органически, а не формально связанных с морской тематикой. Море для героев Смуула не просто место действия, не только стихия природы, но прежде всего стихия жизни и творчества самого писателя. Символически Смуул во всем был «человеком моря».

Годы, прожитые нами, читателями, без Юхана Смуула, еще больше прояснили художественное и нравственно-воспитательное значение лучших его произведений. А еще прояснилось, как остра, самокритична была внутренняя жизнь этого замечательного человека.

Смууловская «лирическая проза» оказала серьезное воздействие на стилевое течение подобного типа, которое ощутимо заявляет о себе во многих наших национальных литературах, в том числе, разумеется, и в эстонской, где дело Смуула, например, продолжает (по-своему, как и подобает в искусстве) один из лауреатов премии имени Юхана Смуула Леннарт Мери, чьи книги-«путешествия» приобрели всеобщую известность. Здесь, конечно, не место входить в научные проблемы изучения межнациональных «стилевых потоков», — скажу лишь, что многие литераторы, мои знакомцы — и русские, и таджикские, и украинские, и армянские, — когда о том заходил у нас разговор, прямо ссылались на творчески-побудительные, высвобождающие их собственный «лиризм души» импульсы, которые возникали при первом чтении ими смууловской «Ледовой книги».

Ну, а драматургия Смуула? При благоприятной, в общем-то, театрально-сценической ситуации в родной республике она еще ждет достойного себе «применения» на многонациональной советской сцене. И слава еще придет к ней!

Юхан Смуул «боялся» драматургических жанров, их требовательной компактной эстетической цельности — в чем признавался и мне, — но тем более стремился покорить их своей творческой воле. Учился писать драмы, конфликтные и многозначительные; участвовал в сюжетности быстро и уверенно (в чем может убедиться каждый, кто сравнит первую его пьесу — композиционно несколько хаотичный «Атлантический океан» — с крепко сделанной следующей пьесой «Леа»); главное же, учась, он создавал свое, неповторимое и в драматургии. И вот это-то «смууловское» яростно-антимещанское начало, бушующее и в монологической «Вдове полковника», и в многолюдных «Диком капитане», «Полуденном пароме», и в гротескно-фантастическо-магической «Жизни пингвинов», все неповторимо «смууловское» также и в разнообразных формах его пьес, я думаю, предстоит открыть многонациональным театру и кинематографу.

Шаблоны восприятия — дело печальное и в сфере эстетических вкусов. Юхан Смуул воевал против шаблонов и самой формой своих произведений. Он немощно издевался над пресловутой сценичностью (динамизмом, ясно очерченными противоборствующими персо-

нажами и пр.), когда всю пьесу «Вдова полковника» строил как «затянутый» (ровно настолько, насколько нужно) монолог единственного персонажа. Он чуточку эпатировал нас, когда в «Полуденном пароме» вместо пресловутой кинематографической действительности, определяемой якобы всегда единством конфликта, обрушил на нас множество людских конфликтов и связал их... пожаром от случайной искры. Пожаром, но еще и тем, что Лев Толстой называл единством нравственного отношения автора к жизни. Вот — огонь, испытующий героев, огонь праведный и столь необходимый нам сегодня.

...Уже двадцать шесть «глав» — двадцать шесть советских антарктических экспедиций — насчитывает летопись мужества, ярким художественным воплощением которой была и остается смууловская «Ледовая книга». Не стоит на месте и время в историко-литературном измерении — идут годы, десятилетия, сменяются историко-литературные «периоды» — сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые... Когда я писал ту статью, которую «Лениздат» счел возможным взять в качестве послесловия к данному изданию, она называлась «Писатель в пути». Логично было бы сменить ее название теперь, когда Смуула нет в живых. Но логично, я думаю, и оставить это название.

Продолжают путь в читательском сознании книги Смуула. А это значит, что насмешливый (куда чаще, чем ласковый), остро наблюдательный, жаждущий правды и добивающийся ее, страстно любящий людей, в которых жив Моцарт, и с годами все сильнее ненавидящий мещан-себялюбцев, насквозь эстонский и каждой своей нервной клеткой общесоветский писатель Юхан Смуул — с нами!

Юрий СУРОВЦЕВ

КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Алле Август (1890—1952) — выдающийся эстонский поэт-сатирик.

Астральный — звездный.

Атолл — кольцеобразный коралловый остров.

Батометр — прибор для получения проб воды с разных глубин водоемов для лабораторного исследования.

Берд (Бэрд) Ричард (род. в 1888 году) — американский полярный исследователь, адмирал. Возглавил четыре экспедиции в Антарктику.

Бомбар Ален — французский врач; в 1952 году в маленькой резиновой лодке один за 65 дней пересек Атлантический океан с целью доказать, что потерпевшие кораблекрушение могут прожить длительное время без пищи и воды. В книге «За бортом по своей воле» он рассказал о своем путешествии.

Борнхёв Эдуард (1862—1923) — выдающийся эстонский писатель, создатель жанра исторической повести, романа в национальной литературе.

Бушприт (бушприт) — у парусных судов горизонтальный или наклонный брус, служит для вынесения вперед носовых парусов.

Бьёрнсон Бьёрнстерн (1832—1910) — норвежский писатель и общественный деятель.

Ванемуйне — в эстонской мифологии бог музыки и песен.

Ванты — здесь: снасти бокового крепления мачт из стального или пенькового троса.

Веспасиан Тит Флавий (9—79) — римский император с 69 по 79 год.

Видеман Фердинанд Иванович (1805—1887) — русский языковед, автор «Грамматики эстонского языка» и «Эстонско-русского словаря».

Вийральт Эдуард (1898—1945) — крупнейший эстонский художник-график.

Газа — город в южной части Палестины, у побережья Средиземного моря.

Гафель — рей, укрепленный в верхней части мачты; служит для прикрепления верхней кромки паруса.

Гиза (Гизех) — город в Египте (фактический пригород Каира). Вблизи — знаменитая группа «гизехских» пирамид (Хеопса, Менкеры), колоссальный сфинкс, гробницы, развалины древних дворцов.

Гиерон II Младший — властитель независимого греческого города Сиракуз с 269 по 215 год до н. э.

Глетчер — ледник, ледяной поток, спускающийся с гор в долины.

Гляциология — наука о свойствах, развитии движения ледников.

Гравитация — здесь: всемирное тяготение.

Гурий (гурей) — неосвещаемый маяк, знак, сложенный на берегу из камней, примета становища.

Доре Гюстав (род. в 1832 или 1833 — умер в 1883 году) — выдающийся французский художник-гравер.

Иванова ночь — традиционный народный праздник. Отмечается 24 июня ночным гуляньем с разведением костров.

Иеремиада (от библейского рассказа о плаче пророка *Иеремии*) — горькая, слезная жалоба, сетование. Часто употребляют в ироническом смысле.

Йоозеп Тоотс и Кийр — герои «Весны» Оскара Лутса, классической эстонской книги о детстве.

Иосиф Флавий — (около 37 — около 95) — еврейский историк и военачальник.

Каннель — эстонский народный струнный музыкальный инструмент типа гуслей.

Киви Алексис (настоящее имя — А. Стенваль; 1834—1872) — финский писатель-реалист.

Койдулла Лидия (настоящая фамилия Яннсен; 1843—1886) — эстонская поэтесса и драматург.

Колдуэлл Эрскин (род. в 1903 году) — известный американский писатель, романист и новеллист.

Конрад Джозеф (настоящее имя — Джозеф Конрад Коженевский; 1857—1924) — английский писатель; воспевал романтику морских приключений.

«*Коты*» — теплая обувь, обычно на меху.

Кранец — деревянный валец или сплетенный из троса плотный шар, который свешивают за борт судна для смягчения удара при подходе к пристани или к другому судну.

Лаз — прибор для определения скорости хода судна.

Ламарк Жан Батист Пьер Антуан (1744—1829) — выдающийся французский естествоиспытатель, создатель теории исторического развития живой природы (ламаркизма).

Ламели — элементы различных приборов, представляющие собой определенным образом сгруппированные металлические пластинки.

Лапландия (*Лаппи*) — губерния в Финляндии.

Лийв Якоб (1859—1938) — эстонский поэт-классик.

Лот — прибор для измерения глубины моря.

Лоти Пьер (1850—1923) — французский писатель, автор многих «колониальных» романов.

Лоусон (*Лосон*) *Генри* (1867—1922) — крупнейший австралийский писатель-реалист и поэт.

Люгер (*логгер*) — небольшое двух- или трехмачтовое парусное судно, а также рыболовное моторно-парусное судно в Северном море.

Мангровые леса — низкорослые деревья и кустарники на низменных, затопляемых приливом морских побережьях.

Мартиролог — сборник повествований о «святых» и «мучениках» за веру; в переносном смысле — перечень лиц, подвергавшихся преследованиям, мучениям, или перечень перенесенных страданий.

Мезосféра — атмосферные слои на высоте от 40 до 80 км.

Мойра — в греческой мифологии богиня судьбы.

Морена — скопление обломков горных пород, образуемое передвижением ледников.

Мормоны — члены религиозной организации, возникшей в США в 1830 году.

Моусон (Маусон) Дуглас (1882—1958) — австралийский геолог и географ, профессор. Исследователь Антарктики.

Мурена — рыба семейства угрей.

Муху (Мухумаа) — остров на Балтийском море, входящий в территорию Эстонии.

Нурме Минни (род. в 1917 году) — эстонская писательница и поэтесса.

Озирис — в древнеегипетской религии бог войны и растительности, умирающий осенью и воскресающий весной; властитель загробного мира.

Парийга Юри (1892—1941) — эстонский детский писатель.

Пиетет — благоговенне, глубокое уважение.

Пуританский (в переносном смысле) — отличающийся строгим, аскетическим образом жизни.

Рамазан (рамадан) — девятый месяц мусульманского лунного календаря, а также время строгого поста, который соблюдают мусульмане в течение этого месяца.

Сааремский — то есть с острова Сааремаа на Балтийском море, территории Эстонской ССР.

Самсон — древнееврейский мифический герой, наделенный сверхъестественной физической силой и отвагой.

Санг Август Якобович (род. в 1914 году) — эстонский поэт и переводчик.

Секстант (секстан) — угломерный навигационный инструмент; применяется для точного определения местонахождения корабля.

Сивилла — у древних греков, римлян, евреев имя «прорицательницы» — женщин, предсказывавших будущее.

Синерво Эльви (псевдоним, настоящее имя Синерво-Рюэмя Эльви Ауликки; род. в 1912 году) — финская писательница-коммунистка.

Скотт Роберт (1868—1912) — английский полярный исследователь; с антарктической экспедицией в 1900—1904 годах открыл землю короля Эдуарда VII, барьер Росса, в 1910 году достиг Южного полюса на месяц позже Амундсена; погиб на обратном пути. Оставил книгу «Дневник капитана Р. Скотта».

Смарагд — изумруд.

Спардек — одна из палуб корабля.

Страатен Ван — известный мореплаватель. Жил в XVII веке.

Субмарина — подводная лодка.

Сютисте Юхан (1899—1945) — крупнейший эстонский поэт.

Талар — обрядовое одеяние протестантского пастора; в некоторых странах так называют судейскую мантию.

Тана — город в Эстонии.

Тропосфера — нижний слой земной атмосферы (9—11 км высоты).

Торнадо — смерчи в США, вызывающие большие разрушения и человеческие жертвы, чаще наблюдаются в штатах, расположенных к северу от Мексиканского залива.

Туглас Фридеберт (род. в 1886 году) — народный писатель Эстонской ССР, виднейший новеллист и литературовед.

Ундер Мария — известная эстонская поэтесса, живущая в эмиграции.

Флер — прозрачная легкая ткань; в переносном смысле — скрывающий что-либо, покров таинственности.

«*Фоккер*» — самолет американской фирмы «Фоккер эркрафт корпорейшн».

Форштевень — массивная часть судна, образующая носовую его оконечность.

Франклин Бенджамен (1706—1790) — знаменитый американский ученый-физик, политический деятель, дипломат, буржуазный демократ.

Харди Фрэнк (род. в 1917 году) — австралийский писатель, журналист, литературный критик. За опубликование романа «Власть без славы» подвергся заключению, но в результате протеста обществу был освобожден.

Хийумцы — жители эстонского острова Хийум.

Хиллари — новозеландский альпинист. 29 мая 1953 года вместе с непальцем Тенсингом совершил восхождение на Чомолунгу (Эверест).

«*Цветы зла*» — сборник стихов известного французского поэта Шарля Бодлера (1821—1867).

Шейх — старейшина, глава рода, племени или религиозной общины у арабов.

Шеклон Эрнест Генри (1874—1922) — английский исследователь Антарктики. Участвовал в экспедициях и санном походе Скотта. Умер на острове Южная Георгия.

Составитель В. ПОЛОНСКАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕДОВАЯ КНИГА. Антарктический путевой дневник	3
ЯПОНСКОЕ МОРЕ, ДЕКАБРЬ. Очерки	269
ИЫНЬ С ОСТРОВА КИХНУ — ДИКИЙ КА- ПИТАН. Представление с песнями в пяти кар- тинах	399
ПОЛУДЕННЫЙ ПАРОМ. Киносценарий	481
<i>Юрий Суровцев</i> . Писатель в пути	559
Краткий пояснительный словарь. <i>Составитель</i> <i>В. Полонская</i>	572

Юхан Юрьевич
СМУУЛ

ЛЕДОВАЯ
КНИГА

Редактор Н. Н. Сотников
Художник В. С. Орлов
Художественный редактор И. В. Зарубина
Технический редактор Г. В. Преснова
Корректоры И. В. Левтонова и В. Д. Чаленко

ИБ № 2180

Сдано в набор 18.09.81. Подписано к печати 11.05.82. М-17544.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать
высокая. Усл. печ. л. 30,24+вкл. Усл. кр.-отт. 30,29. Уч.-
изд. л. 32,63+0,04=32,67. Тираж 200 000 экз. Заказ № 293.
Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленин-
град, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени
типография: им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград,
Фонтанка, 57.